3 1761 08820933 3

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Гр. ЛЬВА ТОЛСТОГО

ТОМЪ III

ИЗДАНІЕ
Т-ва А. Ф. МАРКСЪ
С. ПЕТЕРБУРГЪ

1907

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/polnoesobranieso03tols

LR
T6542

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ (портретомъ графа Алексѣя Толстого и) критико-біографическимъ очеркомъ С. А. Венгерова.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

513538
4. II. 50

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1907 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1907

Артистич. заведеніе А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

УПЫРЬ.

РАЗСКАЗЪ.

Съ предисловіемъ Вл. Серг. Соловьева.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1841 году вышло въ Петербургѣ въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ первое произведеніе начинающаго писателя подъ псевдонимомъ Краснорогскаго. Оно было замѣчено Бѣлинскимъ, который въ своей рецензіи оказался пророкомъ.

«Эта небольшая, — пишетъ онъ: — со вкусомъ, даже изящно изданная книжка носитъ на себѣ всѣ признаки еще слишкомъ молодого, но тѣмъ не менѣе замѣчательнаго дарованія, которое нѣчто обѣщаетъ въ будущемъ. Содержаніе ея многосложно и исполнено эффектовъ; но причина этого заключается не въ недостаткѣ фантазіи, а скорѣе въ ея пылкости, которая еще не успѣла умѣриться опытомъ жизни и уравновѣситься съ другими способностями души... Вообще густота и яркость красокъ, напряженность фантазіи и чувства, односторонность идеи, избытокъ жара сердечнаго, тревога вдохновенія, порывъ и увлеченія—признаки произведеній юности... «Упырь»— произведеніе фантастическое... оно можетъ насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе...» Бѣлинскій отказывается излагать содержаніе «Упыря», потому что «читатели немного увидѣли бы изъ сухого изложенія. Скажемъ только,—заключаетъ онъ свою рецензію:— что уже самая многосложность и запутанность изобрѣтенія обнаруживаютъ въ авторѣ силу фантазіи, а мастерское изложеніе, умѣніе сдѣлать изъ своихъ лицъ что-то въ родѣ характеровъ, способныхъ схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожій даже на «слогъ», словомъ, во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной—все это заставляетъ надѣяться въ будущемъ многаго отъ автора «Упыря». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдѣлаютъ свое дѣло, а въ авторѣ «Упыря», повторяемъ, есть рѣшительное дарованіе».

Всѣми признанная эстетическая чуткость Бѣлинскаго

не обманула его и на этотъ разъ. Авторъ «Упыря» былъ графъ А. К. Толстой. Къ сдѣланной знаменитымъ критикомъ краткой оцѣнкѣ литературныхъ качествъ его перваго юношескаго произведенія нельзя прибавить ничего существеннаго, и я хочу здѣсь сказать лишь нѣсколько словъ о томъ, что̀ есть истинно-фантастичное, и указать на нѣкоторыя особыя черты его проявленія въ этой повѣсти.

Существенный интересъ и значеніе фантастическаго въ поэзіи держится на увѣренности, что все происходящее въ мірѣ, и особенно въ жизни человѣческой, зависитъ, кромѣ своихъ наличныхъ и очевидныхъ причинъ, еще отъ какой-то другой причинности, болѣе глубокой и многообъемлющей, но зато менѣе ясной. Если бы жизненная связь всего существующаго была проста и прозрачна какъ дважды-два — четыре, то этимъ исключалось бы все фантастическое,—дадимъ ли мы ему неосмотрительное названіе «сверхъестественнаго», или обозначимъ его болѣе осторожно какъ «необычайное»; не имѣя своего мѣста и смысла въ жизни, оно было бы лишено и всякаго права на изображеніе въ здравой поэзіи, и сама эта поэзія исчерпывалась бы тогда сообщеніемъ красивой формы повседневному, насквозь прозаическому содержанію. Тогда Германъ и Доротея остались бы въ поэзіи, да и то съ кой-какими выпусками, но Фауста, если бы онъ былъ написанъ, слѣдовало бы уничтожить какъ бредъ сумасшедшаго.

Но представленіе жизни какъ чего-то простого, разсудительнаго и прозрачнаго прежде всего противорѣчитъ дѣйствительности, оно нереально. Вѣдь было бы очень плохимъ реализмомъ—утверждать, напримѣръ, что подъ видимою поверхностью земли, по которой мы ходимъ и ѣздимъ, не скрывается ничего, кромѣ пустоты. Такого рода реализмъ былъ бы разрушенъ всякимъ землетрясеніемъ и всякимъ вулканическимъ изверженіемъ, свидѣтельствующими, что подъ видимою земною поверхностью таятся дѣйствующія и слѣдовательно дѣйствительныя силы. Немногимъ лучше былъ бы и противоположный взглядъ, который, признавая дѣйствительность подземнаго, считалъ бы его прямо «сверхъестественнымъ». Такой супранатурализмъ достаточно опровергался бы опытомъ рудокоповъ и геологовъ, знакомыхъ съ естественными наслоеніями и глубинами земной коры.

Существуютъ такія естественныя наслоенія и глубины и въ жизни человѣческой, и проявляются они не въ однѣхъ только историческихъ катастрофахъ. Подъ наружною повседневною связью житейскихъ событій существуетъ и чуткому вниманію открывается иная роковая жизненная связь, постоянная и строго-послѣдовательная при всей неожиданности и кажущейся ирраціональности своихъ проявленій. Какъ геологическіе слои земной коры не расположены вездѣ одинаково концентрически, а въ разныхъ мѣстахъ пересѣкаютъ другъ друга, такъ что, напримѣръ, въ Финляндіи или въ Шотландіи прямо подъ растительнымъ покровомъ выступаютъ древнѣйшія первозданныя образованія, такъ и мистическая глубина жизни иногда близко подходитъ къ житейской поверхности; но и въ этихъ случаяхъ «растительный покровъ» повседневнаго сознанія все-таки налицо. И вотъ отличительный признакъ подлинно-фантастическаго: оно никогда не является, такъ сказать, въ обнаженномъ видѣ. Его явленія никогда не должны вызывать принудительной вѣры въ мистическій смыслъ жизненныхъ происшествій, а скорѣе должны указывать, намекать на него. Въ подлинно-фантастическомъ всегда оставляется внѣшняя, формальная возможность простого объясненія изъ обыкновенной всегдашней связи явленій, при чемъ однако это объясненіе окончательно лишается внутренней вѣроятности. Всѣ отдѣльныя подробности должны имѣть повседневный характеръ, и лишь связь цѣлаго должна указывать на иную причинность.

Отдѣльныхъ, обособленныхъ явленій фантастическаго не бываетъ, бываютъ только реальныя явленія, но иногда выступаетъ яснѣе обыкновеннаго иная, болѣе существенная и важная связь и смыслъ этихъ явленій. Никто не станетъ читать вашей фантастической поэмы, если въ ней разсказывается, что въ вашу комнату внезапно влетѣлъ шестикрылый ангелъ и поднесъ вамъ прекрасное золотое пальто съ алмазными пуговицами. Ясно, что и въ самомъ фантастическомъ разсказѣ пальто должно дѣлаться изъ обыкновеннаго матеріала и приноситься не ангеломъ, а портнымъ,—и лишь отъ сложной связи этого явленія съ другими происшествіями можетъ возникнуть тотъ загадочный или таинственный смыслъ, какого они въ отдѣльности не имѣютъ. Какъ однѣми и тѣми же буквами мы пишемъ рѣчи и высокаго и «подлаго» штиля, такъ

одинакія явленія при различномъ контекстѣ жизни могутъ имѣть и самое обыкновенное, поверхностное, и самое глубокое значеніе. Такъ оно есть въ дѣйствительности, такъ должно быть и въ поэзіи.

Юношеская повѣсть Толстого удовлетворяетъ этому требованію. Хотя она насыщена фантастическимъ элементомъ, онъ вездѣ растворенъ житейской реальностью и нигдѣ не выступаетъ въ обнаженномъ видѣ. Такъ, съ самаго начала, хотя можетъ показаться, что мы вдругъ попали въ область довольно дикой мистики, но сейчасъ же обнаруживается, что это только литературный пріемъ. На балу, въ Москвѣ, главный герой повѣсти встрѣчаетъ страннаго господина, который съ важнымъ и глубоко-убѣжденнымъ видомъ объявляетъ ему, что въ числѣ гостей есть нѣсколько безпокойныхъ покойниковъ, на похоронахъ которыхъ онъ недавно присутствовалъ, но которые съ удивительною наглостью притворяются живыми, чтобы продолжать свою давнишнюю профессію—сосать кровь изъ молодыхъ людей и дѣвицъ. Для начала фантастическаго разсказа это было бы слишкомъ прямолинейно и недостаточно тонко, но скоро оказывается, что странный господинъ не въ своемъ умѣ, и читатель до конца повѣсти не принуждается отвергнуть окончательно такого объясненія. И во всемъ дальнѣйшемъ нѣтъ ни одной подробности, которая сама по себѣ имѣла бы характеръ чудеснаго и не допускала бы естественнаго объясненія. Весь разсказъ есть удивительно-сложный фантастическій узоръ на канвѣ обыкновенной реальности. Запутанныя диковинныя происшествія въ Комо имѣютъ своею подкладкой нѣсколько кошмаровъ, при чемъ незамѣтные переходы изъ бодрственнаго состоянія въ сонное и обратно изображены такъ художественно-тонко и правдиво, что эти юношескія страницы сдѣлали бы честь зрѣлому и опытному мастеру. Диковинныя видѣнія въ подмосковномъ домѣ бригадирши Сугробиной также легко могутъ быть приписаны въ отдѣльности болѣзненному бреду, тѣмъ болѣе, что ихъ испыталъ человѣкъ тяжело раненый, едва пришедшій въ сознаніе.

Средоточіе разсказа—старинная баллада, найденная въ библіотекѣ бригадирши Сугробиной.

Какъ филинъ поймалъ летучую мышь,
Когтями сжалъ ея кости,
Какъ рыцарь Амвросій съ толпой удальцовъ
Къ сосѣду сбирается въ гости.

Хоть много цѣпей и замковъ у воротъ,
Ворота хозяйка гостямъ отопретъ.
Что-жъ, Марѳа, веди насъ, гдѣ спитъ твой старикъ!
Зачѣмъ ты такъ поблѣднѣла?
Подъ замкомъ кипитъ и клубится Дунай.
Ночь скроетъ кровавое дѣло.
. . . . . .
. . . . . .

Подъ замкомъ бѣжитъ и клубится Дунай.
Бѣгутъ облака полосою.
Ужъ кончено дѣло, зарѣзанъ старикъ.
Амвросій пируетъ съ толпою.
. . . . . .
. . . . . .

Подъ замкомъ бѣжитъ и клубится Дунай,
Надъ замкомъ пламя пожара.
Амвросій своимъ удальцамъ говоритъ:
Всѣхъ рѣзать отъ мала до стара!
Не сѣтуй, хозяйка, и будь веселѣй—
Сама-жъ ты впустила веселыхъ гостей.
. . . . . .

Давнишнее описанное здѣсь злодѣяніе въ венгерскомъ замкѣ, проклятіе измѣннически убитаго старика и отдаленныя слѣдствія этого проклятія на итальянскихъ озерахъ и въ Московской губерніи—все это, въ искусномъ сплетеніи, составляетъ содержаніе «Упыря». Фантастическій элементъ даетъ этой повѣсти ея существенную форму, а общій смыслъ ея—нравственная наслѣдственность, устойчивость и повторяемость типовъ и дѣяній, искупленіе предковъ потомками.

Несмотря на нѣкоторые недостатки, объясняемые возрастомъ автора (наивность любовной интриги, мелодраматическій тонъ нѣкоторыхъ мѣстъ, излишняя яркость другихъ, устарѣлыя выраженія), эта повѣсть до конца остается занимательной и привлекательной. Хотя влеченіе къ таинственному и необычайному все болѣе распространяется въ наши дни, но элементъ истинно-фантастичнаго въ современной литературѣ представленъ очень слабо, и тѣмъ болѣе кстати является теперь вновь это прекрасное произведеніе живой, юношески-свѣжей фантазіи.

Владиміръ Соловьевъ.

26 ноября 1899 г.

УПЫРЬ.

Разсказъ.

Балъ былъ очень многолюденъ. Послѣ шумнаго вальса Руневскій отвелъ свою даму на ея мѣсто и сталъ прохаживаться по комнатамъ, посматривая на различныя группы гостей. Ему бросился въ глаза человѣкъ, повидимому, еще молодой, но блѣдный и почти совершенно сѣдой. Онъ стоялъ, прислонясь къ камину, и съ такимъ вниманіемъ смотрѣлъ въ одинъ уголъ залы, что не замѣтилъ, какъ пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневскій, возбужденный страннымъ видомъ незнакомца, воспользовался этимъ случаемъ, чтобы завести съ нимъ разговоръ.

— Вы вѣрно кого-нибудь ищете, — сказалъ онъ:—а между тѣмъ ваше платье скоро начнетъ горѣть.

Незнакомецъ оглянулся, отошелъ отъ камина и, пристально посмотрѣвъ на Руневскаго, отвѣчалъ:

— Нѣтъ, я никого не ищу; мнѣ только странно, что на сегодняшнемъ балѣ я вижу упырей!

— Упырей?—повторилъ Руневскій:—какъ упырей?

— Упырей, — отвѣчалъ очень хладнокровно незнакомецъ.—Вы ихъ, Богъ знаетъ почему, называете вампирами, но я могу васъ увѣрить, что имъ настоящее русское названіе: упырь; а такъ какъ они происхожденія чисто-славянскаго, хотя встрѣчаются во всей Европѣ и даже въ Азіи, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканнаго венгерскими монахами, которые вздумали-было все переворачивать на латинскій ладъ и изъ упыря сдѣ-

лали вампира. Вампиръ, вампиръ!—повторилъ онъ съ презрѣніемъ:—это все равно, что если бы мы, русскіе, говорили вмѣсто привидѣнія—фантомъ или ревенантъ!

— Но однако,—спросилъ Руневскій:—какимъ бы образомъ попали сюда вампиры или упыри?

Вмѣсто отвѣта незнакомецъ протянулъ руку и указалъ на пожилую даму, которая разговаривала съ другою дамою и привѣтливо поглядывала на молодую дѣвушку, сидѣвшую возлѣ нея. Разговоръ, очевидно, касался до дѣвушки, ибо она время отъ времени улыбалась и слегка краснѣла.

— Знаете ли вы эту старуху?—спросилъ онъ Руневскаго.

— Это бригадирша Сугробина,—отвѣчалъ тотъ:—я ее лично не знаю, но мнѣ говорили, что она очень богата, и что у нея недалеко отъ Москвы есть прекрасная дача, совсѣмъ не въ бригадирскомъ вкусѣ.

— Да, она точно была Сугробина нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но теперь она не что иное, какъ самый гнусный упырь, который только ждетъ случая, чтобы насытиться человѣческою кровью. Смотрите, какъ она глядитъ на эту бѣдную дѣвушку: это ея родная внучка. Послушайте, что̀ говоритъ старуха: она ее расхваливаетъ и уговариваетъ пріѣхать недѣли на двѣ къ ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите, но я васъ увѣряю, что не пройдетъ трехъ дней, какъ бѣдняжка умретъ. Доктора скажутъ, что это горячка, или воспаленіе легкихъ; но вы имъ не вѣрьте!

Руневскій слушалъ и не вѣрилъ ушамъ своимъ.

— Вы сомнѣваетесь?—продолжалъ тотъ:—никто однако лучше меня не можетъ доказать, что Сугробина упырь, ибо я былъ на ея похоронахъ. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый колъ между плечъ для предосторожности; ну, да что̀ прикажете? Наслѣдники были въ отсутствіи, а чужимъ какое дѣло?

Въ эту минуту подошелъ къ старухѣ какой-то оригиналъ въ коричневомъ фракѣ, въ парикѣ, съ большимъ Владимірскимъ крестомъ на шеѣ и съ знакомъ отличія за 45 лѣтъ безпорочной службы. Онъ держалъ обѣими руками золотую табакерку и еще издали протягивалъ ее бригадиршѣ.

— И это упырь?—спросилъ Руневскій.

— Безъ сомнѣнія,—отвѣчалъ незнакомецъ.—Это стат-

скій совѣтникъ Теляевъ; онъ большой пріятель Сугробиной и умеръ двумя недѣлями прежде ея.

Приблизившись къ бригадиршѣ, Теляевъ улыбнулся и шаркнулъ ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы въ табакерку статскаго совѣтника.

— Съ донникомъ, мой батюшка?—спросила она.

— Съ донникомъ, сударыня,—отвѣчалъ сладкимъ голосомъ Теляевъ.

— Слышите?—сказалъ незнакомецъ Руневскому:—это слово въ слово ихъ ежедневный разговоръ, когда они еще были живы. Теляевъ всякій разъ, встрѣчаясь съ Сугробиной, подносилъ ей табакерку, изъ которой она брала щепотку, спросивъ напередъ, съ донникомъ ли табакъ? Тогда Теляевъ отвѣчалъ, что съ донникомъ, и садился возлѣ нея.

— Скажите мнѣ,—спросилъ Руневскій:—какимъ образомъ вы узнаёте, кто упырь и кто нѣтъ?

— Это совсѣмъ не мудрено. Что касается до этихъ двухъ, то я не могу въ нихъ ошибаться, потому что зналъ ихъ еще прежде смерти и (мимоходомъ буди сказано) немало удивился, встрѣтивъ ихъ между людьми, которымъ они довольно извѣстны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, какимъ образомъ узнавать упырей? Замѣтьте только, какъ они, встрѣчаясь другъ съ другомъ, щелкаютъ языкомъ. Это по-настоящему не щелканье, а звукъ, похожій на тотъ, который производятъ губами, когда сосутъ апельсинъ. Это ихъ условный знакъ, и такъ они другъ друга узнаютъ и привѣтствуютъ.

Тутъ къ Руневскому подошелъ одинъ щеголь и напомнилъ ему, что онъ его vis-à-vis. Всѣ пары уже стояли на мѣстѣ, и такъ какъ у Руневскаго еще не было дамы, то онъ поспѣшилъ пригласить ту молодую дѣвушку, которой незнакомецъ пророчилъ скорую смерть, ежели она согласится ѣхать къ бабушкѣ на дачу. Во время танца онъ имѣлъ случай разсмотрѣть ее съ примѣчаніемъ. Она была лѣтъ семнадцати; черты лица ея, уже сами по себѣ прекрасныя, имѣли какое-то необыкновенно трогательное выраженіе. Можно было подумать, что тихая грусть составляетъ ея постоянный характеръ; но когда Руневскій, разговаривая съ нею, касался смѣшной стороны какого-нибудь предмета, выраженіе это исчезало, а на мѣсто его появлялась самая веселая улыбка. Всѣ

отвѣты ея были остроумны, всѣ замѣчанія разительны и оригинальны. Она смѣялась и шутила безъ всякаго злословія и такъ чистосердечно, что даже тѣ, которые служили цѣлью ея шутокъ, не могли бы разсердиться, если-бъ они ихъ слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскиваетъ выраженій, но что первыя рождаются внезапно, а вторыя приходятъ сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ея чело. Переходъ отъ веселаго выраженія къ печальному и отъ печальнаго къ веселому составлялъ странную противоположность. Когда стройный и легкій станъ ея мелькалъ между танцующими, Руневскому казалось, что онъ видитъ не существо земное, но одно изъ тѣхъ воздушныхъ созданій, которыя, какъ увѣряютъ поэты, въ мѣсячныя ночи порхаютъ по цвѣтамъ, не сгибая ихъ подъ своей тяжестью. Никогда никакая дѣвушка не производила на Руневскаго такого сильнаго впечатлѣнія; онъ тотчасъ послѣ танца попросилъ, чтобъ его представили ея матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая съ Сугробиной, была не мать ея, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневскій узналъ послѣ, что дѣвушка уже давно сирота. Сколько онъ могъ замѣтить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своимъ сокровищемъ, но трудно было угадать, отъ чистаго ли сердца происходили ея ласки. Сверхъ этихъ двухъ родственницъ у нея никого не было на свѣтѣ. Одинокое положеніе бѣдной дѣвушки еще болѣе возбудило участіе Руневскаго,—но, къ сожалѣнію его, онъ не могъ продолжать съ ней разговора. Толстая тетка, послѣ нѣсколькихъ пошлыхъ вопросовъ, представила его своей дочери, жеманной барышнѣ, которая тотчасъ имъ завладѣла.

— Вы много смѣялись съ моей кузиной,—сказала она ему.—Кузина любитъ смѣяться, когда бываетъ въ духѣ. Я чаю, всѣмъ отъ нея досталось?

— Мы мало говорили о присутствующихъ,—отвѣчалъ Руневскій.—Разговоръ нашъ болѣе касался французскаго театра.

— Право? Но признайтесь, что нашъ театръ не заслуживаетъ даже, чтобъ его бранили. Я всегда страхъ какъ скучаю, когда туда ѣзжу, но я это дѣлаю для кузины; маменька по-французски не понимаетъ, и для нея все равно, есть ли театръ или нѣтъ, а бабушка и слы-

шать про него не хочетъ. Вы еще не знаете бабушки; это въ полномъ смыслѣ слова—бригадирша. Повѣрите ли, она сожалѣетъ, что мы болѣе не пудримся!

Софья Карповна (такъ называли барышню), посмѣявшись насчетъ бабушки и желая ослѣпить Руневскаго своею колкостью, перешла и къ прочимъ гостямъ. Болѣе всѣхъ отъ нея доставалось одному маленькому офицеру съ черными усами, который очень высоко прыгалъ, танцуя французскую кадриль.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру,—говорила она Руневскому:—можно ли видѣть что-нибудь смѣшнѣе ея, и можно ли для нея придумать фамилію приличнѣе той, которой она гордится: ее зовутъ Фрышкинъ! Это самый несносный человѣкъ въ Москвѣ и, что̀ всего досаднѣе, онъ себя считаетъ красавцемъ и думаетъ, что всѣ въ него влюблены. Смотрите, смотрите, какъ его эполеты хлопаютъ о плечи! Мнѣ кажется, онъ скоро проломаетъ паркетъ!

Софья Карповна продолжала злословить всѣхъ и каждаго, а Фрышкинъ между тѣмъ, принявъ сердитый видъ и закручивая усы, прыгалъ самымъ отчаяннымъ образомъ. Руневскій, глядя на него, не могъ удержаться отъ смѣха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословіе насчетъ бѣднаго Фрышкина. Наконецъ Руневскому удалось избавиться отъ докучливой собесѣдницы. Онъ подошелъ къ ея толстой матери, попросилъ позволенія ее навѣщать и завелъ разговоръ съ бригадиршей.

— Смотри-жъ, мой батюшка,—сказала ему ласково старуха:—къ Зориной-то ходи, къ Ѳедосьѣ Акимовнѣ, да и меня грѣшную не забывай. Вѣдь не все-жъ съ молодежью-то балагурить! Въ наше время не то было, что̀ теперь; тогда молодые люди меньше франтили, да больше слушали стариковъ; куцыхъ-то фраковъ не носили, а не хуже вашего одѣвались. Ну, не въ укоръ тебѣ сказать, а на что ты похожъ, мой батюшка, съ своими хвостиками-то? Птица не птица, человѣкъ не человѣкъ! Да и обхожденіе-то было другое; учтивѣе люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балахъ, вотъ какъ этотъ Фрышкинъ, а дрались-то не хуже вашихъ. Вотъ какъ покойный мой Игнатій Савельичъ, бывало, начнетъ разсказывать, какъ они подъ турка-то ходили, такъ инда слушать страшно. Мы, говоритъ, стоимъ-себѣ на Дунаѣ, говоритъ, съ графомъ Петромъ Александровичемъ, а на

той сторонѣ турка стоитъ; нашихъ-то немного, да и все почти новички, а ихнихъ-то тьма-тьмущая. Вотъ отъ матушки-государыни повелѣнье пришло къ графу: перейди, дескать, черезъ Дунай да разбей басурмана! Нечего дѣлать, не хотѣлось графу, а послушался, перешелъ черезъ Дунай, съ нимъ и мой Игнатій Савельичъ. Въ наше время не разсуждали, мой батюшка; куда велятъ идти, туда и шли. Вотъ стали осаждать крѣпость-то басурманскую, что̀ зовутъ Силистріей, да силы не хватило, началъ отступать графъ Петръ Александровичъ, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трехъ армій; тутъ бы ему и животъ кончить, да и моему Игнатью Савельичу съ нимъ, если-бъ нѣмецъ-то, Вейсманъ, не выручилъ. Напалъ онъ на тѣхъ, что̀ переправу-то стерегли, да и разбилъ въ пухъ супостата, даромъ что нѣмецъ. Тутъ же и Игнатій Савельичъ былъ, и ногу ему прострѣлили басурманы, а Вейсмана-то убили совсѣмъ. Что-жъ, мой батюшка? Графъ-то переправился на свою сторону да тотчасъ и началъ готовиться опять къ бою съ некрестями! Не уступлю, дескать, знай нашихъ! Вотъ каковы, мой батюшка, въ старину люди-то были, не вашимъ чета, даромъ что кацыхъ-то фраковъ не носили, не въ укоръ тебѣ буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцова.

— Вотъ пріѣхалъ бы ты ко мнѣ на дачу,—сказала она ему подъ конецъ:—я бы тебѣ показала портретъ и графа Петра Александровича, и князя Григорія Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не такъ, какъ живали прежде, не то теперь время; а гостямъ всегда рада. Кто меня вспомнитъ, тотъ и завернетъ ко мнѣ въ «Березовую Рощу», а мнѣ-то оно и любо. Семенъ Семеновичъ,—прибавила она, указывая на Теляева:—меня также не забываетъ и черезъ нѣсколько дней обѣщался ко мнѣ пріѣхать. Вотъ и моя Дашенька у меня погоститъ; она доброе дитя и не оставитъ своей старой бабушки, не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семенъ Семеновичъ поклонился Руневскому и, вынувъ изъ кармана золотую табакерку, обтеръ ее рукавомъ и поднесъ ему обѣими руками, сдѣлавъ притомъ шагъ назадъ, вмѣсто того, чтобъ сдѣлать его впередъ.

— Радъ служить, радъ служить, матушка Марѳа Сергѣевна,—сказалъ онъ сладкимъ голосомъ бригадиршѣ:—и даже... если бы... въ случаѣ... то-есть... — Тутъ Семенъ Семеновичъ щелкнулъ точно такъ, какъ описывалъ незнакомецъ, и Руневскій невольно вздрогнулъ. Онъ вспомнилъ о странномъ человѣкѣ, съ которымъ разговаривалъ въ началѣ вечера, и, увидѣвъ его на томъ же мѣстѣ, возлѣ камина, обратился къ Сугробиной и спросилъ ее: не знаетъ ли она, кто онъ? Старуха вынула изъ мѣшка очки, протерла ихъ платкомъ, надѣла на носъ и, поглядѣвъ на незнакомца, отвѣчала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это г. Рыбаренко. Онъ родомъ малороссіянинъ и изъ хорошей фамиліи, только онъ, бѣдняжка, ужъ три года какъ помѣшался въ умѣ. А все это отъ моднаго воспитанія. Вѣдь, кажется, еще молоко на губахъ не обсохло, а надо было поѣхать въ чужіе края! Пошатался тамъ года съ два да и пріѣхалъ съ умомъ на изнанку.—Сказавъ это, она своротила разговоръ на кампаніи Игнатья Савельича.

Вся тайна обращенія г. Рыбаренки объяснилась теперь въ глазахъ Руневскаго. Онъ былъ сумасшедшій, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семенъ Семеновичъ Теляевъ не что иное, какъ оригиналъ, который щелкалъ только потому, что заикался, или что у него недоставало зубовъ.

Прошло нѣсколько дней послѣ бала, и Руневскій короче познакомился съ тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же онъ чувствовалъ отвращенія къ Ѳедосьѣ Акимовнѣ Зориной. Она была женщина лѣтъ сорока пяти, замѣчательно толстая, очень непріятной наружности и съ большими притязаніями на щегольство и на свѣтское обращеніе. Недоброжелательство ея къ племянницѣ, которое, несмотря на свои старанія, она часто не могла скрыть, Руневскій приписалъ тому, что собственная ея дочь, Софья Карповна, не имѣла ни Дашиной красоты ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей соперницѣ. Она была такъ хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всѣми случаями, когда могла непримѣтно подать объ ней невыгодное мнѣніе; между тѣмъ Софья Карповна притворялась ея искреннею пріятельницею и съ жаромъ извиняла ея мнимые недостатки.

Руневскій замѣтилъ съ самаго начала, что ей очень

хочется его плѣнить, и сколько это ни было ему непріятно, но онъ почелъ за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться съ нею какъ можно учтивѣе.

Общество, посѣщавшее домъ Зориной, состояло изъ людей, которыхъ не встрѣчали въ высшихъ кругахъ и изъ коихъ бо̀льшая часть, по примѣру хозяйки дома, проводила время въ сплетняхъ и злословіи. Среди всѣхъ этихъ лицъ Даша являлась какъ свѣтлая птичка, залетѣвшая изъ цвѣтущей страны въ темный и неопрятный курятникъ. Но, хотя она не могла не чувствовать предъ ними своего превосходства, ей и въ мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коихъ привычки и воспитаніе такъ мало согласовались съ тѣмъ родомъ жизни, для котораго она была рождена. Руневскій удивлялся ея терпѣнію, когда, изъ снисхожденія къ старикамъ, она слушала ихъ длинные разсказы, не занимающіе ея нисколько; онъ удивлялся ея постоянной привѣтливости къ этимъ барынямъ и барышнямъ, изъ коихъ бо̀льшая часть не могла ея терпѣть. Не разъ также онъ былъ свидѣтелемъ, какъ она со всею приличною скромностью, иногда однимъ только взглядомъ, удерживала молодыхъ франтовъ въ границахъ должной почтительности, когда въ разговорахъ съ нею имъ хотѣлось забыться. Мало-по-малу Даша привыкла къ Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посѣщеніяхъ; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она можетъ положиться на него, какъ на вѣрнаго друга. Довѣренность ея съ каждымъ днемъ возрастала; она уже повѣряла ему иногда свои маленькія печали и наконецъ однажды призналась, какъ она несчастлива въ домѣ своей тетки.

— Я знаю,—говорила она:—что онѣ меня не любятъ и что я имъ въ тягость; вы не повѣрите, какъ это меня мучитъ. Хотя я съ другими смѣюсь и бываю весела, но зато какъ часто, наединѣ, я горько плачу!

— А ваша бабушка?—спросилъ Руневскій.

— О, бабушка совсѣмъ другое дѣло! Она меня любитъ, всегда меня ласкаетъ и не иначе со мной обходится, когда мы однѣ, какъ и при чужихъ. Кромѣ бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нѣтъ никого, кто бы меня любилъ! Эту гувернантку зовутъ Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенкомъ, и только съ ней я и могу разговаривать про маменьку.

Я такъ рада, что увижу ее у бабушки на дачѣ; не правда ли, вы также туда пріѣдете?

— Непремѣнно пріѣду, если это вамъ не будетъ непріятно.

— О, напротивъ! Не знаю почему, хотя я съ вами знакома только нѣсколько дней, но мнѣ кажется, будто бы васъ знаю уже такъ давно, такъ давно, что я и не припомню, когда мы въ первый разъ видѣлись. Можетъ-быть, это отъ того, что вы мнѣ напоминаете двоюроднаго брата, котораго я люблю какъ родного и который теперь на Кавказѣ.

Однажды Руневскій засталъ Дашу съ заплаканными глазами. Боясь ее еще болѣе разстроить, онъ притворился, будто ничего не примѣчаетъ, и началъ разговаривать объ обыкновенныхъ предметахъ. Даша хотѣла отвѣчать, но слезы брызнули изъ ея глазъ, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платкомъ и выбѣжала изъ комнаты.

Чрезъ нѣсколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу въ странности ея поступка.

— Мнѣ самой стыдно за сестрицу,—сказала она:—но это такой ребенокъ, что малѣйшая бездѣлица можетъ привесть ее въ слезы. Сегодня ей очень хотѣлось ѣхать въ театръ, но, къ несчастію, никакъ не могли достать ложи, и это ее такъ разстроило, что она еще долго не утѣшится. Впрочемъ, ежели бы вы знали всѣ ея хорошія качества, вы бы ей охотно простили эти маленькія слабости. Я думаю, нѣтъ на свѣтѣ существа добрѣе ея. Кого она любитъ, тотъ хоть сдѣлай преступленіе, она найдетъ средство его извинить и увѣритъ всѣхъ, что онъ правъ. Зато ужъ, объ комъ она дурного мнѣнія, того она не оставитъ въ покоѣ и всѣмъ разскажетъ, что̀ она объ немъ думаетъ.

Такимъ образомъ Софья Карповна, расхваливая бѣдную Дашу, успѣла намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ея не сдѣлали на него никакого впечатлѣнія. Онъ въ нихъ видѣлъ одну только зависть и вскорѣ удостовѣрился, что не ошибся въ своемъ предположеніи.

— Вамъ, вѣроятно, показалось страннымъ,—сказала ему на другой день Даша:—что я отъ васъ ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сдѣлать иначе. Я нечаянно нашла письмо отъ моей бѣдной маменьки. Теперь ужъ девять лѣтъ какъ она скончалась; я была

еще ребенкомъ, когда его получила, и оно мнѣ такъ живо напомнило время моего дѣтства, что я не могла удержаться отъ слезъ, когда при васъ объ немъ подумала. Ахъ, какъ я тогда была счастлива! Какъ я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были въ деревнѣ, маменька писала изъ Москвы и обѣщалась скоро пріѣхать. Она въ самомъ дѣлѣ пріѣхала на другой день и застала меня въ саду. Я помню, какъ я вырвалась изъ рукъ нянюшки и бросилась къ маменькѣ на шею.

Даша остановилась и нѣсколько времени молчала, какъ бы забывшись.

— Вскорѣ потомъ,—продолжала она:—маменька вдругъ, безъ всякой причины, сдѣлалась больна, стала худѣть и чахнуть и черезъ недѣлю скончалась. Добрая бабушка до самой послѣдней минуты отъ нея не отходила. Она по цѣлымъ ночамъ сидѣла у ея кровати и за ней ухаживала. Я помню, какъ въ послѣдній день ея платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сдѣлало ужасное впечатлѣніе, но мнѣ сказали, что маменька умерла отъ чахотки и кровохарканья. Вскорѣ я переѣхала къ тетушкѣ, и тогда все перемѣнилось!

Руневскій слушалъ Дашу съ большимъ участіемъ. Онъ старался превозмочь свое смущеніе; но слезы показались на его глазахъ, и, не будучи въ состояніи удержать долѣе порыва своего сердца, онъ схватилъ ея руку и сжалъ ее крѣпко.

— Позвольте мнѣ быть вашимъ другомъ,—вскричалъ онъ:—положитесь на меня! Я не могу вамъ замѣнить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вамъ вѣрнымъ защитникомъ, доколѣ останусь живъ!

Онъ прижалъ ея руку къ горячимъ устамъ, она преклонила голову къ его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались въ ближней комнатѣ.

Даша легонько оттолкнула Руневскаго и сказала ему тихимъ, но твердымъ голосомъ:

— Оставьте меня; я, можетъ-быть, дурно сдѣлала, что предалась своему чувству, но я не могу себѣ представить, что вы чужой; внутренній голосъ мнѣ говоритъ, что вы достойны моей довѣренности.

— Даша, любезная Даша!—вскричалъ Руневскій:—еще одно слово! Скажите мнѣ, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

— Можете ли вы въ этомъ сомнѣваться?—отвѣчала она

спокойно и вышла изъ комнаты, оставя его пораженнымъ этимъ отвѣтомъ и въ недоумѣніи, поняла ли она точный смыслъ его словъ.

Въ тридцати верстахъ отъ Москвы находится село «Березовая Роща». Еще издали виденъ большой каменный домъ, выстроенный по-старинному и осѣненный высокими липами, главнымъ украшеніемъ пространнаго сада, который расположенъ на покатомъ пригоркѣ, въ регулярномъ французскомъ вкусѣ.

Никто, видя этотъ домъ и не зная его исторіи, не могъ бы подумать, что онъ принадлежитъ той самой бригадиршѣ, которая разсказываетъ про походы Игнатья Савельича и нюхаетъ русскій табакъ съ донникомъ. Зданіе было вмѣстѣ легко и величественно; можно было съ перваго взгляда угадать, что его строилъ архитекторъ итальянскій, ибо оно во многомъ напоминало прекрасныя виллы въ Ломбардіи или въ окрестностяхъ Рима. Въ Россіи, къ сожалѣнію, мало такихъ домовъ; но они вообще отличаются своею красотою, какъ настоящіе образцы хорошаго вкуса прошедшаго вѣка, а домъ Сугробиной можно безспорно назвать первымъ въ этомъ родѣ.

Въ одинъ теплый іюльскій вечеръ окна казались освѣщенными ярче обыкновеннаго, и даже, что̀ рѣдко случалось, въ третьемъ этажѣ видны были блуждающіе огни, переходящіе изъ одной комнаты въ другую.

Въ это время на дорогѣ показалась коляска, которая, поровнявшись съ дачею, въѣхала черезъ длинную аллею на господскій дворъ и остановилась передъ подъѣздомъ дома. Къ ней подбѣжалъ казачокъ въ изорванномъ платьѣ и помогъ выйти Руневскому.

Когда Руневскій вошелъ въ комнату, онъ увидѣлъ множество гостей, изъ которыхъ иные играли въ вистъ, а другіе разговаривали между собою. Къ числу первыхъ принадлежала сама хозяйка, и противъ нея сидѣлъ Семенъ Семеновичъ Теляевъ. Въ одномъ углу комнаты накрытъ былъ столъ съ огромнымъ самоваромъ, и за нимъ засѣдала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась однихъ лѣтъ съ бригадиршей, но блѣдное лицо ея выражало глубокую горесть, какъ будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входѣ Руневскаго, бригадирша ласково его привѣтствовала.

— Спасибо тебѣ, мой батюшка,—сказала она:—что ты не забылъ меня старуху. А я ужъ начинала думать, что ты совсѣмъ не пріѣдешь; садись-ка возлѣ насъ, да выпей-ка чайку, да разскажи намъ, что̀ у насъ новаго въ городѣ?

Семенъ Семеновичъ сдѣлалъ Руневскому очень оригинальный поклонъ, коего характеръ невозможно выразить словами, и, вынувъ изъ кармана свою табакерку, сказалъ ему сладкимъ голосомъ:

— Не прикажете ли? Настоящій русскій, съ донникомъ. Я французскаго не употребляю; этотъ гораздо здоровѣе, да и къ тому-жъ... въ разсужденіи насморка...

Громкій ударъ языкомъ окончилъ эту фразу, и щелканье стараго чиновника обратилось въ неопредѣленное сосанье.

— Покорно благодарю,—отвѣчалъ Руневскій:—я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взглядъ на Теляева и, обратившись къ сосѣдкѣ, сказала ей вполголоса:

— Что̀ за непріятная привычка у Семена Семеновича вѣчно щелкать. Ужъ я бы на его мѣстѣ вставила себѣ фальшивый зубъ да говорила бы какъ другіе.

Руневскій очень разсѣянно слушалъ и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и онъ увидѣлъ ее въ кругу другихъ дѣвушекъ возлѣ чайнаго стола. Она приняла его съ обыкновенной своей привѣтливостью и со спокойствіемъ, которое могло бы показаться равнодушіемъ. Что касается до Руневскаго, ему было трудно скрыть свое смущеніе, и неловкость, съ которой онъ отвѣчалъ на ея слова, можно было принять за замѣшательство. Вскорѣ однако онъ оправился; его представили нѣкоторымъ дамамъ, и онъ сталъ съ ними разговаривать, какъ будто ни въ чемъ не бывало..

Все въ домѣ бригадирши ему казалось необычайнымъ. Богатое убранство высокихъ комнатъ, освѣщенныхъ сальными свѣчами; картины итальянской школы, покрытыя пылью и паутиной; столы изъ флорентинскаго мозаика, на которыхъ валялись недовязанные чулки, орѣховая скорлупа и грязныя карты: все это, вмѣстѣ съ простонародными пріемами гостей, съ старосвѣтскими разговорами хо-

зяйки и со щелканьемъ Семена Семеновича, составляло самую странную смѣсь.

Когда приняли самоваръ, дѣвушки захотѣли во что-нибудь играть и предложили Руневскому сѣсть за ихъ столъ.

— Давайте гадать, — сказала Даша:—вотъ какая-то книга; каждая изъ насъ должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку съ правой или съ лѣвой стороны. Содержаніе будетъ для насъ пророчествомъ. Напримѣръ, я начинаю; г. Руневскій, назовите строчку.

— Седьмая на лѣвой сторонѣ, считая снизу.

Даша прочитала:

Пусть бабушка внучкину высосетъ кровь!

— Ахъ, Боже мой!—вскричали дѣвушки, смѣясь:—что̀ это значитъ? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять.

Даша передала книгу Руневскому. Это былъ какой-то манускриптъ, и онъ началъ читать слѣдующее:

Какъ филинъ поймалъ летучую мышь,
Когтями сжалъ ея кости,
Какъ рыцарь Амвросій, съ толпой удальцовъ,
Къ сосѣду сбирается въ гости.
Хоть много цѣпей и замко̀въ у воротъ,
Ворота хозяйка гостямъ отопретъ.

«Что-жъ, Марѳа, веди насъ, гдѣ спитъ твой старикъ?
«Зачѣмъ ты такъ поблѣднѣла?
«Подъ за̀мкомъ кипитъ и клубится Дунай,
«Ночь скроетъ кровавое дѣло.
«Не бойся, изъ гроба мертвецъ не встаетъ,
«Что̀ будетъ, то будетъ,—веди насъ впередъ!»

Подъ за̀мкомъ бѣжитъ и клубится Дунай,
Бѣгутъ облака полосою;
Ужъ кончено дѣло, зарѣзанъ старикъ,
Амвросій пируетъ съ толпою.
Въ кровавыя воды глядится луна,
Съ Амвросьемъ пируетъ злодѣйка-жена.

Подъ за̀мкомъ бѣжитъ и клубится Дунай,
Надъ за̀мкомъ пламя пожара.
Амвросій своимъ удальцамъ говоритъ:
«Всѣхъ рѣзать отъ мала до стара!
«Не сѣтуй, хозяйка, и будь веселѣй,
«Сама-жъ ты впустила веселыхъ гостей!»

Сверкая, клубясь, отражаетъ Дунай
Весь за̀мокъ, пожаромъ объятый;
Амвросій своимъ удальцамъ говоритъ:

«Пора ужъ домой намъ, ребята!
«Не сѣтуй, хозяйка, и будь веселѣй,
«Сама-жъ ты впустила веселыхъ гостей!»

Надъ Маѳоой проклятіе мужа гремитъ,
Онъ проклялъ ее, умпрая.
«Чтобъ сгинула ты, и чтобъ сгинулъ твой родъ,
«Сто разъ я тебя проклинаю!
«Пусть вѣчно изсякнетъ межъ вами любовь,
«Пусть бабушка внучкину высосетъ кровь!

«И родъ твой проклятье мое да гнететъ,
«И мѣста ему да не станетъ
«Дотоль, пока замужъ портретъ не пойдетъ,
«Невѣста изъ гроба не встанетъ
«И, черепъ разбивши, не ляжетъ въ крови
«Послѣдняя жертва преступной любви!»

Какъ филинъ поймалъ летучую мышь,
Когтями сжалъ ея кости,
Какъ рыцарь Амвросій, съ толпой удальцовъ,
Къ сосѣду нахлынули въ гости.
«Не сѣтуй, хозяйка, и будь веселѣй,
«Сама-жъ ты впустила веселыхъ гостей».

Руневскій замолчалъ, и ему опять пришли въ голову слова того человѣка, котораго онъ видѣлъ нѣсколько времени тому на балѣ и который въ свѣтѣ слылъ сумасшедшимъ. Пока онъ читалъ, Сугробина, сидя за карточнымъ столомъ, со вниманіемъ слушала и сказала ему, когда онъ кончилъ:

— Что ты, мой батюшка, тамъ за страсти читаешь? Ужъ не вздумалъ ли ты пугать насъ, отецъ мой?

— Бабушка,—отвѣчала Даша:—я сама не знаю, что это за книга. Сегодня въ моей комнатѣ передвигали большой шкапъ, и она упала съ самаго верху.

Семенъ Семеновичъ Теляевъ мигнулъ бригадиршѣ и, повернувшись на стулѣ, сказалъ:

— Это, должно-быть, какая-нибудь аллегорія, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазія!..

— То-то фантазія!—проворчала старуха:—въ наше время фантазій-то не писали, да никто бы ихъ и читать не захотѣлъ! Вотъ что вздумали!—продолжала она съ недовольнымъ видомъ:—придетъ же въ голову писать стихи про летучихъ мышей! Я ихъ смерть боюсь, да и филиновъ тоже! Нечего сказать, не трусъ былъ и мой Игнатій Савельичъ, какъ подъ турку-то ходилъ, а мышей и крысъ терпѣть не могъ; такая у него ужъ натура была; а все это съ тѣхъ поръ, какъ имъ въ Молдавіи крысы житья не

давали. И провизію-то, мой батюшка, и амуницію, все поѣли. Бывало, заснешь, говоритъ, въ палаткѣ-то, анъ крысы придутъ да за самую косу теребятъ. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы ходятъ.

Даша шутила надъ предсказаніемъ, а Руневскій старался прогнать странныя мысли, тѣснившіяся въ его головѣ, и ему удалось себя увѣрить, что соотвѣтственность читанныхъ имъ стиховъ съ словами г. Рыбаренки не что̀ иное, какъ случай. Они продолжали гадать, а старики между тѣмъ кончили вистъ и встали изъ-за столовъ.

Къ крайней досадѣ Руневскаго, ему ни разу не удалось поговорить съ Дашей такъ, чтобы ихъ не слыхали другіе. Его мучила неизвѣстность; онъ зналъ, что Даша на него смотритъ, какъ на друга, но не былъ увѣренъ въ ея любви, и не хотѣлъ просить руки ея, не получивъ на то позволенія отъ нея самой.

Въ продолженіе вечера Теляевъ нѣсколько разъ принимался щелкать, съ значительнымъ видомъ посматривая на Руневскаго.

Около одиннадцати часовъ гости начали расходиться. Руневскій простился съ хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвавъ одного лакея, коего пунцовый носъ ясно обнаруживалъ пристрастіе къ крѣпкимъ напиткамъ, приказала отвести гостя въ приготовленную для него квартиру.

— Въ зеленыхъ комнатахъ?—спросилъ питомецъ Бахуса.

— Разумѣется, въ зеленыхъ!—отвѣчала Клеопатра Платоновна:—развѣ ты забылъ, что въ другихъ нѣтъ мѣста?

— Да, да,—проворчалъ лакей:—въ другихъ нѣтъ мѣста. Однако съ тѣхъ поръ, какъ скончалась Прасковья Андреевна, въ этихъ никто еще не жилъ!

Разговоръ этотъ напомнилъ Руневскому нѣсколько сказокъ о старинныхъ замкахъ, обитаемыхъ привидѣніями. Въ этихъ сказкахъ обыкновенно путешественникъ, застигнутый ночью на дорогѣ, останавливается у одинокой корчмы и требуетъ ночлега; но хозяинъ ему объявляетъ, что корчма уже полна проѣзжими, но что въ замкѣ, коего башни торчатъ изъ-за густого лѣса, онъ найдетъ покойную квартиру, если только онъ человѣкъ нетрусливаго десятка. Путешественникъ соглашается, и цѣлую ночь привидѣнія не даютъ ему заснуть.

Вообще, когда Руневскій вступилъ въ домъ Сугроби-

ной, странное чувство имъ овладѣло, какъ будто что-то необыкновенное должно съ нимъ случиться въ этомъ домѣ. Онъ приписалъ это вліянію словъ Рыбаренки и особенному расположенію духа.

— Впрочемъ, мнѣ все равно,—продолжалъ лакей:—въ зеленыхъ такъ въ зеленыхъ!

— Ну, ну, возьми свѣчку и не умничай!

Лакей взялъ свѣчку и повелъ Руневскаго во второй этажъ.

Прошедши нѣсколько ступенекъ, онъ оглянулся и, увидѣвъ, что Клеопатра Платоновна ушла, сталъ громко самъ съ собою разговаривать:

— Не умничай! Да развѣ я умничаю? Какое мнѣ дѣло до ихъ комнатъ! Развѣ съ меня мало передней? Гм, не умничай! Вотъ кабы я былъ генеральша, такъ я бы, разумѣется, ихъ не запиралъ, велѣлъ бы освятить, да и принималъ бы въ нихъ гостей, или самъ жилъ. А то на что онѣ? Какой отъ нихъ прокъ?

— А что это за комнаты?—спросилъ Руневскій.

— Что за комнаты? Позвольте, я вамъ сейчасъ растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна,—сказалъ онъ набожнымъ голосомъ, остановясь среди лѣстницы и подымая глаза кверху: — дай Господь ей царство небесное...

— Послѣ, послѣ разскажешь,—сказалъ Руневскій:—прежде проводи меня!

Онъ вошелъ въ просторную комнату съ высокимъ каминомъ, въ которомъ уже успѣли разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько противъ холода, какъ для того, чтобы очистить спертый воздухъ и дать старинному покою болѣе жилой видъ. Руневскаго поразилъ женскій портретъ, висѣвшій надъ диваномъ, близъ небольшой затворенной двери. То была дѣвушка лѣтъ семнадцати, въ платьѣ на фижмахъ съ короткими рукавами, обшитыми кружевомъ, напудренная и съ розовымъ букетомъ на груди. Если бы не старинное одѣяніе, онъ бы непремѣнно принялъ этотъ портретъ за Дашинъ. Тутъ были всѣ ея черты, ея взглядъ, ея выраженіе.

— Чей это портретъ?—спросилъ онъ лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорятъ, что онѣ похожи на Дарью Васильевну-съ; но, признательно сказать, я тутъ сходства большого

не вижу: у этой волосы напудренные-съ, а у Дарьи Васильевны они темно-русаго цвѣта. Къ тому же Дарья Васильевна такъ не одѣваются, это старинный манеръ!

Руневскій не счелъ за нужное опровергать логическія разсужденія своего чичероне, но ему очень хотѣлось знать, кто была Прасковья Андреевна, и онъ спросилъ о ней у лакея.

— Прасковья Андреевна,—отвѣчалъ тотъ:—была сестрица бабушки теперешней генеральши-съ. Онѣ, изволите видѣть, были еще невѣста какого-то... какъ бишь его!.. ну, провалъ его возьми!.. Пріѣхалъ онъ изъ чужихъ краевъ, скряга былъ такой престрашный!.. Я-то его не помню, а такъ, по наслышкѣ, знаю, Богъ съ нимъ! Онъ-то, изволите видѣть, и домъ этотъ выстроилъ, а наши господа уже послѣ всю дачу купили. Вотъ для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что̀ мы называемъ зелеными, отдѣлали ихъ получше, обили полы коврами, а стѣны обвѣшали картинами и зеркалами. Вотъ уже все было готово, какъ за день передъ свадьбою женихъ вдругъ пропалъ. Прасковья Андреевна тужили-тужили да съ горя и скончались. А матушка вишь ихъ, это выходитъ бабушка нашей генеральши, купили домъ у наслѣдниковъ да и оставили комнаты, приготовленныя для ихъ дочери, точь-въ-точь какъ онѣ были при ихъ жизни. Прочіе покои нѣсколько разъ передѣлывали да обновляли, а до этихъ никто не смѣлъ и дотронуться. Вотъ и наша генеральша ихъ до сихъ поръ запирали, да вишь много наѣхало гостей, такъ негдѣ было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорилъ, что на мѣстѣ генеральши велѣлъ бы освятить эти комнаты?

— Да оно бы, сударь, и не мѣшало; куда лѣтъ шестьдесятъ никто крещеный не входилъ, тамъ мудрено ли другимъ хозяевамъ поселиться?

Руневскій попросилъ красноносаго лакея, чтобы онъ теперь его оставилъ; но тотъ, казалось, былъ не очень расположенъ исполнить эту просьбу. Ему все хотѣлось разсказывать и разсуждать.

— Вотъ тутъ,—говорилъ онъ, указывая на затворенную дверь возлѣ дивана:—есть еще цѣлый рядъ покосвъ, въ которыхъ никто никогда не жилъ. Если-бъ ихъ отдѣлать по-нынѣшнему да вынесть изъ нихъ старую мебель, такъ они были бы еще лучше тѣхъ, гдѣ живетъ барыня. Ну,

да что̀ прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совѣта не спросятъ!

Чтобы отъ него скорѣе избавиться, Руневскій всунулъ ему въ руку цѣлковый и сказалъ, что ему теперь хочется спать, и что онъ желаетъ остаться одинъ.

— Чувствительнѣйше благодаримъ,—отвѣчалъ лакей:—желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вамъ что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчасъ явлюсь къ вашей милости. Вашъ камердинеръ не то, что̀ здѣшній человѣкъ, имъ домъ неизвѣстенъ, а мы, слава Богу, впотьмахъ не споткнемся.

Онъ удалился, и Руневскій еще слышалъ, какъ онъ, уходя съ его человѣкомъ, толковалъ ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленыхъ комнатъ.

Оставшись одинъ, онъ замѣтилъ углубленіе въ стѣнѣ и въ немъ богатую кровать съ штофными занавѣсями и высокимъ балдахиномъ; но, либо изъ почтенія къ памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали безпокойною, ему приготовили постель на диванѣ, возлѣ маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневскій бросилъ еще взглядъ на портретъ, столь живо напоминавшій ему черты, врѣзанныя въ его сердцѣ.

«Вотъ,—подумалъ онъ:—картина, которая по всѣмъ законамъ фантастическаго міра должна ночью оживиться и повесть меня въ какое-нибудь подземелье, чтобы показать мнѣ неотпѣтыя свои кости!» Но сходство съ Дашей дало другое направленіе его мыслямъ. Потушивъ свѣчку, онъ старался заснуть, но никакъ не могъ. Мысль о Дашѣ не давала ему покою; онъ долго ворочался съ боку на бокъ и наконецъ погрузился въ какой-то полусонъ, гдѣ, какъ въ туманѣ, вертѣлись передъ нимъ старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросій и Семенъ Семеновичъ Теляевъ.

Тяжелый стонъ, вырвавшійся какъ будто изъ стѣсненной сильнымъ отчаяньемъ груди, его внезапно пробудилъ. Онъ открылъ глаза и, при свѣтѣ огня, еще не погасшаго въ каминѣ, увидѣлъ подлѣ себя Дашу. Видъ ея очень его удивилъ, но его еще болѣе поразило ея одѣяніе. На ней было совершенно такое платье, какъ на портретѣ Прасковьи Андреевны; розовый букетъ былъ приколотъ къ ея груди, и въ рукѣ она держала старинное опахало.

— Вы ли это?—вскричалъ Руневскій:—объ эту пору, въ этомъ нарядѣ!

— Мой другъ,—отвѣчала она:—если я вамъ мѣшаю, я уйду прочь.

— Останьтесь, останьтесь!—возразилъ онъ:—скажите, что̀ васъ сюда привело и чѣмъ я могу вамъ служить?

Она опять застонала, и стонъ этотъ былъ такъ страненъ и выразителенъ, что онъ пронзилъ ему сердце.

— Ахъ,—сказала она:—мнѣ немного времени остается съ вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а тамъ такъ жарко!

Она опустилась на кресло подлѣ дивана, гдѣ лежалъ Руневскій, и стала обмахивать себя опахаломъ.

— Гдѣ жарко? Откуда вы пришли?—спросилъ Руневскій.

— Не спрашивайте меня,—отвѣчала она, вздрогнувъ при его вопросѣ:—не говорите со мной объ этомъ! Я такъ рада, что васъ вижу,—прибавила она съ улыбкой:—вы долго здѣсь пробудете?

— Какъ можно дольше!

— И всегда будете здѣсь ночевать?

— Я думаю. Но зачѣмъ вы меня объ этомъ спрашиваете?

— Для того, чтобы мнѣ можно было говорить съ вами наединѣ. Я всякую ночь сюда прихожу, но въ первый разъ васъ здѣсь вижу.

— Это немудрено, я только сегодня пріѣхалъ.

— Руневскій,—сказала она, помолчавъ:—окажите мнѣ услугу. Въ углу, возлѣ дивана, на этажеркѣ есть коробочка; въ ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его, а завтра обручитесь съ моимъ портретомъ.

— Боже мой! — воскликнулъ Руневскій: — чего вы отъ меня требуете!

Она въ третій разъ застонала еще жалобнѣе, нежели прежде.

— Ради Бога,—закричалъ онъ, не въ силахъ удержаться отъ внутренняго содроганія:—ради Бога, не шутите надо мной! Скажите мнѣ, что̀ васъ сюда привело? Зачѣмъ вы такъ нарядились? Сдѣлайте милость, повѣрьте мнѣ свою тайну!

Онъ схватилъ ея руку, но сжалъ только холодные костяные пальцы и почувствовалъ, что держитъ руку остова.

— Даша, Даша!—закричалъ онъ въ изступленіи:—что̀ это значитъ?

— Я не Даша,—отвѣчало насмѣшливымъ голосомъ привидѣніе:—отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневскій чуть не упалъ въ обморокъ; но въ эту минуту послышался сильный стукъ въ дверь, и знакомый его лакей вошелъ со свѣчою въ рукахъ.

— Чего изволите, сударь?—спросилъ онъ.

— Я тебя не звалъ.

— Да вы изволили позвонить. Вотъ и шнурокъ еще болтается!

Руневскій въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ шнурокъ отъ колокольчика, котораго прежде не замѣтилъ, и въ то же время понялъ причину своего испуга. То, что онъ принялъ за Дашу, былъ портретъ Прасковьи Андреевны, а когда онъ ее хотѣлъ взять за руку, онъ схватилъ жесткую кисть шнурка, и ему показалось, что онъ держитъ костяные пальцы скелета.,

Но онъ съ нею разговаривалъ, она ему отвѣчала; онъ принужденъ былъ внутренно сознаться, что истолкованіе его не совсѣмъ естественно, и рѣшилъ, что все видѣнное имъ—одинъ изъ тѣхъ сновъ, которымъ на русскомъ языкѣ нѣтъ, кажется, приличнаго слова, но которые французы называютъ cauchemar. Сны эти обыкновенно продолжаются и послѣ пробужденія и часто, но не всегда, бываютъ сопряжены съ давленіемъ въ груди. Отличительная ихъ черта—ясность и совершенное сходство съ дѣйствительностью.

Руневскій отослалъ лакея и готовился уснуть, какъ вдругъ лакей опять явился въ дверяхъ. Піоны на его носу уступили мѣсто смертельной блѣдности; онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Что съ тобой случилось?—спросилъ Руневскій.

— Воля ваша,—отвѣчалъ онъ:—я не могу ночевать въ этомъ этажѣ и ни за что не войду опять въ свою комнату!

— Да говори же, что въ твоей комнатѣ?

— Что въ моей комнатѣ? А то, что въ ней сидитъ портретъ Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебѣ показалось оттого, что ты пьянъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, сударь, помилуйте! Я только-что хотѣлъ войти, какъ увидѣлъ, что она тамъ, сердечная; прости меня Боже! Она сидѣла ко мнѣ спиной, и я бы умеръ со страха, если-бъ она оглянулась, да, къ счастію, я успѣлъ тихонько уйти, и она меня не замѣтила.

Въ эту минуту вошелъ слуга Руневскаго.

— Александръ Андреевичъ,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ:—здѣсь что-то нехорошо!

На вопросъ Руневскаго онъ продолжалъ:

— Мы было-поговорили съ Яковомъ Антипычемъ да и легли спать, какъ Яковъ Антипычъ мнѣ говорятъ: «вашъ баринъ звонитъ!» Я, признаться, засыпалъ, да къ тому-жъ Яковъ Антипычъ не совсѣмъ въ пропорціи, такъ я и думаю-себѣ, что имъ такъ показалось; перевернулся на другой бокъ да и захрапѣлъ. Чуть только захрапѣлъ, слышу — кто-то шаркъ-шаркъ да какъ будто каблучками постукиваетъ. Я открылъ глаза, да ужъ не знаю, увидѣлъ ли что̀ или нѣтъ, а такъ холодомъ и обдало; вскочилъ и пустился бѣжать по коридору; теперь ужъ какъ прикажете, а позвольте мнѣ ночевать гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, хоть на дворѣ!

Руневскій рѣшился изслѣдовать эту загадку. Надѣвъ халатъ, онъ взялъ въ руку свѣчу и отправился туда, гдѣ, по словамъ Якова, была Прасковья Андреевна. Яковъ и слуга Руневскаго слѣдовали за нимъ и дрожали отъ страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневскій остановился. Всѣхъ его силъ едва достало, чтобы выдержать зрѣлище, представившееся его глазамъ.

То самое привидѣніе, которое онъ видѣлъ у себя въ комнатѣ, сидѣло тутъ на старинныхъ креслахъ и казалось погружено въ размышленія. Черты лица его были блѣдны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку—и рука ея была костяная! Привидѣніе долго на нее смотрѣло, горестно покачало головой и застонало.

Стонъ этотъ проникъ въ самую глубину души Руневскаго.

Онъ, самъ себя не помня, отворилъ дверь и увидѣлъ, что въ комнатѣ никого нѣтъ. То, что̀ казалось ему привидѣніемъ, было не что̀ иное, какъ пестрая ливрея, повѣшенная черезъ спинку креселъ и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневскій не понималъ, какъ онъ до такой степени могъ обмануться. Но товарищи его все еще не рѣшались войти въ комнату.

— Позвольте мнѣ ночевать поближе къ вамъ,—сказалъ лакей:—оно все-таки лучше; да и къ тому-жъ, если вы меня потребуете, я буду у васъ подъ рукою. Извольте только крикнуть: Яковъ!

— Позвольте ужъ и мнѣ остаться съ Яковомъ Антипычемъ, а то неравно...

Руневскій воротился въ свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми въ коридорѣ. Остатокъ ночи Руневскій провелъ спокойно; но, когда проснулся, онъ не могъ забыть своего приключенія.

Сколько онъ ни заговаривалъ объ зеленыхъ комнатахъ, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговоръ на другой предметъ. Все, что̀ онъ могъ узнать, было то же, что̀ ему разсказывалъ Яковъ: тетушка Сугробина, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатаго иностранца, но за день передъ свадьбою женихъ исчезъ, а бѣдная невѣста занемогла отъ горести и вскорѣ умерла. Многіе даже въ то время увѣряли, что она отравила себя ядомъ. Комнаты, назначенныя для нея, остались въ томъ же видѣ, какъ были первоначально, и никто до пріѣзда Руневскаго не смѣлъ въ нихъ входить. Когда онъ удивлялся сходству старинаго портрета съ Дашей, Сугробина ему говорила:

— И немудрено, мой батюшка; вѣдь Прасковья-то Андреевна мнѣ родная тетка, а я родная бабушка Даши. Такъ что-жъ тутъ необыкновеннаго, если онѣ одна на другую похожи? А что съ Прасковьей-то Андреевной несчастье случилось, такъ и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русскаго, такъ и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и въ наше время иногда затменіе на людей находило; только не прогнѣвайся, мой батюшка, а все-таки умнѣе люди были теперешнихъ!

Семенъ Семеновичъ Теляевъ ничего не говорилъ, а только потчевалъ Руневскаго табакомъ, и щелкалъ и сосалъ попеременно.

Въ этотъ день Руневскій нашелъ случай объясниться съ Дашей и открылъ свое сердце старой бригадиршѣ. Она сначала очень удивилась, но нельзя было замѣтить, чтобы его предложеніе ей было непріятно. Напротивъ того, она поцѣловала его въ лобъ и сказала ему, что, съ ея стороны, она не желаетъ для своей внучки жениха лучше Руневскаго.

— А что касается до Даши,—прибавила она:—то я давно замѣтила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даромъ что старуха, а довольно знаю вашу братью мо-

лодежь! Впрочемъ, въ наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберетъ отецъ или мать, за того онѣ и выходили, а, право, женитьбы-то счастливѣе были! Да и воспитаніе было другое, не хуже вашего. И въ наше время, отецъ мой, науками-то не брезгали, да фанаберіи-то глупой дѣвкамъ въ голову не вбивали; оттого и выходили онѣ поскромнѣе вашихъ попрыгуній-то. Вотъ и я, мой батюшка, даромъ что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то къ ней ходили, и танцмейстеръ былъ. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной дѣвушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатья Савельича по волѣ отцовской вышла, а ужъ полюбила-то его какъ! Не наплачусь, бывало, какъ въ походъ ему идти придется, да нечего дѣлать, самъ, бывало, разсердится, какъ плакать-то начну. «Что ты, говоритъ, Марѳа Сергѣевна, расхныкалась-то? На то я и бригадиръ, чтобъ вѣрой и правдой матушкѣ-государынѣ служить! Не за печкой же сидѣть мнѣ, пока его сіятельство графъ Петръ Александровичъ будетъ съ турками воевать! Ворочусь, хорошо! не ворочусь, такъ ужъ по крайней мѣрѣ долгъ свой исполню по-солдатски!» А мундиръ-то какой красивый на немъ былъ! весь свѣтло-зеленый, шитый золотомъ, воротникъ алый, сапоги, какъ зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебѣ, мой батюшка, не до того; поѣзжай-ка въ Москву да попроси Дашиной руки у тетки ея, у Зориной, Ѳедосьи Акимовны; отъ нея Даша зависитъ, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда ужъ пріѣзжай сюда женихомъ да поживи съ нами. Надобно-жъ тебѣ покороче познакомиться съ твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневскій ужъ ее не слушалъ. Онъ бросился въ коляску и поскакалъ въ Москву.

Уже было поздно, когда Руневскій пріѣхалъ домой, и онъ почелъ за нужное отложить до другого утра свой визитъ къ Дашиной тетушкѣ. Между тѣмъ сонъ его убѣгалъ, и онъ, пользуясь лунною ночью, пошелъ ходить по городу безъ всякой цѣли, единственно чтобъ успокоить волненіе своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изрѣдка разда-

вались на тротуарахъ поспѣшные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиковъ. Вскорѣ и эти звуки утихли, и Руневскій остался одинъ посреди огромнаго города и самой глубокой тишины. Прошедъ всю Моховую, онъ повернулъ въ Кремлевскій садъ и хотѣлъ идти еще далѣе, какъ на одной скамьѣ увидѣлъ человѣка, погруженнаго въ размышленія. Когда онъ поровнялся со скамьею, незнакомецъ поднялъ голову, мѣсяцъ освѣтилъ его лицо, и Руневскій узналъ г. Рыбаренко. Въ другое время встрѣча съ сумасшедшимъ не могла бы ему быть пріятна, но въ этотъ вечеръ, какъ будто нарочно, онъ все думалъ о Рыбаренкѣ. Напрасно онъ самъ себѣ повторялъ, что всѣ слова этого человѣка не что̀ иное, какъ бредъ разстроеннаго разсудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсѣмъ сумасшедшій, что онъ, можетъ-быть, не безъ причины облекаетъ здравый смыслъ своихъ рѣчей въ странныя формы, которыя для непосвященнаго должны казаться дикими и несвязными, но коими онъ, Руневскій, не долженъ пренебрегать. Его даже мучила совѣсть за то, что онъ оставилъ Дашу одну въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ей угрожала опасность.

Увидѣвъ его, Рыбаренко всталъ и протянулъ къ нему руку.

— У насъ, видно, одни вкусы,—сказалъ онъ, улыбаясь.—Тѣмъ лучше! Сядемъ вмѣстѣ и поболтаемъ о чемъ-нибудь.

Руневскій молча опустился на скамью, и нѣсколько времени оба сидѣли, не говоря ни слова.

Наконецъ Рыбаренко прервалъ молчаніе.

— Признайтесь,—сказалъ онъ:—что, когда мы познакомились на балѣ, вы приняли меня за сумасшедшаго?

— Не могу скрыть отъ васъ,—отвѣчалъ Руневскій:—что вы мнѣ показались очень странными. Ваши слова, ваши замѣчанія...

— Да, да; я думаю, что я вамъ показался страннымъ. Меня разсердили проклятые упыри. Да, впрочемъ, и было за что сердиться, я никогда не видывалъ такого безстыдства. Что, вы послѣ никого изъ нихъ не встрѣчали?

— Я былъ на дачѣ бригадирши Сугробиной и видѣлъ тамъ тѣхъ, которыхъ вы называли упырями.

— На дачѣ у Сугробиной?—повторилъ Рыбаренко:—скажите, поѣхала ли къ ней ея внучка?

— Она теперь у нея, я видѣлъ ее недавно.

— Какъ, и она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогнѣвайтесь, почтенный другъ, но мнѣ кажется, что вы сильно наклепали на бѣдную бригадиршу. Она предобрая старушка и любитъ свою внучку отъ чистаго сердца.

Рыбаренко, казалось, не слыхалъ послѣднихъ словъ Руневскаго. Онъ приставилъ палецъ къ губамъ, съ видомъ человѣка, ошибшагося въ своемъ разсчетѣ.

— Странно,—сказалъ онъ наконецъ:—упыри обыкновенно такъ долго не мѣшкаютъ. А Теляевъ тамъ?

— Тамъ.

— Это меня еще болѣе удивляетъ. Теляевъ принадлежитъ къ самой лютой породѣ упырей и онъ еще гораздо кровожаднѣе Сугробиной. Но это такъ недолго продолжится, и, если вы принимаете участіе въ бѣдной дѣвушкѣ, я вамъ совѣтую взять свои мѣры какъ можно скорѣй.

— Воля ваша,—отвѣчалъ Руневскій:—я никакъ не могу думать, чтобъ вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша ни Теляевъ мнѣ не кажутся упырями.

— Какъ,—возразилъ Рыбаренко:—вы въ нихъ ничего не примѣтили необыкновеннаго? Вы не слыхали, какъ Семенъ Семеновичъ щелкаетъ?

— Слышалъ; но по мнѣ это еще не есть достаточная причина, чтобъ обвинять человѣка, почтеннаго лѣтами, служащаго уже болѣе 45-ти лѣтъ безпорочно и пользующагося общимъ уваженіемъ.

— О, какъ вы мало знаете Теляева! Но положимъ, что онъ щелкаетъ безъ всякаго намѣренія, неужели васъ ничто не поразило во всемъ быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нея въ домѣ, вы не почувствовали ни одного содроганія, ни одного изъ тѣхъ минутныхъ недуговъ, которые напоминаютъ намъ, что мы находимся вблизи существъ намъ антипатическихъ и принадлежащихъ другому міру?

— Что касается до такого рода ощущеній, то я не могу сказать, чтобы ихъ не имѣлъ; но я все приписалъ своему воображенію и думаю, что почувствовалъ ихъ у Сугробиной, какъ могъ бы почувствовать во всякомъ другомъ мѣстѣ. Къ тому-жъ характеръ и пріемы бригадирши, столь противоположные съ архитектурой и убранствомъ ея дома, безъ сомнѣнія, много содѣйствуютъ къ особенному расположенію духа тѣхъ, которые ее посѣщаютъ.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы замѣтили архитектуру ея дома?—сказалъ онъ.— Прекрасный фасадъ! совершенно въ итальянскомъ вкусѣ! Только будьте увѣрены, что не одно устройство дома на васъ подѣйствовало. Послушайте,—продолжалъ онъ, схвативъ руку Руневскаго:—будьте откровенны, скажите мнѣ, какъ другу, не случилось ли съ вами чего-нибудь особеннаго на дачѣ у старой Сугробиной?

Руневскій вспомнилъ о зеленыхъ комнатахъ, и такъ какъ Рыбаренко внушалъ ему невольную довѣренность, то онъ не почелъ за нужное что-либо отъ него скрывать и все ему разсказалъ такъ точно, какъ оно было. Рыбаренко слушалъ его со вниманіемъ и сказалъ ему, когда онъ кончилъ:

— Напрасно вы приписываете воображенію то, что̀ дѣйствительно съ вами случилось. Исторія покойной Прасковьи Андреевны мнѣ извѣстна. Если хотите, я вамъ когда-нибудь ее разскажу; впрочемъ, самыя любопытныя подробности могла бы вамъ сообщить Клеопатра Платоновна, если-бъ она только захотѣла. Но, ради Бога, не говорите легкомысленно о вашемъ приключеніи; оно имѣетъ довольно сходства и болѣе связи, нежели вы теперь можете подозрѣвать, съ однимъ обстоятельствомъ моей жизни, которое я долженъ вамъ сообщить, чтобы васъ предостеречь.

Рыбаренко нѣсколько времени помолчалъ, какъ бы желая собраться съ мыслями, и, прислонившись къ липѣ, возлѣ которой стояла скамья, началъ слѣдующимъ образомъ:

«Три года тому назадъ предпринялъ я путешествіе въ Италію для возстановленія разстроеннаго здоровья, въ особенности чтобы лѣчиться виноградным сокомъ.

«Прибывъ въ городъ Комо, на извѣстномъ озерѣ, куда обыкновенно посылаютъ больныхъ для этого рода лѣченія, услышалъ я, что на площади piazza Volta есть домъ, уже около ста лѣтъ никѣмъ необитаемый и извѣстный подъ названіемъ чортова дома (la casa del diavolo). Почти всякій день, идучи изъ предмѣстья borgo Vico, гдѣ была моя квартира, въ albergo del Angelo, чтобы навѣщать одного пріятеля, я проходилъ мимо этого дома,

но, не зная объ немъ ничего особеннаго, никогда не обращалъ на него вниманія. Теперь, услышавъ странное его названіе и нѣсколько любопытныхъ о немъ преданій, вовсе одно на другое непохожихъ, я нарочно пошелъ на piazza Volta и съ особеннымъ примѣчаніемъ началъ его осматривать. Наружность не обѣщала ничего необыкновеннаго: окна нижняго этажа съ толстыми желѣзными рѣшетками, ставни вездѣ затворены, стѣны обклеены объявленіями о молитвахъ по умершимъ, а ворота заперты и ужасно запачканы.

«Въ сторонѣ была лавка цырюльника, и мнѣ пришло въ голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотрѣть внутренность чортова дома?

«Входя, увидѣлъ я аббата, развалившагося въ креслахъ и обвязаннаго грязнымъ полотенцемъ. Толстый цырюльникъ, засучивъ рукава, тщательно и проворно мылилъ ему бороду и даже, въ жару дѣйствія, нерѣдко мазалъ его по носу и по ушамъ, что̀ однако аббатъ сносилъ съ большимъ терпѣніемъ.

«На вопросъ мой цырюльникъ отвѣчалъ, что домъ всегда запертъ, и что едва ли хозяинъ дозволитъ для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цырюльникъ принялъ меня за англичанина и, дѣлая руками пояснительные знаки, разсказалъ очень краснорѣчиво, что уже нѣсколько изъ моихъ соотечественниковъ старались получить позволеніе войти въ этотъ домъ, но что попытки ихъ оставались тщетными, ибо Донъ-Пьетро д'Урджина имъ всегда отвѣчалъ наотрѣзъ, что домъ его не трактиръ и не картинная галлерея.

«Пока цырюльникъ говорилъ, аббатъ слушалъ его со вниманіемъ, и я не разъ замѣтилъ, какъ подъ толстымъ слоемъ мыльной пѣны странная улыбка показывалась на его губахъ.

«Когда цырюльникъ, окончивъ свою работу, обтеръ ему бороду полотенцемъ, онъ всталъ, и мы вмѣстѣ вышли изъ лавки.

«— Могу васъ увѣрить, синьоръ,—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—что вы напрасно такъ безпокоитесь, и что чортовъ домъ нисколько не заслуживаетъ вашего вниманія. Это совершенно пустое строеніе, и все, что̀ вы могли о немъ слышать, не что̀ иное, какъ выдумка самого Донъ-Пьетро.

«— Помилуйте,—возразилъ я:—зачѣмъ бы хозяину кле-

пать на свой домъ, когда онъ, при такомъ стеченіи иностранцевъ, могъ бы отдавать его внаймы и получать большой доходъ?

«—На это есть болѣе причинъ, чѣмъ вы думаете,—отвѣчалъ аббатъ.

«— Какъ,—спросилъ я съ удивленіемъ, вспомнивъ извѣстный анекдотъ про Тюррена:—неужели онъ дѣлаетъ фальшивую монету?

«— Нѣтъ,—возразилъ аббатъ:—Донъ-Пьетро большой чудакъ, но честный человѣкъ. Говорятъ про него, что онъ торгуетъ запрещенными товарами и что даже онъ въ сношеніяхъ съ извѣстнымъ контрабандистомъ Титта Каннелли; но я этому не вѣрю.

«— Кто такой Титта Каннелли?—спросилъ я.

«— Титта Каннелли былъ лодочникомъ на нашемъ озерѣ, но разъ на рынкѣ онъ поспорилъ съ товарищемъ и убилъ его на мѣстѣ. Совершивъ преступленіе, онъ убѣжалъ въ горы и сдѣлался начальникомъ контрабандистовъ. Говорятъ, будто ввозимые имъ изъ Швейцаріи товары онъ складываетъ въ одной виллѣ, принадлежащей Донъ-Пьетро; еще говорятъ, что, кромѣ товаровъ, онъ въ той же виллѣ сохраняетъ большія суммы денегъ, пріобрѣтенныя имъ вовсе не торговлею; но, повторяю вамъ, я не вѣрю этимъ слухамъ.

«— Скажите же ради Бога, что̀ за человѣкъ вашъ Донъ-Пьетро, и что̀ значитъ вся эта исторія про чортовъ домъ?

«— Это значитъ, что Донъ-Пьетро, чтобы скрыть одно событіе, случившееся въ его семействѣ, и отвлечь вниманіе отъ настоящаго мѣста, гдѣ случилось это событіе, распустилъ о городскомъ домѣ своемъ множество слуховъ, одинъ нелѣпѣе другого. Народъ съ жадностью бросился на эти разсказы, возбуждающіе его любопытство, и забылъ о приключеніи, которое первоначально дало имъ поводъ.

«— Надобно вамъ знать, что хозяину чортова дома слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ. Отецъ его, который также назывался Донъ-Пьетро д'Урджина, не пользовался уваженіемъ своихъ согражданъ. Въ неурожайные годы, когда половина жителей умирала съ голоду, онъ, имѣя огромные запасы хлѣба, продавалъ его по необыкновенно высокой цѣнѣ, несмотря на несмѣтныя свои богатства. Въ одинъ изъ такихъ годовъ, не знаю для чего, предпринялъ онъ путешествіе въ ваше отечество. Я давно замѣтилъ,—продолжалъ аббатъ:—что вы не англичанинъ, а русскій,

несмотря на то, что синьоръ Финарди, мой цырюльникъ, увѣренъ въ противномъ. Итакъ, въ одинъ изъ самыхъ несчастныхъ годовъ старый Донъ-Пьетро отправился въ Россію, поручивъ всѣ дѣла своему сыну, теперешнему Донъ-Пьетро.

«— Между тѣмъ настала весна, новые урожаи обѣщали обильную жатву, и цѣна на хлѣбъ значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлѣбъ сталъ ни по чемъ. Сынъ Донъ-Пьетро, которому отецъ, уѣзжая, оставилъ строгія наставленія, сначала такъ дорожился, что немного сбывалъ своего товара; потомъ ему не стали уже давать цѣны, назначенной ему отцомъ, и наконецъ перестали къ нему приходить вовсе. Въ нашемъ краю, слава Богу, неурожаи очень рѣдки, и потому весь барышъ, на который надѣялся старый Урджина, обратился въ ничто. Сынъ его нѣсколько разъ къ нему писалъ, но перемѣна въ цѣнѣ произошла такъ быстро, что онъ не успѣлъ получить отъ отца разрѣшенія ее убавить.

«— Многіе увѣряютъ, что покойный Донъ-Пьетро былъ скупъ до невѣроятности, но я скорѣе думаю, что онъ былъ большой злодѣй и притомъ такой же чудакъ, какъ и его сынъ. Письма сего послѣдняго заставили его поспѣшно покинуть Россію и воротиться въ Комо. Если бы Донъ-Пьетро былъ такъ скупъ, какъ говорятъ, то онъ бы или продалъ свой хлѣбъ по существующей цѣнѣ, или оставилъ его въ магазинахъ; но онъ распустилъ въ городѣ слухъ, что раздаетъ его бѣднымъ, а вмѣсто того приказалъ весь запасъ вывалить въ озеро. Когда же въ назначенный день бѣдный народъ собрался передъ его домомъ, то онъ, высунувшись изъ окошка, закричалъ толпѣ, что хлѣбъ ея на днѣ озера, и что кто умѣетъ нырять, можетъ тамъ достать его. Такой поступокъ еще болѣе унизилъ его въ глазахъ жителей Комо, и они дали ему прозваніе злого, il cattivo.

«— Въ городѣ давно уже ходилъ слухъ, что онъ продалъ душу чорту, и что чортъ вручилъ ему каменную доску съ кабалистическими знаками, которая до тѣхъ поръ должна доставлять ему всѣ наслажденія земныя, пока не разобьется. Съ уничтоженіемъ ея магической силы, чортъ, по договору, получалъ право взять душу Донъ-Пьетро.

«— Тогда Донъ-Пьетро жилъ въ загородномъ домѣ, неда-

леко отъ villa d'Este. Въ одно утро пріоръ монастыря св. Севастіана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидѣлъ человѣка на черной лошади, который остановился у окна и ему сказалъ: «Знай, что я чортъ и ѣду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвезти его въ адъ. Разскажи это всей братіи». Черезъ нѣсколько времени пріоръ увидѣлъ того же человѣка, возвращающагося съ Донъ-Пьетро, лежащимъ поперекъ сѣдла. Онъ скакалъ во весь опоръ, покрывъ жертву свою чернымъ плащомъ. Сильный вѣтеръ раздувалъ этотъ плащъ, и пріоръ могъ замѣтить, что старикъ былъ въ халатѣ и въ ночномъ колпакѣ: чортъ, посѣтившій его неожиданно, засталъ его въ постели и не далъ ему времени одѣться.

«— Вотъ что̀ говоритъ преданіе. Дѣло въ томъ, что Донъ-Пьетро, вскорѣ по возвращеніи своемъ изъ Россіи, пропалъ безъ вѣсти. Сынъ его, чтобъ прекратить непріятные толки, объявилъ, что онъ скоропостижно умеръ, и велѣлъ для формы похоронить пустой гробъ. Послѣ погребенія, пришедши въ спальню отца, онъ увидѣлъ на стѣнѣ картину al fresco, которой никогда прежде не зналъ. То была женщина, играющая на гитарѣ. Несмотря на красоту лица, въ глазахъ ея было что-то столь непріятное и даже страшное, что онъ немедленно приказалъ ее закрасить. Черезъ нѣсколько времени увидѣли ту же фигуру на другомъ мѣстѣ; ее опять закрасили; но не прошло двухъ дней, какъ она еще явилась тамъ же, гдѣ была въ первый разъ. Молодой Урджина такъ былъ этимъ пораженъ, что навсегда покинулъ свою виллу, приказавъ сперва заколотить двери и окна. Съ тѣхъ поръ лодочники, проѣзжавшіе мимо нея ночью, нѣсколько разъ слышали въ ней звукъ гитары и два поющіе голоса, одинъ стараго Донъ-Пьетро, другой неизвѣстно чей; но послѣдній былъ такъ ужасенъ, что лодочники недолго останавливались подъ окнами.

«— Вы видите синьоръ,—продолжалъ аббатъ:—что хотя и есть нѣчто необыкновенное въ исторіи Донъ-Пьетро, но оно все относится къ загородному дому, на берегу озера, недалеко отъ villa d'Este, по ту сторону Capriccio, а не къ тому строенію, которое вамъ такъ хотѣлось видѣть.

«— Скажите мнѣ,—спросилъ я:—что̀, слышны ли еще въ виллѣ Донъ-Пьетро голоса и звукъ гитары?

«— Не знаю,—отвѣчалъ аббатъ:—но если это васъ интересуетъ,—прибавилъ онъ съ улыбкой:—то кто вамъ мѣ-

шаетъ, когда сдѣлается темно, пойти подъ окна виллы или, что̀ еще лучше, провести въ ней ночь?

«Этого-то мнѣ и хотѣлось.

«— Но какъ туда войти?—спросилъ я:—вѣдь вы говорите, что сынъ Донъ-Пьетро велѣлъ заколотить двери и окна?

«Аббатъ призадумался.

«— Правда,—сказалъ онъ наконецъ:—но если не ошибаюсь, то можно, влѣзши на утесъ, къ которому прислоненъ домъ, спуститься въ незаколоченное слуховое окно.

«Разговаривая такимъ образомъ, мы, сами того не замѣчая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущемъ вдоль озера къ villa d'Este. Аббатъ остановился передъ однимъ palazzo, котораго фасадъ казался выстроенъ по рисункамъ славнаго Палладія. Величественная красота зданія меня поразила, и я не могъ понять, какъ, живучи столько времени въ Комо, я ничего не слыхалъ о такомъ прекрасномъ дворцѣ.

«— Вотъ вилла Донъ-Пьетро,—сказалъ аббатъ:—вотъ утесъ, а вотъ то окно, въ которое вы можете влѣзть, если вамъ угодно.

«Въ голосѣ аббата было что-то насмѣшливое, и мнѣ показалось, что онъ сомнѣвается въ моей смѣлости. Но я твердо рѣшился, во что бы то ни стало, проникнуть тайну, сильно возбудившую мое любопытство.

«Въ этотъ день мнѣ не сидѣлось дома. Я рыскалъ по городу безъ цѣли, заходилъ въ готическій соборъ и безъ удовольствія смотрѣлъ на прекрасныя картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины съ фигами и виноградомъ и разъ даже опрокинулъ цѣлый лотокъ горячихъ каштановъ. Надобно вамъ знать, что въ Комо каштаны жарятъ на улицахъ; обычай этотъ существуетъ и въ другихъ итальянскихъ городахъ, но нигдѣ я не видалъ столько жаровень и сковородъ, какъ здѣсь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смѣялись отъ всего сердца и даже провожали благодареніями, когда за причиненный имъ убытокъ я имъ бросалъ нѣсколько цванцигеровъ.

«Вечеромъ было собраніе въ villa Sallazar. Большая часть общества состояла изъ нашихъ соотечественниковъ, прочіе почти всѣ были австрійскіе офицеры или итальянцы, пріѣхавшіе изъ Милана посѣтить прелестныя окрестности Комо.

«Когда я разсказалъ свое намѣреніе провести слѣдующую ночь въ villa Urgina, надо мной сначала начали смѣяться, потомъ мысль моя показалась оригинальною, а напослѣдокъ вызвалось множество охотниковъ раздѣлить со мною опасности моего предпріятія. Замѣчательно, что не только я, но и никто изъ жителей Милана не зналъ о существованіи этой виллы.

«— Позвольте, господа,—сказалъ я:—если мы всѣ пойдемъ туда ночевать, то экспедиція наша потеряетъ всю свою прелесть, и я увѣренъ, что чортъ не захочетъ пѣть въ присутствіи такого общества знатоковъ; но я согласенъ взять съ собой двухъ товарищей, которыхъ назначитъ судьба.

«Предложеніе было принято, и жребій палъ на двухъ моихъ пріятелей, изъ коихъ одинъ былъ русскій и назывался Владиміромъ, другой итальянецъ, по имени Антоніо. Владиміръ былъ мой искренній другъ и товарищъ моего дѣтства. Онъ такъ же, какъ и я, пріѣхалъ въ Комо лѣчиться виноградомъ и вмѣстѣ со мною долженъ былъ, по окончаніи лѣченія, ѣхать во Флоренцію и провести тамъ зиму. Антоніо былъ нашъ общій пріятель, и хотя мы познакомились съ нимъ только въ Комо, но образъ нашихъ мыслей и вообще нравы наши такъ были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вѣчно любить другъ друга и не забывать до самой смерти. Антоніо уже исполнилъ свою клятву.

«Но я напрасно предаюсь печальнымъ воспоминаніямъ и преждевременно намекаю на трагическій оборотъ, который приняла наша необдуманная шалость.

«Любезный другъ! Вы молоды и имѣете пылкій характеръ. Послушайте человѣка, узнавшаго, что̀ значитъ пренебрегать вещами, коихъ мы не въ состояніи понять и которыя, слава Богу, отдѣлены отъ насъ темной непроницаемой завѣсой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужасъ, отчаянье, сумасшествіе будутъ наградою его любопытства. Да, любезный другъ, я тоже молодъ, но волосы мои сѣды, глаза мои впалы, я въ цвѣтѣ лѣтъ сдѣлался старикомъ—я приподнялъ край покрывала, я заглянулъ въ таинственный міръ. Я такъ же, какъ и вы, тогда не вѣрилъ ничему, что̀ люди условились называть сверхъестественнымъ; но, несмотря на то, нерѣдко въ груди моей раздавались странные отголоски, противорѣчившіе моему убѣжденію. Я любилъ къ нимъ прислуши-

ваться, потому что мнѣ нравилась противоположность міра, тогда передо мною открывшагося, съ холодною прозою міра настоящаго; но я смотрѣлъ на картины, которыя развивались предо мною, какъ зритель смотритъ на интересную драму. Живая игра актеровъ его увлекаетъ, но между тѣмъ онъ знаетъ, что кулисы бумажныя, и что герой, покинувъ сцену, сниметъ шлемъ и надѣнетъ колпакъ. Поэтому, когда я затѣялъ ночевать въ villa Urgina, я не ожидалъ никакихъ приключеній, но только хотѣлъ возбудить въ себѣ то чувство чудеснаго, котораго искалъ такъ жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастіе послужитъ урокомъ для другихъ, то это мнѣ будетъ утѣшеніемъ, и пребываніе мое въ домѣ Донъ-Пьетро принесетъ хотя какую-нибудь пользу.

«На другой день, едва лишь смерклось, Владиміръ, Антоніо и я уже шли на ночлегъ въ таинственный palazzo. Малѣйшія обстоятельства этого вечера врѣзались въ моей памяти, и хотя съ тѣхъ поръ прошло три года, но я такъ живо помню всѣ подробности нашего разговора и нашихъ неосторожныхъ шутокъ, въ которыхъ мы такъ скоро раскаялись, что мнѣ кажется, будто все это происходило не далѣе какъ вчера.

«Проходя мимо villa Remondi, Антоніо остановился. Въ правомъ флигелѣ слышно было нѣсколько женскихъ голосовъ, поющихъ какую-то веселую пѣснь. Мелодія ея до сихъ поръ раздается въ моихъ ушахъ! «Подождемъ,—сказалъ Антоніо:—теперь еще рано, мы успѣемъ во-время туда придти». Сказавъ это, онъ хотѣлъ подойти къ окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись впередъ, споткнулся на камень и упалъ на землю, разбивъ окно головой. На шумъ его паденія выбѣжала молодая дѣвушка со свѣчою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антоніо было покрыто кровью. Дѣвушка казалась очень испуганною, она бѣгала, суетилась, принесла рукомойникъ съ водой и, восклицая безпрестанно: o, Dio! poverino! maladetta strada!—омыла ему лицо.

«— Это дурной знакъ!—сказалъ, улыбаясь, Антоніо, какъ скоро онъ оправился отъ своего паденія.

«— Да,—отвѣчалъ я:—не лучше ли намъ воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

«— О, нѣтъ, нѣтъ!—возразилъ онъ:—это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы послѣ смѣялись надо мной и думали, что мы, жители юга, нѣжнѣе васъ, русскихъ!

«Мы пошли далѣе. Минутъ черезъ десять насъ догнала та самая дѣвушка, которая изъ villa Remondi вышла на помощь къ Антоніо. Она и теперь къ нему обратилась и долго съ нимъ говорила вполголоса. Я замѣтилъ, что она съ трудомъ удерживалась отъ слезъ.

«— Что она тебѣ сказала?—спросилъ его Владиміръ, когда дѣвушка удалилась.

«— Бѣдная Пепина,—отвѣчалъ Антоніо:—проситъ меня, чтобы я черезъ отца моего выхлопоталъ прощеніе ея брату. Она говоритъ, что уже нѣсколько разъ ко мнѣ приходила, но никогда меня не заставала дома.

«— А кто ея братъ?—спросилъ я.

«— Какой-то контрабандистъ, по имени Титта.

«— А какъ фамилія этой дѣвушки?

«— Каннелли. Но что тебѣ до этого?

«— Титта Каннелли!—воскликнулъ я и вспомнилъ аббата и разсказъ его про стараго Урджина.

«Воспоминаніе это очень непріятно на меня подѣйствовало. Все, что я тогда считалъ выдумками, бреднями или плутовствомъ какихъ-нибудь мошенниковъ, теперь въ воображеніи моемъ приняло характеръ страшной истины, и я бы непремѣнно воротился, если-бъ мнѣ не было стыдно. Я сказалъ своимъ товарищамъ, что уже прежде слыхалъ о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскорѣ въ сторонѣ показался свѣтъ лампады. Она освѣщала одну изъ тѣхъ часовень, которыхъ такъ много въ Сѣверной Италіи и которыя служатъ хранилищемъ человѣческихъ костей. Я всегда имѣлъ отвращеніе отъ этого рода часовень, гдѣ въ симметрическомъ порядкѣ и какъ будто въ насмѣшку разставлены и развѣшаны узорами печальные остатки умершихъ. Но въ этотъ вечеръ я почувствовалъ невольный страхъ, когда мимоходомъ заглянулъ за желѣзную рѣшетку. Я ничего однако не сказалъ, и мы молча дошли до виллы Urgina.

«Намъ было очень легко влѣзть на утесъ и оттуда посредствомъ веревки спуститься въ слуховое окно. Тамъ мы зажгли одну изъ принесенныхъ съ собою свѣчъ и, нашедши проходъ изъ-подъ крыши въ верхній этажъ, очутились въ просторной залѣ, убранной по-старинному. Нѣсколько картинъ, представлявшихъ миѳологическіе предметы, развѣшаны были по стѣнамъ, мебели обтянуты шелковою тканью, а полъ составленъ изъ разноцвѣтнаго мрамора. Мы прошли пять или шесть подобныхъ покоевъ; въ

одномъ изъ нихъ увидѣли маленькую лѣстницу и спустились по ней въ большую комнату съ старинной кроватью подъ золоченымъ балдахиномъ. На столѣ, возлѣ кровати, была гитара, на полу лежали дребезги отъ каменной доски. Я поднялъ одинъ изъ этихъ обломковъ и увидѣлъ на немъ странные непонятные знаки.

«— Это, должно-быть, спальня стараго Донъ-Пьетро,— сказалъ Антоніо, приблизивъ свѣчу къ стѣнѣ:—вотъ та фигура, о которой тебѣ говорилъ аббатъ!

«Въ самомъ дѣлѣ, между дверью, ведущей на узкую лѣстницу, и кроватью виденъ былъ фрескъ, представляющій женщину необыкновенной красоты, играющую на гитарѣ.

«— Какъ она похожа на Пепину,—сказалъ Владиміръ:— я бы это принялъ за ея портретъ!

«— Да, — отвѣчалъ Антоніо: — черты лица довольно схожи, но у Пепины совсѣмъ другое выраженіе. У этой въ глазахъ что-то такое звѣрское, несмотря на ея красоту. Замѣть, какъ она косится на пустую кровать; знаешь ли, что мнѣ, при взглядѣ на нее, дѣлается страшно!

«Я ничего не говорилъ, но вполнѣ раздѣлялъ чувство Антоніо.

«Комната возлѣ спальни была большая круглая зала съ колоннами, а примыкавшіе къ ней съ разныхъ сторонъ покои были всѣ прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти какъ на дачѣ у Сугробиной, только еще богаче. Вездѣ отсвѣчивали большія зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогія матеріи. Гобелены представляли сюжеты изъ миѳологіи и изъ Аріостова Orlando. Здѣсь Парисъ сидѣлъ въ недоумѣніи, которой изъ трехъ богинь вручить золотое яблоко, а тамъ Ангелика съ Медоромъ обнимались подъ тѣнистымъ деревомъ, не замѣчая грознаго рыцаря, выглядывающаго на нихъ изъ-за кустовъ.

«Пока мы осматривали старинныя ткани, оживленныя красноватымъ отблескомъ свѣчи, остальныя части комнаты терялись въ неопредѣленномъ мракѣ, и когда я нечаянно поднялъ голову, то мнѣ показалось, что фигуры на потолкѣ шевелятся, и что фантастическія формы ихъ отдѣляются отъ потолка и, сливаясь съ темнотою, исчезаютъ въ глубинѣ залы.

«— Я думаю, что мы теперь можемъ лечь спать,—сказалъ Владиміръ:—но чтобы уже все сдѣлать по порядку, то вотъ

мой совѣтъ: ляжемъ въ трехъ разныхъ комнатахъ и завтра поутру разскажемъ другъ другу, что̀ съ нами случится въ продолженіе ночи.

«Мы согласились. Мнѣ, какъ предводителю экспедиціи, дали спальню Донъ-Пьетро; Владиміръ и Антоніо расположились въ двухъ отдаленныхъ комнатахъ, и вскорѣ во всемъ домѣ воцарилась глубокая тишина».

Здѣсь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь къ Руневскому, сказалъ:

— Я васъ, можетъ-быть, утомляю, любезный другъ, теперь уже поздно, не хочется ли вамъ спать?

— Нисколько,—отвѣчалъ Руневскій:—вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчалъ и продолжалъ слѣдующимъ образомъ:

«Оставшись одинъ, я раздѣлся, осмотрѣлъ свои пистолеты, легъ въ старинную кровать, подъ богатый балдахинъ, накрылъ себя штофнымъ одѣяломъ и готовился потушить свѣчу, какъ дверь медленно отворилась и вошелъ Владиміръ. Онъ поставилъ свѣчу свою на маленькій комодъ возлѣ кровати и, подошедши ко мнѣ, сказалъ:

«— Я цѣлый день не нашелъ случая поговорить съ тобой о нашихъ дѣлахъ. Антоніо уже спитъ; мы можемъ немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключеній. Я тебѣ еще не сказывалъ, что получилъ письмо отъ матушки. Она пишетъ, что обстоятельства ея непремѣнно требуютъ моего присутствія. Поэтому я не думаю, что проведу съ тобою зиму во Флоренціи.

«Извѣстіе это меня крайне огорчило. Владиміръ тоже казался невеселъ. Онъ сѣлъ ко мнѣ на постель, прочиталъ мнѣ письмо, и мы долго разговаривали о его семейныхъ дѣлахъ и о нашихъ взаимныхъ намѣреніяхъ. Пока онъ говорилъ, меня нѣсколько разъ въ немъ поражало что-то странное, но я не могъ дать себѣ отчета, въ чемъ именно оно состояло. Наконецъ онъ всталъ и сказалъ мнѣ растроганнымъ голосомъ:

«— Меня мучитъ какое-то предчувствіе; кто знаетъ, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой другъ... можетъ-быть, въ послѣдній разъ!

«— Что̀ съ тобой!—сказалъ я, засмѣявшись:—съ которыхъ поръ ты вѣришь предчувствіямъ?

«— Обними меня!—продолжалъ Владиміръ, необыкновеннымъ образомъ возвыся голосъ.

«Черты лица его перемѣнились, глаза налились кровью и горѣли какъ уголья. Онъ простеръ ко мнѣ руки и хотѣлъ меня обнять.

«— Поди, поди, Владиміръ,—сказалъ я, скрывая свое удивленіе:—дай Богъ тебѣ уснуть и забыть свои предчувствія!

«Онъ что-то проворчалъ сквозь зубы и вышелъ.

«Мнѣ показалось, что онъ страннымъ образомъ смѣется; но я не былъ увѣренъ, его ли я слышу голосъ, или чужой.

«Между тѣмъ глаза мои мало-по-малу сомкнулись, и я заснулъ. Не знаю, что̀ я увидѣлъ во снѣ, но, вѣроятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскорѣ съ испугомъ проснулся и началъ протирать глаза. Въ ушахъ моихъ раздавались аккорды гитары, и я сначала думалъ, что звуки эти не что̀ иное, какъ продолженіе моего сновидѣнія, но кто опишетъ мой ужасъ, когда между моею кроватью и стѣной я увидѣлъ женщину-фрескъ, вперившую въ меня какой-то страшный, нечеловѣческій взглядъ. Въ одной рукѣ держала она гитару, другою трогала струны. Ужасъ мною овладѣлъ, я схватилъ со стола пистолетъ и только-что хотѣлъ въ нее выстрѣлить, какъ она уронила гитару и упала на колѣни. Я узналъ Пепину.

«— Пощадите меня, синьоръ, — кричала бѣдная дѣвушка:—я ничего не хотѣла у васъ украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

«Мнѣ очень было стыдно, что я въ глазахъ ея обнаружилъ свой страхъ, и я всячески старался ее успокоить, спросивъ ее однако, зачѣмъ она ко мнѣ пришла и чего отъ меня хочетъ?

«— Ахъ,—отвѣчала Пепина:—послѣ того, какъ я догнала синьора Антоніо и съ нимъ говорила, я тихонько пошла за вами и видѣла, что вы влѣзли въ окно. Но я знала другой входъ, ибо этотъ домъ служитъ иногда убѣжищемъ брату моему Титта, объ которомъ вы, вѣрно, слыхали. Я изъ любопытства вошла за вами, и когда хотѣла воротиться, то увидѣла, что въ торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мнѣ невозможно выйти. Я прошла къ вамъ въ комнату и, не смѣя васъ разбудить, стала играть на гитарѣ, чтобы вы проснулись. Ахъ, не сердитесь на меня; любовь къ моему брату заставила меня васъ безпокоить. Я знаю, что вы другъ синьора Антоніо, такъ спасите, если можете, моего брата! Я вамъ клянусь всѣмъ, что̀ дорого моему сердцу, онъ давно хочетъ сдѣ-

латься честнымъ человѣкомъ; но если его будутъ преслѣдовать, какъ дикаго звѣря, онъ поневолѣ останется разбойникомъ, убійствами отяготитъ свою душу и погубитъ себя навсегда! О, достаньте ему прощеніе, умоляю васъ, на колѣняхъ умоляю васъ, сжальтесь надъ его раскаяньемъ, сжальтесь надъ его бѣдною сестрою!

«И, говоря это, она обнимала мои колѣна, и крупныя слезы катились по ея щекамъ. Огненнаго цвѣта лента, опоясывавшая ея голову, развязалась, и волосы, извиваясь какъ змѣи, упали на ея плечи. Она такъ была прекрасна, что въ эту минуту я забылъ о своемъ страхѣ, о виллѣ Urgina и объ ея преданіяхъ.

«Я вскочилъ съ кровати, и уста наши соединились въ долгій поцѣлуй. Знакомый голосъ въ ближней залѣ насъ пробудилъ.

«— Съ кѣмъ ты тамъ, Пепина?—сказалъ кто-то, отворяя дверь.

«— Ахъ, это мой братъ!—вскричала дѣвушка и, вырвавшись изъ моихъ объятій, убѣжала прочь.

«Въ комнату вошелъ человѣкъ въ плащѣ и въ шляпѣ съ чернымъ перомъ. Увидя меня, онъ остановился, и каково было мое удивленіе, когда, вглядѣвшись въ черты его лица, я въ немъ узналъ моего аббата!

«— А, это вы, signor Russo!—сказалъ онъ, затыкая за поясъ большой пистолетъ, которымъ готовился меня привѣтствовать.—Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемѣнѣ моего одѣянія. Вы меня видѣли аббатомъ, въ другой разъ вы меня увидите ветуриномъ или трубочистомъ. Увы! я до тѣхъ поръ долженъ скрываться, пока не получу прощенія отъ правительства!

«Сказавъ это, Титта Каннелли глубоко вздохнулъ; потомъ, принявъ веселый видъ, подошелъ ко мнѣ и ударилъ меня по плечу.

«— Я васъ нарочно,—сказалъ онъ:—зазвалъ въ виллу друга моего Донъ-Пьетро для небольшого дѣльца. Я нуждаюсь въ деньгахъ, а у меня здѣсь спрятано множество дорогихъ вещей, между прочимъ, цѣлый ящикъ колецъ, ожерелій, серегъ и браслетъ. За все я съ васъ возьму только 77 наполеоновъ.

«Онъ нагнулся подъ мою кровать, вытащилъ оттуда большой ящикъ, и я увидѣлъ кучу золотыхъ уборовъ, одинъ прекраснѣе другого. Нѣсколько фермуаровъ были украшены самыми рѣдкими каменьями,

и все работано съ такимъ вкусомъ, какъ я никогда еще не видывалъ. Цѣна, которую онъ требовалъ, мнѣ показалась очень необыкновенною, и хотя она, очевидно, доказывала, что эти вещи достались ему даромъ, но теперь было не время входить въ разбирательство; къ тому-жъ Пепининъ братъ, стоя между моимъ оружіемъ и мною, такъ краснорѣчиво игралъ своимъ пистолетомъ, что я почелъ за нужное тотчасъ согласиться и, раскрывъ свой кошелекъ, нашелъ въ немъ ровно 77 наполеоновъ, которые отдалъ разбойнику.

«— Благодарю васъ,—сказалъ онъ:—вы сдѣлали доброе дѣло! Теперь мнѣ только остается предупредить васъ, что если вы вздумаете открыть полиціи, откуда вы получили эти вещи, я вамъ непремѣнно размозжу голову. Желаю вамъ покойной ночи!

«Онъ мнѣ дружески пожалъ руку и исчезъ такъ скоро, что я не могъ видѣть, куда онъ скрылся. Я только слышалъ, какъ въ стѣнѣ повернулись потаенныя петли, и потомъ все погрузилось въ молчаніе. Взоры мои нечаянно упали на изображеніе на стѣнѣ, и я невольно вздрогнулъ. Мнѣ опять показалось, что это была не Пепина, а нарисованная женщина, которая нѣсколько минутъ тому назадъ выступила изъ стѣны и которую я цѣловалъ. Я сталъ сожалѣть, что въ то время не догадался посмотрѣть на стѣну, чтобы увидѣть, тамъ ли она или нѣтъ. Но я превозмогъ свою боязнь и принялся шарить въ ящикѣ. Между разными цѣпочками, флакончиками и прочими вещицами нашелъ я одну склянку рококо, величиною съ большое яблоко и оправленную въ золото съ необыкновеннымъ вкусомъ. Работа была такъ нѣжна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась въ ящикѣ, тщательно завернулъ ее въ платокъ и поставилъ подлѣ себя на столъ. Потомъ, закрывъ ящикъ, я опять легъ и вскорѣ заснулъ. Во снѣ я всю ночь видѣлъ Пепину и женщину-фрескъ, и часто, среди самыхъ пріятныхъ картинъ моего воображенія, я вскакивалъ въ страхѣ и опять засыпалъ. Меня также безпокоило какое-то болѣзненное чувство въ шеѣ. Я думалъ, что простудился на сквозномъ вѣтру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одѣвшись, спѣшилъ отыскать своихъ товарищей.

«Антоніо лежалъ въ бреду. Онъ, какъ сумасшедшій, махалъ руками и безпрестанно кричалъ:

«— Оставьте меня! Развѣ я виноватъ, что Венера пре-

краснѣйшая изъ богинь? Парисъ человѣкъ со вкусомъ, и я его непремѣнно сдѣлаю совѣстнымъ судьею въ Пекинѣ, какъ скоро въѣду въ свое китайское государство на крылатомъ грифонѣ!

«Я употреблялъ всѣ силы, чтобы привесть его въ себя, какъ вдругъ дверь отворилась, и Владиміръ, блѣдный, разстроенный, вбѣжалъ въ комнату.

«— Какъ,—вскричалъ онъ радостно, увидѣвъ Антоніо:—онъ живъ? Я его не убилъ? Покажи, покажи, куда я его ранилъ?

«Онъ бросился осматривать Антоніо; но раны нигдѣ не было видно.

«— Вотъ видишь,—сказалъ Антоніо:—я тебѣ говорилъ, что богъ Панъ такъ же искусно играетъ на свирѣли, какъ и стрѣляетъ изъ пистолета.

«Владиміръ не переставалъ щупать Антоніо и наконецъ, удостовѣрившись, что онъ живъ и не раненъ, вскричалъ съ восторгомъ:

«— Слава Богу, я его не убилъ, это былъ только дурной сонъ!

«— Друзья мои,—говорилъ я:—ради Бога объяснитесь, я ничего не могу понять!

«Наконецъ мнѣ и Владиміру удалось привести Антоніо въ память; но онъ такъ былъ слабъ, что я ничего не хотѣлъ у него спрашивать, а попросилъ Владиміра, чтобы онъ намъ разсказалъ, что̀ съ нимъ случилось ночью.

«— Вошедши въ свою комнату,—сказалъ Владиміръ:—я воткнулъ свѣчу въ одинъ изъ вѣтвистыхъ подсвѣчниковъ, которые, какъ огромные пауки, держались на золотой рамѣ зеркала, и тщательно осмотрѣлъ свои пистолеты. Мнѣ удалось отворить заколоченную ставню, и съ неизъяснимымъ удовольствіемъ я сталъ дышать чистымъ воздухомъ ночи. Все вокругъ меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздухъ такъ прозраченъ, что я могъ различать всѣ изгибы самыхъ отдаленныхъ горъ, между которыми башня замка Baradello величественно подымала голову. Я погрузился въ размышленія и уже около получаса смотрѣлъ на озеро и на горы, какъ легкій шорохъ за моими плечами заставилъ меня оглянуться. Свѣча очень нагорѣла, и я сначала ничего не могъ различить, но, вглядѣвшись хорошенько въ темноту, я увидѣлъ въ дверяхъ большую бѣлую фигуру.

«— Кто тамъ?—закричалъ я.

«— Фигура испустила жалобный вопль и, какъ будто на невидимыхъ колесахъ, приблизилась ко мнѣ. Я никогда не видалъ лица страшнѣе этого. Привидѣніе подняло обѣ руки, какъ бы желая завернуть меня въ свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовалъ въ эту минуту, но въ рукѣ моей былъ пистолетъ, раздался выстрѣлъ, и призракъ упалъ на землю, закричавъ:

«— Владиміръ! что ты дѣлаешь? я Антоніо!

«— Я бросился его подымать, но пуля пролетѣла ему сквозь грудь, кровь била фонтаномъ изъ раны, онъ хрипѣлъ какъ умирающій.

«— Владиміръ,—сказалъ онъ слабымъ голосомъ:—я хотѣлъ испытать твою храбрость, ты меня убилъ; прости мнѣ, какъ я тебѣ прощаю!

«— Я началъ кричать, ты прибѣжалъ на мой крикъ; мы оба перенесли Антоніо въ его комнату.

«— Что ты говоришь?—прервалъ я Владиміра:—я всю ночь не выходилъ изъ спальни. Послѣ того, какъ ты мнѣ прочиталъ письмо твоей матери и отъ меня ушелъ, я остался въ постели и ничего не знаю про Антоніо. Къ тому-жъ ты видишь, что онъ живъ и здоровъ, стало-быть, ты все это видѣлъ во снѣ!

«— Ты самъ говоришь во снѣ!—отвѣчалъ съ досадою Владиміръ:—никогда я къ тебѣ не приходилъ и не читалъ тебѣ никакого письма отъ матушки!

«Тутъ Антоніо всталъ со стула и къ намъ подошелъ.

«— О чемъ вы спорите?—сказалъ онъ.—Вы видите, что я живъ. Клянусь честью, что я никогда и не думалъ стращать Владиміра. Впрочемъ, мнѣ и не до того было. Когда я остался одинъ, я такъ же, какъ Владиміръ, сначала осмотрѣлъ свои пистолеты. Потомъ я легъ на диванъ, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолокъ и высокіе карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звѣри и птицы страннымъ образомъ сплетались съ цвѣтами, фруктами и разнаго рода узорами. Мнѣ показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображенію, я всталъ и началъ прохаживаться по залѣ. Вдругъ что-то сорвалось съ карниза и упало на полъ. Хотя въ залѣ такъ было темно, что я ничего не увидѣлъ, но я разсудилъ по звуку, что упавшее тѣло было мягкое, ибо оно совсѣмъ не произвело стуку, а только глухой шумъ. Черезъ нѣсколько времени я услышалъ за собою шаги какъ будто животнаго. Я оглянулся

и увидѣлъ золотого грифона величиною съ годовалаго теленка. Онъ смотрѣлъ на меня умными глазами и повертывалъ своимъ орлинымъ носомъ. Крылья его были подняты и концы ихъ свернуты въ кольца. Видъ его меня удивилъ, но не испугалъ. Однако, чтобы отъ него избавиться, я на него закричалъ и притопнулъ ногою. Грифонъ поднялъ одну лапу, опустилъ голову и, пошевеливъ ушами, сказалъ мнѣ человѣческимъ голосомъ: «Напрасно вы безпокоитесь, синьоръ Антоніо; я вамъ не сдѣлаю никакого вреда. Меня нарочно прислалъ за вами хозяинъ, чтобы я васъ отвезъ въ Грецію. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона увѣряетъ, что Парисъ только потому отдалъ его Венерѣ, что она обѣщала ему Елену. Минерва тоже говоритъ, что Парисъ покривилъ душой, и обѣ онѣ обратились съ жалобою къ старику; а старикъ имъ сказалъ: пусть васъ разсудитъ синьоръ Антоніо. Теперь, если вамъ угодно, садитесь на меня верхомъ, я васъ мигомъ привезу въ Грецію».

«— Мысль эта мнѣ такъ показалась забавна, что я уже подымалъ ногу, чтобы сѣсть на грифона, но онъ меня остановилъ. «Каждая земля,—сказалъ онъ:—имѣетъ свои обычаи. Всѣ надъ вами будутъ смѣяться, если вы пріѣдете въ Грецію въ сюртукѣ».—А какъ же мнѣ ѣхать?—спросилъ я. «Не иначе, какъ въ національномъ костюмѣ: раздѣньтесь донага и обдрапируйтесь плащомъ. Всѣ боги и даже богини точно такъ одѣты». Я послушался грифона и сѣлъ къ нему на спину. Онъ пустился бѣжать рысью, и мы долго ѣхали по разнымъ коридорамъ, черезъ длинные ряды комнатъ, спускались и подымались по лѣстницамъ и наконецъ прибыли въ огромную залу, освѣщенную розовымъ свѣтомъ. Потолокъ залы былъ расписанъ и представлялъ небо съ летающими птицами и купидонами, а въ концѣ ея возвышался золотой тронъ, и на немъ сидѣлъ Юпитеръ.—Это нашъ хозяинъ, Донъ-Пьетро д'Урджина!—сказалъ мнѣ грифонъ.

«— У ногъ трона протекала прозрачная рѣка, и въ ней купалось множество нимфъ и наядъ, одна прекраснѣе другой. Рѣку эту, какъ я узналъ послѣ, называли Ладо̀номъ. На берегу ея росло очень много тростнику, у котораго сидѣлъ аббатъ и игралъ на свирѣли.

«— Это кто такой?—спросилъ я у грифона.—«Это богъ Панъ»,—отвѣчалъ онъ.—Зачѣмъ же онъ въ сюртукѣ?—спросилъ я опять.—«Затѣмъ, что онъ принадлежитъ къ ду-

ховному сословію, и ему бы неприлично было ходить голымъ». — Но какъ же онъ можетъ сидѣть на берегу рѣки, въ которой купаются нимфы? — «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что онъ отъ нихъ отворачивается». — А для чего у него за поясомъ пистолеты? — «Охъ, — отвѣчалъ съ досадою грифонъ: — вы слишкомъ любопытны; почему я это знаю!»

«— Мнѣ показалось страннымъ видѣть въ комнатѣ рѣку, и я заглянулъ за китайскія ширмы, изъ-за которыхъ она вытекала. За ширмами сидѣлъ старикъ въ напудренномъ парикѣ и, повидимому, дремалъ. Подошедъ къ нему на цыпочкахъ, я увидѣлъ, что рѣка бѣжала изъ урны, на которую онъ опирался. Я началъ его разсматривать съ большимъ любопытствомъ; но грифонъ подбѣжалъ ко мнѣ, дернулъ меня за плащъ и сказалъ мнѣ на ухо: «Что ты дѣлаешь, безразсудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непремѣнно сдѣлается наводненіе. Ступай прочь, или мы всѣ погибнемъ!» Я отошелъ. Мало-помалу зала наполнилась народомъ. Нимфы, дріады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли изъ воды и, накинувъ на себя легкія покрывала, стали также съ ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидѣли съ богинями возлѣ Юпитерова трона и смотрѣли на гуляющихъ. Между послѣдними замѣтилъ я одного человѣка въ домино и въ маскѣ, который ни на кого не обращалъ вниманія, но которому всѣ давали мѣсто. — Это кто? — спросилъ я у грифона. Грифонъ, очевидно, смѣшался. — «Это такъ, кто-нибудь! — отвѣчалъ онъ, поправляя носомъ свои перья: — не обращайте на него вниманія!» Но въ эту минуту къ намъ подлетѣлъ красивый попугай и, сѣвъ ко мнѣ на плечо, проговорилъ гнусливымъ голосомъ: «Дурракъ, дурракъ, ты не знаешь, кто этотъ человѣкъ? Это нашъ настоящій хозяинъ, и мы его почитаемъ болѣе, нежели Донъ-Пьетро!» Грифонъ съ сердцемъ посмотрѣлъ на попугая и значительно мигнулъ ему однимъ глазомъ, но тотъ уже слетѣлъ съ моего плеча и исчезъ въ потолкѣ между купидонами и облаками.

«— Вскорѣ въ собраніи сдѣлалась суматоха. Толпа разступилась, и я увидѣлъ молодого человѣка въ фригійской шапкѣ, съ связанными руками, котораго вели двѣ нимфы. «Парисъ!» — сказалъ ему Юпитеръ, или Донъ-Пьетро д'Урджина (какъ называлъ его грифонъ): — Парисъ! говорятъ, что ты золотое яблоко несправедливо присудилъ

Венерѣ. Смотри, вѣдь я шутить не люблю. Ты у меня какъ разъ полетишь вверхъ ногами!»—О, могучій громовержецъ!—отвѣчалъ Парисъ:—клянусь Стиксомъ, я судилъ по чистой совѣсти. Впрочемъ, вотъ синьоръ Антоніо; онъ, я знаю, человѣкъ со вкусомъ. Вели ему произвесть слѣдствіе, и если онъ не точно такъ рѣшитъ, какъ я, то я согласенъ полетѣть вверхъ ногами!—«Хорошо,—сказалъ Юпитеръ:—быть по-твоему!»

«— Тутъ меня посадили подъ лавровое дерево и дали мнѣ въ руки золотое яблоко. Когда ко мнѣ подошли три богини, свирѣль аббата зазвучала сладостнѣе прежняго, тростникъ рѣки Ладона тихонько закачался, множество блестящихъ птичекъ вылетѣли изъ его средины, и пѣсни ихъ были такъ жалобны, такъ пріятны и странны, что я не зналъ, плакать ли мнѣ или смѣяться отъ удовольствія. Между тѣмъ старикъ за ширмами, вѣроятно, пробужденный пѣснями птичекъ и гармоническимъ шумомъ тростника, началъ кашлять и произнесъ слабымъ голосомъ и какъ будто впросонкахъ: «О, Сиринга! о, дочь моя!»

«— Я совсѣмъ забылся, но грифонъ очень больно ущипнулъ меня за руку и сердито сказалъ: «Скорѣй за дѣло, синьоръ Антоніо! Богини васъ ждутъ; рѣшайте, пока старикъ не проснулся!» Я превозмогъ сладостное волненіе, увлекшее меня далеко отъ виллы Urgina въ невѣдомый міръ цвѣтовъ и звуковъ, и, собравшись съ мыслями, устремилъ глаза на трехъ богинь. Онѣ сбросили съ себя покрывала. О, мои друзья! какъ вамъ описать, что я тогда почувствовалъ! Какими словами дать вамъ понятіе объ остромъ летучемъ огнѣ, который въ одно мгновеніе пробѣжалъ по всѣмъ моимъ жиламъ! Всѣ мои чувства смутились, всѣ понятія перемѣшались, я забылъ о васъ, о родныхъ, о самомъ себѣ, обо всей своей прошедшей жизни; я былъ увѣренъ, что я самъ Парисъ, и что мнѣ предоставлено великое рѣшеніе, отъ котораго пала Троя. Въ Юнонѣ я узналъ Пепину, но она была сто разъ прекраснѣе, нежели когда она вышла ко мнѣ на помощь изъ виллы Remondi. Она держала въ рукахъ гитару и тихонько трогала струны. Она была такъ обворожительна, что я уже протягивалъ руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросивъ взглядъ на Венеру, внезапно перемѣнилъ намѣреніе. Венера, сложивъ небрежно руки и приклонивъ голову къ плечу, смотрѣла на меня съ упрекомъ. Взоры наши встрѣтились, она покраснѣла и хотѣла отвернуться,

но въ этомъ движеніи столько было прелести, что я, не колеблясь, подалъ ей яблоко.

«— Парисъ восторжествовалъ; но человѣкъ въ домино и въ маскѣ подошелъ къ Венерѣ и, вынувъ изъ-подъ полы большой бичъ, началъ немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждомъ ударѣ: «Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ; впередъ знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашиваютъ; сегодня не твой день, а Юнонинъ; не могла ты подождать? вотъ же тебѣ за это, вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!» Венера плакала и рыдала, но незнакомецъ не переставалъ ее бить и, обратившись къ Юпитеру, сказалъ: «Когда я съ ней расправлюсь, то и до тебя дойдетъ очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитеръ и всѣ боги соскочили съ своихъ мѣстъ и бросились незнакомцу въ ноги, жалобно вопія: «Умилосердись, нашъ повелитель! Въ другой разъ мы будемъ исправнѣе!» Между тѣмъ Юнона или Пепина (я до сихъ поръ не знаю, кто она была) подошла ко мнѣ и сказала мнѣ съ очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый другъ, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мнѣ присудилъ яблоко. Вѣрно, такъ было написано въ неисповѣдимой книгѣ судьбы! Но, чтобы ты видѣлъ, сколь я уважаю твое безпристрастіе, позволь мнѣ дать тебѣ поцѣлуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовыя губы къ моей шеѣ. Въ эту же минуту я почувствовалъ въ ней сильную боль, которая однако тотчасъ прошла. Пепина такъ ко мнѣ ласкалась, такъ нѣжно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли отъ нея моего вниманія. Человѣкъ въ домино, запустивъ руку въ ея волосы, продолжалъ ее сѣчь самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Жестокость его меня взорвала.—Скоро ли ты перестанешь!—закричалъ я съ негодованіемъ и бросился на него. Но изъ-подъ черной маски сверкнули на меня невыразимымъ блескомъ маленькіе бѣлые глаза, и взглядъ этотъ меня пронзилъ, какъ электрическій ударъ. Въ одну секунду всѣ боги, богини и нимфы исчезли.

«— Я очутился въ китайской комнатѣ, возлѣ круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровыхъ куколъ, фаянсовыхъ мандариновъ и глиняныхъ китаекъ, которыя съ крикомъ: «Да здравствуетъ нашъ императоръ, великій Антоніо Фу-Цингъ-Тангъ!» бросились меня щекотать. Напрасно я старался отъ нихъ отдѣлаться. Маленькія ихъ

ручонки влѣзали мнѣ въ носъ и уши, я хохоталъ, какъ сумасшедшій. Не знаю, какъ я отъ нихъ избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подлѣ меня. Стократъ васъ благодарю за то, что вы меня спасли!

«И Антоніо началъ насъ обнимать и цѣловать, какъ ребенокъ. Когда прошелъ его восторгъ, то я, обратившись къ нему и къ Владиміру, сказалъ имъ очень серьезно:

«— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынѣшнюю ночь, что касается до меня, то я удостовѣрился, что всѣ чудесные слухи про этотъ palazzo не что иное, какъ выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я самъ его видѣлъ и съ нимъ говорилъ. Пойдемъ со мною, я вамъ покажу, что̀ я у него купилъ.

«Съ сими словами я пошелъ въ свою спальню. Антоніо и Владиміръ за мною послѣдовали, я открылъ ящикъ, всунулъ въ него руку и вытащилъ человѣческія кости! Я ихъ съ ужасомъ отбросилъ и побѣжалъ къ столу, на который наканунѣ поставилъ склянку рококо. Развернувъ платокъ, я остолбенѣлъ. Въ немъ былъ черепъ ребенка. Пустой кошелекъ мой лежалъ подлѣ него.

«— Это ты купилъ у твоего контрабандиста?—спросили меня въ одинъ голосъ Антоніо и Владиміръ.

«Я не зналъ, что̀ отвѣчать. Владиміръ подошелъ къ окну и воскликнулъ съ удивленіемъ:

«— Ахъ, Боже мой! гдѣ же озеро?

«Я также подошелъ къ окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидѣлъ, что смотрю изъ окна чортова дома.

«— Какъ мы сюда попали?—спросилъ я, обращаясь къ Антоніо.

«Но Антоніо не могъ мнѣ отвѣчать. Онъ былъ чрезвычайно блѣденъ, силы его покинули, и онъ опустился въ кресла. Тогда я только замѣтилъ, что у него на шеѣ маленькая синяя ранка, какъ будто отъ піявки, но немного болѣе. Я тоже чувствовалъ слабость и, подошедъ къ зеркалу, увидѣлъ у себя на шеѣ такую же ранку, какъ у Антоніо. Владиміръ ничего не чувствовалъ, и ранки у него не было. На вопросы мои Владиміръ признался, что когда онъ выстрѣлилъ въ бѣлый призракъ и потомъ узналъ своего друга, то Антоніо умолялъ его, чтобы онъ съ нимъ въ послѣдній разъ поцѣловался; но Владиміръ никакъ не могъ на это рѣшиться, потому что его пугало что-то такое во взглядѣ Антоніо.

«Мы еще разсуждали о нашихъ приключеніяхъ, какъ

кто-то сильно сталъ стучаться въ ворота. Мы увидѣли полицейскаго офицера съ шестью солдатами.

«— Господа,—кричалъ онъ снаружи:—отворите ворота; вы арестованы отъ имени правительства!

«Но ворота были такъ крѣпко заколочены, что ихъ принуждены были сломать. Когда офицеръ вошелъ въ комнату, мы его спросили, за что мы арестованы?

«— За то,—отвѣчалъ онъ:—что вы издѣваетесь надъ покойниками и нынѣшнюю ночь перетаскали всѣ кости изъ Комской часовни. Одинъ аббатъ, проходивши мимо, видѣлъ, какъ вы ломали рѣшетку, и сегодня утромъ на васъ донесъ.

«Мы тщетно протестовали, офицеръ непремѣнно хотѣлъ, чтобы мы шли за нимъ. Къ счастью, я увидѣлъ комскаго подесту (извѣстнаго археолога R....i), съ которымъ былъ знакомъ, и призвалъ его на помощь. Узнавъ меня и Антоніо, онъ очень передъ нами извинялся и велѣлъ привесть аббата, сдѣлавшаго на насъ доносъ; но его нигдѣ не могли отыскать. Когда я разсказалъ подестѣ, что съ нами случилось, онъ нисколько не удивился, но пригласилъ меня въ городской архивъ. Антоніо былъ такъ слабъ, что не могъ за нами слѣдовать, а Владиміръ остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли въ архивъ, подеста раскрылъ большой in-folio и прочиталъ слѣдующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казненъ публично на городской площади разбойникъ GioramBatista Cannelli, около двадцати лѣтъ съ шайкою своею наполнявшій ужасомъ окрестности Комо и Милана. Родомъ онъ изъ Комо, лѣтъ ему по собственному показанію 50. Пришедъ на мѣсто казни, онъ не хотѣлъ пріобщиться Святыхъ Тайнъ и умеръ не какъ христіанинъ, а какъ язычникъ».

«Сверхъ того подеста (человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ заслуживающій уваженіе и который скорѣе бы далъ себѣ отрѣзать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открылъ мнѣ, что чортовъ домъ построенъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда находился языческій храмъ, посвященный Гекатѣ и Ламіямъ. Многія пещеры и подземельные ходы этого храма, какъ гласитъ молва, и понынѣ сохранились. Они ведутъ глубоко въ нѣдра земли, и древніе думали, что они имѣютъ сообщеніе съ Тартаромъ. Въ народѣ ходитъ слухъ, что Ламіи и Эмпузы, которыя,

какъ вамъ извѣстно, имѣли много сходства съ нашими упырями, и понынѣ еще бродятъ около посвященнаго имъ мѣста, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать къ себѣ неопытныхъ людей и высасывать изъ нихъ кровь. Странно еще то, что Владиміръ черезъ нѣсколько дней въ самомъ дѣлѣ получилъ письмо отъ своей матери, въ которомъ она его просила возвратиться въ Россію».

Рыбаренко замолчалъ и опять погрузился въ размышленія.

— Что-жъ,—спросилъ Руневскій:—и вы не дѣлали никакихъ разысканій о вашемъ приключеніи?

— Дѣлалъ,—отвѣчалъ Рыбаренко.—Сколько я ни уважалъ подесту, но истолкованіе его мнѣ не казалось вѣроятнымъ.

— И что-жъ вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о братѣ ея Титта. Она говорила, что у нея никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвѣчала, что она дѣйствительно вышла изъ виллы Remondi на помощь къ Антоніо, но что никогда она насъ не догоняла и не просила Антоніо, чтобы онъ выхлопоталъ прощеніе ея брату. Никто также ничего не зналъ о прекрасномъ домѣ Донъ-Пьетро, между виллою Remondi и виллою d'Este, и когда я нарочно пошелъ его отыскивать, я ничего не нашелъ. Происшествіе это сдѣлало на меня сильное впечатлѣніе. Я выѣхалъ изъ Комо, оставивъ Антоніо больнымъ. Чрезъ мѣсяцъ я узналъ въ Римѣ, что онъ умеръ отъ изнеможенія. Я самъ такъ былъ слабъ, какъ будто послѣ сильной и продолжительной болѣзни; но наконецъ старанія искусныхъ врачей возвратили мнѣ, хотя не совсѣмъ, потерянное здоровье. Проживъ еще годъ въ Италіи, я возвратился въ Россію и вступилъ въ кругъ своихъ прежнихъ занятій. Я работалъ съ усердіемъ, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминаніе о пребываніи моемъ въ Комо приводило меня въ содроганіе. Повѣрите ли вы мнѣ, что я и теперь часто не знаю, куда мнѣ дѣваться отъ этого воспоминанія! Оно повсюду меня преслѣдуетъ, какъ червь подтачиваетъ мой разсудокъ, и бываютъ минуты, что я готовъ лишить себя жизни, чтобы только избавиться отъ его присутствія! Я бы ни за что не рѣшился объ этомъ говорить, если бы не думалъ, что разсказъ мой вамъ послужитъ предостереженіемъ. Вы видите, что похожденія

мои нѣсколько похожи на то, что̀ съ вами случилось на дачѣ старой бригадирши. Ради Бога, берегитесь, любезный другъ, а особливо не вздумайте шутить надъ вашимъ приключеніемъ.

Пока Рыбаренко говорилъ, заря уже начала освѣщать горизонтъ.

Сотни башенъ, колоколенъ и позолоченныхъ главъ заиграли солнечными лучами. Свѣжій вѣтеръ повѣялъ отъ востока, и громкій полнозвучный ударъ въ колоколъ раздался на Иванѣ Великомъ. Ему отвѣчали, одинъ послѣ другого, всѣ колокола соборовъ кремлевскихъ, потомъ всѣхъ московскихъ церквей. Пространство наполнилось звукомъ, который, какъ будто на незримыхъ волнахъ, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась въ необъятную гармонику.

Въ это время странное чувство происходило въ груди Руневскаго. Съ благоговѣніемъ внималъ онъ священному звону колоколовъ, съ любовью смотрѣлъ на блестящій міръ, красующійся передъ нимъ. Онъ видѣлъ въ немъ образъ будущаго счастья, и чѣмъ болѣе увлекался этою мыслью, тѣмъ болѣе страшныя видѣнія, вызванныя изъ мрака разсказами Рыбаренки, блѣднѣли и исчезали.

Рыбаренко также былъ погруженъ въ размышленія, но глубокая грусть омрачала его лицо. Онъ былъ смертельно блѣденъ и не сводилъ глазъ съ Ивана Великаго, какъ будто бы желалъ измѣрить его высоту.

— Пойдемъ,—сказалъ онъ наконецъ Руневскому:—вамъ нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневскій, простившись съ Рыбаренкой, отправился домой.

V.

Когда онъ вошелъ въ домъ Дашиной тетушки, Ѳедосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ея, Софья Карповна, приняли его съ большою привѣтливостью. Но обхожденіе матери тотчасъ съ нимъ перемѣнилось, какъ скоро онъ объявилъ, зачѣмъ къ ней пріѣхалъ.

— Какъ,—вскричала она:—что̀ это значитъ? А Софья-то? Развѣ вы для того такъ долго ѣздили въ мой домъ, чтобы надъ нею смѣяться? Позвольте вамъ сказать: послѣ вашихъ посѣщеній, послѣ всѣхъ слуховъ, которыми наполненъ городъ о вашей женитьбѣ, поведеніе это мнѣ ка-

жется чрезвычайно страннымъ! Какъ, милостивый государь? обнадеживъ мою дочь, когда уже всѣ ее считаютъ невѣстой, вы вдругъ сватаетесь на другой и просите ея руки—у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти какъ громъ поразили Руневскаго. Онъ только теперь догадался, что Зорина давно уже на него мѣтила, какъ на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и въ то же время понялъ ея тактику. Пока еще она питала надежду, всѣ ея дѣйствія были разсчитаны, чтобы удержать Руневскаго въ кругу ея общества, она старалась отгадывать и предупреждать всѣ его желанія; но теперь, при неожиданномъ требованіи, она рѣшилась прибѣгнуть къ послѣднему средству и чрезъ трагическую сцену надѣялась вынудить у него обѣщаніе. Къ несчастью своему, она ошиблась въ разсчетѣ, ибо Руневскій весьма почтительно и холодно отвѣчалъ ей, что онъ никогда и не думалъ жениться на Софьѣ Карповнѣ, что онъ пріѣхалъ просить руки Даши и надѣется, что она не имѣетъ причинъ ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь отъ злости, разсказала ей въ чемъ дѣло. Софья Карповна не упала въ обморокъ, но залилась слезами, и съ ней сдѣлалась истерика.

— Боже мой, Боже мой,—кричала она:—что я ему сдѣлала? За что хочетъ онъ убить меня? Нѣтъ, я не снесу этого удара, лучше тысячу разъ умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свѣтѣ!

— Вотъ въ какое положеніе вы привели Софью,—сказала ему Зорина.—Но это не можетъ такъ остаться!

Софья Карповна такъ искусно играла свою роль, что Руневскому стало ея жалко.

Онъ хотѣлъ отвѣчать, но ни матери ни Софьи Карповны уже не было въ комнатѣ. Подождавъ нѣсколько времени, онъ отправился домой съ твердымъ намѣреніемъ не прежде возвратиться на дачу къ бригадиршѣ, какъ попытавшись еще разъ получить отъ Дашиной тетушки удовлетворительный отвѣтъ.

Онъ сидѣлъ у себя, задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистръ Зоринъ желаетъ съ нимъ говорить. Онъ приказалъ просить и увидѣлъ молодого человѣка, коего открытое и благородное лицо предупреждало въ его пользу. Зоринъ былъ родной братъ Софьи Карповны; но такъ какъ онъ только-что пріѣхалъ изъ Тиф-

лиса, то Руневскій никогда его не видѣлъ и не имѣлъ о немъ никакого понятія.

— Я пришелъ съ вами говорить о дѣлѣ, касающемся до насъ обоихъ,—сказалъ Зоринъ, учтиво поклонившись.

— Прошу садиться,—сказалъ Руневскій.

— Два мѣсяца тому назадъ вы познакомились съ моею матерью, начали ѣздить въ домъ къ матушкѣ, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи,—прервалъ его Руневскій:—но могу васъ увѣрить, что не я тому причиной.

— Сестра была увѣрена въ вашей любви, и съ самаго начала обхожденіе ваше съ нею оправдывало ея предположенія. Вамъ удалось внушить ей участіе, и она васъ полюбила. Вы даже съ нею объяснились...

— Никогда!—воскликнулъ Руневскій.

Глаза молодого Зорина засверкали отъ негодованія.

— Послушайте, милостивый государь,—вскричалъ онъ, выходя изъ предѣловъ холодной учтивости, въ которыхъ сначала хотѣлъ остаться:—вамъ, вѣрно, неизвѣстно, что когда я еще былъ на Кавказѣ, то Софья мнѣ объ васъ писала, отъ нея я знаю, что вы обѣщали просить ея руки, и вотъ ея письма!

— Если Софья Карповна въ нихъ это говоритъ,—отвѣчалъ Руневскій, не дотрогиваясь до писемъ, которыя Зоринъ бросилъ на столъ:—то я сожалѣю, что долженъ опровергнуть ея слова. Я повторяю вамъ, что не только никогда не хотѣлъ просить ея руки, но и не давалъ ей малѣйшаго повода думать, что я ее люблю!

— Итакъ, вы не намѣрены на ней жениться?

— Нѣтъ. И доказательствомъ тому, что я нарочно пріѣхалъ въ Москву просить у вашей матушки руки ея племянницы.

— Довольно. Я надѣюсь, что вы не откажете мнѣ въ удовлетвореніи за оскорбленіе, которое нанесли моему семейству?

— Я всегда къ вашимъ услугамъ, но прежде прошу васъ обдумать вашъ поступокъ. Можетъ-быть, при хладнокровномъ размышленіи, вы убѣдитесь, что я никогда и не помышлялъ наносить оскорбленій вашему семейству.

Молодой ротмистръ бросилъ гордый взглядъ на Руневскаго.

— Завтра, въ пять часовъ, я васъ ожидаю на Влади-

мірской дорогѣ, на двадцатой верстѣ отъ Москвы,—сказалъ онъ сухо.

Руневскій поклонился въ знакъ согласія. Оставшись одинъ, онъ началъ заниматься приготовленіями къ слѣдующему утру. У него мало было знакомыхъ въ Москвѣ; къ тому-жъ почти всѣ были на дачахъ, итакъ, не удивительно, что выборъ его палъ на Рыбаренку.

На другой день, въ три часа утра, онъ и Рыбаренко уже ѣхали по Владимірской дорогѣ и на условленномъ мѣстѣ нашли Зорина съ его секундантомъ.

Рыбаренко подошелъ къ Зорину и взялъ его за руку.

— Владиміръ,—сказалъ онъ, сжавъ ее крѣпко:—ты не правъ въ этомъ дѣлѣ; помирись съ Руневскимъ!

Зоринъ отвернулся.

— Владиміръ,—продолжалъ Рыбаренко:—не шути съ судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братецъ,—сказалъ Владиміръ, освобождая свою руку изъ рукъ Рыбаренки:—теперь не время говорить о пустякахъ!

Они углубились въ кустарникъ.

Секундантъ Зорина былъ маленькій офицеръ съ длинными черными усами, которые онъ крутилъ безпрерывно. Съ самаго начала лицо его показалось Руневскому знакомымъ; но, когда, размѣряя шаги для барьера, маленькій офицеръ началъ особеннымъ образомъ подпрыгивать, Руневскій тотчасъ узналъ въ немъ Фрышкина, того самаго, надъ которымъ Софья Карповна такъ смѣялась на балѣ, гдѣ Руневскій съ ней познакомился.

— Друзья мои,—сказалъ Рыбаренко, обращаясь къ Владиміру и къ Руневскому:—помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что одинъ изъ васъ не воротится домой!

Но Фрышкинъ, принявъ сердитый видъ, подскочилъ къ Рыбаренкѣ.

— Позвольте объяснить,—сказалъ онъ, уставивъ на него большіе красные глаза:—здѣсь оскорбленіе нестерпимое-съ... примиреніе невозможно-съ... здѣсь обижено почтенное семейство-съ, весьма почтенное-съ... я до примиренія не допущу-съ... а если бы пріятель мой Зоринъ и согласился, то я самъ, Егоръ Фрышкинъ, буду стрѣляться вмѣсто него-съ!

Оба противника уже стояли одинъ противъ другого. Вокругъ нихъ царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьемъ курковъ.

Фрышкинъ не переставалъ горячиться; онъ былъ красенъ какъ ракъ.

— Да,—кричалъ онъ:—я самъ хочу стрѣляться съ г. Руневскимъ-съ! Если пріятель мой Зоринъ его не убьетъ, такъ я его убью-съ.

Выстрѣлъ прервалъ его рѣчь, и отъ головы Владиміра отлетѣлъ клочокъ черныхъ кудрей. Почти въ ту же минуту раздался другой выстрѣлъ, и Руневскій грянулся на землю съ окровавленною грудью. Владиміръ и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; онъ былъ лишенъ чувствъ.

— Это твое видѣніе въ виллѣ Урджина!—сказалъ Рыбаренко на ухо Владиміру.—Ты убилъ друга.

Руневскаго перенесли въ коляску, и такъ какъ домъ бригадирши былъ самый ближній и хозяйка всѣмъ извѣстна, какъ добрая и человѣколюбивая старушка, то его отвезли къ ней, несмотря на сопротивленія Рыбаренки.

Долго Руневскій пролежалъ безъ памяти. Когда онъ началъ приходить въ себя, первое, что̀ ему бросилось въ глаза, былъ портретъ Прасковьи Андреевны, висящій надъ диваномъ, на которомъ онъ лежалъ. Въ нишѣ стояла старинная кровать съ балдахиномъ, а посреди стѣны виденъ былъ огромный каминъ.

Руневскій узналъ свою прежнюю квартиру, но онъ никакъ не могъ понять, какимъ образомъ онъ въ нее попалъ и отчего онъ такъ слабъ. Онъ хотѣлъ встать, но сильная боль въ груди удержала его на диванѣ, и онъ сталъ вспоминать свои похожденія до поединка. Онъ также вспомнилъ, какъ дрался съ Зоринымъ, но не зналъ, когда это было и сколько времени продолжался его обморокъ. Пока онъ размышлялъ о своемъ положеніи, вошелъ незнакомый докторъ, осмотрѣлъ его рану и, пощупавъ пульсъ, объявилъ, что у него лихорадка. Ночью нѣсколько разъ приходилъ Яковъ и давалъ ему лѣкарство.

Такимъ образомъ прошло нѣсколько дней, въ продолженіе коихъ онъ никого не видалъ, кромѣ доктора и Якова. Съ этимъ послѣднимъ онъ иногда разговаривалъ о Дарьѣ Александровнѣ; но онъ могъ отъ него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Докторъ, посѣщая Руневскаго, говорилъ, что ему нужно какъ можно болѣе спокойствія, и на вопросъ его, скоро ли ему можно будетъ

встать, отвѣчалъ, что онъ еще долженъ пролежать, по крайней мѣрѣ, недѣлю. Все это еще болѣе усилило безпокойство и нетерпѣніе Руневскаго, и лихорадка его, вмѣсто того, чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

Въ одну ночь, когда сильный жаръ никакъ не давалъ ему заснуть, странный шумъ раздался близъ него. Онъ сталъ прислушиваться, и ему показалось, что шумъ этотъ происходитъ въ покояхъ, смежныхъ съ его комнатою. Вскорѣ онъ началъ различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны:

— Подождите хоть одинъ день, Марѳа Сергѣевна,— говорила Клеопатра Платоновна:—подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя,—отвѣчала Сугробина.—Да и ожидать-то къ чему? Немного раньше, немного позже, а все тѣмъ же кончится. А ты, сударыня, ужъ всегда расхныкаешься, какъ дѣвчонка какая. И въ тотъ разъ та же была исторія, какъ до Дашиной-то матери дѣло дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если-бъ крови-то видѣть не могла?

— Вы не хотите?—вскричала Клеопатра Платоновна:— вы не хотите одинъ разъ отказаться отъ...

— Рыцарь Амвросій!—закричала Сугробина.

Руневскій не могъ удержаться, чтобы при этихъ словахъ не привстать и не приложить глаза къ ключевой дырѣ.

Среди комнаты стоялъ Семенъ Семеновичъ Теляевъ, одѣтый съ ногъ до головы въ желѣзныя латы. Передъ нимъ на полу лежалъ какой-то предметъ, закрытый краснымъ сукномъ.

— Что тебѣ надобно, Марѳа?—спросилъ онъ грубымъ голосомъ.

— Пора, мой батюшка!—прошептала старуха.

Тутъ Руневскій замѣтилъ, что на бригадиршѣ было платье яркаго краснаго цвѣта, съ вышитою на груди большою черною летучею мышью. На латахъ Теляева изображенъ былъ филинъ, и на шлемѣ его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее бореніе, подошла къ стѣнѣ и, сорвавъ съ нея небольшую доску съ странными, непонятными знаками, бросила ее на полъ и разбила въ дребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и изъ потаенной двери

вошелъ въ комнату высокій человѣкъ въ черномъ домино и въ маскѣ, при видѣ коего Руневскій тотчасъ догадался, что это тотъ самый, котораго видѣлъ Антоніо въ виллѣ Донъ-Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляевъ обмерли отъ страха, когда онъ вошелъ.

— Ты ужъ здѣсь?—сказала, дрожа, бригадирша.

— Пора!—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Подожди хоть одинъ день, подожди хоть до утра! Отецъ ты мой, кормилецъ, голубчикъ мой, благодѣтель!

Старуха упала на колѣни; лицо ея стало страшнымъ образомъ кривляться.

— Не хочу ждать!—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Еще хоть часочекъ!—простонала бригадирша.

Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты!—отвѣчалъ тотъ.—Воспользуйся ими, если можешь, старая вѣдьма!

Онъ подалъ знакъ Теляеву. Семенъ Семеновичъ нагнулся, поднялъ съ полу красное сукно, и Руневскій увидѣлъ Дашу, лежащую безъ чувствъ, съ связанными руками. Онъ громко вскрикнулъ и рванулся соскочить съ дивана, но на него сверкнули маленькіе бѣлые глаза чернаго домино и пригвоздили его на мѣстѣ. Онъ ничего болѣе не видалъ; въ ушахъ его страшно шумѣло; онъ не могъ сдѣлать ни одного движенія. Вдругъ холодная рука провела по его лицу, и оцѣпенѣніе его исчезло. За нимъ стояло привидѣніе Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахаломъ.

— Хотите жениться на моемъ портретѣ?—сказала она.—Я вамъ дамъ свое кольцо, и вы завтра его надѣнете моему портрету на палецъ. Не правда ли, вы это сдѣлаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и онъ упалъ на подушки, лишенный чувствъ.

Долго былъ боленъ Руневскій, и почти все время онъ не переставалъ бредить. Иногда онъ приходилъ въ себя, но тогда мрачное отчаянье блистало въ его глазахъ. Онъ былъ увѣренъ въ смерти Даши; и хотя онъ ни въ чемъ не былъ виноватъ, но проклиналъ себя за то, что не могъ ее спасти. Лѣкарства, которыя ему подносили, онъ

съ бѣшенствомъ кидалъ далеко отъ себя, срывалъ перевязи съ своей раны и часто приходилъ въ такое изступленіе, что Яковъ боялся къ нему подойти.

Однажды страшный пароксизмъ только-что миновался, природа взяла верхъ надъ отчаяньемъ и онъ непремѣнно погружался въ благодѣтельный сонъ, какъ ему показалось, что онъ слышитъ голосъ Даши. Онъ раскрылъ глаза, но въ комнатѣ не было никого, и онъ вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ. Во снѣ онъ былъ перенесенъ въ виллу Урджина. Рыбаренко водилъ его по длиннымъ заламъ и показывалъ ему мѣста, гдѣ съ нимъ случились тѣ необыкновенныя происшествія, которыя онъ ему разсказывалъ.

— Сойдемъ внизъ по этой лѣстницѣ,—говорилъ Рыбаренко:—я вамъ покажу ту залу, куда Антоніо ѣздилъ на грифонѣ.

Они начали спускаться, но лѣстницѣ не было конца. Между тѣмъ воздухъ становился все жарче и жарче, и Руневскій замѣтилъ, какъ сквозь щели стѣнъ, по обѣимъ сторонамъ лѣстницы, время отъ времени мелькалъ красный огонь.

— Я хочу воротиться,—говорилъ Руневскій; но Рыбаренко далъ ему замѣтить, что по мѣрѣ того, какъ они подвигались впередъ, лѣстница за ними заваливалась огромными утесами.

— Намъ нельзя воротиться,—говорилъ онъ:—надобно идти далѣе!

И они продолжали сходить внизъ. Наконецъ ступени кончились, и они очутились передъ большою мѣдною дверью. Толстый швейцаръ молча ее отворилъ, и нѣсколько слугъ въ блестящихъ ливреяхъ проводили ихъ черезъ переднюю; одинъ лакей спросилъ, какъ объ нихъ доложить, и Руневскій увидѣлъ, что у него изъ рта выходитъ огонь. Они вошли въ ярко освѣщенную комнату, въ которой толпа народа кружилась подъ шумную музыку. Далѣе стояли карточные столы, и за однимъ изъ нихъ сидѣла бригадирша и облизывала свои кровавыя губы; но Теляева не было съ нею; вмѣсто него напротивъ старухи сидѣло черное домино.

— Охъ!—вздыхала она:—скучно стало съ этой чучелой! Когда-то къ намъ будетъ Семенъ Семеновичъ!—и длинная огненная струя выбѣжала изъ ея рта.

Руневскій хотѣлъ обратиться къ Рыбаренкѣ, но его уже

не было; онъ находился одинъ посреди незнакомыхъ лицъ. Вдругъ изъ той комнаты, гдѣ танцовали, вышла Даша и подошла къ нему.

— Руневскій,—сказала она:—зачѣмъ вы сюда пришли? Если они узнаютъ, кто вы, то вамъ будетъ бѣда!

Руневскому сдѣлалось страшно, онъ самъ не зналъ отъ чего.

— Слѣдуйте за мной,—продолжала Даша:—я васъ выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали.

Онъ поспѣшно пошелъ за нею, но она вдругъ воротилась.

— Постойте,—сказала она:—я вамъ покажу нашъ оркестръ!

Даша подвела его къ одной двери и, отворивъ ее, сказала:

— Посмотрите, вотъ наши музыканты!

Руневскій увидѣлъ множество несчастныхъ, скованныхъ цѣпями и объятыхъ огнемъ. Черные дьяволы, съ козлиными лицами, хлопотливо раздували огонь и барабанили по ихъ головамъ раскаленными молотками. Вопли, проклятія и стукъ цѣпей сливались въ одинъ ужасный гулъ, который Руневскій сначала принялъ за музыку. Увидѣвъ его, несчастныя жертвы протянули къ нему длинныя руки и завыли:

— Къ намъ! ступай къ намъ!

— Прочь, прочь!—закричала Даша и повлекла Руневскаго за собою въ темный узкій коридоръ, въ концѣ котораго горѣла только одна лампа. Онъ слышалъ, какъ въ залѣ все заколыхалось.

— Гдѣ онъ? Гдѣ онъ?—блеяли голоса:—ловите его, ловите его!

— За мной, за мной!—кричала Даша, и онъ, запыхаясь, бѣжалъ за нею, а позади ихъ множество копытъ стучало по коридору.

Она отворила боковую дверь и, втащивъ въ нее Руневскаго, захлопнула за собою.

— Теперь мы спасены!—сказала Даша и обняла его холодными костяными руками.

Руневскій увидѣлъ, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Онъ громко закричалъ и проснулся.

Возлѣ его постели стояли Даша и Владиміръ.

— Я радъ,—сказалъ Владиміръ, пожавъ ему руку:—что вы проснулись; васъ тяготилъ непріятный сонъ, но

мы боялись васъ разбудить, чтобъ вы не испугались. Докторъ говоритъ, что ваша рана неопасна, и никто ему за это такъ не благодаренъ, какъ я. Я бы никогда себѣ не простилъ, если-бъ вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный другъ!—сказала Даша, улыбаясь:—не сердись на Владиміра; онъ предобрый человѣкъ, только немного вспыльчивъ. Ты его непремѣнно полюбишь, когда съ нимъ короче познакомишься!

Руневскій не зналъ, вѣрить ли ему своимъ глазамъ или нѣтъ. Но Даша стояла передъ нимъ, онъ слышалъ ея голосъ, и въ первый разъ она ему говорила ты. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ боленъ, воображеніе столько разъ его морочило, что понятія его совершенно смѣшались, и онъ не могъ различить обмана отъ истины. Владиміръ замѣтилъ его недовѣрчивость и продолжалъ:

— Съ тѣхъ поръ, какъ вы лежите въ постели, много произошло перемѣнъ. Сестра моя вышла замужъ за Фрышкина и уѣхала въ Симбирскъ; старая бригадирша... но я вамъ слишкомъ много разсказываю; когда вамъ будетъ лучше, вы все узнаете!

— Нѣтъ, нѣтъ,—сказала Даша:—ему никогда не будетъ лучше, если онъ останется въ недоумѣніи. Ему надобно знать все. Бабушка,—продолжала она, обратившись со вздохомъ къ Руневскому:—уже два мѣсяца какъ скончалась!

— Сама Даша,—прибавилъ Владиміръ:—была опасно больна и поправилась только послѣ смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорѣй выздоровѣть, чтобы намъ можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневскій смотритъ на нихъ, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное,—сказала она:—мы и забыли сказать: тетушка согласна на нашъ бракъ и меня благословляетъ!

Услыша эти слова, Руневскій схватилъ Дашину руку, покрылъ ее поцѣлуями, обнялъ Владиміра и спросилъ его, точно ли они дрались?

— Я бы не думалъ,—отвѣчалъ, смѣясь, Владиміръ:—что вы можете въ этомъ сомнѣваться.

— Но за что-жъ мы дрались?—спросилъ Руневскій.

— Признаюсь вамъ, я и самъ не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и, сказать правду, я радъ, что

вы не женились на Софьѣ. Скоро я самъ увидѣлъ ея неоткровенность и дурной нравъ, особенно когда узналъ, что, изъ мщенія къ вамъ, она пересказала Фрышкину, какъ вы надъ нимъ смѣялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали въ постели съ прострѣленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочемъ, Богъ съ нею! Желаю, чтобы она была счастлива съ Фрышкинымъ, а мнѣ до нея нѣтъ дѣла!

— Какъ тебѣ не стыдно, Владиміръ,—сказала Даша:—ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра!—прервалъ ее Владиміръ:—хороша сестра, по милости которой я чуть не убилъ даромъ человѣка и чуть не сдѣлалъ несчастною тебя, которую люблю ужъ вѣрно больше Софьи.

Еще мѣсяца три протекли послѣ этого утра. Руневскій и Даша уже были обвѣнчаны. Они сидѣли вмѣстѣ съ Владиміромъ передъ пылающимъ каминомъ, и Даша, въ красивомъ утреннемъ платьѣ и въ чепчикѣ, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидѣла молча у окошка и что-то работала. Взоръ Руневскаго нечаянно упалъ на портретъ Прасковьи Андреевны.

— До какой степени,—сказалъ онъ:—воображеніе можетъ овладѣть человѣческимъ разсудкомъ! Если-бъ я не былъ увѣренъ, что во время моей болѣзни оно непростительнымъ образомъ меня морочило, я бы поклялся въ истинѣ странныхъ видѣній, связанныхъ съ этимъ портретомъ.

— Исторія Прасковьи Андреевны въ самомъ дѣлѣ много имѣетъ страннаго,—сказалъ Владиміръ.—Я никогда не могъ добиться, какъ она умерла и кто былъ этотъ женихъ, пропавшій такъ внезапно. Я увѣренъ, что Клеопатра Платоновна знаетъ всѣ эти подробности, но не хочетъ намъ ихъ открыть!..

Клеопатра Платоновна, до этихъ поръ ни на кого не обращавшая вниманія, подняла глаза, и лицо ея приняло выраженіе еще горестнѣе обыкновеннаго.

— Если бы,—сказала она:—смерть старой бригадирши не разрѣшала моей клятвы, а женитьба Руневскаго и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ея

семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства перемѣнились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозрѣваю, объ какихъ видѣніяхъ говоритъ г. Руневскій, и могу его увѣрить, что въ этомъ случаѣ онъ не долженъ обвинять своего воображенія.

«Чтобы объяснить многія обстоятельства, для васъ непонятныя, я должна вамъ объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходитъ отъ древней венгерской фамиліи, нынѣ уже угасшей, но извѣстной въ концѣ XV столѣтія подъ именемъ Ostroviczy. Гербъ ея былъ: черная летучая мышь въ красномъ полѣ. Говорятъ, что бароны Ostroviczy хотѣли этимъ означать быстроту своихъ ночныхъ набѣговъ и готовность проливать кровь своихъ враговъ. Враги эти назывались Tellara и, чтобы показать свое преимущество надъ прадѣдами бригадирши, приняли въ гербъ свой филина, величайшаго врага летучей мыши. Другіе утверждаютъ, что филинъ этотъ намекаетъ на происхожденіе фамиліи Tellara отъ рода Тамерлана, который также имѣлъ въ гербу своемъ филина.

«Какъ бы то ни было, но обѣ фамиліи вели безпрестанную войну одна съ другою, и война эта долго бы не кончилась, если-бъ измѣна и убійство не ускорили ея развязки. Марѳа Ostroviczy, супруга послѣдняго барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокаго сердца, плѣнилась наружностью и воинской славой Амвросія Tellara, прозваннаго «Амвросіемъ съ широкимъ мечомъ». Въ одну ночь она впустила его въ замокъ и съ его помощью задушила мужа. Злодѣяніе ея однако не осталось безъ наказанія, ибо рыцарь Амвросій, видя замокъ Ostroviczy въ своей власти, послѣдовалъ голосу врожденной ненависти и, потопивъ въ Дунаѣ всѣхъ приверженцевъ своего врага, предалъ его замокъ огню. Сама Марѳа съ трудомъ могла спастись. Всѣ эти обстоятельства подробно разсказаны въ древней хроникѣ фамиліи Ostroviczy, которая находится здѣсь въ библіотекѣ.

«Сказать вамъ, какъ и когда эта фамилія очутилась въ Россіи, я, право, не могу; но увѣряю васъ, что преступленіе Марѳы было наказано почти на всѣхъ ея потомкахъ. Многіе изъ нихъ уже въ Россіи умерли насильственною смертью, другіе сошли съ ума, и наконецъ

тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите предъ собою портретъ, будучи невѣстою ломбардскаго дворянина Пьетро д'Урджина...»

— Пьетро д'Урджина?—прервали Клеопатру Платоновну въ одинъ голосъ Руневскій и Владиміръ.

«— Да,—отвѣтила она:—женихъ Прасковьи Андреевны назывался Донъ-Пьетро д'Урджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Онъ былъ человѣкъ уже не молодой и къ тому-жъ вдовецъ; но большіе черные глаза его такъ горѣли, какъ будто бы ему было не болѣе лѣтъ двадцати. Прасковья Андреевна была молодая дѣвушка, и учтивые пріемы ловкаго иностранца легко ее обворожили. Она страстно въ него влюбилась. Мать ея не имѣла той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, можетъ-быть, лишь для того такъ часто обнаруживала, чтобы тѣмъ лучше скрыть свое собственное происхожденіе. Она желала выдать дочь за Донъ-Пьетро, ибо онъ былъ богатъ, пріѣхалъ съ большою свитой и жилъ, какъ владѣтельный князь. Къ тому-жъ онъ обѣщался навсегда поселиться въ Россіи и уступить ломбардскія свои имѣнія сыну, находившемуся тогда въ городѣ Комо.

«Донъ-Пьетро привезъ съ собою множество отличныхъ художниковъ. Архитекторы его выстроили этотъ домъ, живописцы и ваятели украсили его съ истинно-итальянскимъ вкусомъ. Но, несмотря на необыкновенную роскошь Донъ-Пьетро, многіе замѣчали въ немъ черты самой отвратительной скупости. Когда онъ проигрывалъ въ карты, лицо его видимо измѣнялось, онъ блѣднѣлъ и дрожалъ; когда же онъ былъ въ выигрышѣ, жадная улыбка показывалась на его устахъ, и онъ съ судорожнымъ движеніемъ пальцевъ загребалъ добытое золото. Низкій его нравъ, казалось, долженъ былъ перемѣнить къ нему расположеніе Прасковьи Андреевны и ея матери, но онъ такъ хорошо умѣлъ притворяться передъ ними обѣими, что ни та ни другая ничего не примѣтили, и день свадьбы былъ торжественно объявленъ.

«Наканунѣ онъ далъ въ своей новой дачѣ блистательный ужинъ, и никогда его любезность не показывалась съ такимъ блескомъ, какъ въ этотъ вечеръ. Умный и живой разговоръ его занималъ все собраніе, и всѣ были въ самомъ веселомъ расположеніи духа, какъ хозяину дома подали письмо съ иностраннымъ клеймомъ. Прочи-

тавъ содержаніе, онъ поспѣшно всталъ изъ-за стола и извинился передъ обществомъ, говоря, что неожиданныя дѣла непремѣнно требуютъ его присутствія. Въ ту же ночь онъ уѣхалъ, и никто не зналъ, куда онъ скрылся.

«Невѣста была въ отчаяніи. Мать ея, употребивъ всѣ средства, чтобы отыскать слѣдъ жениха, начала приписывать поведеніе его одной уловкѣ, чтобы отдѣлаться отъ брака съ ея дочерью, тѣмъ болѣе, что Донъ-Пьетро, несмотря на поспѣшность своего отъѣзда, успѣлъ оставить повѣренному письменное наставленіе, какъ распорядиться съ его домомъ и находящимися въ немъ вещами; изъ чего ясно можно было видѣть, что Донъ-Пьетро, если бы онъ только хотѣлъ, могъ бы найти время увѣдомить Прасковью Андреевну о причинѣ и назначеніи неожиданнаго своего путешествія.

«Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, а о женихѣ все еще не было извѣстія. Бѣдная невѣста не переставала плакать и такъ похудѣла, что золотое кольцо, которое подарилъ ей Донъ-Пьетро, само собой спало съ ея руки. Всѣ уже потеряли надежду что-нибудь узнать о Донъ-Пьетро, какъ мать Прасковьи Андреевны получила изъ Комо письмо, гдѣ ее увѣдомляли, что женихъ, вскорѣ по пріѣздѣ своемъ изъ Россіи, скоропостижно умеръ. Письмо было отъ сына умершаго. Но одинъ дальній родственникъ невѣсты, только-что пріѣхавшій изъ Неаполя, разсказывалъ, что въ тотъ самый день, когда, по словамъ молодого Урджина, отецъ его скончался въ Комо, онъ, родственникъ, собираясь влѣзть на Везувій, видѣлъ въ корчмѣ мѣстечка Torre del Greco двухъ путешественниковъ, изъ коихъ одинъ былъ въ халатѣ и ночномъ колпакѣ, а другой въ черномъ домино и маскѣ. Оба путешественника спорили между собой: человѣку въ халатѣ не хотѣлось идти далѣе, а человѣкъ въ домино его торопилъ, говоря, что имъ еще много дороги осталось до кратера, и что на другой день праздникъ св. Антонія. Наконецъ человѣкъ въ домино схватилъ человѣка въ халатѣ и съ исполинской силой потащилъ его за собой. Когда они скрылись, родственникъ спросилъ, кто эти чудаки?—и ему отвѣчали, что одинъ изъ нихъ Донъ-Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанинъ, пріѣхавшій съ нимъ нарочно, чтобы видѣть изверженіе Везувія, и изъ странности никогда не снимающій съ себя маски. Встрѣча эта, заключалъ род-

ственникъ, ясно доказываетъ, что Донъ-Пьетро не умеръ, а только отлучился на время изъ Комо въ Неаполь.

«Къ несчастью, другія извѣстія подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Нѣсколько очевидцевъ увѣряли, что они присутствовали при погребеніи Донъ-Пьетро, и божились, что сами видѣли, какъ гробъ его опущенъ былъ въ землю. Итакъ, не оставалось сомнѣнія въ участи жениха Прасковьи Андреевны.

«Сынъ Донъ-Пьетро, не желавшій удалиться изъ Италіи, поручилъ своему повѣренному продать отцовскую дачу съ публичнаго торга. Продажа состоялась довольно безпорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила «Березовую Рощу» за безцѣнокъ.

«Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее рѣдко видали въ покояхъ матери, но по цѣлымъ днямъ она бродила въ верхнемъ этажѣ изъ комнаты въ комнату. Часто слуги, проходившіе по коридору, слышали, какъ она сама съ собою разговаривала. Любимое ея занятіе было—припоминать малѣйшія подробности своего знакомства съ Донъ-Пьетро, малѣйшія обстоятельства послѣдняго вечера, который она съ нимъ провела. Иногда она безъ всякой причины смѣялась, иногда такъ жалобно стонала, что нельзя было ее слышать безъ ужаса.

«Въ одинъ вечеръ съ ней сдѣлались конвульсіи, и не прошло двухъ часовъ, какъ она умерла въ страшныхъ мученіяхъ. Всѣ полагали, что она себя отравила, и, со всѣмъ почтеніемъ къ памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположеніе справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскорѣ послѣ ея смерти начали раздаваться въ ея комнатахъ? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязныя слова, которыя я сама не разъ слышала, когда въ бурныя осеннія ночи безпрестанный стукъ оконъ не давалъ мнѣ заснуть, а вѣтеръ свистѣлъ въ трубы, какъ будто бы наигрывалъ какую-то жалобную пѣснь. Тогда волосы мои становились дыбомъ, зубы стучали одинъ объ другой, и я громко молилась за упокой бѣдной грѣшницы».

— Но,—сказалъ Руневскій, слушавшій съ возрастающимъ любопытствомъ разсказъ Клеопатры Платоновны:—можете ли вы намъ сказать, какія именно слова произносила покойница?

— Ахъ,—отвѣчала Клеопатра Платоновна:—въ то

время въ словахъ ея мнѣ многое казалось страннымъ. Смыслъ ихъ всегда состоялъ въ томъ, что ей до тѣхъ поръ не будетъ покою, пока кто-нибудь не обручится съ ея портретомъ и не надѣнетъ ему на палецъ ея собственнаго кольца. Слава Всевышнему, теперь желаніе ея исполнилось, и ничто уже болѣе не будетъ тревожить ея праха. Кольцо, которымъ обручалась Даша, есть то самое, которое Донъ-Пьетро подарилъ своей невѣстѣ, а развѣ Даша не живой портретъ Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна!—сказалъ Руневскій послѣ нѣкотораго молчанія:—вы не все мнѣ открыли. Въ этой исторіи фамиліи Ostroviczy, отъ которой, какъ вы говорите, происходитъ покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня съ самаго того времени, какъ я вступилъ въ этотъ домъ. Что дѣлала Сугробина вмѣстѣ съ Теляевымъ въ одну ночь, когда они оба перерядились, одна въ красную мантію, другой въ старинныя латы? Все это я считалъ сномъ или бредомъ моей горячки, но въ вашемъ разсказѣ есть подробности, которыя такъ хорошо соотвѣтствуютъ происшествіямъ той ужасной ночи, что ихъ невозможно принять за игру разстроеннаго воображенія. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при какомъ-то страшномъ преступленіи, отъ котораго у меня осталось одно темное воспоминаніе, но коего главные участники были бригадирша и Семенъ Семеновичъ Теляевъ. Мнѣ самому стыдно,—продолжалъ Руневскій, видя, что всѣ на него смотрятъ съ удивленіемъ:—мнѣ самому стыдно, что я еще думаю объ этомъ. Разсудокъ мой говоритъ мнѣ, что это бредъ, но это такой страшный бредъ, что я не могу не желать удостовѣриться въ его ничтожности.

— Что-жъ вы видѣли?—спросила Клеопатра Платоновна съ безпокойствомъ.

— Я видѣлъ васъ, видѣлъ Сугробину, Теляева и этого таинственнаго незнакомца въ домино и въ маскѣ, который увлекалъ Донъ-Пьетро д'Урджина въ кратеръ Везувія и о которомъ мнѣ уже разсказывалъ Рыбаренко.

— Рыбаренко! — вскричалъ, смѣясь, Владиміръ:—твой секундантъ! Ну, любезный Руневскій, если онъ тебѣ разсказывалъ похожденія свои въ Комо, то я не удивляюсь, что это тебѣ вскружило голову.

— Но ты самъ и еще этотъ Антоніо, вы вмѣстѣ съ Рыбаренко ночевали въ чортовомъ домѣ?

— Такъ точно, и всѣ трое мы видѣли Богъ знаетъ что̀ во снѣ, съ тою только разницею, что Антоніо и я скоро обо всемъ забыли, а бѣдный Рыбаренко черезъ нѣсколько дней сошелъ съ ума. Впрочемъ, ему, надобно отдать справедливость, было отъ чего помѣшаться. Я самъ не понимаю, какъ уцѣлѣлъ. Если бы я только зналъ, кто подмѣшалъ намъ опіума въ этотъ пуншъ, который мы пили прежде, нежели пошли въ чортовъ домъ, онъ бы мнѣ дорого заплатилъ за эту шутку.

— Но Рыбаренко мнѣ ни слова не говорилъ про пуншъ.

— Оттого, что онъ до сихъ поръ не вѣритъ, что бредъ его былъ слѣдствіемъ пунша. Я-жъ въ этомъ вполнѣ увѣренъ, ибо у меня отъ одного стакана закружилась голова, а Антоніо началъ шататься и даже упалъ на совершенно ровномъ мѣстѣ.

— Но вѣдь Антоніо умеръ отъ послѣдствій вашей шалости.

— Правда, что онъ вскорѣ послѣ нея умеръ, но правда и то, что онъ еще прежде страдалъ неизлѣчимой хронической болѣзнью.

— А кости, а черепъ ребенка, а казненный разбойникъ?

— Не прогнѣвайся, любезный Руневскій, но въ отвѣтъ на все это я тебѣ скажу только, что Рыбаренко, котораго я, впрочемъ, очень люблю, помѣшался въ Комо со страха. Все, что̀ онъ видѣлъ во снѣ и наяву, все это онъ смѣшалъ, перепуталъ и прикрасилъ по-своему. Потомъ онъ разсказалъ это тебѣ, а ты, будучи въ горячкѣ, всю его чепуху еще болѣе спуталъ и сверхъ того увѣрилъ себя въ ея истинѣ.

Руневскій не довольствовался этимъ истолкованіемъ.

— Отчего же,—сказалъ онъ:—исторія этого Донъ-Пьетро, въ домъ котораго вы забрались ночью, смѣшана съ исторіею Прасковьи Андреевны, въ которой однако, мнѣ кажется, никто изъ васъ не сомнѣвается?

Владиміръ пожалъ плечами.

— Все, что̀ я тутъ вижу,—сказалъ онъ:—заключается въ томъ, что Донъ-Пьетро былъ женихъ Прасковьи Андреевны. Но изъ этого нисколько не слѣдуетъ, что онъ былъ унесенъ чортомъ въ Неаполь, и что все, что̀ объ немъ снилось Рыбаренкѣ, есть правда.

— Но родственникъ Прасковьи Андреевны говорилъ о человѣкѣ въ черномъ домино, Рыбаренко также говорилъ объ этомъ человѣкѣ, и я самъ готовъ побожиться, что

видѣлъ его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись другъ съ другомъ, захотѣли сами себя обманывать?

— На это я тебѣ скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человѣкъ, вовсе между собой не согласившись. Это все равно, что плащъ, карета, дерево или домъ—предметы, которые нѣсколько разъ въ день могутъ быть въ устахъ каждаго. Замѣть, что согласіе словъ Рыбаренки съ словами родственника состоитъ только въ томъ, что они оба говорятъ о черномъ домино; но обстоятельства, въ которыхъ оно является у каждаго изъ нихъ, ничего не имѣютъ между собою схожаго. Что-жъ касается до твоего собственнаго видѣнія, то воображеніе твое просто возсоздало лицо, уже знакомое тебѣ по разсказамъ Рыбаренки.

— Но я ничего не зналъ ни о фамиліи Ostroviczy ни о фамиліи Tellara, а между тѣмъ ясно видѣлъ на Сугробиной красное платье съ летучей мышью, а на латахъ Теляева изображеніе филина.

— А пророчество?—сказала Даша.—Ты развѣ забылъ, что въ первый день, когда ты сюда пріѣхалъ, ты самъ прочиталъ родъ баллады, въ которой говорилось о Марѳѣ и о рыцарѣ Амвросіи, о филинѣ и о летучей мыши. Только я не знаю, что̀ можетъ быть общаго у Теляева съ филиномъ или съ рыцаремъ Амвросіемъ!

— Эту балладу,—прибавила Клеопатра Платоновна:—извлекъ Рыбаренко изъ старинной хроники, о которой я вамъ уже говорила, но послѣ того, какъ вы ее прочитали, Марѳа Сергѣевна мнѣ приказала сжечь свою рукопись.

— И послѣ этого вы полагаете,—продолжалъ Руневскій, обращаясь къ Владиміру и къ Дашѣ:—что она была не упырь?

— Какъ не упырь?

— Что она не вампиръ?

— Что̀ ты, помилуй, отъ чего бабушкѣ быть вампиромъ?

— И Теляевъ не упырь?

— Да что̀ съ тобой? Съ какой стати ты хочешь, чтобы всѣ были упырями или вампирами?

— Отчего-жъ онъ щелкаетъ?

Даша и Владиміръ посмотрѣли другъ на друга, и на-

конецъ Даша такъ чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владиміра. Оба начали кататься со смѣху, и когда одна переставала, другой начиналъ снова. Они смѣялись такъ откровенно, что Руневскій, сколько это ему ни казалось некстати, самъ не могъ удержаться отъ смѣха. Одна Клеопатра Платоновна осталась попрежнему печальною.

Веселье Владиміра и Даши, вѣроятно, еще долго бы продолжалось, если-бъ не вошелъ Яковъ и не произнесъ громогласно:

— Семенъ Семеновичъ Теляевъ!

— Просить, просить! — сказала радостно Даша. — Упырь!—повторяла она, помирая со смѣху:—Семенъ Семеновичъ упырь! Рыцарь Амвросій! Ха, ха, ха!

Въ передней послышались шаги, и всѣ замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура стараго чиновника представилась ихъ очамъ. Коричневый парикъ, коричневый фракъ, коричневыя панталоны и никогда не измѣняющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчасъ бросались въ глаза.

— Здравія желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтеніе, Александръ Андреевичъ!—сказалъ онъ сладкимъ голосомъ, подходя къ Дашѣ и къ Руневскому.— Душевно сожалѣю, что не могъ ранѣе поздравить молодыхъ супруговъ, но отлучка... семейныя обстоятельства...

Онъ началъ непріятнымъ образомъ щелкать, всунулъ руку въ карманъ и, вытащивъ изъ него золотую табакерку, поднесъ ее прежде Дашѣ, а потомъ Руневскому, приговаривая:

— Съ донникомъ... настоящій русскій... покойница Марѳа Сергѣевна другого не употребляли...

— Посмотри,—шепнула Даша Руневскому:—вотъ откуда ты взялъ, что онъ рыцарь Амвросій!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневскій увидѣлъ, что на ея крышкѣ изображенъ ушастый филинъ.

Примѣтивъ, что онъ смотритъ на это изображеніе, Семенъ Семеновичъ страннымъ образомъ на него взглянулъ и проговорилъ, повертывая головою:

— Гм! Это такъ-съ, фантазія... аллегорія... говорятъ, что филинъ означаетъ мудрость...

Онъ опустился въ кресла и продолжалъ съ необыкновенно сладкой улыбкой:

— Много новаго-съ! Карлисты претерпѣли значительныя пораженія. Вчера нѣкто извѣстный вамъ бросился съ колокольни Ивана Великаго, коллежскій асессоръ Рыбаренко...

— Какъ, Рыбаренко бросился съ колокольни?

— Какъ изволите говорить... вчера въ пять часовъ...

— И убился до смерти?

— Какъ изволите говорить!

— Но что̀ его къ этому побудило?

— Не могу доложить... причины неизвѣстны... Но смѣю сказать, что напрасно... коллежскій асессоръ!.. далеко ли до коллежскаго совѣтника... тамъ статскій совѣтникъ... дѣйствительный...

Семенъ Семеновичъ впалъ въ щелканье, и во все остальное время его визита Руневскій ничего болѣе не слыхалъ.

— Бѣдный, бѣдный Рыбаренко!—сказалъ онъ, когда ушелъ Теляевъ.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

— Итакъ, — сказала она: — пророчество исполнилось вполнѣ. Проклятіе не будетъ болѣе тяготить этотъ родъ!

— Что̀ вы говорите?—спросили Руневскій и Владиміръ.

— Рыбаренко,—отвѣчала она:—былъ незаконнорожденный сынъ бригадирши!

— Рыбаренко? сынъ бригадирши?

— Онъ самъ этого не зналъ. Въ балладѣ, которую вы читали, онъ страннымъ образомъ предсказалъ свою смерть. Но это предсказаніе не есть его выдумка; оно въ самомъ дѣлѣ существовало въ фамиліи Ostroviczy.

Веселое выраженіе на лицахъ Даши и Владиміра уступило мѣсто печальной задумчивости. Руневскій погрузился также въ размышленія.

— О чемъ ты думаешь, мой другъ?—сказала наконецъ Даша, прерывая общее молчаніе.

— Я думаю о Рыбаренкѣ,—отвѣчалъ Руневскій:—и еще думаю о томъ, что̀ видѣлъ во время своей болѣзни. Оно не выходитъ у меня изъ головы, но ты здѣсь, со мною, и, стало-быть, это былъ бредъ!

Сказавъ эти слова, онъ поблѣднѣлъ, ибо въ то же время замѣтилъ на шеѣ у Даши маленькій шрамъ, какъ будто отъ недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этотъ шрамъ?—спросилъ онъ.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, вѣрно, обо

что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидѣла свою подушку всю въ крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— Въ ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Нѣсколько минутъ передъ ея смертью. Это маленькое приключеніе было причиною, что я не могла съ нею проститься; такъ я вдругъ сдѣлалась слаба!

Клеопатра Платоновна въ продолженіе этого разговора что-то про себя лепетала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да, — сказалъ онъ: — теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую-жъ доску, какая была у Донъ-Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрѣла на Руневскаго умоляющими глазами.

— Но нѣтъ,—сказалъ онъ: — я ошибаюсь, не будемъ болѣе объ этомъ говорить! Я увѣренъ, что это былъ бредъ!

Даша не совсѣмъ поняла смыслъ его словъ, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взглядъ на Руневскаго и стерла двѣ крупныя слезы съ своихъ блѣдныхъ ланитъ.

— Ну, что-жъ мы всѣ четверо повѣсили головы?—сказалъ Владиміръ.—Жаль бѣднаго Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я васъ сейчасъ развеселю: не правда ли, Теляевъ славный упырь?

Никто не засмѣялся, а Руневскій дернулъ за шнурокъ колокольчика и сказалъ вошедшему Якову:

— Когда бы ни пріѣхалъ Семенъ Семеновичъ, насъ никогда для него нѣтъ дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-съ!—отвѣчалъ Яковъ.

Съ этихъ поръ Руневскій не говорилъ болѣе ни про старую бригадиршу ни про Семена Семеновича.

СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА.

Изъ воспоминаній неизвѣстнаго.

1815 годъ привлекъ въ Вѣну все, что̀ было тогда самаго изящнаго въ средѣ европейскихъ знаменитостей, блестящихъ салонныхъ умовъ и людей, извѣстныхъ своими высокими политическими дарованіями. Это придавало городу необыкновенное оживленіе, яркость и веселость.

Конгрессъ приходилъ къ концу. Эмигранты-роялисты готовились переселиться въ возвращенные имъ замки, русскіе воины—вернуться къ своимъ покинутымъ очагамъ, а нѣсколько недовольныхъ поляковъ—перенести въ Краковъ свои грезы о свободѣ подъ покровомъ той сомнительной независимости, которая уготована была имъ тройною заботой князей Меттерниха и Гарденберга и графа Нессельроде.

Подобно тому какъ подъ конецъ оживленнаго бала изъ общества, за мигъ передъ тѣмъ многочисленнаго и шумнаго, остается иной разъ лишь нѣсколько человѣкъ, желающихъ еще повеселиться, нѣкоторыя лица, очарованныя прелестью австрійскихъ дамъ, не спѣшили укладываться, отлагая отъѣздъ свой со дня на день.

Веселое это общество, къ которому принадлежалъ и я, собиралось раза два въ недѣлю въ замкѣ вдовствовавшей княгини Шварценбергъ, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ города, за мѣстечкомъ Гитцингъ. Изящно-барскій тонъ хозяйки дома, ея граціозная любезность и тонкій умъ имѣли для ея гостей невыразимую привлекательность.

Утро наше посвящалось прогулкамъ; обѣдали мы всѣ вмѣстѣ, либо въ замкѣ, либо гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ, а по вечерамъ, сидя у неярко пылавшаго камина, бесѣ-

довали и разсказывали другъ другу разныя исторіи. Говорить о политикѣ было строго воспрещено. Всѣмъ она жестоко надоѣла, и разсказы наши почерпались или изъ повѣрій и преданій родной тому или другому изъ насъ страны, или изъ нашихъ личныхъ воспоминаній.

Однажды вечеромъ, когда уже всѣ кое-что поразсказали и воображеніе каждаго изъ насъ находилось въ томъ напряженномъ состояніи, коему такъ способствуютъ обыкновенно полумракъ и наступающее внезапно общее молчаніе, маркизъ д'Юрфе, старый эмигрантъ, котораго мы всѣ очень любили за его почти юношескую веселость и остроуміе, воспользовался этою наставшею минутой молчанія и заговорилъ.

— Разсказы ваши, господа,—сказалъ онъ:—весьма необыкновенны, конечно, но мнѣ сдается, что въ нихъ нѣтъ главнаго: именно, вашего личнаго въ нихъ участія. Я не знаю, видѣлъ ли изъ васъ кто самъ, собственными глазами, тѣ сверхъестественныя явленія, о которыхъ только-что сообщалось намъ, и можетъ ли онъ подтвердить ихъ своимъ честнымъ словомъ?

Мы должны были согласиться, что никто изъ насъ сдѣлать это не могъ, и старикъ продолжалъ, оправляя свое жабо:

— Что до меня, господа, то я знаю одинъ лишь случай въ этомъ родѣ, но случай этотъ такъ страненъ, страшенъ и, главное, достовѣренъ, что его одного достаточно, чтобы навести ужасъ на воображеніе самаго недовѣрчиваго человѣка. Я, къ несчастью, самъ былъ тутъ и свидѣтелемъ и дѣйствующимъ лицомъ, и хотя я обыкновенно не люблю о немъ вспоминать, но на сей разъ охотно разскажу вамъ этотъ случай, если только дадутъ мнѣ на это дозволеніе прелестныя дамы наши.

Согласіе немедленно послѣдовало общее. Нѣсколько пугливыхъ взоровъ обратились, правду сказать, по направленію къ свѣтящимся четырехугольникамъ, которые начинала выводить луна на гладкомъ паркетѣ покоя, гдѣ мы находились, но вскорѣ маленькій кружокъ нашъ сдвинулся потѣснѣе, и всѣ замолкли въ ожиданіи повѣсти маркиза. Онъ вынулъ изъ золотой табакерки щепотку табаку, медленно потянулъ ее и началъ такъ:

— Прежде всего, mesdames, я попрошу у васъ извиненія, если въ теченіе моего разсказа мнѣ случится го-

ворить о своихъ сердечныхъ дѣлахъ чаще, нежели прилично это человѣку моихъ лѣтъ. Но упоминать о нихъ я долженъ для большей ясности моего разсказа. Впрочемъ, старости простительно иногда забываться, и никто кромѣ васъ не будетъ въ томъ виноватъ, mesdames, если въ вашемъ кругу я воображу себя на мигъ опять молодымъ человѣкомъ. Итакъ, скажу вамъ безъ дальнѣйшихъ оговорокъ, что въ 1769 году я былъ страстно влюбленъ въ хорошенькую герцогиню де-Грамонъ. Эта страсть, которую я въ ту пору почиталъ неизмѣнно глубокою, не давала мнѣ покоя ни днемъ ни ночью, а герцогиня, какъ большинство хорошенькихъ женщинъ, своимъ кокетствомъ удваивала мои мученія, такъ что наконецъ въ минуту досады я рѣшился испросить и получилъ дипломатическое порученіе къ Молдавскому господарю, у котораго шли тогда переговоры съ Версальскимъ кабинетомъ о дѣлахъ, имѣвшихъ въ ту пору для Франціи нѣкоторую важность. Наканунѣ моего отъѣзда я отправился къ герцогинѣ. Она приняла меня уже не такъ насмѣшливо, какъ прежде, и заговорила съ нѣкоторымъ волненіемъ:

— Д'Юрфе, вы поступаете безумно. Но я васъ знаю, и знаю, что вы никогда не измѣните разъ принятому вами рѣшенію. Итакъ, я васъ прошу лишь объ одномъ: примите этотъ маленькій крестъ, какъ знакъ моей искренней дружбы, и носите его до вашего возвращенія сюда. Это семейная святыня наша, которую всѣ мы высоко цѣнимъ.

Съ галантностью, пожалуй, даже неумѣстною въ эту минуту, я поцѣловалъ не семейную святыню, а прелестную ручку, подававшую мнѣ ее, и надѣлъ на шею вотъ этотъ крестъ, котораго уже не снималъ съ тѣхъ поръ.

Не стану утомлять васъ, mesdames, ни подробностями моего путешествія ни наблюденіями своими надъ венграми и сербами, этимъ бѣднымъ, но храбрымъ и честнымъ народомъ, который, несмотря на все свое порабощеніе турками, не забылъ ни своего достоинства ни своей прежней независимости. Достаточно, если скажу вамъ, что, выучась какъ-то по-польски въ пору одного моего довольно продолжительнаго пребыванія въ Варшавѣ, я скоро справился и съ сербскимъ языкомъ, такъ какъ эти два нарѣчія, какъ и русское съ чешскимъ, составляютъ лишь вѣтви одного и того же языка, называемаго славянскимъ.

Я разумѣлъ такимъ образомъ уже достаточно по-сербски, чтобы меня понимали, когда однажды очутился въ одной

деревушкѣ, названіе которой для васъ безразлично. Я нашелъ хозяевъ дома, въ которомъ остановился, въ какомъ-то смятеніи, показавшемся мнѣ тѣмъ болѣе страннымъ, что это было въ воскресенье, день, когда сербы предаются различнымъ удовольствіямъ — пляскамъ, стрѣльбѣ въ цѣль, борьбѣ и т. п. Приписавъ настроеніе моихъ хозяевъ какому-нибудь только-что случившемуся несчастію, я уже собрался-было покинуть ихъ, когда ко мнѣ подошелъ человѣкъ лѣтъ тридцати, высокій ростомъ, внушительнаго вида, и взялъ меня за руку...

. — Войди, войди, чужеземецъ,—сказалъ онъ:—не пугайся нашей грусти; ты поймешь ее, когда узнаешь, отчего она происходитъ.

И онъ разсказалъ мнѣ, что его престарѣлый отецъ, по имени Горша, человѣкъ безпокойнаго и буйнаго нрава, поднялся однажды утромъ съ постели и, снявъ со стѣны длинную турецкую винтовку,—«Дѣти!—сказалъ онъ своимъ двоимъ сыновьямъ, Георгію и Петру:—я ухожу въ горы къ храбрецамъ, которые гоняются за собакой Алибекомъ (такъ звали одного турецкаго разбойника, разорявшаго въ то время окрестность). Ждите меня десять дней; если же я въ десятый день не вернусь, отслужите по мнѣ панихиду, потому что, значитъ, я буду убитъ. Если же,—прибавилъ старый Горша, принимая серьезный видъ:—если (чего васъ Богъ избави) я приду по истеченіи означенныхъ десяти дней, ради спасенія вашего не впускайте меня къ себѣ. Приказываю вамъ тогда забыть, что я отецъ вамъ, и пронзить меня осиновымъ коломъ, что̀ бы я ни говорилъ и что̀ бы ни дѣлалъ; потому что тогда вернувшійся уже будетъ не я, а проклятый вурдалакъ, пришедшій за тѣмъ, чтобы высосать кровь вашу».

Кстати будетъ сказать вамъ, mesdames, что вурдалаки—«вампиры» славянскихъ народовъ—не что̀ иное, по мѣстному мнѣнію, какъ тѣла умершихъ, выходящія изъ могилъ, чтобы высосать кровь живыхъ. Вообще ихъ обычаи тѣ же, что̀ и у вампировъ другихъ странъ, но есть у нихъ, кромѣ того, особенность, дѣлающая ихъ еще болѣе опасными. Вурдалаки, mesdames, высасываютъ предпочтительно кровь своихъ ближайшихъ родныхъ и лучшихъ друзей, которые, умерши, въ свою очередь, превращаются въ вампировъ, такъ что, говорятъ, въ Босніи и Герцеговинѣ есть цѣлыя деревни, жители коихъ—вурдалаки.

Аббатъ Августинъ Кольмэ въ своемъ любопытномъ сочиненіи о привидѣніяхъ приводитъ страшные тому примѣры. Германскіе императоры назначали много разъ цѣлыя комиссіи для разслѣдованія случаевъ вампиризма. Вели слѣдствія, вырывали изъ земли трупы, которые оказывались налитыми кровью, ихъ сжигали на площадяхъ, предварительно пронзивъ имъ сердце. Свидѣтельства должностныхъ лицъ, присутствовавшихъ при этихъ казняхъ, утверждаютъ, что они слышали, какъ трупы стонали, когда палачъ вонзалъ имъ въ сердце колъ. Сохранились формальныя, клятвенныя показанія этихъ лицъ, скрѣпленныя подписью ихъ и печатью.

Принимая это во вниманіе, вамъ не трудно будетъ, mesdames, понять, какое дѣйствіе произвели слова Горши на его сыновей. Оба кинулись къ его ногамъ, умоляя пустить ихъ за него въ горы, но онъ, вмѣсто всякаго отвѣта, повернулъ имъ спину и удалился, затянувъ припѣвъ какой-то старой эпической пѣсни. Въ тотъ день, когда я пріѣхалъ въ ихъ деревню, кончался срокъ, назначенный Горшей, и мнѣ теперь не трудно было объяснить себѣ тревогу его дѣтей.

Это была хорошая и честная семья. Георгій, старшій изъ сыновей, съ мужественными и правильными чертами лица, казался человѣкомъ рѣшительнымъ и серьезнымъ. Онъ былъ женатъ и имѣлъ двоихъ дѣтей. У брата его Петра, красиваго восемнадцатилѣтняго юноши, въ выраженіи лица было болѣе мягкости, чѣмъ отваги; онъ былъ, повидимому, любимцемъ своей меньшей сестры Зденки, которую можно было поистинѣ назвать типомъ славянской красоты. Кромѣ этой неоспоримой во всѣхъ отношеніяхъ красоты, меня сразу поразило въ ней какое-то отдаленное сходство съ герцогиней де-Грамонъ, въ особенности какая-то характерная черточка на лбу, которую я встрѣтилъ въ жизни только у этихъ двухъ особъ; эта черточка, пожалуй, сразу могла и не понравиться, но становилась неотразимо обаятельною, когда къ ней попригляднешься...

Былъ ли я тогда ужъ черезчуръ молодъ, или это сходство, соединенное съ оригинальнымъ и наивнымъ умомъ Зденки, было въ самомъ дѣлѣ такъ неотразимо, но только я, не поговоривъ съ нею и двухъ минутъ, уже чувствовалъ къ ней такую симпатію, которая угрожала превратиться въ чувство болѣе нѣжное, если-бъ я продлилъ свое пребываніе въ этой деревушкѣ.

Мы всѣ сидѣли за столомъ, на которомъ былъ поставленъ творогъ и кринка съ молокомъ. Зденка пряла, ея невѣстка готовила ужинать дѣтямъ, игравшимъ тутъ же въ пескѣ. Петръ съ кажущеюся безпечностью посвистывалъ, чистя ятаганъ, длинный турецкій ножъ. Георгій, облокотясь о столъ и подперевъ руками голову, не сводилъ глазъ съ большой дороги, не говоря ни слова.

Я же, смущенный общимъ тоскливымъ настроеніемъ, смотрѣлъ невесело на вечернія облака, окаймлявшія золотистую глубь неба, и на монастырь, высившійся изъ-за недальняго сосноваго лѣса.

Этотъ монастырь, какъ я узналъ потомъ, когда-то славился своею чудотворною иконой Божіей Матери, которую, по преданію, ангелы принесли и повѣсили на вѣтвяхъ дуба. Но, въ началѣ прошлаго столѣтія, турки вторглись въ страну, передушили монаховъ и разорили обитель. Оставались однѣ стѣны да часовня, гдѣ служилъ какой-то отшельникъ; онъ же показывалъ путешественникамъ развалины и давалъ пріютъ богомольцамъ, ходившимъ на поклоненіе отъ одной святыни къ другой и любившимъ оставаться въ монастырѣ «Божіей Матери подъ дубомъ». Какъ сказано, все это узналъ я впослѣдствіи, такъ какъ въ тотъ вечеръ голова моя была занята уже отнюдь не археологіей Сербіи. Какъ часто случается, когда дашь волю воображенію, я весь углубился въ воспоминанія о прежнихъ дняхъ, о прекрасной порѣ моего дѣтства, о моей милой Франціи, которую я покинулъ для отдаленнаго и дикаго края.

Думалъ я и о герцогинѣ де-Грамонъ и, чего грѣха таить, думалъ и о нѣкоторыхъ другихъ современницахъ вашихъ бабушекъ, mesdames, образы которыхъ какъ-то помимо воли стучались въ двери моего сердца вслѣдъ за образомъ прелестной герцогини.

Вскорѣ я забылъ и о своихъ хозяевахъ и объ ихъ тревогѣ.

Вдругъ Георгій прервалъ молчаніе.

— Жена,—сказалъ онъ:—въ которомъ часу старикъ ушелъ?

— Въ восемь часовъ, — отвѣчала жена:—я слышала, какъ ударили тогда въ монастырскій колоколъ.

— Хорошо,—продолжалъ Георгій:—теперь, стало-быть, не болѣе половины восьмого.

И онъ замолкъ, снова вперивъ взоръ на большую дорогу, уходившую въ лѣсъ.

Я забылъ вамъ сказать, mesdames, что, когда сербы подозрѣваютъ кого-нибудь въ вампиризмѣ, они избѣгаютъ называть его по имени или прямо упоминать о немъ, потому что такимъ образомъ его вызываютъ изъ могилы. Поэтому съ нѣкоторыхъ поръ Георгій, говоря объ отцѣ, не называлъ его иначе, какъ «старикъ».

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе; вдругъ одинъ изъ мальчиковъ сказалъ Зденкѣ, дергая ее за передникъ:

— Тетя, когда же дѣдушка вернется домой?

Георгій отвѣчалъ на этотъ вопросъ пощечиной.

Ребенокъ заплакалъ, а маленькій его братъ сказалъ съ удивленнымъ и испуганнымъ видомъ:

— Зачѣмъ ты, батя, запрещаешь говорить намъ о дѣдушкѣ?

Другая пощечина заставила его умолкнуть. Дѣти разревѣлись, а семья принялась креститься. Въ эту минуту часы въ монастырѣ медленно пробили восемь. Только-что раздался первый ударъ часовъ, какъ мы увидѣли выходившую изъ лѣса и приближавшуюся къ намъ человѣческую фигуру.

— Это онъ! слава Богу!—воскликнули разомъ Зденка, Петръ и его невѣстка.

— Сохрани насъ Боже,—торжественно сказалъ Георгій:—какъ узнать, миновали или нѣтъ назначенные имъ десять дней?

Всѣ въ ужасѣ на него взглянули. Между тѣмъ человѣческая фигура подходила все ближе. То былъ высокій старикъ съ сѣдыми усами, съ блѣднымъ и строгимъ лицомъ, съ трудомъ тащившійся съ помощью палки. По мѣрѣ того, какъ онъ приближался, Георгій становился все мрачнѣе. Подойдя къ намъ, новоприбывшій остановился и обвелъ свою семью взоромъ, который, казалось, ничего не видѣлъ, — до того были тусклы и впалы его глаза.

— Ну,—сказалъ онъ глухимъ голосомъ:—что же никто не встаетъ встрѣчать меня? Что значитъ это молчаніе? Не видите вы развѣ, что я раненъ?

Дѣйствительно, лѣвый бокъ у старика былъ весь въ крови.

— Поддержи же отца, — сказалъ я Георгію: — а ты, Зденка, дай ему чего-нибудь подкрѣпиться, иначе онъ сейчасъ лишится силъ!

— Отецъ,—сказалъ Георгій, подходя къ Горшѣ:—по-

кажи мнѣ свою рану, я въ нихъ толкъ знаю и перевяжу тебѣ ее...

Онъ только-что собрался скинуть съ него верхнюю одежду, какъ старикъ грубо оттолкнулъ его и схватился за бокъ обѣими руками.

— Оставь, неуклюжій,—сказалъ онъ:—ты мнѣ только больнѣе сдѣлалъ.

— Стало-быть, ты въ сердце раненъ!—воскликнулъ весь блѣдный Георгій: — снимай платье, нужно это, слышишь, нужно!

Старикъ всталъ и выпрямился во весь ростъ.

— Берегись,—сказалъ онъ глухо:—только тронь меня, я тебя прокляну!

Петръ сталъ между Георгіемъ и отцомъ.

— Оставь его, ты видишь, онъ страдаетъ.

— Не перечь ему,—сказала жена:—ты знаешь, онъ этого никогда не терпѣлъ.

Въ эту минуту мы увидали возвращавшееся домой стадо, шедшее по направленію къ дому въ цѣломъ облакѣ пыли. Не узнала ли собака, сопровождавшая стадо, своего стараго хозяина, или что̀ другое повліяло на нее, но, лишь только замѣтила она Горшу, она остановилась, ощетинилась и зарычала, вся дрожа, точно видѣла что-либо необыкновенное.

— Что̀ съ этимъ псомъ? — сказалъ старикъ, все болѣе и болѣе хмурясь:—что̀ все это значитъ? Что̀ я чужимъ сталъ въ своей семьѣ? Десять дней въ горахъ развѣ такъ меня измѣнили, что собственныя мои собаки не узнаютъ меня?

— Слышишь?—сказалъ Георгій женѣ.

— Что̀, Георгій?

— Онъ самъ сказалъ, что десять дней миновали.

— Да нѣтъ же, вѣдь онъ пришелъ въ назначенный срокъ.

— Ладно, ладно; знаю я, что̀ нужно дѣлать!

— А проклятый песъ все еще воетъ... Застрѣлить его!—воскликнулъ Горша.—Слышите?

Георгій не пошевелился, а Петръ, со слезами на глазахъ, всталъ, поднялъ отцовскую винтовку и выстрѣлилъ въ собаку, которая покатилась въ пыли.

— Это любимица моя была,—сказалъ онъ шопотомъ:—не знаю, зачѣмъ потребовалось отцу, чтобъ ее убили.

— Затѣмъ, что она этого стоила,—отвѣчалъ Горша.—Но свѣжо стало; я хочу подъ крышу.

Пока все это происходило, Зденка приготовила старику напитокъ, состоявшій изъ водки, вскипяченной съ грушами, медомъ и изюмомъ, но старикъ съ отвращеніемъ оттолкнулъ его отъ себя. То же самое отвращеніе обнаружилъ онъ и къ бараньему боку съ рисомъ, который поставилъ предъ нимъ Георгій, и ушелъ сидѣть въ уголъ, бормоча какія-то непонятныя слова.

Сосновыя дрова пылали подъ очагомъ и освѣщали своимъ дрожащимъ блескомъ лицо старика, которое было такъ блѣдно и изнурено, что, не будь этого освѣщенія—могло бы показаться лицомъ мертвеца. Зденка подошла и сѣла рядомъ съ нимъ.

— Отецъ,—сказала она:—ты ничего не ѣшь и отдохнуть не хочешь; разскажи же намъ что-нибудь о подвигахъ своихъ въ горахъ.

Говоря это, дѣвушка знала, что затрагиваетъ самую чувствительную струну старика, такъ какъ онъ любилъ поговорить о битвахъ и стычкахъ съ турками. И точно, улыбка мелькнула на его блѣдныхъ губахъ, но глаза остались безучастными, и онъ отвѣчалъ, гладя рукой прекрасные бѣлокурые волосы дочери:

— Хорошо, Зденка, я разскажу тебѣ, что видѣлъ въ горахъ, только не теперь, не сегодня: я усталъ. Одно скажу тебѣ, Алибека нѣтъ въ живыхъ, и погибъ онъ отъ руки твоего отца. Если же кто въ этомъ сомнѣвается,—продолжалъ старикъ, окинувъ взоромъ семью:—то вотъ доказательство!

И онъ, раздернувъ верхъ мѣшка, висѣвшаго у него за спиной, вынулъ оттуда окровавленную голову, которой, впрочемъ, не уступало и его собственное лицо въ мертвенной синеватости. Мы съ ужасомъ отъ нея отвернулись, но Горша, отдавъ ее Петру, сказалъ:

— На, прикрѣпи ее надъ дверью нашего дома; пусть всякій прохожій знаетъ, что Алибекъ убитъ и дороги очищены отъ злодѣевъ, если не считать султанскихъ янычаръ!

Петръ повиновался съ отвращеніемъ.

— Теперь мнѣ все понятно,—сказалъ онъ:—бѣдная собака рычала потому, что почуяла мертвое тѣло!

— Да, она почуяла мертвое тѣло,—мрачно подтвердилъ Георгій, который незамѣтно вышелъ между тѣмъ и вернулся теперь, держа что-то въ рукѣ, что онъ поставилъ въ уголъ; мнѣ показалось, что это былъ колъ.

— Георгій,—сказала ему вполголоса жена:—неужели ты хочешь...

— Братъ,—вмѣшалась сестра:—что̀ у тебя на умѣ!.. Нѣтъ, нѣтъ, ты этого не сдѣлаешь, не правда ли?..

— Оставьте меня,—отвѣчалъ Георгій:—самъ я знаю, что̀ дѣлать, и ничего лишняго не сдѣлаю.

Между тѣмъ уже наступила ночь, и семья отправилась спать въ ту часть дома, которая отдѣлялась отъ моей комнаты тонкою перегородкой. Признаюсь, все, что̀ я видѣлъ въ тотъ вечеръ, сильно подѣйствовало на мое воображеніе. Я задулъ свой свѣтильникъ. Мѣсяцъ глядѣлъ прямо въ низкое окно моей комнаты, близехонько отъ моей кровати, и кидалъ на полъ и на стѣну голубоватые отсвѣты, почти такъ же, какъ вотъ здѣсь въ настоящую минуту, mesdames. Мнѣ хотѣлось спать, но я не могъ. Я приписывалъ это лунному свѣту и сталъ искать чего-нибудь, чѣмъ бы завѣсить окно, но ничего не нашелъ; а между тѣмъ за перегородкой послышались мнѣ голоса. Я сталъ прислушиваться.

— Ложись, жена,—говорилъ Георгій:—и ты, Петръ, да и ты, Зденка. Не тревожьтесь ни о чемъ, я самъ посижу вмѣсто васъ.

— Но, Георгій,—отвѣчала жена:—скорѣе же мнѣ бы не ложиться; ты всю прошлую ночь работалъ и, вѣрно, усталъ. Да къ тому же мнѣ присмотрѣть надо за старшимъ мальчикомъ. Ты знаешь, что онъ со вчерашняго дня недужится!

— Будь покойна и ложись; я посижу за насъ обоихъ.

— Братецъ,—сказала Зденка своимъ тихимъ и ласковымъ голосомъ:—кажется, совсѣмъ никому не нужно сидѣть: отецъ спитъ, и, посмотри, какой у него спокойный видъ.

— Ни жена, ни ты, никто изъ васъ ничего не смыслитъ!—отвѣчалъ Георгій тономъ, не допускавшимъ никакихъ возраженій:—говорю вамъ, ложитесь и оставьте меня насторожѣ.

За этимъ воцарилось глубочайшее молчаніе. Скоро и я почувствовалъ, какъ вѣки мои отяжелѣли, и сонъ оковалъ меня.

И вотъ, вижу я, дверь въ мою комнату тихо отворяется, и входитъ старикъ Горша. Но я скорѣе догадываюсь объ его присутствіи, чѣмъ вижу его, потому что въ той комнатѣ, откуда онъ вышелъ, темно. Мнѣ чудится, что

онъ своими угасшими глазами ищетъ угадать мои мысли и слѣдитъ за моимъ движеніемъ. Вотъ онъ движетъ одною ногой, вотъ поднялъ другую. Затѣмъ съ величайшею осторожностью, неслышными шагами, онъ подходитъ ко мнѣ. Еще мгновенье, онъ дѣлаетъ прыжокъ, и вотъ онъ подлѣ моей кровати... Я испытывалъ невыразимый ужасъ, но какая-то непобѣдимая сила дѣлала меня недвижимымъ. Старикъ нагнулся надо мной и приблизилъ свое блѣдное лицо къ моему такъ близко, что я чувствовалъ его могильное дыханіе. Я сдѣлалъ тогда неестественное усиліе и проснулся, обливаясь холоднымъ потомъ. Въ комнатѣ никого не было; но, взглянувъ въ окно, я различилъ старика Горшу, который съ той стороны прильнулъ лицомъ къ стеклу и не спускалъ съ меня своихъ страшныхъ глазъ. У меня достало силы не закричать и оказалось настолько присутствія духа, что я не вскочилъ съ постели, будто и не видалъ ничего. Между тѣмъ, повидимому, старикъ приходилъ только затѣмъ, чтобы удостовѣриться, сплю ли я, и не имѣлъ намѣренія войти; пристально посмотрѣвъ на меня, онъ отошелъ прочь отъ окна, и я слышалъ, какъ онъ принялся ходить въ сосѣдней комнатѣ. Георгій заснулъ и храпѣлъ такъ, что чуть стѣны не дрожали. Въ это время закашлялъ ребенокъ, и я услыхалъ голосъ Горши:

— Ты не спишь, мальчуганъ?—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, дѣдушка,—отвѣчалъ ребенокъ:—и мнѣ бы очень хотѣлось съ тобой поговорить.

— А, поговорить хочешь... о чемъ же станемъ мы говорить?

— Мнѣ бы хотѣлось, чтобы ты разсказалъ мнѣ, какъ ты воевалъ съ турками, потому и я бы охотно пошелъ съ ними подраться.

— Я подумалъ объ этомъ, дитятко, и принесъ маленькій ятаганъ, который дамъ тебѣ завтра.

— Ахъ, дѣдушка, дай лучше сейчасъ, ты вѣдь не спишь.

— Отчего, мальчуганъ, ты со мной днемъ не говорилъ?

— Оттого, что отецъ запретилъ.

— Онъ остороженъ, твой отецъ. Такъ тебѣ хочется ятаганчикъ получить?

— Очень хочется, только не здѣсь, потому отецъ можетъ проснуться.

— Гдѣ же?

— А выйдемъ отсюда, дѣдушка, на улицу, потихоньку, чтобы никто не слыхалъ.

Мнѣ послышалось, будто Горша глухо засмѣялся, а мальчикъ принялся вставать.

Я не вѣрилъ въ вампировъ, но кошмаръ, выдержанный мной сейчасъ, подѣйствовалъ на мои нервы, и, не желая упрекнуть себя потомъ въ чемъ бы то ни было, я всталъ и ударилъ кулакомъ въ перегородку. Ударъ мой былъ такъ силенъ, что могъ бы, казалось, разбудить и семерыхъ спящихъ арабской сказки, но въ семьѣ никто не проснулся.

Я кинулся къ двери, рѣшась спасти ребенка, но нашелъ ее запертою снаружи, а замокъ не уступилъ моимъ усиліямъ. Пока я старался выломать дверь, я увидалъ въ окно старика, проходившаго мимо съ ребенкомъ на рукахъ.

— Вставайте, вставайте!—кричалъ я изо всѣхъ силъ, потрясая перегородку ударами кулаковъ. Тогда только Георгій проснулся.

— Гдѣ старикъ?—спросилъ онъ.

— Ступай скорѣе,—кричалъ я:—онъ унесъ вашего ребенка.

Однимъ ударомъ ноги Георгій вышибъ дверь, которая, какъ и моя, оказалась запертою снаружи, и бросился бѣжать по направленію къ лѣсу. Я насилу разбудилъ Петра, его невѣстку и Зденку. Мы собрались передъ домомъ и чрезъ нѣсколько минутъ ожиданія увидали возвращавшагося Георгія съ мальчикомъ на рукахъ. Онъ нашелъ его безъ чувствъ на большой дорогѣ, но мальчикъ скоро пришелъ въ себя и не казался больнѣе прежняго. На вопросы онъ отвѣчалъ, что дѣдушка ему ничего не сдѣлалъ, что они вышли вмѣстѣ, чтобы лучше поговорить, но, только-что очутились на воздухѣ, мальчикъ лишился чувствъ самъ не помнитъ какъ. А Горша исчезъ.

Остальную часть ночи мы, конечно, уже провели безъ сна.

На слѣдующее утро я узналъ, что по рѣкѣ, которая пересѣкала большую дорогу въ четверти мили отъ деревни, шелъ ледъ, что бываетъ здѣсь осенью и весной. Переправа стала невозможною на нѣсколько дней, и мнѣ нечего было и думать объ отъѣздѣ. Впрочемъ, если-бъ я и могъ уѣхать, то все-таки любопытство, да и другое чувство при этомъ удерживали меня. Чѣмъ болѣе я видѣлъ Зденку, тѣмъ болѣе чувствовалъ къ ней влеченіе.

Я, mesdames, не изъ тѣхъ людей, которые вѣрятъ во внезапную и непреодолимую страсть, столь часто встрѣчаемую въ романахъ; но думаю, что бываютъ случаи, когда любовь развивается быстрѣе, нежели обыкновенно. Оригинальная красота Зденки, ея странное сходство съ герцогиней де-Грамонъ, отъ которой я бѣжалъ изъ Парижа и которую теперь находилъ тутъ, въ живописномъ костюмѣ, говорящую на чуждомъ, звучномъ языкѣ, эта характерная черточка на лбу, изъ-за которой я двадцать разъ хотѣлъ лишить себя жизни,—все это, соединенное съ особенностью моего положенія и всѣмъ тѣмъ чудеснымъ, среди чего очутился я, теперь способствовало развитію въ душѣ моей такого чувства, которое при другихъ обстоятельствахъ сказалось бы лишь вскользь и слегка.

Въ теченіе дня я услыхалъ, какъ Зденка говорила меньшому брату:

— Что ты обо всемъ этомъ думаешь, Петро? Неужели и ты подозрѣваешь отца?

— Я не смѣю его подозрѣвать, тѣмъ болѣе, что мальчикъ говоритъ, что онъ ему не сдѣлалъ никакого вреда. А если онъ и исчезъ такъ внезапно, то ты вѣдь знаешь, что и ранѣе этого онъ всегда такъ дѣлалъ и никогда никому не отдавалъ отчета въ своихъ отлучкахъ.

— Знаю,—отвѣчала Зденка:—а потому нужно спасти его: ты вѣдь знаешь Георгія...

— Знаю, знаю. Говорить съ нимъ безполезно; а вотъ мы спрячемъ колъ его, а за другимъ онъ не пойдетъ; по сю сторону горъ вѣдь ни одной осины не найти.

— Да, да, спрячемъ колъ, но только не скажемъ объ этомъ дѣтямъ; они проболтались бы при Георгіи.

— Осторожно надо, конечно,—сказалъ Петръ, и они разошлись.

Наступила ночь; о старикѣ Горшѣ не было ни слуху ни духу. Я, какъ наканунѣ, лежалъ у себя на кровати, и луна полнымъ свѣтомъ заливала комнату. Когда сонъ уже началъ путать мои мысли, я вдругъ какъ бы инстинктивно почувствовалъ близость старика. Я открылъ глаза и увидалъ его блѣдное лицо, прильнувшее къ окну. На сей разъ я хотѣлъ встать, но это оказалось невозможнымъ: члены мои были точно парализованы. Пристально посмотрѣвъ на меня, старикъ отошелъ отъ окна, и я слышалъ, какъ онъ обошелъ вокругъ дома и посту-

чался въ окно комнаты, гдѣ спали Георгій съ женой. Ребенокъ зашевелился и простоналъ во снѣ. На нѣсколько времени все затихло, потомъ снова раздался стукъ въ окошко. Ребенокъ снова простоналъ и проснулся.

— Это ты, дѣдушка?—проговорилъ онъ.

— Я,—отвѣчалъ глухой голосъ:—я принесъ тебѣ ятаганчикъ.

— Да я не смѣю уйти, отецъ запретилъ!

— Тебѣ и не зачѣмъ уходить изъ дому, открой мнѣ только окошко и поцѣлуй меня!

Ребенокъ всталъ, и я услыхалъ, какъ отворилось окно. Тогда, собравъ всѣ свои силы, я соскочилъ съ постели и сталъ колотить въ перегородку. Георгій тотчасъ же проснулся и всталъ. Я услышалъ, какъ онъ ругнулся; жена его громко вскрикнула, а черезъ мигъ весь домъ стоялъ кругомъ обомлѣвшаго ребенка... Горша исчезъ, какъ наканунѣ. Съ трудомъ привели мы мальчика въ чувство, но онъ былъ очень слабъ и еле дышалъ. Бѣдняжка не зналъ причины своего обморока. Мать и Зденка приписывали его страху ребенка, что его застали въ запрещенномъ разговорѣ съ дѣдушкой. Я ничего не говорилъ. Когда малютка успокоился, всѣ, кромѣ Георгія, снова улеглись.

На зарѣ я услыхалъ, что Георгій будитъ жену, потомъ они стали шептаться; къ нимъ присоединилась Зденка, и я различалъ ясно, что женщины плакали.

Ребенокъ умеръ. Прохожу молчаніемъ отчаянье семьи. Между тѣмъ никто не приписывалъ его смерти старику Горшѣ. По крайней мѣрѣ открыто этого никто не говорилъ.

Георгій молчалъ, но выраженіе его лица, всегда пасмурное, было теперь страшно. Старикъ не показывался дня два. Въ ночь на третьи сутки (когда похоронили малютку) мнѣ показалось, что кто-то бродитъ вокругъ дома и точно кто-то зоветъ по имени оставшагося въ живыхъ мальчика. Мнѣ показалось даже, что на мгновеніе старикъ Горша заглянулъ въ мое окошко, но я не могъ дать себѣ отчета, было ли это на самомъ дѣлѣ, или мнѣ только представилось, такъ какъ въ ту ночь луна была задернута тучами. Я все-таки счелъ нужнымъ сообщить объ этомъ Георгію. Тотъ сталъ допытываться у ребенка, который отвѣчалъ, что дѣйствительно слышалъ, какъ его звалъ дѣдушка, и что онъ видѣлъ его въ окно. Георгій

строго-настрого приказалъ сыну разбудить себя, какъ только старикъ появится вновь...

Всѣ эти обстоятельства нисколько не мѣшали развиваться чувству нѣжности моей къ Зденкѣ.

Днемъ я не могъ говорить съ ней наединѣ. Когда наступила ночь, мысль о близкомъ отъѣздѣ болѣзненно заныла во мнѣ. Комната Зденки была отдѣлена отъ моей сѣнями, которыя съ одной стороны вели на улицу, а съ другой во дворъ. Хозяева мои уже улеглись, когда мнѣ пришла мысль пойти побродить по деревнѣ, чтобы нѣсколько разсѣяться. Выйдя въ сѣни, я увидалъ, что дверь въ комнату Зденки была пріотворена.

Я невольно остановился.

Знакомый шорохъ платья заставилъ забиться мое сердце. Вслѣдъ за этимъ до меня донеслась напѣваемая вполголоса пѣсня. Это было прощаніе со своею красавицей одного сербскаго краля, отправлявшагося на войну.

«О, мой юный тополь, — говорилъ старый краль:—я ухожу на войну, и ты забудешь меня.

«Деревья, растущія у подножія горы, стройны и гибки, но стройнѣе и гибче твой юный станъ. Красны ягоды рябины, что̀ колышетъ вѣтеръ, но уста твои алѣе рябиновыхъ ягодъ! И самъ я что̀ старый дубъ безъ листьевъ, и борода моя бѣлѣе, чѣмъ пѣна Дуная! И ты забудешь меня, сердце мое, и умру я съ тоски, потому не посмѣетъ ворогъ убить стараго краля».

И отвѣчала красавица: «Клянусь остаться тебѣ вѣрною и не забыть тебя вовѣкъ. Если нарушу я клятву, то приди по смерти своей и высоси изъ сердца моего кровь».

И сказалъ старый краль: «Аминь!» И ушелъ онъ на войну. И красавица его скоро забыла!..

Тутъ Зденка замолкла, точно боялась кончать пѣсню. Я уже болѣе не сдерживалъ себя. Этотъ нѣжный выразительный голосъ былъ положительно голосъ герцогини де-Грамонъ... Забывъ все на свѣтѣ, я толкнулъ дверь и вошелъ. Зденка только-что сняла съ себя что-то въ родѣ казакина, что̀ носятъ тамъ женщины. Одна шитая золотомъ и краснымъ шелкомъ рубашка и пестрая юбка, стянутая у таліи, облекали теперь ея стройные члены. Ея прекрасныя бѣлокурыя косы были расплетены, и въ этой полуодеждѣ еще обаятельнѣе рисовалась предо мной ея красота. Не разсердясь, повидимому, на меня за мое

внезапное вторженіе, она однако смутилась и слегка покраснѣла.

— Ахъ, зачѣмъ ты пришелъ,—заговорила она:—и что̀ подумаютъ обо мнѣ, если застанутъ насъ вмѣстѣ?

— Зденка, жизнь моя, будь покойна,—сказалъ я ей:—все кругомъ спитъ, только одинъ кузнечикъ въ травѣ да стрекоза въ воздухѣ могутъ услышать то, что̀ нужно мнѣ сказать тебѣ.

— Уйди, уйди, милый, увидитъ насъ братъ—я погибла!

— Зденка, я не уйду отсюда до тѣхъ поръ, пока ты не обѣщаешь мнѣ любить меня всегда, какъ обѣщала своему кралю красавица въ твоей пѣснѣ. Я скоро уѣзжаю, Зденка; кто знаетъ, когда мы снова увидимъ другъ друга? Зденка, я люблю тебя больше души своей, больше спасенія моего... Жизнь и кровь моя—твои. Неужели ты не дашь мнѣ и часа времени?

— Многое можетъ случиться въ теченіе часа,—задумчиво отвѣтила Зденка, но оставила свою руку въ моей:—ты не знаешь моего брата,—продолжала она, вздрагивая:—у меня есть предчувствіе, что онъ придетъ.

— Успокойся, Зденка моя,—сказалъ я ей:—братъ твой усталъ отъ безсонныхъ ночей, его убаюкалъ вѣтеръ, что̀ шелеститъ въ деревьяхъ; глубокъ его сонъ, длинна наша ночь, и я прошу у тебя только часа!.. А потомъ—прости и, можетъ-быть, навсегда.

— О, нѣтъ, нѣтъ, не навсегда!—живо заговорила Зденка и отшатнулась отъ меня, будто испугавшись своего голоса.

— О, Зденка,—воскликнулъ я:—тебя одну я вижу, тебя лишь слышу, я болѣе не воленъ въ себѣ, я послушенъ какой-то высшей власти, прости мнѣ, Зденка!

И, какъ безумный, я прижалъ ее къ сердцу.

— Нѣтъ, ты не другъ мнѣ,—сказала она, вырываясь изъ моихъ рукъ, и забилась въ глубь комнаты.

Не знаю, что̀ отвѣчалъ я ей въ эту минуту, такъ какъ самъ испугался вдругъ своей смѣлости, не потому, чтобъ она въ подобныхъ случаяхъ не помогала мнѣ, а потому, что, несмотря на увлеченіе страсти, я повиновался неотразимому чувству уваженія къ невинности Зденки.

Правда, я попытался-было начать какія-то медовыя любезности, которыя имѣли вообще успѣхъ у красавицъ тогдашняго времени, но вскорѣ самъ устыдился ихъ и умолкъ, видя, что молодая дѣвушка въ простотѣ своей

и не догадывалась даже о томъ смыслѣ этихъ рѣчей, который вамъ, mesdames, вижу по вашимъ улыбкамъ, понятенъ съ полуслова.

Итакъ, я стоялъ предъ нею, не зная, что̀ дѣлать, какъ вдругъ она вздрогнула и устремила въ окно испуганный взоръ. Я слѣдилъ за направленіемъ ея глазъ и ясно увидалъ стараго Горшу, смотрѣвшаго на насъ въ окошко.

Въ ту же минуту я почувствовалъ, какъ тяжелая рука опустилась мнѣ на плечо.

Я обернулся. То былъ Георгій.

— Что̀ ты здѣсь дѣлаешь?—спросилъ онъ меня.

Смущенный этимъ внезапнымъ обращеніемъ, я указалъ ему на его отца, который все еще стоялъ у окна и исчезъ, лишь только Георгій его замѣтилъ.

— Я услыхалъ старика и пришелъ предупредить сестру твою,—сказалъ я.

Георгій посмотрѣлъ на меня такъ, будто хотѣлъ проникнуть взглядомъ до самой глубины моей души. Затѣмъ, взявъ меня за руку, онъ привелъ меня въ мою комнату и вышелъ, не сказавъ ни слова.

На слѣдующій день семья сидѣла предъ дверью дома, за столомъ, уставленнымъ молочною пищей.

— Гдѣ мальчикъ?—спросилъ Георгій.

— На дворѣ,—отвѣчала мать:—онъ играетъ въ свою любимую игру, воображаетъ, что дерется съ турками.

Только-что выговорила она это, мы, къ нашему крайнему изумленію, увидали огромную фигуру стараго Горши, медленно шедшаго къ намъ изъ лѣсу, точь-въ-точь какъ это было въ день моего пріѣзда.

— Милости просимъ, батюшка,—промолвила еле слышно его невѣстка.

— Милости просимъ, батюшка,—повторили тихо Зденка и Петръ.

— Батюшка,—сказалъ Георгій твердымъ голосомъ, но весь измѣнившись въ лицѣ:—мы ждемъ тебя, чтобы ты прочелъ молитву!

Старикъ отвернулся, сдвинувъ брови.

— Сію же минуту читай молитву,—повторилъ Георгій:—да перекрестись, или... клянусь св. Георгіемъ...

Зденка и ея невѣстка нагнулись къ старику, умоляя его прочитать молитву.

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ,—отвѣчалъ тотъ:—онъ не смѣетъ

мнѣ приказывать, а если будетъ настаивать на своемъ, я прокляну его!

Георгій всталъ и бросился въ домъ. Онъ вскорѣ вернулся съ бѣшенствомъ во взглядѣ.

— Гдѣ колъ?—закричалъ онъ:—куда вы дѣли колъ?

Зденка и Петръ переглянулись.

— Трупъ!—сказалъ тогда Георгій старику:—что ты сдѣлалъ съ моимъ старшимъ сыномъ? Отдай мнѣ сына, трупъ!

Такъ говоря, онъ становился все блѣднѣе, и глаза его разгорались полымемъ.

Старикъ смотрѣлъ на него недобрымъ взглядомъ и не шевелился.

— Да гдѣ же этотъ колъ, колъ гдѣ?—воскликнулъ Георгій.—Пусть на голову того, кто его спряталъ, обрушатся всѣ несчастія, которыя насъ ждутъ.

Въ эту минуту раздался веселый смѣхъ меньшого мальчика, и онъ въѣхалъ къ намъ верхомъ на огромномъ колу, который волочилъ за собой, крича такъ, какъ кричатъ сербы, вступая въ бой съ непріятелемъ.

При этомъ появленіи Георгій вспыхнулъ весь, выхватилъ у ребенка колъ и бросился на отца. Тотъ испустилъ какой-то ревъ и кинулся бѣжать по направленію къ лѣсу съ такою быстротой, что по его годамъ это казалось сверхъестественнымъ.

Георгій гнался за нимъ черезъ поле, и они вскорѣ исчезли у насъ изъ виду.

Солнце уже зашло, когда Георгій вернулся домой, блѣдный какъ смерть, со взъерошенными волосами. Онъ сѣлъ къ огню, и мнѣ показалось, что зубы у него стучали. Никто не осмѣлился его разспрашивать. Когда наступилъ часъ, когда семья обыкновенно расходилась, онъ, казалось, вполнѣ овладѣлъ своею прежнею энергіей; отозвавъ меня въ сторону, онъ сказалъ мнѣ самымъ непринужденнымъ тономъ:

— Дорогой гость, я былъ на рѣкѣ, она очистилась ото льда, проѣздъ есть, и ничто не задерживаетъ тебя здѣсь болѣе. Тебѣ нѣтъ надобности прощаться съ моею семьей,—прибавилъ онъ, взглянувъ на Зденку.—Она тебѣ моими устами желаетъ всякаго благополучія и надѣется, что и ты о насъ сохранишь доброе воспоминаніе. Завтра чѣмъ свѣтъ ты найдешь лошадь свою осѣдланною и проводника готоваго пуститься съ тобой въ путь. Прощай, вспо-

минай иногда своихъ хозяевъ и прости имъ, если твоя жизнь у нихъ не была такою спокойною, какъ бы ты желалъ.

Жесткія черты Георгія въ эту минуту казались почти дружелюбными. Онъ проводилъ меня въ мою комнату и пожалъ мнѣ руку въ послѣдній разъ. Потомъ снова вздрогнулъ, и снова зубы его застучали точно отъ холоду.

Оставшись одинъ, я и не подумалъ ложиться, какъ вы себѣ легко можете представить. Разныя мысли тѣснились въ моей головѣ. Я уже нѣсколько разъ въ жизни любилъ. Я испыталъ припадки и нѣжности, и досады, и ревности, но никогда еще, даже во время разлуки съ герцогиней де-Грамонъ, я не ощущалъ такой тоски, какая въ настоящую минуту сжимала мнѣ сердце. Еще солнце не взошло, какъ я уже облекся въ свое дорожное платье и думалъ сдѣлать послѣднюю попытку увидаться со Зденкой, но Георгій уже ждалъ меня въ сѣняхъ. Всякая возможность свиданія съ ней исчезла.

Я вскочилъ на лошадь и далъ ей шпоры. Я обѣщалъ себѣ на возвратномъ пути изъ Яссъ завернуть въ эту деревню, и эта надежда, хотя и отдаленная, мало-по-малу развѣяла мои грустныя мысли. Я уже съ удовольствіемъ думалъ о своемъ возвращеніи, и разыгравшееся воображеніе заранѣе рисовало мнѣ сладостныя подробности, какъ вдругъ неожиданное движеніе моей лошади чуть не выбило меня изъ сѣдла. Конь сталъ, вытянулъ переднія ноги и фыркнулъ, какъ бы чуя близкую опасность. Я внимательно оглядѣлся во всѣ стороны и увидѣлъ шагахъ во ста отъ насъ волка, рывшагося въ землѣ. Замѣтивъ насъ, онъ бросился бѣжать. Я вонзилъ шпоры въ бока моего скакуна и заставилъ его двинуться съ мѣста. Я видалъ тогда на томъ мѣстѣ, гдѣ рылся волкъ, свѣже вырытую яму. Кромѣ того, мнѣ показалось, что тамъ на нѣсколько вершковъ надъ землей торчалъ колъ. Впрочемъ, я этого за вѣрное не утверждаю, такъ какъ очень быстро проѣхалъ мимо этого мѣста.

Здѣсь маркизъ остановился и взялъ щепотку табаку.

— Какъ, и все?—спросили дамы.

— Увы! не все!—отвѣчалъ д'Юрфе.—То, что мнѣ теперь придется вамъ разсказывать, мнѣ очень тяжело вспоминать, и я дорого бы далъ, чтобъ освободить себя отъ этого воспоминанія. Дѣла, по которымъ я прибылъ въ Яссы, задержали меня тамъ долѣе, нежели я предполагалъ. Для приведенія ихъ къ концу требовалось полгода.

Какъ вамъ сказать? Печальная истина, но тѣмъ не менѣе все-таки истина, что на свѣтѣ нѣтъ прочныхъ чувствъ. Успѣхъ моихъ переговоровъ, одобренія, получаемыя мной отъ Версальскаго кабинета, словомъ, политика, эта противная политика, надѣлавшая намъ столько хлопотъ, и за это послѣднее время не преминула ослабить въ моемъ сердцѣ воспоминанія о Зденкѣ. Къ тому же, прибавьте, что супруга господаря Молдавскаго, красавица и въ совершенствѣ владѣвшая нашимъ языкомъ, стала видимо отличать меня изъ среды другихъ молодыхъ иностранцевъ, находившихся въ то время въ Яссахъ. Воспитанный въ правилахъ французской любезности, съ галльскою кровью въ жилахъ, я не могъ, конечно, отвѣчать неблагодарностью на лестные для меня знаки вниманія красавицы и, въ видахъ интересовъ Франціи, которой имѣлъ честь быть представителемъ при ея супругѣ, постарался усердно доказывать, насколько почиталъ пріятнѣйшимъ для себя долгомъ повиноваться желаніямъ его прекрасной половины. Настоящія выгоды моего отечества я всегда разумѣлъ, mesdames, какъ вы видите...

Отозванный на родину, я возвращался тою же дорогой, которою ѣхалъ въ Яссы.

Я болѣе не думалъ ни о Зденкѣ ни объ ея семьѣ, когда однажды, ѣдучи полемъ, услыхалъ гдѣ-то колоколъ, прозвонившій восемь разъ. Звукъ его показался мнѣ какъ бы знакомымъ, и мой проводникъ сказалъ мнѣ, что звонятъ въ ближней обители. Я спросилъ, какъ она называется, и узналъ, что то былъ монастырь «Божіей Матери подъ дубомъ». Я немедленно пришпорилъ лошадь и вскорѣ очутился у монастырскихъ вратъ. Отшельникъ впустилъ насъ и указалъ помѣщеніе для пріѣзжихъ, но оно было биткомъ набито богомольцами, и я спросилъ, нельзя ли найти ночлегъ гдѣ-нибудь въ деревнѣ.

— Да и не одинъ найдется,—отвѣчалъ, тяжело вздыхая, отшельникъ: — благодаря проклятому Горшѣ, тамъ много пустыхъ домовъ стало.

— Что это значитъ? Развѣ старый Горша живъ?

— Нѣтъ, онъ-то должнымъ порядкомъ лежитъ въ сырой землѣ, пронзенный коломъ въ сердце... Но онъ высосалъ кровь внуку, маленькому сыну Георгія. Мальчикъ пришелъ однажды ночью, плача и говоря, что ему холодно, и просилъ, чтобъ его впустили. Дура-мать, несмотря на то, что сама его хоронила, не имѣла духа отправить его

снова на кладбище и впустила его. Онъ тогда бросился на нее и засосалъ ее до смерти. Когда ее схоронили, она, въ свою очередь, пришла за кровью своего меньшого сына, потомъ высосала кровь у мужа и у деверя. Всѣхъ постигла одна участь.

— А Зденка?—спросилъ я трепетно.

— Ну, эта помѣшалась съ горя, бѣдняжка! Лучше и не говорить о ней...

Отвѣтъ старика былъ загадоченъ, но у меня не стало духа спрашивать далѣе.

— Вампиризмъ заразителенъ, — продолжалъ отшельникъ:—много семей въ деревнѣ страдаютъ имъ, много семей вымерло до послѣдняго члена, и, если хочешь послушаться меня, останься на ночь въ монастырѣ; если тебя въ деревнѣ и не съѣдятъ вурдалаки, такъ все же натерпишься столько страху, что голова твоя посѣдѣетъ какъ лунь, прежде чѣмъ успѣю я прозвонить къ заутренѣ. Я хоть и бѣдный монахъ,—продолжалъ онъ:—но щедроты путешественниковъ даютъ мнѣ возможность заботиться о всѣхъ ихъ нуждахъ. Есть у меня отличный творогъ и такой изюмъ, что у тебя отъ одного вида его слюнки потекутъ; найдется и нѣсколько бутылокъ токайскаго, которое не уступитъ и тому, что̀ подается за столомъ его святѣйшества патріарха...

Мнѣ показалось, что въ эту минуту говорилъ скорѣе трактирщикъ, чѣмъ отшельникъ, что онъ нарочно разсказалъ мнѣ обо всѣхъ этихъ ужасахъ, чтобы вызвать меня къ подражанію въ щедротахъ тѣмъ странникамъ, которые «давали святому человѣку возможность заботиться объ ихъ нуждахъ». Да и притомъ слово «страхъ» производило на меня всегда то же дѣйствіе, какъ на боевого коня звукъ трубы. Мнѣ бы самого себя стало стыдно, если-бъ я тотчасъ затѣмъ не собрался въ путь. Мой проводникъ, дрожа, попросилъ позволенія остаться въ монастырѣ, на что я охотно согласился.

Я употребилъ около получаса, чтобы добраться до деревни, которую нашелъ пустою. Нигдѣ ни огонька ни пѣсни. Молча проѣхалъ я мимо всѣхъ этихъ домовъ, по большей части мнѣ знакомыхъ, и достигъ наконецъ избы Георгія. Было ли то романическимъ чувствомъ или просто юношескою смѣлостью, только я рѣшился ночевать здѣсь.

Я слѣзъ съ лошади и постучался у воротъ. Отвѣта не было. Я толкнулъ ворота, они растворились, визжа петлями,

и я вошелъ на дворъ. Привязавъ подъ какимъ-то навѣсомъ моего коня, не разсѣдлывая его, самъ я направился къ дому. Ни одна дверь не была заперта, а между тѣмъ въ домѣ, казалось, никто не жилъ. Комната Зденки имѣла видъ покинутой только наканунѣ. Нѣсколько платьевъ валялись еще на постели. Кое-какія золотыя вещицы, подаренныя мною, и, между прочими, небольшой эмалевый крестикъ, купленный мною въ Пештѣ, блестѣли на столѣ при свѣтѣ луны. Сердце во мнѣ невольно сжалось, несмотря на то, что любовь давно миновала... Я вздохнулъ, завернулся покрѣпче въ плащъ свой и улегся на кровати. Меня вскорѣ одолѣлъ сонъ. Не помню подробностей, но знаю, что привидѣлась мнѣ тутъ Зденка, прелестная, наивная и любящая, какъ тогда, прежде. Я укорялъ себя, глядя на нее, за эгоизмъ свой и непостоянство. «Какъ же это могъ я,—спрашивалъ я себя:—забыть эту милую дѣвочку, которая такъ любила меня?» Мысль о ней вскорѣ смѣшалась съ воспоминаніемъ о герцогинѣ де-Грамонъ, и въ этихъ двухъ образахъ я уже видѣлъ одну и ту же особу. Я кинулся къ ногамъ Зденки и умолялъ ее о прощеніи. Все существо мое, вся душа преисполнились какимъ-то невыразимымъ ощущеніемъ грусти и счастья... Такъ снилось мнѣ, какъ вдругъ я наполовину проснулся отъ какого-то пріятнаго звука, подобнаго шелесту колосьевъ, колеблемыхъ вѣтромъ. Мнѣ почудился говоръ этихъ колосьевъ и пѣніе птицъ, къ которымъ какъ бы примѣшивался отдаленный шумъ падающихъ водъ и тихій шопотъ древесныхъ листьевъ. Затѣмъ показалось мнѣ, что всѣ эти звуки сливались воедино—въ шуршанье женскаго платья, и на этой мысли я остановился. Открывъ глаза, я увидалъ у своей кровати Зденку. Луна свѣтила такъ ясно, что я хорошо могъ различать мельчайшія подробности этихъ дорогихъ мнѣ когда-то чертъ, но всю прелесть которыхъ я какъ бы понялъ только сейчасъ во снѣ. Мнѣ показалось, что Зденка еще похорошѣла и развилась. На ней былъ тотъ же небрежный нарядъ, какъ въ тотъ разъ, когда я видѣлъ ее одну: простая рубашка, шитая золотомъ и шелкомъ, и юбка, стянутая у таліи.

— Зденка,—воскликнулъ я, быстро подымаясь на моемъ ложѣ:—Зденка, ты ли это?

— Да, это я,—отвѣчала она тихимъ и грустнымъ голосомъ:—да, это твоя Зденка, которую забылъ ты. Ахъ,

зачѣмъ не вернулся ты раньше? Все теперь кончено; тебѣ нужно уѣзжать сейчасъ, еще мгновеніе—и ты пропалъ! Прощай, другъ мой, прощай навсегда!

— Зденка,—сказалъ я:—ты перенесла много горя, мнѣ говорили; побесѣдуй со мной, тебѣ легче будетъ!

— О, другъ мой, не вѣрь всему, что̀ тебѣ про насъ говорятъ, но уѣзжай, уѣзжай скорѣе, не то погибнешь, безвозвратно погибнешь!

— Но, Зденка, что̀ же угрожаетъ мнѣ? Неужели ты мнѣ не дашь и часу, одного часу, поговорить съ тобой?

Зденка вздрогнула и вдругъ словно вся перемѣнилась.

— Хорошо,—сказала она:—часъ, одинъ часъ, не правда ли, какъ тогда, когда я пѣла пѣсню о старомъ кралѣ и ты пришелъ ко мнѣ въ комнату... Ты этого хочешь? Хорошо, даю тебѣ этотъ часъ... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ,—воскликнула она вдругъ опять, спохватясь:—уходи, уходи!.. Бѣги скорѣе, уѣзжай, говорю тебѣ... Бѣги, пока еще можешь.

Дикая энергія одушевляла ея черты.

Мнѣ непонятна была причина, заставлявшая ее говорить такъ, но она была такъ хороша, что я рѣшилъ остаться помимо ея воли. Уступивъ наконецъ моимъ просьбамъ, она сѣла подлѣ меня, заговорила о прошломъ и призналась, что полюбила меня съ перваго взгляда... И по мѣрѣ того, какъ говорила она, мнѣ все яснѣе сказывалась какая-то странная перемѣна, совершившаяся въ ней. Это была ужъ не та, знакомая мнѣ прежде, сдержанная, застѣнчивая, вѣчно краснѣющая дѣвушка. Въ движеніяхъ ея, въ блескѣ глазъ было что-то нескромное, не дѣвически смѣлое и вызывающее...

«Неужели возможно,—говорилъ я самъ себѣ:—что Зденка не была тою чистою и невинною дѣвушкой, какою казалась она мнѣ полгода тому назадъ? Неужели она надѣвала только личину, изъ боязни брата? Неужели меня одурачила ея заемная скромность? Но тогда зачѣмъ же заставлять было меня уѣхать? Или это какое-нибудь утонченное кокетство? А я-то воображалъ, что знаю ее!.. А, впрочемъ, не все ли равно! Если Зденка не Діана, какъ я воображалъ, такъ все же она можетъ быть сравнена съ другой богиней, не менѣе прелестною, а я, со своей стороны, предпочитаю, конечно, участь Адониса участи Актеона».

Если эта классическая фраза, сказанная мной самому

себѣ, кажется вамъ теперь не къ мѣсту, mesdames, то потрудитесь вспомнить, что я имѣю удовольствіе разсказывать вамъ случай, происходившій въ 1769 году. Миѳологія была тогда въ духѣ времени, а я не имѣлъ претензіи опережать свой вѣкъ. Съ тѣхъ поръ много измѣнилось, и еще очень недавно революція, уничтоживъ воспоминанія язычества въ одно время съ христіанскою религіей, возвела на ихъ мѣсто новое божество—Разумъ. Культъ этого божества никогда не былъ моимъ, когда я находился въ женскомъ обществѣ, а въ то время, о которомъ я говорю, я тѣмъ менѣе былъ расположенъ приносить ему жертвы. Я безъ стѣсненія предался чувству, которое влекло меня къ Зденкѣ, и радостно отвѣчалъ на ея заигрыванія... Въ сладостномъ забытьѣ прошло нѣсколько времени, въ теченіе коего я, забавляясь, между прочимъ, примѣриваніемъ на Зденкѣ то одной, то другой изъ найденныхъ мной на ея столѣ драгоцѣнныхъ вещицъ, вздумалъ надѣть ей на шею эмалевый крестикъ, о которомъ я имѣлъ уже случай упомянуть. Едва поднялъ я его надъ нею, Зденка отскочила, вздрогнувъ.

— Довольно дурачества, милый,—сказала она:—брось эти побрякушки и поговоримъ о тебѣ и о твоихъ намѣреніяхъ!

Смущеніе Зденки заставило меня невольно задуматься. Разглядывая ее пристальнѣе, я замѣтилъ, что у нея на шеѣ не было, какъ прежде, тѣхъ образковъ и ладонокъ, которые сербы носятъ обыкновенно съ самаго ранняго дѣтства и до смерти.

— Зденка,—сказалъ я:—гдѣ же всѣ образки, которые носила ты на шеѣ?

— Потеряла,—отвѣчала она нетерпѣливо и тотчасъ же перемѣнила разговоръ.

Во мнѣ заныло вдругъ какое-то смутное предчувствіе недобраго. Я собрался ѣхать. Зденка остановила меня:

— Какъ,—сказала она:—ты просилъ у меня часа времени и уѣзжаешь, едва проведя со мной нѣсколько минутъ?

— Зденка,—отвѣтилъ я:—ты была права, уговаривая меня уѣхать; я слышу шумъ и боюсь, чтобы насъ не увидали съ тобой!

— Будь покоенъ, другъ мой, все спитъ кругомъ, и только кузнечикъ въ травѣ да стрекоза въ воздухѣ могутъ услышать, что̀ я хочу сказать тебѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, Зденка, я долженъ ѣхать...

— Постой, постой,—заговорила Зденка:—я люблю тебя больше души своей, больше своего спасенія; ты сказалъ мнѣ, что жизнь твоя и кровь—мои...

— Но братъ твой, Зденка... я предчувствую, онъ придетъ!

— Успокойся, сердце мое, братъ мой спитъ, убаюканный вѣтромъ, что̀ шелеститъ въ деревьяхъ; глубокъ его сонъ, длинна эта ночь, и я у тебя прошу только часа!

Говоря это, Зденка была такъ хороша, что безотчетный страхъ, волновавшій меня, сталъ уступать желанію остаться съ нею. Какая-то смѣсь боязни и невыразимой нѣги наполняла все существо мое. По мѣрѣ того, какъ воля моя ослабѣвала, Зденка дѣлалась все нѣжнѣе, такъ что я рѣшился уступить, но быть однако насторожѣ. Но—увы!—какъ я уже сказалъ, я бывалъ всегда благоразуменъ только наполовину, и когда Зденка, замѣтивъ мою сдержанность, предложила мнѣ согрѣться отъ ночного холода нѣсколькими глотками добраго вина, пріобрѣтеннаго ею, говорила она, у отшельника, я согласился съ поспѣшностью, заставившею ее улыбнуться. Вино произвело свое дѣйствіе. На второмъ стаканѣ впечатлѣніе, произведенное на меня эпизодомъ съ крестикомъ и образками, совершенно изгладилось. Зденка въ своемъ небрежномъ нарядѣ, съ полусплетенными бѣлокурыми волосами, въ блестѣвшихъ при свѣтѣ луны запястьяхъ, показалась мнѣ неотразимо прекрасною. Я болѣе не сдерживалъ себя и заключилъ ее въ свои объятія...

Тогда, mesdames, произошло одно изъ тѣхъ таинственныхъ указаній, объясненія коимъ я никогда найти не могъ, но въ которыя опытъ заставилъ меня наконецъ повѣрить, хотя до тѣхъ поръ я далеко не былъ расположенъ допустить ихъ.

Я такъ сильно обнялъ Зденку, что, вслѣдствіе этого движенія, одна изъ оконечностей креста, видѣннаго вами и надѣтаго на меня предъ отъѣздомъ моимъ изъ Парижа герцогиней де-Грамонъ, вонзилась мнѣ въ грудь. Боль, которую я испыталъ при этомъ, была точно лучъ свѣта, озарившій меня внезапно. Я глянулъ на Зденку—и увидалъ, что надъ ея чертами, все еще прекрасными, витала смерть, что глаза ея ничего не видѣли, и что улыбка ея была лишь судорогой агоніи на лицѣ мертвеца. Въ то же самое время я ощутилъ въ комнатѣ острый запахъ непритвореннаго склепа. Ужасная истина открылась мнѣ во

всемъ безобразіи своемъ, и я слишкомъ поздно припомнилъ предостереженія отшельника. Я понялъ, въ какомъ находился отчаянномъ положеніи, и почувствовалъ, что все зависѣло отъ моей смѣлости и присутствія духа. Я отвернулся отъ Зденки, чтобы не дать ей замѣтить того, что̀, вѣроятно, выражалось на лицѣ моемъ. Взглядъ мой невольно обратился къ окну, и я увидалъ страшнаго Горшу, опиравшагося на окровавленный колъ и смотрѣвшаго на меня взглядомъ гіены. Въ другомъ окнѣ стоялъ Георгій, въ эту минуту ужасно походившій на отца. Оба они, казалось, слѣдили за каждымъ моимъ движеніемъ, и было ясно, что они бросятся на меня при малѣйшей попыткѣ бѣжать. Я сдѣлалъ поэтому видъ, что не замѣтилъ ихъ, и имѣлъ настолько силы воли, что продолжалъ все такъ же ласкать Зденку, будто ничего не случилось, но въ то же время только и думалъ, какъ бы мнѣ спастись. Я видѣлъ, что Горша и Георгій переглядываются со Зденкой и начинаютъ терять терпѣніе. И тутъ же во дворѣ послышались мнѣ женскій голосъ и плачъ дѣтей, но такіе ужасные, что ихъ можно было скорѣе принять за вытье дикихъ кошекъ.

«Пора убираться, — сказалъ я самъ себѣ: — и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!»

И, обратясь къ Зденкѣ, я заговорилъ съ ней настолько громко, чтобы страшные родственники ея могли слышать:

— Я усталъ, милая моя, мнѣ бы хотѣлось лечь и поспать нѣсколько часовъ, но надо прежде накормить мою лошадь. Прошу тебя, не уходи и подожди меня здѣсь.

Я приложилъ губы къ ея похолодѣвшимъ и блѣднымъ устамъ и вышелъ. Лошадь свою я нашелъ всю въ пѣнѣ и рвущеюся изъ-подъ навѣса. Ржаніе, которымъ она встрѣтила меня, обдало меня холодомъ, такъ какъ я боялся, какъ бы оно меня не выдало. Но вурдалаки, слышавшіе, конечно, разговоръ мой со Зденкой, не трогались съ мѣста. Тогда я, удостовѣрясь, что ворота не заперты, быстро вскочилъ въ сѣдло и вонзилъ сразу шпоры въ бока моего скакуна. Выскакавъ изъ воротъ, я успѣлъ только замѣтить, что толпа, собравшаяся вокругъ дома и стоявшая, прильнувъ лицами къ стекламъ, была весьма многочисленна. Полагаю, что мой внезапный выѣздъ озадачилъ ихъ, такъ какъ въ первыя минуты затѣмъ я въ молчаніи ночи различалъ только однообразный топотъ несшагося подо мной коня.

Я уже готовъ былъ поздравить себя съ благополучнымъ концомъ этой исторіи, какъ вдругъ услыхалъ за собой шумъ, подобный вою урагана въ горахъ. Тысячи голосовъ стонали, ревѣли и точно спорили другъ съ другомъ. Потомъ вдругъ все смолкло, и раздался какъ бы мѣрный гулъ и топотъ нѣсколькихъ бѣгущихъ пѣхотинцевъ.

Я подгонялъ шпорами коня моего до крови. Жилы мои чуть не разрывались отъ пожиравшаго меня лихорадочнаго огня, и между тѣмъ какъ всѣ усилія мои направлены были къ тому, чтобы сохранить еще нѣкоторое присутствіе духа, я услыхалъ позади себя голосъ, взывавшій ко мнѣ:

— Погоди, погоди, милый! Я люблю тебя болѣе души своей, болѣе своего спасенія! Постой, постой, твоя кровь— моя!

Въ то же время холодное дыханіе коснулось моихъ ушей, и Зденка прыгнула на крупъ моей лошади.

— Сердце мое, душа моя!—говорила она мнѣ:—я только тебя вижу, только тебя хочу; я не властна надъ собой, я повинуюсь высшей власти; прости меня, милый, прости меня!..

И, обвивъ меня руками, она старалась опрокинуть меня и укусить за горло. Страшная борьба завязалась между нами. Долго защищался я съ трудомъ, но наконецъ напрягъ всѣ силы, схватилъ Зденку одною рукой за поясъ, а другою за косы и, приподнявшись на стременахъ, швырнулъ на-земь.

Тотчасъ затѣмъ силы оставили меня, и я впалъ въ бредъ. Тысячи безумныхъ и страшныхъ образовъ преслѣдовали меня, угрожая мнѣ. Сначала Георгій и братъ его Петръ все бѣжали по краямъ дороги и старались перерѣзать мнѣ путь. Имъ это не удавалось, и я радовался уже этому, когда, обернувшись, увидѣлъ стараго Горшу, который, опираясь на свой колъ, дѣлалъ при помощи его неимовѣрные прыжки, подобно тирольцамъ, перекидывающимся черезъ обрывы. Но и Горша остался позади. Тогда невѣстка его, волочившая за собой двоихъ дѣтей, подкинула ему одного изъ нихъ, котораго онъ и поймалъ на остріе кола. Орудуя имъ какъ пращой, онъ изо всѣхъ силъ пустилъ ребенкомъ въ меня. Я избѣгъ удара, но дѣтенышъ со свирѣпою цѣпкостью бульдога такъ и вцѣпился въ шею моей лошади, и мнѣ еле-еле удалось оторвать и скинуть его. Горша кинулъ въ меня

другимъ ребенкомъ, но этотъ свалился подъ копыта лошади, и она раздавила его... Не знаю, что было далѣе, но когда я очнулся—было уже свѣтло, и я лежалъ на краю дороги, а рядомъ со мной издыхала моя лошадь.

Такъ кончилось, mesdames, это мое любовное похожденіе, которое должно было, казалось бы, навсегда отбить у меня охоту искать новыхъ. Изъ остающихся въ живыхъ бабушекъ вашихъ нѣкоторыя могли бы сообщить вамъ, насколько въ дѣйствительности сталъ я съ теченіемъ времени болѣе благоразумнымъ.

Какъ бы ни было, но я и теперь еще содрогаюсь при мысли, что попадись я во власть моихъ враговъ—я бы, въ свою очередь, сталъ вампиромъ; но Провидѣніе не допустило до этого, и я, mesdames, не только не жажду вашей крови, но готовъ за васъ и всю свою отдать до послѣдней капли.

ДВА ДНЯ ВЪ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ.

Уже около мѣсяца жили мы на кочевкѣ, верстахъ въ полутораста отъ Оренбурга, а охота, отъ которой мы обѣщали себѣ столько удовольствія, почти ничего не представляла занимательнаго. Лѣто было самое жаркое, всѣ болота высохли; со дня на день ожидали соколовъ, чтобы поохотиться на утокъ и стрепетовъ, но соколовъ не привозили, и намъ оставалось только ходить съ лягавой за тетеревами.

Во всякомъ другомъ мѣстѣ эта охота была бы для меня занимательна, но здѣсь она мнѣ скоро надоѣла. Кочевка расположена между высокими холмами, составляющими начало Уральскаго хребта и покрытыми дубнякомъ и березникомъ. Мимоходомъ можно сказать, что холмы эти совершенно между собою схожи, и что ничего нѣтъ легче, какъ въ нихъ заблудиться. Почти всѣ они имѣютъ ту же оригинальную форму, почти всѣ увѣнчаны стѣнообразнымъ гребнемъ сланцеватаго камня, и въ каждой долинѣ протекаетъ небольшой ручей, съ обѣихъ сторонъ скрытый кустарникомъ. Долины эти изобилуютъ разными ягодами, а болѣе всего особеннымъ родомъ дикихъ вишенъ, растущихъ въ высокомъ ковылѣ едва примѣтными кустами. Имъ-то, кажется, должно приписать неимовѣрное множество тетеревей, водящихся въ этихъ мѣстахъ. Каждый день мы стрѣляли штукъ по шестидесяти и даже по сто, но уменьшенія ихъ вовсе не было замѣтно. Обыкновенно мы уѣзжали верхомъ рано поутру и часа черезъ три возвращались домой, обвѣшанные добычей. Каждый изъ насъ убивалъ столько, что невозможно было помѣстить

всего въ обыкновенномъ ягдташѣ, и, чтобы помочь этому неудобству, одинъ опытный охотникъ того края изобрѣлъ ремни, которые, не занимая лишняго мѣста, могли помѣстить на себѣ множество дичи. Съ начала охоты ремни эти мы носили черезъ плечо, а подъ конецъ навьючивали ими лошадь. Случалось, что мы принуждены были воротиться единственно потому, что у насъ истощался весь запасъ пороха и дроби. Чтобы дать нѣкоторое понятіе о числѣ тамошнихъ тетеревей, я приведу только одинъ примѣръ. Въ теченіе часа мы однажды втроемъ убили шестьдесятъ три штуки.

Правда, что у насъ была отличная собака: бѣдный Буффонъ былъ глухъ и кривъ, но имѣлъ такое чутье и такую стойку, какихъ я никогда не видывалъ. Я помню, однажды онъ сталъ надъ куропаткой.—«Пиль!»—сказалъ я. Буффонъ ни съ мѣста.—«Пиль, Буффка!» Буффонъ не шевелится. — «Пиль, дуракъ!» — закричалъ я и пихнулъ его ногой. Буффонъ перекувырнулся и сталъ ко мнѣ лицомъ, нисколько не теряя ни хладнокровія ни стойки. Куропатка сидѣла между нимъ и мною, и я поймалъ ее руками. Таковъ былъ бѣдный Буффочъ, но даже и безъ него мы бы настрѣляли пропасть тетеревей: стоило только отойти шаговъ двѣсти отъ кибитокъ, чтобы поднять нѣсколько выводковъ. Охота эта могла позабавить сначала, но у нея недоставало главной прелести охоты: ожиданія неизвѣстнаго, которое такъ же пріятно охотнику, какъ и игроку. Если бы сей послѣдній зналъ наперед, что онъ не можетъ проиграть, игра для него, вѣроятно, лишилась бы всей занимательности. Такъ точно и я, увѣренный заранѣе, что убью непремѣнно столько-то штукъ, не находилъ въ томъ никакого удовольствія. Тетеревиная стрѣльба наша напомнила мнѣ кровопролитныя охоты въ нѣмецкихъ паркахъ—охоты, которыхъ, откровенно сказать, я терпѣть не могу.

Послѣ этого сознанія, легко себѣ можно представить, какъ я обрадовался, когда пришло на кочевку извѣстіе, что за Ураломъ, въ Киргизской степи, показались сайгаки. Я вспомнилъ объ описаніяхъ этого животнаго въ натуральныхъ исторіяхъ, гдѣ о немъ всегда говорится какъ объ одной изъ быстрѣйшихъ и недоступнѣйшихъ антилопъ. Нѣкоторые изъ охотниковъ, бывшіе въ хивинской экспедиціи, разсказывали намъ, какъ на возвратномъ пути, весною, имъ случалось встрѣчать сайгаковъ, и какъ они

тщетно старались догнать ихъ лучшими скакунами. Однажды имъ удалось окружить цѣлый табунъ и вогнать его въ середину обоза, но сайгаки безъ всякаго усилія перепрыгнули черезъ навьюченныхъ верблюдовъ и тотчасъ скрылись изъ виду.

Подобные разсказы еще болѣе возбудили мое любопытство, и я горѣлъ нетерпѣніемъ увидѣть сайгака, почти не смѣя надѣяться на удачу охоты. Цѣлый день мы выливали пули, пробовали штуцера и дѣлали патроны. Отъ кочевки до Сухорѣченской крѣпости, гдѣ намъ надлежало ночевать и потомъ переѣхать черезъ Уралъ, было верстъ двѣсти. Ѣзда въ Оренбургской губерніи неимовѣрно быстра, степныя дороги гладки какъ паркетъ, а башкирскія лошади неутомимы.

Часовъ въ четырнадцать мы на двухъ тарантасахъ проскакали двухсотверстное пространство и еще нашли время выкупаться въ Сакмарѣ и пообѣдать въ одной изъ линейныхъ станицъ. Мѣста, черезъ которыя мы проѣзжали, были очень разнообразны и живописны; сначала такіе же холмы, какъ и на кочевкѣ, потомъ широкія долины, Сакмара, отсвѣчивающая сквозь лѣсъ серебряныхъ тополей, зеленая, цвѣтущая степь, а вдали—голубыя Губерлинскія горы.

Стаи витютней пролетали надъ нами; по дорогѣ прохаживались степные кулики, съ краснымъ носомъ и красными ногами, называемые сороками по цвѣту ихъ перьевъ; время отъ времени вспархивалъ изъ-подъ тарантаса испуганный стрепетъ, и поминутно выскакивали изъ норъ своихъ суслики и свистѣли, сидя на заднихъ лапкахъ. На все это мы почти не обращали вниманія, будучи заняты лишь мыслью о сайгакахъ. Часовъ въ девять вечера мы пріѣхали въ Сухорѣченскую крѣпость и остановились у станичнаго атамана. Передъ его домомъ казаки забавлялись стрѣляніемъ въ цѣль изъ длинныхъ винтовокъ съ крошечнымъ калибромъ и съ присошкой о двухъ остріяхъ, придѣланной къ ложу. Настрѣлявшись съ ними вдоволь и выкупавшись въ Уралѣ, мы легли на дворѣ на свѣжемъ сѣнѣ и заснули подъ говоръ атамана, разсказывавшаго намъ, какъ его взяли въ плѣнъ киргизы, и какъ онъ отъ нихъ убѣжалъ.

Солнце едва начинало всходить, а тарантасъ нашъ уже ѣхалъ по берегу Урала, окруженный конвоемъ башкирцевъ. Переѣздъ черезъ рѣку былъ какъ нельзя болѣе жи-

вописенъ. Крутые берега утеса, тарантасъ, до половины колесъ погруженный въ воду, прыгающія лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающіе кинжалы, все это, освѣщенное восходящимъ солнцемъ, составляло прекрасную и оригинальную картину. Уралъ въ этомъ мѣстѣ не широкъ, но такъ быстръ, что насъ едва не унесло теченіемъ. На другой сторонѣ степь приняла совершенно новый видъ. Дорога скоро исчезла, и мы ѣхали цѣликомъ по крѣпкой глинистой почвѣ, едва покрытой сожженною солнцемъ травою. Степь рисовалась передъ нами во всемъ своемъ необъятномъ величіи, подобная слегка взволнованному морю. Тысячи разноцвѣтныхъ оттѣнковъ бороздили ее въ разныхъ направленіяхъ; въ иныхъ мѣстахъ стлался прозрачный паръ, черезъ другія бѣжали тѣни облаковъ, и все казалось въ движеніи, хотя ничего не поражало нашего слуха, кромѣ стука колесъ и конскаго топота. Вдругъ одинъ башкирецъ остановилъ коня и протянулъ руку. Послѣдовавъ глазами направленію его пальца, я увидѣлъ нѣсколько свѣтло-желтыхъ точекъ, движущихся на горизонтѣ: то были сайгаки. Одинъ изъ насъ сѣлъ на башкирскую лошадь, въ надеждѣ, что успѣетъ какъ-нибудь къ нимъ подъѣхать; но едва сайгаки увидѣли эти приготовленія, какъ пустились бѣжать, несмотря, что насъ раздѣляло нѣсколько верстъ. Мы продолжали путь и вскорѣ стали различать кибитки, расположенныя у подножія высокаго и длиннаго утеса, синяго и лиловаго цвѣта, который, какъ я узналъ послѣ, назывался Кукъ-Ташъ, т.-е. синій камень, и состоялъ изъ яшмы. Тутъ былъ приготовленный для насъ станъ. Нѣсколько казаковъ выѣхали къ намъ навстрѣчу, и между ними хорунжій Иванъ Ивановичъ, завѣдывавшій на кочевкѣ всѣми охотами. Извѣстія о сайгакахъ были самыя удовлетворительныя. Казаки говорили, что имъ нѣтъ и числа, и что не помнятъ, когда бы ихъ приходило на линію такое множество. Они полагали, что засухи вытѣснили ихъ изъ самой глубины степей и заставили искать прохлады вблизи отъ Урала.

Когда мы вошли въ кибитку, Иванъ Ивановичъ, къ удивленію нашему, показалъ намъ десять сайгачьихъ головъ, съ красивыми рогами и съ безобразными горбатыми носами, напоминающими своею длиною и мягкостью носы индѣйскихъ пѣтуховъ.

— Что вы сдѣлали? — сказалъ я ему: — вы напугали

сайгаковъ, они опять уйдутъ въ степи, и вся наша охота пропадетъ!

— Что-жъ дѣлать?—отвѣчалъ онъ:—никакъ ребятъ не удержу. Еще казаковъ пристрастилъ кое-какъ, а башкирцевъ ничѣмъ не остановишь,—такъ и рвутся! Вчера убили тридцать штукъ, сегодня еще не успѣли поохотиться; впрочемъ, не безпокойтесь, довольно останется для всѣхъ!

Мы хотѣли тотчасъ же ѣхать на охоту, но намъ совѣтовали подождать, чтобы сдѣлалось пожарче. Поутру сайгаки бродятъ табунами и никого не подпускаютъ, но къ полудню они ложатся порознь, и тогда есть возможность къ нимъ подползти. Подождавъ немного, мы сѣли на лошадей и разсѣялись по степи партіями человѣка по четыре.

Дорогой я завелъ разговоръ съ своими проводниками и спросилъ ихъ: часто ли видно на линіи киргизовъ?

— Теперь не такъ часто, ваше благородіе,—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ:—а все-таки случается; и черезъ Уралъ даже переходятъ табуны угонять!

— А какъ ты думаешь, увидимъ мы ихъ сегодня?

— Куда! Они уже давно пронюхали, что мы на охотѣ; и ни одна собака сюда не покажется!

— А я слышалъ, что они не всегда васъ боятся?

— Да, тогда не боятся, когда ихъ десять на одного: дрянной народъ, нечего сказать, а плетьми бить умѣютъ! Меня чуть живого оставили, какъ попался я имъ, года два тому; да добро бы одинъ билъ, а то кто подъѣдетъ, тотъ и ударитъ, да одинъ другого крѣпче, по чему ни попало; а сидѣлъ я на лошади нагишомъ; лишь только поймали, собаки, такъ всего и раздѣли дочиста. Дрянной народъ, ваше благородіе!

— Какъ же ты ушелъ отъ нихъ?

— Двухъ лучшихъ коней высмотрѣлъ, ваше благородіе, да и ускакалъ ночью о дву-конь. Два дня, почитай, скакалъ безъ остановки, на третій совсѣмъ проголодался, да не далъ Богъ умереть: нашелъ мертваго сайгака, поѣлъ немного да взялъ съ собою на дорогу, а безъ него пропалъ бы навѣрно; верстъ было съ пятьсотъ отъ линіи.

— Что-жъ тебя заставляли дѣлать киргизы?

— Что тамъ заставлять? Табуны стерегъ, кобылъ доилъ да сыръ дѣлалъ изъ козьяго молока. Только били каждый день, собаки; да добро бы ужъ одни мужчины, а то и бабы и мальчишки! А плети-то у нихъ съ доброе полѣно!

Разговаривая такимъ образомъ, мы проѣхали верстъ десять, не встрѣтивъ ничего, кромѣ сурковъ, которые, выскакивая изъ норъ, стояли надъ ними какъ будто на часахъ, но не подпускали насъ на ружейный выстрѣлъ. Изрѣдка, какъ желтыя точки, виднѣлись вдали сайгаки, но мгновенно исчезали, не давая намъ даже различить ихъ формы. Вдругъ казакъ, ѣхавшій возлѣ меня, прилегъ къ конской шеѣ и круто повернулъ назадъ. Я и другіе казаки послѣдовали его примѣру.

— Слѣзайте проворнѣе!—сказалъ онъ мнѣ:—вонъ, за этимъ бугромъ, лежатъ сайгаки! Ты, Рѣшетаевъ, оставайся съ лошадьми да поглядывай по сторонамъ, а вы ложитесь на землю и ползите за мною.

Мы оба легли на землю и начали ползти на локтяхъ и на колѣняхъ. Въ одной рукѣ у меня была тяжелая одноствольная винтовка, въ другой—не менѣе тяжелое двуствольное ружье, заряженное картечью.

Глинистая, засохшая почва, ужъ и безъ того жесткая какъ камень, была еще покрыта маленькими острыми камешками, которые причиняли мнѣ ужасную боль; солнце жгло мою спину какъ будто огонь, и потъ градомъ съ меня катился. Несмотря на то, я ползъ, не останавливаясь; но, не предвидя этому конца, спросилъ тихонько у казака: гдѣ лежатъ сайгаки?

— А вотъ изволите видѣть кустикъ съ красными ягодами?

— Вижу.

— А тамъ, полѣвѣе, прямая травинка?

— Вижу; тамъ что-жъ?

— Слѣдите глазомъ все прямо между ягодами и травинкой; ступеняхъ въ пятидесяти оттоль торчитъ какъ будто сучокъ: то сайгачьи рога.

Я напрягъ свое зрѣніе и дѣйствительно увидѣлъ что-то похожее на сучокъ.

— Скоро ли мы туда дополземъ?—спросилъ я.

— А вотъ надобно дать немного круга, чтобъ подлѣзть изъ-подъ вѣтра, а то какъ разъ почуютъ. Да не извольте головы подымать, ваше благородіе,—тотчасъ замѣтятъ!

Мы опять стали ползти и описали такой большой кругъ, что я почти выбился изъ силъ.

— Теперь ужъ близко!—сказалъ казакъ:—шаговъ сто, не больше! Не подымайтесь на колѣняхъ, ползите на брюхѣ! Да, ради Бога, тише, не стучите ружьями о землю!

Я совсѣмъ растянулся и ползъ какъ лягавая собака.

— Что, скоро ли?

— Тсъ! вонъ, сталъ голову подымать,—что-нибудь да замѣтилъ... Ради Бога, тише... Ну, теперь пора!.. Кладите ружье ко мнѣ на плечо!..

Не успѣлъ я взвести курка, какъ сайгакъ вскочилъ и вихремъ умчался въ степь. Другіе, лежавшіе вблизи, послѣдовали за нимъ.

Казакъ и я посмотрѣли другъ на друга, встали на ноги и побрели навстрѣчу къ лошадямъ.

— Я вамъ говорилъ, что надобно болѣе нагибаться!— сказалъ онъ, покачивая головой.

Мы пустились рысью, и вскорѣ Рѣпниковъ (такъ звали казака) опять увидѣлъ сайгаковъ.

Этотъ разъ мнѣ удалось доползти къ нимъ шаговъ на восемьдесятъ, но руки мои дрожали, потъ катился въ глаза и мѣшалъ мнѣ смотрѣть; я цѣлился минуты съ двѣ, наконецъ выстрѣлилъ и далъ промахъ. Къ счастью, сайгакъ насъ не увидѣлъ; онъ вскочилъ, посмотрѣлъ на всѣ стороны, отошелъ шаговъ на сорокъ и опять легъ. Я, лежа, зарядилъ ружье, подползъ опять на выстрѣлъ, но, прежде чѣмъ стрѣлять, отдохнулъ нѣсколько минутъ, не спуская съ глазъ сайгака. Я могъ различить его большіе, красиво-выгнутые рога съ черными кончиками, глубокія морщины на горбатомъ носу и огромныя раздутыя ноздри, которыми онъ шевелилъ во всѣ стороны.

Когда я собрался стрѣлять, сердце мое такъ сильно забилось, что мнѣ казалось, будто сайгакъ услышитъ его стукъ. Я вынулъ изъ-за пояса ятаганъ и воткнулъ его въ землю; потомъ съ величайшею осторожностью положилъ на него винтовку и крѣпко прижалъ ее къ плечу. Мнѣ видны были только голова и шея. Я прицѣлился въ шею и, удержавъ дыханіе, тронулъ шнеллеръ.

Сначала ничего нельзя было различить за дымомъ, но, когда я всталъ и посмотрѣлъ вокругъ себя, сайгака нигдѣ не было.

Я побѣжалъ впередъ, и кто опишетъ мою радость, когда онъ представился моимъ глазамъ, лежащій съ прострѣленною шеей: я попалъ какъ разъ куда цѣлилъ.

Казаки скоро ко мнѣ подоспѣли, сайгака выпотрошили и привязали за сѣдло. Онъ былъ ростомъ болѣе дикой козы, свѣтло-бураго цвѣта и съ шестнадцатью кольцами на рогахъ.

Эта удача насъ развеселила. Мы поскакали далѣе, соображая направленіе пути съ теченіемъ солнца. Я опять вступилъ въ разговоръ съ казаками.

— Правда ли,—спросилъ я, между прочимъ:—что киргизы переносятъ боль съ необыкновеннымъ терпѣніемъ и никогда не жалуются, какъ бы тяжело они ни были ранены?

— Правда, ваше благородіе,—отвѣчалъ Рѣпниковъ.— Намедни я откусилъ одному киргизцу ухо, такъ нисколько и не поморщился, собака!

— Откусилъ ухо!—вскричалъ я:—какимъ это образомъ?

— Да вотъ будетъ скоро двѣ недѣли, какъ они угнали ночью табунъ изъ станицы. Мы собрались самъ-восемь и пустились въ погоню. Ѣдемъ часъ, ѣдемъ другой, не видать ничего; а слѣдъ на солончакахъ знатенъ, ошибиться нельзя. Что̀ за чортъ! По моему разсчету намъ бы давно пора ихъ увидѣть: слѣдъ идетъ небольшой рысью, а мы ѣдемъ верстъ по пятнадцати на часъ. «Смотрите, ребята,— говорю я:—тутъ какая-нибудь да штука,—они, должнобыть, запали вонъ въ той лощинѣ. Ступайте шагомъ да приготовьте винтовки,—мнѣ что-то сдается, что они выскочатъ, собаки, вонъ изъ-за этого камня!» Не успѣли мы еще поровняться съ камнемъ, какъ слышимъ: ззз!..—и стрѣла воткнулась мнѣ прямо въ ногу. Тутъ какъ завизжатъ они, да какъ посыплются одинъ за другимъ изъ-за камня!.. Я думаю, человѣкъ съ двадцать пять было, всѣ съ копьями, да еще двое панцырниковъ! Ребята было-смѣшались, да я говорю: «не робѣть!» Вытащилъ стрѣлу изъ ноги, соскочилъ съ камня, приложился, бацъ! Такъ одинъ и покатился. Рѣшетаевъ ссадилъ другого, а они, шельмы, какъ увидѣли, что мы стоимъ за себя, повернули коней да и давай тягу! «Ну, братцы,—говорю я:—теперь за ними!» Тутъ ребята ударили на мошенниковъ, кто кого догоняетъ, а Рѣшетаевъ гонится за панцырникомъ. Ужъ онъ было-доставалъ его плетью, вдругъ тотъ—въ сторону. Я вижу, что уйдетъ, разбойникъ, а панцырь на немъ рублей во сто,—я и сталъ норовить наперехватъ. Подъ нимъ конь хорошъ, а подо мной лучше. Скачемъ, скачемъ, только тотъ какъ обернется на всемъ скаку да какъ пуститъ стрѣлу прямо въ горло моему коню, такъ у него и духъ вонъ; покатился, сердечный, и я вмѣстѣ съ нимъ. Досадно стало, да и коня, признаться, жаль. «Не упустить же разбойника!»—говорю я. Взялъ у товарища

коня да и давай опять догонять собаку. Только куда! Пока я поднялся на ноги, тотъ ужъ успѣлъ ускакать чуть ли не на версту, а я остался за всѣми послѣдній. Смотрю, онъ скачетъ ровнымъ бѣгомъ, что̀ стрѣла летитъ, а Рѣшетаевъ чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе отстаетъ. «Эхъ, жаль, уйдетъ!» — думаю я, только, глядь, лошадь его какъ летѣла, такъ со всѣхъ ногъ и ударилась о землю: знать, наткнулась на сурочью яму. Тутъ Рѣшетаевъ съ ребятами навалились на молодца и скрутили ему руки, а я какъ подскакалъ къ нимъ, да какъ увидѣлъ эту киргизскую рожу, такъ сердце и закипѣло,—бросился на него и отхватилъ зубами ухо...

Тутъ разсказчикъ остановился и, заслонившись рукою отъ солнца, началъ всматриваться вдаль.

— Э, э, э!—сказалъ онъ:—да ихъ тутъ нѣсколько сотенъ!

— Кого?—спросилъ я:—киргизовъ?

— Нѣтъ, сайгаковъ!—отвѣчалъ онъ.

Въ самомъ дѣлѣ, послѣдовавъ направленію его нагайки, я увидѣлъ множество свѣтло-желтыхъ точекъ, которыя съ разныхъ сторонъ бѣжали къ зеленой полосѣ, ясно отдѣлявшейся отъ бураго цвѣта степи. Зеленою полосою казались издали берега небольшого ручья, впадающаго въ Уралъ. Сайгаки, мучимые жаромъ, бѣжали на водопой.

— Что̀?—спросилъ я:—убьемъ ли мы хоть одного изъ нихъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Рѣпниковъ:—кабы заранѣе залечь въ травѣ, такъ, можетъ, и набѣжалъ бы одинъ-другой, а теперь не подъѣхать.

Число сайгаковъ примѣтнымъ образомъ увеличивалось. Они бѣжали къ ручью огромными стадами. Чѣмъ болѣе я всматривался вдаль, тѣмъ болѣе открывалъ ихъ на горизонтѣ: они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятиверстнаго пространства вокругъ насъ, была ими покрыта. Я думаю, тутъ было нѣсколько тысячъ.

— Экое богатство!—говорили казаки.—Видитъ глазъ, да зубъ нейметъ!

Между тѣмъ мы ѣхали далѣе и вскорѣ наткнулись на лежащій табунъ. Вѣроятно, его уже прежде насъ подсмотрѣла другая партія, ибо мы увидѣли верстахъ въ двухъ четырехъ всадниковъ, осторожно объѣзжающихъ холмъ, на которомъ лежали сайгаки; но мы были къ нимъ ближе и

къ тому же подъ вѣтромъ. Я слѣзъ съ лошади, началъ было ползти, но сайгаки тотчасъ вскочили, не допустивъ меня на нѣсколько выстрѣловъ. Охотники другой партіи поскакали, чтобы перерѣзать имъ дорогу, а мы погнались за ними съ другой стороны, такъ что они бѣжали между двумя партіями, какъ будто въ клещахъ.

Мы были отъ нихъ довольно далеко и не имѣли никакой надежды догнать ихъ; но товарищи наши, скрытые холмомъ, успѣли ихъ перехватить. Табунъ остановился, и намъ видно было, какое произошло въ немъ смятеніе. Старый самецъ, бѣжавшій впереди, бросился-было въ сторону, но одинъ изъ охотниковъ соскочилъ съ лошади и застрѣлилъ его на лету въ то самое время, какъ онъ дѣлалъ отчаянный прыжокъ. Выстрѣлъ этотъ возбудилъ удивленіе казаковъ, никогда не стрѣляющихъ иначе, какъ съ подлаза, и то съ помощью придѣланныхъ къ ихъ ружьямъ присошекъ.

— Джигитъ! джигитъ! — закричали они, посматривая другъ на друга, т.-е.: «молодецъ, молодецъ!» Здѣсь можно замѣтить, что татарскій языкъ употребляется у казаковъ линейныхъ станицъ почти столько же, какъ и русскій, а мои проводники безпрестанно на немъ болтали.

Мы съѣхались съ своими товарищами, сравнили нашихъ сайгаковъ и нашли, что убитый ими гораздо болѣе моего. Между тѣмъ солнце такъ пекло и мы чувствовали такую жажду, что рѣшились воротиться въ свои кибитки.

Охотникъ застрѣлившій сайгака, убилъ дорогой сурка изъ винтовки. Бывшій съ нимъ калмыкъ тотчасъ слѣзъ съ лошади, чтобы его взять.

— Что это, самецъ или самка?—спросилъ мой товарищъ.

— Жеребецъ, ваше благородіе!—отвѣчалъ калмыкъ, снявъ фуражку.

Мы отъ души захохотали, и кто видалъ смѣшную фигуру сурка, тому этотъ отвѣтъ, вѣроятно, покажется столь же забавнымъ, какъ и намъ.

— Смотрите, ваше благородіе!—сказалъ мнѣ Рѣпниковъ:—вѣдь калмыкъ теперь подобралъ сурка, а потомъ его съѣстъ. Это такой народъ,—хуже киргизовъ, всякую гадость ѣдятъ, а еще называютъ себя христіанами.

И казакъ, незадолго передъ тѣмъ откусившій киргизское ухо, съ омерзѣніемъ плюнулъ въ сторону.

Мнѣ также удалось заслужить названіе джигита: я за-

стрѣлилъ пулей, на довольно большомъ разстояніи, сидячаго карагуша, родъ орла, котораго бывшіе съ нами башкирцы тотчасъ ощипали, чтобы перьями его оклеить себѣ стрѣлы.

Когда, послѣ продолжительной ѣзды, мы увидѣли вдали свои кибитки, то, вмѣстѣ съ ними, намъ представилось необыкновенное и великолѣпное зрѣлище. Вмѣсто степи, сожженной солнцемъ, у подножія синяго утеса Кукъ-Ташъ разстилалось прекрасное озеро, отражавшее, какъ свѣтлое зеркало, и утесъ и расположенныя близъ него кибитки.

— Что̀ это за озеро?—спросилъ я съ удивленіемъ:—это не наши кибитки?

— Наши!—отвѣчали, смѣясь, казаки.—Это не озеро, а марево *).

Несмотря на это объясненіе, я не могъ повѣрить, что вижу не что̀ иное, какъ призракъ; и мнѣ казалось, что я различаю всѣ оттѣнки воды и отраженныхъ въ ней облаковъ. Я поскакалъ прямо къ кибиткамъ; но по мѣрѣ того, какъ я къ нимъ приближался, вода дѣлалась все болѣе и болѣе прозрачною, превращалась въ струящійся паръ и наконецъ совсѣмъ исчезла.

Въ кибиткахъ былъ приготовленъ для насъ вкусный обѣдъ; но мы предпочли пить чай. Никогда я не забуду, съ какимъ удовольствіемъ выпилъ я одиннадцать стакановъ горячаго чаю, несмотря на то, что на мнѣ не было ни одной сухой нитки, и что даже въ тѣни было болѣе тридцати градусовъ.

Остальную часть дня мы провели въ бездѣйственномъ отдыхѣ. Разсѣянныя партіи возвращались одна послѣ другой; но башкирцы остались въ степи и пріѣхали только поздно вечеромъ, обремененные добычей. У многихъ было по два, а у иныхъ даже по три сайгака за сѣдломъ. Всего-на-все въ этотъ день было убито болѣе пятидесяти штукъ, а всѣхъ насъ было только сорокъ человѣкъ.

Бо̀льшая часть нашихъ оренбурскихъ охотниковъ, утомленныхъ ѣздою и ползаніемъ, въ тотъ же вечеръ уѣхали на кочевку; но я остался, чтобы еще на другой день поохотиться съ казаками.

Цѣлую ночь передъ кибиткою горѣлъ костеръ изъ сухой травы и привезеннаго нами хвороста. Казаки окликали другъ друга на пикетахъ. Звѣзды сквозь круглое отверстіе

*) Извѣстное явленіе, которое французы называютъ mirage.

кибитки смотрѣли мнѣ прямо въ лицо; но ни поэтическій свѣтъ ихъ, ни трескъ пылающаго хвороста, ни клики казаковъ не помѣшали мнѣ заснуть крѣпкимъ сномъ. Я спалъ, какъ убитый, и проснулся только тогда, какъ солнце было уже высоко и наставало время ѣхать на охоту.

Рѣпниковъ съ своими товарищами повели меня этотъ разъ по другому направленію. Опять я увидѣлъ тысячи сайгаковъ, опять имѣлъ случай любоваться чудеснымъ освѣщеніемъ и безчисленными оттѣнками степи; но мѣста, по которымъ мы проѣзжали, являли болѣе разнообразія, чѣмъ вчера. Холмы были выше, лощины глубже, а мѣстами синѣли обломки яшмовыхъ утесовъ или краснѣли большія груды желѣзняка. Но, кромѣ рѣдкой сожженной травы, мы ни вчера ни сегодня не встрѣчали никакого слѣда прозябанія.

Послѣ долгой ѣзды и многихъ неудачныхъ попытокъ, я застрѣлилъ одного сайгака съ подлаза, а другого, раненаго казакомъ, мы догнали на лошадяхъ. Довольные этой добычей, мы уже возвращались домой, какъ увидѣли вдали большой бѣгущій табунъ.

Рѣпниковъ нѣсколько секундъ слѣдилъ за нимъ взглядомъ, ударилъ коня и поскакалъ совсѣмъ въ другомъ направленіи, сказавъ только: «За мной, не отставайте!»

Мы примчались къ глубокому оврагу, бросились на самое дно и продолжали скакать во весь опоръ, не обращая вниманія на большіе, острые камни, лежавшіе на дорогѣ. Оврагъ, похожій на узкій коридоръ, поворачивалъ то направо, то налѣво и наконецъ началъ постепенно уравниваться съ поверхностью земли. Какъ скоро она стала видна, Рѣпниковъ велѣлъ намъ слѣзть съ лошадей и бѣжать за нимъ пѣшкомъ, согнувшись какъ можно болѣе.

Такимъ образомъ мы достигли до утеса, изъ-за котораго могли свободно обозрѣвать степь, сами не будучи видимы. Чего ожидалъ Рѣпниковъ, то и случилось. Не прошло двухъ минутъ, какъ показались сайгаки, бѣгущіе рысью прямо на насъ. Впереди ихъ былъ прекрасный самецъ, съ большими лирообразными рогами нѣжнаго желтаго цвѣта, которые на солнцѣ казались прозрачно-золотыми. Онъ раздувалъ широкія ноздри и подымалъ голову кверху, какъ будто чуя опасность.

Мы притаили дыханіе и взвели курки. Когда табунъ, шагахъ въ шестидесяти, поровнялся съ утесомъ, я приложился и выстрѣлилъ въ передового сайгака. Онъ пере-

вернулся колесомъ и упалъ вверхъ ногами. Весь табунъ взволновался, поднялась ужасная пыль и скрыла его на минуту. Казаки также выстрѣлили по бѣгущему табуну, но дали промахъ. У меня еще оставалось двуствольное ружье, заряженное картечью. Я выстрѣлилъ изъ обоихъ стволовъ, почти не надѣясь на удачу. Табунъ продолжалъ бѣжать, но одинъ сайгакъ отдѣлился отъ прочихъ и бросился въ сторону. Онъ бѣжалъ скоро, но по временамъ спотыкался, взрывая облака пыли.

«Подбитъ, подбитъ!» — говорили казаки, смотря ему вслѣдъ.

Мы сѣли на лошадей, оставили одного казака, чтобы взять убитаго сайгака, и пустились догонять раненаго. Вскорѣ мы его настигли, и Рѣпниковъ, подскакавъ къ нему сбоку, убилъ его наповалъ однимъ ударомъ нагайки.

Этотъ случай далъ ему поводъ разсказать мнѣ, какимъ образомъ башкирцы и киргизы ѣздятъ осенью на волковъ. «Лишь только упадетъ пороша,—говорилъ онъ:— они садятся на коней и ищутъ волчьяго слѣда. Попавъ на тропу, они ѣдутъ ею до тѣхъ поръ, пока не увидятъ звѣря; а какъ скоро онъ покажется, то преслѣдуютъ его затѣмъ небольшою рысью. Сначала звѣрь бѣжитъ скоро, иногда даже скрывается изъ виду, но мало-по-малу устаетъ, останавливается и оглядывается на охотниковъ. Случается, что они такимъ образомъ ѣдутъ верстъ пятьдесятъ. Наконецъ волкъ выбьется изъ силъ, высунетъ языкъ и пойдетъ шагомъ: тогда охотники къ нему подскакиваютъ и убиваютъ его нагайками. Ударъ по носу считается вѣрнѣйшимъ».

Разговаривая про киргизовъ, про степь и охоту, мы пріѣхали къ своимъ кибиткамъ. Вскорѣ возвратились и прочіе стрѣлки; а какъ наканунѣ прибылъ въ станъ дистаночный начальникъ съ тридцатью новыми казаками, то и добыча этотъ разъ была гораздо болѣе.

Несмотря на то, что охота кончилась ранѣе вчерашняго, мы застрѣлили слишкомъ сто сайгаковъ.

Обѣдъ нашъ состоялъ большею частью изъ сайгачины. Мясо это довольно вкусно и нѣсколько похоже на баранину; но я ѣлъ его не безъ отвращенія: у всѣхъ сайгаковъ подъ кожей на спинѣ были большіе бѣлые черви; и хотя мѣста эти тщательно вырѣзывались, но мысль о нихъ не придавала особеннаго вкуса ни соусу ни жаркому. Черви эти происходятъ отъ яицъ, которыя кладутъ къ

нимъ въ шерсть какія-то насѣкомыя. Всѣ кожи, нами снятыя, были на спинѣ какъ будто прострѣлены крупною дробью; но зимою у сайгаковъ червей не бываетъ.

Послѣ обѣда началась между башкирцами стрѣльба изъ лука, борьба и пробованіе силы. Мнѣ удалось, на разстояніи пятидесяти шаговъ, пронзить стрѣлою татарскую шляпу; но послѣ этого случайнаго выстрѣла я не переставалъ давать промахи. Въ борьбѣ, требующей столько же силы, сколько и ловкости, башкирцы безъ труда бросали меня на землю, такъ же, какъ и казаковъ; но въ пробованіи силы я нѣсколько разъ одерживалъ надъ ними верхъ, и они меня честили именемъ джигита. Когда настала ночь, мы всѣ вмѣстѣ отправились верхомъ въ Сухорѣченскую крѣпость. Казаки затянули пѣсни, и голоса ихъ терялись въ необъятномъ пространствѣ, не повторяемые ни однимъ отголоскомъ... Пѣсни эти отзывались то глубокимъ унынiемъ, то отчаянною удалью, и время отъ времени были приправляемы такими энергическими словами, какихъ нельзя и повторить. Поѣздъ этотъ запечатлѣлся въ моей памяти со всѣми его подробностями.

Какъ теперь вижу я небо, усѣянное звѣздами, и степь, похожую на открытое море; какъ теперь слышу слова:

Дай намъ Богъ, казаченкамъ, пожить да послужить,
На своей сторонушкѣ головки положить!

Слышу глухой топотъ и фырканье коней, бряцаніе стремянъ, шумъ и плескъ воды, когда мы переѣзжали черезъ Уралъ...

На другой день мы прибыли опять на кочевку; началась наша прежняя тихая жизнь, стрѣляніе въ цѣль и купанье, и безконечная тетеревиная охота...

АРТЕМІЙ СЕМЕНОВИЧЪ БЕРВЕНКОВСКІЙ.

Я вспомнилъ, какъ, двадцать лѣтъ тому назадъ, когда я спѣшилъ по большой дорогѣ въ Кириловъ, передняя ось моей брички переломилась, и я принужденъ былъ остановиться. Оглядываясь во всѣ стороны, въ надеждѣ найти какое-нибудь пристанище, увидѣлъ я, верстахъ въ двухъ отъ дороги, какое-то странное зданіе, похожее на вѣтряную мельницу, но необыкновенно-сложнаго механизма. Я направилъ къ нему шаги и вскорѣ очутился передъ красивымъ господскимъ домомъ со многими флигелями и пространнымъ садомъ; тутъ же показалось мнѣ, скрытое дотолѣ высокимъ холмомъ, красивое село. Странное зданіе непонятной архитектуры находилось на самомъ холмѣ, въ близкомъ разстояніи отъ дома. Старый дворецкій, стоявшій у входа, сказалъ мнѣ, что имѣніе это принадлежитъ Артемію Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя—послать людей для починки брички—тотчасъ была исполнена; но когда я спросилъ: нѣтъ ли въ селѣ постоялаго дома, гдѣ бы мнѣ остановиться, дворецкій всплеснулъ руками.

— Батюшки!—вскричалъ онъ:—да господскій-то домъ на что? Да Артемій Семеновичъ меня изволитъ прогнать въ позатыльцы, если я васъ теперь отсюда выпущу. Нѣтъ, сударь, извините, а ужъ вы у насъ должны денька два погостить.

— Какъ,—спросилъ я, удивленный такимъ радушнымъ пріемомъ:—да ты меня, вѣрно, за кого-нибудь другого принимаешь?

— Какъ за другого?—сказалъ старикъ, и морщины его

лица нѣсколько сгладились подъ добродушной улыбкой.— Да за кого-жъ другого мнѣ васъ принимать, сударь: вѣдь вы, вѣрно, проѣзжій?

— Именно проѣзжій.

— Такъ ужъ не прогнѣвайтесь, а у насъ такой обычай: извольте недѣльку здѣсь прожить, а потомъ, пожалуй, ступайте-себѣ съ Богомъ!

Я попросилъ, чтобъ обо мнѣ доложили хозяину.

— Вотъ-та!—сказалъ дворецкій:—что-жъ тутъ докладывать? Ступайте себѣ въ гостиную; только теперь Артемій Семеновичъ изволятъ гулять нагишомъ, такъ не угодно ли отдохнуть на диванѣ или чего-нибудь покушать? Они скоро воротятся.

— Артемій Семеновичъ гуляетъ нагишомъ?—спросилъ я.

— Точно такъ,—отвѣчалъ хладнокровно дворецкій.

Я невольно засмѣялся; но дворецкій продолжалъ, какъ будто ничего не замѣчая:

— Теперь четверть шестого. До шести часовъ Артемій Семеновичъ будутъ гулять; отъ шести до половины седьмого они изволятъ кричать, а потомъ,—прибавилъ дворецкій съ тяжелымъ вздохомъ:—они будутъ заниматься механикой.

— Какъ? — спросилъ я съ возрастающимъ любопытствомъ:—Артемій Семеновичъ кричитъ всякій день отъ шести часовъ до половины седьмого: ровно полчаса?

— Не всегда, сударь; иногда они изволятъ кричать цѣлый часъ, но только въ сырую погоду.

— Но развѣ,—спросилъ я, нѣсколько запинаясь:—Артемій Семеновичъ немного... того?

Я повертѣлъ пальцемъ надъ головою.

— Что вы, что вы, батюшка! бойтесь Бога! что вы это говорите... еще этого намъ недоставало!..—И на глазахъ старика навернулись слезы.

«Чудакъ же твой баринъ!»—подумалъ я.

Мы вошли въ гостиную. Дворецкій меня оставилъ и побѣжалъ за чаемъ, а я подошелъ къ окну. Оно отворялось въ садъ. Не прошло пяти минутъ, какъ мимо окна пробѣжалъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, котораго вся одежда заключалась въ парикѣ и въ башмакахъ; у него, сверхъ того, были часы на золотой цѣпочкѣ. Увидѣвъ меня, онъ мнѣ дружески кивнулъ головою и сдѣлалъ рукою успокоительный знакъ, какъ будто говоря: «не безпокойтесь, любезный другъ, я скоро возвращусь».

Онъ исчезъ между деревьями; но черезъ нѣсколько времени явился съ противоположной стороны, прикрывая этотъ разъ наготу свою большимъ подсолнечникомъ. Онъ вторично пробѣжалъ мимо окна, кивнулъ мнѣ головою и скрылся. Явленіе это повторялось довольно часто. Наконецъ Артемій Семеновичъ остановился, посмотрѣлъ на часы и сталъ кричать самымъ ужаснымъ голосомъ. Я думалъ, что весь домъ сбѣжится на его крикъ, и самъ не могъ утерпѣть, чтобъ не двинуться впередъ, спѣша къ нему на помощь; но Артемій Семеновичъ сдѣлалъ извѣстный уже мнѣ успокоительный знакъ и продолжалъ кричать. Иногда онъ посматривалъ на часы и наконецъ замолчалъ, почти выбившись изъ силъ. Кряхтя и запыхаясь, вошелъ онъ въ комнату, бросился въ мои объятія и крѣпко прижалъ меня къ сердцу.

— Извините,—сказалъ онъ:—извините, почтеннѣйшій, что заставилъ васъ такъ долго дожидаться! Не угодно ли вамъ чаю, или не прикажете ли чего другого? Ухъ, уморился! Трепетинскій!—продолжалъ онъ, обращаясь къ вошедшему съ подносомъ дворецкому:—давай скорѣй чаю! Что-жъ это ты, братецъ, голодомъ моришь дорогого гостя! Ухъ, усталъ! Ухъ, Боже мой!.. Не сердитесь, почтеннѣйшій; дайте духъ перевести!

— Несу, сударь, несу!—отвѣчалъ Трепетинскій, ставя на столъ подносъ съ чайнымъ приборомъ:—несу, батюшка, несу, несу!

Между тѣмъ Артемій Семеновичъ осыпалъ меня учтивостями и расположился возлѣ меня на диванѣ. Онъ былъ высокаго роста, хорошо сложенъ и глаза имѣлъ быстрые и умные.

— Представьте себѣ, почтенный другъ,—сказалъ онъ, скрестивъ одну ногу на другую и облокотясь на подушки дивана:—представьте себѣ, что я этакъ каждый день осужденъ утомляться! Боже мой! что̀ за жизнь, что̀ за жизнь, какъ подумаешь...

— Но позвольте спросить,—замѣтилъ я:—для чего вы...

— Для чего? Для здоровья, почтеннѣйшій, для здоровья! Человѣку нуженъ моціонъ, вольный воздухъ, регулярная жизнь. Сильный крикъ расширяетъ легкій,—это всякій знаетъ, но никто на это не обращаетъ вниманія. Когда вы у меня нѣсколько поживете, мы будемъ вмѣстѣ бѣгать по саду и кричать: вы увидите какъ это полезно.

— Покорно благодарю,—сказалъ я:—но мнѣ никакъ нельзя остаться у васъ долѣе завтрашняго дня; я такъ спѣшу...

— Пустое, почтеннѣйшій, пустое! Мнѣ еще нужно обо многомъ съ вами потолковать. Вотъ, напримѣръ, что̀ вы скажете объ этомъ?

Тутъ Артемій Семеновичъ отворилъ большой шкапъ и сталъ вынимать изъ него какія-то запыленныя модели, похожія на то необыкновенное зданіе, которое я видѣлъ на холмѣ возлѣ дома. По мѣрѣ того, какъ онъ вынималъ эти модели, онъ ставилъ ихъ на столъ подъ ранжиръ и вскорѣ совсѣмъ его загромоздилъ.

— Что̀ это такое?—спросилъ я.

— А какъ бы вы думали?—сказалъ Артемій Семеновичъ.

— Мельница?

— Какъ бы не такъ!

Тутъ вошелъ Трепетинскій съ какими-то наливками, увидѣлъ модели, вздохнулъ и печально покачалъ головою.

— Это, сударь мой,—продолжалъ съ довольнымъ видомъ Артемій Семеновичъ:—это, сударь мой, коли вы слыхали, все разныя перпетуумъ мобиле!

Я не могъ утерпѣть, чтобъ не улыбнуться.

— Мнѣ кажется,—сказалъ я:—что перпетуумъ мобиле значитъ вѣчное движеніе; а модели ваши стоятъ неподвижно.

— Вотъ то-то и штука,—отвѣчалъ Артемій Семеновичъ, нисколько не смѣшавшись:—они стоятъ неподвижно, потому что я еще не отыскалъ для нихъ удобнаго движителя; но дайте срокъ, у меня здѣсь (онъ ударилъ себя по лбу), у меня здѣсь сидитъ такая выдумка, о которой вскорѣ заговорятъ въ Европѣ! A propos. Вы сочинитель?

— Нѣтъ, я живописецъ.

— Живописецъ!—вскричалъ радостно Артемій Семеновичъ.—Пойдемте со мною!

Онъ схватилъ меня за руку и потащилъ въ другую половину дома. Она была убрана прекраснѣйшими картинами итальянской и фламандской школы. Артемій Семеновичъ началъ говорить о живописи, и я былъ удивленъ его здравымъ сужденіемъ и глубокими познаніями. Онъ говорилъ съ жаромъ истиннаго любителя; но заключеніе его разговора меня удивило.

— Все это однако,—сказалъ онъ:—дрянь въ сравненіи

съ механикой! Я вамъ сейчасъ покажу изобрѣтенную мною водоочистительную машину.

Онъ схватилъ меня за руку и опять потащилъ за собою.

— Посмотрите, — сказалъ онъ, подымая крышу машины:—посмотрите, какая въ ней грязная вода. Я нарочно велѣлъ влить въ нее воды погрязнѣе. Теперь смотрите, какая выйдетъ вода изъ крана: кристаллъ, чистый кристаллъ!

Онъ повернулъ кранъ, но изъ него выбѣжала такая же грязная вода, какая была въ машинѣ.

— Это ничего,—сказалъ Артемій Семеновичъ:—если ее раза два процѣдить, она будетъ совершенный кристаллъ! Но не хотите ли посмотрѣть на мой вертелъ?

Мы пошли въ кухню. Какія-то колеса и шестерни сцѣплялись вмѣстѣ и занимали почти всю комнату. Три человѣка съ большимъ трудомъ вертѣли огромный цилиндръ и приводили въ движеніе желѣзный прутъ, на которомъ передъ огнемъ жарился цыпленокъ.

— Каково?—сказалъ хозяинъ дома, потирая руки.

— Кажется, — замѣтилъ я: — механизмъ немного сложенъ. Этимъ бѣднымъ поваренкамъ, должно-быть, нѣсколько тяжело!

— Помилуйте! тѣмъ лучше, что тяжело. Моціонъ, почтеннѣйшій, моціонъ! О! у меня ничего не забыто, одно истекаетъ изъ другого. А посмотрите-ка сюда: пока цыпленокъ жарится, здѣсь сбивается масло, а тутъ рубится зелень. У меня на ригѣ есть вѣялка, которая вмѣстѣ и вѣялка и органъ! Но это еще ничего; пойдемте-ка въ мою спальню. Что, вы думаете, это такое?

— Треугольная шляпа?

— Совсѣмъ нѣтъ: рукомойникъ! А это?

— Скрипка.

— Какъ бы не такъ! Это дорожный ящикъ съ бритвами. А это?

— Пистолетъ.

— Хорошъ пистолетъ! Это чернильница, чернильница, милостивый государь, чернильница!

Артемій Семеновичъ еще много показывалъ мнѣ предметовъ въ родѣ скрипки и рукомойника. Когда подали ужинъ, онъ наскоро надѣлъ парикъ и шитый кафтанъ и сѣлъ со мною за столъ. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была устроена въ родѣ вертела, но ужинъ показался мнѣ отличнымъ. Артемій Семеновичъ былъ очень

веселаго нрава. Онъ много въ своей жизни читалъ; зналъ нѣсколько иностранныхъ языковъ, и разговоръ его, когда онъ не касался механики, былъ какъ нельзя болѣе занимателенъ.

Мы разстались уже поздно. Отведенная мнѣ комната была чиста и покойна; бѣлье на постели тонко и бѣло; перина раздувалась очень приманчиво; но, признаюсь, я легъ на нее не безъ боязни: мнѣ казалось, что, при первомъ прикосновеніи, она превратится или въ воздушный шаръ, или въ какую-нибудь водоочистительную машину. Опасеніе мое однако было напрасно, и я ужъ предавался пріятному сну, какъ меня разбудилъ вошедшій на цыпочкахъ Трепетинскій.

— Извините, сударь,—сказалъ онъ:—я пришелъ просить васъ о важномъ дѣлѣ!

— Меня?

— Да; о такомъ важномъ,—продолжалъ старикъ, упавъ на колѣни и цѣлуя мою руку:—о такомъ важномъ, что я отдалъ бы остатокъ жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Вотъ изволите видѣть, сударь,—продолжалъ онъ:—прогнѣвили мы, видно, Господа Бога! Покойный Семенъ Артемьевичъ, — дай Богъ ему царство небесное, — оставилъ намъ имѣньице порядочное: семьсотъ душъ, батюшка, да капиталу тысячъ триста въ ломбардѣ; кажется, всего довольно! Только ужъ разоритъ насъ проклятая механика, вижу, что разоритъ! Особливо эти распроклятыя петумебели, провалиться бы имъ сквозь землю, прости меня Господи! Знаю, батюшка, что грѣшу, а не могу не ругать этихъ петумебелей! Не знаю, кто ихъ выдумалъ! Виданное ли это дѣло, сударь, чтобъ молодой богатый баринъ день и ночь просиживалъ надъ этими колесиками? и какой отъ нихъ прокъ? Ужъ добро бы Артемій Семеновичъ дѣлалъ машинки для воды или вертелы, ну, скажутъ, страсть, — вотъ и все! А то что за петумебели? Къ чему они? Да ужъ пусть бы они дѣлали однѣ маленькія, а то, изволили видѣть—на горѣ стоитъ, словно мельница вѣтряная.

— Какъ,—спросилъ я:—и это...

— И это петумебель, и въ селѣ есть петумебель, и въ въ хуторѣ петумебель, и вездѣ-вездѣ петумебели! Сто тысячъ на нихъ убили! Сто тысячъ,

батюшка, легко сказать! Ахъ, Боже мой, Боже мой! прогнѣвили мы Господа!

Старикъ закрылъ лицо руками и горько заплакалъ.

— Что же ты хочешь, чтобъ я сдѣлалъ?

— Батюшка! — вскричалъ Трепетинскій: — отецъ родной! сдѣлайте божескую милость, уговорите Артемія Семеновича, чтобъ они бросили свою механику. Не доведетъ она насъ до добра, ей-Богу, не доведетъ! Пусть лучше играетъ онъ въ карты, прости меня Господи! Пусть заведутъ псовую охоту или что другое, только не механику! Артемій Семеновичъ васъ полюбили, я по всему вижу; можетъ-быть, они васъ послушаются; а коли послушаются, такъ я вамъ буду вѣчный слуга, и Богъ наградитъ васъ на томъ свѣтѣ!

Я обѣщался бѣдному старику исполнить его просьбу. Онъ вышелъ, осыпая меня благодарностями; но черезъ нѣсколько времени опять воротился.

— Ужъ если,—сказалъ онъ, всхлипывая:—вамъ не удастся уговорить Артемія Семеновича, чтобъ они совсѣмъ бросили механику, такъ пусть, по крайней мѣрѣ, обѣщаютъ вамъ дѣлать одни только с ю р п р и з ы. Мало ли какіе можно выдумать? Намедни они изволили сдѣлать сапоги съ флейточками: какъ надѣнешь, такъ и заиграютъ: это, по крайней мѣрѣ, с ю р п р и з ъ.

И старикъ вышелъ, утирая глаза кулаками.

На другой день, за кофе, я покусился было уговаривать Артемія Семеновича, но онъ меня перебилъ:

— Вы видите этотъ кофейникъ?—сказалъ онъ.—Я изобрѣлъ его въ прошломъ году и довольно надъ нимъ промучился; зато, посмотрите, какой кофе!

Къ несчастію, кофе никакъ не хотѣлъ протекать, и Артемій Семеновичъ принужденъ былъ велѣть подать обыкновенный кофейникъ. Впрочемъ, это его нисколько не смутило.

— Надобно будетъ,—сказалъ онъ:—придумать только третье сито. Я ужъ знаю, какъ это сдѣлать, и тогда вы увидите, что будетъ за кофейникъ!

Послѣ кофе Артемій Семеновичъ повелъ меня въ село и заставилъ любоваться на крыши, построенныя такимъ образомъ, что онѣ при первомъ толчкѣ распадались на части. Это, говорилъ Артемій Семеновичъ, сдѣлано на случай пожара. Правда, что во время дождя сквозь крыши эти вода протекаетъ прямо въ хаты; но Артемій Семено-

вичъ говорилъ, что это ничего, и что свѣжесть воды весьма полезна для здоровья.

Такимъ образомъ добрый мой хозяинъ толковалъ въ свою пользу всѣ неудобства, сопряженныя съ его выдумками. Отъ крышъ пошли мы смотрѣть мельницу, и тутъ-то изобрѣтательный умъ Артемія Семеновича показался во всемъ своемъ блескѣ. Ничто въ его мельницѣ не походило на обыкновенную: жернова, вмѣсто того, чтобы лежать горизонтально, стояли перпендикулярно; водяное колесо снабжено было какимъ-то черпательнымъ снарядомъ, потому что Артемій Семеновичъ хотѣлъ, чтобъ оно вмѣстѣ и мололо и проводило воду въ какой-то отдаленный хуторъ, который, впрочемъ, въ водѣ не нуждался.

— Видите этотъ прудъ? — сказалъ Артемій Семеновичъ:—хотите, я въ двѣ минуты его выпущу?

Онъ дернулъ за веревку—и дѣйствительно, не прошло двухъ минутъ, какъ весь прудъ выбѣжалъ черезъ нѣсколько шлюзовъ, и явилось тинистое дно, на которомъ запрыгали караси и окуни, показывая свои бѣлыя брюшки. Этотъ опытъ былъ изъ всѣхъ самый удачный. Артемій Семеновичъ отъ радости потиралъ руки. Онъ предложилъ мнѣ также въ пять минутъ разобрать мельницу, но я попросилъ позволенія еще разъ взглянуть на его картины, и мы возвратились въ домъ.

Послѣ обѣда Артемій Семеновичъ бѣгалъ по саду въ одномъ парикѣ и башмакахъ и кричалъ полчаса. Потомъ мы вмѣстѣ пили чай и весело провели вечеръ. Я намекнулъ на свой отъѣздъ, но онъ не хотѣлъ о немъ и слышать.

На другой день я принужденъ былъ осматривать разныя перпетуумъ мобиле, кромѣ одного большого, стоявшаго на горѣ. Его мнѣ Артемій Семеновичъ не показалъ, вѣроятно, чтобы я самъ не воспользовался его мыслью прежде, чѣмъ она приведена будетъ въ исполненіе.

Слѣдующій день во всемъ подобенъ былъ предшествовавшимъ. Но лишь только я заговаривалъ о своей бричкѣ, Артемій Семеновичъ показывалъ мнѣ какую-нибудь машину и перебивалъ мою рѣчь.

Я рѣшился уѣхать тихонько; но попытки мои отыскать свой экипажъ были тщетны: мнѣ всегда отвѣчали, что онъ еще чинится.

Однажды Артемій Семеновичъ объявилъ мнѣ, что бричка готова, и что я могу ѣхать.

— Но прежде, чѣмъ отпущу васъ,—прибавилъ онъ:—я хочу показать вамъ свой лабиринтъ. Пойдемте со мною.

Мы пришли въ садъ къ круглому мѣсту, гдѣ множество дорожекъ сплетались, путались и пересѣкали одна другую. Пространство между дорожками засажено было кустами; но такъ какъ лабиринтъ только-что заводился, то кусты не успѣли разрастись, и можно было, стоя въ срединѣ, видѣть конецъ лабиринта.

— А ну-ка, почтеннѣйшій, попробуйте-ка сюда войти,—сказалъ мнѣ Артемій Семеновичъ.

— Но ужъ я велѣлъ закладывать,—отвѣчалъ я.

— Ничего, ничего, почтеннѣйшій; сдѣлайте милость, посмотрите мой лабиринтъ.

— Да я его и такъ вижу!

— Ну, ужъ сдѣлайте милость, войдите!

— Зачѣмъ?—сказалъ я, предчувствуя какую-нибудь измѣну.

— Ну, я васъ прошу!

— Право, не хочется!

— Душенька, миленькій! пожалуйста!

Я не захотѣлъ огорчить Артемія Семеновича и, собравшись съ духомъ, вошелъ въ его лабиринтъ. Артемій Семеновичъ стоялъ у входа, и только-что я добрался до средины, онъ захлопалъ въ ладони.

— А ну-ка, почтеннѣйшій,—сказалъ онъ:—посмотрю я, какъ вы отсюда выберетесь!

— Полноте шутить, Артемій Семеновичъ, я, право, спѣшу; сдѣлайте милость, покажите мнѣ дорогу!

— Чтобъ я показалъ вамъ дорогу! Нѣтъ, почтеннѣйшій, посидите-ка здѣсь до вечера; а завтра, послѣ кофе, поѣдете. Я теперь поправилъ свой кофейникъ: вамъ надобно его посмотрѣть.

— Не хочу я смотрѣть на вашъ кофейникъ!—сказалъ я, теряя терпѣніе.—Вотъ ужъ недѣля, какъ вы держите меня здѣсь Богъ знаетъ зачѣмъ! Скажите мнѣ, какъ отсюда выйти, или я самъ найду дорогу!

— А нутка, нутка!

Тутъ я, безъ всякаго уваженія къ замысловатому лабиринту, началъ шагать черезъ кусты поперекъ дорожекъ и вскорѣ очутился на чистомъ мѣстѣ, подлѣ Артемія Семеновича.

При видѣ рѣшительнаго моего поступка Артемій Семеновичъ очень смѣшался, и сильная досада изобразилась на добродушномъ лицѣ его.

— Ну ужъ, почтеннѣйшій,—сказалъ онъ:—этого я никакъ отъ васъ не ожидалъ, никакъ-таки не ожидалъ! Могу сказать, что вы первый этакимъ образомъ выходите изъ моего лабиринта! Скажите, послѣ этого къ чему же лабиринтъ? Кажется, я довольно долго ломалъ надъ нимъ голову: дорожки спутаны, какъ Гордіевъ узелъ. Вы бы до завтра ихъ не распутали...

— Александръ Великій разрубилъ Гордіевъ узелъ,— отвѣчалъ я, направляя шаги къ дому.

— Признаюсь, я никакъ, никакъ этого не ожидалъ, и отъ кого же? отъ васъ, котораго я полюбилъ, какъ брата!

Во всю дорогу Артемій Семеновичъ былъ очень печаленъ. Глядя на него, мнѣ стало его жалко. Однако выраженіе его лица дѣлалось все веселѣе по мѣрѣ того, какъ мы приближались къ дому. Глаза его устремлены были на мою бричку, уже заложенную и стоявшую у крыльца. Меня поразили въ ней какія-то странныя прибавленія, въ родѣ ящиковъ, придѣланныхъ къ колесамъ. Разсмотрѣвъ ихъ внимательно и не понимая, что̀ они значатъ, я обратился съ вопросомъ къ кучеру.

Артемій Семеновичъ взялся за него отвѣчать.

— Это вамъ сюрпризъ, почтеннѣйшій!—сказалъ онъ съ довольнымъ видомъ.—Доселѣ вы ѣздили въ вашей бричкѣ безъ всякой пользы; теперь у васъ съ одной стороны кофейная мельница, съ другой органъ, и оба приводятся въ движеніе круговращеніемъ оси. Примите эти двѣ машины въ знакъ моего уваженія и въ доказательство, что я забываю вашу обиду.

Отговариваться было не время. Я радовался, что получилъ свободу, поблагодарилъ Артемія Семеновича и, послѣ многихъ объятій и гигіеническихъ совѣтовъ, сѣлъ въ свою бричку. Кофе въ мельницѣ уже былъ насыпанъ, лошади тронулись съ мѣста, и органъ заигралъ:

Громъ побѣды раздавайся!
Веселися храбрый россъ!

При проѣздѣ черезъ село, мужики почтительно снимали передо мной шапки, мальчишки бѣжали за мною, и я съ тріумфомъ выѣхалъ изъ помѣстья Артемія Семеновича. Не нужно прибавлять, что въ тотъ же день кофейная мельница сломалась, а органъ пересталъ играть «Громъ побѣды раздавайся»; ось, къ которой они были придѣланы, покривилась,—и я принужденъ былъ остановиться въ одной деревнѣ для ея починки.

АМЕНА.

Отрывокъ изъ романа «Стебеловскій».

Солнце уже было на закатѣ, когда я, со стилетомъ въ карманѣ, пришелъ въ Колизей; но чудное освѣщеніе древняго амфитеатра не привлекало моего вниманія; жажда мщенія кипѣла въ груди моей и вытѣсняла всѣ другія мысли. Передо мной проходили, одно за другимъ, всѣ обстоятельства, приведшія меня въ эти развалины; я вспоминалъ свое знакомство съ Пепиной; вспомнилъ всѣ ядовитыя шутки Мореля, который, какъ злой духъ, не переставалъ преслѣдовать меня во все пребываніе мое въ Римѣ; наконецъ вспомнилъ его послѣднюю обиду и задрожалъ отъ ярости... Вдругъ послышалось знакомое пѣніе, раздался звонъ колокольчика, и длинный рядъ людей, съ завѣшенными лицами, вошелъ въ ворота и потянулся вокругъ арены, останавливаясь у каждой часовни и читая вполголоса молитвы. Обошедъ всѣ до одной и преклонивъ колѣни передъ крестомъ, на серединѣ арены, братья милосердія въ прежнемъ порядкѣ вышли изъ амфитеатра; лишь одинъ остался неподвиженъ, распростертый у подножія креста.

— О, друзья мои, прощаете ли вы меня?—произнесъ онъ глухо и такимъ страннымъ голосомъ, что я невольно затрепеталъ.

Незнакомецъ поднялъ голову, и сквозь прорѣзанныя дыры его покрывала устремились на меня выразительные глаза его.

— Молодой человѣкъ, — сказалъ онъ: — я знаю, кого ты ожидаешь и съ какимъ намѣреніемъ, и я затѣмъ здѣсь, чтобъ остановить тебя на краю бездны и удержать отъ преступленія.

— Кто ты?—спросилъ я съ изумленіемъ:—и отчего тебѣ извѣстны мои сокровеннѣйшія мысли?

— Кто бы я ни былъ,—отвѣчалъ онъ торжественно:—благодари Бога, что Онъ дозволилъ тебѣ встрѣтить меня, и внемли моимъ словамъ: на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь стоимъ, совершилось нѣкогда ужасное преступленіе, и жестоко за него наказанъ преступникъ! Слушай,—продолжалъ, незнакомецъ, облокотясь на капитель древней колонны, которой обломки разбросаны были по аренѣ:—я разскажу тебѣ нѣчто случившееся давно, очень давно.

«Во времена императора Максиміана жили въ Римѣ два друга, Викторъ и Амвросій, и оба они были христіане. Сестра Виктора была помолвлена за Амвросія, и день ихъ свадьбы уже приближался; но не брачный вѣнецъ Провидѣніе назначало Леоніи. Въ то время кесарь сталъ преслѣдовать нашу святую вѣру, и цѣлыми тысячами погибали его жертвы, иныя растерзанныя звѣрями, другія сверженныя со скалы Тарпейской. Братья, дѣти и друзья этихъ несчастныхъ собрались въ отдаленнѣйшей части Рима и принесли передъ крестомъ торжественный обѣтъ: скорѣе умереть въ мученіяхъ еще ужаснѣйшихъ, чѣмъ хотя единымъ словомъ отречься отъ истиннаго Бога. Викторъ и Амвросій были между давшими сей обѣтъ. Они бросились въ объятія другъ друга и подкрѣпили слезами умиленія священную клятву. Дабы существеннымъ символомъ ознаменовать свой духовный союзъ, Амвросій снялъ съ себя тогу, надѣлъ ее на Виктора, а самъ покрылся тогою своего друга.

«— Можемъ ли мы быть счастливѣе?—сказалъ онъ Виктору.—Сестра твоя скоро будетъ моею женою; а есть ли въ языческой древности хотя одинъ примѣръ такой дружбы, какъ наша?

«— Будемъ благодарить Всевышняго,—отвѣчалъ Викторъ:—даровавшаго тебѣ любовь, а мнѣ дружбу, какъ прекрасное предчувствіе ожидающаго насъ въ той жизни блаженства, но не забудемъ, что велика власть врага человѣческаго, и что козни его неисчислимы. Счастіе наше не отъ міра сего, и мы не должны ему предаваться вполнѣ, но бдѣть и молиться, дабы врагъ не раскинулъ намъ сѣтей въ самую минуту упоенія.

«Амвросій не отвѣчалъ ни слова, но внутренно упрекнулъ своего друга въ излишней боязливости.

«Въ тотъ самый вечеръ Амвросій, проходя мимо храма Венеры, котораго развалины видны черезъ эти ворота, услышалъ пронзительные вопли, смѣшанные съ неистовыми криками; нѣсколько факеловъ блеснули передъ нимъ. Выхвативъ мечъ, онъ бросился впередъ и увидѣлъ четырехъ преторіанцевъ, влекущихъ за собою дѣвушку съ распущенными волосами, въ растерзанной одеждѣ. Нѣсколько ударовъ меча разсѣяли хищниковъ. Амвросій поднялъ брошенный однимъ изъ нихъ факелъ и хотѣлъ помочь дѣвушкѣ встать, но она была въ обморокѣ. Онъ сталъ передъ нею на колѣни и началъ тереть ея виски, ладони и подошвы. Вскорѣ она раскрыла глаза, и лицо ея покрылось румянцемъ стыдливости, когда она взглянула на свою одежду. Амвросій хотѣлъ прикрыть дѣвушку своей тогой, но лишь только сбросилъ ее съ плечъ, какъ услышалъ опять дикіе крики и увидѣлъ блескъ факеловъ. Преторіанцы возвращались въ сопровожденіи новыхъ товарищей. Крики становились громче, проклятія внятнѣе, и факелы уже освѣщали ихъ звѣрскія лица, а Амвросій все еще стоялъ въ недоумѣніи, не зная, какъ скрыть ихъ беззащитную жертву. Вдругъ дѣвушка приподняла голову и указала ему на стѣну храма, гдѣ было продѣлано, въ родѣ двери, узкое, едва замѣтное отверстіе. Потушивъ факелъ, Амвросій взялъ дѣвушку на руки, вошелъ въ отверстіе и, ощупавъ ногою крутую лѣстницу, началъ спускаться въ подземелье. Ступени уже кончились, онъ чувствовалъ подъ ногами мягкіе ковры, но незнакомка все еще обвивала его руками и крѣпко къ нему прижималась.

«— Не страшись ничего,—сказалъ ей Амвросій:—похитители твои далеко, и ты можешь отдохнуть въ этомъ безопасномъ мѣстѣ.

«— Ахъ,—отвѣчала она:—я теперь совершенно спокойна и обнимаю тебя единственно изъ благодарности.

«Сказавъ это, она ударила въ ладони, и двѣ лампы зажглись какъ будто волшебствомъ. Амвросій увидѣлъ богато убранную залу, среди которой стоялъ бронзовый столъ съ сосудами и плодами. У стола находился широкій триклиній, высѣченный изъ краснаго мрамора и покрытый пурпуровыми подушками. Возлѣ стѣнъ стояли сѣдалища изъ бронзы и мрамора, также покрытыя пурпуромъ.

«Когда, по приглашенію неизвѣстной, Амвросій выпилъ бокалъ душистаго фалерна, она сѣла на триклиній къ его ногамъ и начала слѣдующимъ образомъ:

«— Тебѣ, конечно, кажется страннымъ твое приключеніе, но, чтобъ объяснить его, я должна тебѣ разсказать, кто я и гдѣ ты находишься. Я родомъ изъ Греціи, мое имя Анадіомена, но отецъ и мать зовутъ меня просто: Амена. Въ Греціи жизнь моя текла тихо и спокойно, но лишь только я вступила въ Римъ, какъ начались мои несчастія, а виною тому вашъ кесарь, извергъ Максиміанъ...

«Тутъ Амвросій остановилъ Амену и приложилъ палецъ къ губамъ.

«— Не бойся, — отвѣчала она, улыбаясь: — стѣны эти такъ толсты, что снаружи невозможно слышать ни одного слова. Максиміанъ, — продолжала она: — увидѣлъ меня однажды въ храмѣ и рѣшился похитить. Нѣсколько разъ избѣгала я его сѣтей; но, видя наконецъ, что мнѣ нельзя показаться на улицѣ безъ того, чтобы два или три преторіанца на меня напали, я не стала выходить вовсе. Въ одну ночь толпа сихъ злодѣевъ ворвалась ко мнѣ въ спальню и именемъ кесаря требовала, чтобы я шла за ними. Я отъ нихъ ускользнула, нашла случайно это убѣжище и рѣшилась въ немъ остаться. Я тайно увѣдомила отца о своей участи, и онъ доставляетъ мнѣ всѣ потребности жизни и присылаетъ поочередно нѣсколько дѣвушекъ для моей прислуги. Сегодня неизъяснимая грусть мною овладѣла, и, считая окрестности этого подземелья безопасными, я не вытерпѣла и вышла подышать свѣжимъ воздухомъ ночи; но едва сдѣлала нѣсколько шаговъ, какъ ненавистные преторіанцы схватили меня и, несмотря на мое сопротивленіе и крики, повлекли за собою... Если бы ты не подоспѣлъ ко мнѣ на помощь, я бы теперь была во дворцѣ Максиміана... О, я не могу подумать объ этомъ безъ ужаса!

«Амена закрыла лицо руками, и Амвросій видѣлъ, какъ она покраснѣла. Оставшись нѣсколько мгновеній въ этомъ положеніи, красавица взглянула на Амвросія и сказала ему съ замѣшательствомъ:

«— Разсказывая тебѣ мои похожденія, я и забыла, что платье мое въ безпорядкѣ. Если позволишь, я одѣнусь въ твоемъ присутствіи, потому что жилище мое очень тѣсно...

«Она ударила въ ладони — и вошли три дѣвушки съ разными принадлежностями женскаго наряда. Сперва Амена дала расчесать себѣ длинные волосы, потомъ при-

казала одной изъ нихъ держать передъ собою покрывало въ видѣ ширмъ и, снявъ тунику, велѣла освѣжить себя водою и натереть ароматнымъ масломъ. Пока дѣвушки ей прислуживали, Амвросій чувствовалъ какое-то странное безпокойство; ему казалось, что не кровь, а огонь течетъ въ его жилахъ. Онъ рѣшился уйти, не простясь съ Аменой; но лишь только сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по ступенямъ, какъ услышалъ голосъ одного изъ преторіанцевъ:

«— Клянусь Геркулесомъ,—говорилъ онъ:—я не отойду отсюда, пока не отыщу этого проклятаго молокососа и не отрублю ему ушей!

«— Этого мало,—отвѣчалъ другой:—съ нимъ должно поступить, какъ Улиссъ поступилъ съ невѣрнымъ пастыремъ козъ!

«Услыша эти слова, Амвросій счелъ, что было бы неосторожно показаться кровожаднымъ грабителямъ, и возвратился къ Аменѣ.

«— Другъ мой,—сказала она:—теперь уже поздно; если ты пустишься въ путь объ эту пору, то непремѣнно будешь убитъ. Останься здѣсь на ночь, а завтра чѣмъ свѣтъ возвратишься домой. Ты можешь лечь на этой кровати, я же буду спать съ своими дѣвушками.

«Амвросій чувствовалъ непреодолимое влеченіе ко сну и, не отвѣчая ни слова, опустился на триклиній и вскорѣ забылся. Сквозь сонъ онъ слышалъ голосъ Амены, разговаривавшей съ своими прислужницами, и шумъ воды, когда онѣ выжимали грецкія губки въ серебряные сосуды. Потомъ звуки эти такъ смѣшались, что ему показалось, будто бы то звонъ бокаловъ и гармоническое пѣніе, сопровождаемое арфой. Ему представилось, что онъ сидитъ за столомъ, покрытымъ дорогими яствами и душистыми винами. Сѣдой слѣпецъ, стоя передъ нимъ, ударялъ въ струны и пѣлъ ту самую пѣснь, которую въ «Одиссеѣ» поетъ Демодокъ и гдѣ описывается, какъ Марсъ и Венера пойманы были сѣтями Вулкана. Человѣкъ, въ блестящей коронѣ сидѣвшій подлѣ него, спросилъ его, улыбаясь:—«Хотѣлъ бы ты быть на мѣстѣ Марса, съ тѣмъ, чтобы тебя, подобно ему, накрыли сѣтями?»—Амвросій вспомнилъ о своей невѣстѣ и хотѣлъ сказать: «нѣтъ!», но языкъ его нечаянно повернулся, и онъ невольно произнесъ:—«Да, если бы Венера походила на Амену!» Тутъ звуки арфы сдѣлались гораздо сладостнѣе, зала наполнилась облаками

и онъ почувствовалъ, что возносится кверху. Когда облака разсѣялись, Амвросій находился на высокой горѣ, откуда виднѣлись ему цвѣтущія нивы, зеленые лѣса, свѣтлыя рѣки и необъятное голубое море съ безчисленными островами. Человѣкъ въ золотой коронѣ сидѣлъ предъ нимъ на высокомъ престолѣ, окруженный множествомъ людей въ свѣтлыхъ одеждахъ. Когда онъ шевелилъ бровями или потрясалъ черныя кудри, то вся гора дрожала и молніи разсѣкали гнѣздившіяся вокругъ нея тучи.—«Другъ мой,—шепнулъ ему знакомый голосъ:—ты теперь на Олимпѣ и видишь передъ собою собраніе безсмертныхъ, готовыхъ принять тебя въ свой кругъ, если ты отречешься отъ христіанства!» Амвросій оглянулся и увидѣлъ Амену, но онъ догадался, что то была сама Венера, потому что у ногъ ея ворковали два голубя.—«Согласенъ ли ты для меня забыть свою вѣру?—спросила она опять.—Мужъ мой старъ и хромъ, ты же, какъ Марсъ, и красивъ и молодъ; я охотно промѣняю на тебя мужа, скажи только, что ты согласенъ!» Амвросій опять вспомнилъ о Леоніи и хотѣлъ сказать: «нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!», но языкъ его вторично повернулся, и онъ чуть-было не проговорилъ: «согласенъ!», какъ вдали увидалъ друга своего, Виктора, и сестру его, Леонію, которые манили его къ себѣ, показывая мученическій вѣнецъ. Въ эту минуту Амвросій, нечаянно поднявъ глаза, увидѣлъ, что надъ нимъ раскинута тонкая сѣть изъ огненныхъ нитокъ. Амена показалась ему уже не столь прекрасною, а вмѣсто голубей изъ-подъ ногъ ея вспорхнули двѣ летучія мыши. Онъ сотворилъ внутреннюю молитву и проснулся.

«Вокругъ него было темно; но что-то горячее причиняло ему сильную боль въ головѣ, и, ощупавъ лобъ, онъ почувствовалъ на немъ руку Амены. Онъ вскочилъ съ кровати и бросился изъ подземелья; но едва успѣлъ пройти нѣсколько шаговъ, какъ опять услышалъ голоса преторіанцевъ:

«— Клянусь Геркулесомъ,—говорилъ одинъ:—если мнѣ попадется этотъ мальчишка, то я его растерзаю на части!

«— Этого мало,—отвѣчалъ другой:—съ нимъ должно поступить, какъ Тезей поступилъ съ Прокрустомъ!

«Слова эти показались такъ ужасны Амвросію, что онъ не рѣшился выйти изъ подземелья и возвратился ощупью на свое мѣсто. Лишь только глаза его сомкнулись, онъ увидѣвъ себя въ очаровательной странѣ, на берегу ру-

чья, гдѣ вокругъ серебряныхъ тополей вился изумрудный виноградникъ, скрывая подъ широкими листьями спѣлые золотистые грозди. Нимфы играли на мягкой травѣ съ рѣзвыми сатирами, въ ручьѣ плескались наяды, а въ зелени деревьевъ пѣли красивыя птицы. Изъ рощи выходили центавры въ дубовыхъ вѣнкахъ и, вмѣшавшись въ толпу сатировъ и нимфъ, начинали съ ними веселую пляску. Амвросій чувствовалъ нестерпимую жажду, но, подобно Танталу, онъ не могъ ни напиться изъ ручья ни достать рукою гроздій. Въ то время, какъ онъ тщетно нагибался и протягивалъ руки, сладкій голосъ произнесъ близъ него:—«Сними съ себя крестъ хотя въ одно мгновеніе, и ты тотчасъ утолишь свою жажду!» Онъ оглянулся и въ кругу нимфъ узналъ Амену; но онъ догадался, что это не Амена, а Венера, ибо на ней былъ золотой поясъ необыкновенной работы, придававшій ей удивительную красоту. Онъ не могъ противостоять ея словамъ и уже дотронулся до креста, какъ ему показалось, что вдали онъ видитъ толпу народа. Вглядѣвшись въ нее пристально, онъ узналъ Виктора; нѣсколько людей клали его на деревянный станокъ, и палачъ, съ обнаженною грудью, готовился истязать его раскаленными клещами, между тѣмъ какъ четыре другихъ привязывали Леонію къ большому колесу.

«— Прощай, Амвросій, — кричали ему другъ и невѣста:—мы умираемъ за нашу вѣру и будемъ молиться у престола Всевышняго, чтобы Онъ избавилъ тебя отъ ослѣпленія!»—«Нѣтъ мои друзья, и я хочу умереть съ вами!»—вскричалъ Амвросій и внезапно проснулся. Онъ вскочилъ съ одра и опрометью побѣжалъ изъ подземелья; но лишь только очутился на ступеняхъ, какъ услышалъ два грубые голоса:

«— Клянусь Геркулесомъ, — говорилъ одинъ изъ нихъ:—если бы теперь попался мнѣ этотъ повѣса, я бы отрубилъ ему ноги и руки.

«— Этого мало,—отвѣчалъ другой:—я бы съ нимъ поступилъ, какъ Аполлонъ съ Марсіасомъ!

«— Я не боюсь вашихъ угрозъ!—вскричалъ Амвросій:—умереть отъ рукъ вашихъ, или отъ палачей Максиміана, для меня все равно!

«Онъ выбѣжалъ на свѣжій воздухъ и увидѣлъ, что уже настало утро. У храма Венеры не было ни одного преторіанца, и онъ спокойно дошелъ до своего жилища.

Слуги Амвросія увѣдомили его, что ночью стража кесаря вломилась въ домъ Виктора, наложила на него цѣпи и увела съ собою. Начальникъ стражи обвинялъ его въ сопротивленіи законной власти и въ нападеніи на исполнителей Максиміановыхъ повелѣній; уликою была тога съ именемъ Виктора, которую преступникъ, по словамъ его, сбросилъ во время бѣгства. Амвросій поспѣшилъ въ домъ своего друга, чтобы отъ его сестры узнать подробности этого происшествія. Онъ засталъ ее на колѣняхъ передъ образомъ Спасителя. Крупныя слезы блистали на ея глазахъ, но лицо ея не показывало никакого отчаянія.

«— Амвросій,—сказала она съ ангельскою улыбкой:— всѣ несчастія ниспосылаются намъ свыше! Сегодня другъ твой безъ всякой вины брошенъ въ темницу; завтра, можетъ-быть, погибнетъ твоя невѣста; но да будетъ воля Господня!»

Тутъ братъ милосердія остановился и, помолчавъ немного, спросилъ меня:

— Извѣстны ли тебѣ картины Рафаэля?

— Да,—отвѣчалъ я:—и ни на одну изъ его Мадоннъ я не могу смотрѣть безъ сердечнаго умиленія.

— Такъ,—продолжалъ незнакомецъ:—я вижу, что ты понимаешь великаго художника. Но если бы ты зналъ Леонію, ты бы увѣрился, что въ чертахъ ея было не менѣе кротости, не менѣе небесной чистоты, чѣмъ въ Рафаэлевыхъ Мадоннахъ.

— Но, — прервалъ я разсказчика: — ты говоришь объ ней, какъ будто бы самъ ее видѣлъ?

— Не прерывай меня,—отвѣчалъ онъ торжественно:— и слушай далѣе. Свиданіе съ Леоніей произвело на Амвросія странное дѣйствіе. Ночное происшествіе оставило въ немъ тягостное впечатлѣніе, а все, что онъ думалъ и ощущалъ въ подземельѣ Амены, показалось ему такъ презрѣнно, такъ нечисто въ сравненіи съ чувствомъ, проникавшимъ его въ присутствіи Леоніи, что онъ самъ не понималъ, какъ могъ забыть ее хотя на одну минуту. Ему хотѣлось пасть къ ея ногамъ, признаться въ своемъ заблужденіи и просить прощенія, но ложный стыдъ удержалъ его. Съ другой стороны, онъ боялся огорчить Леонію, открывъ ей, что тога, послужившая уликой Виктору, была брошена имъ самимъ, и что онъ не можетъ спасти ея брата, не погибнувъ на мѣстѣ его. Однако онъ рѣшился, не теряя времени, отыскать начальника стражи, освобо-

дить Виктора и обвинить себя въ преступленіи, которое приписывали его другу. Пока онъ бѣгалъ по всему Риму, чтобы узнать, кто именно предводительствовалъ преторіанцами, схватившими Виктора, и въ какой темницѣ онъ заключенъ, прошелъ цѣлый день. Было уже поздно, когда онъ, собравъ нужныя свѣдѣнія, шелъ по дорогѣ въ темницу. Ему надлежало проходить мимо храма Венеры. Лишь только онъ поровнялся съ мѣстомъ, гдѣ наканунѣ видѣлъ Амену, кто-то тихонько назвалъ его по имени. Онъ остановился и услышалъ, что голосъ выходитъ изъ подземелья.

«— Сойди ко мнѣ на минуту,—говорилъ голосъ:—ты усталъ, и тебѣ надобно подкрѣпить свои силы!

«— Не нужно,—отвѣчалъ Амвросій довольно сухо и продолжалъ свой путь.

«— Амвросій, Амвросій!—закричалъ голосъ:—я знаю, куда ты спѣшишь; но ты не спасешь своего друга, а только погибнешь съ нимъ вмѣстѣ. Есть другое средство его спасти, сойди ко мнѣ, и я тебя научу, что̀ должно дѣлать!

«Слова эти показались Амвросію такъ убѣдительны, что онъ спустился въ подземелье. Ковры на этотъ разъ были усыпаны свѣжими розами, и благоуханіе ихъ было такъ сильно, что Амвросію показалось, будто бы онъ отъ него пьянѣетъ. Амена съ полураскрытыми глазами лежала на подушкахъ.

«— Я тебя ожидала,—сказала она ему:—и нарочно велѣла убрать свое жилище какъ можно лучше. Выпей немного вина и омой себя водою: смотри, какъ ты усталъ и запылился!»

Она ударила въ ладони, и прислужницы внесли нѣсколько сосудовъ холодной воды и разные ароматы.

«Когда Амвросій выпилъ чашу вина, онѣ сняли съ него обувь и, освѣживъ его ноги, окатили ему голову и плечи.

«— Теперь ложись и отдохни,—сказала Амена:—а я покамѣстъ уйду къ своимъ дѣвушкамъ.

«Амвросій давно хотѣлъ ее спросить, какимъ образомъ ему спасти Виктора; но, лишь только онъ начиналъ говорить, Амена его прерывала. Наконецъ онъ, не обращая вниманія на ея рѣчи, спросилъ, что̀ ему надобно дѣлать?

«— Ты очень нетерпѣливъ,—отвѣчала Амена:—но, чтобы скорѣе тебя успокоить, я скажу тебѣ, какъ ты долженъ поступить, чтобы избавить друга твоего отъ смерти, не подвергая себя опасности. Если ты теперь явишься къ тюремному начальнику и скажешь ему, что

ты настоящій преступникъ, а что Викторъ невиненъ, то хотя тебя и посадятъ въ темницу, но Виктора изъ нея не выпустятъ; напротивъ, преторъ почтетъ его твоимъ сообщникомъ,—и вмѣсто одной жертвы погибнутъ двѣ. Вы принадлежите,—продолжала Амена съ видомъ соболѣзнованія:—къ такому сословію, которое всякій можетъ губить безнаказанно и для котораго нѣтъ ни суда ни законовъ. Подумай только, что̀ будетъ съ твоей невѣстой, когда ни брата ея ни тебя не останется для ея защиты? Каждый хищникъ, каждый кровопійца станетъ на нее смотрѣть, какъ на свою добычу, которую никто не осмѣлится и не захочетъ у него отнять. О, если бы вы не такъ были упрямы и согласились возвратиться къ вашимъ прежнимъ богамъ, тогда еще все бы можно поправить!..

«Амвросія это заключеніе чрезвычайно поразило, и когда онъ нечаянно поднялъ голову, ему снова показалось, что надъ нимъ раскинута тонкая сѣть изъ огненныхъ нитокъ. Однако онъ не могъ не сознаться, что доводы Амены справедливы, и спросилъ ее, что̀ ему остается дѣлать?

«— Во-первыхъ,—отвѣчала Амена:—ты долженъ сколь можно менѣе показываться: связь твоя съ Викторомъ такъ извѣстна, что, рано или поздно, она тебя погубитъ, если ты не будешь остороженъ. Во-вторыхъ, никто не можетъ спасти твоего друга, кромѣ его сестры. Пусть она завтра же пойдетъ во дворецъ кесаря, броситься передъ нимъ на колѣни и молитъ его о помилованіи ея брата. Максиміанъ извергъ, но ему случается показывать проблески великодушія; я увѣрена, что молодость и красота твоей невѣсты тронутъ его каменное сердце...

«Тутъ ужасная мысль поразила Амвросія.

«— Какъ!—вскричалъ онъ:—но если эта самая молодость и красота...

«— Я понимаю, что̀ ты хочешь сказать,—прервала его Амена.—Ты боишься, чтобы грубая чувственность тирана не побудила его къ какому-нибудь насилію; но будь спокоенъ. Максиміанъ теперь занятъ одною мною, а неудача вчерашняго предпріятія такъ раздражила его любовь, что никакая другая мысль не войдетъ въ его голову. Впрочемъ, если бы даже это и было возможно, то такой случай—одно предположеніе; а когда ты своею опрометчивостью лишишь Леонію брата и жениха, тогда въ каждомъ воинѣ кесаревой стражи она найдетъ Максиміана!

«Амвросій согласился съ справедливостью этихъ словъ;

но, несмотря на просьбы Амены, непремѣнно хотѣлъ продолжать путь свой и посѣтить Виктора въ его темницѣ. Лишь только онъ приблизился къ выходу изъ подземелья, какъ услышалъ снаружи разговоръ двухъ преторіанцевъ.

«— Я увѣренъ,—говорилъ одинъ изъ нихъ:—что человѣкъ, скрывшійся около этого храма, сообщникъ того негодяя, который вчера помѣшалъ намъ похитить Амену и котораго завтра утромъ прибьютъ ко кресту!

«— Въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія,—отвѣчалъ другой:—и я позволю назвать себя бабой, если отойду отсюда, не дождавшись этого бездѣльника!

«Услышавъ, что друга его казнятъ на другое утро, Амвросій очень испугался. Ему хотѣлось прорваться сквозь толпу преторіанцевъ и силой освободить Виктора; но, послѣ краткаго размышленія, онъ увидѣлъ, что мысль его безразсудна, и что онъ погибнетъ безъ всякой пользы для своего друга. Онъ рѣшился возвратиться къ Аменѣ и разсказать ей подслушанный разговоръ.

«— Ты видишь,—сказала Амена:—что совѣтъ мой всего вѣрнѣе. Такъ какъ опасность, угрожающая Виктору, гораздо ближе, чѣмъ я полагала, то и ты долженъ поспѣшить его спасеніемъ. Вотъ пергаментъ, напиши сейчасъ къ Леоніи, чтобы она чѣмъ свѣтъ шла ко дворцу и ожидала появленія кесаря. Скажи ей, что ты ручаешься за успѣхъ. Ты можешь ее смѣло въ этомъ увѣрить, ибо могла ли бы я, обязанная твоему мужеству болѣе чѣмъ жизнью, дать тебѣ дурной совѣтъ? Одна изъ моихъ прислужницъ выберетъ удобную минуту и выйдетъ съ твоимъ посланіемъ изъ подземелья. Преторіанцы ее не увидятъ, а если бы и замѣтили, то пропустятъ безъ затрудненія.

«Амвросій хотѣлъ сдѣлать еще какое-то возраженіе, но почувствовалъ, что сонъ его одолѣваетъ. Онъ взялъ пергаментъ, написалъ, что̀ проговорила Амена, и, склонивъ голову на столъ, крѣпко заснулъ. Этотъ разъ онъ ничего не видалъ во снѣ, но его пробудилъ горячій поцѣлуй Амены.

«— Встань,—говорила она ему:—теперь уже утро, преторіанцы ушли, ты можешь безопасно дойти до дому.

«Амвросій чувствовалъ большую усталость, но онъ вскочилъ съ триклинія, куда, вѣроятно, его перенесли во время сна, и вышелъ изъ жилища Амены. Солнце было уже высоко, и онъ поспѣшилъ въ домъ Леоніи, чтобы узнать объ успѣхѣ ея поступка. На дворѣ встрѣтили его слуги; они плакали и рвали на себѣ одежду. Двое изъ

нихъ разсказали ему, что Леонія велѣла имъ слѣдовать за собою и пошла ко дворцу Максиміана. Она бросилась передъ нимъ на колѣни и стала умолять его о прощеніи брата.

«— Клянусь Юпитеромъ, — сказалъ кесарь: — я ничего не знаю о ея братѣ! Что онъ за человѣкъ?

«— Онъ?—отвѣчалъ одинъ центуріонъ:—онъ христіанинъ, котораго за разные дерзкіе поступки и, между прочимъ, за сопротивленіе твоимъ приказаніямъ, я велѣлъ посадить въ тюрьму.

«—Ты хорошо сдѣлалъ,—отвѣчалъ кесарь:—и можешь поступить съ этимъ христіаниномъ, какъ заблагоразсудишь; но сестра его мнѣ нравится, и я хочу составить ея счастіе.

«Тутъ, по знаку Максиміана, подвели къ нему Леонію.

«— Хочешь ли меня полюбить?—спросилъ онъ ее.

«— У меня есть женихъ и братъ,—отвѣчала Леонія съ кротостью:—и, послѣ Бога, я люблю ихъ однихъ!

«— Услыша такой отвѣтъ,—продолжали слуги:—мы поблѣднѣли; ибо глаза кесаря налились кровью и бѣлая пѣна показалась на его устахъ, однако-жъ онъ удержался и продолжалъ довольно ласково:

«— Полюби меня, и я осыплю тебя золотомъ и прощу твоего брата.

«— Жизнь его въ твоихъ рукахъ, — отвѣчала Леонія:—но если ты его погубишь, то на это будетъ воля Божія; любить же тебя я не могу!

«— Послушай,—продолжалъ кесарь:—если ты будешь упрямиться, то я обойдусь и безъ твоего согласія, а брата твоего и жениха заставлю умереть передъ твоими глазами въ ужаснѣйшихъ мученіяхъ!

«Здѣсь твердость Леоніи ее покинула. Она упала къ ногамъ Максиміана и, заливаясь слезами, обняла его колѣни.

«— Сжалься надо мной,—вопіяла она:—могу ли я любить тебя, пролившаго безвинно столько христіанской крови! Будь великодушенъ, отпусти меня и прости моего брата!

«Кесарь долго молчалъ и смотрѣлъ на Леонію ужасными глазами.

«— Есть одно средство,—сказалъ онъ наконецъ:—если ты и братъ твой откажетесь отъ вашей вѣры и согласитесь поклоняться богамъ, то я васъ обоихъ отпущу, не

сдѣлавъ вамъ ни малѣйшаго вреда; если же нѣтъ, то братъ твой погибнетъ. Твои единовѣрцы доселѣ такъ были упрямы, что все приносили въ жертву своему Богу. Мнѣ любопытно знать, до какой степени доходитъ это упорство!

Леонія опять бросилась на колѣни, но кесарь подалъ знакъ, и ее отвели въ темницу.

«Услыша этотъ разсказъ, Амвросій впалъ въ отчаяніе.

«— О, Амена!—кричалъ онъ въ изступленіи:—ты виновница этого несчастія! Твои хитрости и лукавые совѣты причиною, что я погубилъ друга и невѣсту! Но если я не въ силахъ ихъ спасти, то по крайней мѣрѣ умру вмѣстѣ съ ними!

«Онъ побѣжалъ къ префекту, разсказалъ все, что̀ съ нимъ случилось въ послѣдніе два дня, и просилъ, чтобъ его подвергли казни, но освободили бы Виктора и Леонію. Что̀ предсказывала Амена, случилось. Префектъ велѣлъ отвести его, скованнаго, въ глубокую темницу и засмѣялся ему въ глаза, когда онъ упомянулъ объ освобожденіи друга и невѣсты.

«Амвросій провелъ ночь въ мучительномъ безпокойствѣ. На другой день пришелъ тюремный стражъ и предложилъ ему свободу отъ имени префекта, съ тѣмъ, чтобы онъ отказался отъ христіанства. Амвросій съ негодованіемъ отвергнулъ это предложеніе.

«Прошелъ день, тюремщикъ явился съ прежнимъ вопросомъ. Отвѣтъ Амвросія былъ тотъ же. Такимъ образомъ онъ недѣли двѣ провелъ въ темницѣ, получая пищи ровно столько, сколько было нужно, чтобъ не умереть съ голоду, и не видя никого, кромѣ тюремнаго стража, приходившаго каждое утро съ тѣмъ же предложеніемъ и уходившаго въ глубокомъ молчаніи. Была уже ночь, какъ Амвросій, лежа на мокрой землѣ, услышалъ подъ собою глухіе шаги. Вскорѣ яркій лучъ освѣтилъ темницу, и онъ увидѣлъ Амену, съ лампою въ одной рукѣ и съ амфорою въ другой.

«— Можно ли быть столь неосторожнымъ!—сказала она ему, и слезы блистали въ ея глазахъ:—о, если бы ты меня послушался!

«— Горе мнѣ,—отвѣчалъ Амвросій:—что я тебя послушался! Если бы не ты, Леонія не была бы теперь въ рукахъ Максиміана. Но удались отсюда и не обольщай меня болѣе!

«—О, какъ ты мало меня знаешь!—сказала Амена:—я ли виновата, что невѣста твоя такъ гордо отвѣчала кесарю? Онъ вспыльчивъ, и когда войдетъ въ ярость, то бѣшенству его нѣтъ предѣловъ. Но я увѣрена, что онъ бы смягчился, если-бъ Леонія отказала ему съ большею кротостью. Впрочемъ, надежда еще не потеряна, и если ты послѣдуешь моему совѣту, то можешь завтра же выйти изъ тюрьмы и спасти твоихъ друзей.

«— Что-жъ мнѣ дѣлать?—спросилъ Амвросій.

«— Выпей немного вина,—отвѣчала Амена:—и я тебѣ сейчасъ скажу.

«Амвросій приблизилъ амфору къ губамъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ втягивалъ въ себя душистую влагу, странное чувство разливалось по его жиламъ.

«Цѣпи перестали его тяготить; ему казалось, что темница наполняется золотистыми облаками, и что передъ нимъ мелькаютъ нимфы, сатиры, центавры и наяды. Всѣ блестящія картины языческой миѳологіи постепенно разливались въ его воображеніи, и сердце его трепетало отъ сладострастной нѣги.

«— Я бы могла,—продолжала Амена:—тебя освободить теперь же. Цѣпи твои распилить мнѣ не трудно, а подземный ходъ, черезъ который я вошла, имѣетъ сообщеніе съ моимъ жилищемъ; но это бы значило совершить только половину дѣла, и товарищи твои остались бы въ темницѣ. Чтобы дѣйствовать благоразумно, ты долженъ непремѣнно, хотя на нѣсколько дней, притвориться, будто переходишь въ нашу вѣру. Когда объ этомъ узнаетъ кесарь, онъ захочетъ тебя наградить и, по своему обыкновенію, велитъ спросить, чего ты желаешь? Ты потребуешь прощенія Виктора и Леоніи, и когда они будутъ освобождены, вы убѣжите изъ Италіи и въ отдаленной Испаніи дождетесь кончины Максиміана.

«Амвросію казалось, что отречься отъ своего Бога, хотя только для виду, смертельный грѣхъ; къ тому-жъ онъ не былъ увѣренъ, что Максиміанъ будетъ такъ великодушенъ, какъ предполагала Амена; но онъ подумалъ о мученіяхъ, ожидающихъ его друзей, и рѣшился принять на себя отвѣтственность поступка, неодобряемаго его совѣстью. Когда настало утро и тюремщикъ вошелъ къ нему съ обыкновеннымъ вопросомъ, Амвросій отвѣчалъ, по наставленію Амены, что во снѣ ему предсталъ Меркурій и убѣдилъ его перейти къ поклоненію боговъ Олим-

пійскихъ. Тюремщикъ удалился, и вскорѣ нѣсколько человѣкъ кесаревой стражи вошли въ темницу, сняли съ него цѣпи и повели къ префекту.

«— Кесарь знаетъ о твоемъ похвальномъ намѣреніи,— сказалъ ему префектъ:—и приказалъ мнѣ вручить тебѣ этотъ знакъ его благоволенія.—Онъ подалъ Амвросію богатый перстень съ рѣдкою жемчужиной.—Однако,—продолжалъ онъ:—чтобы доказать, что обращеніе твое чистосердечно, ты долженъ сегодня же совершить всенародное жертвоприношеніе во храмѣ Юпитера. Теперь ступай домой и приготовься.

«Пришедъ къ себѣ, Амвросій увидѣлъ въ комнатахъ множество золотой посуды. Мѣшки съ золотомъ лежали на полу, а на дворѣ стояли колесницы съ прекрасными конями въ богатыхъ сбруяхъ.

«— Что это значитъ?—спросилъ Амвросій.

«— Это прислалъ тебѣ кесарь!—отвѣчали слуги, не радуясь его приходу и поглядывая на него исподлобья.

«Сердце Амвросія болѣзненно сжалось. Въ полдень онъ всенародно принесъ жертву Юпитеру и отважился просить помилованія Виктору и Леоніи. Ему отказали и дали золота; онъ въ отчаяніи побѣжалъ къ Аменѣ.

«— Еще не все потеряно, мой другъ!—сказала она.— Напиши къ своимъ друзьямъ, чтобы они, подобно тебѣ, на время притворились. Прислужница моя найдетъ средство доставить имъ твое письмо и къ утру принесетъ отвѣтъ. Не пренебрегай также подарками кесаря; они тебѣ пригодятся для спасенія друзей, если намъ не останется другого средства, а отказомъ ты только раздражишь Максиміана.

«Амвросій послушался Амены и старался утопить въ винѣ угрызенія совѣсти.

«— Не будь такъ печаленъ!—сказала ему Амена.— Если ложное зазрѣніе не удержитъ твоего друга и невѣсты, то ихъ простятъ такъ же, какъ простили тебя, а съ твоимъ золотомъ вы можете бѣжать на край свѣта. Впрочемъ, я увѣрена, что они поймутъ всю цѣну твоего самоотверженія и не откажутся послѣдовать твоему совѣту!

«Она взяла въ руки лиру, и тихіе ея звуки погрузили его непримѣтно въ сладостный сонъ. Ему представилось, что онъ древній герой, презирающій всѣ труды и опасности и жертвующій собою для спасенія другихъ. Въ во-

ображеніи своемъ онъ уже могучею рукою и хитрымъ умомъ одолѣвалъ всѣ препятствія и преграды. Викторъ и Леонія были освобождены и со слезами благодарности обнимали его колѣни.—«Если бы ты не былъ христіанинъ,—шептала ему Амена:—ты бы вступилъ въ число полубоговъ!» Онъ предавался упоенію гордости, но его разбудилъ поцѣлуй Амены. Она подала ему отвѣтъ Виктора и Леоніи.

«Невѣрный братъ!—писали они:—слухи о твоемъ отступничествѣ до насъ дошли, но мы не хотѣли имъ вѣрить. Насъ нарочно вывели изъ темницы, дабы мы собственными глазами увидѣли, какъ ты преклоняешь голову передъ идоломъ и приносишь ему нечестивую жертву; мы сочли это адскимъ навожденіемъ. Но ты самъ къ намъ пишишь, что хочешь, чтобы мы слѣдовали твоему примѣру; да оградитъ насъ сила Господня! Напрасно ты насъ увѣряешь, что поклонялся ложнымъ богамъ только для вида и чтобы въ награду за свою измѣну получить наше освобожденіе. Ты бы не долженъ принять тогда золото отъ Максиміана, а мы не хотимъ быть спасены этою цѣною! Покайся, пока еще время, искупи кровью свое заблужденіе, или я, Викторъ, отрекаюсь отъ твоей дружбы, а я, Леонія, перестаю быть твоею невѣстой. Ты уже и такъ измѣнилъ своему слову: мы знаемъ, что ты проводишь время съ презрѣнной женщиной, совращающей тебя съ пути вѣры и обязанностей!»

«Когда Амвросій кончилъ чтеніе, Амена закрыла лицо руками и горько заплакала.

«— О, я несчастная!—сказала она:—вотъ какъ они толкуютъ мою благодарность и преданность къ тебѣ! Теперь ты меня возненавидишь, и я умру съ тоски.

«— Амена,—отвѣчалъ Амвросій, чувствуя сильную досаду на Виктора и Леонію, хотя онъ самъ себѣ не признался, что причиною этой досады было лишь оскорбленное самолюбіе:—Амена, я знаю, что дружба твоя чистосердечна, и что ревность къ вѣрѣ сдѣлала друзей моихъ несправедливыми.

«— Нѣтъ, мой другъ,—сказала Амена, горько рыдая:—они говорятъ правду, я одна виною твоего несчастія, я виною, что они тебя отринули; но все это я сдѣлала, желая спасти ихъ, ибо не только для тебя, но и для всѣхъ, которые дороги твоему сердцу, я готова пролить до послѣдней капли кровь. Амвросій!—вскричала она,

упавъ предъ нимъ на колѣни:—прости меня, я страстно люблю тебя!

«— Да, я люблю тебя,—продолжала она, не давая ему времени отвѣчать:—я умру, если ты меня покинешь; но покинь, забудь меня, я сама тебя о томъ умоляю, у тебя есть невѣста, мы сыщемъ другое средство спасти ее, мы подкупимъ стражей, вы убѣжите изъ Италіи и будете счастливы; вотъ все, что̀ я желаю; у меня же останется воспоминаніе счастливыхъ дней, проведенныхъ съ тобою, и сознаніе, что я содѣйствовала вашему счастію!

«Столько любви, столько самоотверженія въ сравненіи съ строгими словами Виктора и Леоніи, отвергшихъ его любовь и дружбу въ то самое время, когда онъ ожидалъ ихъ благодарности, поколебали разумъ Амвросія. Признательность и удовлетворенное самолюбіе съ одной стороны, досада и гордость съ другой, состраданіе къ Аменѣ, ея обворожительная красота, все это затмило въ его душѣ образъ невѣсты и друга. Онъ безъ сопротивленія предался ласкамъ Амены и вспомнилъ о Леоніи только на другой день; въ немъ пробудились угрызенія совѣсти; но, по странному противорѣчію сердца человѣческаго, онъ, вмѣсто раскаянія, чувствовалъ негодованіе къ Леоніи за то, что мысль объ ней вырвала его изъ сладостнаго забвенія и напомнила ему вину его. Амена всячески старалась развлекать его и такъ въ томъ успѣла, что онъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней не выходилъ изъ ея подземелья, и наконецъ пересталъ вовсе думать о Леоніи и Викторѣ. Однажды Амена предложила ему прогуляться по Риму.

«— Мы можемъ показаться безъ всякой опасности,— сказала она.—Тебя, который теперь въ милости у кесаря, никто не тронетъ, а обо мнѣ онъ уже давно забылъ. Прихоти Максиміана такъ же скоро проходятъ, какъ и рождаются.

«Амвросій согласился, и они пошли на Форумъ. Всѣ имъ давали мѣсто, всѣ на нихъ глядѣли съ почтеніемъ. Около полудня Амена почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Домъ Амвросія былъ близокъ, и они вошли подъ его портикъ и расположились у фонтана.

«— Ахъ,—сказала Амена:—какъ бы обрадовались мои родные, если-бъ они могли меня видѣть! Не позволишь ли ты послать за ними?

«Амвросій хотѣлъ отвѣчать, но въ эту минуту пре-

красный юноша, въ легкой одеждѣ, съ посохомъ въ рукѣ, подошелъ къ Аменѣ и что-то ей шепнулъ на ухо.

«— Родные мои,—сказала Амена:—предупредили мое желаніе. Вотъ Гермесъ, служитель моего отца, пришелъ тебя просить, чтобы ты имъ позволилъ придти.

«Амвросій согласился и, позвавъ слугу, приказалъ ему приготовить богатое угощеніе. Когда солнце зашло, гости стали собираться. Одинъ изъ нихъ былъ высокій мужчина, съ кудрявой черной бородой и съ длинными волосами, похожими на львиную гриву. Важное его лицо показалось Амвросію знакомымъ, и онъ вспомнилъ, что уже видѣлъ его во снѣ. Другіе обоего пола гости были всѣ прекрасны собою, кромѣ одного, запачканнаго сажей и сильно хромавшаго. Когда они улеглись вокругъ стола, то, кромѣ Амвросія и Амены, было всѣхъ-на-все одиннадцать человѣкъ. Вскорѣ между ними завязался разговоръ. Они говорили очень увлекательно, особенно мужчина съ кудрявой бородой. Пока Амвросій его слушалъ, въ немъ разверзались совершенно новыя понятія, и онъ сталъ смотрѣть на жизнь, на вѣру и на добродѣтель совсѣмъ другими глазами. Собесѣдники его всѣ болѣе или менѣе придерживались философіи Эпикура, и споръ состоялъ только въ томъ, что̀ должно почитать высшимъ удовольствіемъ въ мірѣ? Одинъ превозносилъ любовь, другой вино, а третій славу. Амвросій нѣсколько разъ пытался имъ противорѣчить, но они легко опровергали его убѣжденія и такъ умно шутили надъ любовью Платона, ученіемъ Сократа и воздержаніемъ Сципіона, что самому Амвросію мнѣнія его показались смѣшными. Чтобы веселѣе провести время, кто-то предложилъ послать за плясунами и танцовщицами. Они вскорѣ явились, и искусство ихъ такъ понравилось Амвросію, что онъ началъ бросать имъ мѣшки золота, одинъ за другимъ; потомъ стали играть въ кости, и Амвросій проигралъ бо̀льшую часть богатства, недавно ему доставшагося. Съ первымъ крикомъ пѣтуха гости удалились, и съ Амвросіемъ осталась одна Амена. Онъ только-что хотѣлъ отдохнуть отъ проведенной въ шумныхъ удовольствіяхъ ночи, какъ услышалъ сильный стукъ у дверей.

«— Отвори намъ, проклятый обманщикъ,—кричали грубые голоса.—Ты притворился, будто поклоняешься Юпитеру, а между тѣмъ носишь на себѣ крестъ и еще обратилъ знаменитую римлянку въ свою нечестивую вѣру!

Но вы отъ насъ не уйдете и завтра же будете сожжены живыми.

«И, говоря это, множество людей стучали въ двери такъ, что она трещала.

«— Сбрось съ себя крестъ!—шепнула ему поблѣднѣвшая Амена:—иначе мы оба пропали: я узнаю голоса преторіанцевъ!

«Между тѣмъ удары сыпались градомъ на дверь, и одна верея уже отскочила.

«— Сбрось крестъ, сбрось крестъ!—умоляла Амена, упавъ передъ нимъ на колѣни...»

Здѣсь незнакомецъ замолчалъ.

— Что-жъ сдѣлалъ Амвросій?—спросилъ я.

— Онъ сбросилъ съ себя крестъ! — отвѣчалъ незнакомецъ съ тяжелымъ вздохомъ.

— Что-жъ было послѣ?—спросилъ я опять, видя, что братъ милосердія хранитъ глубокое молчаніе.—Ты, честный отецъ, такъ принимаешь разсказъ свой къ сердцу, какъ будто бы самъ зналъ Амвросія.

— Не мѣшай мнѣ,—отвѣчалъ братъ милосердія:—и слушай, что̀ мнѣ остается тебѣ сказать. Вломившись въ домъ, преторіанцы обыскали Амвросія и Амену, обшарили всѣ комнаты, углы и застѣнки и, не нашедъ креста, удалились, не сдѣлавъ никому вреда. Настало утро, и Амвросій забылъ объ этомъ происшествіи.

«Прежде, хотя рѣдко, но случалось, что онъ, среди наслажденій и шума, вдругъ вспоминалъ о друзьяхъ и какъ будто съ испугомъ просыпался отъ продолжительнаго сна. Амена обыкновенно его увѣряла, что друзей его скоро выпустятъ изъ темницы, что невинность ихъ открыта, и что кесарь намѣренъ богато вознаградить ихъ.

«Тогда угрызенія его совѣсти умолкали, и онъ вновь утопалъ въ удовольствіяхъ. Теперь же, послѣ потери креста, никакое воспоминаніе его болѣе не тревожило, и онъ постоянно оставался въ какомъ-то чаду, въ пріятномъ опьянѣніи, мѣшающемъ ему замѣчать, какъ проходило время. Дни онъ проводилъ въ театрахъ, ночи въ шумныхъ оргіяхъ съ родными Амены. Между тѣмъ время текло; золото уменьшалось, и однажды онъ съ ужасомъ замѣтилъ, что отъ прежняго богатства у него не осталось ничего. Кони, колесницы и дорогая посуда давно уже были проиграны.

«— Не печалься,—говорила ему Амена:—на что тебѣ

деньги, развѣ мы и безъ нихъ не довольно счастливы? Въ моемъ жилищѣ найдешь ты все, что̀ нужно для тихой и беззаботной жизни, а любовь моя замѣнитъ намъ потерянную роскошь!

«И Амвросій опять погружался въ удовольствія и не помышлялъ о будущемъ.

«Однажды онъ услышалъ, что два преступника осуждены на съѣденіе звѣрямъ въ этомъ самомъ Колизеѣ, гдѣ мы теперь находимся. Ужасное предчувствіе въ первый разъ имъ овладѣло, и онъ вмѣшался въ толпу народа, бѣжавшую съ криками радости по дорогѣ къ амфитеатру. Амена за нимъ послѣдовала. Когда они помѣстились на ступеняхъ, онъ обратился къ своему сосѣду и спросилъ его, знаетъ ли онъ имена преступниковъ?

«— Ихъ зовутъ Викторъ и Леонія, — отвѣчалъ сосѣдъ:—они оба христіане и умираютъ за упорство въ своей вѣрѣ.

«Тутъ одинъ человѣкъ пробрался сквозь толпу и, приблизившись къ Амвросію, сказалъ ему на ухо:

«— Черезъ четверть часа друзья твои должны быть растерзаны звѣрями. Я тюремный стражъ; дай мнѣ тысячу сестерцій, и я имъ помогу убѣжать!

«— Амена,—вскричалъ Амвросій:—ты слышишь, что̀ говоритъ этотъ человѣкъ?

«— Слышу,—отвѣчала Амена:—но какое тебѣ до нихъ дѣло? Они христіане, а ты поклонникъ боговъ Олимпійскихъ!

«— Какъ, Амена, — продолжалъ Амвросій въ отчаяніи:—развѣ я не христіанинъ?

«— Ты?—отвѣчала Амена:—развѣ ты не приносилъ жертвы Юпитеру? Развѣ ты не сбросилъ съ себя креста?

«— Дай мнѣ пятьсотъ сестерцій!—продолжалъ тюремный стражъ:—и я освобожу твоихъ друзей!

«— Ты слышишь, Амена,—умолялъ ее Амвросій:—достань мнѣ пятьсотъ сестерцій, только пятьсотъ!

«— У тебя были горы золота,—отвѣчала Амена:—куда ты его дѣлъ?

«— Слушай,—продолжалъ тюремщикъ:—дай мнѣ одинъ ассъ, и друзья твои свободны!

«— О, я несчастный!—вопіялъ Амвросій:—у меня нѣтъ и обола!

«— Такъ ты, видно, не хочешь спасти друга и невѣсты!—сказалъ тюремщикъ и скрылся въ толпѣ.

«— Амена! — вскричалъ тогда Амвросій, и холодный потъ градомъ побѣжалъ съ его лица:—ты одна всему виною: по твоимъ совѣтамъ я сдѣлался богоотступникомъ, для тебя забылъ невѣсту и друга: спаси же ихъ теперь, на колѣняхъ умоляю тебя, спаси ихъ!

«— Какъ,—сказала Амена, странно улыбаясь:—ты все это сдѣлалъ для меня и по моимъ совѣтамъ? Развѣ ты, прежде чѣмъ меня увидѣлъ, не поклялся своему Богу, что никакія мученія не заставятъ тебя отъ Него отречься? Какія же ты испыталъ мученія? Ты отъ Него отрекся добровольно, ты принялъ въ награду золото и подарки отъ Максиміана и истратилъ ихъ на свои прихоти! Развѣ не я сама просила, чтобы ты меня покинулъ и остался вѣренъ своей невѣстѣ? Но невѣста и другъ приняли твои совѣты не съ такою благодарностью, какъ ты ожидалъ, они тебя справедливо упрекали въ клятвопреступленіи, и ты на нихъ вознегодовалъ и предалъ ихъ Максиміану. Во всемъ этомъ я не виновата нисколько; я наслаждалась твоею любовью, но я не вынуждала. У тебя былъ свой разсудокъ и своя совѣсть,—пеняй же теперь самъ на себя!

«Въ эту минуту ввели на арену Виктора и Леонію. Лица ихъ были спокойны, поступь тиха и величественна. Пришедъ на середину арены, они преклонили колѣна и устремили къ небу глаза, исполненные умиленія и восторга.

«— Викторъ! Леонія!—закричалъ отчаяннымъ голосомъ Амвросій; но они его не слыхали. Ничто земное уже не могло коснуться праведниковъ: казалось, они въ предсмертный часъ внимали небесной гармоніи и пѣнію серафимовъ.

«— Римляне!—закричалъ Амвросій:—бросьте меня на арену, я васъ обманывалъ: я христіанинъ и хочу умереть за свою вѣру!

«— Онъ сумасшедшій,—сказала Амена:—не слушайте его, онъ сумасшедшій!

«Тутъ Амвросій всталъ со ступеней, выступилъ впередъ и сотворилъ крестное знаменіе.

«— Кто бы ни была ты, ужасная женщина,—сказалъ онъ, обращаясь къ Аменѣ:—я отрекаюсь отъ тебя, отрекаюсь отъ твоихъ боговъ, отрекаюсь отъ ада и сатаны!

«Услыша эти слова, Амена испустила пронзительный визгъ, черты ея лица чудовищнымъ образомъ иска-

зились, изо рта побѣжало синее пламя; она бросилась на Амвросія и укусила его въ щеку. Въ эту минуту изъза желѣзной рѣшетки впустили на арену четырехъ львовъ. Амвросій упалъ безъ чувствъ на ступени амфитеатра».

Незнакомецъ опять замолчалъ, и я долго не смѣлъ прервать его молчанія.

— Кто ты, таинственный человѣкъ?—спросилъ я наконецъ, видя, что онъ хочетъ удалиться.

Вмѣсто отвѣта, братъ милосердія отбросилъ покрывало: страшно-блѣдное лицо устремило на меня выразительный взглядъ, и на его щекѣ я увидѣлъ глубокій шрамъ, какъ будто изъ нея мясо было вырвано острыми зубами. Онъ опять закрылъ лицо и, не сказавъ ни слова, медленными шагами вышелъ съ арены и исчезъ между развалинами.

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ.

Повѣсть временъ Іоанна Грознаго.

Ея Императорскому Величеству

Государынѣ Императрицѣ

Маріи Александровнѣ.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Представляемый здѣсь разсказъ имѣетъ цѣлью не столько описаніе какихъ-либо событій, сколько изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія.

Оставаясь вѣрнымъ исторіи въ общихъ ея чертахъ, авторъ позволилъ себѣ нѣкоторыя отступленія въ подробностяхъ, не имѣющихъ исторической важности. Такъ, между прочимъ, казнь Вяземскаго и обоихъ Басмановыхъ, случившаяся на дѣлѣ въ 1570 году, помѣщена, для сжатости разсказа, въ 1565 годъ. Этотъ умышленный анахронизмъ едва ли навлечетъ на себя строгое порицаніе, если принять въ соображеніе, что безчисленныя казни, послѣдовавшія за низверженіемъ Сильвестра и Адашева, хотя много служатъ къ личной характеристикѣ Іоанна, но не имѣютъ вліянія на общій ходъ событій.

Въ отношеніи къ ужасамъ того времени авторъ оставался постоянно ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и къ нравственному чувству читателя, онъ набросилъ на нихъ тѣнь и показалъ ихъ по возможности въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе онъ сознаётся, что при чтеніи источниковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія. Это тяжелое чувство постоянно мѣшало необходимой въ эпическомъ сочиненіи объективности и было отчасти причиной, что романъ, начатый болѣе де-

сяти лѣтъ тому назадъ, оконченъ только въ настоящемъ году. Послѣднее обстоятельство послужитъ, быть-можетъ, нѣкоторымъ извиненіемъ для тѣхъ неровностей слога, которыя, вѣроятно, не ускользнутъ отъ читателя.

Въ заключеніе авторъ полагаетъ нелишнимъ сказать, что чѣмъ вольнѣе онъ обращался со второстепенными историческими происшествіями, тѣмъ строже онъ старался соблюдать истину и точность въ описаніи характеровъ и всего, что̀ касается до народнаго быта и до археологіи.

Если удалось ему воскресить наглядно физіономію очерченной имъ эпохи, онъ не будетъ сожалѣть о своемъ трудѣ и почтетъ себя достигшимъ желанной цѣли.

1863.

ГЛАВА I.

Опричники.

Лѣта отъ сотворенія міра семь тысячъ семьдесятъ третьяго, или по нынѣшнему счисленію 1565 года, въ жаркій лѣтній день, 23 іюня, молодой бояринъ князь Никита Романовичъ Серебряный подъѣхалъ къ деревнѣ Медвѣдевкѣ, верстъ за тридцать отъ Москвы.

За нимъ ѣхала толпа ратниковъ и холопей.

Князь провелъ цѣлыхъ пять лѣтъ въ Литвѣ. Его посылалъ царь Иванъ Васильевичъ къ королю Жигимонту подписать миръ на многія лѣта послѣ бывшей тогда войны. Но на этотъ разъ царскій выборъ вышелъ неудаченъ. Правда, Никита Романовичъ упорно отстаивалъ выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшаго посредника, но Серебряный не былъ рожденъ для переговоровъ. Отвергая тонкости посольской науки, онъ хотѣлъ вести дѣло на чистоту и, къ крайней досадѣ сопровождавшихъ его дьяковъ, не позволялъ имъ никакихъ изворотовъ. Королевскіе совѣтники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушіемъ князя, вывѣдали отъ него наши слабыя стороны и увеличили свои требованія. Тогда онъ не вытерпѣлъ: среди полнаго сейма ударилъ кулакомъ по столу и разорвалъ докончальную грамоту, приготовленную къ подписанію. «Вы-де и съ королемъ вашимъ вьюны да оглядчики! Я съ вами говорю по совѣсти, а вы все норовите, какъ бы меня лукавствомъ обойти! Такъ-де чинить не повадно!» Этотъ горячій поступокъ разрушилъ въ одинъ мигъ успѣхъ прежнихъ переговоровъ, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, къ счастью его, не пришло въ тотъ же день отъ Москвы повелѣніе не заключать мира, а возобновить войну. Съ радостью выѣхалъ Серебряный изъ Вильны, смѣнилъ

бархатную одежду на блестящіе бахтерцы, и давай бить литовцевъ, гдѣ только Богъ посылалъ. Показалъ онъ свою службу въ ратномъ дѣлѣ лучше, чѣмъ въ думномъ, и прошла про него великая хвала отъ русскихъ и литовскихъ людей.

Наружность князя соотвѣтствовала его нраву. Отличительными чертами болѣе пріятнаго, чѣмъ краснваго лица его были простосердечіе и откровенность. Въ его темносѣрыхъ глазахъ, осѣненныхъ черными рѣсницами, наблюдатель прочелъ бы необыкновенную, безсознательную и какъ бы невольную рѣшительность, не позволявшую ему ни на мигъ задуматься въ минуту дѣйствія. Неровныя, взъерошенныя брови и косая между ними складка указывали на нѣкоторую безпорядочность и непослѣдовательность въ мысляхъ. Но мягко и опредѣлительно изогнутый ротъ выражалъ честную, ничѣмъ не поколебимую твердость, а улыбка — безпритязательное, почти дѣтское добродушіе, такъ что иной, пожалуй, почелъ бы его ограниченнымъ, если бы благородство, дышащее въ каждой чертѣ его, не ручалось, что онъ всегда постигнетъ сердцемъ, чего, можетъ-быть, и не сумѣетъ объяснить себѣ умомъ. Общее впечатлѣніе было въ его пользу и рождало убѣжденіе, что можно смѣло ему довѣриться во всѣхъ случаяхъ, требующихъ рѣшимости и самоотверженія, но что обдумывать свои поступки не его дѣло, и что соображенія ему не даются.

Серебряному было лѣтъ двадцать пять. Роста онъ былъ средняго, широкъ въ плечахъ, тонокъ въ поясѣ. Густые русые волосы его были свѣтлѣе загорѣлаго лица и составляли противоположность съ темными бровями и черными рѣсницами. Короткая борода, немного темнѣе волосъ, слегка оттѣняла губы и подбородокъ.

Весело было теперь князю и легко на сердцѣ возвращаться на родину. День былъ свѣтлый, солнечный, одинъ изъ тѣхъ дней, когда вся природа дышитъ чѣмъ-то праздничнымъ, цвѣты кажутся ярче, небо голубѣе, вдали прозрачными струями зыблется воздухъ, и человѣку дѣлается такъ легко, какъ будто душа его сама перешла въ природу, и трепещетъ на каждомъ листѣ, и качается на каждой былинкѣ.

Свѣтелъ былъ іюньскій день, но князю, послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Литвѣ, онъ казался еще свѣтлѣе. Отъ полей и лѣсовъ такъ и вѣяло Русью.

Безъ лести и кривды радѣлъ Никита Романовичъ къ юному Іоанну. Твердо держалъ онъ свое крестное цѣлованіе, и ничто не пошатнуло бы его крѣпкаго стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повелѣніе вернуться въ Литву, не увидя ни Москвы ни родныхъ, онъ безъ ропота поворотилъ бы коня и съ прежнимъ жаромъ кинулся бы въ новыя битвы. Впрочемъ, не одинъ онъ такъ мыслилъ. Всѣ русскіе люди любили Іоанна, всею землею. Казалось, съ его праведнымъ царствіемъ насталъ на Руси новый золотой вѣкъ, и монахи, перечитывая лѣтописи, не находили въ нихъ государя, равнаго Іоанну.

Еще не доѣзжая деревни, князь и люди его услышали веселыя пѣсни, а когда подъѣхали къ околицѣ, то увидѣли, что въ деревнѣ праздникъ. На обоихъ концахъ улицы парни и дѣвки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березкѣ, украшенной пестрыми лоскутьями. На головахъ у парней и дѣвокъ были зеленые вѣнки. Хороводы пѣли то оба вмѣстѣ, то очередуясь, разговаривали одинъ съ другимъ и перекидывались шуточною бранью. Звонко раздавался между пѣснями дѣвичій хохотъ, и весело пестрѣли въ толпѣ цвѣтныя рубахи парней. Стаи голубей перелетали съ крыши на крышу. Все двигалось и кишѣло, веселился православный народъ.

У околицы старый стремянный князя съ нимъ поровнялся.

— Эхва!—сказалъ онъ весело:—вишь какъ они, батюшка, тётка ихъ подкурятина, справляютъ Аграфену Купальницу-то. Ужъ не поотдохнуть ли намъ здѣсь? Кони-то заморились, да и намъ-то, поѣмши, веселѣе будетъ ѣхать. По сытому брюху, батюшка, самъ знаешь, хоть обухомъ бей!

— Да, я чай, уже недалеко отъ Москвы! — сказалъ князь, очевидно не желавшій остановиться.

— Эхъ, батюшка, вѣдь ты сегодня уже разовъ пять спрошалъ. Сказали тебѣ добрые люди, что будетъ еще поприщъ за сорокъ. Вели отдохнуть, князь, право кони устали.

— Ну, добро,—сказалъ князь;—отдыхайте.

— Эй, вы!—закричалъ Михеичъ, обращаясь къ ратникамъ:—долой съ коней, сымай котлы, раскидывай огонь!

Ратники и холопи были всѣ въ приказѣ у Михеича;

они спѣшились и стали развязывать вьюки. Самъ князь слѣзъ съ коня и снялъ служилую бронь. Видя въ немъ человѣка роду честнаго, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки и всѣ стояли, переглядываясь въ недоумѣніи, продолжать или нѣтъ веселіе.

— Не чинитесь, добрые люди,—сказалъ ласково Никита Романовичъ:—кречетъ соколамъ не помѣха!

— Спасибо, бояринъ,—отвѣчалъ пожилой крестьянинъ.—Коли милость твоя нами не брезгаетъ, просимъ покорно, садись на завалину, а мы тебѣ, коли соизволишь, медку поднесемъ; уважь, бояринъ, выпей на здоровье!.. Дуры!—продолжалъ онъ, обращаясь къ дѣвкамъ:—чего испугались? Аль не видите, это бояринъ со своею челядью, а не какіе-нибудь опричники! Вишь ты, бояринъ, съ тѣхъ поръ, какъ настала на Руси опричнина, такъ нашъ братъ всего боится; житья нѣту бѣдному человѣку! И въ праздникъ пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Какъ разъ нагрянутъ, ни съ того ни съ другого, словно снѣгъ на голову!

— Какая опричнина? Что̀ за опричники? — спросилъ князь.

— Да провалъ ихъ знаетъ! Называютъ себя царскими людьми. Мы-де люди царскіе, опричники! А вы-де земщина! Намъ-де васъ грабить да обдирать, а вамъ-де терпѣть да кланяться. Такъ-де царь указалъ!

Князь Серебряный вспыхнулъ.

— Царь указалъ обижать народъ! Ахъ, они окаянные! Да кто они такіе? Какъ вы ихъ, разбойниковъ, не перевяжете?

— Перевязать опричниковъ-то? Эхъ, бояринъ; видно, ты издалека ѣдешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-ка что̀ съ ними дѣлать! Ономнясь наѣхало ихъ человѣкъ десять на дворъ къ Степану Михайлову, вотъ на тотъ дворъ, что̀ на запорѣ; Степанъ-то былъ въ полѣ, они къ старухѣ: давай того, давай другого. Старуха все ставитъ да кланяется. Вотъ они: давай, баба, денегъ! Заплакала старуха, да нечего дѣлать, отперла сундукъ, вынула изъ тряпицы два алтына, подаетъ со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорятъ: мало! Да какъ хватитъ ее одинъ опричникъ въ високъ, такъ и духъ вонъ! Приходитъ Степанъ съ поля, видитъ: лежитъ его старуха съ разбитымъ вискомъ; онъ не вытерпѣлъ. Давай ругать царскихъ людей: Бога вы не бои-

тесь, окаянные! Не было-бъ вамъ на томъ свѣту ни дна ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повѣсили на воротахъ!

Вздрогнулъ отъ ярости Никита Романовичъ. Закипѣло въ немъ ретивое.

— Какъ, на царской дорогѣ, подъ самой Москвой, разбойники грабятъ, убиваютъ крестьянъ! Да что же дѣлаютъ ваши сотскіе да губные старосты? Какъ они терпятъ, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да, — подтвердилъ мужикъ: — мы-де люди царскіе, опричники; намъ-де все вольно, а вы-де земщина! И старшіе у нихъ есть; знаки носятъ: метлу да собачью голову. Должно-быть, и вправду царскіе люди.

— Дурень!—вскричалъ князь:—не смѣй станичниковъ царскими людьми величать! «Ума не приложу,—подумалъ онъ:—Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Какъ пріѣду на Москву, обо всемъ доложу царю. Пусть велитъ мнѣ сыскать ихъ! Не спущу имъ, какъ Богъ святъ, не спущу!»

Между тѣмъ хороводъ шелъ своимъ чередомъ.

Молодой парень представлялъ жениха, молодая дѣвка— невѣсту; парень низко кланялся родственникамъ своей невѣсты, которыхъ также представляли парни и дѣвки.

— Государь мой, тестюшка,—пѣлъ женихъ вмѣстѣ съ хоромъ:—свари мнѣ пива!

— Государыня теща, напеки пироговъ!

— Государь своякъ, осѣдлай мнѣ коня!

Потомъ, взявшись за руки, дѣвки и парни кружились вокругъ жениха и невѣсты, сперва въ одну, потомъ въ другую сторону. Женихъ выпилъ пиво, съѣлъ пироги, изъѣздилъ коня и выгоняетъ свою родню.

— Пошелъ, тесть, къ чорту!

— Пошла, теща, къ чорту!

— Пошелъ, своякъ, къ чорту!

При каждомъ стихѣ онъ выталкивалъ изъ хоровода то дѣвку, то парня.

Мужики хохотали.

Вдругъ раздался пронзительный крикъ. Мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, весь окровавленный, бросился въ хороводъ.

— Спасите! спрячьте!—кричалъ онъ, хватаясь за полы мужиковъ.

— Что съ тобою, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избилъ? ужъ не опричники-ль?

Въ одинъ мигъ оба хоровода собрались въ кучу; всѣ окружили мальчика; но онъ отъ страху едва могъ говорить.

— Тамъ, тамъ,—произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ:— за огородами, я пасъ телятъ... они наѣхали, стали колоть телятъ, рубить саблями; пришла Дунька, стала просить ихъ, они Дуньку взяли, потащили... потащили съ собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бѣжали съ другого конца деревни...

— Бѣда, бѣда! — кричали онѣ: — опричники! Бѣгите, дѣвки, прячьтесь въ рожь! Дуньку и Алёнку схватили, а Сергѣевну убили на-смерть!

Въ то же время показались всадники, человѣкъ съ пятьдесятъ, сабли наголо. Впереди скакалъ чернобородый дѣтина въ красномъ кафтанѣ, въ рысьей шапкѣ съ парчевымъ верхомъ. Къ сѣдлу его были привязаны метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда!—кричалъ онъ.—Колите скотъ, рубите мужиковъ, ловите дѣвокъ, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалѣть!

Крестьяне бѣжали куда кто могъ.

— Батюшка! Бояринъ!—вопили тѣ, которые были ближе къ князю:—не выдавай насъ, сиротъ! Оборони горемычныхъ!

Но князя уже не было между ними.

— Гдѣ-жъ бояринъ?—спросилъ пожилой мужикъ, оглядываясь на всѣ стороны.—И слѣдъ простылъ! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Охъ, бѣда неминучая, охъ, смерть намъ настала!

Дѣтина въ красномъ кафтанѣ остановилъ коня.

— Эй ты, старый хрѣнъ! Здѣсь былъ хороводъ, куда дѣвки разбѣжались?

Мужикъ кланялся молча.

— На березу его!—закричалъ черный:—любитъ молчать, такъ пусть себѣ молчитъ на березѣ!

Нѣсколько всадниковъ сошли съ коней и накинули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! развязалъ языкъ, старый хрычъ! Да поздно, братъ, въ другой разъ не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика къ березѣ. Въ эту минуту

изъ-за избы раздалось нѣсколько выстрѣловъ; человѣкъ десять пѣшихъ людей бросились съ саблями на душегубцевъ, и въ то же время всадники князя Серебрянаго, вылетѣвъ изъ-за угла деревни, съ крикомъ напали на опричниковъ. Княжескихъ людей было вполовину менѣе числомъ, но нападеніе совершилось такъ быстро и неожиданно, что они въ одинъ мигъ опрокинули опричниковъ. Князь самъ рукоятью сабли сшибъ съ лошади ихъ предводителя. Не давъ ему опомниться, онъ спрыгнулъ съ коня, придавилъ ему грудь колѣномъ и стиснулъ горло.

— Кто ты, мошенникъ?—спросилъ князь.

— А ты кто?—отвѣчалъ опричникъ, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставилъ ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвѣчай, окаянный, или застрѣлю, какъ собаку.

— Я тебѣ не слуга, разбойникъ,—отвѣчалъ черный, не показывая боязни:—а тебя повѣсятъ, чтобы не смѣлъ трогать царскихъ людей.

Курокъ пистоли щелкнулъ, но кремень осѣкся, и черный остался живъ.

Князь посмотрѣлъ вокругъ себя. Нѣсколько опричниковъ лежали убитые, другихъ княжескіе люди вязали, прочіе скрылись.

— Скрутите и этого! — сказалъ бояринъ, и, глядя на звѣрское, но безстрашное лицо его, онъ не могъ удержаться отъ удивленія.—«Нечего сказать, молодецъ!—подумалъ князь:—жаль, что разбойникъ!»

Между тѣмъ подошелъ къ князю стремянный его, Михеичъ.

— Смотри, батюшка,—сказалъ онъ, показывая пукъ тонкихъ и крѣпкихъ веревокъ съ петлями на концѣ:—вишь они какіе осилы возятъ съ собой! Видно, не впервой имъ душегубствовать, тётка ихъ подкурятина!

Тутъ ратники подвели къ князю двухъ лошадей, на которыхъ сидѣли два человѣка, связанные и прикрученные къ сѣдламъ. Одинъ изъ нихъ былъ старикъ съ кудрявою, сѣдою головой и длинною бородой. Товарищъ его, черноглазый молодецъ, казался лѣтъ тридцати.

— Это что за люди?—спросилъ князь.—Зачѣмъ вы ихъ къ сѣдламъ прикрутили?

— Не мы, бояринъ, а разбойники прикрутили ихъ къ сѣдламъ. Мы нашли ихъ за огородами, и стража къ нимъ была приставлена.

— Такъ отвяжите ихъ и пустите на волю!

Освобожденные плѣнники потягивали онѣмѣлые члены, но, не спѣша воспользоваться свободою, остались посмотрѣть, что̀ будетъ съ побѣжденными.

— Слушайте, мошенники,—сказалъ князь связаннымъ опричникамъ:—говорите, какъ вы смѣли называться царскими слугами? Кто вы таковы?

— Что̀ у тебя глаза лопнули, что ли?—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.—Аль не видишь, кто мы? Извѣстно кто! Царскіе люди, опричники!

— Окаянные! — вскричалъ Серебряный: — коли жизнь вамъ дорога̀, отвѣчайте правду!

— Да ты, видно, съ неба свалился,—сказалъ съ усмѣшкой черный дѣтина:—что никогда опричниковъ не видалъ? И подлинно съ неба свалился! Чортъ его знаетъ откуда выскочилъ, провалиться бы тебѣ сквозь землю!

Упорство разбойниковъ взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодецъ,—сказалъ онъ:—твоя дерзостность мнѣ было-пришлась по нраву, я хотѣлъ-было пощадить тебя. Но если ты сейчасъ же не скажешь мнѣ, кто ты таковъ, какъ Богъ святъ, велю тебя повѣсить!

Разбойникъ гордо выпрямился.

— Я Матвѣй Хомякъ, — отвѣчалъ онъ: — стремянный Григорія Лукьяновича Скуратова-Бѣльскаго; служу вѣрно господину моему и царю въ опричникахъ. Метла, что̀ у насъ при сѣдлѣ, значитъ, что мы Русь метемъ, выметаемъ измѣну изъ царской земли; а собачья голова, что мы грыземъ враговъ царскихъ. Теперь ты вѣдаешь, кто я; скажи-жъ и ты, какъ тебя называть, величать, какимъ именемъ помянуть, когда придется тебѣ шею свернуть?

Князь простилъ бы опричнику его дерзкія рѣчи. Безстрашіе этого человѣка въ виду смерти ему нравилось. Но Матвѣй Хомякъ клеветалъ на царя, и этого не могъ снести Никита Романовичъ. Онъ далъ знакъ ратникамъ. Привыкшіе слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойниковъ, они накинули имъ петли на шеи и готовились исполнить надъ ними казнь, незадолго передъ тѣмъ угрожавшую бѣдному мужику.

Тутъ младшій изъ людей, которыхъ князь велѣлъ отвязать отъ сѣделъ, подошелъ къ нему.

— Дозволь, бояринъ, слово молвить.

— Говори!

— Ты, бояринъ, сегодня доброе дѣло сдѣлалъ, вызво-

лилъ насъ изъ рукъ этихъ собачьихъ дѣтей, такъ мы хотимъ тебѣ за добро добромъ заплатить. Ты, видно, давно на Москвѣ не бывалъ, бояринъ. А мы такъ знаемъ, что̀ тамъ дѣлается. Послушай насъ, бояринъ. Коли жизнь тебѣ не постыла, не вели вѣшать этихъ чертей. Отпусти ихъ, и этого бѣса, Хомяка, отпусти. Не ихъ жаль, а тебя, бояринъ. А ужъ попадутся намъ въ руки, вотъ-те Христосъ, самъ повѣшу ихъ. Не миновать имъ осила, только бы не ты ихъ къ чорту отправилъ, а нашъ братъ!

Князь съ удивленіемъ посмотрѣлъ на незнакомца. Черные глаза его глядѣли твердо и проницательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крѣпкіе и ровные зубы сверкали ослѣпительной бѣлизной. Судя по его одеждѣ, можно было принять его за посадскаго или за какого-нибудь зажиточнаго крестьянина, но онъ говорилъ съ такой увѣренностью и, казалось, такъ искренно хотѣлъ предостеречь боярина, что князь сталъ пристальнѣе вглядываться въ черты его. Тогда показалось князю, что на нихъ отпечатокъ необыкновеннаго ума и смѣтливости, а взглядъ обнаруживаетъ человѣка, привыкшаго повелѣвать.

— Ты кто, молодецъ?—спросилъ Серебряный:—и зачѣмъ вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили къ сѣдлу?

— Да, бояринъ, кабы не ты, то висѣть бы мнѣ вмѣсто ихъ! А все-таки послушай мово слова, отпусти ихъ, жалѣть не будешь, какъ пріѣдешь на Москву. Тамъ, бояринъ, не то, что̀ прежде, не тѣ времена! Кабы всѣхъ ихъ перевѣшать, я бы не прочь, зачѣмъ бы не повѣсить! А то и безъ этихъ довольно ихъ на Руси останется; а тутъ еще человѣкъ десять ихнихъ ускакало; такъ если этотъ дьяволъ, Хомякъ, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажутъ!

Князя, вѣроятно, не убѣдили бы темныя рѣчи незнакомца, но гнѣвъ его успѣлъ простыть. Онъ разсудилъ, что скорая расправа съ злодѣями немного принесетъ пользы, тогда какъ, предавъ ихъ правосудію, онъ, можетъ-быть, откроетъ всю шайку этихъ загадочныхъ грабителей. Разспросивъ подробно, гдѣ имѣетъ пребываніе ближній губной староста, онъ приказалъ старшему ратнику съ товарищами проводить туда плѣнныхъ и объявилъ, что поѣдетъ далѣе съ однимъ Михеичемъ.

— Власть твоя посылать этихъ собакъ къ губному ста-

ростѣ,—сказалъ незнакомецъ:—только, повѣрь мнѣ, староста тотчасъ велитъ развязать имъ руки. Лучше бы самому тебѣ отпустить ихъ на всѣ четыре стороны. Впрочемъ, на то твоя боярская воля.

Михеичъ слушалъ все молча и только почесывалъ за ухомъ. Когда незнакомецъ кончилъ, старый стремянный подошелъ къ князю и поклонился ему въ поясъ.

— Батюшка бояринъ, — сказалъ онъ: — оно тово, можетъ-быть, этотъ молодецъ и правду говоритъ: неравно староста отпуститъ этихъ разбойниковъ. А ужъ коли ты ихъ, по мягкосердечію твоему, отъ петли помиловалъ, за что̀ Богъ и тебя, батюшка, не оставитъ, то дозволь по крайности, предъ отправкой-то, на всякъ случай влѣпить имъ по полсотенкѣ плетей, чтобъ впередъ-то не душегубствовали, тётка ихъ подкурятина!

И, принимая молчаніе князя за согласіе, онъ тотчасъ велѣлъ отвесть плѣнныхъ въ сторону, гдѣ предложенное имъ наказаніе было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы ни на бѣшенство Хомяка.

— Это самое питательное дѣло! — сказалъ Михеичъ, возвращаясь съ довольнымъ видомъ къ князю.—Оно, съ одной стороны, и безобидно, а съ другой—и памятно для нихъ будетъ.

Незнакомецъ, казалось, самъ одобрялъ счастливую мысль Михеича. Онъ усмѣхнулся, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее выраженіе.

— Бояринъ,—сказалъ онъ:—ужъ коли ты хочешь ѣхать съ однимъ только стремяннымъ, то дозволь хоть мнѣ съ товарищемъ къ тебѣ примкнуться; намъ дорога одна, а вмѣстѣ будетъ веселѣе; къ тому-жъ неровенъ часъ, коли придется опять работать руками, то восемь рукъ больше четырехъ вымолотятъ.

У князя не было причинъ подозрѣвать своихъ новыхъ товарищей. Онъ позволилъ имъ ѣхать съ собою, и послѣ краткаго отдыха всѣ четверо пустились въ путь.

ГЛАВА II.

Новые товарищи.

Дорогой Михеичъ нѣсколько разъ пытался вывѣдать отъ незнакомцевъ, кто они таковы, но тѣ отшучивались или отдѣлывались разными изворотами.

— Тьфу, тётка ихъ подкурятина!—сказалъ наконецъ

самъ про себя Михеичъ:—что за народъ! Словно вьюны какіе! Думаешь, вотъ поймалъ ихъ за хвостъ, а они тебѣ промежъ пальцевъ!

Между тѣмъ стало темнѣть. Михеичъ подъѣхалъ къ князю.

— Бояринъ,—сказалъ онъ:—хорошо ли мы сдѣлали, что взяли съ собой этихъ молодцовъ? Они что-то больно увертливы, никакъ отъ нихъ толку не добьешься. Да и народъ-то плечистый, не хуже Хомяка. Ужъ не лихіе ли люди?

— А хоть и лихіе,—отвѣчалъ беззаботно князь:—все же они постоятъ за насъ, коли неравно попадутся намъ еще опричники.

— А провалъ ихъ знаетъ, постоятъ ли, батюшка! Воронъ ворону глазъ не выклюетъ; а я слышалъ, какъ они промежъ себя поговаривали чортъ знаетъ на какомъ языкѣ, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, бояринъ, береженаго коня и звѣрь не вредитъ!

Темнота усиливалась. Михеичъ замолчалъ. Бояринъ также молчалъ. Слышенъ былъ только лошадиный топотъ да изрѣдка чуткое фырканье.

Ѣхали лѣсомъ. Одинъ изъ незнакомцевъ затянулъ пѣсню, другой сталъ подтягивать.

Пѣсня эта, раздающаяся ночью среди лѣса, послѣ всѣхъ дневныхъ происшествій, странно подѣйствовала на князя: ему сдѣлалось грустно. Онъ вспомнилъ о прошедшемъ, вспомнилъ объ отъѣздѣ своемъ изъ Москвы, за пять лѣтъ назадъ, и въ воображеніи очутился опять въ той церкви, гдѣ передъ отъѣздомъ слушалъ молебенъ и гдѣ, сквозь торжественное пѣніе, сквозь шопотъ толпы, его поразилъ нѣжный и звучный голосъ, котораго не заглушилъ ни стукъ мечей ни громъ литовскихъ пищалей: «Прости, князь,—говорилъ ему украдкою этотъ голосъ:—я буду за тебя молиться!..» Между тѣмъ незнакомцы продолжали пѣть, но слова ихъ не соотвѣтствовали размышленіямъ боярина. Въ пѣснѣ говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровнымъ токомъ, какъ рѣка широкая, то бурными волнами воздымались и опускались и наконецъ, взлетѣвъ высоко-высоко, парили въ небесахъ, какъ орлы съ распростертыми крыльями.

Грустно и весело въ тихую лѣтнюю ночь, среди без-

молвнаго лѣса, слушать размашистую русскую пѣсню. Тутъ и тоска безконечная, безнадежная, тутъ и сила непобѣдимая, тутъ и роковая печать судьбы, желѣзное предназначеніе, одно изъ основныхъ началъ нашей народности, которымъ можно объяснить многое, что̀ въ русской жизни кажется непонятнымъ. И чего ни слышно еще въ протяжной пѣснѣ среди лѣтней ночи и безмолвнаго лѣса!

Пронзительный свистъ прервалъ мысли боярина. Два человѣка выпрыгнули изъ-за деревьевъ и взяли лошадь его подъ уздцы. Двое другихъ схватили его за руки. Сопротивленіе стало невозможно.

— Ахъ, мошенники! — вскричалъ Михеичъ, котораго также окружили неизвѣстные люди.—Ахъ, тётка ихъ подкурятина! Вѣдь подвели же окаянные!

— Кто ѣдетъ?—спросилъ грубый голосъ.

— Бабушкино веретено!—отвѣчалъ младшій изъ новыхъ товарищей князя.

— Въ дѣдушкиномъ лаптѣ!—сказалъ грубый голосъ.

— Откуда Богъ несетъ, земляки?

— Не тряси яблони! Дай дрождямъ взойти, самъ-четвертъ урожаю!—продолжалъ спутникъ князя.

Руки, державшія боярина, тотчасъ опустились, и конь, почувствовавъ свободу, сталъ опять фыркать и шагать между деревьями.

— Вишь, бояринъ,—сказалъ незнакомецъ, равняясь съ княземъ:—вѣдь говорилъ я тебѣ, что вчетверомъ веселѣе ѣхать, чѣмъ самъ-другъ! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а тамъ простимся. Въ мельницѣ найдешь ночлегъ и кормъ лошадямъ! Дотудова будетъ версты двѣ, не болѣе, а тамъ скоро и Москва.

— Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется намъ когда встрѣтиться, не забуду я, что долгъ платежомъ красенъ!

— Не тебѣ, бояринъ, а намъ помнить услуги. Да врядъ ли мы когда и встрѣтимся. А если бы привелъ Богъ, такъ не забудь, что русскій человѣкъ добро помнитъ, и что мы всегда тебѣ вѣрные холопи!

— Спасибо, ребята; а имени своего не скажете?

— У меня имя не одно,—отвѣчалъ младшій изъ незнакомцевъ.—Покамѣстъ я Ванюха Перстень, а тамъ, можетъ, и другое прозваніе мнѣ найдется.

Вскорѣ они приблизились къ мельницѣ. Несмотря на ночное время, колесо шумѣло въ водѣ. На свистъ Перстня

показался мельникъ. Лица его нельзя было разглядѣть за темнотою, но, судя по голосу, онъ былъ старикъ.

— Ахъ ты, мой кормилецъ!—сказалъ онъ Перстню:—не ждалъ я тебя сегодня, да еще съ проѣзжими! Что бы тебѣ съ ними ужъ до Москвы доѣхать? А у меня, родимый, нѣтъ ни овса, ни сѣна, ни ужина!

Перстень сказалъ что-то мельнику на непонятномъ языкѣ. Старикъ отвѣчалъ такими же непонятными словами и прибавилъ вполголоса:

— И радъ бы, родимый, да гостя жду; такого гостя—Боже сохрани, какой сердитый!

— А комора за ставомъ?—сказалъ Перстень.

— Вся завалена мѣшками!

— А кладовая? Слышь ты, братъ, чтобы сейчасъ отыскалось мѣсто, овесъ лошадямъ и ужинъ боярину! Мы вѣдь знаемъ другъ друга, меня не морочь!

Мельникъ, ворча, повелъ пріѣзжихъ въ комору, стоявшую шагахъ въ десяти отъ мельницы и гдѣ, несмотря на мѣшки съ хлѣбомъ и мукою, было очень довольно мѣста.

Пока онъ сходилъ за лучиной, Перстень и товарищъ его простились съ бояриномъ.

— А скажите, молодцы,—спросилъ Михеичъ:—гдѣ-жъ отыскать васъ, если-бъ, неравно, по сегодняшнему дѣлу князю понадобились свидѣтели?

— Спроси у вѣтра,—отвѣчалъ Перстень:—откуда онъ? Спроси у волны перебѣжной, гдѣ живетъ она? Мы что стрѣлы острыя съ тетивы летимъ: куда вонзится калена стрѣла, тамъ и домъ ея! Въ свидѣтели,—продолжалъ онъ, усмѣхаясь:—мы его княжеской милости не годимся. А если-бъ мы за чѣмъ другимъ понадобились—приходи, старичина, къ мельнику, онъ тебѣ скажетъ, какъ отыскать Ванюху Перстня!

— Вишь ты, тётка твоя подкурятина!—проворчалъ себѣ подъ носъ Михеичъ:—какія кудрявыя рѣчи выговариваетъ!

— Бояринъ,—сказалъ Перстень, удаляясь:—послушай меня, не хвались на Москвѣ, что хотѣлъ повѣсить слугу Малюты Скуратова и потомъ отодралъ его, какъ сидорову козу!

— Вишь что наладилъ,—проворчалъ опять Михеичъ:—отпусти разбойника, не вѣшай разбойника, да и не хвались, что хотѣлъ повѣсить! Затвердила сорока Якова,

видно, съ одного поля ягода!—Не безпокойся, братъ,—прибавилъ онъ громко: — нашъ князь никого не боится; наплевать ему на твово Скурлатова; онъ одному царю отвѣтъ держитъ!

Мельникъ принесъ зажженную лучину и воткнулъ ее въ стѣну. Потомъ принесъ щей, хлѣба и кружку браги. Въ чертахъ его была странная смѣсь добродушія и плутовства; волосы и борода были совсѣмъ сѣдые, а глаза ярко-сѣраго цвѣта; морщины во всѣхъ направленіяхъ разсѣкали лицо его.

Поужинавъ и помолившись Богу, князь и Михеичъ расположились на мѣшкахъ; мельникъ пожелалъ имъ доброй ночи, низко поклонился, погасилъ лучину и вышелъ.

— Бояринъ,—сказалъ Михеичъ, когда они остались одни: — сдается мнѣ, напрасно мы здѣсь остановились. Лучше было ѣхать до Москвы.

— Чтобы тревожить народъ Божій среди ночи? Слѣзать съ коней да отмыкать рогатки на каждой улицѣ?

— Да что̀, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чѣмъ спать въ чортовой мельницѣ. И угораздило же ихъ, окаянныхъ, привести именно въ мельницу! Да еще на Ивана-Купала. Тьфу ты пропасть!

— Да что̀, тебѣ здѣсь худо, что ли?

— Нѣтъ, батюшка, не худо: и лежать покойно, и щи были добрыя, и лошадямъ овесъ засыпанъ; да то худо, что хозяинъ, вишь, мельникъ!

— Что-жъ съ того, что онъ мельникъ?

— Какъ что̀, что онъ мельникъ?—сказалъ съ жаромъ Михеичъ.—Да развѣ ты не знаешь, князь, что нѣтъ мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, онъ сумѣетъ безъ нечистаго плотину насыпать? Да, чорта съ два! Тётка его подкурятина!

— Слыхалъ я про это,—сказалъ князь:—мало ли что̀ люди говорятъ. Да теперь не время разбирать; бери что̀ Богъ послалъ.

Михеичъ немного помолчалъ, потомъ зѣвнулъ, еще помолчалъ и спросилъ уже заспаннымъ голосомъ:

— А какъ ты думаешь, бояринъ, что̀ за человѣкъ этотъ Матвѣй Хомякъ, котораго ты съ лошади сшибъ?

— Я думаю, разбойникъ.

— И я то же думаю. А какъ ты думаешь, бояринъ, что̀ за человѣкъ этотъ Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойникъ.

— И я такъ думаю. Только этотъ разбойникъ будетъ почище того разбойника. А тебѣ какъ покажется, бояринъ: который разбойникъ будетъ почище, Хомякъ или Перстень?

И, не дожидаясь отвѣта, Михеичъ захрапѣлъ. Вскорѣ уснулъ и князь.

ГЛАВА III.

Колдовство.

Мѣсяцъ взошелъ на небо, звѣзды ярко горѣли. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебрянымъ блескомъ.

Вдругъ раздался конскій топотъ, и вскорѣ повелительный голосъ закричалъ подъ самой мельницей:

— Эй, колдунъ!

Казалось, новый пріѣзжій не привыкъ дожидаться, ибо, не слыша отвѣта, онъ закричалъ еще громче:

— Эй, колдунъ! Выходи, не то въ куски изрублю!

Послышался голосъ мельника:

— Тише, князь, тише, батюшка! теперь мы не одни: остановились у меня проѣзжіе; а вотъ я сейчасъ къ тебѣ выйду, батюшка, дай только сундукъ запереть.

— Я те дамъ сундукъ запирать, чортова кочерга!— закричалъ тотъ, котораго мельникъ назвалъ княземъ.— Развѣ ты не зналъ, что я буду сегодня! Какъ смѣлъ ты принимать проѣзжихъ! Вонъ ихъ отсюда!

— Батюшка, не кричи, Бога ради не кричи, все испортишь! Я тебѣ говорилъ уже—дѣло боится шуму, а проѣзжихъ прогнать я не властенъ. Да они же намъ и не мѣшаютъ: они спятъ теперь, коли ты, родимый, не разбудилъ ихъ!

— Ну, добро, старикъ, только смотри: коли ты меня морочишь, лучше бы тебѣ на свѣтъ не родиться. Еще не выдумано, не придумано такой казни, какую я найду тебѣ!

— Батюшка, умилосердись! что-жъ мнѣ дѣлать, старику? Что̀ увижу, то и скажу; что̀ послѣ случится, въ томъ одинъ Богъ властенъ! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, такъ лучше я и дѣла не начну.

— Ну, ну, старикъ, не бойся, я пошутилъ.

Пріѣзжій привязалъ лошадь къ дереву. Онъ былъ высокаго роста и, казалось, молодъ. Мѣсяцъ игралъ на за-

понкахъ его однорядки. Золотыя кисти мурмолки болтались по плечамъ.

— Что-жъ, князь, — сказалъ мельникъ: — выучилъ ты слова?

— И слова выучилъ и ласточкино сердце ношу на шеѣ.

— Что-жъ, бояринъ, и это не помогаетъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ съ досадой князь:—ничего не помогаетъ! Намедни я увидѣлъ ее въ саду. Лишь узнала она меня,—поблѣднѣла, отвернулась, убѣжала въ свѣтлицу!

— Не прогнѣвись, бояринъ, не руби невинной головы, а дозволь тебѣ слово молвить.

— Говори, старикъ.

— Слушай, бояринъ, только я боюсь говорить...

— Говори!—закричалъ князь и топнулъ ногой.

— Слушай же, батюшка: ужъ не любитъ ли она другого?

— Другого? Кого-жъ другого? мужа? старика?

— А если... — продолжалъ мельникъ, запинаясь:—если она любитъ не мужа?..

— Ахъ, ты, лѣшій!—вскричалъ князь:—да какъ это тебѣ на умъ взбрело? Да если-бъ я только подумалъ про кого, я-бъ у нихъ у обоихъ своими руками сердце вырвалъ!

Мельникъ отшатнулся въ страхѣ.

— Колдунъ, — продолжалъ князь, смягчая свой голосъ:—помоги мнѣ! Одолѣла меня любовь, змѣя лютая! Ужъ чего я ни дѣлалъ! Цѣлыя ночи передъ иконами молился! Не вымолилъ себѣ покою. Бросилъ молиться, сталъ скакать и рыскать по полямъ съ утра до ночи,—не одного добраго коня заморилъ, а покоя не выѣздилъ! Сталъ гулять по ночамъ, выпивать ковши вина крѣпкаго,—не запилъ тоски, не нашелъ себѣ покоя въ похмельѣ! Махнулъ на все рукой и пошелъ въ опричники. Сталъ гулять за царскимъ столомъ вмѣстѣ со страдниками—съ Грязными, съ Басмановыми! Самъ хуже ихъ злодѣйствовалъ, разорялъ села и слободы, увозилъ женъ и дѣвокъ, а не залилъ кровью тоски моей! Боятся меня и земскіе и опричники, жалуетъ царь за молодечество, проклинаетъ народъ православный. Имя князя Аѳанасья Вяземскаго стало такъ же страшно, какъ имя Малюты Скуратова! Вотъ до чего довела меня любовь: погубилъ я душу мою! Да что мнѣ до нея! Во днѣ адовомъ не будетъ хуже здѣшняго! Ну, старикъ, чего смотришь мнѣ въ глаза? Али думаешь, я помѣшался? Не помѣшался Аѳанасій Ивано-

вичъ; крѣпка голова, крѣпко тѣло его! Тѣмъ-то и ужасна моя мука, что не можетъ извести меня!

Мельникъ слушалъ князя и боялся. Онъ опасался его буйнаго нрава, опасался за жизнь свою.

— Что-жъ ты молчишь, старикъ? Али нѣтъ у тебя зелья, али нѣтъ корня какого приворожить ее? Говори, высчитывай, какія есть чародѣйныя травы? Да говори же, колдунъ!

— Батюшка, князь Аѳанасій Ивановичъ, какъ тебѣ сказать? Всякія есть травы. Есть колюка-трава,—сбирается въ Петровъ постъ. Обкуришь ею стрѣлу — промаху не дашь. Есть тирличъ-трава,—на Лысой горѣ, подъ Кіевомъ растетъ. Кто ее носитъ на себѣ, на того ввѣкъ царскаго гнѣва не будетъ. Есть еще плакунъ-трава: вырѣжешь изъ корня крестъ да повѣсишь на шею—всѣ тебя будутъ какъ огня бояться!

Вяземскій горько усмѣхнулся.

— Меня ужъ и такъ боятся,—сказалъ онъ:—не надо мнѣ плакуна твоего. Называй другія травы.

— Есть еще Адамова-голова, — коло болотъ растетъ: разрѣшаетъ роды и подарки приноситъ. Есть голубецъ болотный: коли хочешь идти на медвѣдя, выпей взвару голубца, и никакой медвѣдь тебя не тронетъ. Есть ревенка-трава: когда станешь изъ земли выдергивать, она стонетъ и реветъ словно человѣкъ, а надѣнешь на себя, никогда въ водѣ не утонешь.

— А болѣ нѣтъ другихъ?

— Какъ не быть, батюшка, есть еще кочедыжникъ или папортникъ: кому удастся сорвать цвѣтъ его, тотъ всѣми кладами владѣетъ. Есть Иванъ-да-Марья: кто знаетъ, какъ за нее взяться, тотъ на первой клячѣ отъ лучшаго скакуна удеретъ.

— А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылаго,—не знаешь?

Мельникъ замялся.

— Не знаю, батюшка, не гнѣвайся, родимый, видитъ Богъ—не знаю!

— А такой, чтобы свою любовь перемочь,—не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка; а вотъ есть разрывъ-трава: когда дотронешься ею до замка̀ али до двери желѣзной, такъ и разорветъ на куски!

— Пропадай ты съ своими травами!—сказалъ гнѣвно Вяземскій и устремилъ мрачный взоръ свой на мельника.

Мельникъ опустилъ глаза и молчалъ.

— Старикъ!—вскричалъ вдругъ Вяземскій, хватая его за воротъ:—подавай мнѣ ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, лѣшій! Сейчасъ подавай!

И онъ трясъ мельника за воротъ обѣими руками.

Мельникъ подумалъ, что насталъ послѣдній часъ его.

Вдругъ Вяземскій выпустилъ старика и повалился ему въ ноги.

— Сжалься надо мной!—зарыдалъ онъ:—излѣчи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду въ кабалу къ тебѣ! Сжалься надо мною, старикъ!

Мельникъ еще болѣе испугался.

— Князь, бояринъ! Что съ тобой? Опомнись! Это я, Давыдычъ, мельникъ!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излѣчишь!

— Князь! князь!—сказалъ дрожащимъ голосомъ мельникъ:—пора за дѣло. Время уходитъ, вставай! Теперь темно: не видалъ я тебя, не знаю, гдѣ ты! Скорѣй, скорѣй за дѣло!

Князь всталъ.

— Начинай,—сказалъ онъ:—я готовъ.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освѣщенное мѣсяцемъ, продолжало шумѣть и вертѣться. Гдѣ-то въ дальнемъ болотѣ кричалъ дергачъ. Сова завывала порой въ гущинѣ лѣса.

Старикъ и князь подошли къ мельницѣ.

— Смотри, князь, подъ колесо, а я стану нашептывать.

Старикъ прилегъ къ землѣ и, еще задыхаясь отъ страха, сталъ шептать какія-то слова. Князь смотрѣлъ подъ колесо. Прошло нѣсколько минутъ.

— Что видишь, князь?

— Вижу, будто жемчугъ сыплется, будто червонцы играютъ.

— Будешь ты богатъ, князь, будешь всѣхъ на Руси богаче!

Вяземскій вздохнулъ.

— Смотри еще, князь, что видишь?

— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промежъ нихъ какъ золотыя гривны!

— Будетъ тебѣ удача въ ратномъ дѣлѣ, бояринъ, будетъ счастье на службѣ царской! Только, смотри, смотри, еще говори, что видишь?

— Теперь сдѣлалось темно, вода помутилась. А вотъ стала краснѣть вода, вотъ почервонѣла, словно кровь. Что̀ это значитъ?

Мельникъ молчалъ.

— Что̀ это значитъ, старикъ?

— Довольно князь. Долго смотрѣть не годится; пойдемъ!

— Вотъ потянулись багровыя нитки, словно жилы кровавыя; вотъ будто клещи растворяются и замыкаются; вотъ...

— Пойдемъ, князь, пойдемъ, будетъ съ тебя!

— Постой! — сказалъ Вяземскій, отталкивая мельника:—вотъ словно пила зубчатая ходитъ взадъ и впередъ, а изъ-подъ нея словно кровь брызжетъ!

Мельникъ хотѣлъ оттащить князя.

— Постой, старикъ, мнѣ дурно, мнѣ больно въ суставахъ... Охъ, больно!

Князь самъ отскочилъ. Казалось, онъ понялъ свое видѣніе.

Долго оба молчали. Наконецъ Вяземскій сказалъ:

— Хочу знать, любитъ ли она другого?

— А есть ли у тебя, бояринъ, какая вещица отъ нея?

— Вотъ что̀ нашелъ я у калитки!

Князь показалъ голубую ленту.

— Брось подъ колесо!

Князь бросилъ.

Мельникъ вынулъ изъ-за пазухи глиняную сулею.

— Хлебни!—сказалъ онъ, подавая сулею князю.

Князь хлебнулъ. Голова его стала ходить кругомъ, въ очахъ помутилось.

— Смотри теперь, что̀ видишь?

— Ее, ее!

— Одноё?

— Нѣтъ, не одну! Ихъ двое: съ ней русый молодецъ въ кармазинномъ кафтанѣ, только лица его не видно... Постой! Вотъ они сплываются... все ближе, ближе... Анаѳема! они цѣлуются! Анаѳема! будь ты проклятъ, колдунъ, будь проклятъ, проклятъ!

Князь бросилъ мельнику горсть денегъ, оторвалъ отъ дерева узду коня своего, вскочилъ въ сѣдло, и застучали въ лѣсу конскія подковы. Потомъ топотъ замеръ въ отдаленіи, и лишь колесо въ ночной тиши продолжало шумѣть и вертѣться.

ГЛАВА IV.

Дружина Андреевичъ и его жена.

Если бы читатель могъ перенестись лѣтъ за триста назадъ и посмотрѣть съ высокой колокольни на тогдашнюю Москву, онъ нашелъ бы въ ней мало сходства съ теперешнею. Берега Москвы-рѣки, Яузы и Неглинной покрыты были множествомъ деревянныхъ домовъ съ тесовыми или соломенными крышами, большею частью почернѣвшими отъ времени. Среди этихъ темныхъ крышъ рѣзко бѣлѣли и краснѣли стѣны Кремля, Китай-города и другихъ укрѣпленій, возникшихъ въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій. Множество церквей и колоколенъ поднимали свои золоченыя головы къ небу. Подобныя большимъ зеленымъ и желтымъ пятнамъ, виднѣлись между домами густыя рощи и покрытыя хлѣбомъ поля. Черезъ Москву-рѣку пролегали зыбкіе живые мосты, сильно дрожавшіе и покрывавшіеся водою, когда по нимъ проѣзжали возы или всадники. На Яузѣ и на Неглинной вертѣлись десятками мельничныя колеса, одно подлѣ другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самаго города придавали тогдашней Москвѣ много живописнаго. Особенно весело было смотрѣть на монастыри, которые, съ бѣлыми оградами и пестрыми кучами цвѣтныхъ и золоченыхъ головъ, казались отдѣльными городами.

Надъ всею этою путаницею церквей, домовъ, рощъ и монастырей гордо воздымались кремлевскія церкви и недавно отдѣланный храмъ Покрова Богоматери, который Іоаннъ заложилъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ память взятія Казани и который мы знаемъ нынѣ подъ именемъ Василія Блаженнаго. Велика была радость москвитянъ, когда упали наконецъ лѣса, закрывавшіе эту церковь, и предстала она во всемъ своемъ причудливомъ блескѣ, сверкая золотомъ и красками и удивляя взоръ разнообразіемъ украшеній. Долго не переставалъ народъ дивиться искусному зодчему, благодарить Бога и славить царя, даровавшаго православнымъ зрѣлище дотолѣ невиданное. Хороши были и прочія церкви московскія. Не щадили москвитяне ни рублей ни трудовъ на благолѣпіе домовъ Божіихъ. Вездѣ видны были дорогіе цвѣта, позолота и большія наружныя иконы во весь ростъ человѣческій. Любили православные украшать дома Божіи, но зато мало заботились о наружности своихъ домовъ;

жилища ихъ почти всѣ были выстроены прочно и просто, изъ сосновыхъ или дубовыхъ брусьевъ, не обшитыхъ даже тесомъ, по старинной русской пословицѣ: не красна изба углами, а красна пирогами.

Одинъ домъ боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-рѣки, отличался особенною красотою. Дубовыя бревна были на подборъ круглы и ровны; всѣ углы рублены въ лапу, домъ возвышался въ три жилья, не считая свѣтлицы. Навѣсная кровля, надъ крутымъ крыльцомъ, поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою рѣзьбою. Ставни были искусно расписаны цвѣтами и птицами, а окна пропускали свѣтъ Божій не сквозь тусклые бычачьи пузыри, какъ въ бо́льшей части домовъ московскихъ, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широкомъ дворѣ стояли службы, кладовыя, сушилы, голубятня и лѣтняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали, съ одной стороны, домовая каменная церковь, съ другой—пространный садъ, окруженный дубовымъ частоколомъ, изъ-за котораго поднимались красивыя качели, также съ узорами и живописью. Словомъ, домъ выстроенъ былъ на славу. Да и было на кого строить!

Бояринъ Дружина Андреевичъ, тѣломъ дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонныя лѣта, недавно женился на первой московской красавицѣ. Всѣ дивились, когда вышла за него двадцатилѣтняя Елена Дмитріевна, дочь окольничаго Плещеева-Очина, убитаго подъ Казанью. Не такого жениха прочили ей московскія свахи. Но Елена была на выданьи, безъ отца и матери; а красота дѣвушки, при нечестивыхъ нравахъ новыхъ царскихъ любимцевъ, бывала ей чаще на бѣду, чѣмъ на радость.

Морозовъ, женившись на Еленѣ, сдѣлался ея покровителемъ, а всѣ знали на Москвѣ, что не легко обидѣть ту, которую бралъ подъ свою защиту бояринъ Дружина Андреевичъ!

Много любимцевъ царскихъ, до замужества Елены, старались ей понравиться, но никто такъ не старался, какъ князь Аѳанасій Ивановичъ Вяземскій. И подарки дорогіе присылалъ онъ къ ней, и въ церквахъ становился супротивъ нея, и на бѣшеномъ конѣ мимо воротъ скакалъ, и въ кулачномъ бою ходилъ одинъ на стѣну. Не было удачи Аѳанасію Ивановичу! Свахи приносили ему назадъ его подарки, а при встрѣчѣ съ нимъ Елена отво-

рачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Аѳанасій Ивановичъ, или въ сердцѣ дѣвичьемъ была уже другая зазнобушка, только какъ ни бился князь Вяземскій, а все получалъ отказы. Наконецъ осерчалъ Аѳанасій Ивановичъ и пошелъ бить челомъ въ своей неудачѣ царю Ивану Васильевичу. Царь обѣщалъ самъ заслать свахъ къ Еленѣ Дмитріевнѣ. Узнавъ о томъ, Елена залилась слезами. Пошла съ мамкою въ церковь, стала на колѣни предъ Божьею Матерью, плачетъ и кладетъ земные поклоны.

Въ церкви народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоялъ бояринъ Морозовъ въ бархатномъ зеленомъ кафтанѣ, въ парчевомъ терликѣ нараспашку.

— О чемъ ты плачешь, Елена Дмитріевна?—спросилъ Морозовъ.

Узнавъ боярина, Елена обрадовалась.

Онъ былъ когда-то въ дружбѣ съ ея родителями, да и теперь навѣщалъ ее и любилъ какъ родную. Елена его почитала какъ бы отца и повѣряла ему свои мысли; одной лишь не повѣрила, одну лишь схоронила отъ боярина,—схоронила себѣ на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопросъ Морозова, она не сказала ему той завѣтной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о томъ, что пріѣдутъ царскія свахи, приневолятъ меня за Вяземскаго!

— Елена Дмитріевна, — сказалъ боярин: — полно, правду ли нелюбъ тебѣ Вяземскій? Подумай хорошенько. Знаю, доселѣ онъ былъ тебѣ не по-сердцу; да вѣдь у тебя, я чаю, никого еще нѣтъ на мысли, а до той поры сердце дѣвичье—воскъ; стерпится, слюбится!

— Никогда,—отвѣчала Елена:—никогда не полюблю его! Скорѣй сойду въ могилу!

Бояринъ посмотрѣлъ на нее съ участіемъ.

— Елена Дмитріевна,—сказалъ онъ, помолчавъ:—есть средство спасти тебя. Послушай. Я старъ и сѣдъ, но люблю тебя, какъ дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна-ль ты выйти за меня, старика?

— Согласна!—вскричала радостно Елена и повалилась Морозову въ ноги.

Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался онъ восторгу Елены; не догадался, старый, что то былъ восторгъ утопающаго, который хватается за кустъ терновый.

Ласково поднялъ онъ Елену и поцѣловалъ въ чело.

— Дитятко,—сказалъ онъ:—цѣлуй же мнѣ крестъ, что не обезчестишь ты сѣдой головы моей! Клянись здѣсь, передъ Спасителемъ!

— Клянусь, клянусь!—прошептала Елена.

Бояринъ велѣлъ позвать священника, и вскорѣ совершился обрядъ обрученія; когда же явились къ Еленѣ царскія свахи, она уже была невѣстою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она цѣловала крестъ быть ему вѣрною и твердо рѣшилась сдержать свою клятву, не погрѣшить противъ господина своего ни словомъ ни мыслію.

И зачѣмъ бы не любить ей Дружины Андреевича? Правда, не молодъ былъ бояринъ; но Господь благословилъ его и здоровьемъ, и дородствомъ, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой-рѣкой, и кладовыми, полными золота, парчи и мѣховъ дорогихъ. Лишь однимъ не благословилъ Господь Дружину Андреевича: не благословилъ его милостію царскою. Какъ узналъ Иванъ Васильевичъ, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершилъ наказать боярина: велѣлъ позвать его къ столу своему и посадилъ не только ниже Вяземскаго, но и ниже Годунова, Бориса Ѳедоровича, еще не вошедшаго въ честь и не имѣвшаго никакого сана.

Не снесъ боярынъ такого безчестія—всталъ изъ-за стола: не вмѣстно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдалъ Морозова головою Борису Ѳедоровичу. Понесъ боярынъ ко врагу повинную голову, но обругалъ Годунова жестоко и назвалъ щенкомъ.

И, узнавъ о томъ, царь вошелъ въ ярость великую, приказалъ Морозову отойти отъ очей своихъ и отпустить сѣдые волосы, доколѣ не сымется съ него опала. И удалился отъ двора боярынъ: и ходитъ онъ теперь въ смирной одеждѣ, съ бородою нечесанною, падаютъ сѣдые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевыхъ, но не опозорилъ онъ своего роду, не сѣлъ ниже Годунова!

Домъ Морозова былъ чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всякъ, кто входилъ къ нему, былъ принимаемъ съ радушіемъ. И свои и чужіе хвалились его

ласкою; всѣхъ дарилъ онъ и словами привѣтными, и одеждой богатою, и совѣтами мудрыми. Но никого такъ не ласкалъ, никого такъ не дарилъ онъ, какъ свою молодую жену, Елену Дмитріевну. И жена отвѣчала за ласку ласкою, и каждое утро и каждый вечеръ долго стояла на колѣняхъ въ своей образной и усердно молилась за его здравіе.

Виновата ли была Елена Дмитріевна, что среди привѣтливыхъ рѣчей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы передъ иконами, внезапно представлялся воображенію ея молодой витязь, летящій на конѣ съ поднятымъ шестоперомъ, и передъ нимъ бѣгущіе въ безпорядкѣ литовскіе полки?

Виновата ли была Елена Дмитріевна, что образъ этого витязя преслѣдовалъ ее вездѣ, и дома, и въ церкви, и днемъ, и ночью, и съ упрекомъ говорилъ ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!..»

Тысяча пятьсотъ шестьдесятъ пятаго года, іюля двадцать четвертаго, въ день Ивана-Купалы, всѣ колокола московскіе раскачались съ самаго утра и звонили безъ умолку. Всѣ церкви были полны. По окончаніи обѣдни народъ разсыпался по улицамъ. Молодые и старые, бѣдные и богатые несли домой зеленыя вѣтки, цвѣты, березки, убранныя лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако къ полуденной порѣ улицы стали пустѣть. Мало-помалу народъ сталъ расходиться, и вскорѣ на Москвѣ нельзя было бы встрѣтить ни одного человѣка. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились въ своихъ опочивальняхъ, и не было никого, кто бы гнѣвилъ Бога, гуляя по улицамъ, ибо Богъ и человѣку и всякой твари велѣлъ покоиться въ полуденную пору; а грѣшно идти противъ воли Божіей, развѣ ужъ принудитъ неотложное дѣло.

Итакъ, всѣ спали; Москва казалась необитаемымъ городомъ. Только на Балчугѣ, въ недавно выстроенномъ кружечномъ дворѣ, или кабакѣ, слышны были крики, ссоры и пѣсни. Тамъ, несмотря на полдень, пировали ратники, почти всѣ молодые, въ богатыхъ нарядахъ. Они расположились внутри дома, и на дворѣ, и на улицѣ. Всѣ были пьяны; иной, лежа на голой землѣ, проливалъ на платье чарку вина; другой силился хриплымъ голосомъ подтягивать товарищамъ, но издавалъ лишь глухіе, невнятные

звуки. Осѣдланные кони стояли у воротъ. Къ каждому сѣдлу привязана была метла и собачья голова.

Въ это время два всадника показались на улицѣ. Одинъ изъ нихъ, въ кармазинномъ кафтанѣ съ золотыми кистями и въ бѣлой парчевой шапкѣ, изъ-подъ которой вилися густыя русыя кудри, обратился къ другому всаднику.

— Михеичъ,—сказалъ онъ:—видишь ты этихъ пьяныхъ людей?

— Вижу, бояринъ, тётка ихъ подкурятина! Вишь, бражники, какъ расходились!

— А видишь ты, что у лошадей за сѣдлами?

— Вижу: метлы да песьи морды, какъ у того разбойника. Стало, и въ самомъ дѣлѣ царскіе люди, коль на Москвѣ гуляютъ! Надѣлали-жъ мы дѣла, бояринъ, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

— Поди, спроси у нихъ, гдѣ живетъ бояринъ Морозовъ.

— Эй, добрые люди, господа честные!—закричалъ Михеичъ, подъѣзжая къ толпѣ:—гдѣ живетъ бояринъ Дружина Андреичъ Морозовъ?

— А на что тебѣ знать, гдѣ эта собака живетъ?

— У моего боярина, князя Серебрянаго, есть грамота къ Морозову отъ воеводы князя Пронскаго, изъ большого полку.

— Давай сюда грамоту!

— Что ты, что ты, тётка твоя под... что ты? Въ умѣ ли? Какъ дать тебѣ князеву грамоту?

— Давай грамоту, старый сычъ, давай ее! Посмотримъ, ужъ не затѣялъ ли этотъ Морозовъ измѣны, ужъ не хочетъ ли извести государя?

— Ахъ ты, мошенникъ!—вскричалъ Михеичъ, забывая осторожность, съ которою началъ-было говорить: — да развѣ мой господинъ знается съ измѣнниками!

— А, такъ ты еще ругаться! Долой его съ лошади, ребята, въ плети его!

Тутъ самъ Серебряный подскакалъ къ опричникамъ.

— Назадъ!—закричалъ онъ такъ грозно, что они невольно остановились.

— Если кто изъ васъ,—продолжалъ князь:—хоть пальцемъ тронетъ этого человѣка, я тому голову разрублю, а остальные будутъ отвѣчать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли изъ сосѣднихъ улицъ и обступили князя. Дерзкія слова по-

сыпались изъ толпы; многіе вынули сабли, и не сдобровать бы Никитѣ Романовичу, если бы въ это время не послышался вблизи голосъ, поющій псаломъ, и не остановилъ опричниковъ какъ будто волшебствомъ. Всѣ оглянулись въ сторону, откуда раздавался голосъ. По улицѣ шелъ человѣкъ лѣтъ сорока, въ одной полотняной рубахѣ. На груди его звенѣли желѣзные кресты и вериги, а въ рукахъ были деревянныя чётки. Блѣдное лицо его выражало необыкновенную доброту; на устахъ, осѣненныхъ рѣденькой бородой, играла улыбка, но глаза глядѣли мутно и неопредѣленно.

Увидѣвъ Серебрянаго, онъ прервалъ свое пѣніе, подошелъ поспѣшно къ нему и посмотрѣлъ ему прямо въ лицо.

— Ты, ты?—сказалъ онъ, какъ будто удивляясь:—зачѣмъ ты здѣсь, между ними?

И, не дожидаясь отвѣта, онъ началъ пѣть:—«Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ!»

Опричники посторонились съ видомъ почтенія, но онъ, не обращая на нихъ вниманія, опять сталъ смотрѣть въ глаза Серебряному.

— Микитка, Микитка!—сказалъ онъ, качая головой:—куда ты заѣхалъ?

Серебряный никогда не видалъ этого человѣка и удивился, что онъ называетъ его по имени.

— Развѣ ты знаешь меня?—спросилъ онъ.

Блаженный засмѣялся.

— Ты мнѣ братъ!—отвѣчалъ онъ:—я тотчасъ узналъ тебя. Ты такой же блаженный, какъ и я. И ума-то у тебя не болѣ моего, а то бы ты сюда не пріѣхалъ. Я все твое сердце вижу. У тебя тамъ чисто-чисто, одна голая правда; мы съ тобой оба юродивые! А эти,—продолжалъ онъ, указывая на вооруженную толпу:—эти намъ не родня! У!

— Вася,—сказалъ одинъ изъ опричниковъ:—не хочешь ли чего? Не надо-ль тебѣ денегъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—отвѣчалъ блаженный:—отъ тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьметъ отъ тебя, а подай Микиткѣ, чего онъ проситъ!

— Божій человѣкъ,—сказалъ Серебряный:—я спрашивалъ, гдѣ живетъ бояринъ Морозовъ?

— Дружинка-то? Этотъ нашъ! Этотъ праведникъ! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да ужъ и не подымется!

— Гдѣ онъ живетъ?—повторилъ ласково Серебряный.

— Не скажу!—отвѣтилъ блаженный, какъ будто разсердившись:—не скажу, пусть другіе скажутъ. Не хочу посылать тебя на недоброе дѣло!

И онъ поспѣшно удалился, затянувъ опять свой прерванный псаломъ.

Не понимая его словъ и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился къ опричникамъ.

— Что-жъ,—спросилъ онъ:—скажете ли вы наконецъ, какъ найти домъ Морозова?

— Ступай все прямо,—отвѣчалъ грубо одинъ изъ нихъ.—Тамъ, какъ поворотишь налѣво, тамъ тебѣ и будетъ гнѣздо стараго ворона.

По мѣрѣ того, какъ князь удалялся, опричники, усмиренные появленіемъ юродиваго, опять начали буянить.

— Эй!—закричалъ одинъ:—отдай Морозову поклонъ отъ насъ да скажи, чтобы готовился на висѣлицу; больно зажился!

— Да и на себя припаси веревку! — крикнулъ вдогонку другой.

Но князь не обратилъ вниманія на ихъ ругательства.

«Что̀ хотѣлъ сказать мнѣ блаженный? — думалъ онъ, потупя голову.—Зачѣмъ не указалъ онъ мнѣ домъ Морозова, да еще прибавилъ, что не хочетъ посылать меня на недоброе дѣло?»

Продолжая ѣхать далѣе, князь и Михеичъ встрѣтили еще много опричниковъ. Иные были уже пьяны, другіе только шли въ кабакъ. Всѣ смотрѣли нагло и дерзко, а нѣкоторые даже дѣлали вслухъ такія грубыя замѣчанія насчетъ всадниковъ, что легко можно было видѣть, сколь они привыкли къ безнаказанности.

ГЛАВА V.

Встрѣча.

Проѣзжая верхо̀мъ по берегу Москвы-рѣки, можно было поверхъ частокола видѣть весь садъ Морозова.

Цвѣтущія липы осѣняли свѣтлый прудъ, доставлявшій боярину въ постные дни обильную пищу. Далѣе зеленѣли яблони, вишни и сливы. Въ некошенной травѣ пролегали узенькія дорожки. День былъ жаркій. Надъ алыми цвѣтами пахучаго шиповника кружились золотые жуки; въ липахъ жужжали пчелы; въ травѣ трещали кузнечики;

изъ-за кустовъ красной смородины большіе подсолнечники поднимали широкія головы и, казалось, нѣжились на полуденномъ солнцѣ.

Бояринъ Морозовъ уже съ часъ какъ отдыхалъ въ своей опочивальнѣ. Елена съ сѣнными дѣвушками сидѣла подъ липами на дерновой скамьѣ, у самаго частокола. На ней былъ голубой аксамитный лѣтникъ съ яхонтовыми пуговицами. Широкіе кисейные рукава, собранные въ мелкія складки, перехватывались, повыше локтя, алмазными запястьями или зарукавниками. Такія же серьги висѣли по самыя плечи; голову покрывалъ кокошникъ съ жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестѣли золотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смѣялась и шутила съ дѣвушками.

— Боярыня,—сказала одна изъ нихъ:—примѣрь еще вотъ эти запястья, они повиднѣе.

— Будетъ съ меня примѣрять, дѣвушки,—отвѣчала ласково Елена:—вотъ уже битый часъ вы меня наряжаете да укручиваете, будетъ съ меня!

— Вотъ еще только монисто надѣнь! Какъ надѣнешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона въ окладѣ!

— Полно, Пашенька, стыдно грѣхъ такой говорить!

— Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, такъ не поиграть ли намъ въ горѣлки или въ камушки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качеляхъ покачаться? Или ужъ не спѣть ли тебѣ чего?

— Спой мнѣ, Пашенька, спой мнѣ ту пѣсню, что̀ ты намедни пѣла, какъ вы ягоды собирали!

— И, боярыня, лапушка ты моя, что-жъ въ той пѣснѣ веселаго! То грустная пѣсня, не праздничная.

— Нужды нѣтъ; мнѣ хочется ее послушать; спой мнѣ, Пашенька.

— Изволь, боярыня; коли твоя такая воля,—спою; только ты послѣ не пеняй на меня, если неравно тебѣ взгрустнется! Ну-те-жъ, подруженьки, подтягивайте!

Дѣвушки усѣлись въ кружокъ, и Пашенька затянула жалобнымъ голосомъ:

Ахъ, кабы на цвѣты да не морозы,
И зимой бы цвѣты расцвѣтали;
Ахъ, кабы на меня да не кручина,
Ни о чемъ бы я не тужила,

Не сидѣла-бъ я, подпершися,
Не глядѣла-бъ я во чисто поле...
. . . . . .
Я по сѣнямъ шла, по новымъ шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтобъ моя шубка не прошумѣла,
Чтобъ мои пуговки не прозвякнули,
Не услышалъ бы свекоръ-батюшка,
Не сказалъ бы своему сыну,
Своему сыну, моему мужу!

Пашенька посмотрѣла на боярыню. Двѣ слезы катились изъ очей ея.

— Ахъ, я глупенькая! — сказала Пашенька:—чего я надѣлала! Вотъ на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такія пѣсни набиваться!

— Охота-жъ тебѣ и знать ихъ!—подхватила Дуняша, быстроглазая дѣвушка съ черными бровями.—Вотъ я такъ спою пѣсню, не твоей чета! Смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочивъ на ноги, Дуняша уперла одну руку въ бокъ, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запѣла:

Пантелей государь ходитъ по двору,
Кузьмичъ гуляетъ по широкому,
Кунья на немъ шуба до земли,
Соболья на немъ шапка до верху,
Божья на немъ милость до вѣку.
Сужена-то смотритъ изъ-подъ пологу,
Бояре-то смотрятъ изъ города,
Боярыни-то смотрятъ изъ терема.
Бояре-то молвятъ: чей-то такой?
Боярыни молвятъ: чей-то господинъ?
А сужена молвитъ: мой дорогой!

Кончила Дуняша и сама засмѣялась. Но Еленѣ стало еще грустнѣе. Она крѣпилась-крѣпилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вотъ тебѣ и пѣсня!—сказала Пашенька.—Что намъ теперь дѣлать? Увидитъ Дружина Андреичъ заплаканные глазки боярыни, на насъ же осердится: не умѣете вы, дескать, глупыя, и занять ее!

— Дѣвушки, душечки! — сказала вдругъ Елена, бросаясь на шею къ Пашенькѣ:—пособите порыдать, помогите поплакать!

— Да что съ тобой сталось, боярыня? Съ чего ты вдругъ раскручинилась?

— Не вдругъ, дѣвушки! Мнѣ съ самаго утра грустно.

Какъ начали къ заутренѣ звонить, да увидѣла я изъ свѣтлицы, какъ народъ Божій весело спѣшитъ въ церковь, такъ, дѣвушки, мнѣ стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тутъ еще день выпалъ такой свѣтлый, такой солнечный, да еще всѣ эти уборы, что̀ вы на меня надѣли... Скиньте съ меня запястья, дѣвушки, скиньте кокошникъ, заплетите мнѣ косу по-вашему, по-дѣвичьи!

— Что̀ ты, боярыня, грѣхъ какой! Заплесть тебѣ косу по-дѣвичьи! Боже сохрани! Да неравно узна̀етъ Дружина Андреичъ!

— Не узна̀етъ, дѣвушки! Я опять кокошникъ надѣну!

— Нѣтъ, боярыня, грѣшно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмемъ!

«Неужели,—подумала Елена:—грѣшно и вспоминать о прошломъ!»

— Такъ и быть,—сказала она:—не сниму кокошникъ, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебѣ заплету косу, какъ, бывало, мнѣ заплетали.

Пашенька, краснѣя отъ удовольствія, стала на колѣни передъ боярыней. Елена распустила ей волосы, раздѣлила ихъ на равныя дѣлянки и начала заплетать широкую русую косу въ девяносто прядей. Много требовалось на то умѣнья. Надо было плесть какъ можно слабѣе, чтобы коса, подобно рѣшеткѣ, закрывала весь затылокъ и потомъ падала вдоль спины, суживаясь непримѣтно. Елена прилежно принялась за дѣло. Перекладывая пряди, она искусно перевивала ихъ жемчужными нитками.

Наконецъ коса поспѣла. Боярыня ввязала въ кончикъ треугольный косникъ и насадила на него дорогіе перстни.

— Готово, Пашенька,—сказала она, радуясь своей работѣ:—встань-ка, да пройдись передо мною. Ну, смотрите, дѣвушки, не правда ли, эта коса красивѣе кокошника!

— Все въ свою пору, боярыня,—отвѣчали, смѣясь, дѣвушки:—а вотъ Дуняша не прочь бы и отъ кокошника!

— Полноте вы, пересмѣшницы!—отвѣчала Дуняша.—Мнѣ бы хотя вѣкъ косы не расплетать! А вотъ знаю я такихъ, что̀ глазъ не сводятъ съ боярскаго ключника!

Дѣвушки залились звонкимъ смѣхомъ, а иныя смѣшались и покраснѣли. Видно, ключникъ былъ въ самомъ дѣлѣ молодецъ.

— Нагнись, Пашенька, — сказала боярыня: — я тебѣ повяжу еще ленту съ поднизями... Дѣвушки, да вѣдь сегодня Ивана-Купала, сегодня и русалки косы заплетаютъ!

— Не сегодня, боярыня, а въ Семикъ и Троицынъ день заплетаютъ русалки косы. На Ивана-Купала онѣ бѣгаютъ съ распущенными волосами и отманиваютъ людей отъ папортника, чтобы кто не сорвалъ его цвѣта.

— Богъ съ ними, — сказала Пашенька: — мало ли что̀ бываетъ въ Ивановъ день, не приведи Богъ увидѣть!

— А ты боишься русалокъ, Пашенька?

— Какъ ихъ не бояться! Сегодня и въ лѣсъ ходить страшно, все равно, что въ Троицынъ день или на русальную недѣлю. Дѣвушку защекочутъ, молодца любовью изсушатъ!

— Говоришь, а сама не знаешь!—перебила ее другая дѣвушка.—Какія подъ Москвой русалки! Здѣсь ихъ нѣтъ и заводу. Вотъ на Украйнѣ, тамъ другое дѣло: тамъ русалокъ гибель. Сказываютъ, не одного добраго молодца съ ума свели. Сто̀итъ только разъ увидѣть русалку, такъ до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый—бросишь жену и дѣтей, коли холостой—забудешь свою лапушку.

Елена задумалась.

— Дѣвушки,—сказала она, помолчавъ:—что̀, въ Литвѣ есть русалки?

— Тамъ-то ихъ самая родина; что̀ на Украйнѣ, что̀ въ Литвѣ—то все одно...

Елена вздохнула. Въ эту минуту послышался конскій топотъ, и бѣлая шапка Серебрянаго показалась надъ частоколомъ.

Увидя мужчину, Елена хотѣла скрыться, но, бросивъ еще взглядъ на всадника, она вдругъ стала какъ вкопанная. Князь также остановилъ коня. Онъ не вѣрилъ глазамъ своимъ. Тысяча мыслей въ одно мгновеніе втѣснились въ его голову, одна другой противорѣча. Онъ видѣлъ предъ собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую онъ любилъ и которая клялась ему въ любви пять лѣтъ тому назадъ. Но какимъ случаемъ она попала въ садъ къ боярину Морозову?

Тутъ только Никита Романовичъ замѣтилъ на головѣ Елены жемчужный кокошникъ и поблѣднѣлъ.

Она была замужемъ!

«Брежу ли я?—подумалъ онъ, вперивъ въ нее неподвижный, какъ будто испуганный взглядъ.—Во снѣ ли это вижу?»

— Дѣвушки!—упрашивала Елена:—отойдите, я позову васъ,—отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, Боже мой! Пресвятая Богородица! Что мнѣ дѣлать? Что сказать мнѣ?

Серебряный между тѣмъ оправился.

— Елена Дмитріевна,—произнесъ онъ рѣшительно:—отвѣчай мнѣ единымъ словомъ: ты замужемъ? Это не обманъ? Не шутка? Ты точно замужемъ?

Елена въ отчаяніи искала словъ и не находила ихъ.

— Отвѣчай мнѣ, Елена Дмитріевна, не морочь меня долѣе, теперь не святки!

— Выслушай меня, Никита Романычъ, — прошептала Елена.

Князь задрожалъ.

— Нечего мнѣ слушать,—сказалъ онъ:—я все понялъ. Не трать рѣчей понапрасну; прости, боярыня!

И онъ рванулъ коня назадъ.

— Никита Романычъ!—вскричала Елена:—молю тебя Христомъ и Пречистою Его Матерью, выслушай меня! Убей меня послѣ, но сперва выслушай!

Она не въ силахъ была продолжать; голосъ ея замеръ; колѣни опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющія руки къ Серебряному.

Судорога пробѣгала по всѣмъ членамъ князя, но жалость зашевелилась въ его сердцѣ. Онъ остановился.

Елена, задыхаясь отъ слезъ, стала разсказывать, какъ преслѣдовалъ ее Вяземскій, какъ наконецъ царь взялся ее сосватать за своего любимца, и какъ она въ отчаяніи отдалась старому Морозову. Прерывая разсказъ свой рыданіями, она винилась въ невольной измѣнѣ, говорила, что должна бы скорѣе наложить на себя руки, чѣмъ выйти за другого, и проклинала свое малодушіе.

— Ты не можешь меня любить, князь,—говорила она:—не написано тебѣ любить меня! Но обѣщай мнѣ, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня въ великой винѣ моей!

Князь слушалъ, нахмуря брови, но не отвѣчалъ ничего.

— Никита Романычъ,—прошептала Елена боязливо:—ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожиданія, и вся душа ея обратилась въ краснорѣчивый умоляющій взоръ.

Сильная борьба происходила въ Серебряномъ.

— Боярыня,—сказалъ онъ наконецъ, и голосъ его дрожалъ:—видно, на то была воля Божія... и ты не такъ виновата... да, ты не виновата... нѣ за что прощать тебя, Елена Дмитріевна, я не кляну тебя,—нѣтъ,—видитъ Богъ, не кляну—видитъ Богъ, я... я попрежнему люблю тебя!

Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась къ частоколу.

Въ тотъ же мигъ князь поднялся на стременахъ и схватился за колья ограды. Елена, съ другой стороны, уже стояла на скамьѣ. Безъ размышленія, безъ самосознанія, они бросились другъ къ другу, и уста ихъ соединились.

Поцѣловала Елена Дмитріевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа стараго! Забыла клятву, что̀ дала передъ Господомъ! Какъ покажется она теперь Дружинѣ Андреичу? Догадается онъ обо всемъ по глазамъ ея. И не таковъ онъ мужъ, чтобъ простилъ ее! Не дорога̀ жизнь бояринѣ, дорога̀ ему честь его! Убьетъ онъ, старый, убьетъ и жену и Никиту Романыча!

ГЛАВА VI.

Пріемъ.

Морозовъ зналъ князя еще ребенкомъ, но они давно потеряли другъ друга изъ виду. Когда Серебряный отправился въ Литву, Морозовъ воеводствовалъ гдѣ-то далеко; они не видались болѣе десяти лѣтъ, но Дружина Андреевичъ мало перемѣнился, онъ былъ бодръ попрежнему, и князь съ перваго взгляда вездѣ бы узналъ его, ибо старый боярinъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которыхъ личность глубоко врѣзывается въ памяти. Одинъ ростъ и дородность его уже привлекали вниманіе. Онъ былъ цѣлою головой выше Серебрянаго. Темно-русые волосы, съ сильною просѣдью, падали въ безпорядкѣ на умный лобъ его, разсѣченный нѣсколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсѣмъ сѣдая, покрывала половину груди. Изъ-подъ темныхъ навислыхъ бровей сверкалъ проницательный взглядъ, а вокругъ устъ играла привѣтливая улыбка, сквозь которую просвѣчивало то, что̀ въ просторѣчіи называется: себѣ на умѣ. Въ его пріемахъ, въ осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и увѣренность въ самомъ себѣ. Глядя на него, всякій сказалъ бы: хорошо быть въ ладу съ этимъ человѣкомъ! И вмѣ-

стѣ съ тѣмъ всякій подумалъ бы: нехорошо съ нимъ поссориться! Дѣйствительно, всматриваясь въ черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его можетъ въ минуту гнѣва сдѣлаться страшнымъ. Но привѣтливая улыбка и открытое, неподдѣльное радушіе скоро изглаживали это впечатлѣніе.

— Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать!—сказалъ Морозовъ, вводя Серебрянаго въ большую брусяную избу, съ изразцовой лежанкой, съ длинными дубовыми лавками, съ драгоцѣннымъ оружіемъ на стѣнахъ и со множествомъ золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широкихъ полкахъ.

— Здравствуй, здравствуй, князь! Вотъ какого гостя мнѣ Богъ подарилъ! А вѣдь помню я тебя, Никитушка, еще маленькаго! Охъ, удалъ же ты былъ, нечего сказать! Какъ, бывало, начнутъ ребята въ городки играть, бѣда той сторонѣ, что̀ супротивъ тебя! Разлетишься словно соколъ ясный, да какъ расходится въ тебѣ кровь молодая, такъ, бывало, разозлишься, словно медвѣжонокъ,—прости, Никита Романычъ, грубое слово! Такъ и начнешь валять,—кого направо, кого налѣво,—смотрѣть даже весело! Ну да и вышелъ же молодецъ изъ тебя, князь! Слыхалъ я про дѣла твои въ Литовской землѣ! Каталъ же ты ихъ, супостатовъ, какъ прежде ребятъ каталъ!

И Морозовъ весело улыбался, и львиное лицо его сіяло радушіемъ.

— А помнишь ли, Никитушка,—продолжалъ онъ, обнявъ князя одной рукой за плечи:—помнишь ли, какъ ты ни въ какой игрѣ обмана не терпѣлъ? Бороться ли съ кѣмъ начнешь, али на кулачкахъ биться, скорѣй дашь себя на землю свалить, чѣмъ подъ-ножку подставишь или что̀ противъ уговора сдѣлаешь. Все, бывало, снесешь, а ужъ лукавства ни себѣ ни другимъ не позволишь!

Князю сдѣлалось неловко въ присутствіи Морозова.

— Бояринъ,—сказалъ онъ:—вотъ грамота къ тебѣ отъ князя Пронскаго.

— Спасибо, князь. Послѣ прочту: время терпитъ; теперь дай угостить тебя! Да гдѣ же Елена Дмитріевна? Эй, кто тамъ! Скажите женѣ, что у насъ гость дорогой, князь Никита Романычъ Серебряный, чтобы сошла попотчевать!

Тихо и плавно вошла Елена съ подносомъ въ рукахъ. На подносѣ были кубки съ разными винами. Елена низко

поклонилась Серебряному, какъ будто въ первый разъ его видѣла. Она была какъ смерть блѣдна.

— Князь,—сказалъ Морозовъ:—это моя хозяйка, Елена Дмитріевна! Люби и жалуй ее. Вѣдь ты, Никита Романычъ, намъ почитай родной. Твой отецъ и я, мы были словно братья, такъ и жена моя тебѣ не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлѣбомъ-солью! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Вотъ романея, вотъ венгерское, вотъ медъ малиновый, сама хозяйка на ягодахъ сытила!

Морозовъ низко кланялся.

Князь отвѣчалъ обоимъ поклонами и осушилъ кубокъ.

Елена не взглянула на Серебрянаго. Длинныя рѣсницы ея были опущены. Она дрожала, и кубки на подносѣ звенѣли одинъ о другой.

— Что съ тобой, Елена?—сказалъ вдругъ Морозовъ:—ужъ не больна ли ты? Лицо твое словно снѣгъ побѣлѣло! Олёнушка,—прибавилъ онъ шопотомъ:—ужъ не опять ли проѣзжалъ Вяземскій? Такъ! должно-быть, этотъ окаянный проѣзжалъ мимо саду! Не кручинься, Елена. Въ томъ нѣтъ твоей вины. Безъ меня не ходи лучше въ садъ; да утѣшься, мое дитятко, я не дамъ тебя никому въ обиду! Улыбнись скорѣй, будь веселѣй, а то гость замѣтитъ!.. Извини, Никита Романычъ, извини, захлопотался, говорилъ вотъ женѣ, чтобы велѣла тебѣ кушать подать поскорѣе. Вѣдь ты не обѣдалъ, князь?

— Благодарю, бояринъ, обѣдалъ.

— Нужды нѣтъ, Никита Романычъ, еще разъ пообѣдаешь!.. Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, бояринъ, закуси чѣмъ Богъ послалъ, не обидь старика опальнаго! И безъ того мнѣ горя довольно!

Морозовъ указалъ на свои длинные волосы.

— Вижу, бояринъ, вижу и очамъ вѣры нейму! Ты подъ опалою! За что? Прости вопросъ нескромный.

Морозовъ вздохнулъ.

— За то, что держусь стараго обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новымъ людямъ!

При этихъ словахъ лицо его омрачилось, и глаза приняли суровое выраженіе.

Онъ разсказалъ о ссорѣ своей съ Годуновымъ, горько жалуясь на несправедливость царя.

— Многое, князь, многое стало на Москвѣ не такъ,

какъ было, съ тѣхъ поръ, какъ учинилъ государь на Руси опричнину!

— Да что̀ это за опричнина, бояринъ? Встрѣчалъ я опричниковъ, только въ толкъ не возьму!

— Прогнѣвили мы, видно, Бога, Никита Романычъ; помрачилъ Онъ свѣтлыя царскія очи! Какъ возложили клеветники измѣну на Сильвестра да на Адашева, какъ прогналъ ихъ отъ себя царь, прошли наши красные дни! Зачалъ вдругъ Иванъ Васильевичъ на насъ мнѣніе держать, на насъ, вѣрныхъ слугъ своихъ! Зачалъ толковать про измѣны, про заговоры, чего и въ мысль человѣку не вмѣстится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояръ, кто по-насердкѣ, кто чая себѣ милости, и ко всѣмъ сталъ онъ приклонять слухъ свой. У кого была какая вражда, тотъ и давай доводить на недруга, будто онъ слова про царя говорилъ, будто хана или короля подымаетъ. И въ томъ они, окаянные, не бояся страшнаго суда Божія, и крестъ на кривѣ цѣловали и руки въ письмахъ лживили! Много безвинныхъ людей вò̀жено въ темницы, Никита Романычъ, и съ очныхъ ставокъ пытано. Кто только хотѣлъ, тотъ и сказывалъ за собою государево слово. Прежде, бывало, коли кто донесъ на тебя, тотъ и очищай самъ свою улику; а теперь,— какая у него ни будь рознь въ словахъ,—берутъ тебя и пытаютъ по одной язычной молвкѣ! Трудное настало время, Никита Романычъ. Такой ужасъ отъ царя, какого искони еще не видано! Послѣ пытокъ пошли казни! И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, можетъ, слыхалъ про это?

— Слыхалъ, бояринъ, но глухо. Нескоро вѣсти доходятъ до Литвы. Впрочемъ, чему дивиться? Царь воленъ казнить своихъ злодѣевъ.

— Кто противъ этого, князь! На то онъ царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодѣевъ казнили, а все вѣрныхъ слугъ государевыхъ: окольничаго Адашева (Алексѣева брата) съ малолѣтнимъ сыномъ; трехъ Сатиныхъ; Ивана Шишкина съ женою да съ дѣтьми, да еще многихъ другихъ безвинныхъ.

Негодованіе выразилось на лицѣ Серебрянаго.

— Бояринъ, въ этомъ, знать, не царь виновенъ, а наушники его!

— Охъ, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по однимъ навѣтамъ наушническимъ сталъ царь проливать кровь неповинную. Вотъ хоть бы Басмановъ, но-

вый кравчій царскій, билъ челомъ государю на князя Оболенскаго-Овчину въ какомъ-то непригожемъ словѣ. Что-жъ сдѣлалъ царь? За обѣдомъ своею рукою вонзилъ князю ножъ въ сердце!

— Бояринъ! — вскричалъ Серебряный, вскакивая съ мѣста:—если бы мнѣ кто другой сказалъ это, я назвалъ бы его клеветникомъ! Я бы самъ наложилъ руки на него!

— Никита Романычъ, старъ я клеветать. И на кого же? На государя моего!

— Прости, бояринъ. Но что же думать о такой перемѣнѣ? Ужъ не обошли ли царя?

— Должно-быть, князь. Но садись, слушай далѣе. Въ другой разъ Иванъ Васильевичъ, упившись, началъ (и подумать страмно!) съ своими любимцами въ личинахъ плясать. Тутъ былъ бояринъ князь Михайло Репнинъ. Онъ заплакалъ съ горести. Царь давай и на него личину надѣвать. «Нѣтъ! — сказалъ Репнинъ: — не бывать тому, чтобъ я посрамилъ санъ свой боярскій!» и растопталъ личину ногами. Дней пять спустя, убитъ онъ по царскому указу во храмѣ Божіемъ.

— Бояринъ! Это Богъ насъ караетъ!

— Да будетъ же надъ нами Его святая воля, князь. Но слушай далѣе. Казнямъ не было конца. Что день, то кровь текла и на лобномъ мѣстѣ, и въ тюрьмахъ, и въ монастыряхъ. Что день, то хватали боярскихъ холопей и возили въ застѣнокъ. Многіе винились съ огня и говорили со страху на бояръ своихъ. Тѣ же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояръ, тѣхъ самихъ предавали смерти. Многіе потерпѣли въ правдѣ, многіе пріяли вѣнецъ мученическій, Никита Романычъ! Временемъ царь какъ будто приходилъ въ себя, и каялся, и молился, и плакалъ, и самъ назывался смертнымъ убійцею и сыроядцемъ. Разсылалъ вклады въ разные монастыри и приказывалъ панихиды по убитымъ. Каялся Иванъ Васильевичъ, но недолго, и что же придумалъ? Слушай, князь. Просыпаюсь я разъ утромъ, вижу великое смятенье. Разсыпался народъ по улицамъ: кто бѣжитъ къ Кремлю, кто отъ Кремля. Всѣ голосятъ: «уѣзжаетъ государь невѣдомо куда!» Такъ меня холодомъ и обдало! Надѣваю платье, сажусь на-конь; со всѣхъ мѣстъ бояре спѣшатъ ко Кремлю, кто верхомъ, кто самъ о себѣ, словно простой человѣкъ, даже никто о чести своей не думаетъ! Добрались до Иверскихъ воротъ, видимъ—ратники вы-

ѣзжаютъ; народъ передъ ними такъ и раздается. За ратниками сани, въ нихъ царь съ царицею и съ царевичемъ. За царскими санями многое множество саней, а въ нихъ всѣ пожитки, вся казна, весь обиходъ царскій; за санями окольничьи и дворяне, и приказные, и воинскіе, и всякихъ чиновъ люди—всѣ выѣзжаютъ изъ Кремля. Бросились мы было къ царскимъ санямъ, да не допустили насъ ратники, говорятъ: не велѣлъ государь! И потянулся поѣздъ вдоль по Москвѣ, и выѣхалъ за посады.

Воротились мы въ домы и долго ждали, не передумаетъ ли царь, не вернется ли? Проходитъ недѣля, получаетъ высокопреосвященный грамоту: пишетъ государь, что я-де отъ великой жалости сердца, не хотя вашихъ измѣнныхъ дѣлъ терпѣть, оставляю мои государства и ѣду-де, куда Богъ укажетъ путь мнѣ! Какъ пронеслася эта вѣсть, зачался вопль на Москвѣ: бросилъ насъ батюшка-царь! Кто теперь будетъ надъ нами государить?

Нечего правды таить, грозенъ былъ Иванъ Васильевичъ, да вѣдь самъ Богъ поставилъ его надъ нами, и, видно, по Божьей волѣ, для очищенія грѣховъ нашихъ, каралъ онъ насъ. Собралися мы въ думѣ и порѣшили ѣхать всѣ съ своими головами за государемъ, бить ему челомъ и плакаться. Узнали мы, что остановился царь въ Александровой слободѣ, а будетъ та слобода отсюда за восемьдесятъ слишкомъ верстъ. Помолившися Богу, поѣхали. Какъ завидѣли издали слободу, остановились, еще разъ помолились: страшно стало: не то страшно, что прикажетъ царь смерти предать, а то, что не допуститъ предъ свои очи. Только ничего не случилось. Допустилъ насъ царь. Какъ вошли мы, такъ, вѣришь ли, бояринъ, не узнали Ивана Васильевича! И лицо-то будто не его; и волосы и борода почитай совсѣмъ вылѣзли. Что съ нимъ сталось? И царь и не царь! Долго говорилъ онъ съ нами: корилъ насъ въ небывалыхъ измѣнахъ, высчитывалъ намъ наши вины, которыхъ мы не вѣдали за собою, и наконецъ сказалъ, что я-де только по упросу богомольцевъ моихъ, епископовъ, беру паки мои государства, но и то на уговорѣ. Пожаловалъ насъ къ рукѣ и отпустилъ.

— А какой же уговоръ онъ прочилъ себѣ?—спросилъ Серебряный.

— А вотъ увидишь, князь; слушай: прошло недѣли три, прибылъ Иванъ Васильевичъ на Москву. Настала радость великая, такая радость, что и въ Свѣтлое Хри-

стово воскресенье не бываетъ такой. Вотъ созвалъ онъ въ думу и насъ и духовенство. А когда собралися мы, объявилъ намъ, что я-де съ тѣмъ только принимаю государство, чтобы казнить моихъ злодѣевъ, класть мою опалу на измѣнниковъ, имать ихъ остатки и животы, и чтобы ни отъ митрополита ни отъ властей не было мнѣ бездѣльной докуки о милости. Беру-де себѣ, говоритъ, опасную стражу и беру на свой особный обиходъ разные города и пригородки и на самой Москвѣ разныя улицы. И тѣ города и улицы и свою особную стражу называю, говоритъ, опричниной, а все достальное—то земщина. А боярамъ-де и митрополиту со властьми въ мой домовый особный обиходъ не вступаться. И на томъ, говоритъ, беру мои государства!—Съ этого дня началъ онъ новыхъ людей набирать, да все такихъ, чтобы не были знатнаго роду, да чтобы цѣловали крестъ не вести хлѣба-соли съ боярами. Отдалъ имъ всю землю, всѣ домы и все добро, что̀ отрѣзалъ на свой обиходъ; а старыхъ вотчинниковъ, тысячъ примѣтно съ двѣнадцать, выгналъ изъ опричнины словно животину. Право, Никита Романычъ, вѣдь своими глазами видѣлъ, а доселѣ не вѣрится! Ѣздятъ теперь по святой Руси ихъ дьявольскіе, кровоядные полки съ метлами да съ песьими головами; топчутъ правду, выметаютъ не измѣну, но честь русскую; грызутъ не враговъ государевыхъ, а вѣрныхъ слугъ его, и нѣтъ на нихъ нигдѣ ни суда ни расправы!

— Да зачѣмъ же вы согласились на этотъ уговоръ?— замѣтилъ Серебряный.

— Что̀ ты, князь? Развѣ царю можно указывать? Развѣ онъ не отъ Бога?

— Вѣстимо, отъ Бога. Да вѣдь онъ самъ же спрашивалъ васъ? Зачѣмъ вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

— А кабы онъ опять уѣхалъ? Что̀ бы тогда? Безъ государя было оставаться, что ли? А народъ что̀ бы сказалъ?

Серебряный задумался.

— Такъ, — проговорилъ онъ, немного помолчавъ:— нельзя было быть безъ государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачѣмъ не скажете ему, что отъ опричнины вся земля гибнетъ? Зачѣмъ смотрите на все да молчите?

— Я-то, князь, не молчу,—отвѣчалъ Морозовъ съ достоинствомъ.—Я никогда не таилъ моей мысли; оттого-то

я теперь и подъ опалой. Позови меня царь къ себѣ, я не стану молчать, только онъ не позоветъ меня. Нашихъ теперь ужъ нѣтъ у него въ приближеніи. Посмотри-ка, кѣмъ окружилъ онъ себя? Какіе древніе роды около него? Нѣтъ древнихъ родовъ! Все подлые страдники, которыхъ отцы нашимъ отцамъ въ холопство-бъ не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отецъ и сынъ—ужъ не знаю, который будетъ гнуснѣе; Малюта Скуратовъ — невѣсть мясникъ, невѣсть звѣрь какой, вѣчно кровью обрызганъ; Васька Грязной—ему всякое студное дѣло ни по чемъ! Борисъ Годуновъ—этотъ и отца и мать продастъ, да еще и дѣтей дастъ въ придачу, лишь бы повыше взобраться; всадитъ тебѣ ножъ въ горло, да еще и поклонится. Одинъ только и есть тамъ высокаго роду—князь Аѳанасій Вяземскій. Опозорилъ онъ и себя и насъ всѣхъ, окаянный! Ну да что про него!

Морозовъ махнулъ рукой. Другія мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался онъ о страшной перемѣнѣ въ царѣ и забылъ на время объ отношеніяхъ, въ которыя судьба поставила его къ Морозову.

Между тѣмъ слуги накрыли на столъ.

Несмотря ни на какія отговорки, Дружина Андреевичъ принудилъ своего гостя отвѣдать многочисленныхъ блюдъ: студеней разнаго рода, жаркихъ, похлебокъ, кулебякъ и буженины. А когда поставили передъ ними разные напитки, Морозовъ налилъ себѣ и князю по стопѣ малвазіи, всталъ изъ-за стола, откинулъ назадъ свои опальные волосы и сказалъ, поднявъ высоко стопу:

— Во здравіе великаго государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвѣти его Богъ! Открой ему очи!—отвѣчалъ Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговорѣ бояръ.

Многое еще разсказывалъ Морозовъ про дѣла государственныя, про нападенія крымцевъ на рязанскія земли, разспрашивалъ Серебрянаго о литовской войнѣ и горько осуждалъ Курбскаго за бѣгство его къ королю. Князь отвѣчалъ подробно на всѣ вопросы и наконецъ разсказалъ про схватку свою съ опричниками въ деревнѣ Медвѣдевкѣ, про ссору съ ними въ Москвѣ и про встрѣчу съ юродивымъ, не рѣшившись, впрочемъ, упомянуть о темныхъ словахъ послѣдняго.

Морозовъ выслушалъ его съ большимъ вниманіемъ.

— Плохо, князь,—сказалъ онъ, почесывая крутой лобъ свой:—больно плохо. Что они грабежъ въ той деревнѣ чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя, а которая вотчина опальнаго боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дѣло знамое: что̀ можно взять—берутъ, чего же не поднимутъ, то огнемъ палятъ; рогатый животъ на̀-смертъ колютъ. Это теперь ихъ обычай. А юродиваго-то я знаю. Онъ подлинно Божій человѣкъ. Не тебя одного онъ при первой встрѣчѣ по имени назвалъ; онъ всякаго словно насквозь видитъ. Его и царь боится. Сколько разъ онъ Ивана Васильевича въ глаза уличалъ. Побольше бы такихъ святыхъ людей, такъ, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь,—продолжалъ Морозовъ:—когда хотѣлъ ты здравствовать государю?

— Завтра, чѣмъ свѣтъ, какъ выйдетъ его милость изъ опочивальни.

— Что̀ ты, князь? Теперь ужъ смерклось, а тебѣ слишкомъ сто верстъ ѣхать!

— Какъ? Развѣ царь не въ Кремлѣ?

— Нѣтъ, князь, не въ Кремлѣ. Прогнѣвили мы Господа, бросилъ насъ государь, воротился въ Александрову слободу, живетъ тамъ со своими поплечниками, не было-бъ имъ ни дна ни покрышки.

— Коли такъ, то прости, бояринъ, надо спѣшить. Я еще и дома не былъ. Осмотрюсь немного, а завтра чѣмъ свѣтъ отправлюсь въ слободу.

— Не ѣзди, князь!

— Отчего, бояринъ?

— Не снести тебѣ головы, Никита Романычъ.

— На то Божья воля, бояринъ; что̀ будетъ, то̀ будетъ!

— Послушай, Никита Романычъ. Вѣдь ты меня забылъ, а я помню тебя еще маленькаго. Отецъ твой покойный жилъ со мной рука въ руку, душа въ душу. Умеръ онъ, царствіе ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебѣ совѣта подать, а не завидна твоя доля, видитъ Богъ—не завидна! Коли поѣдешь въ слободу, пропалъ ты, князь, съ головою пропалъ.

— Что-жъ, бояринъ, видно, мнѣ такъ на роду написано!

— Никитушка, останься; я тебя схороню. Никто тебя не сыщетъ; холопи мои тебя не выдадутъ; ты будешь у меня въ домѣ какъ сынъ родной!

— Бояринъ, вспомни, что̀ ты самъ говорилъ про Курб-

скаго. Не честно русскому боярину прятаться отъ царя своего.

— Никита Романычъ, Курбскій—измѣнникъ. Онъ ушелъ ко врагу государеву; а я кто же? Развѣ я врагъ государевъ?

— Прости, бояринъ, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

— Кабы ты, Никитушка, остался у меня, можетъ, и простылъ бы гнѣвъ царскій, можетъ, мы съ высокопреосвященнымъ и уладили-бъ твое дѣло, а теперь ты попадешь какъ смола на уголья!

— Жизнь наша въ рукѣ Божіей, бояринъ. Непригоже стараться продлить ее хитростью болѣ, чѣмъ Богу угодно. Спасибо за хлѣбъ-соль, — прибавилъ Серебряный, вставая:—спасибо за дружбу (при этихъ словахъ онъ невольно смутился), но я поѣду. Прости, Дружина Андреичъ!

Морозовъ посмотрѣлъ на князя съ грустнымъ участіемъ, но видно было, что внутри души своей онъ его одобряетъ и что самъ не поступилъ бы иначе, если бы былъ на его мѣстѣ.

— Да будетъ же надъ тобою благословеніе Божіе, Никита Романычъ!—сказалъ онъ, поднимаясь со скамьи и обнимая князя:—да умягчитъ Господь сердце царское! Да вернешься ты невредимъ изъ слободы, какъ отрокъ изъ пещи пламенной, и да обниму тебя тогда, какъ теперь обнимаю, отъ всего сердца, отъ всей души!

Пословица говорится: пѣшаго до воротъ, коннаго до коня провожаютъ. Князь и бояринъ разстались на порогѣ сѣней. Было уже темно. Проѣзжая вдоль частокола, Серебряный увидѣлъ въ саду бѣлое платье. Сердце его забилось. Онъ остановилъ коня. Къ частоколу подошла Елена.

— Князь,—сказала она шопотомъ:—я слышала твой разговоръ съ Дружиной Андреичемъ, ты ѣдешь въ слободу... Боже сохрани тебя, князь, — ты ѣдешь на смерть!

— Елена Дмитріевна! Видно, такъ угодно Господу, чтобы пріялъ я смерть отъ царя. Не на радость вернулся я на родину, не судилъ мнѣ Господь счастья, не мнѣ ты досталась, Елена Дмитріевна! Пусть же надо мной воля Божія!

— Князь, они тебя замучатъ! Мнѣ страшно подумать!.. Боже мой, ужели жизнь тебѣ вовсе постыла?

— Пропадай она! — сказалъ Серебряный и махнулъ рукой.

— Пресвятая Богородица! Коли ты себя не жалѣешь, пожалѣй хоть другихъ! Пожалѣй хоть меня, Никита Романычъ! Вспомни, какъ ты любилъ меня!

Мѣсяцъ вышелъ изъ-за облака. Лицо Елены, ея жемчужный кокошникъ, ожерелье и алмазныя серьги, ея глаза, полные слезъ, озарились чудеснымъ блескомъ. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ея печаль въ безпредѣльную радость. Она забыла о мужѣ, забыла всю осторожность. Серебряный прочелъ въ ея глазахъ такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навѣки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебрянаго. Для чего бы ему не остаться, не отложить поѣздки въ слободу? Не самъ ли Морозовъ его упрашивалъ?

Такъ мыслилъ князь, и очаровательныя картины рисовались въ его воображеніи, но чувство чести, на мигъ уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нѣтъ,—подумалъ онъ:—да будетъ мнѣ стыдно, если я хотя мыслію оскорблю друга моего отца! Одинъ безчестный платитъ за хлѣбъ-соль обманомъ, одинъ трусъ бѣжитъ отъ смерти!»

— Мнѣ нельзя не ѣхать,—сказалъ онъ рѣшительно.— Не могу хорониться одинъ отъ царя моего, когда лучшіе люди гибнутъ. Прости, Елена!

Слова эти какъ ножъ вонзились въ сердце боярыни. Она въ отчаяніи ударилась о-земь.

— Разступись же подо мной, мать сыра земля!—простонала она:—не жилица я на бѣломъ свѣтѣ. Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романычъ! Я люблю тебя болѣ жизни, болѣ свѣту Божьяго! Я никого кромѣ тебя не люблю и любить не буду!

Сердце Серебрянаго надрывалось. Онъ хотѣлъ утѣшить Елену, но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотрѣть князя и донести боярину. Серебряный это понялъ и, чтобы спасти Елену, рѣшился отъ нея оторваться.

— Елена, прости!—сказалъ онъ:—прости, душа, радость дней моихъ! Уйми свои слезы! Богъ милостивъ, авось мы еще увидимся!

Облака задернули мѣсяцъ, вѣтеръ потрясъ вершины

липъ, и благовоннымъ дождемъ посыпались цвѣты на князя и на Елену. Закачалися старыя вѣтви, будто желая сказать: на кого намъ цвѣсти, на кого зеленѣть! Пропадетъ даромъ добрый молодецъ, пропадетъ и его полюбовница!

Оглянувшись послѣдній разъ на Елену, Серебряный увидѣлъ за нею, въ глубинѣ сада, темный человѣческій образъ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходилъ по саду, или ужъ не былъ ли то самъ бояринъ Дружина Андреевичъ?

ГЛАВА VII.

Александрова слобода.

Дорога отъ Москвы до Троицкой лавры, а отъ лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Безпрестанно скакали по ней царскіе гонцы; толпы людей всѣхъ сословій шли пѣшкомъ на богомолье; отряды опричниковъ спѣшили взадъ и впередъ; сокольники отправлялись изъ слободы въ разныя деревни за живыми голубями; купцы тащились съ товарами, сидя на возахъ или провожая верхомъ длинные обозы. Проходили толпы скомороховъ съ гудками, волынками и балалайками. Они были одѣты пестро, вели съ собой ручныхъ медвѣдей, пѣли пѣсни или просили у богатыхъ проѣзжихъ.

— Пожалѣйте, государи, насъ!—говорили они на всѣ голоса:—вамъ Господь далъ и вотчины и всякое достояніе, а намъ указалъ питаться вашею подачей, такъ не оставьте насъ, скудныхъ людей, государи!

— Отцы наши, батюшки!—пѣли иные протяжно, сидя у самой дороги:—дай вамъ Господи доброе здоровье! Донеси васъ Богъ до Сергія-Троицы!

Другіе прибавляли къ этимъ словамъ разныя прибаутки, такъ что иной проѣзжій въ награду за веселое слово бросалъ имъ цѣлый кораблennикъ.

Нерѣдко у скомороховъ случались драки съ толпами оборванныхъ нищихъ, которые изъ городовъ и монастырей спѣшили въ слободу поживиться царской милостыней

Проходили также слѣпые гусляры и сказочники съ гуслями на плечахъ и держась одинъ за другого.

Все это шумѣло, пѣло, ругалось. Лошади, люди, медвѣди—ржали, кричали, ревѣли. Дорога шла густымъ лѣсомъ. Несмотря на ея многолюдность, случалось иногда,

что вооруженные разбойники нападали на купцовъ и обирали ихъ дочиста.

Разбои въ окрестностяхъ Москвы особенно умножились съ тѣхъ поръ, какъ опричники вытѣснили цѣлыя села хлѣбопашцевъ, цѣлые посады мѣщанъ. Лишась жилищъ и хлѣба, люди эти пристали къ шайкамъ станичниковъ, укрѣпились въ засѣкахъ и, по множеству своему, сдѣлались не на шутку опасны. Опричники, поймавъ разбойниковъ, вѣшали ихъ безъ милосердія; зато и разбойники не оставались у нихъ въ долгу, когда случалось имъ поймать опричника. Впрочемъ, не одни разбойники грабили на дорогахъ. Скоморохи и нищіе, заставъ подъ вечеръ плохо оберегаемый обозъ, часто избавляли разбойниковъ отъ хлопотъ. Купцамъ было всего хуже. Ихъ грабили и разбойники, и скоморохи, и нищіе, и пьяные опричники. Но они утѣшались пословицей, что накладъ съ барышомъ уголъ объ уголъ живутъ, и не переставали ѣздить въ слободу, говоря: «Богъ милостивъ, авось доѣдемъ». И неизвѣстно, какъ оно случалось, но только на повѣрку всегда выходило, что купцы оставались въ барышахъ.

Въ Троицкой лаврѣ Серебряный исповѣдался и причастился. То же сдѣлали его холопи. Архимандритъ, прощаясь съ Никитой Романовичемъ, благословилъ его, какъ идущаго на вѣрную смерть.

Верстахъ въ трехъ отъ слободы стояла на заставѣ воинская стража и останавливала проѣзжихъ, спрашивая каждаго: кто онъ и зачѣмъ ѣдетъ въ неволю? Этимъ прозваніемъ народъ, въ насмѣшку, замѣнилъ слово: «слобода», значившее въ прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный допросъ о цѣли ихъ пріѣзда. Потомъ начальный человѣкъ стобралъ отъ нихъ оружіе, и четыре опричника сѣли на-конь проводить пріѣзжихъ. Вскорѣ показались вдали крашеныя главы и причудливыя, золоченыя крыши царскаго дворца. Вотъ что говоритъ объ этомъ дворцѣ нашъ историкъ, по свидѣтельству чужеземныхъ современниковъ Іоанна:

«Въ семъ грозно-увеселительномъ жилищѣ Іоаннъ посвящалъ бо́льшую часть времени церковной службѣ, чтобы непрестанною дѣятельностью успокоить душу. Онъ хотѣлъ даже обратить дворецъ въ монастырь, а любимцевъ своихъ въ иноковъ: выбралъ изъ опричниковъ 300 человѣкъ, самыхъ злѣйшихъ, назвалъ ихъ братіею, себя игуменомъ, князя Аѳанасія Вяземскаго келаремъ, Малюту

Скуратова параклисіархомъ; далъ имъ тафьи, или скуфейки, и черныя рясы, подъ коими носили они богатые, золотомъ блестящіе кафтаны, съ собольей опушкою, сочинилъ для нихъ уставъ монашескій и служилъ примѣромъ въ исполненіи онаго. Такъ описываютъ сію монастырскую жизнь Іоаннову. Въ четвертомъ часу утра онъ ходилъ на колокольню съ царевичами и Малютою Скуратовымъ благовѣстить къ заутренѣ; братья спѣшили въ церковь; кто не являлся, того наказывали осьмидневнымъ заключеніемъ. Служба продолжалась до шести или семи часовъ. Царь пѣлъ, читалъ, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крѣпкихъ земныхъ поклоновъ. Въ восемь часовъ опять собирались къ обѣднѣ, а въ десять садились за братскую трапезу—всѣ, кромѣ Іоанна, который, стоя, читалъ вслухъ душеспасительныя наставленія. Между тѣмъ братія ѣли и пили досыта; всякій день казался праздникомъ: не жалѣли ни вина ни меду; остатокъ трапезы выносили изъ дворца на площадь для бѣдныхъ. Игуменъ, то-есть царь, обѣдалъ послѣ, бесѣдовалъ съ любимцами о законѣ, дремалъ или ѣхалъ въ темницу пытать какого-нибудь несчастнаго. Казалось, что сіе ужасное зрѣлище забавляло его; онъ возвращался съ видомъ сердечнаго удовольствія: шутилъ, говаривалъ тогда веселѣе обыкновеннаго. Въ восемь часовъ шли къ вечернѣ; въ десятомъ Іоаннъ уходилъ въ спальню, гдѣ трое слѣпыхъ разсказывали ему сказки; онъ слушалъ ихъ и засыпалъ, но не надолго: въ полночь вставалъ, и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему въ церкви о дѣлахъ государственныхъ; иногда самыя жестокія повелѣнія давалъ Іоаннъ во время заутрени или обѣдни. Единообразіе сей жизни онъ прерывалъ такъ-называемыми объѣздами; посѣщалъ монастыри, и ближніе и дальніе, осматривалъ крѣпости на границѣ, ловилъ дикихъ звѣрей въ лѣсахъ и пустыняхъ; любилъ въ особенности медвѣжью травлю; между тѣмъ вездѣ и всегда занимался дѣлами, ибо земскіе бояре, мнимо-уполномоченные правители государства, не смѣли ничего рѣшать безъ его воли!»

Въѣхавъ въ слободу, Серебряный увидѣлъ, что дворецъ или монастырь государевъ отдѣленъ отъ прочихъ зданій глубокимъ рвомъ и валомъ. Трудно описать великолѣпіе и разнообразіе этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни одинъ столбъ не равнялся съ другимъ узорами

или краской. Множество главъ вѣнчали зданіе. Онѣ тѣснились одна возлѣ другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цвѣтные изразцы, какъ блестящая чешуя, покрывали дворецъ съ верху до низу. Когда солнце его освѣщало, нельзя было издали догадаться, дворецъ ли это, или кустъ цвѣтовъ исполинскихъ, или то жаръ-птицы слетѣлись въ густую стаю и распустили на солнцѣ свои огненныя перья.

Недалеко отъ дворца стоялъ печатный дворъ съ принадлежащею къ нему словолитней, съ жилищемъ наборщиковъ и съ особымъ помѣщеніемъ для иностранныхъ мастеровъ, выписанныхъ Іоанномъ изъ Англіи и Германіи. Далѣе тянулись безконечныя дворцовыя службы, въ которыхъ жили ключники, подключники, сытники, повара, хлѣбники, конюхи, псари, сокольники и всякіе дворовые люди на всякій обиходъ.

Не малымъ богатствомъ сіяли слободскія церкви. Славный храмъ Богоматери покрытъ былъ снаружи яркою живописью, на каждомъ кирпичѣ блестѣлъ крестъ, и церковь казалась одѣтою въ золотую сѣтку.

Очаровательный видъ этотъ разогналъ на время черныя мысли, которыя не оставляли Серебрянаго во всю дорогу. Но вскорѣ непріятное зрѣлище напомнило князю его положеніе. Они проѣхали мимо нѣсколькихъ висѣлицъ, стоявшихъ одна подлѣ другой. Тутъ же были срубы съ плахами и готовыми топорами. Срубы и висѣлицы, окрашенные черною краской, были выстроены крѣпко и прочно: не на день, не на годъ, а на многія лѣта!

Какъ ни безстрашенъ бываетъ человѣкъ, онъ никогда не равнодушенъ къ мысли, что его ожидаетъ близкая смерть,—не славная смерть среди стука мечей или грома орудій, но темная и постыдная, отъ рукъ презрѣннаго палача. Видно, Серебряный, проѣзжая мимо мѣста казней, не умѣлъ подавить внутренняго волненія и оно невольно отразилось на впечатлительномъ лицѣ его: вожатые посмотрѣли на князя и усмѣхнулись.

— Это наши качели, бояринъ,—промолвилъ одинъ изъ нихъ, указывая на висѣлицы:—видно, онѣ приглянулись тебѣ, что ты съ нихъ глазъ не сводишь!

Михеичъ, ѣхавшій позади, не сказалъ ничего, но только посвистѣлъ и покачалъ головою.

Подъѣхавъ къ валу, князь и товарищи его спѣшились и привязали лошадей къ столбамъ, въ которые нарочно для

того были ввинчены кольца. Проѣзжіе вошли на огромный дворъ, наполненный нищими. Они громко молились, распѣвали псалмы и обнажали свои отвратительныя язвы. Царскій дворецкій, стоя на ступеняхъ крыльца, раздавалъ имъ отъ имени Іоанна яства и денежныя дачи. Время отъ времени по двору прохаживались опричники; другіе сидѣли на скамьяхъ и играли въ шахматы или въ зернь (такъ называли тогда игру въ кости). Иные, собравшись въ кружокъ, бросали свайку и громко смѣялись, когда проигравшій нѣсколько разъ сряду вытаскивалъ изъ земли глубоко всаженную рѣдьку. Одежда опричниковъ представляла разительную противоположность съ лохмотьями нищихъ: царскіе тѣлохранители блистали золотомъ. На каждомъ изъ нихъ была бархатная или парчевая тафья, усаженная жемчугомъ и дорогими каменьями, и всѣ они казались живыми украшеніями волшебнаго дворца, съ которымъ составляли какъ бы одно цѣлое.

Одинъ изъ опричниковъ особенно привлекъ вниманіе Серебрянаго. То былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, необыкновенной красоты, но съ непріятнымъ, наглымъ выраженіемъ лица. Одѣтъ онъ былъ богаче другихъ, носилъ, въ противность обычаю, длинные волосы, бороды не имѣлъ вовсе, а въ пріемахъ выказывалъ какую-то женоподобную небрежность. Обращеніе съ нимъ товарищей также было довольно странно. Они съ нимъ говорили какъ съ равнымъ и не оказывали ему особенной почтительности; но когда онъ подходилъ къ какому-нибудь кружку, то кружокъ раздвигался, а сидѣвшіе на лавкахъ вставали и уступали ему мѣсто. Казалось, его берегли, или, можетъ-быть, опасались. Увидя Серебрянаго и Михеича, онъ окинулъ ихъ надменнымъ взглядомъ, подозвалъ провожатыхъ и, казалось, освѣдомился объ имени пріѣзжихъ. Потомъ онъ прищурился на Серебрянаго, усмѣхнулся и шепнулъ что-то товарищамъ. Тѣ также усмѣхнулись и разошлись въ разныя стороны. Самъ онъ взошелъ на крыльцо и, облокотясь на перила, продолжалъ насмѣшливо глядѣть на Никиту Романовича. Вдругъ между нищими сдѣлалось волненіе. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его съ ногъ. Нищіе съ крикомъ бѣжали отъ дворца; ужасъ изображался на ихъ лицахъ. Князь удивился, но вскорѣ понялъ причину общаго испуга. Огромный медвѣдь скокомъ преслѣдовалъ нищихъ. Въ одно мгновеніе дворъ опустѣлъ, и князь остался одинъ, глазъ-на-

глазъ съ медвѣдемъ. Мысль о бѣгствѣ не пришла ему въ голову. Серебряный не разъ ходилъ на медвѣдя одинъ-на-одинъ. Эта охота была его забавой. Онъ остановился, и въ то мгновеніе, какъ медвѣдь, прижавъ уши къ затылку, подвалился къ нему, загребая его лапами, князь сдѣлалъ движеніе, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было: онъ забылъ, что отдалъ ее опричникамъ передъ въѣздомъ въ неволю. Молодой человѣкъ, глядѣвшій съ крыльца, захохоталъ.

— Такъ, такъ!—сказалъ онъ:—ищи своей сабли!

Одинъ ударъ медвѣжьей лапы свалилъ князя на землю, другой своротилъ бы ему черепъ, но, къ удивленію своему, князь не принялъ второго удара и почувствовалъ, что его обдала струя теплой крови.

— Вставай, бояринъ! — сказалъ кто-то, подавая ему руку.

Князь всталъ и увидѣлъ незамѣченнаго имъ прежде опричника, лѣтъ семнадцати, съ окровавленною саблей въ рукѣ. Медвѣдь съ разрубленною головой лежалъ на спинѣ и, махая лапами, издыхалъ у ногъ его.

Опричникъ, казалось, не гордился своей побѣдой. Кроткое лицо его являло отпечатокъ глубокой грусти. Увѣрившись, что медвѣдь не сломалъ князя, и не дожидаясь спасиба, онъ хотѣлъ отойти.

— Добрый молодецъ!—сказалъ ему Серебряный:—назовись по имени-прозвищу, чтобы зналъ я, за кого Богу молиться!

— Что тебѣ до моего прозвища, бояринъ!—отвѣчалъ опричникъ.—Не люблю я его, Богъ съ нимъ.

Такой странный отвѣтъ удивилъ Серебрянаго, но избавитель его уже удалился.

— Ну, батюшка, Никита Романовичъ, — сказалъ Михеичъ, обтирая полою кафтана медвѣжью кровь съ князя:—набрался же я страху! Ужъ я, батюшка, кричалъ медвѣдю: гу! гу! чтобы бросилъ онъ тебя да на меня бы навалился, какъ этотъ молодецъ—дай Богъ ему здоровья!—черепъ ему раскроилъ. А вѣдь все это затѣялъ вонъ тотъ голобородый съ масляными глазами, что съ крыльца смотритъ, тётка его подкурятина! Да куда мы заѣхали,—прибавилъ Михеичъ шопотомъ:—виданное ли это дѣло, чтобы среди царскаго двора медвѣдей съ цѣпей спускали?

Замѣчаніе Михеича было основательно, но слобода имѣла

свои обычаи, и ничто не происходило въ ней обыкновеннымъ порядкомъ.

Царь любилъ звѣриный бой. Нѣсколько медвѣдей всегда кормились въ желѣзныхъ клѣткахъ на случай травли. Но время отъ времени Іоаннъ или опричники его выпускали звѣрей изъ клѣтокъ, драли ими народъ и потѣшались его страхомъ. Если медвѣдь кого увѣчилъ, царь награждалъ того деньгами. Если же медвѣдь задиралъ кого до смерти, то деньги выдавались его роднымъ, а онъ вписывался въ синодикъ для поминовенія по монастырямъ вмѣстѣ съ прочими жертвами царской потѣхи или царскаго гнѣва.

Вскорѣ вышли изъ дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видѣлъ его изъ окна и хочетъ знать, кто онъ таковъ? Передавъ царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашиваетъ тебя о здоровьѣ и велѣлъ-де тебѣ сегодня быть у его царскаго стола.

Эта милость не совсѣмъ обрадовала Серебрянаго. Іоаннъ, можетъ-быть, не зналъ еще о ссорѣ его съ опричниками въ деревнѣ Медвѣдевкѣ. Можетъ быть также (и это случалось часто), царь скрывалъ на время гнѣвъ свой подъ личиною милости, дабы внезапное наказаніе, среди пира и веселья, показалось виновному тѣмъ ужаснѣе. Какъ бы то ни было, Серебряный приготовился къ всему и мысленно прочиталъ молитву.

Этотъ день былъ исключеніемъ въ Александровой слободѣ. Царь, готовясь ѣхать въ Суздаль на богомолье, объявилъ заранѣе, что будетъ обѣдать вмѣстѣ съ братіей, и приказалъ звать къ столу, кромѣ трехсотъ опричниковъ, составлявшихъ его всегдашнее общество, еще четыреста, такъ что всѣхъ званыхъ было семьсотъ человѣкъ.

ГЛАВА VIII.

Пиръ.

Въ огромной двусвѣтной палатѣ, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы въ три ряда. Въ каждомъ ряду было по десяти столовъ, на каждомъ столѣ по двадцати приборовъ. Для царя, царевича и ближайшихъ любимцевъ стояли особые столы въ концѣ палаты. Гостямъ были приготовлены длинныя скамьи, покрытыя парчою и бархатомъ; государю—высокія рѣзныя кресла, убранныя жемчужными и алмазными кистями. Два

льва замѣняли ножки креселъ, а спинку образовалъ двуглавый орелъ съ подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. Въ серединѣ палаты стоялъ огромный четыреугольный столъ, съ поставомъ изъ дубовыхъ досокъ. Крѣпки были толстыя доски, крѣпки точеные столбы, на коихъ покоился столъ: имъ надлежало поддерживать цѣлую гору серебряной и золотой посуды. Тутъ были и тазы литые, которые четыре человѣка съ трудомъ подняли бы за узорчатыя ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугомъ, и блюда разныхъ величинъ съ чеканными узорами. Тутъ были и чары сердоликовыя, и кружки изъ страфокамиловыхъ яицъ, и турьи рога, оправленные въ золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки страннаго вида, представлявшіе медвѣдей, львовъ, пѣтуховъ, павлиновъ, журавлей, единороговъ и страфокамиловъ. И всѣ эти тяжелыя блюда, суды, ковши, чары, черпала, звѣри и птицы громоздились кверху клинообразнымъ зданіемъ, котораго конецъ упирался почти въ самый потолокъ.

Чинно вошла въ палату блестящая толпа царедворцевъ и размѣстилась по скамьямъ. На столахъ въ это время, кромѣ солонокъ, перечницъ и уксусницъ, не было никакой посуды, а изъ яствъ стояли только блюда холоднаго мяса на постномъ маслѣ, соленые огурцы, сливы и кислое молоко въ деревянныхъ чашахъ.

Опричники усѣлись, но не начинали обѣда, ожидая государя.

Вскорѣ стольники, попарно, вошли въ палату и стали у царскихъ креселъ; за стольниками шествовали дворецкій и кравчій.

Наконецъ загремѣли трубы, зазвенѣли дворцовые колокола, и медленнымъ шагомъ вошелъ самъ царь Иванъ Васильевичъ.

Онъ былъ высокъ, строенъ и широкоплечъ. Длинная парчевая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разрѣза и вокругъ подола жемчугомъ и дорогими каменьями. Драгоцѣнное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображеніями Спасителя, Богоматери, апостоловъ и пророковъ. Большой узорный крестъ висѣлъ у него на шеѣ на золотой цѣпи. Высокіе каблуки красныхъ сафьянныхъ сапоговъ были окованы серебряными скобами. Страшную перемѣну увидѣлъ въ Іоаннѣ Никита Романовичъ. Правильное лицо все еще было прекрасно; но

черты обозначались рѣзче; орлиный носъ сталъ какъ-то круче; глаза горѣли мрачнымъ огнемъ, и на челѣ явились морщины, которыхъ не было прежде. Всего болѣе поразили князя рѣдкіе волосы въ бородѣ и усахъ. Іоанну было отъ роду тридцать пять лѣтъ; но ему казалось далеко за сорокъ. Выраженіе лица его совершенно измѣнилось. Такъ измѣняется зданіе послѣ пожара. Еще стоятъ хоромы, но украшенія упали, мрачныя окна глядятъ зловѣщимъ взоромъ, и въ пустыхъ покояхъ поселилось недоброе.

Со всѣмъ тѣмъ, когда Іоаннъ взиралъ милостиво, взглядъ его еще былъ привлекателенъ. Улыбка его очаровывала даже тѣхъ, которые хорошо его знали и гнушались его злодѣяніями. Съ такою счастливою наружностью Іоаннъ соединялъ необыкновенный даръ слова. Случалось, что люди добродѣтельные, слушая царя, убѣждались въ необходимости ужасныхъ его мѣръ и вѣрили, пока онъ говорилъ, справедливости его казней.

Съ появленіемъ Іоанна всѣ встали и низко поклонились ему.

Царь медленно прошелъ между рядами столовъ до своего мѣста, остановился и, окинувъ взоромъ собраніе, поклонился на всѣ стороны; потомъ прочиталъ вслухъ длинную молитву, перекрестился, благословилъ трапезу и опустился въ кресло. Всѣ, кромѣ кравчаго и шести стольниковъ, послѣдовали его примѣру.

Множество слугъ, въ бархатныхъ кафтанахъ фіалковаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ, стали передъ государемъ, поклонились ему въ поясъ и по два въ рядъ отправились за кушаньемъ. Вскорѣ они возвратились, неся сотни двѣ жареныхъ лебедей на золотыхъ блюдахъ.

Этимъ начался обѣдъ.

Серебряному пришлось сидѣть недалеко отъ царскаго стола, вмѣстѣ съ земскими боярами, то-есть съ такими, которые не принадлежали къ опричнинѣ, но, по высокому сану своему, удостоились на этотъ разъ обѣдать съ государемъ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ Серебряный зналъ до отъѣзда своего въ Литву. Онъ могъ видѣть со своего мѣста и самого царя и всѣхъ бывшихъ за его столомъ. Грустно сдѣлалось Никитѣ Романовичу, когда онъ сравнилъ Іоанна, оставленнаго имъ пять лѣтъ тому назадъ, съ Іоанномъ, сидящимъ нынѣ въ кругу новыхъ любимцевъ.

Никита Романовичъ обратился съ вопросомъ къ своему

сосѣду, одному изъ тѣхъ, съ которыми онъ былъ знакомъ прежде:

— Кто этотъ отрокъ, что̀ сидитъ по правую руку царя, такой блѣдный и пасмурный?

— Это царевичъ Іоаннъ Іоанновичъ,—отвѣчалъ боярин̀ъ и, оглянувшись по сторонамъ, прибавилъ шопотомъ:—помилуй насъ Господи! Не въ дѣда онъ пошелъ, а въ батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирѣпства; не будетъ намъ утѣхи отъ его царствованья!

— А этотъ молодой, черноглазый, въ концѣ стола, съ такимъ привѣтливымъ лицомъ? Черты его мнѣ знакомы, но не припомню, гдѣ я его видѣлъ?

— Ты видѣлъ его, князь, лѣтъ пять тому, рындою при дворѣ государя; только далеко ушелъ онъ съ тѣхъ поръ и далеко уйдетъ еще; это Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, любимый совѣтникъ царскій. Видишь,—продолжалъ боярин̀ъ, понижая голосъ:—видишь возлѣ него этого широкоплечаго рыжаго, что̀ ни на кого не смотритъ, а убираетъ себѣ лебедя, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій, по прозванію Малюта. Онъ и другъ, и поплечникъ, и палачъ государевъ. Здѣсь же, въ монастырѣ, онъ сдѣланъ, прости Господи, параклисіархомъ. Кажется, государь безъ него ни шагу; а скажи только слово Борисъ Ѳедоровичъ, такъ выйдетъ не по Малютину, а по Борисову!.. А вонъ тамъ, этотъ молоденькій, словно красная дѣвица, что̀ царю наряжаетъ вина, это Ѳедоръ Алексѣевичъ Басмановъ.

— Этотъ?—спросилъ Серебряный, узнавая женоподобнаго юношу, котораго наружность поразила его на царскомъ дворѣ, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Онъ самый. Ужъ какъ царь-то любитъ его: кажется, жить безъ него не можетъ; а случись дѣло какое, у кого совѣта спросятъ? Не у него, а у Бориса!

— Да, — сказалъ Серебряный, вглядываясь въ Годунова:—теперь припоминаю его. Не ѣздилъ ли онъ у царскаго саадака?

— Такъ, князь. Онъ точно былъ у саадака. Кажется, должность не знатная, какъ тутъ показать себя? Только, случилось разъ, затѣяли на охотѣ изъ лука стрѣлять. А былъ тутъ ханскій посолъ Девлетъ-Мурза. Тотъ, что̀ ни пуститъ стрѣлу, такъ и всадитъ ее въ татарскую шляпу, что̀ поставили на шестѣ, ступеней во̀ сто отъ цар-

ской ставки. Дѣло-то было ужъ послѣ обѣда, и много ковшей уже прошло кругомъ стола. Вотъ всталъ Иванъ Васильевичъ, да и говоритъ:—Подайте мнѣ мой лукъ, и я не хуже татарина попаду! — А татаринъ-то обрадовался:—Попади, бачка-царь! говоритъ: моя пошла тысяча лошадей табунъ, а твоя что пошла?—то-есть, по-нашему, во что ставишь закладъ свой?—Идетъ городъ Рязань! — сказалъ царь и повторилъ: — Подайте мой лукъ!—Бросился Борисъ къ коновязи, гдѣ стоялъ конь съ саадакомъ, вскочилъ въ сѣдло; только, видимъ мы, бьется подъ нимъ конь, вздымается на дыбы, да вдругъ какъ пустится, закусивъ удила, такъ и пропалъ съ Борисомъ. Черезъ четверть часа вернулся Борисъ, и колчанъ и налучье изорваны, лукъ пополамъ, стрѣлы всѣ разсыпались; самъ Борисъ съ разбитой головой. Соскочилъ съ коня да и въ ноги царю:—Виноватъ, государь, не смогъ коня удержать, не соблюлъ твоего саадака!—А у царя, вишь, межъ тѣмъ хмель-то ужъ выходить началъ.—Ну, говоритъ, не быть же болѣ тебѣ, неучу, при моемъ саадакѣ, а изъ чужого лука стрѣлять не стану!—Съ того дня пошелъ Борисъ въ гору, да посмотри, князь, куда уйдетъ еще! И что это за человѣкъ,—продолжалъ боярин, глядя на Годунова:—никогда не суется впередъ, а всегда тутъ; никогда не прямитъ, не перечитъ царю, идетъ себѣ окольнымъ путемъ, ни въ какое кровавое дѣло не замѣшанъ, ни къ чьей казни не причастенъ. Кругомъ его кровь такъ и хлещетъ, а онъ себѣ и чистъ и бѣлъ, какъ младенецъ, даже и въ опричнину не вписанъ. Вонъ тотъ, — продолжалъ онъ, указывая на человѣка съ недоброю улыбкой:—то Алексѣй Басмановъ, отецъ Ѳедора, а тамъ, подалѣ, Василій Грязной, а вонъ тамъ отецъ Левкій, Чудовскій архимандритъ; прости ему Господи, не пастырь онъ церковный, угодникъ страстей мірскихъ!

Серебряный слушалъ съ любопытствомъ и съ горестью.

— Скажи, боярин,—спросилъ онъ:—кто этотъ высокій кудрявый, лѣтъ тридцати, съ черными глазами? Вотъ ужъ онъ четвертый кубокъ осушилъ, одинъ за другимъ, да еще какіе кубки! Здоровъ онъ пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, какъ онъ нахмурился, а глаза-то горятъ словно молонья. Да что онъ, съ ума сошелъ? Смотри, какъ скатерть ножомъ поретъ.

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, долженъ знать, этотъ былъ изъ нашихъ. Правда, перемѣнился онъ съ тѣхъ поръ,

какъ, всему боярству на срамъ, въ опричники пошелъ! Это князь Аѳанасій Ивановичъ Вяземскій. Онъ будетъ всѣхъ ихъ удалѣе, только не вынести ему головы! Какъ прикачнулась къ его сердцу зазнобушка, сдѣлался онъ самъ не свой. И не видитъ ничего, и не слышитъ, и одинъ съ собою разговариваетъ, словно помѣшанный, и при царѣ держитъ такія рѣчи, что индо страшно. Но до сихъ поръ ему все съ рукъ сходило: жалѣетъ его государь. А говорятъ, онъ по любви и въ опричники-то вписался.

И боярин нагнулся къ Серебряному, желая, вѣроятно, разсказать ему подробнѣе про Вяземскаго, но въ это время подошелъ къ нимъ стольникъ и сказалъ, ставя передъ Серебрянымъ блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великій государь жалуетъ тебя блюдомъ со своего стола!

Князь всталъ и, слѣдуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда всѣ, бывшіе за однимъ столомъ съ княземъ, также встали и поклонились Серебряному, въ знакъ поздравленія съ царскою милостью. Серебряный долженъ былъ каждаго отблагодарить особымъ поклономъ.

Между тѣмъ стольникъ возвратился къ царю и сказалъ ему, кланяясь въ поясъ:

— Великій государь! Никита-ста принялъ блюдо, челомъ бьетъ!

Когда съѣли лебедей, слуги вышли попарно изъ палаты и возвратились съ тремя сотнями жареныхъ павлиновъ, которыхъ распущенные хвосты качались надъ каждымъ блюдомъ, въ видѣ опахала. За павлинами слѣдовали кулебяки, курники, пироги съ мясомъ и съ сыромъ, блины всѣхъ возможныхъ родовъ, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки съ медами: вишневымъ, можжевеловымъ и черемховымъ. Другіе подавали разныя иностранныя вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взадъ и впередъ между рядами, чтобы смотрѣть и всказывать въ столы.

Напротивъ Серебрянаго сидѣлъ одинъ старый боярин, на котораго царь, какъ поговаривали, держалъ гнѣвъ. Боярин предвидѣлъ себѣ бѣду, но не зналъ—какую, и ожидалъ спокойно своей участи. Къ удивленію всѣхъ, кравчій Ѳедоръ Басмановъ изъ своихъ рукъ поднесъ ему чашу вина.

— Василій су!—сказалъ Басмановъ:—великій государь жалуетъ тебя чашею!

Старикъ всталъ, поклонился Іоанну и выпилъ вино, а Басмановъ, возвратясь къ царю, донесъ ему:

— Василій-су выпилъ чашу, челомъ бьетъ!

Всѣ встали и поклонились старику; ожидали себѣ и его поклона, но бояринъ стоялъ неподвижно. Дыханіе его сперлось, онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинѣло, и онъ грянулся оземь.

— Бояринъ пьянъ,—сказалъ Иванъ Васильевичъ:—вынести его вонъ!—Шопотъ пробѣжалъ по собранію, а земскіе бояре переглянулись и потупили очи въ свои тарелки, не смѣя вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не вѣрилъ онъ разсказамъ о жестокости Іоанна, теперь же самъ сдѣлался свидѣтелемъ его ужасной мести.

«Ужъ не ожидаетъ ли и меня такая же участь?»—подумалъ онъ. Между тѣмъ старика вынесли, и обѣдъ продолжался, какъ будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудѣли, царедворцы громко разговаривали и смѣялись. Слуги, бывшіе въ бархатной одеждѣ, явились теперь всѣ въ парчевыхъ доломанахъ. Эта перемѣна платья составляла одну изъ роскошей царскихъ обѣдовъ. На столы поставили сперва разные студени, потомъ журавлей съ прянымъ зельемъ, разсольныхъ пѣтуховъ съ инбиремъ, безкостныхъ куръ и утокъ съ огурцами. Потомъ принесли разныя похлебки и трехъ родовъ уху: курячью бѣлую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиковъ со сливами, гусей со пшеномъ и тетерекъ съ шафраномъ.

Тутъ наступилъ прогулъ, въ продолженіе котораго разносили гостямъ меды: смородинный, княжій и боярскій, а изъ винъ: аликантъ, бастръ и малвазію.

Разговоры становились громче, хохотъ раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь въ лица опричниковъ, увидѣлъ за отдаленнымъ столомъ молодого человѣка, который нѣсколько часовъ передъ тѣмъ спасъ его отъ медвѣдя. Князь спросилъ о немъ у сосѣдей, но никто изъ земскихъ не зналъ его. Молодой опричникъ, облокотясь на столъ и опустивъ голову на руки, сидѣлъ въ задумчивости и не участвовалъ въ общемъ весельѣ. Князь хотѣлъ-было обратиться съ вопросомъ къ проходившему слугѣ, но вдругъ услышалъ за собой:

— Никита-ста! Великій государь жалуетъ тебя чашею.

Серебряный вздрогнулъ. За нимъ стоялъ, съ наглою усмѣшкой, Ѳедоръ Басмановъ и подавалъ ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушилъ чашу до капли. Всѣ смотрѣли на него съ любопытствомъ; онъ самъ ожидалъ неминуемой смерти и удивлялся, что не чувствуетъ дѣйствія отравы. Вмѣсто дрожи и холода, благотворная теплота пробѣжала по его жиламъ и разогнала на лицѣ его невольную блѣдность. Напитокъ, присланный царемъ, былъ старый и чистый бастръ. Серебряному стало ясно, что царь или отпустилъ вину его, или не знаетъ еще объ обидѣ опричнины.

Уже болѣе четырехъ часовъ продолжалось веселье, а столъ былъ только въ полустолѣ. Отличилися въ этотъ день царскіе повара. Никогда такъ не удавались имъ лимонныя кальи, верченыя почки и караси съ бараниной. Особенное удивленіе возбуждали исполинскія рыбы, пойманныя въ Студеномъ морѣ и присланныя въ слободу изъ Соловецкаго монастыря. Ихъ привезли живыхъ, въ огромныхъ бочкахъ; путешествіе продолжалось нѣсколько недѣль. Рыбы эти едва умѣщались на серебряныхъ и золотыхъ тазахъ, которые носили въ столовую нѣсколько человѣкъ разомъ. Затѣйливое искусство поваровъ выказалось тутъ въ полномъ блескѣ. Осетры и шеврюги были такъ надрѣзаны, такъ посажены на блюда, что походили на пѣтуховъ съ простертыми крыльями, на крылатыхъ зміевъ съ разверзтыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы въ лапшѣ, и гости, какъ уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепеловъ съ чесночною подливкой ни жаворонковъ съ лукомъ и шафраномъ. Но вотъ, по знаку стольниковъ, убрали со столовъ соль, перецъ и уксусъ и сняли всѣ мясныя и рыбныя яства. Слуги вышли по два въ рядъ и возвратились въ новомъ убранствѣ. Они замѣнили парчевые доломаны лѣтними кунтушами изъ бѣлаго аксамита съ серебрянымъ шитьемъ и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивѣе и богаче двухъ первыхъ. Убранные такимъ образомъ, они внесли въ палату сахарный кремль, въ пять пудовъ вѣсу, и поставили его на царскій столъ. Кремль этотъ былъ вылитъ очень искусно. Зубчатыя стѣны и башни, и даже пѣшіе и конные люди были тщательно отдѣланы. Подобные кремли, но только поменьше, пуда въ три, не болѣе, украсили другіе столы. Вслѣдъ за кремлями внесли около сотни

золоченыхъ и крашеныхъ деревьевъ, на которыхъ, вмѣсто плодовъ, висѣли пряники, коврижки и сладкіе пирожки. Въ то же время явились на столахъ львы, орлы и всякія птицы, литые изъ сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоковъ, ягодъ и волошскихъ орѣховъ. Но плодовъ уже никто не трогалъ, всѣ были сыты. Иные допивали кубки романеи, болѣе изъ приличія, чѣмъ отъ жажды; другіе дремали, облокотясь на столъ; многіе лежали подъ лавками; всѣ безъ исключенія распоясались и разстегнули кафтаны. Нравъ каждаго обрисовался яснѣе.

Царь почти вовсе не ѣлъ. Въ продолженіе стола онъ много разсуждалъ, шутилъ и милостиво говорилъ съ своими окольными. Лицо его не измѣнилось въ концѣ обѣда. То же можно было сказать и о Годуновѣ. Борисъ Ѳедоровичъ, казалось, не отказывался ни отъ лакомаго блюда ни отъ братины крѣпкаго вина: онъ былъ веселъ, занималъ царя и любимцевъ его умнымъ разговоромъ, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, какъ и въ началѣ обѣда, смѣсь проницательности, обдуманнаго смиренія и увѣренности въ самомъ себѣ. Окинувъ быстрымъ взоромъ толпу пьяныхъ и сонныхъ царедворцевъ, молодой Годуновъ непримѣтно улыбнулся, и презрѣніе мелькнуло на лицѣ его.

Царевичъ Іоаннъ пилъ много, ѣлъ мало, молчалъ, слушалъ, и вдругъ перебивалъ говорящаго нескромною или обидною шуткой. Болѣе всѣхъ доставалось отъ него Малютѣ Скуратову, хотя Григорій Лукьяновичъ непохожъ былъ на человѣка, способнаго сносить насмѣшки. Наружность его вселяла ужасъ въ самыхъ неробкихъ. Лобъ его былъ низокъ и сжатъ, волосы начинались почти надъ бровями; скулы и челюсти, напротивъ, были несоразмѣрно развиты; черепъ, спереди узкій, переходилъ безъ всякой постепенности въ какой-то широкій котелъ къ затылку, а за ушами были такія выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопредѣленнаго цвѣта не смотрѣли ни на кого прямо, но страшно дѣлалось тому, кто нечаянно встрѣчалъ ихъ тусклый взглядъ. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая изъ круга животныхъ побужденій, не могла проникнуть въ этотъ узкій мозгъ, покрытый толстымъ черепомъ и густою щетиной. Въ выраженіи этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое стараніе отыскать въ немъ человѣческую сторону было

бы напрасно. И подлинно, онъ нравственно уединилъ себя отъ всѣхъ людей, жилъ среди нихъ особнякомъ, отказался отъ всякой дружбы, отъ всякихъ пріязненныхъ отношеній, пересталъ быть человѣкомъ и сдѣлалъ изъ себя царскую собаку, готовую растерзать безъ разбора всякаго, на кого Іоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственною свѣтлою стороной Малюты казалась горячая любовь къ сыну, молодому Максиму Скуратову, но то была любовь дикаго звѣря, любовь безсознательная, хотя и доходившая до самоотверженія. Ее усугубляло любочестіе Малюты. Происходя самъ отъ низкаго сословія, будучи человѣкомъ худороднымъ, онъ мучился завистью при видѣ блеска и знатности и хотѣлъ по крайней мѣрѣ возвысить свое потомство, начиная съ сына своего. Мысль, что Максимъ, котораго онъ любилъ тѣмъ сильнѣе, что не зналъ другой родственной привязанности, будетъ всегда стоять въ глазахъ народа ниже тѣхъ гордыхъ бояръ, которыхъ онъ, Малюта, казнилъ десятками, приводила его въ бѣшенство. Онъ старался золотомъ достичь почестей, недоступныхъ ему по рожденію, и съ сугубымъ удовольствіемъ предавался убійствамъ: онъ мстилъ ненавистнымъ боярамъ, обогащался ихъ добычею и, возвышаясь въ милости царской, думалъ возвысить и возлюбленнаго сына. Но, независимо отъ этихъ разсчетовъ, кровь была для него потребностью и наслажденіемъ. Много душегубствъ совершилъ онъ своими руками, и лѣтописи разсказываютъ, что иногда, послѣ казней, онъ собственноручно разсѣкалъ мертвыя тѣла топоромъ и бросалъ ихъ псамъ на съѣденіе. Чтобы довершить очеркъ этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, онъ, подобно хищному звѣрю, былъ въ высшей степени хитеръ, въ бояхъ отличался отчаяннымъ мужествомъ, въ сношеніяхъ съ другими былъ мнителенъ, какъ всякій рабъ, попавшій въ незаслуженную честь, и что никто не умѣлъ такъ помнить обиды, какъ Малюта Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій.

Таковъ былъ человѣкъ, надъ которымъ столь неосторожно издѣвался царевичъ.

Особенный случай подалъ Іоанну Іоанновичу поводъ къ насмѣшкамъ. Малюта, мучимый завистью и любочестіемъ, издавна домогался боярства; но царь, уважавшій иногда обычаи, не хотѣлъ унизить верховный русскій

санъ въ лицѣ своего худороднаго любимца и оставлялъ происки его безъ вниманія. Скуратовъ рѣшился напомнить о себѣ Іоанну. Въ этотъ самый день, при выходѣ царя изъ опочивальни, онъ билъ ему челомъ, исчислилъ всѣ свои заслуги и въ награжденіе просилъ боярской шапки. Іоаннъ выслушалъ его терпѣливо, засмѣялся и назвалъ собакой. Теперь, за столомъ, царевичъ напомнилъ Малютѣ о неудачной его челобитнѣ. Не напомнилъ бы о ней царевичъ, если бы зналъ короче Григорія Лукьяновича!

Малюта молчалъ и становился блѣднѣе. Царь съ неудовольствіемъ замѣчалъ непріязненныя отношенія между Малютой и сыномъ. Чтобы перемѣнить разговоръ, онъ обратился къ Вяземскому.

— Аѳанасій,—сказалъ онъ полуласково, полунасмѣшливо:—долго ли тебѣ кручиниться? Не узнаю моего добраго опричника! Аль въ конецъ заѣла тебя любовь—змѣя лютая?

— Вяземскій не опричникъ,—замѣтилъ царевичъ.—Онъ вздыхаетъ какъ красная дѣвица. Ты-бъ, государь-батюшка, велѣлъ надѣть на него сарафанъ да обрить ему бороду, какъ Ѳедькѣ Басманову, или приказалъ бы ему пѣть съ гуслярами. Гусли-то ему, я чай, будутъ сподручнѣе сабли!

— Царевичъ!—вскричалъ Вяземскій:—если бы тебѣ было годковъ пять поболѣ, да не былъ бы ты сынокъ государевъ, я бы за безчестіе позвалъ тебѣ къ Москвѣ на Троицкую площадь; мы помѣрялись бы съ тобой, и самъ Богъ разсудилъ бы, кому владѣть саблей, кому на гусляхъ играть!

— Аѳонька!—сказалъ строго царь:—не забывай, передъ кѣмъ рѣчь ведешь!

— Что-жъ, батюшка, господинъ Иванъ Васильевичъ,—отвѣчалъ дерзко Вяземскій:—коли повиненъ я передъ тобой, вели мнѣ голову рубить, а царевичу не дамъ порочить себя.

— Нѣтъ, — сказалъ, смягчаясь, Иванъ Васильевичъ, который за молодечество прощалъ Вяземскому его выходки:—рано Аѳонѣ голову рубить! Пусть еще послужитъ на царской службѣ. Я тебѣ, Аѳоня, лучше сказку скажу, что̀ разсказывалъ мнѣ прошлой ночью слѣпой Филька:

«Въ славномъ Ростовѣ, въ красномъ городѣ, прожи-

валъ добрый молодецъ, Алеша Поповичъ. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужемъ за старымъ Тугариномъ Зміевичемъ, и какъ ни бился Алеша Поповичъ, все только отказы отъ нея получалъ.—Не люблю-де тебя, добрый молодецъ; люблю одного мужа мово, милаго, стараго Зміевича.—Добро,—сказалъ Алеша:—полюбишь же ты и меня, бѣлая лебедушка!—Взялъ двѣнадцать слугъ своихъ добрыихъ, вломился въ теремъ Зміевича и увезъ его молоду жену.—Исполать тебѣ, добрый молодецъ,—сказала жена:—что умѣлъ меня любить, умѣлъ и мечомъ добыть, и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свѣту, пуще стараго поганаго мужа мово Зміевича!»

— А что, Аѳоня,—прибавилъ царь, пристально смотря на Вяземскаго: — какъ покажется тебѣ сказка слѣпого Фильки?

Жадно слушалъ Вяземскій слова Ивана Васильевича. Запали они въ душу его, словно искры въ снопы овинные, загорѣлась страсть въ груди его, запылали очи пожаромъ.

— Аѳанасій,—продолжалъ царь:—я этими днями ѣду молиться въ Суздаль, а ты ступай на Москву къ боярину Дружинѣ Морозову: спроси его о здоровьѣ, скажи, что я-де прислалъ тебя снять съ него мою опалу... Да возьми,—прибавилъ онъ значительно:—возьми съ собой, для почету, поболѣ опричниковъ.

Серебряный видѣлъ съ своего мѣста, какъ Вяземскій измѣнился въ лицѣ, и какъ дикая радость мелькнула на чертахъ его, но не слыхалъ онъ, о чемъ шла рѣчь между княземъ и Иваномъ Васильевичемъ.

Кабы догадался Никита Романовичъ, чему радуется Вяземскій, забылъ бы онъ близость государеву, сорвалъ бы со стѣны саблю острую и разсѣкъ бы Вяземскому буйную голову. Погубилъ бы Никита Романовичъ и свою головушку, но спасли его на этотъ разъ гусли звонкія, колокола дворцовые и говоръ опричниковъ. Не узналъ онъ, чему радуется Вяземскій.

Наконецъ Іоаннъ всталъ. Всѣ царедворцы зашумѣли, какъ пчелы, потревоженныя въ ульѣ. Кто только могъ, поднялся на ноги, и всѣ поочередно стали подходить къ царю, получать отъ него сушеныя сливы, которыми онъ надѣлялъ братію изъ собственныхъ рукъ.

Въ это время сквозь толпу пробрался опричникъ, не

бывшій въ числѣ пировавшихъ, и сталъ шептать что-то на ухо Малютѣ Скуратову. Малюта вспыхнулъ, и ярость изобразилась на лицѣ его. Она не скрылась отъ зоркаго глаза царя. Іоаннъ потребовалъ объясненія.

— Государь!—вскричалъ Малюта:—дѣло неслыханное! Измѣна, бунтъ на твою царскую милость!

При словѣ: «измѣна» царь поблѣднѣлъ, и глаза его засверкали.

— Государь,—продолжалъ Малюта:—намедни послалъ я кругъ Москвы объѣздъ, для того, государь, такъ ли московскіе люди соблюдаютъ твой царскій указъ. Какъ вдругъ невѣдомый бояринъ съ холопами напалъ на объѣзжихъ людей. Многихъ убили до смерти и больно изувѣчили моего стремяннаго. Онъ самъ здѣсь, стоитъ за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Іоаннъ окинулъ взоромъ опричниковъ и на всѣхъ лицахъ прочелъ гнѣвъ и негодованіе. Тогда черты его приняли выраженіе какого-то страннаго удовольствія, и онъ сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Позвать!

Вскорѣ разступилась толпа, и въ палату вошелъ Матвѣй Хомякъ, съ повязанной головой.

ГЛАВА IX.

Судъ.

Не смылъ Хомякъ крови съ лица, замаралъ ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидитъ царь, какъ избили слугу его!

Подойдя къ Іоанну, онъ упалъ ницъ и ожидалъ на колѣняхъ позволенія говорить.

Всѣ любопытно смотрѣли на Хомяка. Царь первый прервалъ молчаніе.

— На кого ты просишь?—спросилъ онъ:—какъ было дѣло? Разсказывай по ряду!

— На кого прошу и самъ не вѣдаю, надёжа православный царь! Не сказалъ онъ мнѣ, собака, своего роду-племени. А бью челомъ твоей царской милости, въ бою моемъ и увѣчьѣ, что билъ меня своимъ великимъ огурствомъ незнаемый человѣкъ!

Общее вниманіе удвоилось. Всѣ притаили дыханіе. Хомякъ продолжалъ:

— Пріѣхали мы, государь, объѣздомъ въ деревню Мед-

вѣдевку, какъ вдругъ они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на насъ напускомъ, грянули какъ снѣгъ на голову, перекололи, перерубили человѣкъ съ десятеро, достальныхъ перевязали; а бояринъ-то ихъ, разбойникъ, хотѣлъ-было насъ всѣхъ перевѣшать, а двухъ станичниковъ, что̀ мы-было объѣздомъ захватили, велѣлъ свободить и пустить на волю.

Замолчалъ Хомякъ и поправилъ на головѣ своей кровавую повязку. Недовѣрчивый ропотъ пробѣжалъ между опричниками. Разсказъ казался невѣроятнымъ. Царь усомнился.

— Полно, правду ли ты говоришь, дѣтинушка,—сказалъ онъ, пронзая Хомяка насквозь орлинымъ окомъ:—не закачено-ль у тебя въ головѣ? Не у браги-ль ты добылъ увѣчья?

— Готовъ на своей правдѣ крестъ цѣловать, государь: кладу голову порукой въ рѣчахъ моихъ!

— А скажи, зачѣмъ не повѣсилъ тебя невѣдомый боярин?

— Должно-быть, раздумалъ; никого не повѣсилъ; велѣлъ лишь всѣхъ насъ плетьми избить!

Ропотъ опять пробѣжалъ по собранію.

— А много-ль васъ было въ объѣздѣ?

— Пятьдесятъ человѣкъ, я пятьдесятъ первый.

— А много-ль ихнихъ было?

— Нечего грѣха таить, ихнихъ было поменѣе: примѣрно, человѣкъ двадцать или тридцать.

— И вы дали себя перевязать и пересѣчь, какъ бабы! Что̀ за оторопь на васъ напала? Руки у васъ отсохли, аль душа ушла въ пяты? Право, смѣху достойно! И что̀ это за бояринъ средь бѣла дня напалъ на опричниковъ? Быть того не можетъ. Пожалуй, и хотѣли-бъ они извести опричнину, да жжется! И меня, пожалуй, съѣли-бъ, да зубъ неймется! Слушай: коли хочешь, чтобъ я взялъ тебѣ вѣру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, не сдобровать тебѣ, дѣтинушка!

— Надѣжа-государь!—отвѣчалъ стремянный съ твердостью:—видитъ Богъ, я говорю правду. А казнить меня твоя воля! Не боюся я смерти, боюся я кривды, и въ томъ шлюсь на цѣлую рать твою!

Тутъ онъ окинулъ глазами опричниковъ, какъ бы призывая ихъ въ свидѣтели. Внезапно взоръ его встрѣтился со взоромъ Серебрянаго.

Трудно описать, что̀ произошло въ душѣ Хомяка. Удивленіе, сомнѣніе и наконецъ злобная радость изобразились на чертахъ его.

— Государь,—сказалъ онъ, вставая:—коли хочешь вѣдать, кто напалъ на насъ, порубилъ товарищей и велѣлъ избить насъ плетьми, прикажи вонъ этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Всѣ глаза обратились на Серебрянаго. Царь сдвинулъ безволосыя брови и пристально въ него вглядывался, но не говорилъ ни слова. Никита Романовичъ стоялъ неподвижно, спокойный, но блѣдный.

— Никита,—сказалъ наконецъ царь, медленно выговаривая каждое слово:—подойди сюда. Становись къ отвѣту. Знаешь ты этого человѣка?

— Знаю, государь.

— Нападалъ ты на него съ товарищи?

— Государь, человѣкъ этотъ съ товарищи самъ напалъ на деревню...

Хомякъ прервалъ князя. Чтобы погубить врага, онъ рѣшился не щадить самого себя.

— Государь,—сказалъ онъ:—не слушай боярина! То онъ на меня соромъ лаетъ, затѣмъ, что я малый человѣкъ, и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; а прикажи снять допросъ съ товарищей, или, пожалуй, прикажи пытать насъ обоихъ накрѣпко, и въ томъ будетъ промежъ насъ правда.

Серебряный презрительно взглянулъ на Хомяка.

— Государь,—сказалъ онъ:—я не запираюсь въ своемъ дѣлѣ. Я напалъ на этого человѣка, велѣлъ его съ товарищи бить плетьми, затѣмъ велѣлъ бить...

— Довольно!—сказалъ строго Иванъ Васильевичъ.—Отвѣчай на допросъ мой. Вѣдалъ ли ты, когда напалъ на нихъ, что они мои опричники?

— Не вѣдалъ, государь.

— А когда хотѣлъ повѣсить ихъ, сказались они тебѣ?

— Сказались, государь.

— Зачѣмъ же ты раздумалъ ихъ вѣшать?

— Затѣмъ, государь, чтобы твои судьи сперва допросили ихъ.

— Отчего-жъ ты съ самаго почину не отослалъ ихъ къ моимъ судьямъ?

Серебряный не нашелся отвѣчать.

Царь вперилъ въ него испытующій взоръ и старался проникнуть въ самую глубь души его.

— Не затѣмъ,—сказалъ онъ:—не затѣмъ раздумалъ ты вѣшать ихъ, чтобы передать ихъ судьямъ, а затѣмъ, что сказались они тебѣ людьми царскими. И ты,—продолжалъ царь съ возрастающимъ гнѣвомъ:—ты, вѣдая, что они мои люди, велѣлъ бить ихъ плетьми?

— Государь...

— Довольно! — загремѣлъ Іоаннъ. — Допросъ оконченъ... Братія,—продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ любимцамъ:—говорите, что̀ заслужилъ себѣ бояринъ, князь Никита? Говорите, какъ мыслите; хочу знать, что̀ думаетъ каждый!

Голосъ Іоанна былъ умѣренъ, но взоръ его говорилъ, что онъ въ сердцѣ своемъ уже рѣшилъ участь князя, и что бѣда ожидаетъ того, чей приговоръ окажется мягче его собственнаго.

— Говорите-жъ, люди,—повторилъ онъ, возвышая голосъ:—что̀ заслужилъ себѣ Никита?

— Смерть!—отвѣчалъ царевичъ.

— Смерть!—повторили Скуратовъ, Грязной, отецъ Левкій и оба Басмановы.

— Такъ пусть же пріиметъ онъ смерть!—сказалъ Іоаннъ хладнокровно.—Писано бо: пріемшіе ножъ, ножомъ погибнутъ. Человѣки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Іоанну. Нѣсколько человѣкъ тотчасъ окружили его и вывели изъ палаты.

Многіе послѣдовали за ними посмотрѣть на казнь; другіе остались. Глухой говоръ раздавался въ палатѣ. Царь обратился къ опричникамъ. Видъ его былъ торжественъ.

— Братія!—сказалъ онъ:—правъ ли судъ мой?

— Правъ, правъ! — раздалось между ближними опричниками.

— Правъ, правъ!—повторили отдаленные.

— Не правъ!—сказалъ одинъ голосъ.

Опричники взволновались.

— Кто это сказалъ? Кто вымолвилъ это слово? Кто говоритъ, что не правъ судъ государевъ?—послышалось отовсюду.

На всѣхъ лицахъ изобразилось удивленіе, всѣ глаза засверкали негодованіемъ. Лишь одинъ, самый свирѣпый, не показывалъ гнѣва. Малюта былъ блѣденъ, какъ смерть.

— Кто говоритъ, что не правъ судъ мой?—спросилъ

Іоаннъ, стараясь придать чертамъ своимъ самое спокойное выраженіе.—Пусть, кто говорилъ, выступитъ предъ лицо мое!

— Государь,—произнесъ Малюта въ сильномъ волненіи:—между добрыми слугами твоими теперь много пьяныхъ, много такихъ, которые говорятъ, не помня, не спрошаючи разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, самъ не повѣритъ, какую рѣчь пьянымъ дѣломъ держалъ!

Царь недовѣрчиво взглянулъ на Малюту.

— Отецъ параклисіархъ!—сказалъ онъ, усмѣхаясь:—давно-ль ты умилился сердцемъ?

— Государь!—продолжалъ Малюта:—не вели...

Но уже было поздно.

Сынъ Малюты выступилъ впередъ и стоялъ почтительно передъ Іоанномъ. Максимъ Скуратовъ былъ тотъ самый опричникъ, который спасъ Серебрянаго отъ медвѣдя.

— Такъ это ты, Максимушка, охаиваешь судъ мой?—сказалъ Іоаннъ, посматривая съ недоброю улыбкой то на отца, то на сына.—Ну, говори, Максимушка, почему судъ мой тебѣ не по̀ сердцу?

— Потому, государь, что не выслушалъ ты Серебрянаго, не далъ ему очиститься передъ тобою и не спросилъ его даже, за что онъ хотѣлъ повѣсить Хомяка?

— Не слушай его, государь!—умолялъ Малюта:—онъ пьянъ, ты видишь, онъ пьянъ! Не слушай его! Пошелъ, бражникъ! вишь какъ нарѣзался! Пошелъ, уноси свою голову!

— Максимъ не пилъ ни вина ни меду,—замѣтилъ злобно царевичъ.—Я все время на него смотрѣлъ, онъ и усовъ не омочилъ!

Малюта взглянулъ на царевича такимъ взглядомъ, отъ котораго всякій задрожалъ бы. Но царевичъ считалъ себя недоступнымъ Малютиной мести. Второй сынъ Грознаго, наслѣдникъ престола, вмѣщалъ въ себѣ почти всѣ пороки отца, а злые примѣры все болѣе и болѣе заглушали то, что̀ было въ немъ добраго. Іоаннъ Іоанновичъ уже не зналъ жалости.

— Да,—прибавилъ онъ, усмѣхаясь:—Максимъ не ѣлъ и не пилъ за обѣдомъ. Ему не по̀ сердцу наше житье. Онъ гнушается батюшкиной опричниной.

Въ продолженіе этого разговора Борисъ Годуновъ не спускалъ глазъ съ Іоанна. Онъ, казалось, изучалъ выра-

женіе лица его и тихо, никѣмъ незамѣченный, вышелъ изъ столовой.

Малюта повалился государю въ ноги.

— Батюшка, государь Иванъ Васильевичъ!—проговорилъ онъ, хватаясь за полы царской одежды:—сего утра я, дуракъ глупый, деревенщина необтесанный, просилъ тебя пожаловать мнѣ боярство. Гдѣ былъ разумъ мой? Куда дѣвался смыслъ человѣческій? Мнѣ ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкія слова мои, вели снять съ меня кафтанъ золоченый, одѣнь въ рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молодъ онъ, государь, глупъ, не смыслитъ, что̀ говоритъ! А ужъ если казнить кого, такъ вели меня казнить,—не давай я, дуракъ, напиваться сыну до̀-пьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчасъ самъ на себя руки наложу!

Жалко было видѣть, какъ исказилось лицо Малюты, какъ отчаянье написалось на чертахъ, никогда не отражавшихъ ничего, кромѣ звѣрства.

Царь засмѣялся.

— Не за что казнить ни тебя ни сына твоего!—сказалъ онъ:—Максимъ правъ!

— Что̀ ты, государь?—вскричалъ Малюта:—какъ Максимъ правъ?—И радостное удивленіе его выразилось-было глупою улыбкой, но она тотчасъ исчезла, ибо ему представилось, что царь надъ нимъ издѣвается.

Эти быстрыя перемѣны на лицѣ Малюты были такъ необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смѣяться.

— Максимъ правъ,—повторилъ онъ наконецъ, принимая свой прежній степенный видъ:—я исторопился. Того быть не можетъ, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинилъ на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любилъ его. Онъ былъ мнѣ добрый слуга. Это вы, окаянные,—продолжалъ царь, обращаясь къ Грязному и къ Басмановымъ:—это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вамъ смертнаго убойства? Нужно было извести моего добраго боярина! Что̀ стоите, звѣри! Бѣгите, остановите казнь! Только нѣтъ, и не ходите! Поздно! Я чаю, ужъ слетѣла съ него голова! Вы всѣ заплатите мнѣ за кровь его!

— Не поздно, государь, — сказалъ Годуновъ, возвращаясь въ палату. — Я велѣлъ подождать казнить Сере-

брянаго. На милость образца нѣтъ, государь; а мнѣ вѣдомо, что ты милостивъ, что иной разъ и присудишь и простишь виноватаго. Только уже Серебряный положилъ голову на плаху; палачъ, снѣмши кафтанъ, засуча рукава, ждетъ твоего царскаго велѣнія!

Лицо Іоанна прояснилось.

— Борисъ,—сказалъ онъ:—подойди сюда, добрый слуга мой! Ты одинъ знаешь мое сердце. Ты одинъ вѣдаешь, что я кровь проливаю не ради потѣхи, а чтобъ измѣну вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Ѳедорычъ, я обниму тебя!

Годуновъ наклонился. Царь поцѣловалъ его въ голову.

— Подойди и ты, Максимъ, я тебя къ рукѣ пожалую. Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь! Такъ и напредки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максимъ поклонился въ землю и поцѣловалъ царскую руку.

— Какое идетъ тебѣ жалованье?—спросилъ Іоаннъ.

— Противъ рядовыхъ людей обычное, государь.

— Я сравняю тебя съ начальными людьми. Будетъ тебѣ идти кормъ и всякій обиходъ противу начальныхъ людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языкѣ мотается, говори безъ зазору, проси чего хочешь!

— Государь! не заслужилъ я твоей великой милости, недостоинъ одёжи богатой, есть постарше меня. Объ одномъ прошу, государь. Пошли меня воевать съ Литвой, пошли въ Ливонскую землю; или, государь, на Рязань пошли, татаръ колотить!

Что-то въ родѣ подозрѣнія выразилось въ глазахъ Іоанна.

— Что тебѣ такъ воевать захотѣлось, молодецъ? Аль постыла жизнь слободская?

— Постыла, государь.

— Что такъ?—спросилъ Іоаннъ, глядя пристально на Максима.

Малюта не далъ отвѣчать сыну.

— Государь,—сказалъ онъ:—хотѣлось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотѣлось бы и гривну на золотой цѣпочкѣ получить изъ царскихъ рукъ твоихъ. Горяча въ немъ кровь, государь. Затѣмъ и просится на татаръ да нѣмцевъ.

— Не затѣмъ онъ просится,—подхватилъ царевичъ:—а затѣмъ, чтобы на своемъ поставить: не хочу-де быть

опричникомъ, такъ и не буду! Пусть-де выйдетъ по-моему, а не по-цареву.

— Вотъ какъ!—сказалъ Іоаннъ насмѣшливо.—Такъ ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь какой богатырь! Ну, гдѣ мнѣ, убогому, на тебя! Что-жъ, не хочешь быть опричникомъ, я, пожалуй, велю тебя въ зорники вписать!

— Эхъ, государь!—поспѣшилъ сказать Малюта:—куда твоя милость ни велитъ вписать Максима, вездѣ готовъ онъ служить по указу твоему! Да поди домой, Максимъ,—поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у насъ дѣло въ тюрьмѣ: Колычевыхъ пытаемъ. Поди, Максимъ, поди!

Максимъ удалился. Царь велѣлъ позвать Серебрянаго. Опричники ввели его съ связанными руками, безъ кафтана, воротъ рубахи отстегнутъ. За княземъ вошелъ главный палачъ, Терёшка, засуча рукава, съ блестящимъ топоромъ въ рукахъ. Терёшка вошелъ, потому что не зналъ, прощаетъ ли царь Серебрянаго или хочетъ только измѣнить родъ его казни.

— Подойди сюда, князь! — сказалъ Іоаннъ.—Мои молодцы исторопились-было надъ тобой. Не прогнѣвайся. У нихъ ужъ таковъ обычай: не посмотря въ святцы, да и бухъ въ колоколъ! Того не разочтутъ, что казнить человѣка всегда успѣешь, а слетитъ голова, не приставишь. Спасибо Борису. Безъ него отправили-бъ тебя на тотъ свѣтъ; не у кого было-бъ и про Хомяка спросить. Повѣдай-ка, за что ты напалъ на него?

— За то, государь, что самъ онъ напалъ на безвинныхъ людей среди деревни. Не зналъ я тогда, что онъ слуга твой, и не слыхивалъ до того про опричнину. Ѣхалъ я отъ Литвы къ Москвѣ обратнымъ путемъ, когда Хомякъ съ товарищи нагрянули на деревню и стали людей рѣзать!

— А кабы зналъ ты, что они мои слуги, побилъ бы ты ихъ тогда?

Царь пристально посмотрѣлъ на Серебрянаго. Князь на минуту задумался.

— И тогда побилъ бы, государь,—сказалъ онъ простодушно:—не повѣрилъ бы я, что они по твоему указу душегубствуютъ!

Іоаннъ вперилъ въ князя мрачный взоръ и долго не отвѣчалъ. Наконецъ онъ прервалъ молчаніе.

— Добрый твой отвѣтъ, Никита!—сказалъ онъ, одобри-

тельно кивнувъ головой.—Не для того поставилъ я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинныхъ. Поставлены они, аки добрые псы, боронить отъ пыхающихъ волковъ овцы моя, дабы могъ сказать я на страшномъ судѣ Божіемъ по пророческому словеси: се азъ и дѣти, яже далъ ми Богъ! Добрый твой отвѣтъ. Скажу на весь міръ: ты да Борисъ—вы одни познали меня. Другіе не такъ мыслятъ: называютъ меня кровопійцею, а не вѣдаютъ того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видятъ всѣ: она красна, всякому бросается въ глаза; а сердечнаго плача моего никто не зритъ: слезы безцвѣтно падаютъ мнѣ на душу, но, словно смола горячая, проѣдаютъ, прожигаютъ ее насквозь по вся дни! (И царь при этихъ словахъ поднялъ взоръ свой кверху съ видомъ глубокой горести). Яко же древле Рахиль,—продолжалъ онъ (и глаза его закатились подъ самый лобъ):—яко же древле Рахиль, плачуще о дѣтяхъ своихъ, такъ я, многогрѣшный, плачу о моихъ озорникахъ и злодѣяхъ. Добрый твой отвѣтъ, Никита. Отпускаю тебѣ вину твою. Развяжите ему. Убирайся, Терёшка, ты намъ не надобенъ... Или нѣтъ, погоди маленько!

Іоаннъ обратился къ Хомяку.

— Отвѣчай,—сказалъ онъ грозно:—что вы неистовымъ своимъ обычаемъ въ Медвѣдевкѣ чинили?

Хомякъ взглянулъ искоса на Терёшку, потомъ на Серебрянаго, потомъ почесалъ затылокъ.

— Потравились маленько съ мужиками!—отвѣчалъ онъ полухитро, полудерзко:—нечего грѣха таить; въ томъ виноваты, государь, что съ твоими опальниками потравились. Вѣдь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выраженіе Іоанна смягчилось. Онъ усмѣхнулся.

— Что-жъ,—сказалъ онъ:—удоволенъ ты княжескими шелепугами? Я чай, будетъ съ тебя? Пожалуй, такъ ужъ и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терёшка,—видно, ужъ день такой выпалъ!

При милостивомъ обращеніи Іоанна къ Серебряному, шопотъ удовольствія пробѣжалъ между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этотъ шопотъ, а подозрительный умъ объяснилъ его по-своему. Когда Хомякъ и Терёшка вышли изъ палаты, Іоаннъ устремилъ свой проницательный взоръ на земскихъ бояръ.

— Вы,—сказалъ онъ строго:—не думайте, глядя на судъ мой, что я вамъ началъ мирволить!—И въ то же

время въ безпокойной душѣ его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишетъ его милосердіе послабленію. Въ эту минуту онъ пожалѣлъ, что простилъ его, и захотѣлъ поправить свою ошибку.

— Слушай!—произнесъ онъ, глядя на князя:—я помиловалъ тебя сегодня за твое правдивое слово и прощенія моего назадъ не возьму. Только знай, что если будетъ на тебѣ какая новая вина, я взыщу съ тебя и старую. Ты же тогда, вѣдая за собою свою неправду, не захоти уходить въ Литву или къ хану, какъ иные чинятъ, а дай мнѣ теперь же клятву, что гдѣ бы ты ни былъ, ты вездѣ будешь ожидать наказанія, какое захочу положить на тебя.

— Государь, — сказалъ Серебряный:—жизнь моя въ рукѣ твоей. Хорониться отъ тебя не въ моемъ обычаѣ. Обѣщаю тебѣ, если будетъ на мнѣ какая вина, ожидать твоего суда и отъ воли твоей не уходить!

— Цѣлуй же мнѣ на томъ крестъ! — сказалъ важно Іоаннъ, и, приподнимая висѣвшій у него на груди узорный крестъ, онъ подалъ его Серебряному, съ косвеннымъ взглядомъ на земскихъ бояръ.

Среди общаго молчанія слышно было бряцаніе золотой цѣпи, когда Іоаннъ выпустилъ изъ рукъ изображеніе Спасителя, къ которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

— Теперь ступай!—сказалъ Іоаннъ:—и молись премилостивой Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, чтобы сохранили тебя отъ новой, хотя бы и легкой вины!

— Вы же,—прибавилъ онъ, глядя на земскихъ бояръ:—вы, слышавшіе нашъ уговоръ, не ждите новаго прощенія Никитѣ и не помыслите печаловаться мнѣ о немъ, если онъ въ другой разъ заслужитъ гнѣвъ мой!

Облекши такимъ образомъ возможность будущаго произвола надъ Серебрянымъ въ подобіе нравственнаго права, Іоаннъ выразилъ на лицѣ своемъ удовлетвореніе.

— Ступайте всѣ,—сказалъ онъ:—каждый къ своему дѣлу! Земскимъ вѣдать приказы попрежнему, а опричникамъ, избраннымъ слугамъ и полчанамъ моимъ помнить свое крестное цѣлованіе и не смущаться тѣмъ, что я сегодня простилъ Никиту: нѣсть бо въ сердцѣ моемъ лицепріятія ни къ ближнимъ ни къ дальнимъ!

Стали расходиться. Каждый побрелъ домой, унося съ собою кто страхъ, кто печаль, кто злобу, кто разныя надежды,

кто просто хмель въ головѣ. Слобода покрылась мракомъ; мѣсяцъ зарождался за лѣсомъ. Страшенъ казался темный дворецъ, съ своими глазами, теремками и гребнями. Онъ издали походилъ на чудовище, свернувшееся клубомъ и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно свѣтилось словно око чудовища. То была царская опочивальня. Тамъ усердно молился царь.

Молился онъ о тишинѣ на святой Руси, молился о томъ, чтобы далъ ему Господь побороть измѣну и непокорство, чтобы благословилъ его окончить дѣло великаго поту, сравнять сильныхъ со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы всѣ были въ равенствѣ, а онъ бы стоялъ одинъ надо всѣми, аки дубъ во чистомъ полѣ!

Молится царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косящатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ насъ не спрошаючи: не расти двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ со пригорками, не бывать на землѣ безбоярщинѣ!

ГЛАВА X.

Отецъ и сынъ.

Была уже ночь, когда Малюта, послѣ пытки Колычевыхъ, родственниковъ и друзей сведеннаго митрополита, вышелъ наконецъ изъ тюрьмы. Густыя тучи, какъ черныя горы, нависли надъ слободою и грозили непогодой. Въ домѣ Малюты всѣ уже спали. Не спалъ одинъ Максимъ. Онъ вышелъ навстрѣчу къ отцу.

— Батюшка,—сказалъ Максимъ:—я ждалъ тебя; мнѣ нужно переговорить съ тобою.

— О чемъ?—спросилъ Малюта и невольно отворотилъ взглядъ. Григорій Лукьяновичъ никогда не дрожалъ передъ врагомъ, но въ присутствіи Максима ему было неловко.

— Я завтра ѣду,—продолжалъ Максимъ:—прости, батюшка!

— Куда?—спросилъ Малюта, и этотъ разъ устремилъ тусклый взглядъ свой на Максима.

— Куда глаза глядятъ, батюшка; земля не клиномъ сошлась, мѣста довольно!

— Да что ты, съ ума спятилъ? И подлинно дурь на себя напустилъ! Что ты сегодня за обѣдомъ надѣлалъ? Какъ у тебя языкъ повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто онъ и кто ты?

— Знаю, батюшка, и знаю, что онъ мнѣ за то спасибо сказалъ. А все же мнѣ нельзя оставаться.

— Ахъ ты самодуръ! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что сталось съ тобой сегодня? Отчего ты теперь уѣзжать вздумалъ, когда царь тебя пожаловать изволилъ, съ начальными людьми сравнялъ? Отчего именно теперь?

— Мнѣ давно тяжело съ вами, батюшка, ты самъ знаешь, но я не довѣрялъ себѣ; съ самаго дѣтства только и слышалъ отовсюду, что царева воля—Божья воля, что нѣтъ тяжелѣе грѣха, какъ думать иначе, чѣмъ царь. И отецъ Левкій, и всѣ попы слободскіе мнѣ на духу въ великій грѣхъ ставили, что я къ вамъ не мыслю. Поневолѣ иногда раздумье брало, правъ ли я одинъ противу всѣхъ васъ? Поневолѣ уѣзжать откладывалъ. А сегодня,— продолжалъ Максимъ, и румянецъ живо заигралъ на лицѣ его:—сегодня я понялъ, что я правъ! Какъ услышалъ князя Серебрянаго, какъ узналъ, что онъ твой объѣздъ за душегубство разбилъ и не заперся передъ царемъ въ своемъ правомъ дѣлѣ, но, какъ мученикъ, пошелъ за него на смерть—тогда забилось къ нему сердце мое, какъ ни къ кому еще не бивалось, и вышло изъ мысли моей колебаніе, и стало мнѣ ясно, какъ день, что не на вашей сторонѣ правда!

— Такъ вотъ кто тебя съ толку сбилъ!—вскричалъ Малюта, и безъ того озлобленный на Серебрянаго:—такъ вотъ кто тебя съ толку сбилъ! Попадись онъ мнѣ только въ руки—не скорою смертью издохнетъ онъ у меня, собака!

— Господь сохранитъ его отъ рукъ твоихъ!—сказалъ Максимъ, дѣлая крестное знаменіе:—не попуститъ Онъ тебя все доброе на Руси погубить! Да,—продолжалъ, одушевляясь, сынъ Малюты:—лишь увидѣлъ я князя Никиту Романыча, понялъ, что хорошо-бъ жить вмѣстѣ съ нимъ, и захотѣлось мнѣ попроситься къ нему, но совѣстно подойти было: очи мои на него не поднимутся, пока буду эту одёжу носить!

Малюта слушалъ сына, и два чувства спорили въ немъ между собою. Ему хотѣлось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами къ повиновенію, но невольное уваженіе сковывало его злобу. Онъ

понималъ чутьемъ, что угроза теперь не подѣйствуетъ, и въ низкой душѣ своей началъ искать другихъ средствъ, чтобъ удержать сына.

— Максимушка!—сказалъ онъ, принимая заискивающій видъ, насколько позволяло звѣрское лицо его:—не въ пору ты уѣзжать затѣялъ! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугалъ ты меня порядкомъ, да заступились, видно, святые угодники за насъ, умягчили сердце батюшки-государя. Вмѣсто чтобъ казнить, онъ похвалилъ тебя, и жалованья тебѣ прибавилъ, и собольею шубою пожаловалъ! Посмотри, коли ты теперь въ гору не пойдешь! А покамѣстъ, чѣмъ тебѣ здѣсь не житье?

Максимъ бросился въ ноги Малютѣ.

— Не житье мнѣ здѣсь, батюшка, не житье! Не по силамъ дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плачъ по вся дни, невтерпёжъ видѣть, что отецъ мой...

Максимъ остановился.

— Ну?—сказалъ Малюта.

— Что отецъ мой—палачъ!—произнесъ Максимъ и опустилъ взоръ, какъ бы испугавшись, что могъ сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этимъ названіемъ.

— Палачъ палачу рознь!—произнесъ онъ, покосившись въ уголъ избы.—Ино рядовой человѣкъ, ино начальный; ино простыхъ воровъ казнить, ино бояръ, что̀ подтачиваютъ царскій престолъ и всему государству шатанье готовятъ. Я въ разбойный приказъ не вступаюсь; мой топоръ только и сѣчетъ, что измѣнничьи боярскія головы!

— Замолчи, отецъ!—сказалъ, вставая, Максимъ:—не возмущай мнѣ сердца такою рѣчью! Кто изъ тѣхъ, кого погубилъ ты, умышлялъ на царя? Кто изъ нихъ замутилъ государство? Не по винамъ, а по злобѣ своей сѣчешь ты боярскія головы! Кабы не ты, и царь бы былъ милостивѣе. Но вы ищете измѣны, вы пытками вымучиваете извѣты, вы, вы—всей крови заводчики! Нѣтъ, отецъ, не гнѣви Бога, не клевещи на бояръ, а скажи лучше, что безъ разбора хочешь въ конецъ извести боярскій корень!

— Да ты-то съ чего за нихъ заступаешься?—сказалъ съ злобною усмѣшкой Малюта.—Или тебѣ весело видѣть, что ты какъ ни статенъ, какъ ни красенъ собой, а все остаешься между ними послѣдній? А чѣмъ любой изъ нихъ не по плечу тебѣ? Чѣмъ гордятся они передъ нами? Изъ другой, что ли, земли Господь ихъ вылѣпилъ? Коли

богачествомъ гордятся, такъ дайте срокъ, государи! Царь не забываетъ вѣрныхъ слугъ своихъ; а какъ дойдутъ до смертной казни Колычевы, такъ животы ихъ не кому другому, а намъ же достанутся. Довольно я надъ ними, окаянными, въ застѣнкѣ-то промучился: жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба закипѣла въ сердцѣ Малюты, но онъ еще надѣялся убѣдить Максима и скривилъ ротъ свой въ ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малютѣ, и, глядя на нее, Максиму сдѣлалось страшно.

Но Малюта этого не замѣтилъ.

— Максимушка,—сказалъ онъ:—на кого же я денежки-то копилъ? На кого тружусь и работаю? Не уѣзжай отъ меня, останься со мной! Ты еще молодъ, не поспѣлъ еще въ ратный строй. Не уѣзжай отъ меня! Вспомни, что я тебѣ отецъ! Какъ посмотрю на тебя, такъ и прояснится на душѣ, словно царь меня похвалилъ или къ рукѣ пожаловалъ, а обидь тебя кто,—такъ, кажется, и съѣлъ бы живого!

Максимъ молчалъ. Малюта постарался придать лицу своему самое нѣжное выраженіе.

— Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мнѣ въ сердцѣ не шелохнется?

— Ничего, батюшка!

Малюта подавилъ свою злобу.

— А царь что̀ скажетъ, когда узна̀етъ про твой отъѣздъ, коли подумаетъ, что ты отъ него уѣхалъ?

— Отъ него-то я и ѣду, батюшка. Меня страхъ беретъ. Знаю, что Богъ велитъ любить его, а какъ посмотрю иной разъ, какія дѣла онъ творитъ, такъ все нутро во мнѣ перевернется. И хотѣлось бы любить, да силъ не хватаетъ. Какъ уѣду изъ слободы, да не будетъ у меня безвинной крови передъ очами, тогда, дастъ Богъ, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и такъ ему послужу, только бы не въ опричникахъ!

— А что̀ будетъ съ матерью твоею?—сказалъ Малюта, прибѣгая къ послѣднему средству.—Не пережить ей такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хворая!

— Премилостивый Богъ не оставитъ матери моей,—отвѣтилъ со вздохомъ Максимъ.—Она проститъ меня.

Малюта началъ ходить по избѣ взадъ и впередъ.

Когда остановился онъ передъ Максимомъ, ласковое вы-

раженіе, къ которому онъ приневолилъ черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

— Слушай, молокососъ, — сказалъ онъ, перемѣняя пріемы и голосъ: — доселѣ я упрашивалъ тебя, теперь скажу вотъ что: нѣтъ тебѣ на отъѣздъ моего благословенія. Не пущу тебя ѣхать. А не уймешься,—завтра же заставлю своими руками злодѣевъ царскихъ казнить. Авось, когда самъ окровавишься, бросишь быть бѣлоручкой, перестанешь отцомъ гнушаться!

Поблѣднѣлъ Максимъ отъ рѣчи Малюты и не отвѣчалъ ничего. Зналъ онъ, что крѣпко слово Григорія Лукьяновича, и что не переломить ему отцовской воли.

— Вишь,—продолжалъ Малюта:—разговорился я съ тобой. Скоро ночь глубокая, пора къ царю ключи отъ тюрьмы отнести. Вотъ и дождь полилъ! Подай мнѣ терликъ. Смотри, пожалуй, какой сталъ прыткій! «Ѣхать хочу, не житье мнѣ здѣсь!» Дай ему воли—пожалуй, и меня на свой ладъ переиначитъ! Нѣтъ, братъ, рано крылышки распустилъ! Я и не такихъ, какъ ты, унималъ! Я-те научу слушаться! Эхъ, погода, погода! Подай мнѣ шапку! А молонья-то, молонья! Ишь какъ небо разѣвается, словно вся слобода загорѣлась. Заволоки окно да ступай спать, авось къ утру выкинешь дурь изъ головы. А ужъ до твоего Серебрянаго я доберусь! Ужъ я ему это припомню!

Малюта вышелъ. Оставшись одинъ, Максимъ задумался. Все было тихо въ домѣ; лишь на дворѣ гроза шумѣла, да время отъ времени вѣтеръ, ворвавшись въ окно, качалъ цѣпи и кандалы, висѣвшія на стѣнѣ, и онѣ, ударяя одна о другую, звенѣли зловѣщимъ желѣзнымъ звономъ. Максимъ подошелъ къ лѣстницѣ, которая вела въ верхнее жилье, къ его матери. Онъ наклонился и сталъ прислушиваться. Все молчало въ верхнемъ жильѣ. Максимъ тихонько взошелъ по крутымъ ступенямъ и остановился передъ дверью, за которою покоилась мать его.

— Господи Боже мой!—сказалъ Максимъ про себя:—Ты зришь мое сердце, вѣдаешь мои мысли! Ты знаешь, Господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, Боже мой, аще преступаю Твою заповѣдь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя безъ вѣдома твоего, уѣзжаю безъ благословенія; знаю, матушка, что надорву тебя сердцемъ,

но ты-бъ не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня болѣ!

Максимъ припалъ къ порогу свѣтлицы и облобызалъ его. Потомъ онъ нѣсколько разъ перекрестился, сошелъ съ лѣстницы и вышелъ на дворъ. Дождь лилъ такъ сердито, какъ бы злился на весь людъ Божій. На дворѣ не было живой души. Максимъ вошелъ въ конюшню; конюхи спали. Онъ самъ вывелъ изъ стойла любимаго коня и осѣдлалъ его. Большая цѣпная собака, прикованная у входа, вылѣзла изъ конуры и стала визжать и рваться, какъ бы чуя съ нимъ разлуку. То былъ косматый песъ изъ породы пастушьихъ волкодавовъ. Длинная и жесткая шерсть дымчато-бураго цвѣта падала ему въ безпорядкѣ на черную морду, такъ что почти вовсе не было видно умныхъ глазъ его.

Максимъ погладилъ собаку, а она положила ему свои черныя лапы на плечи и стала лизать его лицо.

— Прощай, Буянъ!—сказалъ Максимъ:—стереги домъ нашъ, служи вѣрно матери!—Онъ вскочилъ въ сѣдло, выѣхалъ въ ворота и ускакалъ отъ родительскаго дома.

Еще не доскакалъ онъ до земляного валу, какъ услышалъ громкій лай и увидѣлъ Буяна, который прыгалъ вокругъ коня, радуясь, что сорвался съ цѣпи и что можетъ сопутствовать своему господину.

ГЛАВА XI.

Ночное шествіе.

Пока Малюта разговаривалъ съ сыномъ, царь продолжалъ молиться. Уже потъ катился съ лица его; уже кровавые знаки, напечатлѣнные на высокомъ челѣ прежними земными поклонами, яснѣе обозначались отъ новыхъ поклоновъ; вдругъ шорохъ въ избѣ заставилъ его обернуться. Онъ увидѣлъ свою мамку, Онуфревну.

Стара была его мамка. Взялъ ее въ Верхъ еще блаженной памяти великій князь Василій Іоанновичъ; служила она еще Еленѣ Глинской. Іоаннъ родился у нея на рукахъ; у нея же на рукахъ благословилъ его умирающій отецъ. Говорили про Онуфревну, что многое ей извѣстно, о чемъ никто и не подозрѣваетъ. Въ малолѣтство царя Глинскіе боялись ее, Шуйскіе и Бѣльскіе старались всячески угождать ей.

Много сокрытаго узнавала Онуфревна посредствомъ га-

данья и никогда не ошибалась. Въ самое величіе князя Телепнева—Іоанну тогда было четыре года—она предсказала князю, что онъ умретъ голодною смертью. Такъ и сбылось. Много лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, а еще свѣжо было въ памяти стариковъ это предсказанье.

Теперь Онуфревнѣ добивалъ чуть ли не десятый десятокъ. Она согнулась почти вдвое; кожа на лицѣ ея такъ сморщилась, что стала походить на древесную кору, и какъ на старой корѣ пробивается мохъ, такъ на бородѣ Онуфревны пробивались волосы сѣдыми клочьями. Зубовъ у нея давно уже не было; глаза, казалось, не могли видѣть; голова судорожно шаталась.

Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрѣла она на Іоанна, вбирая въ себя пожелтѣвшія губы, какъ будто бы что-то жевала или бормотала.

— Что?—сказала наконецъ мамка глухимъ, дребезжащимъ голосомъ:—молишься, батюшка? Молись, молись, Иванъ Васильевичъ! Много тебѣ еще отмаливаться! Еще-бъ одни старые грѣхи лежали на душѣ твоей! Господь-то милостивъ, авось и простилъ бы! А то вѣдь у тебя что ни день, то новый грѣхъ, а иной разъ и по два и по три на день придется!

— Полно, Онуфревна, — сказалъ царь, вставая: — сама не знаешь, что говоришь!

— Не знаю, что говорю! Да развѣ я изъ ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблистали.

— Да что ты сегодня за столомъ сдѣлалъ? За что отравилъ боярина-то? Ты думалъ, я и не знаю! Что? Чего брови-то хмуришь? Вотъ погоди, какъ пробьетъ твой смертный часъ, погоди только! Ужъ привяжутся къ тебѣ грѣхи твои, какъ тысячи тысячъ пудовъ; ужъ потянутъ тебя на дно адово! А дьяволы-то подскочатъ да и подхватятъ тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя къ мыслямъ набожнымъ. Раздражительное воображеніе не разъ уже представляло ему картину будущаго возмездія, но сила воли одолѣвала страхъ загробныхъ мученій. Іоаннъ увѣрялъ себя, что страхъ этотъ и даже угрызенія совѣсти возбуждаемы въ немъ врагомъ рода человѣческаго, чтобы отвлечь помазанника Божія отъ высокихъ его начинаній. Хитростямъ дьявола царь противопоставилъ молитву, но

часто изнемогалъ подъ жестокимъ напоромъ воображенія. Тогда отчаяніе схватывало его какъ желѣзными когтями. Неправость дѣлъ его являлась во всей наготѣ, и страшно зіяли передъ нимъ адскія бездны. Но это продолжалось недолго. Вскорѣ Іоаннъ негодовалъ на свое малодушіе. Въ гнѣвѣ на самого себя и на духа тьмы, онъ опять, на зло аду и наперекоръ совѣсти, начиналъ дѣло великой крови, великаго поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, какъ послѣ невольнаго изнеможенья.

Теперь мысль объ адѣ, оживленная наступающею грозой и пророческимъ голосомъ Онуфревны, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Онъ сѣлъ на постель. Зубы его застучали одинъ о другой.

— Ну что̀, батюшка? — сказала Онуфревна, смягчая свой голосъ:—что̀ съ тобой сталось? Захворалъ, что ли? Такъ и есть, захворалъ! Напугала же я тебя! Да нужды нѣтъ, утѣшься, батюшка: хоть и велики грѣхи твои, а благость-то Божія еще больше! Только покайся, да впередъ не грѣши. Вотъ и я молюсь, молюсь о тебѣ, и денно и нощно, а теперь и того болѣ стану молиться! Что̀ тутъ говорить? Ужъ лучше сама въ рай не попаду, да тебя отмолю!

Іоаннъ взглянулъ на свою мамку,—она какъ будто улыбалась, но непривѣтлива была улыбка на суровомъ лицѣ ея.

— Спасибо, Онуфревна, спасибо; мнѣ легче; ступай себѣ съ Богомъ!

— То-то легче! Какъ обнадежишь тебя, куда и страхъ дѣвался!—ужъ и гнать меня вздумалъ: ступай, молъ, съ Богомъ! А ты на долготерпѣніе-то Божіе слишкомъ не разсчитывай, батюшка. На тебя и у самого у Господа терпѣнія-то не станетъ. Отречется Онъ отъ тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шархъ!—и войдетъ въ тебя. Ну вотъ, опять дрожать началъ! Не худо-бъ тебѣ сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивалъ, царствіе ему небесное! И матушка твоя, упокой, Господи, душу ея, любила сбитень. Въ сбитнѣ-то и опоили ее проклятые Шуйскіе!

Старуха какъ будто забылась. Глаза ея померкли; она опять принялась жевать губами, безпрерывно шатая головой.

Вдругъ что-то застучало въ окно. Иванъ Васильевичъ вздрогнулъ.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

— Вишь,—сказала она:—дождь полилъ! И молонья блистать начинаетъ! А вотъ и громъ, батюшка, — помилуй насъ, Господи!

Гроза усиливалась все болѣе и скоро разыгралась по небу безпрерывными перекатами, безпрестанною молніей.

При каждомъ ударѣ грома Іоаннъ вздрагивалъ.

— Вишь какой у тебя ознобъ, батюшка! Вотъ погоди маленько, я велю тебѣ сбитеньку заварить.

— Не надо, Онуфревна, я здоровъ...

— Здоровъ! Да на тебѣ лица не видать. Ты-бъ на постелю-то легъ, одѣяломъ-то прикрылся бы. И что-й-то у тебя за постель, право! Доски голыя. Охота тебѣ! Царское ли это дѣло! Вѣдь это хорошо монаху, а ты не монахъ какой!

Іоаннъ не отвѣчалъ. Онъ къ чему-то прислушивался.

— Онуфревна,—сказалъ онъ вдругъ съ испугомъ:—кто тамъ ходитъ въ сѣняхъ? Я слышу шаги чьи-то!

— Христосъ съ тобой, батюшка!—кому теперь ходить? Послышалось тебѣ.

— Идетъ, идетъ кто-то! Идетъ сюда!.. Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь. Холодный вѣтеръ пахнулъ въ избу.

За дверью показался Малюта.

— Кто это?—спросилъ царь, вскакивая.

— Да твой рыжій пёсъ, батюшка,—отвѣчала мамка, сердито глядя на Малюту:—Гришка Скуратовъ; вишь какъ напугалъ, проклятый!

— Лукьянычъ!—сказалъ царь, обрадованный приходомъ любимца:—добро пожаловать, откуда?

— Изъ тюрьмы, государь: былъ у розыску, ключи принесъ!

Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

— Ключи!—проворчала старуха:—ужъ припекутъ тебя на томъ свѣтѣ раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-Богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Ужъ кому другому, а тебѣ не миновать огня вѣчнаго! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячія за всѣ клеветы свои! Будешь, проклятый, въ смолѣ кипѣть, помяни мое слово!

Молнія освѣтила грозящую старуху, и страшна была она съ подъятою клюкой, съ сверкающими глазами.

Самъ Малюта нѣсколько струсилъ; но Іоанна ободрило присутствіе любимца.

— Не слушай ея, Лукьянычъ,—сказалъ онъ:—знай свое дѣло, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себѣ, старая дура, оставь насъ!

Глаза Онуфревны снова засверкали.

— Старая дура?—повторила она:—я старая дура? Вспомянете вы меня на томъ свѣтѣ, оба вспомянете! Всѣ твои поплечники, Ваня, всѣ примутъ мзду свою, еще въ сей жизни примутъ,—и Грязной, и Басмановъ, и Вяземскій: коемуждо воздастся по дѣламъ его, а этотъ,—продолжала она, указывая клюкою на Малюту:—этотъ не приметъ мзды своей; по его дѣламъ нѣтъ и мукѝ на землѣ; его мука на днѣ адовомъ; тамъ ему и мѣсто готово; ждутъ его дьяволы и радуются ему. И тебѣ есть тамъ мѣсто, Ваня, великое, теплое мѣсто!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.

Іоаннъ былъ блѣдѣнъ. Малюта не говорилъ ни слова. Молчаніе продолжалось довольно долго.

— Что-жъ, Лукьянычъ,—сказалъ наконецъ царь:—винятся Колычевы?

— Нѣтъ еще, государь. Да ужъ повинятся, у меня не откашляются!

Іоаннъ вошелъ въ подробности допроса. Разговоръ о Колычевыхъ далъ его мыслямъ другое направленіе.

Ему показалось, что онъ можетъ заснуть. Отославъ Малюту, онъ легъ на постель и забылся.

Его разбудилъ какъ будто внезапный толчокъ.

Изба слабо освѣщалась образными лампадами. Лучъ мѣсяца, проникая сквозь низкое окно, игралъ на расписанныхъ изразцахъ лежанки. За лежанкой кричалъ сверчокъ. Мышь грызла гдѣ-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сдѣлалось страшно.

Вдругъ ему почудилось, что приподнимается половица и смотритъ изъ-подъ нея отравленный бояринъ.

Такія видѣнія случались съ Іоанномъ нерѣдко. Онъ приписывалъ ихъ адскому мороченью. Чтобы прогнать призракъ, онъ перекрестился.

Но призракъ не исчезъ, какъ то случалось прежде. Мертвый бояринъ продолжалъ смотрѣть на него испод-

лобья. Глаза старика были такъ же на выкатѣ, лицо такъ же сине, какъ за обѣдомъ, когда онъ выпилъ присланную Іоанномъ чашу.

«Опять навожденіе!—подумалъ царь:—но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснетъ Богъ и да расточатся врази его!»

Мертвецъ медленно вытянулся изъ-подъ полу и приблизился къ Іоанну.

Царь хотѣлъ закричать, но не могъ. Въ ушахъ его страшно звенѣло.

Мертвецъ наклонился передъ Іоанномъ.

— Здравъ буди, Иване!—произнесъ глухой нечеловѣческій голосъ:—се кланяюся тебѣ, иже погубилъ еси мя безвинно!

Слова эти отозвались въ самой глубинѣ души Іоанна. Онъ не зналъ, отъ призрака ли ихъ слышитъ, или собственная его мысль выразилась ощущительнымъ для уха звукомъ.

Но вотъ приподнялась другая половица; изъ-подъ нея показалось лицо окольничаго Данилы Адашева, казненнаго Іоанномъ четыре года тому назадъ.

Адашевъ также вытянулся изъ-подъ полу, поклонился царю и сказалъ:

— Здравъ буди, Иване! се кланяюся тебѣ, иже казнилъ мя еси безвинно!

За Адашевымъ явилась боярыня Марія, казненная вмѣстѣ съ дѣтьми. Она поднялась изъ-подъ полу съ пятью сыновьями. Всѣ поклонились царю, и каждый сказалъ:

— Здравъ буди, Иване! се кланяюся тебѣ!

Потомъ показались князь Курлятевъ, князь Оболенскій, Никита Шереметевъ и другіе казненные или убитые Іоанномъ.

Изба наполнилась мертвецами. Всѣ они низко кланялись царю, всѣ говорили:

— Здравъ буди, здравъ буди, Иване! се кланяемся тебѣ!

Вотъ поднялись монахи, старцы, инокини, всѣ въ черныхъ ризахъ, всѣ блѣдные, кровавые.

Вотъ показались воины, бывшіе съ царемъ подъ Казанью.

На нихъ зіяли страшныя раны, но не въ бою добытыя, а нанесенныя палачами.

Вотъ явились дѣвы въ растерзанной одеждѣ и моло-

дыя жены съ грудными младенцами. Дѣти протягивали къ Іоанну окровавленныя ручонки и лепетали:

— Здравъ буди, здравъ буди, Иване, иже погубилъ еси насъ безвинно!

Изба все болѣе наполнялась призраками. Царь не могъ уже различать воображенія отъ дѣйствительности.

Слова призраковъ повторялись стократными отголосками. Отходныя молитвы и панихидное пѣніе въ то же время раздавались надъ самыми ушами Іоанна. Волосы его стояли дыбомъ.

— Именемъ Бога живаго!—произнесъ онъ:—если вы бѣсы, насланные вражьею силою,—сгиньте! Если вы вправду души казненныхъ мною—дожидайтесь страшнаго суда Божія! Господь меня съ вами разсудитъ!

Взвыли мертвецы и закружились вокругъ Іоанна, какъ осенніе листья, гонимые вихремъ. Жалобнѣе раздалось панихидное пѣніе; дождь опять застучалъ въ окно, и среди шума вѣтра царю послышались какъ будто звуки трубъ и голосъ, взывающій:

— Иване, Иване! на судъ, на судъ!

Царь громко вскрикнулъ. Спальники вбѣжали изъ сосѣднихъ покоевъ въ опочивальню.

— Вставайте!—закричалъ царь:—кто спитъ теперь! Насталъ послѣдній день, насталъ послѣдній часъ! Всѣ въ церковь! Всѣ за мной!

Царедворцы засуетились. Раздался благовѣстъ. Только-что уснувшіе опричники услышали знакомый звонъ, вскочили съ палатей и спѣшили одѣться.

Многіе изъ нихъ пировали у Вяземскаго. Они сидѣли за кубками и пѣли удалыя пѣсни. Услышавъ звонъ, они вскочили и надѣли черныя рясы поверхъ богатыхъ кафтановъ, а головы накрыли высокими шлыками.

Вся слобода пришла въ движеніе. Церковь Божіей Матери ярко освѣтилась. Встревоженные жители бросились къ воротамъ и увидѣли множество огней, блуждающихъ во дворцѣ изъ покоя въ покой. Потомъ огни образовали длинную цѣпь, и шествіе потянулось змѣею по наружнымъ переходамъ, соединявшимъ дворецъ съ храмомъ Божіимъ.

Всѣ опричники, одѣтые однолично въ шлыки и черныя рясы, несли смоляные свѣточи. Блескъ ихъ чудно игралъ на рѣзныхъ столбахъ и на стѣнныхъ украшеніяхъ. Вѣтеръ раздувалъ рясы, а лунный свѣтъ вмѣстѣ съ огнемъ отражался на золотѣ, жемчугѣ и дорогихъ каменьяхъ.

Впереди шелъ царь, одѣтый инокомъ, билъ себя въ грудь и взывалъ, громко рыдая:

— Боже, помилуй мя грѣшнаго! Помилуй мя, смраднаго пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, Господи, души побитыхъ мною безвинно!

У преддверія храма Іоаннъ упалъ въ изнеможеніи.

Свѣточи озарили старуху, сидѣвшую на ступеняхъ. Она протянула къ царю дрожащую руку.

— Встань, батюшка!—сказала Онуфревна:—я помогу тебѣ. Давно я жду тебя. Войдемъ, Ваня, помолимся вмѣстѣ!

Двое опричниковъ подняли царя подъ руки. Онъ вошелъ въ церковь.

Новыя шествія, также въ черныхъ рясахъ, также въ высокихъ шлыкахъ, спѣшили по улицамъ съ зажженными свѣточами. Храмовыя врата поглощали все новыхъ и новыхъ опричниковъ, и исполинскіе лики святыхъ смотрѣли на нихъ, негодуя, съ высоты стѣнъ и главъ церковныхъ.

Среди ночи, дотолѣ безмолвной, раздалось пѣніе нѣсколькихъ сотъ голосовъ, и далеко слышны были звонъ колокольный и протяжные псалмы.

Узники въ темницахъ вскочили, гремя цѣпями, и стали прислушиваться.

— Это царь заутреню служитъ!—сказали они.—Умягчи, Боже, его сердце, вложи милость въ душу его!

Маленькія дѣти въ слободскихъ домахъ, спавшія близъ матерей, проснулись въ испугѣ и подняли плачъ.

Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

— Молчи!—говорила она наконецъ:—молчи, не то Малюта услышитъ!

И при имени Малюты ребенокъ переставалъ плакать, въ испугѣ прижимался къ матери, и среди ночного безмолвія раздавались опять лишь псалмы опричниковъ да безпрерывный звонъ колокольный.

ГЛАВА XII.

Клевета.

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, онъ не нашелъ сына и догадался, что Максимъ навсегда бросилъ слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во всѣ концы поска-

кала погоня. Конюховъ, проспавшихъ отъѣздъ Максима, Малюта велѣлъ тотчасъ вкинуть въ темницу.

Нахмуря брови, стиснувъ зубы, ѣхалъ онъ по улицѣ и раздумывалъ: доложить ли царю или скрыть отъ него бѣгство Максима.

Конскій топотъ и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевичъ съ Басмановымъ и толпою молодыхъ удальцовъ возвращался съ утренней прогулки. Рыхлая земля размокла отъ дождя, кони ступали въ грязи по самыя бабки. Завидѣвъ Малюту, царевичъ пустилъ своего аргамака вскачь и обрызгалъ грязью Григорія Лукьяновича.

— Кланяюсь тебѣ земно, боярин Малюта!—сказалъ царевичъ, останавливая коня.—Встрѣтили мы тотчасъ твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что онъ отъ тебя тягу далъ. Али ты, можетъ, самъ послалъ его къ Москвѣ за боярскою шапкой, да потомъ раздумалъ?

И царевичъ захохоталъ.

Малюта, по обычаю, слѣзъ съ коня. Стоя съ обнаженною головой, онъ всею ладонью стиралъ грязь съ лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотѣли пронзить царевича.

— Да что онъ грязь-то стираетъ?—замѣтилъ Басмановъ, желая подслужиться царевичу:—добро на комъ другомъ, а на немъ незамѣтно!

Басмановъ говорилъ вполголоса, но Скуратовъ его услышалъ. Когда вся толпа, смѣясь и разговаривая, ускакала за царевичемъ, онъ надѣлъ шапку, влѣзъ опять на коня и шагомъ поѣхалъ ко дворцу.

«Добро!—думалъ онъ про себя:—дайте срокъ, государи, дайте срокъ!» И поблѣднѣвшія губы его скривились въ улыбку, и въ сердцѣ, уже раздраженномъ сыновнимъ побѣгомъ, медленно созрѣвало надежное мщеніе неосторожнымъ оскорбителямъ.

Когда Малюта вошелъ во дворецъ, Иванъ Васильевичъ сидѣлъ одинъ въ своемъ покоѣ. Лицо его было блѣдно, глаза горѣли. Черную рясу замѣнилъ онъ желтымъ становымъ кафтаномъ, стеганымъ полосами и подбитымъ голубою бахтой. Восемь шелковыхъ завязокъ съ длинными кистями висѣли вдоль разрѣза. Посохъ и колпакъ, украшенный большимъ изумрудомъ, лежали передъ царемъ на столѣ. Ночныя видѣнія, безпрерывная молитва, отсутствіе сна не истощили силъ Іоанновыхъ, но лишь привели

его въ высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьемъ дьявола. Царь стыдился своего страха.

— Врагъ имени Христова,—думалъ онъ:—упорно перечитъ мнѣ и помогаетъ моимъ злодѣямъ. Но не дамъ ему надо мною тѣшиться! Не устрашуся его навожденій! Покажу ему, что не по плечу онъ себѣ борца нашелъ!»

И рѣшился царь карать попрежнему измѣнниковъ и предавать смерти злодѣевъ своихъ, хотя были-бъ ихъ тысячи.

И сталъ онъ мыслію пробѣгать подданныхъ и между ними искать предателей.

Каждый взглядъ, каждое движеніе теперь казались ему подозрительными.

Онъ припоминалъ разныя слова своихъ приближенныхъ и въ словахъ этихъ искалъ ключа къ заговорамъ. Самые родные не избѣжали его подозрѣній.

Малюта засталъ его въ состояніи, похожемъ на лихорадочный бредъ.

— Государь, — сказалъ, помолчавъ, Григорій Лукьяновичъ:—ты велишь пытать Колычевыхъ про новыхъ измѣнниковъ. Ужъ положись на меня. Я про все заставлю Колычевыхъ съ пытокъ разсказать. Одного только не сумѣю: не сумѣю заставить ихъ назвать твоего нàбольшаго супротивника!

Царь съ удивленіемъ взглянулъ на любимца.

Въ глазахъ Малюты было что-то необыкновенное.

— Оно, государь, дѣло такое,—продолжалъ Скуратовъ, и голосъ его измѣнился:—что и глазъ видитъ и ухо слышитъ, а вымолвить языкъ не поворотится...

Царь смотрѣлъ на него вопрошающимъ окомъ.

— Вотъ ты, государь, примѣрно, ужъ много воровъ казнилъ, а измѣна все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и вдесятеро болѣе, а измѣны все не избудешь!

Царь слушалъ и не догадывался.

— Оттого, государь, не избыть тебѣ измѣны, что ты рубишь у нея сучья да вѣтви, а стволъ-то самый и съ корнемъ стоитъ здоровехонекъ!

Царь все еще не понималъ, но слушалъ съ возрастающимъ любопытствомъ.

— Видишь, государь, какъ бы тебѣ сказать? Вотъ, примѣрно, вспомни, когда ты при смерти лежалъ,—дай

Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать!—а бояре-то на тебя труднаго заговоръ затѣяли. Вѣдь у нихъ былъ тогда старшой, примѣрно, братецъ твой Володиміръ Андреичъ!

«А!—подумалъ царь:—такъ вотъ что̀ значили мои ночныя видѣнія! Врагъ хотѣлъ помрачить разумъ мой, чтобъ убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будетъ не такъ. Не пожалѣю и брата!»

— Говори,—сказалъ онъ, обращаясь грозно къ Малютѣ:—говори, что̀ знаешь про Володиміра Андреича!

— Нѣтъ, государь, моя рѣчь теперь не про Володиміра Андреича. Въ немъ я уже того, не чаю, чтобы онъ что-либо надъ тобой учинилъ. И бояре къ нему теперь уже не мыслятъ. Давно пересталъ онъ подыскиваться подъ тобою царства. Моя рѣчь не про него.

— Про кого же?—спросилъ царь съ удивленіемъ, и черты его судорожно задвигались.

— Видишь, государь: Володиміръ-то Андреичъ раздумалъ государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себѣ на умѣ: не удалось, молъ, его на царство посадить, такъ мы посадимъ...

Малюта замялся.

— Кого?—спросилъ царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленѣлъ.

— Государь! Не все пригоже выговаривать. Нашъ братъ думай да гадай, а языкъ держи за зубами.

— Кого?—проговорилъ Іоаннъ, вставая съ мѣста.

Малюта медлилъ отвѣтомъ.

Царь схватилъ его за воротъ обѣими руками, придвинулъ лицо его къ своему лицу и впился въ него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

— Государь,—сказалъ онъ вполголоса:—ты на него не гнѣвайся, вѣдь онъ не самъ вздумалъ!

— Говори!—произнесъ хриплымъ шопотомъ Іоаннъ и стиснулъ крѣпче воротъ Малюты.

— Ему-то и на умъ бы не взбрело,—продолжалъ Малюта, избѣгая царскаго взора:—ну, а должно-быть, подбили его. Кто къ нему поближе, тотъ и подбилъ. А онъ, грѣшный человѣкъ, подумалъ себѣ: немного позже, немного ранѣ, все тѣмъ же кончится.

Царь началъ догадываться. Онъ сдѣлался блѣдиѣе. Пальцы его стали разгибаться и выпускать воротъ Малюты.

Малюта оправился. Онъ понялъ, что настала пора для рѣшительнаго удара.

— Государь!—сказалъ онъ вдругъ рѣзко:—не ищи измѣны далеко. Супротивникъ твой сидитъ супротивъ тебя, онъ пьетъ съ тобой съ одного ковша, ѣстъ съ тобой съ одного блюда, платье носитъ съ одного плеча.

Замолчалъ Скуратовъ и, полный ожиданія, рѣшился устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчалъ и царь. Руки его опустились. Понялъ онъ наконецъ Малюту.

Въ это мгновеніе раздались на дворѣ радостные крики. Еще въ самое то время, какъ начался разговоръ между царемъ и Скуратовымъ, царевичъ съ своими окольными въѣхалъ во дворъ, гдѣ ожидали его торговые люди черныхъ сотенъ и слободъ, пришедшіе отъ Москвы съ хлѣбомъ-солью и съ челобитьемъ.

Увидѣвъ царевича, они всѣ стали на колѣни.

— Чего вы просите, аршинники?—спросилъ небрежно царевичъ.

— Батюшка!—отвѣчали старшины:—пришли мы плакаться твоей милости! Будь намъ заступникомъ! Умилосердись надъ нашими головами! Разоряютъ насъ совсѣмъ опричники, заѣдаютъ и съ женами и съ дѣтьми.

— Вишь, дурачье!—сказалъ царевичъ, обращаясь съ усмѣшкой къ Басманову.—Они-бъ хотѣли и женъ и товаръ про себя однихъ держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себѣ домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за васъ, дураковъ!

— Отецъ ты нашъ, дай Богъ тебѣ многія лѣта!—закричали торговые люди.

Царевичъ сидѣлъ на конѣ. Возлѣ него былъ Басмановъ. Просители стояли передъ ними на колѣняхъ. Старшій держалъ блюдо съ хлѣбомъ-солью.

Малюта все видѣлъ изъ окна.

— Государь,—шепнулъ онъ царю:—должно-быть, его подбилъ кто-нибудь изъ тѣхъ, что̀ теперь съ нимъ. Посмотри, вотъ уже народъ ему на царствѣ здоровается!

И какъ чародѣй пугается недоброй силы, которую самъ онъ вызвалъ, такъ Малюта испугался выраженія, которое слова его вызвали на чертахъ Іоанна.

Съ лица царя исчезло все человѣческое. Такимъ страшнымъ никогда не видывалъ его Малюта.

Прошло нѣсколько мгновеній. Вдругъ Іоаннъ улыбнулся.

— Гриша,—сказалъ онъ, положивъ обѣ руки на плечи

Скуратову:—какъ, бишь, ты сейчасъ говорилъ? Я рублю сучья да вѣтви, а стволъ-то стоитъ здоровёшенекъ?

— Гриша, — продолжалъ царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту съ какой-то страшною довѣрчивостью:—берешься ли ты вырвать съ корнемъ измѣну?

Злобная радость скривила ротъ Малюты.

— Для твоей милости берусь,—прошепталъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Выраженіе Іоанна мгновенно измѣнилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высѣченнымъ изъ мрамора.

— Не надо медлить!—сказалъ онъ отрывисто и повелительно.—Никто чтобы не зналъ объ этомъ. Онъ сегодня будетъ на охотѣ. Сегодня же пусть найдутъ его въ лѣсу. Скажутъ, онъ убился съ коня. Знаешь ты Поганую-Лужу?

— Знаю, государь.

— Тамъ чтобъ нашли его!—Царь указалъ на дверь.

Малюта вышелъ и въ сѣняхъ вздохнулъ свободнѣе.

Царь долго оставался неподвиженъ. Потомъ онъ медленно подошелъ къ образамъ и упалъ передъ ними на колѣни.

Изо всѣхъ слугъ Малютиныхъ самый удалый и расторопный былъ стремянный его Матвѣй Хомякъ. Онъ никогда не уклонялся отъ опасности, любилъ буйство и наѣздничество и уступалъ въ звѣрствѣ лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой послѣ казнили боярина, требовалось ли увезти жену чью-нибудь—всегда посылали Хомяка. И Хомякъ поджигалъ деревни, подкидывалъ грамоты и вмѣсто одной жены привозилъ ихъ нѣсколько.

Къ Хомяку обратился и теперь Григорій Лукьяновичъ. что̀ они толковали вмѣстѣ, того никто не услышалъ. Но въ это самое утро, когда гончія царевича дружно заливались въ окрестностяхъ Москвы, а вниманіе охотниковъ, стоявшихъ на лазахъ, было поглощено ожиданіемъ, и каждый напрягалъ свое зрѣніе, и ни одинъ не заботился о томъ, что̀ дѣлали его товарищи,—въ это время по глухому проселку скакали, удаляясь отъ мѣста охоты, Хомякъ и Малюта, а промежъ нихъ со связанными руками, прикрученный къ сѣдлу, скакалъ кто-то третій, котораго лицо скрывалъ черный башлыкъ, надвинутый до самаго подбородка. На одномъ изъ поворотовъ проселка примкнули

къ нимъ двадцать вооруженныхъ опричниковъ, и всѣ вмѣстѣ продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота между тѣмъ шла своимъ чередомъ, и никто не замѣтилъ отсутствія царевича, исключая двухъ стремянныхъ, которые теперь издыхали въ оврагѣ, пронзенные ножами.

Верстъ тридцать отъ слободы, среди дремучаго лѣса, было топкое и непроходимое болото, которое народъ прозвалъ Поганой-Лужей. Много чудеснаго разсказывали про это мѣсто. Дровосѣки боялись въ сумерки подходить къ нему близко. Увѣряли, что въ лѣтнія ночи надъ водою прыгали и рѣзвились огоньки—души людей, убитыхъ разбойниками и брошенныхъ ими въ Поганую-Лужу.

Даже среди бѣлаго дня болото имѣло видъ мрачной таинственности. Большія деревья, лишенныя снизу вѣтвей, поднимались изъ воды, мутной и черной. Отражаясь въ ней, какъ въ туманномъ зеркалѣ, они принимали чудный видъ уродливыхъ людей и небывалыхъ животныхъ. Не слышно было вблизи болота человѣческаго голоса. Стаи дикихъ утокъ прилетали иногда плескаться на его поверхности. Въ камышѣ раздавался жалобный крикъ водяной курочки. Черный воронъ пролеталъ надъ вершинами деревъ, и зловѣщее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стукъ топора, трескъ надрубленнаго дерева и глухое паденіе.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда надъ болотомъ поднимался прозрачный паръ, стукъ топора умолкалъ, и прежніе звуки замѣнялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушекъ, сперва тихое и отрывистое, потомъ громкое, слитымъ хоромъ.

Чѣмъ болѣе сгущалась темнота, тѣмъ громче кричали гады. Голоса ихъ составляли какъ бы одинъ безпрерывный и продолжительный гулъ, такъ что ухо къ нему привыкало и различало сквозь него и дальній вой волковъ, и вопли филина. Мракъ становился гуще; предметы теряли свой прежній видъ и облекались въ новую наружность. Вода, древесныя вѣтви и туманныя полосы сливались въ одно цѣлое. Образы и звуки смѣшивались вмѣстѣ и ускользали отъ человѣческаго понятія. Поганая-Лужа дѣлалась достояніемъ силы нечистой.

Къ сему-то проклятому мѣсту, но не въ темную ночь, а въ утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бѣгъ свой.

Въ то самое время, какъ они торопились и погоняли коней, другіе молодцы, недобраго вида, собирались въ дремучемъ лѣсу, недалеко отъ Поганой-Лужи.

ГЛАВА XIII.

Ванюха Перстень и его товарищи.

На широкой полянѣ, окруженной древними дубами и непроходимымъ ломомъ, стояло нѣсколько земляныхъ куреней, а между ними на опрокинутыхъ пняхъ, на вывороченныхъ корняхъ, на кучахъ сѣна и сухихъ листьевъ, лежало и сидѣло множество людей разныхъ возрастовъ, въ разныхъ одеждахъ. Вооруженные молодцы безпрестанно выходили изъ глубины лѣса и присоединялись къ товарищамъ. Много было между ними разнообразія. Сермяги, ферязи и зипуны, иные въ лохмотьяхъ, другіе блестящіе золотомъ, виднѣлись сквозь вѣтви деревъ. У иныхъ молодцовъ были привѣшены къ бедрамъ сабли; другіе мотали въ рукахъ кистени или опирались на широкіе бердыши. Немало было тутъ рубцовъ, морщинъ, всклоченныхъ головъ и бородъ нечесанныхъ.

Удалое товарищество раздѣлилось на разные кружки. Въ самой серединѣ поляны варили кашу и жарили на прутьяхъ говядину. Надъ трескучимъ огнемъ висѣли котлы; дымъ отдѣлялся сизымъ облакомъ отъ зеленаго мрака, окружавшаго поляну какъ бы плотною стѣной. Кашевары покашливали, терли себѣ глаза и отворачивались отъ дыму.

Немного подалѣе, старикъ съ сѣдою кудрявою головой, съ длинною бородой, разсказывалъ молодежи какую-то сказку. Онъ говорилъ стоя и опершись на топоръ, насаженный на длинную палку. Въ этомъ положеніи старику было ловчѣе разсказывать, чѣмъ сидя. Онъ могъ и выпрямиться, и обернуться во всѣ стороны, и въ приличномъ мѣстѣ взмахнуть топоромъ, и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его съ истиннымъ наслажденіемъ. Они и уши поразвѣсили и рты поразѣвали. Кто присѣлъ на землю, кто взобрался на сучокъ, кто просто разставилъ ноги и выпучилъ глаза; но бо̀льшая часть лежала на животахъ, упершись локтями о̀земь, а подбородкомъ о ладони: оно-де сподручнѣе.

Далѣе, двое молодцовъ тузили другъ друга по головѣ кулаками. Игра состояла въ томъ, что кто-де изъ насъ

первый попроситъ пощады. И ни одному не хотѣлось просить ея. Уже оба противника побагровѣли какъ двѣ свеклы, но дюжіе кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

— Эй, не будетъ ли съ тебя, Хлопко?—спросилъ тотъ, который казался послабѣе.

— Небось, братъ, Андрюшка! когда будетъ—скажу. А вотъ тебѣ такъ сейчасъ плохо придется!

И кулаки продолжали стучать.

— Смотрите, братцы, вотъ Андрюшка тотчасъ свалится!—говорили зрители.

— Нѣтъ, не свалится!—отвѣчали другіе:—зачѣмъ ему свалиться, у него голова здорова!

— А вотъ увидишь, свалится!

Но Андрюшкѣ и подлинно не хотѣлось свалиться. Онъ изловчился и, вмѣсто чтобы ударить противника по макушкѣ, хватилъ его кулакомъ въ високъ.

Хлопко опрокинулся.

Многіе изъ зрителей захохотали, но бо̀льшая часть изъявила негодованіе.

— Не честно, не честно!—закричали они:—Андрюшка слукавилъ! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчасъ же отодрали.

— Откуда молодцовъ Богъ несетъ?—спросилъ старый сказочникъ у нѣсколькихъ парней, которые подошли къ огню и робко озирались во всѣ стороны.

Ихъ привелъ ражій дѣтина съ широкимъ ножомъ за поясомъ; на парняхъ не было оружія, они казались новичками.

— Слышь, вы, соколики!—сказалъ, обращаясь къ нимъ, ражій дѣтина:—дѣдушка Коршунъ спрашиваетъ, откуда васъ Богъ принесъ? Отвѣчайте дѣдушкѣ!

— Да оно, тово, вотъ какъ будетъ. Я-то изъ-подъ Москвы!—отвѣчалъ одинъ изъ парней, немного запинаясь.

— А зачѣмъ изъ гнѣздышка вылетѣлъ?—спросилъ Коршунъ:—нѣшто морозомъ охватило, али черезчуръ жарко стало?

— Стало-быть, жарко!—отвѣчалъ парень:—какъ опричники избу-то запалили, такъ сперва стало жарко, а какъ сгорѣла-то изба, такъ и морозомъ охватило на дворѣ!

— Вотъ оно какъ. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришелъ?

— А родни искать!

Разбойники захохотали.

— Вишь что̀ выдумалъ! Какой тебѣ родни?

— Да какъ убили опричники матушку да батюшку, сестеръ да братьевъ, скучно стало одному на свѣтѣ; думаю себѣ: пойду къ добрымъ людямъ; они меня накормятъ, напоятъ, будутъ мнѣ братьями да отцами! Встрѣтилъ въ кружалѣ вотъ этого молодца да и попросилъ взять съ собою.

— Добрый ты парень!—сказали разбойники:—садись съ нами, хлѣбъ да соль, мы тебѣ будемъ братьями!

— А этотъ чего стоитъ, повѣся носъ, словно не солоно хлебалъ? Эй, ты, плакса, что̀ губы надулъ? Откуда ты?

— Сподъ Коломны!—отвѣчалъ, лѣниво ворочая языкомъ, дюжій молодой парень, стоявшій съ печальнымъ видомъ позади другихъ.

— Что-жъ, и тебя опричники обидѣли, что ли?

— Нявѣсту взяли!—отвѣчалъ парень нехотя и протяжно.

— А ну-ка, разскажи!

— Да что̀ тутъ разсказывать! Наѣхали да и взяли!

— Ну, а потомъ?

— Что-жъ потомъ? Потомъ ничаво!

— Зачѣмъ же ты не отбилъ невѣсты?

— Гдѣ-жъ ее было отбивать? какъ наѣхали, такъ и взяли.

— А ты на нихъ такъ и смотрѣлъ, разиня ротъ?

— Нѣтъ, опосля, какъ удрали-то, такъ ужъ такъ осерчалъ, что Боже сохрани!

Разбойники опять захохотали.

— А ты, братъ, видно, тяжелъ на подъемъ!

Парень скроилъ глупое лицо и не отвѣчалъ.

— Эй ты, пареная рѣпа!—сказалъ одинъ разбойникъ:—взяли у тебя невѣсту, такъ изъ-за этого еще нечего киснуть, другую найдешь!

Парень смотрѣлъ разиня ротъ и не говорилъ ни слова. Лицо его разбойникамъ показалось забавнымъ.

— Слышь ты, съ тобой говорятъ!—сказалъ одинъ изъ нихъ, толкая его подъ бокъ.

Парень молчалъ.

Разбойникъ толкнулъ его крѣпче.

Парень посмотрѣлъ на него такъ глупо, что всѣ опять принялись хохотать.

Нѣсколько человѣкъ подошли къ нему и стали толкать его.

Парень не зналъ, сердиться ли ему или нѣтъ; но одинъ толчокъ сильнѣе другихъ вывелъ его изъ соннаго хладнокровія.

— Полно вамъ пхаться!—сказалъ онъ:—что̀ я вамъ, куль муки, что-ль, дался? Перестаньте: осерчаю!

Разбойники пуще стали смѣяться.

Парню и въ самомъ дѣлѣ хотѣлось разсердиться, только лѣнь и природная сонливость превозмогали его гнѣвъ. Ему казалось, что не сто̀итъ сердиться изъ-за бездѣлицы, а важной-то причины не было.

— Серчай же, дурень!—сказали разбойники:—что-жъ ты не серчаешь?

— А нутка, толкните-ка ящо!

— Вишь какой лакомый! На̀, вотъ тебѣ!

— А нутка крѣпчае!

— Вотъ тебѣ!

— Ну, теперь держитесь!—сказалъ парень, разсердясь наконецъ не на шутку.

Онъ засучилъ рукава, плюнулъ въ кулаки и принялся катать праваго и виноватаго. Разбойники не ожидали такого нападенія. Тѣ, которые были поближе, въ одинъ мигъ опрокинулись и сшибли съ ногъ товарищей. Вся ватага отхлынула къ огню; котелъ упалъ, и щи разлились на уголья.

— Тише, ты! тише, сатана! Чего расходился! Говорятъ тебѣ, тише!—кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слыхалъ. Онъ продолжалъ махать кулаками вправо и влѣво, и каждымъ ударомъ сшибалъ по разбойнику, а иногда и по два.

— Вишь медвѣдь! — говорили тѣ, которые успѣвали отскочить въ сторону.

Наконецъ парень образумился. Онъ пересталъ драться и остановился посреди опрокинутыхъ и разбитыхъ горшковъ, почесывая затылокъ, какъ будто желая сказать:

— Что-жъ это я въ самомъ дѣлѣ надѣлалъ!

— Ну, братъ,—сказали разбойники, поднимаясь на ноги и потирая ребра:—кабы ты тогда въ пору осерчалъ, не отбили бы у тебя невѣсты! Вишь какой Илья Муромецъ!

— Да какъ тебя зовутъ, молодца?—спросилъ старый разбойникъ.

— А Митькою!

— Ну Митька! Ай да Митька!

— Вотъ ужъ Митька!

— Ребята!—сказалъ, подбѣгая къ нимъ, одинъ молодецъ:—атаманъ опять началъ разсказывать про свое житье на Волгѣ. Всѣ бросили и пѣсни пѣть и сказки слушать, сидятъ вокругъ атамана. Пойдемъ скорѣе, а то мѣста не найдемъ!

— Пойдемъ, пойдемъ слушать атамана! — раздалось между разбойниками.

На срубленномъ пнѣ, подъ тѣнью огромнаго дуба, сидѣлъ широкоплечій дѣтина, средняго роста, въ богатомъ зипунѣ, шитомъ золотомъ. Голову его покрывала мисюрка, или желѣзная круглая шапка, въ родѣ тафьи, называвшаяся также и наплѣшникомъ. Къ шапкѣ придѣлана была бармица, или стальная кольчатая сѣть, защищавшая отъ сабельныхъ ударовъ затылокъ, шею и уши. Широкоплечій дѣтина держалъ въ рукѣ чеканъ, молотъ, заостренный съ задней стороны и насаженный на топорище. Въ этомъ убранствѣ трудно было бы узнать стараго нашего знакомца, Ванюху Перстня. Глаза его бѣгали во всѣ стороны. Изъ-подъ короткихъ черныхъ усовъ сверкали зубы столь ослѣпительной бѣлизны, что они, казалось, освѣщали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали.

— Такъ вотъ, братцы,—говорилъ Перстень:—это еще не диковина—остановить обозъ или боярина ограбить, когда васъ десятеро на одного. А вотъ была бы диковина, кабы одинъ остановилъ да ограбилъ человѣкъ пятьдесятъ или болѣ!

— Эхъ хватилъ!—отозвались разбойники:—малаго захотѣлъ! Небось ты остановишь?

— Моя рѣчь не про меня, а знаю я молодца, что̀ и одинъ обозы останавливалъ.

— Ужъ не опять ли твой волжскій богатырь?

— Да не кто другой. Вотъ примѣрно тянулось разъ судишко на бечевѣ изъ-подъ Астрахани вверхъ по матушкѣ-Волгѣ. На судишкѣ-то народу было немало: все купцы-молодцы, съ пищалями, съ саблями, кафтаны нараспашку, шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, каменьевъ самоцвѣтныхъ, жемчугу, вещицъ астраханскихъ и всякой дряни—еще, али полно! Берегъ-то высокій, бечевникъ-то узенькій, а среди Волги

островъ: скала голая, да супротивъ теченья словно ножомъ уголъ вышелъ, такой острый, что Боже упаси.

«Вотъ провѣдалъ мой молодецъ, съ чѣмъ Богъ несетъ судно. Не сказалъ никому ни слова, пошелъ съ утра, засѣлъ въ кусты, въ усъ не дуетъ. Проходитъ часъ, проходитъ другой; идутъ, понатужившись, лямочники, человѣкъ двѣнадцать, одинъ за другимъ, налегли на ремни да и кряхтятъ, высунувъ языки. Судишко-то, видно, не легонько, да и быстрина-то народу не подъ силу.

«Вотъ мой молодецъ и прожди, чтобъ они скалу-то остру миновали саженей на полсотни. Да какъ выскочитъ изъ-за кустовъ, да какъ хватитъ саблей поперекъ бечевы, такъ и перерубилъ пополамъ, а лямочники-то какъ шли, сердечные, такъ и шлепнулись оземь носами. Тутъ онъ кого кистенемъ, кого кулакомъ, а кто вскочилъ да давай Богъ ноги! Понесло судно назадъ по теченію прямо на скалу. Всполошились купцы, никто и стрѣлять не думаетъ; думаютъ только, какъ бы миновать уголъ, чтобы судна-то не разбить! А мой молодецъ одной рукой поймалъ бечеву, а другой ухватись за дерево да и останови судно.

«— Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте въ воду сабли да пищали, честью прошу, не то бечеву пущу, такъ васъ и съ грузомъ поминай какъ звали!

«Купцы навели-было на богатыря стволики, да тотчасъ и опустили; думаютъ: какъ же это? убьемъ его, такъ некому и бечевы подержать!

«Нечего дѣлать, побросали оружіе въ воду, да только не все; думаютъ: какъ взойдешь, молодецъ, на палубу грабить судно, такъ мы тутъ тебѣ и карачунъ! Да мой богатырь не промахъ.

«— Добро,—говоритъ:—купчики-голубчики, пошло оружіе ко дну, ступайте-жъ и вы, куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте съ судна внизъ головами!

«Они было-замялись, а онъ, ребятушки, зацѣпилъ бечеву за дерево, схватилъ пищаль да и пустилъ по нихъ пулю.

«Тутъ всѣ, сколько ни было ихъ, попрыгали въ воду словно лягушки.

«А онъ кричитъ:

«— Не плыть сюда! Приставай къ тому берегу, не то всѣхъ какъ утокъ перестрѣляю!»

— Что, ребята, каковъ богатырь?

— Молодецъ! — сказали разбойники:—вотъ ужъ по-

длинно молодецъ. Да что-жъ онъ съ судномъ-то сдѣлалъ?

— Съ судномъ-то? А намоталъ на руку бечеву, словно нитку съ бумажнымъ змѣемъ, да и вытащилъ судно на мель.

— Да что-жъ онъ ростомъ съ Полкана, что ли?

— Нѣтъ, не съ Полкана. Ростомъ-то онъ не болѣ мово, да плечики будутъ пошире!

— Шире твоихъ! Что-жъ это, на что-жъ онъ похожъ выходитъ?

— Да похожъ на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловатъ маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотрѣть—страхъ!

— Воля твоя, атаманъ, ты про него говоришь, какъ про чудо какое, а намъ что-то не вѣрится. Ужъ молодцоватѣе тебя мы не видывали!

— Не видывали лучше меня? Да что вы, дураки, видѣли! Да знаете ли,—продолжалъ Перстень съ жаромъ:—знаете ли, что я передъ нимъ—ничего! Дрянь, просто дрянь, да и только!

— Да какъ же зовутъ твоего богатыря?

— Зовутъ его, братцы, Ермакомъ Тимоѳеичемъ!

— Вишь какое имя! Что-жъ онъ одинъ, что ли, безъ шайки промышляетъ?

— Нѣтъ, не одинъ. Есть у него шайка добрая, есть и вѣрные есаулики. Только разгнѣвался на нихъ царь православный, послалъ на Волгу дружину свою разбить ихъ, голубчиковъ, а одному есаулику, Ивану Кольцу, головушку велѣлъ отсѣчь да къ Москвѣ привезти.

— Что-жъ, поймали его?

— Поймали-было царскіе люди Кольцо, только проскользнуло оно у нихъ промежъ пальцевъ да и покатилось по бѣлу свѣту. Гдѣ оно теперь, сердечное, Богъ вѣсть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто разъ побывалъ на Волгѣ, тому не ужиться на другой сторонушкѣ!

Замолчалъ атаманъ и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйныя головы на груди могучія и поглаживали молча усы длинные и бороды широкія. О чемъ думали молодцы разудалые, сидя на полянѣ, среди лѣса дремучаго? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушкѣ ли Волгѣ серебряной? или о дивномъ богатырѣ, про котораго разсказывалъ Перстень?

или думали они о хоромахъ высокихъ среди поля чистаго, о двухъ столбикахъ съ перекладинкой, о которыхъ, въ минуту грусти, думала въ то время всякая лихая, забубенная голова?

— Атаманъ!—вскричалъ одинъ разбойникъ, подбѣгая къ Перстню и весь запыхавшись:—верстъ пять отсюда, по рязанской дорогѣ ѣдутъ человѣкъ двадцать вершниковъ съ богатымъ оружіемъ, всѣ въ золоченыхъ кафтанахъ! Аргамаки и бахматы подъ ними рублей во сто каждый или болѣ!

— Куда ѣдутъ?—спросилъ Перстень, вскакивая.

— Вотъ только-что поворотили къ Поганой-Лужѣ. Я какъ увидѣлъ, такъ напрямикъ сюда и побѣжалъ болотомъ да лѣсомъ.

— Ну, ребята!—вскричалъ Перстень:—полно бобы на печи разводить! двадцать человѣкъ чтобы шли за мной!

— Ты, Коршунъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ старому разбойнику:—возьми двадцать другихъ, да засядьте у кривого дуба, отрѣжьте имъ дорогу, коли мы неравно опоздаемъ. Ну живо, за сабли!

Перстень взмахнулъ чеканомъ и сверкнулъ очами. Онъ походилъ на грознаго полководца среди послушнаго войска.

Прежнее свободное обращеніе разбойниковъ исчезло и уступило мѣсто безусловной покорности.

Въ одинъ мигъ сорокъ станичниковъ отошли отъ толпы и раздѣлились на два отряда.

— Эй, Митька!—сказалъ Коршунъ молодому парню изъ-подъ Коломны:—на тебѣ посошокъ, ступай съ нами, да понатужься, авось осерчаешь!

Митька скроилъ глупую рожу, взялъ хладнокровно изъ рукъ старика огромную дубину, взвалилъ ее на плечи и пошелъ, переваливаясь, за своимъ отрядомъ къ кривому дубу.

Другой отрядъ, предводимый Перстнемъ, поспѣшилъ къ Поганой-Лужѣ, напереѣмъ неизвѣстнымъ всадникамъ.

ГЛАВА XIV.

Оплеуха.

Въ то самое время, какъ Малюта и Хомякъ, сопровождаемые отрядомъ опричниковъ, везли незнакомца къ Поганой-Лужѣ, Серебряный сидѣлъ въ дружеской бесѣдѣ съ Годуновымъ за столомъ, уставленнымъ кубками.

— Скажи, Борисъ Ѳедорычъ,—говорилъ Серебряный:—что̀ сталось съ царемъ сею ночью? съ чего поднялась вся слобода на полунощницу? Аль то у васъ часто бываетъ?

Годуновъ пожалъ плечами.

— Великій государь нашъ,—сказалъ онъ:—часто жалѣетъ и плачетъ о своихъ злодѣяхъ и часто молится за ихъ души. А что онъ созвалъ насъ на молитву ночью, тому дивиться нечего. Самъ Василій Великій во второмъ посланіи къ Григорію Назіанзину говоритъ, что̀ другимъ утро, то трудящимся въ благочестіи полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи ни уши не допускаютъ въ сердце вредительнаго, пристойно уму человѣческому пребывать съ Богомъ!

— Борисъ Ѳедорычъ! Случалось мнѣ видѣть и прежде, какъ царь молился: оно было не такъ. Все теперь стало иначе. И опричнины я въ толкъ не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, какъ я на Москву вернулся, а столько неистовыхъ дѣлъ наслышался и насмотрѣлся, что и повѣрить трудно. Должно-быть, обошли государя. Вотъ ты, Борисъ Ѳедорычъ, близокъ къ нему, онъ любитъ тебя,—что-бъ тебѣ сказать ему про опричнину?

Годуновъ улыбнулся простотѣ Серебрянаго.

— Царь милостивъ ко всѣмъ,—сказалъ онъ съ притворнымъ смиреніемъ:—и меня жалуетъ не по заслугамъ. Не мнѣ судить о дѣлахъ государевыхъ, не мнѣ царю указывать. А опричнину понять не трудно: вся земля государева, всѣ мы подъ его высокою рукою; что̀ возьметъ государь на свой обиходъ, то и его, а что̀ намъ оставитъ, то наше; кому велитъ быть около̀ себя, тѣ къ нему близко, а кому не велитъ, тѣ далеко. Вотъ и вся опричнина.

— Такъ, Борисъ Ѳедорычъ, когда ты говоришь, оно выходитъ гладко, а на дѣлѣ не то. Опричники губятъ и насилуютъ земщину хуже татаръ. Нѣтъ на нихъ никакого суда. Вся земля отъ нихъ гибнетъ! Ты бы сказалъ царю. Онъ бы тебѣ повѣрилъ!

— Князь Никита Романычъ, много есть зла на свѣтѣ. Не потому люди губятъ людей, что одни опричники, другіе земскіе, а потому, что и тѣ и другіе—люди! Положимъ, я бы сказалъ царю; что-жъ изъ того выйдетъ? Всѣ на меня поднимутся, и самъ царь на меня-жъ опалится!..

— Что-жъ! Пусть опалится, а ты сдѣлалъ по совѣсти,—сказалъ ему правду!

— Никита Романычъ! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умѣючи. Кабы сталъ я перечить царю, давно бы меня здѣсь не было, а не было-бъ меня здѣсь, кто-бъ тебя вчера отъ плахи спасъ?

— Что̀ дѣло, то дѣло, Борисъ Ѳедорычъ, дай Богъ тебѣ здоровья, пропалъ бы я безъ тебя!

Годуновъ подумалъ, что убѣдилъ князя.

— Видишь ли, Никита Романычъ,—продолжалъ онъ:—хорошо стоять за правду, да одинъ въ полѣ не воевода. Что-бъ ты сдѣлалъ, кабы примѣрно сорокъ воровъ стали при тебѣ рѣзать безвиннаго?

— Что-бъ сдѣлалъ? А хватилъ бы саблею по всѣмъ по сорока и сталъ бы крошить ихъ, доколѣ-бъ души Богу не отдалъ!

Годуновъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— И отдалъ бы душу, Никита Романычъ, — сказалъ онъ:—на пятомъ, много на десятомъ ворѣ, а достальные все-таки-бъ зарѣзали безвиннаго. Нѣтъ, лучше не трогать ихъ, князь, а какъ станутъ они обдирать убитаго, тогда крикнутъ, что Степка-де взялъ на себя болѣе Мишки, такъ они и сами другъ друга перерѣжутъ.

Серебряному былъ такой отвѣтъ не по̀-сердцу. Годуновъ замѣтилъ это и перемѣнилъ разговоръ.

— Вишь,—сказалъ онъ, глядя въ окно:—кто это сюда скачетъ, сломя шею? Смотри, князь, никакъ твой стремянный?

— Врядъ ли!—отвѣчалъ Серебряный:—онъ отпросился у меня сегодня верстъ за двадцать на богомолье...

Но, вглядѣвшись пристальнѣе во всадника, князь въ самомъ дѣлѣ узналъ Михеича. Старикъ былъ блѣденъ, какъ смерть. Сѣдла подъ нимъ не было; казалось, онъ вскочилъ на перваго коня, попавшагося подъ руку, а теперь, вопреки приличію, влетѣлъ на дворъ, подъ самыя красныя окна.

— Батюшка, Никита Романычъ!—кричалъ онъ еще издали:—ты пьешь, ѣшь, прохлаждаешься, а кручинушкито не вѣдаешь! Сейчасъ встрѣлъ я, вонъ за церквой, Малюту Скуратова да Хомяка, оба верхомъ, а промежъ нихъ—руки связаны—кто бы ты думалъ? Самъ царевичъ, самъ царевичъ, князь! Надѣли они на него черный башлыкъ, проклятые, только вѣтромъ-то сдуло башлыкъ—я и узналъ царевича! Посмотрѣлъ онъ на меня, словно помощи проситъ, а Малюта, тётка его подкурятина, под-

скочилъ — да опять и нахлобучилъ ему башлыкъ на лицо!

Серебряный вспрянулъ съ мѣста.

— Слышишь, слышишь, Борисъ Ѳедорычъ!—вскричалъ онъ, сверкая глазами.—Али ждать еще, чтобы воры перессорились межъ собой?!—И онъ бросился съ крыльца.

— Давай коня!—крикнулъ онъ, вырывая узду изъ рукъ Михеича.

— Да это,—сказалъ Михеичъ:—конь-то не по тебѣ, батюшка, это конь плохой, да и сѣдла-то на немъ нѣтути... да и какъ же тебѣ на такомъ конѣ къ царю ѣхать?..

Но князь уже вскочилъ и полетѣлъ не къ царю, а въ погоню за Малютой...

Есть старинная пѣсня, можетъ-быть, современная Іоанну, которая описываетъ по-своему приводимое здѣсь событіе:

Когда зачиналась каменна Москва,
Зачинался царь Иванъ, государь Васильевичъ.
Какъ ходилъ онъ подъ Казань городъ,
Подъ Казань городъ, подъ Астрахань:
Онъ Казань городъ мимоходомъ взялъ,
Полонилъ царя и съ царицею;
Выводилъ измѣну изъ Пскова,
Изо Пскова и изъ Новгорода.
Какъ бы вывесть измѣну изъ каменной Москвы!
Что возговоритъ Малюта злодѣй Скурлатовичъ:
«Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
«Не вывесть тебѣ измѣнушки до вѣку!
«Сидитъ супротивникъ супротивъ тебя,
«Ѣстъ съ тобою съ одного блюда,
«Пьетъ съ тобою съ одного ковша,
«Платье носитъ съ одного плеча!»
И тутъ царь догадается,
На царевича осержается.
«Ахъ вы гой еси, князья и бояре!
«Вы берите царевича подъ бѣлы руки,
«Надѣвайте на него платье черное,
«Поведите его на то болото жидкое,
«На тое ли Лужу-Поганую.
«Вы предайте его скорой смерти!»
Всѣ бояре разбѣжалися.
Одинъ остался Малюта злодѣй;
Онъ бралъ царевича за бѣлы руки,
Надѣвалъ на него платье черное,
Повелъ на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу-Поганую.
Провѣдалъ слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакалъ къ Никитѣ Романычу:

«Гой еси, батюшка Никита Романычъ!
«Ты пьешь, ѣшь, прохлаждаешься,
«Надъ собой кручинушки не вѣдаешь!
«Упадаетъ звѣзда поднебесная,
«Угасаетъ свѣча воску яраго,
«Не становится млада царевича!»
Никита Романычъ испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачетъ на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу-Поганую.
Онъ ударилъ Малюту по щекѣ:
«Ты Малюта, Малюта Скурлатовичъ!
«Не за свой ты кусъ принимаешься
«Ты этимъ кусомъ подавишься!..»

Пѣсня эта, можетъ-быть, и несходная съ дѣйствительными событіями, согласна однако съ духомъ того вѣка. Немного и неясно доходили до народа извѣстія о томъ, что̀ случалось при царскомъ дворѣ или въ кругу царскихъ приближенныхъ, но въ то время, когда сословія еще не были разъединены нравами и не жили врозь одно отъ другого, извѣстія эти, даже искаженныя, не выходили изъ границъ правдоподобія и носили на себѣ печать общей жизни и общихъ понятій.

Таковъ ли ты былъ, князь Никита Романовичъ, какимъ воображаю тебя—про то знаютъ лишь стѣны кремлевскія да древніе дубы подмосковные! Но такимъ ты предсталъ мнѣ въ часъ тихаго мечтанія, въ вечерній часъ, когда поля покрывались мракомъ, вдали замиралъ шумъ хлопотливаго дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь вѣтеръ шелестилъ въ листьяхъ и лишь жукъ вечерній пролеталъ мимо. И грустно и больно сказывалась во мнѣ любовь къ родинѣ, и ясно выступала изъ тумана наша горестная и славная старина, какъ будто взамѣнъ зрѣнія, загораждаемаго темнотою, открывалось во мнѣ внутреннее око, которому столѣтія не составляли преграды. Такимъ предсталъ ты мнѣ, Никита Романовичъ, и ясно увидѣлъ я тебя, летящаго на конѣ въ погоню за Малютой, и перенесся я въ твое страшное время, гдѣ не было ничего невозможнаго!

Забылъ Серебряный, что онъ безъ сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь подъ нимъ старъ. А былъ то добрый конь въ свое время, прослужилъ онъ лѣтъ двадцать и на войнѣ и въ походахъ; только не выслужилъ себѣ покою на старости; выслужилъ упряжь водовозную, сѣно гнилое да удары палочные!

Теперь почуялъ онъ на себѣ сѣдока могучаго и вспомнилъ о прежнихъ дняхъ, когда носилъ богатырей въ грозныя сѣчи и кормили его отборнымъ зерномъ и поили медвяною сытой. И раздулъ онъ красныя ноздри, и вытянулъ шею, и летитъ въ погоню за Малютой Скуратовымъ.

Скачетъ Малюта во дремучемъ лѣсу со своими опричниками. Онъ торопитъ ихъ къ Поганой-Лужѣ, поправляетъ башлыкъ на царевичѣ, чтобъ не знали опричники, кого везутъ на смерть. Кабы узнали они, отступились бы отъ Малюты, схоронились бы бо̀льшій за меньшаго. Но думаютъ опричники, что скачетъ простой человѣкъ межъ Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везутъ его казнить такъ далеко.

Торопитъ Малюта опричниковъ, серчаетъ на коней, бьетъ ихъ плетью по крутымъ бедрамъ.

— Ахъ вы, волчья сыть, травяные мѣшки! Не одумался-бъ царь, не послалъ бы за нами погони!

Скачетъ злодѣй Малюта во дремучемъ лѣсу; смотрятъ на него пташки, вытянувъ шейки; летятъ надъ нимъ черные вороны—уже близко Поганая-Лужа!

— Эй!—говоритъ Малюта Хомяку:—никакъ стучатъ за нами чужія подковы?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Хомякъ:—то отъ нашихъ коней топотъ въ лѣсу раздается.

И пуще торопитъ Малюта опричниковъ, и чаще бьетъ коней по крутымъ бедрамъ.

— Эй!—говоритъ онъ Хомяку:—никакъ кто-то кричитъ за нами?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Хомякъ:—то нашу молвь отголоски разносятъ.

И серчаетъ Малюта на конеи.

— Ахъ вы, волчья сыть, травяные мѣшки! Ой, не было-бъ за нами погони!

Вдругъ слышитъ Малюта за собою:

— Стой, Григорій Лукьянычъ!

Серебряный былъ у Скуратова за плечами. Не выдалъ его старый конь водовозный.

— Стой, Малюта!—повторилъ Серебряный и, нагнавъ Скуратова, ударилъ его въ щеку рукою могучею.

Силенъ былъ ударъ Никиты Романовича. Раздалася пощечина словно выстрѣлъ пищальный; загудѣлъ сыръ-боръ, посыпались листья; бросились звѣри со всѣхъ ногъ въ чащу; вылетѣли изъ дупелъ пучеглазыя совы; а мужики,

далеко оттолѣ дравшіе лыки, посмотрѣли другъ на друга и сказали, дивясь:

— Слышь, какъ треснуло! ужъ не старый ли дубъ надломился надъ Поганою-Лужей?

Малюта свалился съ сѣдла. Бѣдный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустилъ духъ.

— Малюта!—вскричалъ князь, вскочивъ на ноги:—не за свой ты кусъ принимаешься! Ты этимъ кусомъ подавишься!

И, вырвавъ изъ ноженъ саблю Малюты, онъ замахнулся разрубить ему черепъ.

Внезапно другая сабля свистнула надъ головою князя. Матвѣй Хомякъ прилетѣлъ господину на помощь. Завязался бой межъ Хомякомъ и Серебрянымъ. Опричники напали съ голыми саблями на князя, но деревья и ломъ защитили Никиту Романовича, не дали всѣмъ вдругъ окружить его.

«Вотъ,—думалъ князь, отбивая удары:—придется животъ положить, не спася царевича! Кабы далъ Богъ хоть съ полчаса подержаться, авось подоспѣла бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только онъ подумалъ, какъ пронзительный свистъ раздался въ лѣсу; ему отвѣчали громкіе окрики. Одинъ опричникъ, уже занесшій саблю на князя, упалъ съ раздробленною головой, а надъ трупомъ его явился Ванюха Перстень, махая окровавленнымъ чеканомъ. Въ тотъ же мигъ разбойники, какъ стая волковъ, бросились на Малютиныхъ слугъ, и пошла между ними рукопашная. Хотѣлъ бы Малюта со своими дать дружный напускъ на враговъ, да негдѣ было разогнаться, все пришелъ лѣсъ да валежникъ. Многіе легли на мѣстѣ; но другіе скоро оправились, крикнули: «гой-да!» и потоптали удалую вольницу. Самъ Перстень, раненый въ руку, уже слабѣе разилъ чеканомъ, какъ новый свистъ раздался въ лѣсу.

— Стойте дружно, ребята!—закричалъ Перстень:—то дѣдушка Коршунъ на прибавку.

И не успѣлъ онъ кончить рѣчи, какъ Коршунъ съ своимъ отрядомъ ударилъ на опричниковъ, и зачался межъ ними бой великій, свальный, самый красный!

Трудно было всадникамъ стоять въ лѣсу противъ пѣшихъ. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили подъ собой сѣдоковъ. Опричники отчаялись на смерть.

Сабля Хомяка, свистѣла какъ вихрь, надъ головой его сверкала молнія.

Вдругъ среди общей свалки сдѣлалось колебанье. Дюжій Митька буравилъ толпу и лѣзъ прямо на Хомяка, валяя безъ разбору и чужихъ и своихъ. Митька узналъ похитителя невѣсты. Поднявъ обѣими руками дубину, онъ грянулъ ею въ своего недруга. Хомякъ отшатнулся, ударъ палъ въ конскую голову, конь покатился мертвый, дубина переломилась.

— Погоди! — сказалъ Митька, наваливаясь на Хомяка:—тяперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не съ кѣмъ было болѣе драться; всѣ опричники легли мертвые, одинъ Малюта спасся на лихомъ аргамакѣ.

Стали разбойники считать своихъ и многихъ не досчитались. Было и между ними довольно урону.

— Вотъ,—сказалъ Перстень, подходя къ Серебряному и стирая потъ съ лица:—вотъ, бояринъ, гдѣ довелось свидѣться!

Серебряный, съ первымъ появленіемъ разбойниковъ, бросился къ царевичу и отвелъ его коня въ сторону; царевичъ былъ привязанъ къ сѣдлу. Серебряный саблею разрѣзалъ веревки, помогъ царевичу сойти и снялъ платокъ, которымъ ротъ его былъ завязанъ. Во все время сѣчи князь отъ него не отходилъ и заслонялъ его собою.

— Царевичъ,—сказалъ онъ, видя, что станичники уже принялись грабить мертвыхъ и ловить разбѣжавшихся коней:—битва кончена, всѣ твои злодѣи полегли, одинъ Малюта ушелъ, да, я чаю, и ему не сдобровать, когда царь велитъ сыскать его!

При имени царевича Перстень отступилъ назадъ.

— Какъ?—сказалъ онъ:—это самъ царевичъ? Сынъ государевъ? Такъ вотъ за кого Богъ привелъ постоять! Такъ вотъ кого они, собаки, связамши, везли!

И атаманъ повалился Іоанну Іоанновичу въ ноги.

Вѣсть о его присутствіи быстро разнеслась межъ разбойниковъ. Всѣ бросили выворачивать карманы убитыхъ и пришли бить челомъ царевичу.

— Спасибо вамъ, добрые люди!—сказалъ онъ ласково, безъ обычнаго своего высокомѣрія:—кто-бъ вы ни были, спасибо вамъ!

— Не на чемъ, государь!—отвѣчалъ Перстень:—кабы зналъ я, что это тебя везутъ, я бы привелъ съ собою

не сорокъ молодцовъ, а сотенки двѣ; тогда не удралъ бы отъ насъ этотъ Скурлатычъ; взяли-бъ мы его живьемъ, да при тебѣ бы вздернули! Впрочемъ, есть у насъ, кажись, его стремянный; онъ же мнѣ старый знакомый, а на безрыбьѣ и ракъ рыба. Эй, молодецъ, у тебя онъ, что ли?

— У меня!—отвѣчалъ Митька, лежа на животѣ и не выпуская изъ-подъ себя своей жертвы.

— Давай его сюда! небось, не уйдетъ! А вы, ребятушки, разложите-ка огоньку для допросу, да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбуръ отрѣжьте.

Митька всталъ. Изъ-подъ него поднялся здоровый дѣтина; но, лишь только онъ обернулся лицомъ къ разбойникамъ, всѣ вскрикнули отъ удивленія.

— Хлопко!—раздалось отовсюду:—да это Хлопко! это онъ Хлопка притиснулъ вмѣсто опричника.

Митька смотрѣлъ разиня ротъ.

Хлопко насилу дышалъ.

— Ишь,—проговорилъ наконецъ Митька:—такъ это я, должно-быть, тебя придавилъ! Чаво-жъ ты молчалъ?

— Гдѣ-жъ мнѣ было говорить, коли ты у меня на горлѣ сидѣлъ, тюлень этакой! Тьфу!

— Да чаво-жъ ты подвернулся?

— Чаво! чаво! Какъ ты, медвѣдь, треснулъ коня по лбу, такъ сѣдокъ-то на меня и свалился, а ты, болванъ, вмѣсто чтобы на него, да на меня и сѣлъ, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

— Ишь! — сказалъ Митька: — вотъ што! — и почесалъ затылокъ.

Разбойники захохотали. Самъ царевичъ улыбнулся. Хомяка нигдѣ не могли найти.

— Нечего дѣлать,—сказалъ Перстень:—видно, не доспѣлъ ему часъ, а жаль, право! Ну, такъ и быть, дастъ Богъ, въ другой разъ не свернется! А теперь дозволь, государь, я тебя съ ребятами до дороги провожу. Совѣстно мнѣ, государь! Не приходилось бы мнѣ, худому человѣку, и говорить съ твоею милостью, да что-жъ дѣлать: безъ меня тебѣ отселѣ не выбраться!

— Ну, ребята,—продолжалъ Перстень:—собирайтесь оберегать его царскую милость. Вотъ ты, бояринъ,—сказалъ онъ, обращаясь къ Серебряному:—ты бы сѣлъ на этого коня, а я себѣ, пожалуй, вотъ этого возьму. Тебѣ, дядя Коршунъ, я чай, пѣшому будетъ сподручнѣе, а тебѣ, Митька, и подавно!

— Ништо!—сказалъ Митька, ухватясь за гриву одного коня, который отъ этого покачнулся на сторону:—и я сяду!

Онъ занесъ ногу въ стремя, но, не могши попасть въ него, взвалился на коня животомъ, проѣхалъ такъ нѣсколько саженъ рысью и наконецъ уже взобрался на сѣдло.

— Эхва!—закричалъ онъ, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась изъ лѣсу, окружая царевича.

Когда показалось наконецъ поле, а вдали запестрѣли крыши Александровой слободы, Перстень остановился.

— Государь,—сказалъ онъ, соскакивая съ коня:—вотъ твоя дорога, вонъ и слобода видна. Не пристало намъ долѣ съ твоею царскою милостью оставаться. Къ тому-жъ тамъ пыль по дорогѣ встаетъ; должно-быть, идутъ ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневолѣ Богъ свелъ!

— Погоди, молодецъ!—сказалъ царевичъ, который, по минованіи опасности, началъ возвращаться къ своимъ прежнимъ пріемамъ.—Погоди, молодецъ! Скажи-ка напередъ, какого ты боярскаго рода, что золоченый зипунъ носишь?

— Государь,—отвѣтилъ скромно Перстень:—много насъ здѣсь бояръ безъ имени-прозвища, много князей безъ роду-племени. Носимъ, что̀ Богъ послалъ!

— А знаешь ли,—продолжалъ строго царевичъ:—что такимъ князьямъ, какъ ты, высокія хоромы на площади ставятъ, и что ты самъ своего зипуна не стоишь? Не сослужи ты мнѣ службы сегодня, я велѣлъ бы тѣмъ ратникамъ всѣхъ васъ перехватать да къ слободѣ привести. Но ради сегодняшняго дѣла я твое прежнее воровство на милость кладу и батюшкѣ-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

— Спасибо на твоей ласкѣ, государь, много тебѣ благодарствую; только не пришло еще мнѣ время нести царю повинную. Тяжелы мои грѣхи передъ Богомъ, велики винности передъ государемъ; врядъ ли проститъ меня батюшка-царь, а хоча бы и простилъ, такъ не приходится бросать товарищей!

— Какъ?—сказалъ удивленный царевичъ:—ты не хочешь оставить воровства своего, когда я самъ тебѣ мой упросъ обѣщаю? Видно, грабить-то по дорогамъ прибыльнѣе, чѣмъ честно жить?

Перстень погладилъ черную бороду и лукавою усмѣшкой выказалъ два ряда ровныхъ и бѣлыхъ зубовъ, отъ которыхъ загорѣлое лицо его показалось еще смуглѣе.

— Государь! — сказалъ онъ: — на то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ! Не привыченъ я ни къ ратному строю ни къ торговому дѣлу. Прости, государь; вонъ ужъ пыль сюда подвигается; пора назадъ; рыба ищетъ, гдѣ глубже, а нашъ братъ—гдѣ мѣсто покрѣпче!

И Перстень исчезъ въ кустахъ, уводя за собою коня. Разбойники одинъ за другимъ пропали межъ деревьевъ, а царевичъ самъ-другъ съ Серебрянымъ поѣхали къ слободѣ и вскорѣ встрѣтились съ отрядомъ конницы, которую велъ Борисъ Годуновъ.

Что дѣлалъ царь во все это время? Послушаемъ, что говоритъ пѣсня и какъ она выражаетъ народныя понятія того вѣка.

Что возговоритъ грозный царь:
«Ахъ вы гой еси, князья мои и бояре!
«Надѣвайте платье черное,
«Собирайтеся ко заутрени,
«Слушать по царевичѣ панихиду.
«Я всѣхъ васъ, бояре, въ котлѣ сварю!»
Всѣ бояре испугалися,
Надѣвали платье черное,
Собиралися ко заутрени,
Слушать по царевичѣ панихиду.
Пріѣхалъ Никита Романовичъ,
Нарядился въ платье цвѣтное,
Привелъ съ собой млада царевича
И поставилъ за дверьми сѣверны.
Что возговоритъ грозный царь:
«Ахъ ты гой еси, Никита Романовичъ!
«Что въ глаза-ль ты мнѣ насмѣхаешься?
«Какъ упала звѣзда поднебесная,
«Что угасла свѣча воску яраго,
«Не стало у меня млада царевича».
Что возговоритъ Никита Романовичъ:
«Ахъ ты гой еси, надежа, православный царь!
«Мы не станемъ по царевичѣ панихиду пѣть,
«А станемъ мы пѣть молебенъ заздравный!»
Онъ бралъ царевича за бѣлу руку,
Выводилъ изъ-за сѣверныхъ дверей.
Что возговоритъ грозный царь:
«Ты Никита, Никита Романовичъ!
«Еще чѣмъ мнѣ тебя пожаловать?
«Или тебѣ полцарства дать?
«Или золотой казны сколько надобно?
«— Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
«Не сули мнѣ полцарства, ни золотой казны,

«Только дай мнѣ злодѣя Скурлатова:
«Я сведу на то болото жидкое,
«Что на ту ли Лужу-Поганую!»
Что̀ возговоритъ царь Иванъ Васильевичъ:
«Еще вотъ тебѣ Малюта злодѣй,
«И дѣлай съ нимъ что̀ хочешь ты!»

Такъ гласитъ пѣсня; но не такъ было на дѣлѣ. Лѣтописи показываютъ намъ Малюту въ чести у Ивана Васильевича еще долго послѣ 1565 года. Много любимцевъ, въ разныя времена, пали жертвою царскихъ подозрѣній. Не стало ни Басмановыхъ, ни Грязного, ни Вяземскаго, но Малюта ни разу не испыталъ опалы. Онъ, по предсказанію старой Онуфревны, не пріялъ своей му̀ки въ этой жизни и умеръ честною смертію. Въ обиходѣ монастыря св. Іосифа Волоцкаго, гдѣ погребено его тѣло, сказано, что онъ убитъ на государскомъ дѣлѣ подъ Пайдою.

Какъ оправдался Малюта въ клеветѣ своей—мы не знаемъ.

Можетъ-быть, Іоаннъ, когда успокоилась встревоженная душа его, приписалъ поступокъ любимца обманутому усердію; можетъ-быть, не вполнѣ отказался отъ подозрѣній на царевича. Какъ бы то ни было, Скуратовъ не только не потерялъ довѣрія царскаго, но съ этой поры сталъ еще драгоцѣннѣе Іоанну. Доселѣ одна Русь ненавидѣла Малюту, теперь сталъ ненавидѣть его и самый царевичъ; Іоаннъ былъ отнынѣ единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его вѣрность.

Намекъ на Басманова также не прошелъ даромъ. Въ Іоанновомъ сердцѣ остался зародышъ подозрѣнія и хотя не тотчасъ пустилъ въ немъ корни, но значительно охладилъ расположеніе его къ своему кравчему, ибо царь никогда не прощалъ тому, кого однажды опасался, хотя бы впослѣдствіи и самъ призналъ свое опасеніе напраснымъ.

ГЛАВА XV.

Поцѣлуйный обрядъ.

Пора намъ возвратиться къ Морозову. Смущеніе Елены въ присутствіи Серебрянаго не ускользнуло отъ проницательности боярина. Правда, сначала онъ подумалъ, что встрѣча съ Вяземскимъ тому причиной, но впослѣдствіи новое подозрѣніе зародилось въ душѣ его.

Простившись съ княземъ и проводивъ его до сѣней, Морозовъ возвратился въ избу. Навислыя брови его были грозно сдвинуты; глубокія морщины бороздили чело; его

бросало въ жаръ, ему было душно. «Елена теперь спитъ,— подумалъ онъ:—она не будетъ ждать меня; пройдусь я по саду, авось освѣжу свою голову».

Морозовъ вышелъ; въ саду было темно. Подходя къ оградѣ, онъ увидѣлъ бѣлую ферязь. Онъ сталъ всматриваться.

Внезапно любовныя рѣчи поразили его слухъ. Старикъ остановился. Онъ узналъ голосъ жены. За оградою рисовался на звѣздномъ небѣ неопредѣленный образъ всадника. Незнакомецъ нагнулся къ Еленѣ и что-то говорилъ ей. Морозовъ притаилъ дыханіе, но порывъ вѣтра потрясъ вершины деревъ и умчалъ слова и голосъ незнакомца. Кто былъ этотъ незнакомецъ? Ужели Вяземскій успѣлъ своею настойчивостью склонить къ себѣ Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что̀ вчера возбуждало его ненависть! Или уже не Серебряный ли назначилъ свиданіе женѣ его? Кто знаетъ? Быть-можетъ, князь, котораго принялъ онъ какъ сына, нанесъ ему въ тотъ же день кровавое оскорбленіе, ему, лучшему другу отца его, ему, который готовъ былъ подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебрянаго отъ царскаго гнѣва.

«Но нѣтъ,—подумалъ Морозовъ:—это не Серебряный! Это какой-нибудь опричникъ, новый любимецъ царскій. Имъ не въ диковину безчестить столбового боярина. А жена-то, змѣя подколодная! Ужъ ее ли не любилъ я! Ее ли не держалъ, какъ дочь родную! И не вольною ли волею вышла она за меня? Не благодарила ли меня, лукавая? Не клялась ли мнѣ въ вѣрности? Нѣтъ, не надѣйся, Дружина Андреичъ, на вѣрность женскую! Женская вѣрность—теремъ высокій, дверь дубовая, да запоры желѣзные! Поторопился, Дружина Андреичъ, вручать дѣвкѣ честь свою! Обуяло тебя, стараго, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змѣя; посмѣются надъ тобою люди московскіе!»

Такъ думалъ Морозовъ и мучился догадками. Ему хотѣлось ринуться впередъ. Но всадникъ могъ ускакать, и боярин не узналъ бы врага своего. Онъ рѣшился повременить.

Какъ нарочно, въ эту ночь вѣтеръ не переставалъ шумѣть, а мѣсяцъ не выходилъ изъ-за облаковъ. Морозовъ не узналъ ни лица ни голоса всадника. Онъ только разслышалъ, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

— Я люблю тебя болѣ жизни, болѣ солнца краснаго!

Я никого, кромѣ тебѣ, не любила и любить не могу, и не буду!

Вскорѣ Елена прошла мимо Морозова, не замѣтивъ его. Медленно послѣдовалъ за нею Дружина Андреичъ.

На другой день онъ не показалъ и виду, что подозрѣваетъ Елену. Онъ былъ съ нею попрежнему привѣтливъ и ласковъ. По временамъ лишь, когда она того не примѣчала, бояринъ забывался, сдвигалъ брови и грозно смотрѣлъ на Елену. Страшную думу думалъ тогда Дружина Андреичъ. Онъ думалъ, какъ бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозовъ сидѣлъ въ брусяной избѣ за дубовымъ столомъ; на столѣ лежала разогнутая книга, оболоченная червчатымъ бархатомъ, съ серебряными застежками и жуками. Но бояринъ думалъ не о чтеніи. Глаза его скользили надъ пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображеніе бродило отъ женниной свѣтлицы къ садовой оградѣ.

Наканунѣ этого дня Серебряный возвратился изъ слободы и, по данному обѣщанію, посѣтилъ Морозова.

Елена въ этотъ день сказалась больною и не вышла изъ свѣтлицы. Морозовъ ни въ чемъ не измѣнилъ своего обращенія съ Никитой Романовичемъ. Но, поздравляя его съ счастливымъ возвратомъ и потчуя прилежно дорогого гостя, онъ не переставалъ вникать въ выраженіе его лица и старался уловить на немъ признаки предательства. Серебряный былъ задумчивъ, но простъ и откровененъ попрежнему; Морозовъ не узналъ ничего.

И вотъ о чемъ думалъ онъ теперь, сидя за столомъ передъ разогнутою книгой.

Размышленія его прервалъ вошедшій слуга, но, увидя нахмуренный лобъ Морозова, онъ почтительно остановился. Морозовъ вопросилъ его взглядомъ.

— Государь!—сказалъ слуга:—ѣдутъ царскіе люди. Преди всѣхъ князь Аѳанасій Иванычъ Вяземскій; ужъ они близко,—прикажешь встрѣчать?

Въ то же время послышался звонъ бубна, въ который билъ кожаною плетью, или вощагой, передовой холопъ, чтобы разгонять народъ и очищать дорогу господину.

— Вяземскій ѣдетъ ко мнѣ?—сказалъ Морозовъ.—Что онъ, рехнулся? Да можетъ, онъ ѣдетъ мимо? Ступай къ воротамъ и подожди! А если онъ поворотитъ сюда, скажи

ему, что мой домъ не кружало, что опричниковъ я не знаю и съ ними хлѣба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

— Что̀ еще?—спросилъ Морозовъ.

— Бояринъ, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

— Ступай!—закричалъ Морозовъ и топнулъ ногой.

— Бояринъ!—сказалъ, вбѣгая, дворецкій:—князь Вяземскій съ опричниками подъѣзжаетъ къ нашимъ воротамъ! Князь говоритъ, я-де посланъ отъ самого государя.

— Отъ государя? Онъ тебѣ сказалъ—отъ государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо съ хлѣбомъ-солью! Вся дворня чтобы шла навстрѣчу посланнымъ государя!

Между тѣмъ ближе и ближе слышались звонъ и брянанье бубна; человѣкъ двадцать всадниковъ, а впереди Аѳанасій Ивановичъ на статномъ караковомъ жеребцѣ, въ серебряной сбруѣ, въѣхали шагомъ на дворъ Морозова. На князѣ былъ бѣлый атласный кафтанъ. Изъ-за низко вырѣзаннаго ворота виднѣлось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужныя запястья плотно стягивали у кистей широкіе рукава кафтана, небрежно подпоясаннаго малиновымъ шелковымъ кушакомъ, съ выпущенною въ два конца золотою бахромой, съ заткнутыми по бокамъ узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были въ желтые сафьянные сапоги, съ серебряными скобами на каблукахъ, съ голенищами, шитыми жемчугомъ и спущенными въ частыхъ складкахъ до половины икоръ. Поверхъ кафтана надѣтъ былъ въ накидку шелковый легкій опашень золотистаго цвѣта, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала бѣлая парчевая мурмолка съ гибкимъ алмазнымъ перомъ, которое качалось отъ каждаго движенія, играя солнечными лучами. Черныя кудри Аѳанасія Ивановича, выбѣгая изъподъ шапки, смѣшивались съ его бородой, короткою и кудрявою. Легкій усъ образовывалъ надъ верхнею губою не черную полосу, но лишь темную тѣнь. Станъ Вяземскаго былъ высокъ и строенъ; видъ молодъ и веселъ.

Согласно роскошному обычаю того времени, пѣшіе конюхи вели за нимъ подъ уздцы шесть верховыхъ коней въ полномъ убранствѣ; изъ нихъ одинъ былъ вороной, одинъ буланый, одинъ желѣзно-сѣрый, а три совершенно бѣлой масти. На головахъ коней качались цвѣтныя перья,

на хребтахъ ихъ пестрѣли звѣриныя кожи или парчевые чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями, и всѣ шестеро звенѣли на ходу множествомъ серебряныхъ бубенчиковъ, или золотыми прорѣзными яблоками, подобранными въ согласный звонъ и висѣвшими по обѣимъ сторонамъ налобниковъ длинными гроздами.

При появленіи Дружины Андреевича Вяземскій и всѣ опричники сошли съ коней.

Морозовъ съ золотымъ блюдомъ медленно шелъ къ нимъ навстрѣчу, а за нимъ шли знакомцы, держальники и холопи боярскіе.

— Князь,—сказалъ Морозовъ:—ты посланъ ко мнѣ отъ государя. Спѣшу встрѣтить съ хлѣбомъ-солью тебя и твоихъ!—И сивые волосы боярина пали ему на глаза отъ низкаго поклона.

— Бояринъ,—отвѣтилъ Вяземскій:—великій государь велѣлъ тебѣ сказать свой царскій указъ:—Бояринъ Дружина! Царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Руси слагаетъ съ тебя гнѣвъ свой, сымаетъ съ главы твоей свою царскую опалу, милуетъ и прощаетъ тебя во всѣхъ твоихъ винностяхъ; и быть тебѣ, боярину Дружинѣ, попрежнему въ его великаго государя милости и служить тебѣ напредки великому государю, и писаться твоей чести попрежнему-жъ!

Изговоря рѣчь, Вяземскій заложилъ одну руку за кушакъ, другою погладилъ бороду, пріосанился и, устремивъ на Морозова орлиные глаза, ожидалъ его отвѣта.

При началѣ рѣчи Морозовъ опустился на колѣни. Теперь держальники подняли его подъ руки. Онъ былъ блѣденъ.

— Да благословитъ же Святая Троица и московскіе чудотворцы нашего великаго государя!—произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ:—да продлитъ прещедрый и премилостивый Богъ безъ счету царскіе дни его! Не тебя ожидалъ я, князь, но ты посланъ ко мнѣ отъ государя—войди въ домъ мой! Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебенъ, а потомъ сяду съ вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозовъ подозвалъ холопа.

— Садись на-конь, скачи къ князю Серебряному, отвези ему поклонъ и скажи, что прошу отпраздновать се-

годняшній день: царь-де пожаловалъ меня милостію великою, изволилъ-де снять съ меня свою опалу!

Отдавъ это приказаніе и проводивъ въ сѣни гостей, Морозовъ отправился черезъ дворъ въ домовую церковь; передъ нимъ шли знакомцы и держальники, а за нимъ— многочисленные холопи. Въ домѣ остался лишь дворецкій, да сколько нужно было людей для прислуги опричникамъ.

Подали разныя закуски и наливки, но обѣдъ былъ еще впереди.

Вскорѣ пріѣхалъ Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопями, ибо въ тогдашнее время ѣздить боярину въ важныхъ случаяхъ одиночествомъ или малолюдствомъ считалось порухою чести.

Столъ уже былъ накрытъ въ большой избѣ; слуги стояли по мѣстамъ; всѣ ожидали хозяина.

Дружина Андреевичъ, отслушавъ молебенъ, вошелъ въ добромъ платьѣ, въ парчевомъ кафтанѣ, съ собольей шапкою въ рукахъ. Сивыя кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Онъ поклонился гостямъ, гости ему поклонились, и всѣ сѣли за столъ.

Зачался почестный пиръ, зазвенѣли кубки и братины, и вмѣстѣ съ ними зазвенѣлъ еще другой звонъ, несовмѣстный со звуками веселаго пира. Зазвенѣли подъ кафтанами опричниковъ невидимые доспѣхи.

Но Морозовъ не услышалъ зловѣщаго звона. Другія мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пируетъ съ нимъ за однимъ столомъ, и бояринъ придумалъ наконецъ средство его открыть. Средство это, по мнѣнію его, было надежно.

Уже много кубковъ осушили гости; пили они про государя и про царицу, и про весь царскій домъ; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземскаго, про Серебрянаго и про ласковаго хозяина; пили про каждаго изъ гостей особенно. Когда всѣ здоровья были выпиты, Вяземскій всталъ и предложилъ еще здоровье молодой боярыни.

Того-то и ожидалъ Морозовъ.

— Дорогіе гости,—сказалъ онъ:—непригоже безъ хозяйки пить про хозяйку! Сходите,—продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ:—сходите за боярыней: пусть сойдетъ потчевать изъ своихъ рукъ дорогихъ гостей!

— Ладно, ладно!—зашумѣли гости:—безъ хозяйки и медъ не сладокъ!

Черезъ нѣсколько времени появилась Елена въ богатомъ сарафанѣ, сопровождаемая двумя сѣнными дѣвушками; она держала въ рукахъ золотой подносъ съ одною только чаркой. Гости встали. Дворецкій наполнилъ чарку тройнымъ зеленчакомъ. Елена прикоснулась къ ней губами и начала обносить ее кругомъ гостей, кланяясь каждому, малымъ обычаемъ, въ поясъ. По мѣрѣ того, какъ гости вышивали чарку, дворецкій наполнялъ ее снова.

Когда Елена обошла всѣхъ безъ изъятія, Морозовъ, пристально за ней слѣдившій, обратился къ гостямъ.

— Дорогіе гости,—сказалъ онъ:—теперь по старинной русской обыклости прошу васъ, уважили-бъ вы домъ мой, не наложили-бъ охулы на мое хозяйство, прошу васъ, дорогіе гости, не побрезгали бы вы поцѣловать жену мою! Дмитріевна, становись въ большомъ мѣстѣ и отдавай всѣ поцѣлуи, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена съ трепетомъ стала возлѣ печи и опустила глаза.

— Князь, подходи!—сказалъ Морозовъ Вяземскому.

— Нѣтъ, нѣтъ, по обычаю!—закричали гости:—пусть хозяинъ поцѣлуетъ первый хозяйку! Пусть будетъ по обычаю, какъ отъ предковъ повелось!

— Пусть же будетъ по обычаю,—сказалъ Морозовъ и, подойдя къ женѣ, онъ сперва поклонился ей въ ноги. Когда они поцѣловались, губы Елены горѣли какъ огонь; какъ ледъ были холодны губы Дружины Андреевича.

За Морозовымъ подошелъ Вяземскій.

Морозовъ сталъ примѣчать.

Глаза Аѳанасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при мужѣ, при Серебряномъ не боялась нахальнаго князя.

«Не онъ»,—подумалъ Морозовъ.

Вяземскій положилъ земной поклонъ и поцѣловалъ Елену; но какъ поцѣлуй его длился долѣе, чѣмъ было нужно, она отвернулась съ примѣтною досадой.

«Нѣтъ, не онъ!»—повторилъ про себя Морозовъ.

За Вяземскимъ подошли поочередно нѣсколько опричниковъ. Они кланялись, большимъ обычаемъ, въ землю и потомъ цѣловали Елену; но Дружина Андреевичъ ничего не могъ прочесть на лицѣ жены своей, кромѣ без-

покойства. Нѣсколько разъ длинныя рѣсницы ея поднимались, и взоръ, казалось, со страхомъ искалъ кого-то между гостями.

«Онъ здѣсь!»—подумалъ Морозовъ.

Вдругъ ужасъ овладѣлъ Еленой. Глаза ея встрѣтились съ глазами мужа, и, съ свойственною женскому сердцу смѣтливостью, она отгадала его мысли. Подъ этимъ тяжелымъ, неподвижнымъ взоромъ ей показалось невозможнымъ поцѣловать Серебрянаго и не быть въ тотъ же мигъ уличенною. Всѣ обстоятельства ихъ встрѣчи у садовой ограды, въ первый пріѣздъ Серебрянаго, живо представились ея памяти. Теперешнее ея положеніе и ожидающій ее поцѣлуй показались ей Божьимъ наказаніемъ за ту преступную встрѣчу, за тотъ преступный поцѣлуй. Смертельный холодъ пробѣжалъ по ея членамъ.

— Я нездорова...—прошептала она:—отпусти меня, Дружина Андреичъ...

— Останься, Елена,—сказалъ спокойно Морозовъ:—подожди, ты не можешь теперь уйти; это не видано, не слыхано; надо кончить обрядъ!

И онъ проникалъ жену насквозь испытующимъ взглядомъ.

— Ноги не держатъ меня!..—произнесла Елена.

— Что? — сказалъ Морозовъ, будто не разслышавъ:—угорѣла? эка невидаль!

— Прошу васъ, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенокъ; больно застѣнчива, ей въ новинку обрядъ! Да къ тому еще угорѣла! Подходите, дорогіе гости, прошу васъ!

«Да гдѣ же Серебряный?»—подумалъ Дружина Андреевичъ, пробѣгая глазами гостей.

Князь Никита Романовичъ стоялъ въ сторонѣ. Отъ него не скрылось необыкновенное вниманіе, съ какимъ Морозовъ всматривался въ жену и въ каждаго подходившаго къ ней гостя. Онъ прочелъ на лицѣ Елены страхъ и безпокойство. Никита Романовичъ, всегда рѣшительный, когда совѣсть его ни въ чемъ не укоряла, теперь не зналъ, что дѣлать. Онъ боялся, подойдя къ Еленѣ, умножить ея смущеніе; боялся, оставаясь позади другихъ, возбудить подозрѣніе мужа. Если бы могъ онъ сказать ей хоть одно слово непримѣтно, онъ ободрилъ бы ее и возвратилъ бы ей, можетъ-быть, потерянную силу; но Елену окружали гости, мужъ не спускалъ съ нея глазъ; надо было на что-нибудь рѣшиться.

Серебряный подошелъ, поклонился Еленѣ, но не зналъ, смотрѣть ли ей въ глаза или нарочно не встрѣчать ея взора. Это колебаніе выдало князя. Съ своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергалъ ее Морозовъ.

Елена обманула мужа не по легкомыслію, не по внушенію сердца испорченнаго. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что можетъ полюбить Дружину Андреевича. Когда ночью, у садовой ограды, она увѣряла Серебрянаго въ любви своей, слова вырывались у нея невольно; она не торговалась выраженіями, и если бы тогда она увидѣла за собой мужа, то призналась бы ему во всемъ чистосердечно. Но воображеніе Елены было пылко, а нравъ робокъ. Послѣ ночного свиданія съ Серебрянымъ ее не переставали мучить угрызенія совѣсти. Къ нимъ присоединилось еще смертельное безпокойство объ участи Никиты Романовича. Сердце ея раздиралось противоположными ощущеніями; ей хотѣлось пасть къ ногамъ мужа и просить у него прощенія и совѣта; но она боялась его гнѣва, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мученія, страхъ, внушаемый ей мужемъ, добрымъ и ласковымъ, но неумолимымъ во всемъ, что̀ касалось его чести,—все это разрушительно потрясло ея тѣлесныя силы. Когда губы Серебрянаго прикоснулись къ губамъ ея, она задрожала какъ въ лихорадкѣ, ноги подъ ней подкосились, а изъ устъ вырвались слова:

— Пресвятая Богородица! пожалѣй меня!

Морозовъ подхватилъ Елену.

— Эхъ!—сказалъ онъ:—вотъ женское-то здоровье! Посмотрѣть, такъ кровь съ молокомъ, а немного угару, такъ и ноги не держатъ. Да ничего, пройдетъ! Подходите, дорогіе гости!

Голосъ и пріемы Морозова ни въ чемъ не измѣнились. Онъ такъ же казался спокоенъ, такъ же былъ привѣтливъ и доброхотенъ.

Серебряный остался въ недоумѣніи: въ самомъ ли дѣлѣ онъ проникъ его тайну?

Когда кончился обрядъ и Елена, поддерживаемая дѣвушками, удалилась въ свѣтлицу, гости, по приглашенію Морозова, опять сѣли за столъ.

Дружина Андреевичъ всѣхъ нудилъ и потчевалъ съ прежнею заботливостью и не забывалъ ни одной изъ ме-

лочныхъ обязанностей, доставлявшихъ въ тѣ времена хозяину дома славу добраго хлѣбосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и странныя слова проскакивали иногда среди разговора опричниковъ.

— Князь,—сказалъ одинъ изъ нихъ, наклоняясь къ Вяземскому:—пора бы за дѣло!

— Молчи!—отвѣчалъ шопотомъ Вяземскій:—старикъ услышитъ!

— Хотъ и услышитъ, не пойметъ!—продолжалъ громко опричникъ съ настойчивостью пьянаго.

— Молчи!—повторилъ Вяземскій.

— Я-те говорю, князь, пора! Ей-Богу, пора! Вотъ я знакъ подамъ!

И опричникъ двинулся встать.

Вяземскій сильною рукою пригвоздилъ его къ скамьѣ.

— Уймись!—сказалъ онъ ему на ухо:—не то вонжу этотъ ножъ тебѣ въ горло!

— Ого, да ты еще грозишь! — вскричалъ опричникъ, вставая со скамьи.—Вишь ты какой! Я говорилъ, что нельзя тебѣ вѣрить! Вѣдь ты не нашъ братъ! Ужъ я бы васъ всѣхъ, князей да бояръ, что̀ наше жалованье заѣдаете! Да погоди, посмотримъ, чья возьметъ! Долой изъ-подъ кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотримъ, чья возьметъ!

Слова эти были произнесены невѣрнымъ языкомъ, среди общаго говора и шума; но нѣкоторыя изъ нихъ долетѣли до Серебрянаго и возбудили его вниманіе. Морозовъ ихъ не слыхалъ. Онъ видѣлъ только, что между гостями вспыхнула ссора.

— Дорогіе гости! — сказалъ онъ, вставая изъ-за стола:—на дворѣ ужъ темная ночь! Не пора ли на покой? Всѣмъ вамъ готовы и перины мягкія и подушки пуховыя!

Опричники встали, олагодарили хозяина, раскланялись и пошли въ приготовленныя для нихъ на дворѣ опочивальни.

Серебряный также хотѣлъ удалиться.

Морозовъ остановилъ его за руку.

— Князь, — сказалъ онъ шопотомъ: — обожди меня здѣсь!

И, оставя Серебрянаго, Дружина Андреевичъ отправился на половину жены.

ГЛАВА XVI.

Похищеніе.

Во время обѣда вокругъ дома происходило нѣчто необыкновенное.

Съ наступленіемъ сумерекъ новые опричники стали являться, по одному, возлѣ садовой ограды, возлѣ забора, окружавшаго дворъ, и наконецъ на самомъ дворѣ.

Люди Морозова не обратили на нихъ вниманія.

Когда настала ночь, домъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ опричниками.

Стремянный Вяземскаго вышелъ изъ застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя до конюшни, онъ оглянулся, посмотрѣлъ на всѣ стороны, подошелъ къ воротамъ и просвисталъ какъ-то особенно. Кто-то къ нему подкрался.

— Всѣ ли вы?—спросилъ стремянный.

— Всѣ,—отвѣчалъ тотъ.

— Много ли васъ?

— Пятьдесятъ.

— Добро, ожидайте знака.

— А скоро ли? Ждать надоѣло.

— Про то знаетъ князь. Да слышь ты, Хомякъ: князь не велитъ ни жечь ни грабить дома!

— Не велитъ! Да что онъ мнѣ—господинъ, что ли?

— Видно, господинъ, коли Григорій Лукьянычъ велѣлъ быть тебѣ сегодня у него въ приказѣ.

— Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потомъ ужъ и мнѣ никто не указывай!

— Смотри, Хомякъ, князь не шутитъ!

— Да что ты?—сказалъ Хомякъ, злобно усмѣхаясь.—Князь княземъ, а я самъ по себѣ. Коли мнѣ хочется погулять, кому какое дѣло?

Въ то самое время, какъ разговоръ этотъ происходилъ у воротъ, Морозовъ, остановивъ Серебрянаго, вошелъ на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На головѣ ея уже не было кокошника. Густая, полураспущенная коса упадала на ея бѣлыя плечи. Лѣтникъ былъ на груди разстегнутъ. Елена готовилась раздѣться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ея блуждали въ прошедшемъ. Она вспомнила первое знакомство съ Серебрянымъ, свои надежды, отчаянье, предложеніе Морозова и данную клятву. Ей

живо представилось, какъ въ Радуницу, передъ самой свадьбой, она, по обычаю сиротъ, пошла на могилу матери, поставила подъ крестомъ чашу съ красными яйцами, мысленно христосовалась съ матерью и просила благословенія на любовь и союзъ съ Морозовымъ.

Она вѣрила въ то время, что переможетъ первую любовь свою, вѣрила, что будетъ счастлива за Морозовымъ; а теперь... Елена вспомнила о поцѣлуйномъ обрядѣ, и ее обдало холодомъ. Бояринъ вошелъ, не примѣченный ею, и остановился на порогѣ. Лицо его было сурово и грустно. Нѣсколько времени смотрѣлъ онъ молча на Елену. Она была еще такъ молода, такъ неопытна, такъ неискусна въ обманѣ, что Морозовъ почувствовалъ невольную жалость.

— Елена!—сказалъ онъ:—отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотѣлось пасть къ его ногамъ и сказать всю правду, но она подумала, что, можетъ-быть, онъ еще не подозрѣваетъ Серебрянаго, и побоялась навлечь на него мщеніе мужа.

— Отчего смутилась ты?—повторилъ Морозовъ.

— Мнѣ понездоровилось,—отвѣчала Елена шопотомъ.

— Такъ. Тебѣ нездоровилось, но не тѣломъ, а душой. Болѣзнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!

Боярыня дрожала.

— Когда сего утра,—продолжалъ Морозовъ:—Вяземскій съ опричниками пріѣхалъ въ домъ нашъ, я читалъ священное писаніе. Знаешь ли, что говорится въ писаніи о невѣрныхъ женахъ?

— Боже мой!—произнесла Елена.

— Я читалъ,—продолжалъ Морозовъ:—о наказаніи за прелюбодѣйство...

— Господи!—умоляла боярыня:—будь милостивъ, Дружина Андреичъ, пожалѣй меня! Я не столько виновна, какъ ты думаешь... Я не измѣнила тебѣ...

Морозовъ грозно сдвинулъ брови.

— Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай грѣха своего лукавою рѣчью. Ты не измѣнила мнѣ, потому что для измѣны нужна хотя краткая вѣрность, а ты никогда не была мнѣ вѣрна...

— Дружина Андреичъ, пожалѣй меня!

— Ты никогда не была мнѣ вѣрна! Когда насъ вѣн-

чали, когда ты своею великою неправдой цѣловала мнѣ крестъ, ты любила другого... Да, ты любила другого!— продолжалъ онъ, возвышая голосъ.

— Боже мой, Боже мой!—прошептала Елена, закрывъ лицо руками.

— Дмитріевна! А Дмитріевна! Зачѣмъ не сказала ты мнѣ, что любишь его?

Елена плакала и не отвѣчала ни слова.

— Когда я тебя увидѣлъ въ церкви, беззащитную сироту, въ тотъ день, какъ хотѣли выдать тебя насильно за Вяземскаго, я рѣшился спасти тебя отъ постылаго мужа, но хотѣлъ твоей клятвы, что не посрамишь ты сѣдыхъ волосъ моихъ. Зачѣмъ ты дала мнѣ клятву? Зачѣмъ не призналась во всемъ? Словами ты была со мною, а сердцемъ и мыслію—съ другимъ! Если бы зналъ я про любовь твою, развѣ я взялъ бы тебя? Я бы схоронилъ тебя гдѣ-нибудь въ глухомъ помѣстьѣ, далеко отъ Москвы, или свезъ бы въ монастырь; но не женился бы на тебѣ, видитъ Богъ—не женился-бъ! Лучше было отойти отъ міра, чѣмъ достаться постылому. Зачѣмъ ты не отошла отъ міра? Зачѣмъ защитилась моимъ именемъ, какъ стѣной каменною, а потомъ насмѣхалась мнѣ съ твоимъ полюбовникомъ? Вы думали: Морозовъ слабъ, намъ легко его одурачить!

— Нѣтъ, господинъ мой!—взрыдала Елена и упала на колѣни:—я никогда этого не думала! Ни въ умѣ ни въ помышленіи того не было! Да онъ же въ ту пору былъ въ Литвѣ...

При словѣ онъ глаза Морозова засверкали, но онъ овладѣлъ собою и горько усмѣхнулся.

— Такъ. Вы не въ ту пору спознались, но позже, когда онъ вернулся. Вы спознались ночью, въ саду у ограды, въ тотъ самый вечеръ, когда я принялъ и обласкалъ его какъ сына! Скажи, Елена: ужели въ самомъ дѣлѣ вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дамъ себя одурачить, не сумѣю наказать жену вѣроломную и злодѣя моего, ея сводчика? Ужели чаялъ этотъ молокососъ, что гнусное его дѣло сойдетъ ему съ рукъ? Аль не читалъ онъ, что въ книгахъ Левитъ написано: человѣкъ аще прелюбы содѣетъ съ мужнею женой, смертію да умрутъ прелюбодѣй и прелюбодѣйца!

Елена съ ужасомъ взглянула на мужа. Въ глазахъ его была холодная рѣшительность.

— Дружина Андреичъ!—сказала она въ испугѣ:—что ты хочешь сдѣлать?

Бояринъ вынулъ изъ-подъ опашня длинную пистолю.

— Что ты дѣлаешь?—вскричала боярыня и отступила назадъ.

Морозовъ усмѣхнулся.

— Не бойся за себя!—сказалъ онъ холодно:—тебя я не убью. Возьми свѣчу, ступай передо мною!

Онъ осмотрѣлъ пистолю и подошелъ къ двери. Елена не двигалась съ мѣста. Морозовъ оглянулся.

— Свѣти мнѣ!—повторилъ онъ повелительно.

Въ эту минуту послышался на дворѣ шумъ. Нѣсколько голосовъ говорили вмѣстѣ. Слуги Морозова звали другъ друга. Бояринъ сталъ прислушиваться. Шумъ усиливался. Казалось, множество людей врывалось въ подклѣти. Раздался выстрѣлъ.

Еленѣ представилось, что Серебряный убитъ по волѣ Морозова. Негодованье возвратило ей силы.

— Бояринъ!—вскричала она, и взоръ ея загорѣлся:—меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозовъ не обратилъ вниманія на слова ея. Онъ слушалъ, наклоня голову, и лицо его выражало удивленіе.

— Убей меня! — просила въ отчаяньи Елена: — я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмѣхалась тебѣ! Убей меня!

Морозовъ посмотрѣлъ на Елену, и если бы кто увидѣлъ его въ это мгновенье, тотъ не рѣшилъ бы—жалость или негодованье преобладали въ его взорѣ.

— Дружина Андреичъ!—раздался голосъ снизу:—измѣна! Предательство! Опричники врываются къ женѣ твоей! Остерегись, Дружина Андреичъ!

То былъ голосъ Серебрянаго. Узнавъ его, Елена въ неизъяснимой радости бросилась къ двери. Морозовъ оттолкнулъ жену, задвинулъ запоръ и укрѣпилъ дверь на желѣзный крюкъ.

Поспѣшные шаги послышались на лѣстницѣ, потомъ стукъ сабель, потомъ проклятія, борьба, громкій крикъ и паденіе.

Дверь затрещала отъ ударовъ.

— Бояринъ!—кричалъ Вяземскій:—отопри, не то весь домъ раскидаю по бревнамъ!

— Не вѣрю, князь!—отвѣчалъ съ достоинствомъ Мо-

розовъ.—Еще не видано на Руси, чтобы гость безчестилъ хозяина, чтобы силой врывался въ теремъ жены его. Хмеленъ былъ медъ мой, онъ вскружилъ тебѣ голову, князь, поди, выспись; завтра все забудемъ. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

— Отопри!—повторилъ князь, напирая на дверь.

— Аѳанасій Ивановичъ! вспомни, кто ты! Вспомни, что ты не разбойникъ, но князь и бояринъ!

— Я опричникъ! Слышишь, бояринъ, я опричникъ! Нѣтъ у меня чести! Полюбилась мнѣ жена твоя,—слышишь, бояринъ! Не боюся студнаго дѣла, всю Москву пущу на-дымъ, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко освѣтилась. Морозовъ увидѣлъ въ окно, что горятъ крыши людскихъ службъ. Въ то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась съ трескомъ, и Вяземскій явился на порогѣ, озаренный пожаромъ, съ переломленною саблей въ рукѣ.

Бѣлая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что онъ не безъ боя достигъ до свѣтлицы.

Морозовъ выстрѣлилъ въ Вяземскаго почти въ упоръ, но рука измѣнила боярину: пуля ударилась въ косякъ; князь бросился на Морозова.

Недолго продолжалась между ними борьба.

Отъ сильнаго удара рукоятью сабли Морозовъ упалъ навзничь. Вяземскій подбѣжалъ къ боярынѣ; но лишь только кровавыя руки его коснулись ея одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувствъ. Князь схватилъ ее на руки и помчался внизъ по лѣсницѣ, метя ступени ея распущенною косой.

У воротъ дожидались кони. Вскочивъ въ сѣдло, князь полетѣлъ съ полумертвою боярыней. а за нимъ, гремя оружіемъ, полетѣли его холопи.

Ужасъ былъ въ домѣ Морозова. Пламя охватило всѣ службы. Дворня кричала, падая подъ ударами хищниковъ. Сѣнныя дѣвушки бѣгали съ воплемъ взадъ и впередъ. Товарищи Хомяка грабили домъ, выбѣгали на дворъ и бросали въ одну кучу дорогую утварь, деньги и богатыя одежды. На дворѣ, надъ грудой серебра и золота, заглушая голосомъ шумъ, крики и трескъ огня, стоялъ Хомякъ въ красномъ кафтанѣ.

— Эхъ, весело!—говорилъ онъ, потирая руки:—вотъ пиръ такъ пиръ!

— Хомякъ! — вскричалъ одинъ опричникъ: — дворня увезла Морозова по рѣкѣ. Догнать, аль не надо?

— Чортъ съ нимъ! Не до него теперь! Эй, вы! Всѣ на дворъ, не то скоро задохнемся!

— Хомякъ!—сказалъ другой:—что велишь дѣлать съ Серебрянымъ?

— Не трогать его ни пальцемъ! Приставить къ нему сторожевыхъ, чтобы глазъ съ него не сводили. Отвеземъ его милость къ слободѣ съ почетомъ. Вѣдь видѣли вы, какъ онъ князь-Аѳанасья Ивановича хватилъ? Какъ нашихъ саблей крошилъ?

— Видѣли, видѣли!

— А будете въ томъ крестъ цѣловать передъ государемъ?

— Будемъ, будемъ! Всѣ будемъ крестъ цѣловать!

— Ну-жъ, смотрите! Теперь чтобъ никто не смѣлъ его обидѣть, а какъ пріѣдемъ домой, такъ ужъ Григорій Лукьянычъ припомнитъ ему свою оплеуху, а я—мои плети!

Долго еще шумѣли и грабили опричники, и когда поѣхали они, навьючивъ лошадей тяжелою добычей, то еще долго послѣ ихъ отъѣзда видно было зарево надъ мѣстомъ, гдѣ недавно стоялъ домъ Дружины Андреевича, и Москва-рѣка, протекая мимо, до самаго утра играла огненными струями, какъ растопленнымъ золотомъ.

ГЛАВА XVII.

Заговоръ на кровь.

Сосѣдніе люди, узнавъ о нападеніи опричниковъ и видя зарево надъ дворомъ Морозова, спѣшили запирать ворота и гасить огонь.

— Господи!—говорили, крестясь, тѣ изъ нихъ, мимо которыхъ скакалъ Вяземскій съ своими холопями:—Господи, помилуй насъ! пронеси бѣду мимо!

И лишь топотъ коней удалялся и бряцаніе броней замирало въ пустыхъ улицахъ, жители говорили:—Слава Богу, миновала бѣда!—и опять крестились.

Между тѣмъ князь продолжалъ скакать и уже далеко оставилъ за собой холопей. Онъ положилъ на мысль, еще до разсвѣта, достичь деревни, гдѣ ожидала его подстава, а оттуда перевезти Елену въ свою рязанскую вотчину. Но не проскакалъ князь и пяти верстъ, какъ увидѣлъ, что сбился съ дороги.

Въ то же время онъ почувствовалъ, что раны, на ко-

торыя онъ сгоряча не обратилъ вниманія, теперь причиняютъ ему нестерпимую боль.

— Боярыня!—сказалъ онъ, останавливая коня:—мои холопи отстали... надо обождать!

Елена понемногу приходила въ себя. Открывъ глаза, она увидѣла сперва далекое зарево, потомъ стала различать лѣсъ и дорогу, потомъ почувствовала, что лежитъ на хребтѣ коня и что держатъ ее сильныя руки. Мало-по-малу она начала вспоминать событія этого дня, вдругъ узнала Вяземскаго и вскрикнула отъ ужаса.

— Боярыня,—сказалъ Аѳанасій Ивановичъ съ горькой усмѣшкой:—я тебѣ страшенъ? Ты клянешь меня? Не меня кляни, Елена Дмитріевна! Кляни долю свою! Напрасно хотѣла ты миновать меня. Не миновать никому судьбы, не объѣхать конемъ суженаго! Видно, искони, боярыня, было тебѣ на роду написано, чтобы досталась ты мнѣ!

— Князь!—прошептала Елена, дрожа отъ ужаса:—коли нѣтъ въ тебѣ совѣсти, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыдъ...

— Нѣтъ у меня чести, нѣтъ стыда! Все, все отдалъ я за тебя, Елена Дмитріевна!

— Князь, вспомни судъ Божій, не погуби души своей!

— Поздно, боярыня! Я уже погубилъ ее! Или ты думаешь: кто платитъ за хлѣбъ-соль, какъ я, тотъ можетъ спасти душу? Нѣтъ, боярыня! Этою ночью я потерялъ ее навѣки! Вчера еще было время, сегодня нѣтъ для меня надежды, нѣтъ ужъ мнѣ прощенія въ моемъ окаянствѣ! Да и не хочу я райскаго блаженства мимо тебя, Елена Дмитріевна!

Вяземскій слабѣлъ все болѣе. Онъ видѣлъ свое изнеможеніе, но тщетно крѣпился. Бредъ отуманилъ его разсудокъ.

— Елена,—сказалъ онъ:—я истекаю кровью, холопи мои далеко... помощи взять неоткуда; быть-можетъ, чрезъ краткій часъ я отойду въ пламень вѣчный... полюби меня, полюби на одинъ часъ... чтобы не даромъ отдалъ я душу сатанѣ!.. Елена,—продолжалъ онъ, собирая послѣднія силы:—полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей!..

Князь хотѣлъ сжать ее въ кровавыхъ объятіяхъ, но силы ему измѣнили, поводья выпали изъ рукъ, онъ зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за кон-

скую гриву. Не чуя сѣдока, конь пустился вскачь. Елена хотѣла остановить его,—конь бросился въ сторону, помчался лѣсомъ и унесъ съ собою боярыню.

Долго мчались они въ темномъ бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскорѣ руки ея ослабѣли и она, ухватясь за гриву, отдалась на Божью волю. Конь мчался безъ остановки. Сучья цѣплялись за платье Елены, вѣтви хлестали ее въ лицо. Когда неслась она черезъ поляны, освѣщенныя мѣсяцемъ, ей казалось, что въ бѣломъ туманѣ двигаются русалки и манятъ ее къ себѣ. Она слышала отдаленный, однообразный шумъ, повторяемый отголосками. Лѣшій ли то хохоталъ, или что̀ другое шумѣло, но звукъ становился все громче; сердце Елены замирало отъ ужаса, и она крѣпче держалась за конскую гриву. Какъ нарочно, конь скакалъ прямо на шумъ. Вотъ мелькнулъ огонекъ; вотъ какъ будто серебристый призракъ махнулъ крыльями. Вдругъ конь остановился, и Елена лишилась чувствъ.

Она очутилась на мягкой травѣ. Вокругъ нея разливалась пріятная свѣжесть. Воздухъ былъ напитанъ древеснымъ запахомъ; шумъ еще продолжался, но въ немъ не было ничего страшнаго. Онъ, какъ старая пѣсня, убаюкивалъ и усыплялъ Елену.

Она съ трудомъ раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертѣлось передъ нею, и далеко летѣли вокругъ него брызги. Отражая луну, они напоминали ей алмазы, которыми дѣвушки украшали ее въ саду, въ тотъ день, когда пріѣхалъ Серебряный.

«Ужъ не въ саду ли я у себя?—подумала Елена.—Ужель опять въ саду?»—Дѣвушки! Пашенька! Дуняша! Гдѣ вы?

Но, вмѣсто свѣжаго дѣвичьяго лица, сѣдая, сморщенная голова нагнулась надъ Еленой; бѣлая, какъ снѣгъ, борода почти коснулась ея лица.

— Вишь какъ Господь тебя соблюлъ, боярыня!—сказалъ незнакомый старикъ, любопытно вглядываясь въ черты Елены:—вѣдь возьми конь немного лѣвѣе, прямо попала бы въ плёсъ; ну, да и конь-то привычный,—продолжалъ онъ про себя:—мѣсто ему знакомое; слава Богу, не въ первый разъ на мельницѣ.

Появленіе старика испугало-было Елену; она вспомнила разсказы про лѣшихъ, и странно подѣйствовали на нее морщины и бѣлая борода незнакомца, но въ голосѣ его

было что-то добродушное; Елена, перемѣнивъ внезапно мысли, бросилась ему въ ноги.

— Дѣдушка, дѣдушка!—вскричала она:—оборони меня, укрой!

Мельникъ тотчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло: конь, на которомъ прискакала Елена, принадлежалъ Вяземскому. По всѣмъ вѣроятностямъ, она была боярыня Морозова, та самая, которую онъ пытался приворожить къ князю. Онъ никогда ея не видалъ, но много узналъ о ней чрезъ Вяземскаго. Она не любила князя, просила о помощи, стало-быть, она, вѣроятно, спаслась отъ князя на его же конѣ.

Старикъ въ мигъ сообразилъ всѣ эти обстоятельства.

— Господь съ тобою, боярыня!—сказалъ онъ:—какъ мнѣ оборонить тебя? Силенъ князь Аѳанасій Иванычъ, длинны у него руки: погубитъ онъ меня, старика!

Елена со страхомъ посмотрѣла на мельника.

— Ты знаешь...—сказала она:—ты знаешь, кто я?

— Мало ли что̀ я знаю, матушка Елена Дмитріевна! Много на моемъ вѣку нажурчала мнѣ вода, нашептали деревья! Знаю я довольно; не обо всемъ говорить пригоже!

— Дѣдушка, коли все тебѣ вѣдомо, ты, стало-быть, знаешь, что Вяземскій не погубитъ тебя, что онъ лежитъ теперь на дорогѣ изрубленный... Не его боюсь, дѣдушка,—боюсь опричниковъ и холопей княжескихъ... ради Пресвятой Богородицы, дѣдушка, укрой меня!

— Охъ, охъ, охъ!—сказалъ старикъ, тяжело вздыхая:—лежитъ Аѳанасій Иванычъ на дорогѣ изрубленный! Но не отъ меча ему смерть написана. Встанетъ князь Аѳанасій Иванычъ, прискачетъ на мельницу, скажетъ: гдѣ моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дамъ я ему отповѣдь? Не таковъ онъ человѣкъ, чтобы толковать съ нимъ. Изрубитъ въ куски!

— Дѣдушка, вотъ мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дамъ тебѣ, коли спасешь меня!

Глаза мельника заблистали. Онъ взялъ жемчужное ожерелье изъ рукъ боярыни и сталъ любоваться имъ на мѣсяцѣ.

— Боярыня, лебедушка моя,—сказалъ онъ съ довольнымъ видомъ:—да благословитъ тебя прещедрый Господь и московскіе чудотворцы! Не легко мнѣ укрыть тебя отъ княжескихъ людей, коль неравно они сюда наѣдутъ! Только ужъ послужу тебѣ своею головою,—авось Богъ насъ помилуетъ...

Еще не успѣлъ старикъ договорить, какъ въ лѣсу послышался конскій топотъ.

— Ѣдутъ, ѣдутъ! — вскричала Елена. — Не выдавай меня, дѣдушка!

— Добро, боярыня, сюда ступай за мною!

Мельникъ поспѣшно повелъ Елену въ мельницу.

— Притаись здѣсь за мѣшками,—сказалъ онъ, заперъ за нею дверь и побѣжалъ къ коню.

— Ахъ, Богъ ты мой, какъ бы коня-то схоронить, чтобы не догадалися!

Онъ взялъ его за узду, отвелъ на другую сторону мельницы, гдѣ была у него пасѣка, и привязалъ въ кустахъ за ульями.

Между тѣмъ топотъ коней и людскіе голоса раздавались ближе. Мельникъ заперся въ коморѣ и задулъ лучину.

Вскорѣ показались на полянѣ люди Вяземскаго. Двое изъ холопей шли пѣшіе и несли на сплетенныхъ вѣтвяхъ безчувственнаго князя. У мельницы они остановились.

— Полно, сюда ли мы заѣхали?—спросилъ старшій изъ всадниковъ.

— Сюда конь убѣжалъ!—отвѣчалъ другой.—Я слѣдъ видѣлъ! Да здѣсь же и знахарь живетъ. Пусть посмотритъ князя!

— Опустите на землю его милость, да съ береженіемъ. Что, кровь не унимается?

— Не даетъ Богъ легче,—отвѣчали холопи:—вотъ ужъ третій разъ князь на ходу очнется, да и опять обомретъ! Коли мельникъ не остановитъ руды, такъ и не встать князю: истечетъ до капли!

— Да гдѣ онъ, колдунъ проклятый? Ведите его проворнѣй.

Опричники стали стучать въ мельницу и въ комору. Долго стукъ ихъ и крики оставались безъ отвѣта. Наконецъ въ коморѣ послышался кашель; изъ прорубленнаго отверстія высунулась голова мельника.

— Кого это Господь принесъ въ такую пору?—сказалъ старикъ, кашляя такъ тяжело, какъ будто бы готовился выкашлять душу.

— Выходи, колдунъ, выходи скорѣе, кровь унять! Боринъ князь Вяземскій посѣченъ саблей!

— Какой бояринъ?—спросилъ старикъ, притворяясь глухимъ.

— Ахъ ты, бездѣльникъ! Еще спрашиваетъ: какой! Ломайте двери, ребята!

— Постойте, кормильцы, постойте! Самъ выйду, зачѣмъ ломать? Самъ выйду!

— Ага, небось, услышалъ, глухой тетеревъ!

— Не взыщи, батюшка,—сказалъ мельникъ, вылѣзая:—виноватъ, родимый, тугъ на ухо, иного сразу не пойму! Да къ тому-жъ, нечего грѣха таить: какъ стали вы, родимые, долбить въ дверь да въ стѣну, я испужался, подумалъ: оборони, Боже, ужъ не станичники ли! Вѣдь тутъ, кормильцы, ихъ самые засѣки и притоны. Живешь въ лѣсу со страхомъ, все думаешь: что̀ коли, не дай Богъ, навернутся!

— Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь какъ кровь бѣжитъ. Что̀, можно унять?

— А вотъ посмотримъ, родимые! Эхъ, батюшки-свѣты! Да кто-жъ это такъ сѣкнулъ-то его? Вотъ, будь на полвершка пониже, какъ разъ бы високъ разсѣкъ! Ну, соблюлъ его Богъ! А здѣсь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эхъ, должно-быть, ловокъ рубиться—кто такъ хватилъ его милость!

— Можно-ль унять кровь, старикъ?

— Трудно, кормилецъ, трудно. Сабля-то была наговорная!

— Наговорная? Слышите, ребята? Я говорилъ: наговорная! А то какъ бы ему одному семерыхъ посѣчь!

— Такъ, такъ!—отозвались опричники:—вѣстимо наговорная; куда Серебряному на семерыхъ!

Мельникъ все слушалъ и примѣчалъ.

— Ишь какъ руда точится!—продолжалъ онъ:—ну какъ ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно-бъ унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Какъ стану нашептывать, языкъ у меня отымется!

— Нужды нѣтъ, нашептывай!

— Да! нужды нѣтъ! Тебѣ-то нѣтъ нужды, родимый, а мнѣ-то будетъ каково!

— Истома!—сказалъ опричникъ одному холопу:—подай сюда кошель съ морозовскими червонцами. На̀ тебѣ, старикъ, горсть золотыхъ! Коль уймешь руду, еще горсть дамъ; не уймешь—духъ изъ тебя вышибу!

— Спасибо, батюшка, спасибо! Награди тебя Господь и всѣ святые угодники! Нечего дѣлать, кормильцы, по-

стараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые,—дѣло глаза боится!

Опричники отошли. Мельникъ нагнулся надъ Вяземскимъ, перевязалъ ему раны, прочиталъ «Отче нашъ», положилъ руку на голову князя и началъ шептать:

«Ѣхалъ человѣкъ старъ, конь подъ нимъ карь, по ристаньямъ, по дорогамъ, по притоннымъ мѣстамъ. Ты, матъ-руда жильная, жильная, тѣлесная, остановись, назадъ воротись. Старъ человѣкъ тебя запираетъ—на покой согрѣваетъ. Какъ коню его воды не стало, такъ бы тебя, руда-матъ, не бывало. Пухъ земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крѣпко!»

По мѣрѣ того, какъ старикъ шепталъ, кровь текла медленнѣе и съ послѣднимъ словомъ совсѣмъ перестала течь. Вяземскій вздохнулъ, но не открылъ глазъ.

— Подойдите, отцы родные!—сказалъ мельникъ:—подойдите безъ опасенья; унялась руда, будетъ живъ князь, только мнѣ худо... вотъ ужъ теперь замѣчаю, языкъ костенѣетъ!

Опричники обступили князя. Мѣсяцъ освѣщалъ лицо его, блѣдное какъ смерть, но кровь уже не текла изъ ранъ.

— И впрямь унялась руда! Вишь старичина—не ударилъ лицовъ въ грязь!

— На тебѣ твои золотые!—сказалъ старшій опричникъ.—Только это еще не все. Слушай, старикъ. Мы по слѣдамъ знаемъ, что этой дорогой убѣжалъ княжескій конь, а можетъ, на немъ и боярыня ускакала. Коли ты ихъ видѣлъ, скажи!

Мельникъ вытаращилъ глаза, будто ничего не понималъ.

— Видѣлъ ты коня съ боярыней?

Старикъ сталъ-было колебаться, сказать или нѣтъ. Но тотъ же часъ онъ сдѣлалъ слѣдующій разсчетъ:

«Кабы Вяземскій былъ здоровъ, то скрыть отъ него боярыню было-бъ ой какъ опасно, а выдать ее—куда какъ выгодно! Но Вяземскій оправится-ль, нѣтъ ли—еще Богъ вѣстъ! А Морозовъ не оставитъ услуги безъ награды. Да и Серебряный-то, видно, любитъ не на шутку боярыню, коль порубилъ за нее князя. Стало-быть,—думалъ мельникъ:—Вяземскій меня теперь не обидитъ, а Серебряный и Морозовъ—каждый скажетъ мнѣ спасибо, коль я выручу боярыню».

Этотъ разсчетъ рѣшилъ его сомнѣнія.

— И слухомъ не слыхалъ, и видомъ не видалъ, родимые!—сказалъ онъ:—и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

— Эй, не совралъ бы ты, старикъ!

— Будь я анаѳема! Не видать мнѣ царствія небеснаго! Богъ пусть меня тутъ же громомъ хлопнетъ, коли я что̀ знаю про коня, либо про боярыню!

— А вотъ давай лучину, посмотримъ, нѣтъ ли слѣдовъ на пескѣ!

— Да нечего смотрѣть,—сказалъ одинъ опричникъ.— Хотя бы и были слѣды, наши кони ихъ затоптали. Теперь ничего не увидимъ!

— Такъ нечего и смотрѣть. Отворяй, старикъ, комору, князя перенесть!

— Сейчасъ, родимые, сейчасъ. Эхъ, старъ я, кормильцы, а то бы сбѣгалъ на постоялый дворъ, притащилъ бы вамъ браги да вина зеленчатаго!

— А дома развѣ нѣтъ?

— Нѣтъ, родимые. Куда мнѣ, убогому! Нѣтъ ни вина, ни харчей, ни лошадямъ вашимъ корма. Вотъ на постояломъ дворѣ, тамъ все есть. Тамъ такое вино, что хоть бы царю на столъ. Тѣсненько вамъ будетъ у меня, государи честные, и перекусить-то нечего; да вѣдь вы люди ратные,—и безъ ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплютъ... Вотъ одно худо, что трава-то здѣсь такая... иной разъ наѣстся конь, да такъ его разопретъ, что̀ твоя гора! Покачается-покачается, да и лопнетъ!

— Чортъ тебя дери, боровикъ ты старый! Что̀-жъ ты хочешь, чтобъ наши кони перелопались?

— Оборони Богъ, родимые! Коней можно привязать, чтобы не ѣли травы; одну ночку не бѣда, и такъ простоятъ. А васъ, государи, прошу покорно, уважьте мою комору; нѣтъ въ ней ни сѣна ни соломы—земля голая. Здѣсь не то, что̀ постоялый дворъ. Вотъ только, какъ будете спать ложиться, такъ не забудьте передъ сномъ прочитать молитву отъ ночного страха... оно здѣсь нечисто!

— Ахъ ты, чортовъ кумъ этакой! Провались ты и съ своею коморой! Вишь чѣмъ потчевать вздумалъ! Ребята, ѣдемъ на постоялый дворъ! Далеко-ль дотудова, старикъ?

— Близко, родимые, совсѣмъ близко. Вотъ ступайте этою тропою; какъ выѣдете на дорогу, повернете влѣво,

проѣдете не болѣе версты, тутъ вамъ будетъ и постоялый дворъ!

— Ѣдемъ!—сказали опричники.

Вяземскій все еще былъ въ обморокѣ. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилкахъ. Опричники сѣли на коней и поѣхали вслѣдъ.

Лишь только удалилась толпа и не стало болѣе слышно въ лѣсу человѣческаго голоса, старикъ отперъ мельницу.

— Боярыня! Ушли!—сказалъ онъ.—Пожалуй въ комору. Ахъ ты, сотикъ мой забрушенный, какъ притаилась-то! Пожалуй въ комору, лебедушка моя! Тамъ тебѣ будетъ получше!

Онъ настлалъ свѣжаго моху въ углу коморы, зажегъ лучину и поставилъ передъ Еленой деревянную чашку съ медовыми сотами и краюху хлѣба.

— Ѣшь на здоровье, боярыня!—сказалъ онъ, низко кланяясь:—вотъ я тебѣ сейчасъ винца принесу.

Сбѣгавъ еще разъ въ мельницу, онъ вынесъ изъ нея большую сулею и глиняную кружку.

— Во здравіе твое, боярыня!

Старикъ, какъ хозяинъ, первый опорожнилъ кружку. Вино его развеселило.

— Выпей, боярыня!—сказалъ онъ:—теперь некого тебѣ бояться! Они ищутъ постоялаго двора! Найдутъ ли, не найдутъ ли, а ужъ сюда не вернутся: не по такой дорогѣ я ихъ послалъ... хе-хе! Да что ты, боярыня, винца не отвѣдаешь? А впрочемъ, и не отвѣдывай! Это вино дрянь! Плюнь на него; я тебѣ другого принесу!

Мельникъ опять сбѣгалъ на мельницу и этотъ разъ воротился съ баклагою подъ мышкой и съ серебрянымъ кубкомъ въ рукахъ.

— Вотъ вино такъ вино!—сказалъ онъ, нагибая баклагу надъ кубкомъ.—Во здравіе твое, боярыня! Это вино и съ кубкомъ подарилъ мнѣ добрый человѣкъ... зовутъ его Перстнемъ... хе-хе! Здѣсь много живетъ добрыхъ людей въ лѣсу; всѣ они со мной въ дружбѣ! Ѣшь, боярыня! Да что же ты сотовъ не ѣшь? Это соты не простые. Такихъ сотовъ за сто верстъ не найдешь. А почему они не простые? Потому, что я пчелиное дѣло знаю лучше любого вѣдуна. Я не такъ, какъ другіе! Я кажинное лѣто самый лучшій улей въ болото бросаю водяному дѣдушкѣ: на тебѣ, дѣдушка, кушай! Хе-хе! А онъ, боярыня, дай Богъ ему здоровья, мою пасѣку бережетъ. Вѣдь

отъ него-то на землѣ и пчелы пошли. Какъ заѣздилъ онъ коня, да бросилъ въ болото, такъ отъ этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули неводъ, да вмѣсто рыбы и вытащили пчелъ... Эхъ, боярыня, мало ѣшь, мало пьешь! А вотъ посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... Слушай, боярыня! Во здравіе... хе-хе! Во здравіе князя... князя, то-есть не того, а Серебрянаго! Дай Богъ ему здоровья, вишь какъ порубилъ того-то, то-есть Вяземскаго-то! А бояринъ-то Дружина Андреичъ, хе-хе! Во здравіе его, боярыня! Поживешь у меня денька два въ похоронкахъ, а потомъ куда хошь ступай: хошь къ Дружинѣ Андреичу, хошь къ Серебряному... мнѣ какое дѣло! Во здравіе твое!

Чудно и болѣзненно отозвались въ груди Елены слова пьянаго мельника. Самыя сокровенныя мысли ея, казалось, ему извѣстны; онъ какъ будто читалъ въ ея сердцѣ; лучина, воткнутая въ стѣну, озаряла его сморщенное лицо яркимъ свѣтомъ; сѣрые глаза его были отуманены хмелемъ, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сдѣлалось страшно, она стала громко молиться.

— Хе-хе! — сказалъ мельникъ: — молись, молись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаномъ не выкуришь... я самъ умѣю причитывать... Я не какой-нибудь такой... меня и водяной дѣдъ знаетъ, и лѣсовой дѣдъ... меня знаютъ русалки... и вѣдьмы... и кикиморы... меня всѣ знаютъ... меня... меня... Вотъ, хошь, я ихъ позову? Шикалу! Ликалу!

— Господи!—прошептала Елена.

— Шикалу! Ликалу! Что? Нейдутъ? Постой, я ихъ приведу! Бду, бду!

Старикъ всталъ и, шатаясь и приплясывая, вышелъ изъ коморы. Елена въ ужасѣ заперла за нимъ дверь. Долго мельникъ разговаривалъ за дверью самъ съ собою.

— Меня всѣ знаютъ!—повторялъ онъ хвастливымъ, но уже невѣрнымъ голосомъ:—и лѣсовой дѣдъ... и водяной дѣдъ... и русалки... и кикиморы... Я не какой-нибудь такой!.. мѣня всѣ знаютъ! Бду, бду!

Слышно было, какъ старикъ плясалъ и притопывалъ ногами. Потомъ голосъ его сталъ слабѣть, онъ легъ на землю, и вскорѣ раздалось его храпѣніе, которое во всю ночь сливалось съ шумомъ мельничнаго колеса.

ГЛАВА XVIII.

Старый знакомый.

На другой день послѣ разоренія Морозовскаго дома, пожилой ратникъ пробирался на вороной лошади въ дремучемъ лѣсу. Онъ безпрестанно снималъ шапку и къ чему-то прислушивался.

— Тише, Галка, полно-те фыркать!—говорилъ онъ, трепля лошадь по крутой шеѣ:—вишь, какая неугомонная, ничего разслушать не дастъ! Фу ты пропасть, никакъ и мѣста не спознаю! Все липа да орѣшникъ; а когда въ ту пору ночью ѣхали, кажись, смолою попахивало!

И всадникъ продолжалъ путь свой.

— Постой, Галка!—сказалъ онъ вдругъ, натянувъ поводья.—Вотъ теперь опять какъ будто слышу! Да стой ты смирно, экъ тебя разбираетъ! И вправду слышу! Это ужъ не листъ шумитъ, это мельничное колесо! Вишь она, мельница, куда запряталась! Только ужъ постой! Теперь отъ меня не уйдешь, тётка твоя подкурятина!

И Михеичъ, какъ будто опасаясь опять сбиться съ дороги, пустился во всю прыть по направленію шума.

— Ну, слава ти, Господи!—сказалъ онъ, когда между деревьями сталъ виднѣться поросшій мохомъ срубъ съ вертящимся колесомъ:—насилу-то догналъ; а то вѣдь чуть-было не уморился: то впереди шумъ, то за самою спиной,—ничего не разберешь! Вотъ она и мельница! Вотъ съ той стороны мы въ ту пору съ бояриномъ подъѣхали, когда станичники-то дорогу указывали. Да какъ же это опять будетъ? Въ ту пору колесо было справа, а теперь слѣва; въ ту пору комора стояла окномъ къ мельницѣ, а дверью къ лѣсу, а теперь стоитъ окномъ къ лѣсу, а дверью къ мельницѣ! Тьфу ты, ужъ этотъ мнѣ мельникъ! Вишь какъ глаза отводитъ! Недаромъ же я и колесилъ цѣлый день кругъ этого мѣста: кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не пріѣхалъ!

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, привязалъ ее къ дереву, подошелъ съ нѣкоторою боязнью къ мельницѣ и постучался въ дверь.

— Хозяинъ, а хозяинъ!

Никто не отвѣчалъ.

— Хозяинъ, а хозяинъ!

Внутри мельницы было молчаніе; только жернова гудѣли да шестерни постукивали.

Михеичъ попытался толкнуть дверь: она была заперта.

«Да что онъ, сѣдой чортъ, спитъ, али притаился?»—подумалъ Михеичъ и сталъ изо всей мочи стучать въ дверь и руками и ногами. Отвѣта не было. Михеичъ началъ горячиться.

— Эй ты, хрѣнъ!—закричалъ онъ:—вылѣзай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстіе надъ дверью показалась бѣлая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которыхъ свѣтились два глаза ярко-сѣраго цвѣта.

Михеичу стало неловко въ присутствіи мельника.

— Здравствуй, хозяинъ!—сказалъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Господь съ тобою!—отвѣчалъ мельникъ:—чего тебѣ, добрый человѣкъ?

— Аль не узналъ меня, хозяинъ? Вѣдь я у тебя ономнясь съ бояриномъ ночевалъ.

— Съ княземъ-то? Какъ не узнать, узналъ! Что-жъ, батюшка, съ чѣмъ Богъ принесъ?

— Да что-жъ ты, хозяинъ, забился какъ филинъ въ дупло! Или меня впусти, или самъ выйди; такъ говорить несподручно!

— Постой, батюшка, дай только хлѣбушка подсыпать, вотъ я къ тебѣ сейчасъ выйду!

«Да,—подумалъ Михеичъ:—посмотрѣлъ бы я, какого ты, чортовъ-кумъ, хлѣба подсыплешь! Я чай, кости жидовскія вѣдьмамъ на муку перемалываешь! Тутъ и завозу быть не можетъ; вишь какая глушь, и колеи-то всѣ травой заросли!»

— Ну, вотъ, батюшка, я къ тебѣ и вышелъ,—сказалъ мельникъ, тщательно запирая за собою дверь.

— Насилу-то вышелъ! Довольно ты поломался, хозяинъ!

— Да что, куманекъ, живу вѣдь не на базарѣ, въ лѣсу. Всякому отпирать не приходится: далеко ли до бѣды! Видно, что человѣкъ, а почему знать, хлѣбъ ли святой у него подъ полой, или камень-булыжникъ!

«Вишь, мухоморъ! — подумалъ Михеичъ: — прикидывается, что разбойниковъ боится, а, я чай, нѣтъ лѣшаго, съ которымъ бы дѣтей не крестилъ!»

— Ну, батюшка, что тебѣ до меня? Ты мнѣ разскажи, а я послушаю!

— Да вотъ что, хозяинъ: бѣда случилась, хуже смерти

пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли къ слободѣ съ великою крѣпостью; сидитъ онъ теперь, должно-быть, въ тюрьмѣ, горемъ крутитъ, горе мыкаетъ: а за что сидитъ, одному Богу вѣдомо; не сотворилъ никакого дурна ни передъ царемъ ни передъ Господомъ; постоялъ лишь за правду, за боярина Морозова, да за боярыню его, когда они лукавствомъ своимъ, среди веселья, на домъ напали и до тла разорили.

Глаза мельника приняли странное выраженіе.

— Охъ, охъ, охъ!—сказалъ онъ:—худо, кормилецъ, худо кормилецъ; худо карасю, когда въ шумъ заплыветъ. Худо князю твоему въ темницѣ сидѣть; худо Морозову безъ жены молодой; еще хуже Вяземскому отъ чужой жены!

Михеичъ удивился.

— Да ты почемъ знаешь, что Вяземскій Морозова жену увезъ? Я тебѣ ничего про это не сказывалъ!

— Эхъ, куманекъ, не то одно вѣдомо, что̀ сказывается; иной разъ далеко̀ въ лѣсу стукнетъ, близко отзовется! Когда подъ колесомъ воды убыло, знать, есть засуха и за сто верстъ, и будетъ хлѣбу недородъ великъ, а нашъ братъ, старикъ, живи себѣ молча; слушай, какъ трава растетъ, да мотай себѣ за ухо!

— Что-жъ, хозяинъ, ужъ не знаешь ли, какъ помочь боярину? Я вотъ все думалъ да гадалъ, раскидывалъ умомъ-разумомъ,—ничего не придумалъ. Пойду, говорю, къ доброму человѣку, попрошу совѣта. Да, признаться, и тотъ молодецъ на умѣ все мотался, что̀ проводилъ-то насъ до тебя. Говорилъ мнѣ тогда: коли понадоблюсь, говоритъ, боярину, приходи, говоритъ, на мельницу, спроси у дѣдушки, гдѣ Ванюха Перстень, а я, говоритъ, радъ боярину служить; за него, говоритъ, и животъ положу! Вотъ я къ тебѣ и пріѣхалъ, хозяинъ; сдѣлай божескую милость, научи, какъ боярина вызволить. А научишь—ужъ не забудетъ тебя князь Никита Романычъ, да и я, горемычный, буду вѣчнымъ слугою твоимъ.

«Провалиться бы тебѣ сквозь землю, тётка твоя подкурятина!—прибавилъ мысленно Михеичъ:—вотъ кому довелось кланяться!»

— Что-жъ, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дѣло, что̀ и говорить, да вѣдь ухватомъ изъ поломя горшки вымаются, а бываетъ инольды, и зернышко изъ-подъ жернова цѣло выскочитъ: всяко бываетъ, какое кому счастье!

— Оно такъ, хозяинъ, при счастьѣ и пѣтушокъ яичко снесетъ, а при несчастьѣ и жукъ забодаетъ; только бью тебѣ челомъ: научи уму-разуму, что̀ мнѣ теперь дѣлать?

Мельникъ опустилъ голову и сталъ какъ будто прислушиваться къ шуму колеса.

Прошло нѣсколько минутъ. Старикъ покачалъ головой и заговорилъ, не обращая вниманія на Михеича.

«Ходитъ, ходитъ колесо кругомъ; что̀ было высоко, то̀ будетъ низко; что̀ было низко, будетъ высоко; слышу—далеко звонитъ колоколъ: невѣсть на похороны, невѣсть на свадьбу; а кого вѣнчать, кого хоронить, не слыхать—вода шумитъ, не видать за великимъ дымомъ!

«Слетаются во̀роны издалека, кличутъ другъ друга на богатый пиръ, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуютъ, летятъ да кричатъ! Наточенъ топоръ, наряженъ палачъ; по дубовымъ доскамъ побѣгутъ, потекутъ теплой крови ручьи; слетятъ головы съ плечъ—да невѣдомо чьи».

Михеичъ струсилъ.

— Что̀ ты, дѣдушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойникѣ?

Мельникъ, казалось, не слыхалъ Михеича. Онъ уже ничего не говорилъ, но только бормоталъ себѣ что-то подъ носъ. Губы его безъ умолку шевелились, а сѣрые глаза смотрѣли тускло, какъ будто ничего не видѣли.

— Дѣдушка, а дѣдушка!—Михеичъ дернулъ его за рукавъ.

— А?—отозвался мельникъ и обратился къ Михеичу, будто теперь только его замѣтилъ.

— Что̀ ты бормочешь, дѣдушка?

— Эхъ, куманекъ! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путемъ-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебѣ будетъ поворотовъ и вправо и влѣво, а ты все прямо ступай; верстъ пять проѣдешь—будетъ въ сторонѣ избушка; въ той избушкѣ нѣтъ живой души. Подожди тамъ до ночи, придутъ добрые люди,—отъ нихъ больше узна̀ешь. А обратнымъ путемъ заѣзжай сюда, будетъ тебѣ работа: залетѣла жаръ-птица въ западню; отвезешь ее къ царю Далмату, а выручку пополамъ!

И, не дожидаясь отвѣта, старикъ вошелъ въ мельницу и заперъ за собою дверь.

— Дѣдушка!—закричалъ ему вслѣдъ Михеичъ:—да

скажи мнѣ толкомъ, про какихъ ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельникъ не отозвался на голосъ Михеича, и сколько тотъ ни прислушивался, онъ ничего не могъ услышать, кромѣ шума воды и стука колесъ.

«Вишь, тётка его подкурятина!—подумалъ Михеичъ:—куда вздумалъ посылать! Верстъ пять будетъ избушка, въ ней жди до ночи, а тамъ чортъ знаетъ кто придетъ—больше скажетъ. Послалъ бы я тебя самого туда, хрѣнъ этакой! Кабы не бояринъ, ужъ я бы далъ тебѣ! Вишь какой, въ самомъ дѣлѣ! Тьфу! Ну, Галка, нечего дѣлать, давай искать чортовой избушки!»

И, сѣвъ на коня, Михеичъ присвистнулъ и пустился рысцой по направленію, указанному мельникомъ.

ГЛАВА XIX.

Русскій человѣкъ добро помнитъ.

Было уже поздно, когда Михеичъ увидѣлъ въ сторонѣ избушку, черную и закоптѣвшую, похожую больше на полуистлѣвшій грибъ, чѣмъ на человѣческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались надъ высокою травой на небольшой расчищенной полянѣ. Было свѣжо и сыро. Птицы перестали щебетать; лишь иныя, время отъ времени, зачинали сонную пѣснь и, не окончивъ ея, засыпали на вѣтвяхъ. Мало-по-малу и онѣ замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимаго ручья да изрѣдка жужжанье вечернихъ жуковъ.

— Вишь куда заѣхали!—сказалъ Михеичъ, оглядываясь кругомъ:—и подлинно тутъ живой души нѣтъ! Подожду, посмотрю, кто такой придетъ, какого дастъ совѣта? Ну, а коли, не дай Богъ, кто-нибудь такой придетъ, что... тьфу! Съ нами крестная сила! Далъ бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать!

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, стреножилъ ее путами, снялъ узду и пустилъ лошадку на волю Божію.

— Щипли себѣ травку,—сказалъ онъ:—а я войду въ избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нѣтъ ли чего перекуситъ! Хозяйство, можетъ, хоть и недоброе, да вѣдь и голодъ не тётка!

Онъ толкнулъ ногой низенькую косую дверь; странно раздался въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ ея продолжительный скрипъ, почти похожій на человѣческій плачъ. Когда

наконецъ, повернувшись на петляхъ, она ударилась въ стѣну, Михеичъ нагнулся и вошелъ въ избу. Его обдало темнотой и запахомъ остывшаго дыма. Пошаривъ кругомъ, онъ ощупалъ на столѣ краюху хлѣба и принялся убирать ее за обѣ щеки. Подошелъ къ очагу, порылся въ золѣ, нашелъ тамъ горячіе уголья, раздулъ ихъ не безъ труда и зажегъ лучину, валявшуюся на лавкѣ. Между печью и стѣною были укрѣплены полати. На нихъ лежало разное платье; между прочимъ, одинъ парчевой кафтанъ, шитый хоть бы на боярина. На стѣнѣ висѣла мисюрка съ богатою золотою насѣчкой. Но болѣе всего привлекъ вниманіе Михеича стоявшій на косякѣ образъ, весь почернѣвшій отъ дыма. Онъ примирилъ его съ неизвѣстными хозяевами.

Михеичъ нѣсколько разъ на него перекрестился, потомъ погасилъ лучину, влѣзъ на полати, растянулся, покряхтѣлъ и заснулъ богатырскимъ сномъ. Онъ спалъ довольно сладко, когда внезапный ударъ кулакомъ въ бокъ свалилъ его съ полатей.

— Это что?—вскричалъ Михеичъ, проснувшись уже на голой землѣ:—кто это дерется? смотри, тётка твоя...

Передъ нимъ стоялъ дѣтина съ всклоченною бородой, съ широкимъ ножомъ за поясомъ, и готовился попотчевать его новымъ ударомъ кулака.

— Не замай!—сказалъ ему другой дюжій парень, у котораго только-что усъ пробивался:—что онъ тебѣ сдѣлалъ? А?—При этомъ онъ оттеръ товарища плечомъ, а самъ уставился на Михеича и выпучилъ глаза.

— Ишь, сядой!—замѣтилъ онъ съ какимъ-то почтительнымъ удивленіемъ.

— Да ты, тюлень, чего ввязался!—закричалъ на него первый:—что онъ тебѣ—отецъ, али сватъ?

— А то онъ мнѣ, что старикъ. Ишь сядой, потому старикъ. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкій смѣхъ раздался между людьми, вошедшими толпою въ избу.

— Эй, Хлопко,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—берегись! Коли Митька осерчаетъ, плохо будетъ! Съ нимъ, братъ, не связывайся!

— Лѣшій съ нимъ свяжется!—отвѣчалъ Хлопко, отходя въ сторону.—Жили-жили въ лѣсу да и нажили медвѣдя!

Другіе молодцы, всѣ вооруженные, обступили Михеича и смотрѣли на него не слишкомъ ласково.

— Откуда кожанъ залетѣлъ?—спросилъ одинъ изъ нихъ, глядя ему прямо въ глаза.

Михеичъ между тѣмъ успѣлъ оправиться.

«Эге!—подумалъ онъ:—да это они-то и есть, станичники-то!»

— Здравствуйте, добрые люди! А гдѣ у васъ тотъ, что̀ зовутъ Ванюхой Перстнемъ?

— Такъ тебѣ атамана надо? Чего-жъ ты прежде не говорилъ? Сказалъ бы сразу, такъ не отвѣдалъ бы тумака!

— А вотъ и атаманъ,—прибавилъ другой, указывая на Перстня, который только-что вошелъ, въ сопровожденіи стараго Коршуна.

— Атаманъ!—закричали разбойники:—вотъ пришелъ человѣкъ, про тебя спрашиваетъ!

Перстень окинулъ быстрымъ окомъ Михеича и тотчасъ узналъ его.

— А, это ты, товарищъ!—сказалъ онъ:—добро пожаловать! Ну, что̀ его княжеская милость, какъ здравствуетъ съ того дня, какъ мы вмѣстѣ Малютиныхъ опричниковъ щелкали? Досталось имъ отъ насъ на Поганой-Лужѣ! Жаль только, что Малюта Лукьянычъ ускользнулъ, да что этотъ увалень, Митька, Хомяка упустилъ. Не сдоброватъ бы имъ у меня въ рукахъ!.. Что̀, я чай, батюшка-царь куда какъ обрадовался, какъ царевича-то увидалъ! Я чай, не нашелъ, чѣмъ пожаловать князя Никиту Романыча!

— Да! — отвѣчалъ со вздохомъ Михеичъ: — жалуетъ царь, да не жалуетъ псарь! Батюшка-государь Иванъ Васильевичъ, дай Богъ ему здоровья, таки-миловалъ господина моего. Только, видно, не угодилъ Никита Романычъ опричникамъ окаяннымъ. Правда, не за что имъ и любить насъ. Перво въ Медвѣдевкѣ мы ихъ плетьми отшлепали, да вдругорядь на Поганой-Лужѣ Малютѣ оплеуху дали, да вотъ вчера на Москвѣ бояринъ таки-порубилъ ихъ порядкомъ. А они, окаянные, навалились на него многолюдствомъ, опрокинули, связали да и повезли къ слободѣ. Оно бы все ничего, да этотъ Малюта, песій сынъ, обнесетъ насъ передъ государемъ, выместитъ на князѣ свою оплеуху!

— Гмъ!—сказалъ Перстень, садясь на скамью:—такъ царь не велѣлъ повѣсить Малюту? Какъ же такъ? Ну, про то знаетъ его царская милость. Что-жъ ты думаешь дѣлать?

— Да что, батюшка Иванъ, не знаю, какъ и величать твое здоровье по изотчеству...

— Величай Ванюхой—и дѣло съ концомъ!

— Ну, батюшка Ванюха, я и самъ не знаю, что дѣлать... Авось ты чего не пригадаешь ли? Вѣдь одинъ-то умъ хорошъ, а два лучше! Вотъ и мельникъ не къ кому другому, а къ тебѣ послалъ: ступай, говоритъ, къ атаману, онъ поможетъ; ужъ я, говоритъ, по примѣтамъ вижу, что ему отъ этого будетъ всякая удача и корысть богатая! Ступай, говоритъ, къ атаману!

— Ко мнѣ! Такъ и сказалъ—ко мнѣ?

— Къ тебѣ, батюшка, къ тебѣ. Ступай, говоритъ, къ атаману, отдай отъ меня поклонъ, скажи, чтобы во что-бъ ни стало выручилъ князя. Я-де, говоритъ, ужъ вижу, что ему будетъ отъ этого корысть богатая, по примѣтамъ, дескать, вижу. Пусть, во что-бъ ни стало, выручитъ князя! Я-де, говоритъ, этой службы не забуду. А не выручитъ атаманъ князя—всякая, говоритъ, будетъ напасть на него: исчахнетъ, говоритъ, словно былинка; совсѣмъ, говоритъ, пропадетъ!

— Вотъ что!—сказалъ Перстень, потупя голову и какъ будто задумавшись:—ужель и вправду исчахну?

— Да, батюшка, и руки и ноги, говоритъ, отсохнутъ; а на головѣ такая, говоритъ, пойдетъ дрянь, что не приведи Господи!

Перстень поднялъ голову и пристально взглянулъ на Михеича.

— А еще ничего не сказалъ мельникъ?

— Какъ же, батюшка!—продолжалъ Михеичъ, поглядывая сбоку на дымящійся горшокъ щей, который разбойники поставили на столъ:—еще мельникъ сказалъ такъ: скажи, дескать, атаману, чтобъ онъ тебя накормилъ и напоилъ хорошенько, примѣрно, какъ бы самого меня. А главное, говоритъ, чтобъ выручилъ князя. Вотъ что, батюшка, мельникъ сказалъ!

И Михеичъ посматривалъ на атамана, извѣдывая, какое впечатлѣніе произвели его слова.

Но Перстень взглянулъ на него еще пристальнѣе и вдругъ залился самымъ громкимъ, самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Эхъ, старина, старина! Такъ тебѣ и вправду мельникъ сказалъ, что коли не выручу князя, такъ вотъ и пропаду?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ стремянный, немного запинаясь:—и руки и ноги...

— Хитеръ же ты, братъ!—перебилъ Перстень, ударивъ его по плечу и продолжая смѣяться:—только меня-то напрасно надувать вздумалъ! Садись съ нами,—прибавилъ онъ, придвигаясь къ столу:—хлѣбъ да соль. На тебѣ ложку, повечеряемъ; а коли можно помочь князю, я и безъ твоихъ выдумокъ помогу. Только какъ и чѣмъ помочь? Вѣдь князь-то въ тюрьмѣ сидитъ?

— Въ тюрьмѣ, батюшка.

— Въ той самой, что на площади у Малютина дома?

— Да уже ни въ какой другой. Эта будетъ покрѣпче!

— А ключи вѣдь у кого? У Малюты?

— Да какъ были мы въ слободѣ, такъ, бывало, видѣли, какъ онъ хаживалъ въ тюрьму пытать людей. Ключи, бывало, всегда съ нимъ. А къ ночи, бывало, онъ ихъ къ царю относитъ; а ужъ царь, всѣмъ вѣдомо, подъ самое изголовье кладетъ.

— Ну, такъ вишь ли!—сказалъ Перстень, опуская ложку въ щи:—какой тутъ бѣсъ твоему князю поможетъ? Ну, говори самъ: какой бѣсъ ему поможетъ?

Михеичъ почесалъ затылокъ.

— Такъ ты видишь, что нельзя помочь?

— Вижу, — отвѣчалъ Михеичъ и ложку бросилъ.— Стало, и мнѣ не жить на бѣломъ свѣтѣ! Пойду къ господину, сложу старую голову подлѣ его головы, стану ему на томъ свѣтѣ служить, коль на этомъ заказано!

— Ну, ну, ужъ и отходную затянулъ! Еще, можетъ, князь твой и не въ тюрьмѣ. Тогда и плакать нечего, а коли въ тюрьмѣ, такъ дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю, я туда прошедшаго мѣсяца медвѣдя водилъ, и дворецъ знаю, все высмотрѣлъ; думалъ себѣ: когда-нибудь пригодится!.. Постой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

— Нашелъ!—вскричалъ онъ вдругъ и вскочилъ съ мѣста.—Дядя Коршунъ! Насъ съ тобой князь отъ смерти спасъ—спасемъ и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дѣло?

Старый разбойникъ нахмурился и покачалъ кудрявою головой.

— Что, Коршунъ, нѣшто не хочется тебѣ?

— Да что ты, атаманъ, съ ума, что ли, спятилъ? Аль

не слыхалъ, гдѣ сидитъ князь? Аль не слыхалъ, что ключи днемъ у Малюты, а ночью у царя подъ изголовьемъ? Что̀ тутъ дѣлать? Плетью обуха не перешибешь. Пропалъ онъ, такъ и пропалъ! Нешто изъ-за него и намъ пропадать? Легче ему, что ли, будетъ, когда съ насъ шкуру сдерутъ?

— Оно такъ, Коршунъ, да вѣдь недаромъ пословица говорится: долгъ платежомъ красенъ! Вѣдь не спаси насъ въ то время князь, гдѣ бы мы теперь были? Висѣли бы гдѣ-нибудь на березѣ, вѣтеръ бы насъ покачивалъ! А каково-то ему теперь? Я чай, думаетъ себѣ: вотъ я въ ту пору ребятушекъ вызволилъ изъ бѣды, теперь и они меня вызволятъ! А какъ бросимъ мы его, да какъ поведутъ его казнить—тьфу! скажетъ: что-й-то за люди были: воровать-разбойничать умѣютъ, а добра-то не помнятъ! Только, скажетъ, кровь неповинную проливаютъ, а христіанина спасти не ихъ дѣло! Я, скажетъ, за нихъ Господу Богу и добраго слова не замолвлю! Пусть себѣ, скажетъ, и на этомъ свѣту и на томъ пропадаютъ! Вотъ что̀ скажетъ князь!

Коршунъ еще болѣе нахмурилъ брови. Внутренняя борьба отразилась на суровомъ лицѣ его. Замѣтно было, что Перстень удачно тронулъ живую струну въ очерствѣломъ его сердцѣ.

Но недолго продолжалась борьба. Старикъ махнулъ рукою.

— Нѣтъ, братъ,—сказалъ онъ:—пустое затѣваешь; своя рубаха ближе къ тѣлу! Не пойду!

— Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ!—сказалъ Перстень.—Подождемъ утра, авось, что̀ другое придумаемъ,—утро вечера мудренѣе! А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть! Кто можетъ Богу молиться—молись, а кто не можетъ—та̀къ ложись!

Атаманъ посмотрѣлъ искоса на Коршуна. Видно, зналъ онъ что-нибудь за старикомъ, ибо Коршунъ слегка вздрогнулъ и, чтобъ никто того не замѣтилъ, сталъ громко зѣвать, а потомъ напѣвать себѣ что-то подъ носъ.

Разбойники встали. Иные тотчасъ влѣзли на полати; другіе еще долго молились передъ образомъ. Изъ числа послѣднихъ былъ Митька. Онъ усердно клалъ земные поклоны, и если-бъ одежда и вооруженіе не обличали ремесла его, никто бы, по добродушному лицу Митьки, не узналъ въ немъ разбойника.

Не таковъ былъ старый Коршунъ. Когда всѣ улеглись, Михеичъ увидѣлъ при слабомъ мерцаніи огня, какъ старикъ слѣзъ съ лежанки и подошелъ къ образу. Нѣсколько разъ онъ перекрестился, что-то пробормоталъ и наконецъ сказалъ съ сердцемъ:

— Нѣтъ, не могу! А чаялъ, будетъ легче сегодня!

Долго слышалъ Михеичъ, какъ Коршунъ ворочался съ боку на бокъ, ворчалъ что-то про себя, но не могъ заснуть. Передъ разсвѣтомъ онъ разбудилъ атамана.

— Атаманъ,—сказалъ онъ:—а атаманъ!

— Чего тебѣ, дядя?

— Пожалуй, я пойду съ тобой; веди куда знаешь!

— Что такъ?

— Да такъ,—спать не могу. Вотъ ужъ которую ночь не спится.

— А назадъ не попятишься?

— Ужъ сказалъ: иду,—такъ не попячусь!

— Ну, ладно, дядя Коршунъ, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а болѣ не надо! Много ли ночи осталось?

— Ужъ слышно, птахи заиграли.

— Ну, такъ уже вволю полежано, и вставать пора... Митька! — сказалъ Перстень, толкая подъ бокъ Митьку.

— А?—отвѣчалъ, раскрывъ глаза, парень.

— Хочешь идти съ нами?

— Кудь?

— Тебѣ что за дѣло? Спрашиваютъ тебя, хочешь ли идти со мной да съ дѣдушкой Коршуномъ?

— А для-ча?—отвѣчалъ Митька, зѣвая, и свѣсилъ ноги съ полатей.

— Ну, за это люблю. Иди куда поведутъ, а не спрашивай: кудь? Расшибутъ тебѣ голову—не твое дѣло, про то мы будемъ знать, а тебѣ какая нужда! Ну, смотри-жъ, взялся за гужъ, не говори: не дюжъ; попятишься назадъ, ракомъ назову!

— Ня назовешь!—отвѣчалъ Митька и сталъ обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одѣваться.

Въ чемъ состояла выдумка Перстня, и удачно-ль онъ исполнилъ ее—узнаемъ изъ слѣдующихъ главъ.

ГЛАВА XX.

Веселые люди.

Въ глубокой и темной тюрьмѣ, которой мокрыя стѣны были покрыты плѣсенью, сидѣлъ князь Никита Романовичъ, скованный по рукамъ и ногамъ, и ожидалъ себѣ смерти. Не зналъ онъ навѣрно, сколько прошло дней съ тѣхъ поръ, какъ его схватили, ибо свѣтъ ни откуда не проникалъ въ подземелье, но время отъ времени доходилъ до слуха его отдаленный благовѣстъ, и, соображаясь съ этимъ глухимъ и слабымъ звономъ, онъ разсчиталъ, что сидитъ въ тюрьмѣ болѣе трехъ дней. Брошенный ему хлѣбъ былъ уже давно съѣденъ, оставленный ковшъ съ водой давно выпитъ, и голодъ и жажда начинали его мучить, какъ непривычный шумъ привлекъ его вниманіе. Надъ головой его отпирали замо̀къ. Заскрипѣла первая наружная дверь темницы. Шумъ раздался ближе. Загремѣлъ другой замо̀къ, и вторая дверь заскрипѣла. Наконецъ отперли третью дверь, и послышались шаги, спускающіеся въ подземелье. Сквозь щели послѣдней двери блеснулъ огонь, ключъ съ визгомъ повернулся, нѣсколько засововъ отодвинулось, ржавыя петли застонали, и яркій, нестерпимый свѣтъ ослѣпилъ Серебрянаго.

Когда онъ опустилъ руки, которыми невольно закрылъ глаза, передъ нимъ стояли Малюта Скуратовъ и Борисъ Годуновъ. Сопровождавшій ихъ палачъ держалъ высоко надъ ними смоляной свѣточъ.

Малюта, скрестивъ руки, глядѣлъ, улыбаясь, въ лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

— Здравствуй, батюшка-князь!—проговорилъ онъ такимъ голосомъ, котораго никогда еще не слыхивалъ Никита Романовичъ,—голосомъ протяжно-вкрадчивымъ и зловѣще-мягкимъ, напоминающимъ кровожадное мяуканье кошки, когда она подходитъ къ мышеловкѣ, въ которой сидитъ пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но видъ Годунова подѣйствовалъ на него благотворно.

— Борисъ Ѳедоровичъ,—сказалъ онъ, отворачиваясь отъ Малюты:—спасибо тебѣ, что ты посѣтилъ меня. Теперь и умереть будетъ легче!

И онъ протянулъ къ нему скованную руку. Но Го-

дуновъ отступилъ назадъ, и на холодномъ лицѣ его ни одна черта не выразила участія къ князю.

Рука Серебрянаго, гремя цѣпью, опять упала къ нему на колѣни.

— Не думалъ я, Борисъ Ѳедоровичъ,—сказалъ онъ съ упрекомъ:—что ты отступишься отъ меня. Иль ты только пришелъ на мою казнь посмотрѣть?

— Я пришелъ,—отвѣтилъ спокойно Годуновъ:—быть у допроса твоего вмѣстѣ съ Григорьемъ Лукьяновичемъ. Отступаться мнѣ не отъ чего; я никогда не мыслилъ къ тебѣ и только, вѣдая государево милосердіе, остановилъ въ ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебрянаго болѣзненно сжалось, и перемѣна въ Годуновѣ показалась ему тяжелѣе самой смерти.

— Время милосердія прошло,—продолжалъ Годуновъ хладнокровно.—Ты помнишь клятву, что̀ далъ государю? Покорись же теперь его святой волѣ, и если признаешься намъ во всемъ безъ утайки, то минуешь пытку и будешь казненъ скорою смертью. Начнемъ допросъ, Григорій Лукьяновичъ!

— Погоди, погоди маленько!—отвѣчалъ Малюта, улыбаясь.—У меня съ его милостью особые счеты! Укороти его цѣпи, Ѳомка!—сказалъ онъ палачу.

И палачъ, воткнувъ свѣточъ въ желѣзное кольцо, вдѣланное въ стѣну, подтянулъ руки Серебрянаго къ самой стѣнѣ, такъ что онъ не могъ ими двинуть.

Тогда Малюта подступилъ къ нему ближе и долго смотрѣлъ на него, не измѣняя своей улыбки.

— Батюшка, князь Никита Романычъ!—заговорилъ онъ наконецъ:—не откажи мнѣ въ милости великой!

Онъ сталъ на колѣни и поклонился въ землю Серебряному.

— Мы, батюшка-князь,—продолжалъ онъ съ насмѣшливою покорностью:—мы передъ твоею милостью малые люди; такихъ большихъ бояръ, какъ ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытывали! И къ допросу-то приступить робость беретъ! Кровь-то, вишь, говорятъ, не одна у насъ въ жилахъ течетъ...

И Малюта остановился, и улыбка его сдѣлалась ядовитѣе, и глаза расширились болѣе, и зрачки запрыгали чаще.

— Дозволь, батюшка-князь,—продолжалъ онъ, придавая своему голосу умоляющее выраженіе:—дозволь передъ

допросомъ, для смѣлости-то, на твою боярскую кровь посмотрѣть!

И онъ вынулъ изъ-за пояса ножъ и подползъ на колѣняхъ къ Серебряному.

Никита Романовичъ рванулся назадъ и взглянулъ на Годунова.

Лицо Бориса Ѳедоровича было неподвижно.

— А потомъ, — продолжалъ, возвышая голосъ, Малюта:—потомъ дозволь мнѣ, худородному, изъ княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозволь мнѣ, холопу, боярскую кожу твою на конскій чапракъ снять! Дозволь мнѣ, смрадному рабу, вельможнымъ мясомъ твоимъ собакъ моихъ накормить!

Голосъ Малюты, обыкновенно грубый, теперь походилъ на визгъ шакала, нѣчто между плачемъ и хохотомъ.

Волосы Серебрянаго стали дыбомъ. Когда въ первый разъ Іоаннъ осудилъ его на смерть, онъ твердо шелъ на плаху, но здѣсь, въ темницѣ, скованный цѣпями, изнуренный голодомъ, онъ не въ силахъ былъ вынести этого голоса и взгляда.

Малюта нѣсколько времени наслаждался произведеннымъ имъ дѣйствіемъ.

— Батюшка-князь, — взвизгнулъ онъ вдругъ, бросая ножъ свой и поднимаясь на ноги:—дозволь мнѣ прежде всего тебѣ честно долгъ заплатить!

И, стиснувъ зубы, онъ поднялъ ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебрянаго отхлынула къ сердцу, и къ негодованію его присоединился тотъ ужасъ омерзѣнія, какой производитъ на насъ близость нечистой твари, грозящей своимъ прикосновеніемъ.

Онъ устремилъ отчаянный взоръ свой на Годунова.

Въ эту минуту подъятая рука Малюты остановилась на воздухѣ, схваченная Борисомъ Ѳедоровичемъ.

— Григорій Лукьяновичъ,—сказалъ Годуновъ, не теряя своего спокойствія:—если ты его ударишь, онъ расшибетъ себѣ голову объ стѣну, и некого будетъ намъ допрашивать. Я знаю этого Серебрянаго.

— Прочь!—заревѣлъ Малюта.—Не мѣшай мнѣ надъ нимъ потѣшиться! Не мѣшай отплатить ему за Поганую-Лужу!

— Опомнись, Григорій Лукьяновичъ! Мы отвѣчаемъ за него государю!

И Годуновъ схватилъ Малюту за обѣ руки.

Но, какъ дикій звѣрь, почуявшій кровь, Малюта ничего уже не помнилъ. Съ крикомъ и проклятіями вцѣпился онъ въ Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; свѣточъ, задѣтый однимъ изъ нихъ, упалъ на землю и погасъ подъ ногою Годунова.

Малюта пришелъ въ себя.

— Я скажу государю,—прохрипѣлъ онъ, задыхаясь:—что ты стоишь за его измѣнника!

— А я,—отвѣтилъ Годуновъ:—скажу государю, что ты хотѣлъ убить его измѣнника безъ допроса, потому что боишься его показаній!

Нѣчто въ родѣ рычанія вырвалось изъ груди Малюты, и онъ бросился изъ темницы, позвавъ съ собою палача.

Между тѣмъ какъ они ощупью взбирались по лѣстницѣ, Серебряный почувствовалъ, что ему отпускаютъ цѣпи, и что онъ опять можетъ двигаться.

— Не отчаивайся, князь! — шепнулъ ему на ухо Годуновъ, крѣпко сжимая его руку:—главное, выиграть время!

И онъ поспѣшилъ вслѣдъ за Малютой, заперевъ предварительно за собою дверь и тщательно задвинувъ засовы.

— Григорій Лукьяновичъ,—сказалъ онъ Скуратову, догнавъ его у выхода и подавая ему ключи въ присутствіи стражи:—ты не заперъ тюрьмы. Этакъ дѣлать не годится: неравно подумаютъ—ты заодно съ Серебрянымъ!

Въ то самое время, какъ описанное происходило въ тюрьмѣ, Іоаннъ сидѣлъ въ своемъ теремѣ, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-по-малу имъ овладѣло. Чувство это было невольное уваженіе къ Серебряному, котораго смѣлые поступки возмущали его самодержавное сердце, а между тѣмъ не подходили подъ собственныя его понятія объ измѣнѣ. Доселѣ Іоаннъ встрѣчалъ или явное своеволіе, какъ въ боярахъ, омрачавшихъ своими раздорами время его малолѣтства, или гордое непокорство, какъ въ Курбскомъ, или же рабскую низкопоклонность, какъ во всѣхъ окружавшихъ его въ настоящее время. Но Серебряный не принадлежалъ ни къ одному изъ этихъ разрядовъ. Онъ раздѣлялъ убѣжденія своего вѣка въ божественной неприкосновенности правъ Іоанна; онъ умственно подчинялся этимъ убѣжденіямъ и, болѣе привыкшій дѣйствовать, чѣмъ мыслить, никогда

не выходилъ преднамѣренно изъ повиновенія царю, котораго считалъ представителемъ Божіей воли на землѣ. Но, несмотря на это, каждый разъ, когда онъ сталкивался съ явною несправедливостью, душа его вскипала негодованіемъ, и врожденная прямота брала верхъ надъ правилами, принятыми на-вѣру. Онъ тогда, самъ себѣ на удивленіе и почти безсознательно, дѣйствовалъ наперекоръ этимъ правиламъ, и на дѣлѣ выходило совсѣмъ не то, что̀ они ему предписывали. Эта благородная непослѣдовательность противорѣчила всѣмъ понятіямъ Іоанна о людяхъ и приводила въ замѣшательство его знаніе человѣческаго сердца. Откровенность Серебрянаго, его неподкупное прямодушіе и неспособность преслѣдовать личныя выгоды были очевидны для самого Іоанна. Онъ понималъ, что Серебряный его не обманетъ, что можно на него вѣрнѣе положиться, чѣмъ на кого-либо изъ присяжныхъ опричниковъ, и ему приходило желаніе приблизить его къ себѣ и сдѣлать изъ него свое орудіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что орудіе это, само по себѣ надежное, можетъ неожиданно ускользнуть изъ рукъ его, и при одной мысли о такой возможности расположеніе его къ Серебряному обращалось въ ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Іоанна и побуждала его иногда отказываться отъ кровавыхъ дѣлъ своихъ и предаваться раскаянію, но то были исключенія; въ обыкновенное же время онъ былъ проникнутъ сознаніемъ своей непогрѣшимости, вѣрилъ твердо въ божественное начало своей власти и ревниво охранялъ ее отъ постороннихъ посягательствъ, а посягательствомъ казалось ему всякое, даже молчаливое осужденіе. Такъ случилось и теперь. Мысль простить Серебрянаго мелькнула въ душѣ его, но тотчасъ же уступила мѣсто убѣжденію, что Никита Романовичъ принадлежитъ къ числу людей, которыхъ не должно терпѣть въ государствѣ.

«Аще,—подумалъ онъ:—цѣлому стаду идущу одесную, единая овца идетъ ошую, пастырь ту овцу изъемлетъ изъ стада и закланію предаетъ!»—Такъ подумалъ Іоаннъ и рѣшилъ въ сердцѣ своемъ участь Серебрянаго. Казнь ему была назначена на слѣдующій день; но онъ велѣлъ снять съ него цѣпи и послалъ ему вино и пищу отъ своего стола.

Между тѣмъ, чтобы разогнать впечатлѣнія, возбужденныя въ немъ внутреннею борьбою,—впечатлѣнія непри-

вычныя, отъ которыхъ ему было неловко,—онъ вздумалъ проѣхаться въ чистомъ полѣ и приказалъ большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольничій, подсокольничій, начальные люди и всѣ чины сокольничья пути выѣхали верхами, въ блестящемъ убранствѣ, съ соколами, кречетами и челигами на рукавицахъ, и ожидали государя въ полѣ.

Недаромъ искони говорилось, что полевая потѣха утѣшаетъ сердца печальныя, а кречетья добыча веселитъ весельемъ радостнымъ стараго и малаго. Сколь ни пасмуренъ былъ царь, когда выѣхалъ изъ слободы съ своими опричниками, но при видѣ всей блестящей толпы сокольниковъ лицо его прояснилось. Мѣстомъ сборища были заповѣдные луга и перелѣски, верстахъ въ двухъ отъ слободы по Владимірской дорогѣ.

Сокольничій, въ красномъ бархатномъ кафтанѣ съ золотою нашивкой и золотою перевязью, въ парчевой шапкѣ, въ желтыхъ сапогахъ и въ нарядныхъ рукавицахъ, слѣзъ съ коня и подошелъ къ Іоанну, сопровождаемый подсокольничимъ, который несъ на рукѣ бѣлаго кречета, въ клобучкѣ и въ колокольцахъ.

Поклонившись до земли, сокольничій спросилъ:

— Время ли, государь, веселью быть?

— Время,—отвѣчалъ Іоаннъ:—начинай веселье!

Тогда сокольничій подалъ царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, принявъ кречета отъ подсокольничаго, посадилъ его государю на руку.

— Честные и доброхвальные охотники!—сказалъ сокольничій, обращаясь къ толпѣ опричниковъ:—забавляйтеся и утѣшайтеся славною, красною и премудрою охотой, да исчезнутъ всякія печали и да возрадуются сердца ваши!

Потомъ, обратясь къ сокольникамъ:

— Добрые и прилежные сокольники!—сказалъ онъ:—напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольниковъ разсѣялась по полю. Иные съ крикомъ бросились въ перелѣски; другіе поскакали къ небольшимъ озерамъ, разбросаннымъ, какъ зеркальные осколки, между кустами.

Вскорѣ стаи утокъ поднялись изъ камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколовъ. Утки бросились-было обратно къ озерамъ, но тамъ встрѣтили ихъ другіе со-

колы, и онѣ въ испугѣ разметались какъ стрѣлы по всѣмъ направленіямъ.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на утокъ, кто вдогонку, кто напереxватъ, кто прямымъ боемъ, сверху внизъ, падая какъ камень на спину добычи.

Отличился въ этотъ день и Бѣдряй и Смѣляй, сибирскіе челиги, и Арбасъ и Анпрасъ, соколы-дикомыты, и Хорьякъ, и Худякъ, и Малецъ, и Палецъ. Досталось отъ нихъ и уткамъ и тетеревамъ, которыхъ рядовые сокольники выпугивали бичами изъ зарослей. Чуденъ и красносмотреленъ былъ летъ разнопородныхъ соколовъ. Тетерева безпрестанно падали, кувыркаясь въ воздухѣ. Нѣсколько разъ утки въ отчаяньи бросались лошадямъ подъ ноги и были схвачены охотниками живьемъ. Не обошлось и безъ наклада. Молодикъ Гамаюнъ, бросившись съ высоты на стараго косача, летѣвшаго очень низко, ударился грудью о̀земь и убился на мѣстѣ.

Астрецъ и Сородумъ, два казанскіе розмытя, улетѣли изъ виду охотниковъ, несмотря ни на свистъ поддатней ни на голубиныя крылья, которыми они махали.

Но всѣхъ славнѣе и удивительнѣе выказалъ себя царкій кречетъ, честникъ, по прозванію Адраганъ. Два раза напускалъ его царь, и два раза онъ долго оставался въ воздухѣ, билъ безъ промаху всякую птицу и, натѣшившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. Въ третій разъ Адраганъ пришелъ въ такую ярость, что началъ бить не только полевую птицу, но и самихъ соколовъ, которые неосторожно пролетали мимо него. Соколъ Смышляй и соколій челигъ Кружокъ упали на землю съ подрѣзанными крыльями. Тщетно царь и всѣ бывшіе при немъ сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Бѣлый кречетъ чертилъ въ небѣ широкіе круги, поднимался на высоту невидимую и, подобно молніи, стремился на добычу; но вмѣсто того, чтобы опускаться за нею на землю, Адраганъ, послѣ каждой новой побѣды, опять взмывалъ кверху и улеталъ далеко.

Сокольничій, потерявъ надежду достать Адрагана, поспѣшилъ подать царю другого кречета. Но царь любилъ Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Онъ спросилъ у сокольничаго, кому изъ рядовыхъ указано держать Адрагана? Сокольничій отвѣчалъ, что указано рядовому Тришкѣ

Іоаннъ велѣлъ позвать Тришку. Тришка, чуя бѣду, явился блѣдный.

— Человѣче,—сказалъ ему царь:—такъ ли ты блюдешь честника? На что у тебя вабило, коли ты не умѣешь наманить честника? Слушай, Тришка: отдаю въ твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя такъ, что никому изъ васъ такого времени не будетъ; а коли пропадетъ честникъ, велю—не прогнѣвайся—голову съ тебя снять,—и то̀ будетъ всѣмъ за страхъ; а я давно замѣчаю, что нѣтъ межъ сокольниковъ добраго строенія и гибнетъ птичья потѣха!

При послѣднихъ словахъ Іоаннъ покосился на самого сокольничаго, который, въ свою очередь, поблѣднѣлъ, ибо зналъ, что царь ни на кого не косится даромъ.

Тришка, не теряя времени, вскочилъ на̀-конь и поскакалъ искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтобы указалъ онъ ему потерянаго кречета.

Охота между тѣмъ шла своимъ чередомъ. Уже не одинъ часъ тѣшился государь, и уже много всякой добычи было ввязано въ торока, какъ новое зрѣлище обратило на себя вниманіе Іоанна.

По Владимірской дорогѣ тащились двое слѣпыхъ, одинъ среднихъ лѣтъ, другой старикъ, съ сѣдою кудрявою головой и длинною бородой. На нихъ были бѣлыя, изношенныя рубахи, а на полотенцахъ, перекинутыхъ черезъ плечи крестъ-на-крестъ, висѣли, съ одной стороны, мѣшокъ для сбиранія милостыни, а съ другой—изодранный кафтанъ, скинутый по случаю жара. Остальные пожитки, какъ-то: гусли, балалайки и торбу съ хлѣбомъ, они взвалили на дюжаго молодого парня, служившаго имъ вожатымъ. Сначала тотъ изъ слѣпыхъ, который былъ помоложе, держался за плечо вожатаго, а самъ тащилъ за собою старика. Только молодой парень, видно, зазѣвался на охоту и забылъ про товарищей. Слѣпые отстали отъ зрячаго. Держась одинъ за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на нихъ, Иванъ Васильевичъ не могъ удержаться отъ смѣха. Онъ подъѣхалъ къ нимъ ближе. Въ это время передній слѣпой оступился, упалъ въ лужу и потянулъ за собою товарища. Оба встали, покрытые грязью, отплевываясь и браня вожатаго, который, смотрѣлъ, разиня ротъ, на блестящихъ опричниковъ. Царь громко смѣялся.

— Кто вы, молодцы?—спросилъ онъ.—Откуда и куда идете?

— Проваливай!—отвѣчалъ младшій слѣпой, не снимая шапки:—много будешь знать, скоро состаришься.

— Дурень!—закричалъ одинъ опричникъ:—аль не видишь, кто передъ тобой!

— Самъ ты дурень!—отвѣчалъ слѣпой, выкативъ на опричника бѣлки свои:—гдѣ мнѣ видѣть, коли глазъ нѣтути. Вотъ ты—дѣло другое; у тебя безъ двухъ четыре, такъ видишь ты и далѣ и шире; скажи, кто передо мной, такъ буду знать!

Царь приказалъ молчать опричнику и ласково повторилъ вопросъ свой.

— Мы люди веселые,—отвѣчалъ слѣпой:—исходили деревни и сёла, идемъ изъ Мурома въ слободу, бить баклуши, добрыхъ людей тѣшить, кого на лошадь подсадить, кого спѣшить.

— Вотъ какъ!—сказалъ царь, которому нравились отвѣты слѣпого:—такъ вы муромцы, калашники, вертячіе бобы! А есть еще у васъ богатыри въ Муромѣ?

— Какъ не быть!—отвѣчалъ слѣпой, не запинаясь:—этотъ товаръ не переводится; есть у насъ дядя Михей: самъ себя за волосы на вершокъ отъ земли подымаетъ; есть тётка Ульяна, одна ходитъ на таракана.

Всѣ опричники засмѣялись. Царю давно уже не было такъ весело.

«Вотъ и вправду веселые люди,—подумалъ онъ:—видно, что не здѣшніе. Надоѣли мнѣ уже мои сказочники; все одно и то же наладили. Да ужъ и скоморохи мнѣ наскучили. Съ тѣхъ поръ, какъ пошутилъ я съ однимъ неосторожно, стали всѣ меня опасаться; смѣшного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крѣпко въ тѣлѣ сидѣла!»

— Слушай, молодецъ: что, сказки сказывать умѣешь?

— Какова сказка,—отвѣчалъ слѣпой:—и кому сказывать. Вотъ мы ономнясь разсказали старицкому воеводѣ сказку про козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама воеводша, такъ онъ насъ со двора и велѣлъ согнать, накостыляви затылокъ. Впередъ не разскажемъ.

Трудно описать хохотъ, который раздался между опричниками. Старицкій воевода былъ въ немилости у царя. Насмѣшка слѣпого пришлась какъ нельзя болѣе кстати.

— Слушайте, человѣки,—сказалъ царь:—ступайте въ

слободу, прямо во дворецъ, тамъ ждите моего пріѣзда,— царь-де васъ прислалъ. Да чтобъ васъ накормили и напоили, а пріѣду домой, послушаю вашихъ сказокъ.

При словѣ «царь» слѣпые оробѣли.

— Батюшка-государь! — сказали они, упавъ на колѣни:—не взыщи за нашу грубую, мужицкую рѣчь! Не вели намъ головы сѣчь: по невѣдѣнью согрѣшили!

Царь усмѣхнулся испугу слѣпыхъ и поѣхалъ опять въ поле продолжать охоту, а слѣпые съ вожатымъ побрели по направленію слободы.

Пока толпа опричниковъ могла ихъ видѣть, они держались одинъ за другого и безпрестанно спотыкались, но лишь только поворотъ дороги скрылъ ихъ изъ виду, младшій слѣпой остановился, оглянулся во всѣ стороны и сказалъ товарищу:

— А что̀, дядя Коршунъ, усталъ, небось, спотыкаться? Вѣдь пока дѣло-то недурно идетъ; что-то будетъ далѣ? Да чего ты такъ брови-то понасупилъ, дядя? Аль жаль тебѣ, что дѣло затѣяли?

— Не то,—отвѣчалъ старый разбойникъ:—ужъ взялся идти, небось, оглядываться не стану; да только вотъ самъ не знаю, что̀ со мной сталось: такъ тяжело на̀ сердцѣ, какъ отродясь еще не бывало, и о чемъ ни задумаю, все опять то же да то же на умъ лѣзетъ!

— А что̀ тебѣ лѣзетъ на умъ?

— Слушай, атаманъ. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ минуло съ той поры, какъ тоска ко мнѣ прикачнулася, привалилася, а никто, ни на Волгѣ ни на Москвѣ, про то не знаетъ; никому я ни слова не вымолвилъ; схоронилъ тоску въ душѣ своей, да и ношу двадцать лѣтъ, словно жерновъ на шеѣ. Пытался-было разъ говѣть въ Великій постъ, хотѣлъ попу все на духу разсказать, да молиться не смогъ— и говѣть бросилъ. А вотъ теперь опять оно меня и душитъ и давитъ; кажется, вотъ какъ вымолвлю, такъ будетъ легче. Тебѣ-то сказать и не такъ тяжело, какъ попу: ты вѣдь и самъ такой же, какъ я.

Глубокая грусть изображалась на лицѣ Коршуна. Перстень слушалъ и молчалъ. Оба разбойника сѣли на краю дороги.

— Митька,—сказалъ Перстень вожатому:—садись-ка поодаль, да гляди въ оба; коли кого дозришь, махни намъ; да смотри не забудь: ты глухъ и нѣмъ, слова̀ не выброни!

— Добро,—сказалъ Митька:—нябось, ня выроню!

— Типунъ тебѣ на языкъ, дурень этакой, нишкни! И

съ нами не говори. Привыкай молчать; не то какъ разъ при комъ-нибудь языкомъ брякнешь: тогда и насъ и тебя поминай какъ звали!

Митька отошелъ шаговъ на сто и легъ на брюхо, уперевъ локти въ землю, а подбородокъ въ руки.

— Вѣдь добрый парень,—сказалъ Перстень, глядя ему вслѣдъ:—а глупъ, хоть колъ на головѣ теши. Пусти его только,—разомъ проврется! Да нечего дѣлать, лучше его нѣтъ; онъ, по крайней мѣрѣ, не выдастъ; постоитъ и за себя и за насъ, коли, не дай Богъ, намъ круто придется. Ну, что̀, дядя—теперь никто насъ не услышитъ—говори, какая у тебя кручина? Эхъ, не во̀-время она тебя навѣстила!

Старый разбойникъ опустилъ кудрявую голову и провелъ ладонью по лбу. Хотѣлось ему говорить, да начать было трудно.

— Вишь, атаманъ,—сказалъ онъ:—довольно я людей перегубилъ на своемъ вѣку, что̀ и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купецъ ли заартачится, баба ли запищитъ, хвачу ножомъ въ бокъ—и конецъ. Даже и теперь, коли-бъ случилось кого отправить—рука не дрогнетъ! Да что̀ тутъ! Не тебя увѣрять стать: я чай, и ты довольно народу на тотъ свѣтъ спровадилъ; не въ диковинку тебѣ, такъ ли?

— Ну, что-жъ съ того?—отвѣчалъ Перстень съ примѣтнымъ неудовольствіемъ.

— Да то, что ни ты ни я, мы не бабы, не красныя дѣвицы; много у насъ крови на душѣ; а ты мнѣ вотъ что̀ скажи, атаманъ: приходилось ли тебѣ такъ, что какъ вспомнишь о какомъ-нибудь своемъ дѣлѣ, такъ тебя словно клещами за сердце схватитъ, и холодомъ и жаромъ обдастъ съ ногъ до головы, а потомъ гложетъ, гложетъ, такъ что хоть бы на свѣтъ не родиться?

— Полно, дядя, о чемъ спрашивать вздумалъ! Не такое теперь время.

— Вотъ,—продолжалъ Коршунъ:—я много ужъ и позабылъ дѣлъ своихъ, одного не могу забыть. Тому будетъ полсорока годовъ, жили мы на Волгѣ, ходили на девяти стругахъ; атаманомъ былъ у насъ Данило Котъ; о тебѣ еще и помину не было, меня уже знали въ шайкѣ и тогда уже величали Коршуномъ. Разбивали мы и суда богатыя, и пристани грабили, а что̀, бывало, добудемъ, то всегда поровну дѣлимъ, и никакого спору Данило Котъ не тер-

пѣлъ. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одѣты. Бывало, какъ нарядимся въ цвѣтные кафтаны, какъ заломимъ шапки, да ударимъ въ весла, да затянемъ удалую, такъ въ деревняхъ и городахъ народъ на берегъ и валитъ, на молодцовъ посмотрѣть, на соколовъ ясныхъ полюбоваться! А мы себѣ гребемъ, да поемъ, во всю глотку заливаемся, изъ пищалей на вѣтеръ пострѣливаемъ, краснымъ дѣвкамъ подмигиваемъ. А иной разъ, какъ посядемъ съ копьями да съ рогатинами, такъ струги наши словно лѣсомъ поросли! Хорошо было житье, да подбилъ меня бѣсъ проклятый. Думаю себѣ разъ: что-жъ? я вѣдь больше другихъ работаю, а корысть идетъ мнѣ со всѣми равная. И положилъ себѣ на мысль: пойти одному на промыселъ, зашибить добычи, да не отдавать въ артель, а взять на себя одного. Одѣлся нищимъ, почитай какъ теперь, повѣсилъ на шею торбу, всунулъ засапожникъ за онучу, да и побрелъ себѣ по дорогѣ къ посаду, не проѣдетъ ли кто? Жду себѣ, жду: ни обоза ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Добро-жъ, говорю: не даетъ Богъ корысти, такъ теперь кто-бъ ни прошелъ, будь онъ хоть отецъ родной, до-чиста оберу! Только лишь подумалъ, идетъ по дорогѣ баба убогая, несетъ что-то въ лукошкѣ; лукошко холстомъ обернуто. Лишь только поровнялась она со мной, я и выскочилъ изъ-за куста.—Стой, говорю, баба! Давай лукошко!—Она мнѣ въ ноги: — Что хошь бери, а лукошко не тронь!— «Эге, думаю я, такъ у тебя, видно, казна тамъ спрятана», да и ухватился рукой за лукошко. А баба—голосить, ругать меня, кусать за руку. Я ужъ былъ больно сердитъ, что день даромъ пропалъ, а тутъ осерчалъ еще пуще. Бѣсъ толкнулъ меня подъ бокъ, я вытащилъ засапожникъ да и всадилъ бабѣ въ горло. Какъ только свалилась она, страхъ меня взялъ. Ударился-было бѣжать, да одумался и воротился за лукошкомъ. Думаю себѣ: ужъ убилъ бабу, такъ пусть же не даромъ! Взялъ лукошко, не раскрывая, да и пустился лѣсомъ. Отошелъ не болѣе, какъ на пѣсій брехъ, ноги стали подкашиваться, думаю себѣ: сяду, отдохну, да посмотрю, много ли казны добылъ? Развернулъ лукошко, гляжу: анъ тамъ лежитъ малый ребенокъ, чуть живой, и еле дышитъ. «Ахъ ты, бѣсенокъ! — подумалъ я: — такъ вотъ зачѣмъ баба не хотѣла лукошко отдавать! Такъ изъ-за тебя, проклятаго, я грѣхъ на душу взялъ!»

Коршунъ хотѣлъ-было продолжать, да замолчалъ и задумался.

— Что-жъ ты съ ребенкомъ сдѣлалъ?—спросилъ Перстень.

— Что-жъ его было няньчить, что ли? Что̀ сдѣлалъ? Вѣстимо что̀!

Старикъ опять замолчалъ.

— Атаманъ,—сказалъ онъ вдругъ:—какъ подумаю объ этомъ, такъ сердце и защемитъ. Вотъ особливо сегодня, какъ нарядился нищимъ, то такъ живо все припоминаю, какъ будто вчера было. Да не только то время, а не знаю, съ чего стало мнѣ вдругъ памятно и такое, о чемъ я давно ужъ не думалъ. Говорятъ, оно не къ добру, когда ни съ того ни съ другого станешь вдругъ вспоминать, что̀ ужъ изъ памяти вышибъ!..

Старикъ тяжело вздохнулъ.

Оба разбойника замолчали. Вдругъ свистнули надъ ними крылья,—и бурый коршунъ упалъ кувыркомъ къ ногамъ старика. Въ то же время кречетъ Адраганъ плавно нырнулъ въ воздухѣ и пронесся мимо, не удостоивъ спуститься на свою жертву.

Митька махнулъ рукою. Вдали показались сокольники.

— Дядя!—сказалъ поспѣшно Перстень:—забудь прошлое; мы вѣдь теперь не разбойники, а слѣпые сказочники. Вонъ скачутъ царскіе люди, тотчасъ будутъ здѣсь. Живо, дядя, пріосанься, закидай ихъ прибаутками!

Старый разбойникъ покачалъ головою.

— Не сдобровать мнѣ,—сказалъ онъ, показывая на убитаго коршуна.—Это меня срѣзалъ бѣлый кречетъ. Вишь, и нѣтъ ужъ его. Убилъ, да и пропалъ!

Перстень пристально посмотрѣлъ на него и съ досадою почесалъ затылокъ.

— Слушай, дядя,—сказалъ онъ:—кто тебя знаетъ, что̀ съ тобою сегодня сталось! Только я тебя неволить не буду. Говорятъ: сердце вѣщунъ. Пожалуй, твое сердце и недаромъ чуетъ бѣду. Оставайся, я одинъ пойду въ слободу.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Коршунъ:—я не къ тому велъ рѣчь. Ужъ если такая моя доля, чтобъ въ слободѣ голову положить, такъ нечего оставаться. Видно, мнѣ такъ на роду написано. А вотъ къ чему я рѣчь велъ. Знаешь ли, атаманъ, на Волгѣ село Богородицкое?

— Какъ не знать, знаю.

— А около того села, верстахъ въ пяти, мѣсто, что̀ зовутъ Поповъ-Кругъ?

— И Поповъ-Кругъ знаю.

— А на Поповомъ-Кругу дубъ старый помнишь?

— И дубъ помню; только нѣтъ уже того дуба, срубили его.

— Дубъ-то срубили, да пень оставили.

— Такъ что-жъ съ того?

— А вотъ что̀. Я-то ужъ никогда Волги-матушки не увижу, а ты еще, статься можетъ, вернешься на родимую сторонушку. Такъ когда будешь на Волгѣ, ступай на Поповъ-Кругъ. Отыщи пень стараго дуба. Какъ отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закатъ солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю на томъ мѣстѣ. Тамъ,—продолжалъ Коршунъ, понизивъ голосъ:—я въ былое время закопалъ казну богатую. Довольно тамъ лежитъ корабленниковъ золотыхъ, и червонцевъ, и рублевъ серебряныхъ. Отроешь кладъ, все будетъ твое. Не взять мнѣ съ собою казны на тотъ свѣтъ. А какъ иной разъ подумаешь, что будешь тамъ отвѣтъ держать за все, что̀ здѣсь дѣлалъ, такъ въ ночное время индо морозъ по кожѣ деретъ! Ты бы, атаманъ, какъ не будетъ меня, велѣлъ по мнѣ панихиду отслужить. Оно все вѣрнѣе. Да не жалѣй денегъ на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужитъ какъ слѣдуетъ, ничего не пропуститъ. А зовутъ меня—ты знаешь—Амельяномъ. Это такъ только люди Коршуномъ прозвали, а крестили меня вѣдь Амельяномъ; такъ пусть попъ отслужитъ панихиду по Амельянѣ; а ты ужъ заплати ему хорошенько, не пожалѣй денегъ, атаманъ; я тебѣ казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станетъ!

Коршуна прервали подскакавшіе сокольники.

— Эй, вы, убогіе!—закричалъ одинъ изъ нихъ:—говорите, куда полетѣлъ кречетъ?

— И радъ бы сказать, родимые,—отвѣчалъ Перстень:—да вотъ ужъ сорокъ годовъ глаза запорошило!

— Какъ такъ?

— Да пошелъ разъ въ горы, съ камней лыки драть, вижу—дубъ растетъ, въ дуплѣ жареные цыплята пищатъ. Я влѣзъ въ дупло, съѣлъ цыплятъ, потолстѣлъ, вылѣзти не могу! Какъ тутъ быть? Сбѣгалъ домой за топоромъ, обтесалъ дупло, да и вылѣзъ; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорилъ: съ тѣхъ поръ ничего не вижу;

иной разъ щи хлебаю, ложку въ ухо сую; чешется носъ, а я скребу спину!

— Такъ это вы,—сказалъ, смѣясь, сокольникъ:—тѣ слѣпые, что̀ съ царемъ говорили! Бояре еще и теперь вамъ смѣются. Ну, ребята, мы днемъ потѣшали батюшку-государя, а вамъ придется ночью тѣшить его царскую милость. Сказываютъ, хочетъ государь вашихъ сказокъ послушать.

— Дай Богъ здоровья его царской милости!—подхватилъ Коршунъ, внезапно перемѣнивъ пріемы.—Почему не послушать. Коли дò ночи не свихнемъ языковъ, можемъ скрозь до утра разсказывать!

— Добро, добро,—сказали сокольники:—въ другой разъ побалакаемъ съ вами. Теперь ѣдемъ кречета искать, товарища выручать. Не найдетъ Трифонъ Адрагана—быть ему безъ головы; батюшка-царь не шутитъ!

Сокольники поскакали въ поле.

Перстень и Коршунъ опять уцѣпились за Митьку и побрели по дорогѣ въ слободу.

Не дошли они до перваго подворья, какъ увидѣли двухъ пѣсенниковъ, которые брянчали на балалайкахъ и пѣли во все горло:

Какъ у нашего сосѣда
Весела была бесѣда!

Когда разбойники съ ними поровнялись, одинъ изъ пѣсенниковъ, рыжій дѣтина, съ павлиньимъ перомъ на шапкѣ, нагнулся къ Перстню.

— Ужъ дней пять твой князь въ тюрьмѣ!—сказалъ онъ шопотомъ, продолжая перебирать лады.—Я все разузналъ. Завтра ему карачунъ. Сидитъ онъ въ большой тюрьмѣ, противъ Малютина дома. Съ котораго конца пѣтуха пускать?

— Вонъ съ того!—отвѣчалъ Перстень, мигнувъ на сторону, противоположную тюрьмѣ.

Рыжій пѣсенникъ щелкнулъ всѣми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись отъ Перстня, будто и не съ нимъ говорилъ, продолжалъ тонкимъ голосомъ:

Какъ у нашего сосѣда
Весела была бесѣда!

ГЛАВА XXI.

Сказка.

Иванъ Васильевичъ, утомленный охотою, удалился ранѣе обыкновеннаго въ свою опочивальню.

Вскорѣ явился Малюта съ тюремными ключами.

На вопросъ царя Малюта отвѣтилъ, что новаго ничего не случилось, что Серебряный повинился въ томъ, что стоялъ за Морозова на Москвѣ, гдѣ убилъ семерыхъ опричниковъ и разсѣкъ Вяземскому голову.

— Но,—прибавилъ Малюта:—не хочетъ онъ виниться въ умыслѣ на твое царское здравіе и на Морозова также показывать не хочетъ. Послѣ заутрени учинимъ ему пристрастный допросъ, а коли онъ и съ пытки и съ огня не покажетъ на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить съ нимъ.

Іоаннъ не отвѣчалъ. Малюта хотѣлъ продолжать, но въ опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

— Батюшка,—сказала она:—ты утромъ прислалъ сюда двухъ слѣпыхъ: сказочники они, что ли; ждутъ здѣсь въ сѣняхъ.

Царь вспомнилъ свою встрѣчу и приказалъ позвать слѣпыхъ.

— Да ты ихъ, батюшка, знаешь ли?—спросила Онуфревна.

— А что?

— Да полно, слѣпые ли они?

— Какъ?—сказалъ Іоаннъ, и подозрѣніе мигомъ имъ овладѣло.

— Послушай меня, государь,—продолжала мамка:—берегись этихъ сказочниковъ; чуется мнѣ, что они недоброе затѣяли; берегись ихъ, батюшка, послушай меня.

— Что знаешь ты про нихъ? Говори!—сказалъ Іоаннъ.

— Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье словами не сказывается; чуется мнѣ, что они недобрые люди, а почему чуется—не спрашивай. Даромъ я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, можетъ, и теперь бы здравствовала еще.

Малюта поглядѣлъ со страхомъ на мамку.

— Ты чего на меня смотришь?—сказала Онуфревна.—Ты только безвинныхъ губишь, а лихого человѣка распознать, видно, не твое дѣло. Чутья-то у тебя на это не хватитъ, рыжій пёсъ!

— Государь!—воскликнулъ Малюта:—дозволь мнѣ попытать этихъ людей. Я тотчасъ узнаю, кто они и отъ кого подосланы.

— Не нужно,—сказалъ Іоаннъ:—я ихъ самъ попытаю. Гдѣ они?

— Тутъ, батюшка, за дверью,—отвѣчала Онуфревна:—въ сѣняхъ стоятъ.

— Подай мнѣ, Малюта, кольчугу со стѣны; да ступай будто домой, а когда войдутъ они, вернись въ сѣни, притаись съ ратниками за этою дверью, лишь только я кликну, вбѣгайте и хватайте ихъ. Онуфревна, подай сюда посохъ!

Царь вздѣлъ кольчугу, надѣлъ поверхъ ея черный стихарь, легъ на постель и положилъ возлѣ себя тотъ самый посохъ, или осёнъ, которымъ незадолго передъ тѣмъ пронзилъ ногу гонцу князя Курбскаго.

— Теперь пусть войдутъ!—сказалъ онъ.

Малюта положилъ ключи подъ царское изголовье и вышелъ вмѣстѣ съ мамкою. Иконныя лампады слабо освѣщали избу. Царь съ видомъ усталости лежалъ на одрѣ.

— Войдите, убогіе,—сказала мамка:—царь велѣлъ!

Перстень и Коршунъ вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокругъ себя руками.

Однимъ быстрымъ взглядомъ Перстень обозрѣлъ избу и находившіеся въ ней предметы.

Налѣво отъ двери была лежанка; въ переднемъ углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было продѣлано въ стѣнѣ окно, которое никогда не затворялось ставнемъ, ибо царь любилъ, чтобы первые лучи солнца проникали въ его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрѣла луна, и серебряный блескъ ея игралъ на пестрыхъ изразцахъ лежанки.

— Здравствуйте, слѣпые, муромскіе калашники, вертячіе бобы!—сказалъ царь, пристально, но непримѣтно вглядываясь въ черты разбойниковъ.

— Много лѣтъ здравствовать твоей царской милости!—отвѣчали Перстень и Коршунъ, кланяясь земно.—Заступи, спаси и помилуй тя Мати Божія, что жалѣешь ты насъ, скудныхъ, убогихъ людей, по земли ходящихъ, по воды бродящихъ, свѣта Божія не видящихъ! Сохрани тебя святый Петръ и Павелъ, Іоаннъ Златоустъ, Кузьма со Демьяномъ, Хутынскіе чудотворцы и всѣ святые угодники! Создай тебѣ, Господи, о чемъ ты молишь и просишь! Вѣчно бы тебѣ въ золотѣ ходилось, вкусно ѣлось и пилось, сладко спалось! А супостатамъ твоимъ вѣчно-бъ икалось и голодалось, каждый бы день ихъ дугою корчило, баранымъ рогомъ коробило!

— Спасибо, спасибо, убогіе!—сказалъ Іоаннъ, продол-

жая вглядываться въ разбойниковъ:—что-жъ, вы давно, знать, ослѣпли?

— Смолоду, батюшка-государь, — отвѣчалъ Перстень, кланяясь и сгибая колѣни:—оба смолоду ослѣпли! И не припомнимъ, когда солнышко Божіе видѣли!

— А кто же васъ научилъ пѣсни пѣть и сказки сказывать?

— Самъ Господь, батюшка, самъ Господь сподобилъ еще въ стародавнія времена!

— Какъ такъ?—спросилъ Іоаннъ.

— Старики наши разсказываютъ, — отвѣчалъ Перстень:—и гусляры о томъ поютъ: въ стародавнія то было времена, когда возносился Христосъ Богъ на̀ небо, расплакались бѣдные, убогіе, слѣпые, хромые, вся, значитъ, нищая братія: куда ты, Христосъ Богъ, полетаешь? На кого насъ оставляешь? Кто будетъ насъ кормить-поить? И сказалъ имъ Христосъ, Царь небесный:

«Дамъ вамъ, говоритъ, гору золотую, рѣку медвяную, сады-виноградьі, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одѣты! Тутъ возговорилъ Иванъ Богословъ: Ай же ты Спасъ милосердый! Не давай имъ ни горы золотыя, ни рѣки медвяныя, ни садовъ-виноградовъ, ни яблонь кудрявыхъ. Не сумѣютъ они ими владѣти: наѣдутъ къ нимъ сильные, богатые, добро то у нихъ отымутъ. А Ты дай имъ, Христосъ, Царь небесный, дай-ко-се имя Твое Христовое, дай-ко-се имъ тѣ пѣсни сладкія, сказаньица великія про стару-старину, да про божьихъ людей. Пойдутъ нищіе по̀ земли ходити, сказаньица великія говорити, всякій ихъ пріобуетъ-пріодѣнетъ, хлѣбомъ-солью напитаетъ. И рече Христосъ, Царь небесный: «Инъ пусть будетъ по-твоему, Иване! Пусть же будутъ имъ пѣсни сладкія, гусли звонкія, сказанья великія; а кто ихъ напоитъ-накормитъ, отъ темныя ночи оборонитъ, тому Я дамъ въ раю мѣсто; не заперты въ рай тому двери!»

— Аминь! — сказалъ Іоаннъ. — Какія же вы знаете сказки?

— Всякія знаемъ, батюшка-царь, какія твоя милость послушать соизволитъ. Могу сказать тебѣ о Ершѣ Ершовичѣ, сынѣ Щетинниковѣ, о семи Семіонахъ, о змѣѣ Горынищѣ, о гусляхъ-самогудахъ, о Добрынѣ Никитичѣ, объ Акундинѣ...

— Что̀ же,—перебилъ Іоаннъ:—развѣ ты одинъ сказки сказываешь? А старикъ-то зачѣмъ съ тобою пришелъ?

Перстень спохватился, что Коршунъ почти все время молчалъ, и, чтобы вызвать его изъ неестественной для сказочника угрюмости, онъ вдругъ перемѣнилъ пріемы и началъ говорить прибаутками.

— Старикъ-то?—сказалъ онъ, наступая непримѣтно на ногу Коршуна:—это, вишь, мой товарищъ, Амелька Гудокъ; борода у него длинна, да умъ коротокъ; когда я рѣчь веду скоромную, не постную, несу себѣ околесную, онъ мнѣ поддакиваетъ, потакаетъ да присвистываетъ, похваляетъ да помалчиваетъ. Такъ ли, дядя, бѣлая борода, утиная поступь, куриныя ножки? Не сбиться бы намъ съ дорожки!

— Вѣстимо такъ,—подхватилъ Коршунъ, опомнясь:—наша чара полна зелена вина, а ужъ налилъ по край, такъ пей до дна! Вотъ какъ, дядя, пѣтушиный голосокъ, кротовое око; пошли ходить, заберемся далёко!

— Ай люли-тарарахъ, пляшутъ козы на горахъ!—сказалъ Перстень, переминая ногами:—козы пляшутъ, мухи пашутъ, а у бабушки Ефросиньи въ лѣвомъ ухѣ звенитъ!..

— Ай люлюшеньки-люли!—перебилъ Коршунъ, также переминая ногами:—ай люлюшеньки-люли, сидитъ ракъ на мели; не горюетъ ракъ, а свиститъ въ кулакъ; какъ прибудетъ вода, такъ пройдетъ бѣда!

— Эхъ, батюшка-государь—закончилъ Перстень съ низкимъ поклономъ:—не смотри на насъ искоса; это не сказка, а только присказка!

— Добро!—сказалъ Іоаннъ, зѣвая:—люблю молодцовъ за обычай; начинайте сказку про Добрыню, убогіе; авось я, слушая васъ, сосну!

Перстень еще разъ поклонился, откашлялся и началъ:

«Во гридницѣ княженецкой, у Владиміра, князя кіевскаго, было пированье почестный столъ, былъ пиръ про князей, бояръ и могучихъ богатырей. А и былъ день къ вечеру, а и былъ столъ во полустолѣ, и послышалось всѣмъ за диво: затрубила труба ратная. Возговорилъ Владиміръ, князь кіевскій, солнышко Святославьевичъ:—Гой еси вы, князья, бояре, сильны-могучіе богатыри! Пошлите опровѣдать двухъ могучихъ богатырей: кто смѣловалъ стать передъ Кіевомъ? Кто смѣловалъ трубить ко стольному князю Владиміру?

«Зашумѣли буйны молодцы посередь двора; зазвенѣли мечи булатные по крутымъ бедрамъ; застучали палицы желѣзныя у красна крыльца, закидали шапки разнорядь

по поднебесью. Надѣваютъ могучи богатыри сбрую ратную, садятся на добрыхъ коней, выѣжаютъ во чисто поле...»

— Погоди-ка!—сказалъ Іоаннъ, съ намѣреніемъ придать болѣе правдоподобія своему желанію слушать разсказчика:—я эту сказку знаю. Разскажи лучше про Акундина.

— Про Акундина?—сказалъ Перстень съ замѣшательствомъ, вспомнивъ, что въ той сказкѣ величается опальный Новгородъ: — про Акундина, батюшка-государь, сказка-то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужики новогородскіе; да я, батюшка-царь, какъ будто и забылъ-то ее...

— Разсказывай, слѣпой!—сказалъ Іоаннъ строго:—разсказывай всю, какъ есть, и не смѣй пропустить ни единаго слова.

И царь внутренно усмѣхнулся трудному положенію, въ которое онъ ставилъ разсказчика.

Перстень хотя досадовалъ на себя, что самъ предложилъ эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже извѣстна Іоанну, рѣшился, очертя голову, начать свой разсказъ, ничего не выкидывая.

«Какъ во старомъ было городѣ,—началъ онъ:—въ Новѣгородѣ, какъ во томъ ли во Новѣгородѣ, со посадской стороны, жилъ Акундинъ молодецъ; а и тотъ ли Акундинъ, молодой молодецъ, ни пива не варилъ, ни вина не курилъ, ни въ торгу не торговалъ; а ходилъ онъ, Акундинъ, со повольницей, и гулялъ онъ, Акундинъ, по Волхову по рѣкѣ на суденышкахъ. Садится онъ, Акундинъ, на суденышко оснащенное, кладетъ весельца кленовыя во замки дубовые, а самъ садится на корму. Поплыло суденышко по Волхову по рѣкѣ и приплыло суденышко ко круту бережку. Какъ во ту пору по круту бережку идетъ каличище перехожее. Беретъ каличище Акундина за бѣлы руки, ведетъ его, Акундина, на высокъ курганъ, а становивши его на высокъ курганъ, говорилъ такія рѣчи:—Погляди-ка, молодой молодецъ, на городъ Ростиславль, на Окѣ-рѣкѣ, а поглядѣвши, повѣдай, что̀ дѣется въ городѣ Ростиславлѣ?—Какъ глянулъ Акундинъ въ городъ во Ростиславль, а тамъ бѣда великая: исконные слуги молода князя рязанскаго, Глѣба Олеговича, стоятъ посередь торга, хотятъ войной городъ отстоять, да силы не хватитъ. А по Окѣ-рѣкѣ плыветъ чудовище невиданное, змѣй Тугаринъ. Длиною-то былъ тотъ змѣй

Тугаринъ во триста саженъ, хвостомъ бьетъ рать рязанскую, спиною валитъ круты берега, а самъ все проситъ стару дань. Въ ту пору каличище беретъ Акундина за его бѣлы руки, молвитъ таково слово:—Ты гой еси, добрый молодецъ, назовись по имени, по изотчеству!—На тѣ ли рѣчи спросныя говоритъ Акундинъ:—Родомъ я изъ Новагорода, зовутъ меня Акундинъ Акундинычъ.

«— Тебя-то, Акундинъ Акундинычъ, я ждалъ ровно тридцать лѣтъ и три года; спознай своего дядюшку родимаго, Замятню Путятича; а и вѣдь мой-то братъ, Акундинъ Путятичъ, былъ тебѣ родимый батюшка! А и вотъ тебѣ мечъ-кладенецъ твоего родимаго батюшки, Акундина Путятича!—Не домолвивши рѣчи вѣстныя, сталъ Замятня Путятичъ кончатися, со бѣлымъ свѣтомъ разставатися, и кончаяся, учалъ отповѣдь чинить:—А и гой ты еси, мое милое дѣтище, Акундинъ Акундинычъ! Какъ и будешь ты во славномъ во Новѣгородѣ, и ты ударь челомъ ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и дай же то, Боже, тебѣ ли, Новугороду, вѣкъ вѣковать, твоимъ ли дѣтушкамъ славы добывать! Какъ и быть ли тебѣ, Новугороду, во могуществѣ, а твоимъ дѣтушкамъ во богачествѣ...»

— Довольно!—перебилъ съ гнѣвомъ царь, забывая въ эту минуту, что цѣль его была только слѣдить за разсказчикомъ.—Начинай другую сказку!

Перстень, какъ будто въ испугѣ, согнулъ колѣни и поклонился до земли.

— Какую же сказку соизволишь, батюшка-государь?—спросилъ онъ съ притворнымъ, а можетъ-быть, и съ настоящимъ страхомъ:—не разсказать ли тебѣ о Бабѣ-Ягѣ? О Чурилѣ Пленковичѣ? Объ Иванѣ-Озерѣ? Или не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное разсказать?

Іоаннъ вспомнилъ, что онъ не долженъ запугивать слѣпыхъ, а потому еще разъ зѣвнулъ и спросилъ уже сонным голосомъ:

— А что же ты знаешь божественное, убогій?

— Объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ, батюшка, о Егоріи Храбромъ, объ Іосифѣ Прекрасномъ, или, пожалуй, о Голубиной книгѣ...

— Ну,—сказалъ Іоаннъ, котораго глаза, казалось, уже смыкались: — разскажи о Голубиной книгѣ. Оно намъ, грѣшнымъ, и лучше будетъ на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпрямился и началъ нараспѣвъ:

«Какъ изъ тучи было изъ грозныя, изъ грозныя тучи страховитыя, подымалась погода Божія; во той ли во погодѣ Божіей выпадала съ небесъ книга Голубиная. Ко той ли ко книгѣ Голубиной соѣзжалось сорокъ царей и царевичей, сорокъ королей и королевичей, сорокъ князей со князевичемъ, сорокъ поповъ со поповичемъ, много бояръ, люду ратнаго, люду ратнаго, разнаго, мелкихъ христіанъ православныихъ. Изъ нихъ было пять царей наибольшихъ: былъ Исай царь, Василей царь, Костянтинъ царь, Володимеръ царь Володимерычъ, былъ премудрый царь Давидъ Евсіевичъ.

«Какъ проговорилъ Володимеръ царь:—Кто изъ насъ, братцы, гораздъ въ грамотѣ? Прочелъ бы эту книгу Голубиную? Сказалъ бы намъ про Божій свѣтъ: отчего началось солнце красное? Отчего начался младъ свѣтёлъ мѣсяцъ? Отчего начались звѣзды частыя? Отчего зачались зори свѣтлыя? Отчего зачались вѣтры буйные? Отчего зачались тучи грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у насъ пошелъ міръ-народъ? Отчего у насъ на земли цари пошли? Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестьяне православные?

«На то всѣ цари пріумолкнули. Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Я вамъ, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая; сорока сажѐнъ долина ея, поперечина двадцати сажѐнъ; приподнять книгу—не поднять будетъ; на руцѣхъ держать—не сдержать будетъ; по строкамъ глядѣть—всѣ не выглядѣть; по листамъ ходить—всѣ не выходить, а читать книгу—ее некому; а писалъ книгу Богословъ Иванъ, а читалъ книгу Исай пророкъ, читалъ ее по три годы, прочелъ въ книгѣ только три листа; ужъ мнѣ честь книгу—не прочесть Божію! Сама книга распечатывалась, сами листы разстилалися, сами слова прочиталися. Я скажу вамъ, государи, не выглядя, скажу вамъ, братцы, не по грамотѣ, не по грамотѣ, все по памяти, про старое, про стародавнее, по старому, по писаному.

«Началось у насъ солнце красное отъ свѣтлаго лица Божія; младъ свѣтёлъ мѣсяцъ отъ грудей Его; звѣзды частыя отъ очей Божіихъ; зори свѣтлыя отъ ризъ Его; буйны вѣтры—то дыханье Божіе, тучи грозныя—думы Божіи;

ночи темныя отъ опашня Его! Міръ-народъ у насъ отъ Адамія; отъ Адамовой головы цари пошли; отъ мощей его—князи съ боярами; отъ колѣнъ—крестьяне православные; отъ того-жъ начался и женскій полъ!

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, мудрѣйшій царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи, про то скажи, ты повѣдай намъ: «Который царь надъ царями царь? Кая земля всѣмъ землямъ мати? Которо море всѣмъ морямъ мати? Котора рѣка всѣмъ рѣкамъ мати? Кая гора всѣмъ горамъ мати? Который городъ всѣмъ городамъ мати?»

Здѣсь Перстень украдкою посмотрѣлъ на Ивана Васильевича, котораго, казалось, все болѣе клонило ко сну. Онъ время отъ времени, какъ будто съ трудомъ, открывалъ глаза и опять закрывалъ ихъ; но всякій разъ незамѣтно бросалъ на разсказчика испытующій, проницательный взглядъ.

Перстень перемигнулся съ Коршуномъ и продолжалъ: «Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Я вамъ, братцы, и про то скажу, про то скажу, вамъ повѣдаю: въ Голубиной книгѣ есть написано: у насъ Бѣлый царь будетъ надъ царями царь; онъ вѣруетъ вѣру крещеную, крещеную богомольную; онъ въ Матерь Божію Богородицу и въ Троицу вѣруетъ нераздѣлимую. Ему орды всѣ преклонилися, всѣ языци ему покорилися; область его надо всей землей, надъ вселенною; всѣхъ выше его рука царская, благовѣрная, благочестивая; и всѣ къ царю Бѣлому преклонятся, потому Бѣлый царь надъ царями царь! Свято-Русь земля всѣмъ землямъ мати; на ней стоятъ церкви апостольскія, богомольныя, соборныя. Окіянъ-море всѣмъ морямъ мати; выходила изъ него церковь соборная; что во той ли во церкви во соборныя почиваютъ мощи попа римскаго, попа римскаго Климентія; обошло то море околъ всей земли; всѣ рѣки къ морю собѣгалися, всѣ къ Окіянъ-морю приклонилися. Ердань-рѣка всѣмъ рѣкамъ мати; во славнòй матушкѣ во Ердань-рѣкѣ окрестился самъ Исусъ Христосъ, небесный Царь. А Ѳаворъ-гора всѣмъ горамъ мати; какъ на славныя на Ѳаворъ-горы преобразился на ней самъ Исусъ Христосъ, показалъ славу ученикамъ своимъ. Ерусалимъ-городъ всѣмъ городамъ мати; что стоитъ тотъ городъ посреди земли, а въ томъ городѣ церковь соборная; пребываетъ во церкви Господень гробъ, почиваютъ въ немъ

ризы самого Христа, ѳиміамы-ладаны рядомъ курятся, свѣщи горятъ неугасимыя...»

Здѣсь Перстень опять взглянулъ на Іоанна. Глаза его были закрыты, дыханіе ровно. Грозный, казалось, почивалъ.

Атаманъ тронулъ Коршуна локтемъ. Старикъ подался шага на два впередъ. Перстень продолжалъ нараспѣвъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи: котора рыба всѣмъ рыбамъ мать? Котора птица птицамъ есть мать? Который звѣрь надъ звѣрями звѣрь? Который камень всѣмъ каменямъ отецъ? Которо древо древамъ всѣмъ мать? Кая трава всѣмъ травамъ мати?

«Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь:—Я еще вамъ, братцы, про то скажу: у насъ Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мать: на трехъ на китахъ земля стоитъ; Естрафиль-птица всѣмъ птицамъ мати; что живетъ та птица на синемъ морѣ; когда птица вострепенется, все сине море всколебается, потопляетъ корабли гостиные, побиваетъ суда поморскія; а когда Естрафиль вострепещется, во второмъ часу послѣ полунощи, запоютъ пѣтухи по всей земли, освѣтится въ тѣ поры вся земля...»

Перстень покосился на Іоанна. Царь лежалъ съ сомкнутыми глазами; ротъ его былъ раскрытъ, какъ у спящаго. Въ то же время, какъ будто въ ладъ словамъ своимъ, Перстень увидѣлъ въ окно, что дворцовая церковь и крыши ближнихъ строеній освѣтились дальнимъ заревомъ.

Онъ тихонько толкнулъ Коршуна, который подался еще однимъ шагомъ ближе къ Ивану Васильевичу.

«У насъ Индра-звѣрь,—продолжалъ Перстень:—надъ звѣрями звѣрь, и онъ ходитъ, звѣрь, по подзѣмелью, яко солнышко по поднѣбесью; онъ копаетъ рогомъ сыру мать-землю, выкопаетъ ключи все глубокіе; онъ пущаетъ рѣки, ручьявиночки, прочищаетъ ручьи и проточины, даетъ людямъ питанійца, питанійца обмыванійца. Алатырь-камень всѣмъ камнямъ отецъ; на бѣломъ Алатырѣ на камени самъ Исусъ Христосъ опочивъ держалъ, Царь небесный бесѣдовалъ со двунадести со апостоламъ, утверждалъ вѣру христіанскую; утвердилъ онъ вѣру на камени, распущалъ онъ книги по всей землѣ. Кипарисъ-древо всѣмъ древамъ мати; изъ того ли изъ древа кипариснаго былъ вырѣзанъ чуденъ-поклоненъ крестъ; на тѣмъ на крестѣ на животворящімъ на распятьи былъ самъ Исусъ Хри-

стосъ, самъ Исусъ Христосъ, самъ небесный Царь, промежду двухъ воровъ, двухъ разбойниковъ. Плакунъ-трава всѣмъ травамъ мати. Когда Христосъ Богъ на распятьи былъ, тогда шла Мати Божія, Богородица, ко своему сыну, ко распятому; отъ очей ея слезы на̀ земь капали, и отъ тѣхъ отъ слезъ, отъ пречистыихъ, зародилася, вырастала мати плакунъ-трава; изъ того плакуна, изъ корени, у насъ рѣжутъ на Руси чудны кресты, а ихъ носятъ старцы-иноки, мужіе ихъ носятъ благовѣрные».

Здѣсь Иванъ Васильевичъ глубоко вздохнулъ, но не открылъ очей. Зарево пожара дѣлалось ярче. Перстень сталъ опасаться, что тревога поднимется прежде, чѣмъ они успѣютъ достать ключи. Не рѣшаясь самъ тронуться съ мѣста, чтобы царь не замѣтилъ его движенія по голосу, онъ указалъ Коршуну на пожаръ, потомъ на спящаго Іоанна, и продолжалъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ! Ты гораздъ сказать по памяти, говоришь будто по грамотѣ!—Тутъ возговоритъ Володимеръ царь:—Ты еси, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты скажи еще, ты повѣдай мнѣ: ночеся мнѣ мало спалося, мало спалося, много видѣлось: кабы два звѣрья сходилися, одинъ бѣлый звѣрь, другой сѣрый звѣрь, промежду собой подиралися; кабы бѣлый звѣрь одолѣть хочетъ?—Что отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Ахъ ты гой еси, Володимеръ царь, Володимеръ Володимерычъ! То не два звѣря сходилися, промежду собой подиралися; и то было у насъ на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси: сходилися правда со кривдою; это бѣлая звѣрь—то-то правда есть, а сѣрая звѣрь—то-то кривда есть; правда кривду передо̀лила, правда пошла къ Богу на̀ небо, а кривда осталась на сырой землѣ; а кто станетъ жить у насъ правдою, тотъ наслѣдуетъ царство небесное; а кто станетъ жить у насъ кривдою, отрѣшенъ на му̀ки на вѣчныя...»

Здѣсь послышалось легкое храпѣніе Іоанна. Коршунъ протянулъ руку къ царскому изголовью; Перстень же придвинулся ближе къ окну, но, чтобы внезапнымъ молчаніемъ не прервать сна Іоаннова, онъ продолжалъ разсказъ свой тѣмъ же однообразнымъ голосомъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты

еще, сударь, намъ про то скажи: какимъ грѣхамъ прощенье есть, а какимъ грѣхамъ нѣтъ прощенья? Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ:—Кабы всѣмъ грѣхамъ прощенье естъ, тремъ грѣхамъ тяжкое покаяніе: кто спознался съ кумой крестовыя, кто бранитъ отца со матерью, кто...»

Въ это мгновеніе царь внезапно открылъ глаза. Коршунъ отдернулъ руку, но уже было поздно: взоръ его встрѣтился со взоромъ Іоанна. Нѣсколько времени оба неподвижно глядѣли другъ на друга, какъ бы взаимно скованные обаятельною силой.

— Слѣпые! — сказалъ вдругъ царь, быстро вскакивая:—третій грѣхъ—когда кто нарядится нищимъ и къ царю въ опочивальню войдетъ!

И онъ ударилъ острымъ посохомъ Коршуна въ грудь. Разбойникъ схватился за посохъ, закачался и упалъ.

— Гей!—закричалъ царь, выдергивая остріе изъ груди Коршуна.

Опричники вбѣжали, гремя оружіемъ.

— Хватайте ихъ обоихъ!—сказалъ Іоаннъ.

Какъ ярый песъ, Малюта бросился на Перстня, но съ необычайною ловкостью атаманъ ударилъ его кулакомъ подъ ложку, вышибъ ногою оконницу и выскочилъ въ садъ.

— Оцѣпите садъ! Ловите разбойника!—заревѣлъ Малюта, согнувшись отъ боли и держась обѣими руками за животъ.

Между тѣмъ опричники подняли Коршуна.

Іоаннъ въ черномъ стихарѣ, изъ-подъ котораго сверкала кольчуга, стоялъ съ дрожащимъ посохомъ въ рукѣ, вперивъ грозныя очи въ раненаго разбойника. Испуганные слуги держали зажженныя свѣчи. Сквозь разбитое окно виденъ былъ пожаръ. Слобода приходила въ движеніе; вдали гудѣлъ набатный колоколъ.

Коршунъ стоялъ, насупивъ брови, опустивъ глаза, поддерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

— Слѣпой!—сказалъ царь:—говори, кто ты и что̀ умышлялъ надо мною?

— Нечего мнѣ таить!—отвѣчалъ Коршунъ.—Я хотѣлъ добыть ключи отъ твоей казны, а надъ тобой ничего не умышлялъ.

— Кто подослалъ тебя? Кто твои товарищи?

Коршунъ безстрашно взглянулъ на Іоанна.

— Надёжа, православный царь! Былъ я молодъ, пѣвалъ я пѣсню: «Не шуми, мати сыра дуброва». Въ той ли пѣснѣ царь спрашиваетъ у добра молодца, съ кѣмъ разбой держалъ? А молодецъ говоритъ:—Товарищей у меня было четверо: ужъ какъ первый мой товарищъ черная ночь, а второй мой товарищъ...

— Будетъ!—прервалъ его Малюта:—посмотримъ, что ты запоешь, какъ станутъ тебя съ дыбовъ рвать, на козелъ подымать! Да кой прахъ!—продолжалъ онъ, вглядываясь въ Коршуна:—я гдѣ-то уже видалъ эту кудластую голову!

Коршунъ усмѣхнулся и отвѣсилъ поклонъ Малютѣ.

— Видѣлись мы, батюшка, Малюта Скурлатычъ, видѣлись, коли припомнишь, на Поганой-Лужѣ...

— Хомякъ!—перебилъ его Малюта, обернувшись къ своему стремянному:—возьми этого старика, потолкуй съ нимъ, попроси его разсказать, зачѣмъ приходилъ къ его царской милости. Я сейчасъ самъ въ застѣнокъ приду!

— Пойдемъ, старина!—сказалъ Хомякъ, ухватя Коршуна за воротъ:—пойдемъ-ка вдвоемъ, потолкуемъ ладкомъ!

— Постой!—сказалъ Іоаннъ.—Ты, Малюта, побереги этого старика; онъ не долженъ на пыткѣ кончиться. Я придумаю ему казнь примѣрную, еще небывалую, неслыханную,—такую казнь, что самого тебя удивлю, отецъ параклисіархъ!

— Благодари же царя, пёсъ!—сказалъ Малюта Коршуну, толкая его:—доведется тебѣ, должно-быть, пожить еще. Мы сею ночью тебѣ только суставы повывернемъ!

И вмѣстѣ съ Хомякомъ онъ вывелъ разбойника изъ опочивальни.

Между тѣмъ Перстень, пользуясь общимъ смятеніемъ, перелѣзъ черезъ садовый частоколъ и прибѣжалъ на площадь, гдѣ находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народъ повалилъ на пожаръ.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стѣны, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощупалъ убитаго человѣка.

— Атаманъ!—шепнулъ, подходя къ нему, тотъ самый рыжій пѣсенникъ, который остановилъ его утромъ:—часового-то я зарѣзалъ! Давай проворнѣе ключи, отопремъ тюрьму, да и прощай; пойду на пожаръ грабить съ ребятами! А гдѣ Коршунъ?

— Въ рукахъ царя!—отвѣчалъ отрывисто Перстень.— Все пропало! Сбирай ребятъ да и тягу! Тише; это кто?

— Я!—отвѣчалъ Митька, отдѣляясь отъ стѣны.

— Убирайся, дурень! Уноси ноги! Всѣ выбирайтесь изъ слободы! Сборъ у кривого дуба!

— А князь-то?—спросилъ Митька протяжно.

— Дурень! Слышишь: все пропало! Дѣдушку схватили, ключей не добыли!

— А нешто тюрьма на запорѣ?

— Какъ не на запорѣ? Кто отперъ?

— А я!

— Что ты, болванъ! Говори толкомъ!

— Что-жъ говорить? Прихожу—никого нѣтъ; часовой лежитъ, раскидамши ноги. Я говорю: дай, молъ, испробую, крѣпка-ль дверь? Понаперъ на нее плечикомъ, а она, какъ была, такъ съ заклепами и соскочи съ петлей!

— Ай да дурень!—воскликнулъ радостно Перстень.— Вотъ вправду говорятъ: дураками свѣтъ стоитъ! Ахъ, дуракъ, дуракъ! Ахъ, губошлепъ, губошлепъ ты этакой!

И Перстень, схвативъ Митьку за виски, поцѣловалъ его въ обѣ щеки, при чемъ Митька протянулъ, чмокая, и свои толстыя губы, а потомъ хладнокровно утерся рукавомъ.

— Иди же за мной, такой-сякой сынъ, право! А ты, балалайка, здѣсь погоди. Коли что будетъ, свистни!

Перстень вошелъ въ тюрьму. За нимъ ввалился и Митька.

За первою дверью были еще двѣ другія двери, но тѣ, какъ менѣе крѣпкія, еще легче подались отъ богатырскаго натиска Митьки.

— Князь!—сказалъ Перстень, входя въ подземелье:— вставай!

Серебряный подумалъ, что пришли вести его на казнь.

— Ужели теперь утро?—спросилъ онъ:—или тебѣ, Малюта, до разсвѣта не терпится?

— Я не Малюта!—отвѣчалъ Перстень.—Я тотъ, кого ты отъ смерти спасъ. Вставай, князь! Время дорого. Вставай, я выведу тебя!

— Кто ты?—сказалъ Серебряный:—я не знаю твоего голоса!

— И немудрено, бояринъ; гдѣ тебѣ помнить меня! Только вставай! Намъ некогда мѣшкать!

Серебряный не отвѣчалъ. Онъ подумалъ, что Пер-

стень—одинъ изъ Малютиныхъ палачей, и принялъ слова его за насмѣшку.

— Аль ты не вѣришь мнѣ, князь?—продолжалъ атаманъ съ досадою.—Вспомни Медвѣдевку, вспомни Поганую-Лужу: я—Ванюха Перстень!

Запылала радость въ груди Серебрянаго. Взыграло его сердце и забилось любовью къ свободѣ и къ жизни. Запестрѣли въ его мысляхъ и лѣса, и поля, и новыя славныя битвы, и явился ему, какъ солнце, свѣтлый образъ Елены.

Уже онъ вспрянулъ съ земли, уже готовъ былъ слѣдовать за Перстнемъ, какъ вдругъ вспомнилъ данную царю клятву, и кровь его отхлынула къ сердцу.

— Не могу!—сказалъ онъ:—не могу идти за тобою. Я обѣщалъ царю не выходить изъ его воли и ожидать, гдѣ бы я ни былъ, суда его!

— Князь!—отвѣчалъ удивленный Перстень:—мнѣ некогда толковать съ тобою. Люди мои ждутъ; каждый мигъ можетъ намъ головы стоить! Завтра тебѣ казнь, теперь еще время, вставай, ступай съ нами!

— Не могу!—повторилъ мрачно Серебряный:—я цѣловалъ ему крестъ на моемъ словѣ!

— Бояринъ!—вскричалъ Перстень, и голосъ его измѣнился отъ гнѣва:—издѣваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажегъ слободу, для тебя погубилъ своего лучшаго человѣка, для тебя, можетъ-быть, мы всѣ наши головы положимъ, а ты хочешь остаться! Даромъ мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебѣ, что ли, дались? Да я бы посмотрѣлъ, кто бы сталъ глумиться надо мной! Говори въ послѣдній разъ, идешь али нѣтъ?

— Нѣтъ!—отвѣчалъ рѣшительно Никита Романовичъ и легъ на сырую землю.

— Нѣтъ?—повторилъ, стиснувъ зубы, Перстень:—нѣтъ? Такъ не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно!—И въ тотъ же мигъ атаманъ бросился на князя и замоталъ ему ротъ кушакомъ.

— Теперь не заспоришь!—сказалъ онъ злобно.

Митька загребъ Никиту Романовича въ охапку и, какъ малаго ребенка, вынесъ изъ тюрьмы.

— Живо! Идемъ!—сказалъ Перстень.

Въ одной улицѣ попались имъ опричники.

— Кого несете?—спросили они.

— Слободского на пожарѣ бревномъ пришибло!—отвѣчалъ Перстень.—Несемъ въ скудельницу!

При выходѣ изъ слободы ихъ остановилъ часовой. Они хотѣли пройти мимо; часовой разинулъ ротъ крикнуть; Перстень хватилъ его кистенемъ, и онъ свалился, не пикнувъ.

Разбойники вынесли князя изъ слободы безъ дальнѣйшаго препятствія.

ГЛАВА XXII.

Монастырь.

Мы оставили Максима ненастною ночью, на выѣздѣ изъ Александровой слободы. Косматый Буянъ лаялъ и прыгалъ вокругъ него и радовался, что удалось ему сорваться съ цѣпи.

Максимъ, покидая родительскій домъ, не успѣлъ опредѣлить себѣ никакой цѣли. Онъ хотѣлъ только оторваться отъ ненавистной жизни царскихъ любимцевъ, отъ ихъ нечестиваго веселья и ежедневныхъ казней. Оставя за собою страшную слободу, Максимъ ввѣрился своей судьбѣ. Сначала онъ торопилъ коня, чтобы не догнали его отцовскіе холопи, если бы вздумалось Малютѣ послать за нимъ погоню. Но вскорѣ онъ повернулъ на проселочную дорогу и поѣхалъ шагомъ.

Къ утру гроза утихла. На востокѣ заалѣло, и Максимъ яснѣе сталъ различать предметы. По сторонамъ дороги росли кудрявые дубы; промежъ нихъ виднѣлись кусты орѣшника. Было свѣжо; дождевыя капли бѣжали съ деревьевъ и лѣниво хлопали по широкимъ листьямъ. Вскорѣ мелкія птички запорхали и защебетали въ зелени; дятелъ застучалъ въ сухое дерево, и вершины дубовъ озолотились восходящимъ солнцемъ. Природа оживлялась все болѣе; конь ступалъ бодрѣе. Раскинулась передъ Максимомъ родная Русь; весело могъ бы онъ дышать въ ея вольномъ пространствѣ, но грусть легла ему на сердце,—широкая русская грусть. Задумался онъ о покинутой матери, о своемъ одиночествѣ, о многомъ, въ чемъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета; задумался и затянулъ, въ раздумьѣ, протяжную пѣсню...

Чудны задушевныя русскія пѣсни! Слова бываютъ ничтожны; они лишь предлогъ; не словами, а только звуками выражаются глубокія, необъятныя чувства.

Такъ, глядя на зелень, на небо, на весь Божій міръ, Максимъ пѣлъ о горемычной своей долѣ, о золотой волюшкѣ, о мати сырой дубравѣ. Онъ приказывалъ коню

нести себя въ чужедальнюю сторону, что̀ безъ вѣтру сушитъ, безъ морозу знобитъ. Онъ поручалъ вѣтру отдать поклонъ матери. Онъ начиналъ съ перваго предмета, попадавшагося на глаза, и высказывалъ все, что̀ приходило ему на умъ; но голосъ говорилъ болѣе словъ, а если бы кто услышалъ эту пѣсню, запала-бъ она тому въ душу и часто въ минуту грусти приходила бы на память...

Наконецъ, когда тоска стала глубже забирать Максима, онъ подобралъ поводья, поправилъ шапку, свистнулъ, крикнулъ и полетѣлъ во всю конскую прыть.

Вскорѣ забѣлѣли передъ нимъ стѣны монастыря.

Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотыя главы и узорные кресты вырѣзывались на зелени дубовъ и на синевѣ неба.

Навстрѣчу Максиму попался отрядъ монастырскихъ служекъ въ шишакахъ и кольчугахъ. Они ѣхали шагомъ и пѣли псаломъ: «Возлюблю тя, Господи, крѣпосте моя». Услыша священныя слова, Максимъ остановилъ коня, снялъ шапку и перекрестился.

Небольшая рѣчка протекала подъ горою. Нѣсколько мельницъ вертѣли на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокругъ монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объѣздъ казался излишнимъ. Даже птицы на дубахъ щебетали какъ будто вполголоса; вѣтеръ не шелестилъ въ листьяхъ, и только кузнечики, притаясь въ травѣ, трещали безъ умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствіе.

«Вотъ гдѣ отдохну я!—подумалъ Максимъ.—За этими стѣнами проведу нѣсколько дней, пока отецъ перестанетъ искать меня. Я на исповѣди открою настоятелю свою душу, авось онъ дастъ мнѣ на время убѣжище».

Максимъ не ошибся. Престарѣлый игуменъ, съ длинною сѣдою бородой, съ кроткимъ взглядомъ, въ которомъ было совершенное невѣдѣніе дѣлъ мірскихъ, принялъ его ласково. Двое служекъ взяли подъ уздцы усталаго коня. Третій вынесъ хлѣба и молока для Буяна; всѣ радушно хлопотали около Максима. Игуменъ предложилъ ему отобѣдать, но Максимъ захотѣлъ прежде всего исповѣдаться.

Старикъ взглянулъ на него испытующимъ взоромъ, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повелъ его черезъ обширный дворъ къ низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильныхъ крестовъ

и длиннаго ряда келій, обсаженныхъ цвѣтами. Попадавшаяся имъ навстрѣчу братія кланялась молча. Надгробныя плиты звенѣли отъ шаговъ Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполовину надписи, полныя смиренія; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцаніе. Церковь, къ которой игуменъ велъ Максима, стояла среди древнихъ дубовъ, и столѣтнія вѣтви ихъ почти совсѣмъ закрывали узкія, продольныя окна, пропускавшія свѣтъ сквозь пыльную слюду, вставленную въ мелкія свинцовыя оконницы. Когда они вошли, ихъ обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менѣе другихъ заслоненное, косые столбы свѣта падали на стѣнное изображеніе Страшнаго Суда. Остальныя части церкви казались отъ этого еще мрачнѣе; но кое-гдѣ отсвѣчивали яркимъ блескомъ серебряныя яблоки паникадилъ, вѣнцы на образахъ да шитые серебромъ кресты, тропари и кондаки на черномъ бархатѣ, покрывающемъ гробницы князей Воротынскихъ, основателей монастыря. Позолота на прорѣзныхъ травахъ иконостаса походила мѣстами на уголья, тлѣющіе подъ золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаномъ. Мало-помалу глазъ Максима сталъ привыкать къ полумраку и различать другія подробности храма: надъ царскими дверьми виденъ былъ Спаситель въ силахъ, съ херувимами и серафимами, а надъ нимъ шестнадцать владычныхъ праздниковъ. Большой мѣстный образъ Іоанна Предтечи представлялъ его крылатымъ и держащимъ на блюдѣ отсѣченную главу свою. На боковыхъ дверяхъ были написаны грубо и неискусно притча о блудномъ сынѣ, преніе смерти и живота, да исходъ души праведнаго и грѣшнаго. Мрачныя эти картины глубоко подѣйствовали на Максима; всѣ понятія о смиреніи духа, о безусловной покорности родительской власти, всѣ мысли, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ, оживились въ немъ снова. Онъ усомнился: правъ ли былъ, что уѣхалъ отъ отца, противъ его воли? Но совѣсть отвѣчала ему, что онъ правъ; а между тѣмъ она не была спокойна. Картина Страшнаго Суда потрясала его воображеніе. Когда тѣнь дубовыхъ листьевъ, колеблемыхъ вѣтромъ снаружи окна, трепетала на стѣнѣ подвижною сѣткой, ему казалось, что грѣшники и дьяволы, писанные въ человѣческій ростъ, дышатъ и движутся.

Благоговѣйный ужасъ проникъ его сердце. Онъ палъ ницъ передъ игуменомъ.

— Отецъ мой!—сказалъ онъ:—должно-быть, я великій грѣшникъ!

— Молись,—отвѣчалъ кротко старикъ:—велико милосердіе Божіе; много поможетъ тебѣ раскаяніе, сынъ мой!

Максимъ собрался съ силами.

— Тяжело мое преступленіе,—началъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Отецъ мой, слушай! Страшно мнѣ вымолвить: оскудѣла моя любовь къ царю, сердце мое отъ него отвратилось!

Игуменъ съ удивленіемъ взглянулъ на Максима.

— Не отвергай меня, отецъ мой! — продолжалъ Максимъ:—выслушай меня! Долго боролся я самъ съ собою, долго молился предъ святыми иконами. Искалъ я въ своемъ сердцѣ любви къ царю, и не обрѣлъ ея!

— Сынъ мой,—сказалъ игуменъ, глядя съ участіемъ на Максима:—должно-быть, сатанинское навожденіе помрачило твой разсудокъ; ты клевещешь на себя. Того быть не можетъ, чтобы ты возненавидѣлъ царя. Много тяжкихъ преступниковъ исповѣдывалъ я въ этомъ храмѣ: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы въ нелюбви къ государю!

Максимъ поблѣднѣлъ.

— Стало, я преступнѣе церковнаго татя и смертнаго убойцы!—воскликнулъ онъ.—Отецъ мой, что мнѣ дѣлать? Научи, вразуми меня, душа моя дѣлится на-двое.

Старикъ смотрѣлъ на исповѣдника и все болѣе дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушія и отваги, одно изъ тѣхъ русскихъ лицъ, которыя еще нынѣ встрѣчаются между Москвой и Волгой, въ странахъ, отдаленныхъ отъ большихъ дорогъ, куда не проникло городское вліяніе.

— Сынъ мой,—продолжалъ игуменъ:—я тебѣ не вѣрю; ты клевещешь на себя. Не вѣрю, чтобы сердце твое отвратилось отъ царя. Этого быть не можетъ. Подумай самъ: царь намъ болѣе, чѣмъ отецъ, а пятая заповѣдь велитъ чтить отца. Скажи мнѣ, сынъ мой, вѣдь ты слѣдуешь заповѣди?

Максимъ молчалъ.

— Сынъ мой, ты чтишь отца своего?

— Нѣтъ!—произнесъ Максимъ едва внятно.

— Нѣтъ? — повторилъ игуменъ и, отступивъ назадъ, осѣнился крестнымъ знаменіемъ.

— Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таковъ?

— Я...—сказалъ молодой опричникъ:—я Максимъ Скуратовъ, сынъ Скуратова-Бѣльскаго!

— Сынъ Малюты?

— Да!—сказалъ Максимъ и зарыдалъ.

Игуменъ не отвѣчалъ. Онъ горестно стоялъ передъ Максимомъ. Неподвижно смотрѣли на нихъ мрачные лики угодниковъ. Грѣшники на картинѣ Страшнаго Суда жалобно поднимали руки къ небу, но все молчало. Спокойствіе церкви прерывали одни рыданія Максима, щебетанье ласточекъ подъ сводами, да изрѣдка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читалъ про себя игуменъ.

— Сынъ мой,—сказалъ наконецъ старикъ:—повѣдай мнѣ все по-ряду, ничего не утай отъ меня: какъ вошла въ тебя нелюбовь къ государю?

Максимъ разсказалъ о жизни своей въ слободѣ, о послѣднемъ разговорѣ съ отцомъ и ночномъ своемъ отъѣздѣ.

Онъ говорилъ медленно, съ разстановкой, и часто собирался съ мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить отъ духовнаго отца своего.

Окончивъ разсказъ, онъ опустилъ глаза и долго не смѣлъ взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.

— Все ли ты повѣдалъ мнѣ?—сказалъ игуменъ:—не тяготитъ ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслилъ ли ты чего на царя? Не задумалъ ли ты чего надъ святою Русью?

Глаза Максима заблистали.

— Отецъ мой, скорѣе дамъ отсѣчь себѣ голову, чѣмъ допущу ее замыслить что-нибудь противъ родины! Грѣшенъ я въ нелюбви къ государю, но не грѣшенъ въ измѣнѣ!

Игуменъ накрылъ его эпитрахилью.

— Очищается рабъ Божій Максимъ!—сказалъ онъ:—отпускаются ему грѣхи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла въ душу Максима.

— Сынъ мой,—сказалъ игуменъ:—твоя исповѣдь тебя очистила. Святая церковь не поставляетъ тебѣ въ вину, что ты бросилъ слободу. Бѣжать отъ соблазна воленъ и долженъ всякій. Но бойся прельститься на лесть врага рода человѣческаго. Бойся примѣра Курбскаго, который изъ высокаго русскаго боярина учинился нынѣ сосудъ дьяволу!

— Премилостивый Богъ,—продолжалъ со вздохомъ старикъ:—за великіе грѣхи наши попустилъ нынѣ быть времени трудному. Не намъ суемудріемъ человѣческимъ судить о Его неисповѣдимомъ промыслѣ. Когда Господь наводитъ на насъ глады и тѣлесныя скорби, что̀ намъ остается, какъ не молиться и покоряться Его святой волѣ? Такъ и теперь, насталъ надъ нами царь немилостивый, грозный. Не вѣдаемъ, за что онъ насъ казнитъ и губитъ; вѣдаемъ только, что онъ посланъ отъ Бога, и держимъ поклонную голову не передъ Иваномъ Васильевичемъ, а предъ волей Пославшаго его. Вспомнимъ пророческое слово: «Аще кая земля оправдится передъ Богомъ, поставляетъ имъ царя и судью праведна и всякое подаетъ благодѣяніе; аще же котора земля прегрѣшитъ предъ Богомъ, и поставляетъ царя и судей неправедна и наводитъ на тое землю вся злая!»

— Останься у насъ, сынъ мой; поживи съ нами. Когда придетъ тебѣ пора ѣхать, я вмѣстѣ съ братіей буду молиться, дабы, гдѣ ты ни пойдешь, Богъ вездѣ исправилъ путь твой! А теперь,—продолжалъ добродушно игуменъ, снимая съ себя эпитрахиль:—теперь пойдемъ къ трапезѣ. Послѣ духовной пищи, не отвергнемъ тѣлесной. Есть у насъ изрядныя щуки, есть и караси; отвѣдай нашего творогу, вышей съ нами меду черемховаго во здравіе государя и высокопреосвященнаго владыки!

И въ дружескомъ разговорѣ старикъ повелъ Максима къ трапезѣ.

ГЛАВА XXIII.

Дорога.

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

Въ свободное время монахи собирали травы и составляли цѣлебныя зелья. Другіе занимались живописью, вырѣзывали изъ кипариса кресты или иконы, красили и золотили деревянныя чаши.

Максимъ полюбилъ добрыхъ иноковъ. Онъ не замѣчалъ, какъ текло время. Но прошла недѣля, и онъ рѣшился ѣхать. Еще въ слободѣ слышалъ Максимъ о новыхъ набѣгахъ татаръ на рязанскія земли и давно уже хотѣлъ, вмѣстѣ съ рязанцами, испытать надъ врагами ратной удачи. Когда онъ повѣдалъ о томъ игумену, старикъ опечалился.

— Куда тебѣ ѣхать, сынъ мой?—сказалъ онъ.—Мы

всѣ тебя любимъ, всѣ къ тебѣ привыкли. Кто знаетъ, можетъ, и тебя посѣтитъ благодать Божія, и ты навсегда останешься съ нами! Послушай, Максимъ, не уѣзжай отъ насъ!

— Не могу, отецъ мой! Давно уже судьба зоветъ меня въ дальнюю сторону. Давно слышу звонъ татарскаго лука; а иной разъ, какъ задумаюсь, то будто стрѣла просвиститъ надъ ушами. На этотъ звонъ, на этотъ свистъ меня тянетъ и манитъ!

И не сталъ игуменъ долѣе удерживать Максима, отслужилъ ему напутный молебенъ, благословилъ его, и грустно простилась съ нимъ братія.

И снова очутился Максимъ на конѣ, среди зеленаго лѣса. Какъ прежде, Буянъ прыгалъ вокругъ коня и весело смотрѣлъ на Максима. Вдругъ онъ залаялъ и побѣжалъ впередъ. Максимъ уже схватился за саблю, въ ожиданіи недоброй встрѣчи, какъ изъ-за поворота показался всадникъ въ желтомъ кафтанѣ съ чернымъ двоеглавымъ орломъ на груди.

Всадникъ ѣхалъ рысью, весело посвистывалъ и держалъ на пестрой рукавицѣ бѣлаго кречета въ клобучкѣ и колокольцахъ.

Максимъ узналъ одного изъ царскихъ сокольниковъ.

— Трифонъ!—вскричалъ онъ.

— Максимъ Григорьичъ! — отвѣчалъ весело сокольникъ: — добраго здоровья! Какъ твоя милость здравствуетъ? Такъ вотъ гдѣ ты, Максимъ Григорьичъ! А мы въ слободѣ думали, что ты и невѣсть куда пропалъ! Ну, ужъ какъ батюшка-то твой осерчалъ! Упаси Господи! Смотрѣть было страшно! Да еще многое разсказываютъ про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебрянаго. Не знаешь, чему и вѣрить. Ну, слава Богу, добро, что ты сыскался, Максимъ Григорьевичъ! Обрадуется же твоя матушка!

Максимъ досадовалъ на встрѣчу съ сокольникомъ. Но Трифонъ былъ добрый малый и при случаѣ умѣлъ молчать. Максимъ спросилъ его, давно ли онъ изъ слободы.

— Да ужъ будетъ съ недѣлю, какъ Адраганъ съ поля улетѣлъ!—отвѣчалъ сокольникъ, показывая своего кречета.—Да вѣдь ты, пожалуй, и не знаешь, Максимъ Григорьичъ! Ну, ужъ набрался я было-страху, какъ царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосер-

дый Богъ, и святой мученикъ Трифонъ проявилъ надо мной свое чудо!

Сокольникъ снялъ шапку и перекрестился.

— Вишь, Максимъ Григорьичъ: выѣхалъ государь, будетъ тому съ недѣлю, на птичью потѣху. Напускалъ Адрагана раза два; какъ на бѣду, третій-то разъ дурь нашла на Адрагана: сталъ онъ бить соколовъ, сбилъ Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успѣлъ бы ты десяти просчитать, какъ онъ у тебя и съ глазъ долой. Я было скакать за нимъ, да куды! Пропалъ, будто и не бывало. Вотъ доложилъ сокольничій царю, что пропалъ Адраганъ. Царь велѣлъ меня позвать, да и говоритъ, что ты-де, Тришка, мнѣ головой за него отвѣчаешь: достанешь—пожалую тебя, не достанешь—голову долой! Какъ быть? Батюшка-царь вѣдь не шутитъ! Поѣхалъ я искать Адрагана; шесть дёнъ промучился, стало мнѣ ужъ вокругъ шеи неловко; думаю, придется проститься съ головой. Сталъ я плакать: плакалъ-плакалъ, да съ горя и заснулъ въ лѣсу. Лишь только заснулъ, явилось мнѣ, сонному, видѣніе: сіяніе разлилось межъ деревьевъ и звонъ пошелъ по лѣсу. И, слыша тотъ звонъ, я, сонный, самъ себѣ говорю: то звонятъ Адраганови колокольцы. Гляжу: передо мной сидитъ на бѣломъ конѣ, весь облитый свѣтомъ, молодой ратникъ и держитъ на рукѣ Адрагана.—«Трифоне!—сказалъ ратникъ:—не здѣсь ищи Адрагана. Встань, ступай къ Москвѣ, къ Лазареву урочищу. Тамъ стоитъ сосна, на той соснѣ сидитъ Адраганъ». Проснулся я, и—самъ не знаю съ чего—стало мнѣ понятно, что ратникъ былъ святой мученикъ Трифонъ. Вскочилъ я на коня и поскакалъ къ Москвѣ.. Что-жъ, Максимъ Григорьичъ, повѣришь ли? какъ пріѣхалъ на то урочище—вижу: въ самомъ дѣлѣ сосна, а на ней сидитъ мой Адраганъ, точь-въ-точь какъ говорилъ святой.

Голосъ сокольника дрожалъ, и крупныя слезы катились изъ глазъ его.

— Максимъ Григорьичъ, — прибавилъ онъ, утирая слезы:—теперь хоть всѣ животы продамъ безъ остатку, хоть самъ въ вѣковѣчную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На томъ самомъ мѣстѣ построю, гдѣ нашелъ Адрагана. И образъ велю на стѣнѣ написать, точь-въ-точь какъ явился мнѣ святой: на бѣломъ конѣ, высоко поднявъ руку, а на ней бѣлый кречетъ. Заповѣдаю и дѣтямъ и внукамъ славить его, служить ему

молебны и ставить писаныя свѣчи, что не захотѣлъ онъ моей погибели, спасъ отъ плахи раба своего! Вишь,—продолжалъ сокольникъ, глядя на кречета:—вотъ онъ, Адраганъ, цѣлъ-цѣлёхонекъ! Дай-ка я сниму съ тебя клобучокъ! Чего кричишь? Небось, полетать хочется? Нѣтъ, братъ, погоди! Довольно налетался, не пущу!

И Трифонъ дразнилъ кречета пальцемъ.

— Вишь, злобный какой! Такъ и хватаетъ! А кричитъ-то какъ! Я чай, за версту слышно!

Разсказъ сокольника запалъ въ душу Максима.

— Возьми-жъ и мое приношеніе,—сказалъ онъ, бросая горсть золотыхъ въ шапку Трифона. — Вотъ всѣ мои деньги; онѣ мнѣ не нужны, а тебѣ еще много придется сбирать на часовню.

— Да наградитъ тебя Богъ, Максимъ Григорьичъ! Съ твоими деньгами ужъ не часовню, а цѣлую церковь выстрою! Какъ приду домой, въ слободу, отслужу молебенъ и выну просвиру во здравіе твое! Вѣчно буду твоимъ холопомъ, Максимъ Григорьичъ! Что̀ хочешь, приказывай!

— Слушай, Трифонъ. Сослужи мнѣ службу не трудную: какъ пріѣдешь въ слободу, никому не заикнись, что меня встрѣтилъ; а дня черезъ три ступай къ матушкѣ, скажи ей,—да только ей одной, чтобы никто не слыхалъ:—скажи, что сынъ-де твой, далъ Богъ, здоровъ, бьетъ тебѣ челомъ.

— Только-то, Максимъ Григорьичъ?

— Еще слушай, Трифонъ: я ѣду въ далекій путь. Можетъ, не скоро вернусь. Такъ, коли тебѣ не въ трудъ, навѣдывайся отъ поры до поры къ матери, да говори ей каждый разъ: я-де, говори, слышалъ отъ людей, что сынъ твой, помощію Божіей, здоровъ, а ты-де о немъ не кручинься! А буде матушка спроситъ: отъ какихъ людей слышалъ?—и ты ей говори: слышалъ-де отъ московскихъ людей, а имъ-де другіе люди сказывали, а какіе люди, того не говори, чтобъ концовъ не нашли; а только бы вѣдала матушка, что я здравствую.

— Такъ ты, Максимъ Григорьичъ, и вправду не вернешься въ слободу?

— Вернусь ли, нѣтъ ли, про то Богъ знаетъ; ты же никому не сказывай, что меня встрѣтилъ.

— Ужъ положись на меня, Максимъ Григорьичъ, не скажу никому. Только коли ты ѣдешь въ дальній путь, такъ я не возьму твоихъ денегъ. Меня Богъ накажетъ.

— Да на что мнѣ деньги? Мы не въ басурманской землѣ!

— Воля твоя, Максимъ Григорьичъ, а мнѣ взять не можно. Добро бы ты ѣхалъ домой. А то что-жъ я тебя оберу на дорогѣ, какъ станичникъ какой! Воля твоя, хоть зарѣжь, не возьму!

Максимъ пожалъ плечами и вынулъ изъ шапки Трифона нѣсколько золотыхъ.

— Коли ты не берешь,—сказалъ онъ:—авось кто другой возьметъ, а мнѣ ихъ не надо.

Онъ простился съ сокольникомъ и поѣхалъ далѣе.

Уже солнце начинало заходить. Длинныя тѣни деревъ становились длиннѣе и застилали поляны. Подлѣ Максима ѣхала его собственная тѣнь, словно темный великанъ. Она то бѣжала по травѣ, то, когда лѣсъ спиралъ дорогу, всползала на кусты и деревья. Буянъ казался на тѣни огромнымъ баснословнымъ звѣремъ. Мало-по-малу и Буянъ, и конь, и Максимъ исчезли и съ травы и съ деревъ; наступали сумерки; кое-гдѣ забѣлѣлъ туманъ; вечерніе жуки поднялись съ земли и, жужжа, стали чертить воздухъ. Мѣсяцъ показался изъ-за лѣсу; тамъ и сямъ по темнѣющему небу зажглися звѣзды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мнѣ въ позднюю пору проѣзжать по твоимъ пустынямъ. Ровно ступалъ конь, отдыхая отъ слѣпней и дневного жару; теплый вѣтеръ разносилъ запахъ цвѣтовъ и свѣжаго сѣна, и такъ было мнѣ сладко, и такъ было мнѣ грустно, и такъ думалось о прошедшемъ, и такъ мечталось о будущемъ. Хорошо, хорошо ѣхать вечеромъ по безлюднымъ мѣстамъ, то лѣсомъ, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звѣзды!

Уже съ добрый часъ ѣхалъ Максимъ, какъ вдругъ Буянъ поднялъ морду на вѣтеръ и замахалъ хвостомъ. Послышался запахъ дыма. Максимъ вспомнилъ о ночлегѣ и понудилъ коня. Вскорѣ увидѣлъ онъ покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дымъ выходилъ прямо изъ крыши. Въ низенькомъ окнѣ свѣтился огонь. Внутри слышался однообразный напѣвъ. Максимъ подъѣхалъ къ окну. Онъ увидѣлъ всю внутренность бѣднаго хозяйства. Пылающая лучина освѣщала домашнюю утварь: все было дрянно и ветхо. Въ потолочинѣ торчалъ наискось гибкій шестъ, и на концѣ его висѣла люлька. Женщина

лѣтъ тридцати, блѣдная, хворая, качала люльку и потихоньку пѣла. Подлѣ нея сидѣлъ, согнувшись, мужичокъ съ рѣденькою бородкой и плелъ лапти. Двое дѣтей ползали у ногъ ихъ.

Максиму показалось, что женщина въ пѣснѣ поминаетъ его отца. Сначала онъ подумалъ, что ослышался, но вскорѣ ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивленія, онъ сталъ прислушиваться.

— Спи, усни, мое дитятко!—пѣла женщина.

Спи, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдетъ,
Покуль бѣда минетъ!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!
Скоро минетъ бѣда наносная,
Скоро царь велитъ отсѣчь голову
Злому псу Малютѣ Скурлатову!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Вся кровь Максима бросилась ему въ лицо. Онъ слѣзъ съ коня и привязалъ его къ плетню.

Голосъ продолжалъ:

Какъ и онъ ли злой песъ Малюта
Задушилъ святого старца
Святого старца Филиппа!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Максимъ не выдержалъ и толкнулъ дверь ногою.

При видѣ богатой одежды и золотой сабли опричника, хозяева оробѣли.

— Кто вы?—спросилъ Максимъ.

— Батюшка! — отвѣчалъ мужичокъ, кланяясь и запикаясь отъ страха:—меня-то, не взыщи, меня зовутъ Ѳедотомъ, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовутъ Марьею!

— Чѣмъ вы живете, добрые люди?

— Лыки деремъ, родимый, лапти плетемъ да рѣшета дѣлаемъ. Купцы проѣдутъ и купятъ.

— А, знать, мало проѣзжаютъ?

— Малость, батюшка, совсѣмъ малость! Иной разъ, придется, и ѣсть нечего. Того и смотри, съ голоду али съ наготы помрешь. А лошадки-то нѣтъ у насъ товаръ въ городъ отвезти. Другой годъ волки съѣли.

Максимъ поглядѣлъ съ участіемъ на мужика и его хозяйку и высыпалъ свои червонцы на столъ.

— Богъ съ вами, бѣдные люди!—сказалъ онъ и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему въ ноги.

— Батюшка, родимый, кто ты? Повѣдай намъ, кто ты? За кого намъ Богу молиться?

— Молитесь не за меня,—за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко-ль до Рязанской дороги?

— Да это она и есть, соколъ ты нашъ, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самомъ крестѣ живемъ. Вотъ прямо пойдетъ Муромская, а налѣво—Владимірская а сюда вправо—на Рязань! Да не ѣзди теперь, родимый ты нашъ, не ѣзди теперь, не такая пора; больно стали шалить на дорогѣ. Вотъ вчера цѣлый обозъ съ виномъ ограбили. А теперь еще, говорятъ, татары опять проявились. Переночуй у насъ, батюшка ты нашъ, отецъ ты нашъ, соколъ ты нашъ! Сохрани Богъ, долго-ль до бѣды!

Но Максиму не хотѣлось остаться въ избѣ, гдѣ недавно еще проклинали отца его. Онъ уѣхалъ искать другого ночлега.

— Батюшка!—кричали ему вслѣдъ хозяева:—вернись, родимый, послушай нашего слова! Не сдобровать тебѣ ночью на этой дорогѣ!

Но Максимъ не послушался и поѣхалъ далѣе.

Немного верстъ проѣхалъ онъ, какъ вдругъ Буянъ бросился къ темному кусту и сталъ лаять такъ зло, такъ упорно, какъ будто чуялъ скрытаго врага.

Тщетно отсвистывалъ его Максимъ. Буянъ бросался на кустъ, возвращался весь ощетиненный и снова рвался впередъ.

Наскучивъ отзывать его, Максимъ выхватилъ саблю и поскакалъ прямо на кустъ. Нѣсколько человѣкъ съ поднятыми дубинами выскочили къ нему навстрѣчу, и грубый голосъ крикнулъ:

— Долой съ коня!

— Вотъ тебѣ!—сказалъ Максимъ, отвѣшивая ударъ тому, который былъ ближе.

Разбойникъ зашатался.

— Это тебѣ не въ почетъ!—продолжалъ Максимъ и хотѣлъ отвѣсить ему второй ударъ; но сабля встрѣтила плашмя дубину другого разбойника и разлетѣлась на полы.

— Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричникъ! Хватай его живьемъ!—закричалъ грубый голосъ.

— И впрямь опричникъ!—завизжалъ другой:—вотъ потѣшимся надъ нимъ съ ребятами!

— Ай-да Хлопко! ужъ ты и радъ тѣшиться!

И въ тотъ же мигъ всѣ вмѣстѣ навалились на Максима и стащили его съ коня.

ГЛАВА XXIV.

Бунтъ станичниковъ.

Версты полторы отъ мѣста, гдѣ совершилось нападеніе на Максима, толпы вооруженныхъ людей сидѣли вокругъ винныхъ бочекъ съ выбитыми днами. Чарки и берестовыя черпала ходили изъ рукъ въ руки. Пылающіе костры освѣщали рѣзкія черты, всклоченныя бороды и разнообразныя одежды. Были тутъ знакомыя намъ лица: и Андрюшка, и Васька, и рыжій пѣсенникъ; но не было стараго Коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая изъ черпалъ и осушая чарки.

— Эхъ,—говорилъ одинъ:—что-то съ нашимъ дѣдушкой теперь?

— Вѣстимо что̀,—отвѣчалъ другой:—рвутъ его съ дыбовъ, а можетъ, на вискѣ потряхиваютъ.

— А вѣдь не выдастъ старый чортъ; я чай, словечка не выронитъ!

— Вѣстимо, не выронитъ, не таковскій, этого хоть на клочья разорви, не выдастъ!

— А жаль сѣдой бороды! Ну да и атаманъ-то хорошъ! Самъ, небось, цѣлъ, а старика-то выдалъ!

— Да что̀ онъ за атаманъ! Развѣ это атаманъ, чтобы своихъ даромъ губить изъ-за какого-то князя!

— Да, вишь ты, они съ княземъ-то въ дружбѣ. И теперь, вишь, въ одномъ куренѣ сидятъ. Ты про князя не говори: неравно атаманъ услышитъ, сохрани Богъ!

— А что-жъ, коль услышитъ! Я ему въ глаза скажу, что онъ не атаманъ. Вотъ Коршунъ такъ настоящій атаманъ! Небось, былъ у Перстня какъ бѣльмо на глазу, такъ вотъ его нарочно и выдалъ!

— А что̀, ребята, вѣдь, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ онъ нарочно выдалъ Коршуна!

Глухой ропотъ пробѣжалъ межъ разбойниковъ.

— Нарочно, нарочно выдалъ!—сказали многіе.

— Да что̀ это за князь?—спросилъ одинъ.—Зачѣмъ его держатъ? Выкупа за него ждетъ атаманъ, что ли?

— Нѣтъ, не выкупа!—отвѣчалъ рыжій пѣсенникъ.—Князя, вишь, царь обидѣлъ, хотѣлъ казнить его; такъ князь-то отъ царя и ушелъ къ намъ; говоритъ: я васъ,

ребятушки, самъ на слободу поведу; мнѣ, говоритъ, вѣдомо, гдѣ казна лежитъ. Всѣхъ, говоритъ, опричниковъ перерѣжемъ, а казною подѣлимся!

— Вотъ какъ! Такъ что-жъ онъ не ведетъ насъ? Ужъ третьи сутки здѣсь даромъ стоимъ!

— Оттого не ведетъ, что атаманъ у̀ насъ баба!

— Нѣтъ, этого не говори, Перстень не баба!

— А коли не баба, такъ и хуже того. Стало, онъ насъ морочитъ!

— Стало,—сказалъ кто-то:—онъ хочетъ царскую казну на себя одного взять, а намъ чтобъ и понюхать не досталось!

— Да, да, Перстень продать насъ хочетъ, какъ Коршуна продалъ!

— Да не на таковскихъ напалъ!

— А старика-то выручить не хочетъ!

— Да на что̀ онъ намъ! Мы и безъ него дѣдушку выручимъ!

— И безъ него казну возьмемъ; пусть князь одинъ ведетъ насъ!

— Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на богомольѣ; въ слободѣ и половины опричниковъ не осталось!

— Зажжемъ опять слободу!

— Перерѣжемъ слободскихъ!

— Долой Перстня! Пусть князь ведетъ насъ!

— Пусть князь ведетъ! Пусть князь ведетъ!—послышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова отъ толпы до толпы, пронеслись до самыхъ отдаленныхъ костровъ, и все поднялось и закипѣло, и всѣ обступили курень, гдѣ Серебряный сидѣлъ въ жаркомъ разговорѣ съ Перстнемъ.

— Воля твоя, князь,—говорилъ атаманъ:—сердись не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя изъ тюрьмы вызволилъ, чтобъ ты опять голову на плаху понесъ!

— Въ головѣ своей я одинъ воленъ!—отвѣчалъ князь съ досадою.—Не зачѣмъ было меня изъ тюрьмы вызволять, коли я теперь въ неволѣ сижу.

— Эхъ, князь, велико дѣло время. Царь можетъ одуматься, царь можетъ преставиться; мало ли что̀ можетъ случиться; а минуетъ бѣда, ступай себѣ съ Богомъ на всѣ четыре стороны. Что-жъ дѣлать,—прибавилъ онъ, видя возрастающую досаду Серебрянаго:—должно-быть, тебѣ

на роду написано пожить еще на бѣломъ свѣтѣ. Ты норовомъ крутъ, Никита Романычъ, да и я крѣпко держусь своей мысли; видно ужъ нашла коса на камень, князь!

Въ это мгновеніе голоса разбойниковъ раздались у самаго куреня.

— Въ слободу, въ слободу!—кричали пьяные удальцы.

— Пустимъ краснаго гуся въ слободу!

— Пустимъ цѣлое стадо гусей!

— Выручимъ Коршуна!

— Выручимъ дѣдушку!

— Выкатимъ бочки изъ подваловъ!

— Выгребемъ золото!

— Вырѣжемъ опричнину!

— Вырѣжемъ всю слободу!

— Гдѣ князь? Пусть ведетъ насъ!

— Пусть ведетъ князь!

— А не хочетъ, такъ на осину его!

— На осину! На осину!

— Перстня туда же!

— На осину и Перстня!

Перстень вскочилъ съ мѣста.

— Такъ вотъ что̀ они затѣваютъ!—сказалъ онъ.—А я ужъ давно прислушиваюсь, что̀ они тамъ голосятъ. Вишь какъ расходились, вражьи дѣти! Теперь ихъ самъ чортъ не уйметъ! Ну, князь, нечего дѣлать, вышло по-твоему; не держу тебя долѣ: вольному воля, ходячему путь! Выйди къ нимъ, скажи, что ведешь ихъ на слободу!

Серебряный вспыхнулъ.

— Чтобъ я повелъ васъ на слободу?—сказалъ онъ:—да скорѣй вы меня на клочья разорвете!

— Эхъ, князь, притворись хоть для виду. Народъ, ты видишь, нетрезвый, завтра образумятся.

— Князь!—кричали голоса:—тебя зовутъ, выходи!

— Выйди, князь,—повторилъ Перстень:—ввалятся въ курень—хуже будетъ!

— Добро-жъ,—сказалъ князь, выходя изъ куреня:—посмотримъ, какъ они меня заставятъ вести ихъ на слободу!

— Ага!—закричали разбойники:—вылѣзъ!

— Веди на слободу!

— Атаманствуй надъ нами, не то тебѣ петлю на шею!

— Такъ, такъ!—ревѣли голоса.

— Бьемъ тебѣ челомъ!—кричали другіе:—будь намъ атаманомъ, не то повѣсимъ!

— Ей-Богу, повѣсимъ!

Перстень, зная горячій нравъ Серебрянаго, поспѣшилъ также выйти.

— Что вы, братцы,—сказалъ онъ:—бѣлены, что-ль, объѣлись? Чего вы горла-то дерете? Поведетъ васъ князь, куда хотите, поведетъ чѣмъ свѣтъ; а теперь дайте выспаться его милости, да и сами ложитесь; уже вволю повеселились!

— Да что ты намъ указываешь!—захрипѣлъ одинъ:—развѣ ты намъ атаманъ?

— Слышь, братцы,—закричали другіе:—онъ не хочетъ сдать атаманства!

— Такъ на осину его!

— На осину, на осину!

Перстень окинулъ взоромъ всю толпу и вездѣ встрѣтилъ враждебныя лица.

— Ахъ вы, дураки, дураки!—сказалъ онъ.—Да развѣ я держусь вашего атаманства? Поставьте надъ собой кого знаете; а я и самъ не хочу, наплевать мнѣ на васъ!

— Хорошо!—закричалъ кто-то.

— Красно говоритъ!—прибавилъ другой.

— Наплевать мнѣ на васъ!—продолжалъ Перстень:—мало, что ли, такихъ, какъ вы? Эка честь надъ вами атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не такихъ наберу!

— Нѣтъ, братъ, дудки. Отъ себя не пустимъ; еще, пожалуй, продашь, какъ Коршуна продалъ!

— Не пустимъ, не пустимъ! оставайся съ нами! слушайся новаго атамана!

Дикіе крики заглушили голосъ Перстня.

Разбойникъ огромнаго роста подошелъ къ Серебряному, съ чаркой въ рукѣ.

— Батька!—сказалъ онъ, ударивъ его широкой лапой по плечу:—пробазарилъ ты свою голову, сталъ нашимъ братомъ, такъ выпьемъ вмѣстѣ да поцѣлуемся!

Богъ знаетъ, что бы сдѣлалъ Серебряный. Пожалуй, вышибъ бы онъ чарку изъ рукъ разбойника и разорвала-бъ его на клочья пьяная толпа; но, къ счастію, новые крики отвлекли его вниманіе.

— Смотрите, смотрите!—раздалось въ толпѣ:—опричника поймали! Опричника ведутъ! Смотрите, смотрите!

Изъ глубины лѣса шло нѣсколько людей въ изодранныхъ одеждахъ, съ дубинами въ рукахъ. Они вели съ собой связаннаго Максима. Разбойникъ, котораго онъ ударилъ саблей, ѣхалъ на Максимовомъ конѣ. Впереди шелъ Хлопко, присвистывая, приплясывая. Раненый Буянъ тащился сзади.

— Гей, братцы!—пѣлъ Хлопко, щелкая пальцами:

Гости съѣхались ко вдовушкамъ во дворики,
Заходили по головушкамъ топорики!..

И Хлопко опрокидывался навзничь, билъ въ ладоши и кружился словно кубарь.

Глядя на него, рыжій пѣсенникъ не вытерпѣлъ, схватилъ балалайку и пустился въ присядку помогать товарищу.

Оба стали наперерывъ сѣменить ногами и кривляться вокругъ Максима.

— Вишь дьяволы!—сказалъ Перстень Серебряному.—Вѣдь они не просто убьютъ опричника, а замучатъ медленною смертью; я знаю обоихъ: ужъ коли эти пустились,—значитъ, плохо дѣло; не сдобровать молодцу!

Въ самомъ дѣлѣ, поимка опричника была для всей шайки настоящимъ праздникомъ. Они собрались выместить на Максимѣ все, что̀ потерпѣли отъ его товарищей.

Нѣсколько человѣкъ съ звѣрскими лицами тотчасъ занялись приготовленіемъ къ его казни.

Въ землю вколотили четыре кола, укрѣпили на нихъ поперечныя жерди и накалили гвоздей.

Максимъ смотрѣлъ на все спокойнымъ окомъ. Не страшно было ему умирать въ мукахъ, грустно было умереть безъ меча, со связанными руками, и не слыхать въ предсмертный часъ ни браннаго окрика ни ржанія коней, а слышать лишь дикія пѣсни да пьяный смѣхъ своихъ мучителей.

«Обмануло меня вѣщее,—подумалъ онъ:—не такого я чаялъ себѣ конца. Да будетъ же надо мной Божья воля!»

Тутъ онъ замѣтилъ Серебрянаго, узналъ его и хотѣлъ къ нему подойти. Но рыжій пѣсенникъ схватилъ его за воротъ.

— Постлана постель,—сказалъ онъ:—сымай кафтанъ, ложись, что ли!

— Развяжите мнѣ руки!—отвѣчалъ Максимъ:—не могу перекреститься!

Хлопко ударомъ ножа разрѣзалъ веревки, которыми руки Максима были спутаны.

— Крестись, да недолго!—сказалъ онъ, и когда Максимъ помолился, Хлопко и рыжій сорвали съ него платье и стали привязывать его руки и ноги къ жердямъ.

Тутъ Серебряный выступилъ впередъ.

— Ребята!—сказалъ онъ голосомъ, который привыкъ раздаваться въ ратномъ строю:—слушайте!

И звонкія слова рѣзко пронеслись по толпѣ и, несмотря на шумъ и крики, долетѣли до самыхъ отдаленныхъ разбойниковъ.

— Слушайте!—продолжалъ князь.—Всѣ ли вы хотите, чтобы я былъ надъ вами старшимъ? Можетъ, есть межъ вами такіе, что̀ не хотятъ меня?

— Э!—закричалъ кто-то:—да ты никакъ на попятный дворъ?

— Слышь ты, съ нами не шути!

— Даютъ атаманство, такъ бери!

— Принимай честь, пока цѣлъ!

— Подайте-жъ мнѣ атаманскій чеканъ!—сказалъ Серебряный.

— Дѣло!—закричали разбойники.—Такъ-то лучше, по-добру, по-здорову!

Князю подали чеканъ Перстня.

Никита Романовичъ подошелъ прямо къ рыжему пѣсеннику.

— Отвязывай опричника!—сказалъ онъ.

Рыжій посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Отвязывай тотчасъ!—повторилъ грозно Серебряный.

— Вишь ты!—сказалъ рыжій:—да ты за него, что-ль, стоишь! Смотри, у самого крѣпка-ль голова?

— Окаянный!—вскричалъ князь:—не разсуждай, когда я приказываю!

И, взмахнувъ чеканомъ, онъ разрубилъ ему черепъ. Рыжій повалился, не пикнувъ.

Поступокъ Серебрянаго смутилъ разбойниковъ. Князь не далъ имъ опомниться.

— Отвязывай ты!—сказалъ онъ Хлопку, поднявъ чеканъ надъ его головой.

Хлопко взглянулъ на князя и поспѣшилъ отвязать Максима.

— Ребята!—продолжалъ Никита Романовичъ:—этотъ молодецъ не изъ тѣхъ, что̀ васъ обидѣли; я его знаю; онъ такой же врагъ опричнинѣ, какъ и вы. Сохрани васъ Богъ тронуть его хоть пальцемъ! А теперь нечего мѣш-

кать: берите оружіе, стройтесь по сотнямъ, я веду васъ!

Твердый голосъ Серебрянаго, повелительная осанка и неожиданная рѣшительность сильно подѣйствовали на разбойниковъ.

— Эге,—сказали нѣкоторые вполголоса:—да этотъ не шутитъ!

— И впрямь атаманъ!—говорили другіе:—хоть кого перевернетъ!

— Съ нимъ держи ухо востро̀, не разговаривай! Вишь какъ уходилъ пѣсенника!

Такъ разсуждали разбойники, и никому не приходило болѣе въ голову трепать Серебрянаго по плечу или съ нимъ цѣловаться.

— Исполать тебѣ, князь!—прошепталъ Перстень, съ почтеніемъ глядя на Никиту Романовича:—вишь ты какъ ихъ приструнилъ! Только не давай имъ одуматься, веди ихъ по дорогѣ въ слободу, а тамъ что̀ Богъ дастъ!

Трудно было положеніе Серебрянаго. Ставъ во главѣ станичниковъ, онъ спасъ Максима и выигралъ время, но все было бы вновь потеряно, если-бъ онъ отказался вести буйную ватагу. Князь обратился мыслію къ Богу и предался Его волѣ.

Ужъ начали станичники готовиться къ походу и только поговаривали, что недостаетъ какого-то Ѳедьки Поддубнаго, который съ утра ушелъ со своимъ отрядомъ и еще не возвращался.

— А вотъ и Ѳедька!—сказалъ кто-то:—эвотъ идетъ съ ребятами.

Поддубный былъ сухощавый дѣтина, кривой на одинъ глазъ и со множествомъ рубцовъ на лицѣ.

Зипунъ его былъ изодранъ. Ступалъ онъ тяжело, сгибая колѣни, какъ человѣкъ черезъ силу уставшій

— Что̀?—спросилъ одинъ разбойникъ.

— Я чай, опять досталось?—прибавилъ другой.

— Досталось да не намъ!—сказалъ Поддубный, садясь къ огню.—Вотъ, ребятушки, много у меня лежало грѣховъ на душѣ, а сегодня, кажись, половину сбылъ!

— Какъ такъ?

Поддубный обернулся къ своему отряду.

— Давайте сюда языка, братцы!

Къ костру подвели связаннаго дѣтину въ полосатомъ кафтанѣ. На огромной головѣ его торчала высокая шапка

съ выгнутыми краями. Сплюснутый носъ, выдававшіяся скулы, узенькіе глаза свидѣтельствовали о не-русскомъ его происхожденіи.

Одинъ изъ товарищей Поддубнаго принесъ копье, саадакъ и колчанъ, взятые на плѣнномъ.

— Да это татаринъ!—закричала толпа.

— Татаринъ,—повторилъ Поддубный:—да еще какой! Насилу съ нимъ справились, такой здоровякъ! Кабы не Митька, какъ разъ ушелъ бы!

— Разсказывай, разсказывай! — закричали разбойники.

— А вотъ, братцы, пошли мы съ утра по Рязанской дорогѣ, остановили купца, стали обшаривать; а онъ намъ говоритъ: нечего, говоритъ, братцы, взять съ меня! Я, говоритъ, ѣду отъ Рязани, тамъ всю дорогу заложила татарва, ободрали меня дочиста, не съ чѣмъ и до Москвы дотащиться.

— Вишь разбойники!—сказалъ одинъ изъ толпы.

— Что-жъ вы съ купцомъ сдѣлали?—спросилъ другой.

— Дали ему гривну на дорогу и отпустили,—отвѣтилъ Поддубный.—Тутъ попался намъ мужикъ, разсказалъ, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскорѣ мы сами перешли великую сакму: смѣтили по крайнему счету съ тысячу лошадей. А тамъ идутъ другіе мужики съ бабами да съ дѣтьми, воютъ да голосятъ: и наше-де село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святыя иконы, изъ ризъ подѣлали чепраки...

— Ахъ они, окаянные! — вскричали разбойники:—да какъ еще ихъ, проклятыхъ, земля держитъ!

— Попа, — продолжалъ Поддубный: — къ лошадиному хвосту привязали...

— Попа? Да какъ ихъ, собачьихъ дѣтей, громомъ не убило!

— А Богъ вѣсть!

— Да развѣ у русскаго человѣка рукъ нѣтъ на проклятую татарву!

— Вотъ то-то и есть, что рукъ-то мало! Всѣ полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басурманамъ-то и любо, что нѣтъ ратныхъ людей, что некому поколотить ихъ порядкомъ!

— Эхъ, далъ бы я имъ!

— И я-бъ далъ!

— Да какъ вы языка-то достали?

— А вотъ какъ. Слышимъ мы лошадиный топъ по до-

рогѣ. Я и говорю ребятамъ: схоронимся, говорю, въ кусты, посмотримъ, кто такой ѣдетъ? Схоронились, видимъ: скачетъ человѣкъ тридцать, вотъ въ этакихъ шапкахъ, съ копьями, съ колчанами, съ луками. Братцы, говорю я, вѣдь это они, сердечные! Жаль, что насъ маленько, а то можно-бъ поколотить! Вдругъ у одного отторочился какой-то мѣшокъ и палъ на землю. Тотъ остановился, слѣзъ съ коня подымать мѣшокъ да вторачивать, а товарищи его межъ тѣмъ ускакали. Братцы, говорю я, что̀ бы намъ навалиться на него? Нутка, робятушки, за мной разомъ! И сказамши, бросились всѣ на татарина. Да куды! Тотъ только повелъ плечами,—такъ всѣхъ насъ и стряхнулъ. Мы опять на него, онъ насъ опять стряхнулъ, да и за копье. Тутъ ужъ Митька говоритъ: посторонитесь, братцы, говоритъ, не мѣшайте! Мы дали ему мѣсто, а онъ вырвалъ у татарина копье, взялъ его за шиворотъ да и пригнулъ къ землѣ. Тутъ мы ему рукавицу въ ротъ, да и связали, какъ барана.

— Ай да Митька!—сказали разбойники.

— Да, этотъ хоть быка за рога свалитъ!—замѣтилъ Поддубный.

— Эй, Митька!—спросилъ кто-то:—свалишь ты быка?

— А для-ча!—отвѣтилъ Митька и отошелъ въ сторону, не желая продолжать разговора.

— Что-жъ было въ мѣшкѣ у татарина? — спросилъ Хлопко.

— А вотъ смотрите, ребята!

Поддубный развязалъ мѣшокъ и вынулъ кусокъ ризы, богатую дарохранительницу, двѣ-три панагіи да золотой крестъ.

— Ахъ онъ собака!—закричала вся толпа:—такъ это онъ церковь ограбилъ!

Серебряный воспользовался негодованіемъ разбойниковъ.

— Ребята!—сказалъ онъ:—видите, какъ проклятая татарва ругается надъ Христовою вѣрой? Видите, какъ басурманское племя хочетъ святую Русь извести? Что-жъ, ребята, развѣ ужъ и мы стали басурманами? Развѣ дадимъ мы святыя иконы на поруганіе? Развѣ попустимъ, чтобы нехристи жгли русскія села да рѣзали нашихъ братьевъ?

Глухой ропотъ пробѣжалъ по толпѣ.

— Ребята!—продолжалъ Никита Романовичъ:—кто изъ

насъ Богу не грѣшенъ! Такъ искупимъ же теперь грѣхи наши, заслужимъ себѣ прощеніе отъ Господа, ударимъ всѣ, какъ мы есть, на враговъ церкви и земли русской!

Сильно подѣйствовали на толпу слова Серебрянаго. Проняла мужественная рѣчь не одно зачерствѣлое сердце, не въ одной косматой груди расшевелила любовь къ родинѣ. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули другъ на друга. Громкія восклицанія вырвались изъ общаго говора.

— Что-жъ!—сказалъ одинъ:—вѣдь и вправду не приходится отдавать церквей Божіихъ на поруганіе!

— Не приходится, не приходится!—повторилъ другой.

— Двухъ смертей не бывать, одной не миновать!—прибавилъ третій:—лучше умереть въ полѣ, чѣмъ на висѣлицѣ!

— Правда!—отозвался одинъ старый разбойникъ:—въ полѣ и смерть красна!

— Эхъ, была не была!—сказалъ, выступая впередъ, молодой сорви-голова:—не знаю, какъ другіе, а я пойду на татарву!

— И я пойду! и я! и я!—закричали многіе.

— Говорятъ про васъ,—продолжалъ Серебряный:—что вы Бога забыли, что не осталось въ васъ ни души ни совѣсти. Такъ покажите-жъ теперь, что врутъ люди, что есть у васъ и душа и совѣсть! Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за вѣру, такъ и вы постоите не хуже стрѣльцовъ, не хуже опричниковъ!

— Постоимъ! постоимъ!—закричали всѣ разбойники въ одинъ голосъ.

— Не дадимъ поганымъ ругаться надъ святою Русью!

— Ударимъ на нехристей!

— Веди насъ на татарву!

— Веди насъ, веди насъ! Постоимъ за святую вѣру!

— Ребята!—сказалъ князь:—а если поколотимъ поганыхъ, да увидитъ царь, что мы не хуже опричниковъ, отпуститъ онъ намъ вины наши, скажетъ: не нужна мнѣ болѣ опричнина; есть у меня и безъ нея добрые слуги!

— Пусть только скажетъ,—закричали разбойники:—ужъ послужимъ ему нашими головами!

— Не по своей же я охотѣ въ станичники пошелъ!—сказалъ кто-то.

— А я развѣ по своей?—подхватилъ другой.

— Такъ ляжемъ же, коли надо, за русскую землю!— сказалъ князь.

— Ляжемъ!—повторили разбойники.

— Что-жъ, ребята, — продолжалъ Серебряный: — коли бить враговъ земли русской, такъ надо выпить про русскаго царя!

— Выпьемъ!

— Берите-жъ чарки и мнѣ чару подайте!

Князю поднесли стопу; всѣ разбойники налили себѣ чарки.

— Да здравствуетъ великій государь нашъ, царь Иванъ Васильевичъ всея Руси!—сказалъ Серебряный.

— Да здравствуетъ царь!—повторили разбойники.

— Да живетъ земля русская!—сказалъ Серебряный.

— Да живетъ земля русская!—повторили разбойники.

— Да сгинутъ всѣ враги святой Руси и православной Христовой вѣры!—продолжалъ князь.

— Да сгинетъ татарва! Да сгинутъ враги русской вѣры!—кричали наперерывъ разбойники.

— Веди насъ на татарву! Гдѣ они, басурманы, что̀ жгутъ наши церкви?

— Веди насъ, веди насъ!—раздавалось отовсюду.

— Въ огонь татарина!—закричалъ кто-то.

— Въ огонь его! Въ поломя!—повторили другіе.

— Постойте, ребята!—сказалъ Серебряный:—разспросимъ его напередъ порядкомъ. Отвѣчай,—сказалъ князь, обращаясь къ татарину:—много-ль васъ? Гдѣ вы станомъ стоите?

Татаринъ сдѣлалъ знакъ, что не понимаетъ.

— Постой, князь,—сказалъ Поддубный:—мы ему развяжемъ языкъ! Давай-ка, Хлопко, огоньку. Такъ. Ну что̀, будешь говорить?

— Буду, бачка!—вскрикнулъ обожженный татаринъ.

— Много-ль васъ?

— Многа, бачка, многа!

— Сколько?

— Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а завтра пришла сто тысяча!

— Такъ вы только передовые! Кто ведетъ васъ?

— Ханъ тащилъ!

— Самъ ханъ?

— Не сама! Ханъ пришла завтра; теперь пришла Ширинскій князь Шихматъ!

— Гдѣ его станъ?

Татаринъ опять показалъ знакомъ, что не понимаетъ.

— Эй, Хлопко, огоньку!—крикнулъ Поддубный.

— Близка станъ, бачка, близка!—поспѣшилъ отвѣчать татаринъ:—не больше отсюда, какъ десята верста.

— Показывай дорогу!—сказалъ Серебряный.

— Не можна, бачка! Не можна теперь видѣть дорога! Завтра можна, бачка!

Поддубный поднесъ горящую головню къ связаннымъ рукамъ татарина.

— Найдешь дорогу?

— Нашла, бачка, нашла!

— Хорошо,—сказалъ Серебряный.—Теперь перекусите, братцы, накормите татарина, да тотчасъ и въ походъ! Покажемъ врагамъ, что̀ значитъ русская сила!

ГЛАВА XXV.

Приготовленіе къ битвѣ.

Въ шайкѣ началось такое движеніе, бѣготня и крики, что Максимъ не успѣлъ сказать и спасибо Серебряному. Когда наконецъ станичники выстроились и двинулись изъ лѣсу, Максимъ, которому возвратили коня и дали оружіе, поровнялся съ княземъ.

— Никита Романычъ,—сказалъ онъ:—отплатилъ ты мнѣ сегодня за медвѣдя!

— Что-жъ, Максимъ Григорьичъ,—отвѣтилъ Серебряный:—на то на свѣтѣ живемъ, чтобъ помогать другъ другу!

— Князь,—подхватилъ Перстень, ѣхавшій также верхомъ возлѣ Серебрянаго:—смотрѣлъ я на тебя и думалъ: эхъ, жаль, что не видитъ его одинъ низовой молодецъ, котораго оставилъ я на Волгѣ! Хоть онъ и худой человѣкъ, почитай мнѣ ровня, а полюбилъ бы ты его, князь, и онъ тебя полюбилъ бы! Не въ обиду тебѣ сказать, а схожи вы нравомъ. Какъ заговорилъ ты про святую Русь, да загорѣлись твои очи, такъ я и вспомнилъ Ермака Тимоѳеича. Любитъ онъ родину, крѣпко любитъ ее, нужды нѣтъ, что станичникъ. Не разъ говаривалъ мнѣ, что совѣстно ему даромъ землю бременить, что хотѣлось бы сослужить службу родинѣ. Эхъ, кабы теперь его на татаръ! Онъ одинъ цѣлой сотни стóитъ. Какъ крикнетъ: «за мной, ребята!» такъ, кажется, самъ станешь и выше и сильнѣе, и ничто тебя уже не остановитъ, и все во-

кругъ тебя такъ и валится. Похожъ ты на него, ей-Богу похожъ, Никита Романычъ, не въ укоръ тебѣ сказать!

Перстень задумался. Серебряный ѣхалъ осторожно, вглядываясь въ темную даль; Максимъ молчалъ. Глухо раздавались по дорогѣ шаги разбойниковъ; звѣздная ночь безмолвно раскинулась надъ спящею землей. Долго шла толпа по направленію, указанному татариномъ, котораго вели подъ саблей Хлопко и Поддубный.

Вдругъ пронеслись издали какіе-то странные, мѣрные звуки.

То былъ не человѣческій голосъ, не рожокъ, не гусли, а что-то похожее на шумъ вѣтра въ тростникѣ, если бы тростникъ могъ звенѣть какъ стекло или струны.

— Что это?—спросилъ Никита Романовичъ, останавливая коня.

Перстень снялъ шапку и наклонилъ голову почти до самой луки.

— Погоди, князь, дай поразслушать!

Звуки лились мѣрно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемаго лѣса,— вдругъ замолкли, какъ будто въ порывѣ степного вѣтра.

— Кончилъ!—сказалъ Перстень, смѣясь.—Вишь грудь-то какова! Я чай, съ полчаса дулъ себѣ, не переводя духа!

— Да что это?—спросилъ князь.

— Чебузга!—отвѣчалъ Перстень.—Это у нихъ, почитай, что у насъ рожокъ или жалейка. Должно-быть, башкирцы. Вѣдь тутъ разный сбродъ съ ханомъ: и казанцы, и астраханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вотъ опять наигрывать стали.

Вдали начался какъ будто новый порывъ вихря, обратился въ длинные, грустно-пріятные переливы и черезъ нѣсколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканью.

— Ага!—сказалъ Перстень:—это колѣно вышло покороче; должно-быть, надорвался, собачій сынъ!

Но тутъ раздались новые звуки, гораздо звончѣе. Казалось, множество колокольцевъ звенѣли безостановочно.

— А вотъ и горло!—сказалъ Перстень.—Вѣдь издали подумаешь и невѣсть что, а они это горломъ выдѣлываютъ. Вишь ихъ разобрало, вражьихъ дѣтей!

Грустные, заунывные звуки смѣнялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тутъ отра-

жалось дикое величіе кочующаго племени, и попрыски табуновъ, и богатырскіе набѣги и переходы народовъ изъ края въ край, и тоска по неизвѣстной, первобытной родинѣ.

— Князь, — сказалъ Перстень: — должно-быть, близко станъ; я чай, за этимъ пригоркомъ и огни будутъ видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что̀ и ка̀къ: мнѣ это дѣло обычное, довольно я ихъ за Волгой встрѣчалъ; а ты бы пока ребятамъ далъ вздохнуть да осмотрѣться.

— Ступай съ Богомъ,—сказалъ князь, и Перстень соскочилъ съ коня и исчезъ во мракѣ.

Разбойники оправились, осмотрѣли оружіе и сѣли на землю, не измѣняя боевого порядка. Глубокое молчаніе царствовало въ шайкѣ. Всѣ понимали важность начатаго дѣла и необходимость безусловнаго повиновенія. Между тѣмъ звуки чебузги лились попрежнему, мѣсяцъ и звѣзды освѣщали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изрѣдка легкое дуновеніе вѣтра волновало ковыль серебристыми струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь сталъ уже терять терпѣніе, но вдругъ шагахъ въ трехъ отъ него поднялся изъ травы человѣкъ. Никита Романовичъ схватился за саблю.

— Тише, князь, это я!—произнесъ Перстень, усмѣхаясь.—Вотъ такъ точно подползъ я и къ татарамъ; все высмотрѣлъ; теперь знаю ихъ станъ не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десятокъ молодцовъ, пугну табунъ да переполошу татарву, а ты тѣмъ часомъ, коли разсудишь, ударь на нихъ съ двухъ сторонъ, да съ добрымъ крикомъ; такъ будь я татаринъ, коли мы ихъ половины не перерѣжемъ! Это я такъ говорю только для почину; ночное дѣло мастера боится; а взойдетъ солнышко, такъ ужъ тебѣ указывать, князь, а намъ только слушаться!

Серебряный зналъ находчивость и смѣтливость Перстня и далъ ему дѣйствовать по его мысли.

— Ребятушки,—сказалъ Перстень разбойникамъ:—повздорили мы немного, да кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ! Есть ли промежъ васъ человѣкъ десять охотниковъ со мной вмѣстѣ къ стану идти?

— Выбирай кого знаешь,—отвѣчали разбойники:—мы всѣ готовы.

— Спасибо же вамъ, ребятушки; а коли ужъ вы меня

уважили, такъ я беру вотъ какихъ: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятелъ, и ты, Лѣсниковъ, и ты, Рѣшето, и Степка, и Мишка, и Шестоперъ, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лѣзешь, Митька? Тебя я не звалъ; оставайся съ княземъ, ты къ нашему дѣлу не пригоденъ. Сымайте, ребята, сабли,—съ ними ползти неладно; будетъ съ васъ и ножей. Только, ребята, чуръ, слушать моего слова, безъ меня ни на шагъ! Пошли въ охотники, такъ ужъ что̀ укажу, то и дѣлать. Чуть кто-нибудь не такъ, я ему тутъ же и карачунъ.

— Добро, добро,—отвѣчали выбранные Перстнемъ:— какъ скажешь, такъ и сдѣлаемъ. Ужъ пошли на святое дѣло—небось, не повздоримъ.

— Видишь, князь, этотъ косогоръ?—продолжалъ атаманъ.—Какъ дойдешь до него, будутъ вамъ ихъ костры видны. А мой совѣтъ—ждать вамъ у косогора, пока не услышите моего визга. А какъ пугну табунъ, да послышится визгъ и крикъ, такъ вамъ и напускаться на нехристей; а имъ дѣться некуды; коней-то ужъ не будетъ; съ одной стороны—мы, съ другой—пришла рѣчка съ болотомъ.

Князь обѣщался сдѣлать все по распоряженію Перстня.

Между тѣмъ атаманъ съ десятью удальцами пошли на звукъ чебузги и вскорѣ пропали въ травѣ. Иной подумалъ бы, что они тутъ же и притаились; но зоркое око могло бы замѣтить колебаніе травы, независимое отъ вѣтра и не по его направленію.

Черезъ полчаса Перстень и его товарищи были уже близко къ татарскимъ кибиткамъ.

Лежа въ ковылѣ, Перстень приподнялъ голову.

Шаговъ пятьдесятъ передъ нимъ горѣлъ костеръ и озарялъ нѣсколько башкирцевъ, сидѣвшихъ кружкомъ, съ поджатыми подъ себя ногами. Кто былъ въ пестромъ халатѣ, кто въ бараньемъ тулупѣ, а кто въ изодранномъ кафтанѣ изъ верблюжины. Воткнутыя въ землю копья торчали возлѣ нихъ и докидывали длинныя тѣни свои до самаго Перстня. Табунъ изъ нѣсколькихъ тысячъ лошадей, ввѣренный стражѣ башкирцевъ, пасся неподалеку густою кучей. Другіе костры, шагахъ во ста подалѣ, освѣщали безчисленныя войлочныя кибитки.

Не зорко смотрѣли башкирцы за своимъ табуномъ. Прошли они отъ Волги до самой Рязани, не встрѣтивъ нигдѣ отпора; знали, что наши войска распущены, и не

ожидали себѣ непріятеля; а отъ волковъ, думали, обережемся чебузгой да горломъ. И четверо изъ нихъ, уперевъ въ верхніе зубы концы длинныхъ репейныхъ дудокъ и набравъ въ широкія груди, сколько могли, вѣтру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другіе подтягивали имъ горломъ, и огонь освѣщалъ ихъ скуластыя лица, побагровѣвшія отъ натуги.

Нѣсколько минутъ Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчасъ съ ножомъ на башкирцевъ и, не давъ имъ опомниться, перерѣзать всѣхъ до одного? Или сперва разогнать лошадей, а потомъ уже начать рѣзать?

И то и другое его прельщало. «Вишь какой табунъ,— думалъ онъ, притаивъ дыханіе:—коли пугнуть его умѣючи, такъ онъ, съ напуску, всѣ ихъ кибитки переломаетъ; такого задастъ переполоху, что они своихъ не узнаютъ. А и эти-то вражьи дѣти хорошо сидятъ, больно хорошо! Вишь какъ наяриваютъ; можно къ нимъ на два шага подползти».

И не захотѣлось атаману отказаться отъ кровавой потѣхи надъ башкирцами.

— Рѣшето,—шепнулъ онъ притаившемуся возлѣ него товарищу:—что̀, у тебя въ горлѣ не першитъ? Сумѣешь взвизгнуть?

— А ты-то что-жъ?—отвѣтилъ шопотомъ Рѣшето.

— Да какъ будто осипъ маненько.

— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?

— Постой, рано. Заползи-ка вонъ оттоль какъ можно ближе къ табуну; ползи, пока не смѣтятъ тебя кони; а лишь начнутъ ушми прясти, ты и гикни, да пострашнѣе, да и гони ихъ прямо на кибитки!

Рѣшето кивнулъ головой и исчезъ въ ковылѣ.

— Ну, братцы,—шепнулъ Перстень остальнымъ товарищамъ:—ползите за мной подъ нехристей, только, чуръ, осторожно. Вишь, ихъ всего-то человѣкъ двадцать, а насъ девятеро; на каждаго изъ васъ будетъ по два, а я на себя четырехъ беру. Какъ послышите, что Рѣшето взвизгнулъ, такъ всѣмъ разомъ и загикать, да прямо на нихъ! Готовы, что ли?

— Готовы!—отвѣчали шопотомъ разбойники.

Атаманъ перевелъ дыханіе, оправился и началъ потихоньку вытаскивать изъ-за пояса длинный ножъ свой.

ГЛАВА XXVI.

Побратимство.

Пока все это происходило у татарскаго стана, Серебряный, за полверсты оттуда, ожидалъ нетерпѣливо условленнаго знака.

— Князь,—сказалъ ему Максимъ, не отходившій все время отъ него:—недолго намъ ждать, скоро зачнется бой; какъ взойдетъ солнышко, такъ ужъ многихъ изъ насъ не будетъ въ живыхъ, а мнѣ бы хотѣлось попросить тебя...

— О чемъ, Максимъ Григорьичъ?

— Дѣло-то не трудное, да не знаю, какъ тебѣ сказать, совѣстно мнѣ...

— Говори, Максимъ Григорьичъ, было бы вмоготу!

— Видишь ли, князь,—скажу тебѣ всю истину. Я ушелъ изъ слободы тайно, противъ воли отца, безъ вѣдома матери. Невтерпёжъ мнѣ стало служить въ опричникахъ; такая нашла тошнота, что хоть въ воду кинуться. Видишь ли, бояринъ, я одинъ сынъ у отца, у матери, брата у меня никогда не бывало. Отъ Покрова пошелъ мнѣ девятнадцатый годъ, а повѣришь ли, до сей поры не съ кѣмъ было добрымъ словомъ перемолвиться. Живу про межъ нихъ одинъ-одинёшенекъ, никто мнѣ не товарищъ, всѣ чужіе. Всякъ только и думаетъ, какъ бы другого извести, чтобы самому въ честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Изъ церквей, почитай, не выходятъ, а губятъ народъ хуже станичниковъ. Было-бъ имъ поболѣ казны да помѣстій, такъ по нихъ хоть вся Русь пропадай! Какъ царь ни грозенъ, а вѣдь и тотъ иногда слушаетъ истину; такъ у нихъ хоть бы у одного языкъ повернулся правду вымолвить! Всѣ такъ ему и поддакиваютъ, такъ и лѣзутъ выслужиться! Повѣришь ли, князь, какъ увидѣлъ тебя, на сердцѣ у меня повеселѣло, словно родного встрѣтилъ! Еще и не зналъ я, кто ты таковъ, а ужъ полюбился ты мнѣ: и очи у тебя не такъ глядятъ, какъ у нихъ, и рѣчь звучитъ иначе. Вотъ Годуновъ, пожалуй, и лучше другихъ, а все не то, что ты. Смотрѣлъ я на тебя, какъ ты безъ оружія супротивъ медвѣдя стоялъ; какъ Басмановъ, послѣ отравы того боярина, и тебѣ чашу съ виномъ поднесъ; какъ тебя на плаху вели; какъ ты со станичниками сегодня говорилъ. Такъ меня и тянуло къ тебѣ,—вотъ такъ бы и кинулся

къ тебѣ на шею! Не дивись, князь, моей глупой рѣчи,— прибавилъ Максимъ, потупя очи:—я не набиваюсь къ тебѣ на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что-жъ мнѣ дѣлать, коли не могу словъ удержать, сами рвутся наружу, сердце къ тебѣ само такъ и мечется!

— Максимъ Григорьичъ, — сказалъ Серебряный и крѣпко сжалъ его руку:—и ты полюбился мнѣ, какъ братъ родной!

— Спасибо, князь, спасибо тебѣ! А коли ужъ на то пошло, то дай мнѣ разомъ высказать, что̀ у меня на душѣ Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мнѣ, князь, теперь передъ битвою, по древнему христіанскому обычаю, побрататься съ тобой! Вотъ и вся моя просьба; не возьми ее во гнѣвъ, князь. Если бы зналъ я навѣрно, что доведется намъ еще долгое время жить вмѣстѣ, я-бъ не просилъ тебя; я помнилъ бы, что тебѣ не пригоже быть моимъ названнымъ братомъ; а теперь...

— Полно Бога гнѣвить, Максимъ Григорьичъ!—прервалъ его Серебряный:—чѣмъ ты не братъ мнѣ? Знаю, что мой родъ честнѣе твоего, да то дѣло думное и разрядное; а здѣсь передъ татарами, въ чистомъ полѣ, мы равны, Максимъ Григорьичъ, да вездѣ равны, гдѣ стоимъ предъ Богомъ, а не предъ людьми. Побратаемся, Максимъ Григорьичъ!

И князь снялъ съ себя крестъ-тѣльникъ на узорной золотой цѣпи и подалъ Максиму.

Максимъ также снялъ съ шеи крестъ, простой мѣдный, на шелковомъ гайтанѣ, поцѣловалъ его и перекрестился.

— Возьми его, Никита Романычъ; имъ благословила меня мать, когда еще мы были бѣдными людьми, не вошли еще въ честь у Ивана Васильевича. Береги его, онъ мнѣ всего дороже.

Тогда оба еще разъ перекрестились и, помѣнявшись крестами, обняли другъ друга.

Максимъ просвѣтлѣлъ.

— Теперь,—сказалъ онъ радостно:—ты мнѣ братъ, Никита Романычъ! Что̀ бы ни случилось, я съ тобой неразлученъ; кто тебѣ другъ, тотъ другъ и мнѣ; кто тебѣ врагъ, тотъ и мнѣ врагъ; буду любить твоею любовью, опаляться твоимъ гнѣвомъ, мыслить твоею мыслію! Теперь мнѣ и умирать веселѣе и жить не горько; есть съ кѣмъ жить, за кого умереть!

— Максимъ, — сказалъ Серебряный, глубоко тронутый:—видитъ Богъ, и я тебѣ всею душой учинился братомъ; не хочу разлучаться съ тобою до скончанія живота!

— Спасибо, спасибо, Никита Романычъ, и не слѣдъ намъ разлучаться! Коли, дастъ Богъ, останемся живы, подумаемъ хорошенько, поищемъ вмѣстѣ, что̀ бы намъ сдѣлать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не можетъ, чтобы все на Руси пропало, чтобъ ужъ нельзя было и царю служить иначе, какъ въ опричникахъ!

Максимъ говорилъ съ непривычнымъ жаромъ, но вдругъ остановился и схватилъ Серебрянаго за руку.

Пронзительный визгъ раздался въ отдаленіи. Воздухъ какъ будто задрожалъ, земля затряслась; смутные крики, невнятный гулъ пронеслись отъ татарскаго стана, и нѣсколько коней, грива дыбомъ, проскакали мимо Серебрянаго и Максима.

— Пора!—сказалъ Серебряный, садясь въ сѣдло, и вынулъ саблю.—Чуръ, меня слушаться, ребята, не сбиваться въ кучу, не разсыпаться врозь, каждый знай свое мѣсто! Съ Богомъ, за мной!

Разбойники вспрянули съ земли.

— Пора, пора!—раздалось во всѣхъ рядахъ.—Слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебрянымъ и перевалилась черезъ холмъ, заграждавшій имъ дотолѣ непріятельскіе костры.

Тогда новое неожиданное зрѣлище поразило ихъ очи.

Справа отъ татарскаго стана змѣился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вмѣстѣ, ползли все ближе и ближе къ стану.

— Ай-да Перстень! — вскричали разбойники: — ай-да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по вѣтру, прямо на басурмановъ!

Пожаръ росъ съ неимовѣрною быстротой; вся степь по правую сторону стана обратилась въ огненное море, и вскорѣ волны его охватили крайнія кибитки и озарили станъ, похожій на встревоженный муравейникъ.

Татары, спасаясь отъ огня, бѣжали въ безпорядкѣ навстрѣчу разбойникамъ.

— На нихъ, ребята!—загремѣлъ Серебряный:—топчите ихъ въ воду, гоните въ огонь!

Дружный крикъ отвѣчалъ князю; разбойники бросились на татаръ, и закипѣла рѣзня. . . . . .

. . . . . .

Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усѣяно убитыми татарами.

Тѣснимые съ одной стороны пожаромъ, съ другой—дружиной Серебрянаго, враги не успѣли опомниться и кинулись къ топкимъ берегамъ рѣчки, гдѣ многіе утонули. Другіе погибли въ огнѣ или задохлись въ дыму. Испуганные табуны съ самаго начала бросились на станъ, переломали кибитки и привели татаръ въ такое смятеніе, что они давили другъ друга и рѣзались между собою, думая отбивать непріятеля. Одна часть успѣла прорваться черезъ огонь и разсѣялась въ безпорядкѣ по степи. Другая, собранная съ трудомъ самимъ ширинскимъ мурзою Шихматомъ, переплыла черезъ рѣчку и построилась на другомъ берегу. Тысячи стрѣлъ сыпались оттуда на торжествующихъ русскихъ. Разбойники, не имѣя другого оружія, кромѣ рукопашнаго, и видя стрѣляющихъ враговъ, защищенныхъ топкою рѣчкой, не выдержали и смѣшались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать ихъ. Уже отряды татаръ начали, подъ прикрытіемъ стрѣлъ, обратно переплывать рѣчку, грозя ударить Серебряному въ тылъ, какъ Перстень явился внезапно возлѣ князя. Смуглое лицо его разгорѣлось, рубаха была изодрана, съ ножа капала кровь.

— Стойте, други! стойте, ясные соколы!—закричалъ онъ на разбойниковъ:—аль глаза вамъ запорошило? Аль не видите: къ намъ подмога идетъ?

Въ самомъ дѣлѣ, на противоположномъ берегу подвигалась рать въ боевомъ порядкѣ; ея копья и бердыши сверкали въ лучахъ восходящаго солнца.

— Да это тѣ же татары!—сказалъ кто-то.

— Самъ ты татаринъ!—возразилъ Перстень, негодуя.—Развѣ такъ идетъ орда? Развѣ бываетъ, чтобы татары шли пѣшіе? А этого не видишь впереди на сѣромъ конѣ? Развѣ на немъ татарская броня?

— Православные идутъ!—раздалось между разбойниками.—Стойте, братцы, православные къ намъ на помощь идутъ!

— Видишь, князь,—сказалъ Перстень:—они, вражьи дѣти, и стрѣляютъ-то ужъ не такъ густо, значитъ, сме-

кнули, въ чемъ дѣло! А какъ схватится съ ними та дружина, я покажу тебѣ бродъ, перейдемъ да и ударимъ на нихъ сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ея вооруженіе и одежду, почти столь же разнообразную, какъ и на разбойникахъ. Надъ головами ратниковъ болтались цѣпы, торчали косы и рогатины. Они казались нàскоро вооруженными крестьянами, и только на передовыхъ были одноцвѣтные кафтаны, а въ рукахъ ихъ свѣтились бердыши и копья. Тутъ же ѣхало человѣкъ сто вершниковъ, также въ одноцвѣтныхъ кафтанахъ. Предводитель этой дружины былъ стройный молодой человѣкъ. Изъ-подъ сверкающаго шлема висѣли у него длинные русые волосы. Онъ ловко управлялъ конемъ, и конь, серебристо-сѣрой масти, то взвивался на дыбы, то шелъ, красуясь, ровнымъ шагомъ и ржалъ навстрѣчу непріятелю.

Туча стрѣлъ встрѣтила вождя и дружину.

Между тѣмъ Никита Романовичъ вмѣстѣ съ своими перешелъ рѣчку вбродъ и врѣзался въ толпу враговъ, на которыхъ въ то же время наперла съ другой стороны вновь пришедшая подмога.

Ужъ съ часъ кипѣла битва.

Серебряный на мгновеніе отъѣхалъ къ рѣчкѣ напоить коня и перетянуть подпруги. Максимъ увидѣлъ его и подскакалъ къ нему.

— Ну, Никита Романычъ,—сказалъ онъ весело:—видно, Богъ стоитъ за святую Русь. Смотри, коли наша не возьметъ!

— Да,—отвѣтилъ Серебряный:—спасибо вонъ тому боярину, что подоспѣлъ къ намъ на прибавку. Вишь какъ рубитъ вправо и влѣво! Кто онъ таковъ? Я какъ будто видалъ его гдѣ-то?

— Какъ, Никита Романычъ, ты не призналъ его?

— А ты его развѣ знаешь?

— Мнѣ-то какъ не знать его, Богъ съ нимъ! Много грѣховъ отпустится ему за нынѣшній день. Да вѣдь и ты знаешь его, Никита Романычъ. Это Ѳедька Басмановъ.

— Басмановъ? Этотъ? Неужто онъ?

— Онъ самый, и на себя непохожъ сталъ. Бывало—и подумать соромно—въ лѣтникѣ, словно дѣвушка, плясывалъ; а теперь, видно, разобрало его; поднялъ крестьянъ и дворовыхъ и напалъ на татаръ; должно-быть, и въ немъ русскій духъ заговорилъ. А сила-то откуда взялась, по-

думаешь! Да какъ и не перемѣниться въ этакой день,— продолжалъ Максимъ съ одушевленіемъ, и глаза его блистали радостью.—Повѣришь ли, Никита Романычъ, я самъ себя не узнаю. Когда ушелъ я изъ слободы, все казалось, что не долго уже доводится жить на свѣтѣ. Тянуло помѣряться съ нехристями, только не съ тѣмъ, чтобы побить ихъ,—на то, думалъ, найдутся лучше меня,— а съ тѣмъ, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то: теперь мнѣ хочется жить! Слышишь, Никита Романычъ, когда вѣтеръ относитъ бранный гулъ, какъ на небѣ жаворонки звенятъ? Вотъ такъ же весело звенитъ и у меня на сердцѣ! Такая чуется сила и охота, что цѣлый вѣкъ показался бы коротокъ. И чего ни передумалъ я съ тѣхъ поръ, какъ заря занялась! Такъ стало мнѣ ясно, такъ понятно, сколько добра еще можно сдѣлать на родинѣ! Тебя царь помилуетъ; быть того не можетъ, чтобы не помиловалъ. Пожалуй, еще и полюбитъ тебя. А ты возьми меня къ себѣ; давай вмѣстѣ думать и дѣлать, какъ Адашевъ съ Сильвестромъ. Все, все разскажу тебѣ, что̀ у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романычъ,—пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть онъ и худой человѣкъ, а надо выручить!

Серебряный посмотрѣлъ на Максима почти отеческимъ взоромъ.

— Побереги себя, Максимъ,—сказалъ онъ:—не мечись въ сѣчу даромъ; смотри, ты и такъ ужъ въ крови!

— То, должно-быть, вражья кровь,—отвѣтилъ Максимъ, весело посмотрѣвъ на свою рубаху:—а на мнѣ и царапины нѣтъ: твой крестъ соблюлъ меня!

Въ это время притаившійся въ камышахъ татаринъ выползъ на берегъ, натянулъ лукъ и пустилъ стрѣлу въ Максима.

Зазвенѣлъ тугой татарскій лукъ, спѣла тетива, провизжала стрѣла, угодила Максиму въ бѣлу грудь, угодила, каленая, подъ самое сердце. Закачался Максимъ на сѣдлѣ, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть доброму молодцу, но доспѣлъ ему часъ, на роду написанный, и свалился онъ на сыру-землю, зацѣпя стремя ногою. Поволокъ его конь по чисту полю, и летитъ Максимъ, лежа навзничь, раскидавъ бѣлыя руки, и метутъ его кудри мать сыру-землю, и бѣжитъ за нимъ по̀ полю кровавый слѣдъ.

Придетъ въ слободу вѣсть недобрая, разрыдается мать

Максимова, что не стало ей на поминъ души поминщика и некому ея старыхъ очей закрыть. Разрыдается слезами горючими: не воротитъ своего дѣтища!

Придетъ въ слободу вѣсть недобрая, заскрежещетъ Малюта зубами, налетитъ на плѣнныхъ татаръ, насѣчетъ въ тюрьмахъ копны головъ и упьется кровью до жадной души: не воротитъ своего дѣтища!

Забылъ Серебряный и битву и татаръ; не видитъ онъ, какъ Басмановъ гонитъ нехристей, какъ Перстень съ разбойниками перенимаютъ бѣгущихъ,—видитъ только, что конь волочитъ по̀ полю его названнаго брата. И вскочилъ Серебряный въ сѣдло, поскакалъ за конемъ, и, поймавъ его за узду, спрянулъ на землю и высвободилъ Максима изъ стремени.

— Максимъ, Максимъ!—сказалъ онъ, ставъ на колѣни и приподнимая его голову:—живъ ли ты, названный братъ мой? Открой очи, дай мнѣ отповѣдь!

И Максимъ открылъ туманныя очи и протянулъ къ нему руки.

— Прости, названный братъ мой! Не довелося пожить намъ вмѣстѣ. Сдѣлай же одинъ, что̀ хотѣли мы вдвоемъ сдѣлать!

— Максимъ,—сказалъ Серебряный, прижимая губы къ горячему челу умирающаго:—не заповѣдаешь ли мнѣ чего?

— Отвези матери послѣдній поклонъ мой, скажи ей, что я умеръ, ее поминая...

— Скажу, Максимъ, скажу,—отвѣтилъ Серебряный, едва удерживаясь отъ слезъ.

— А крестъ,—продолжалъ Максимъ:—тотъ, что̀ на мнѣ, отдай ей... а мой носи на память о братѣ твоемъ...

— Братъ мой,—сказалъ Серебряный:—нѣтъ ли еще чего на душѣ у тебя? Нѣтъ ли какой зазнобы въ сердцѣ? Не стыдись, Максимъ: кого еще жаль тебѣ, кромѣ матери?

— Жаль мнѣ родины моей, жаль святой Руси! Любилъ я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максимъ закрылъ глаза. Лицо его горѣло, дыханіе дѣлалось чаще.

Черезъ нѣсколько мгновеній онъ опять взглянулъ на Серебрянаго.

— Братъ,—сказалъ онъ:—кабы мнѣ напиться воды, да постуденѣе!

Рѣка была недалеко. Князь всталъ, зачерпнулъ въ шлемъ воды и подалъ Максиму.

— Теперь какъ будто полегчало,—сказалъ умирающій.—Приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнялъ Максима. Онъ повелъ кругомъ угасающимъ взоромъ, увидѣлъ бѣгущихъ татаръ и улыбнулся.

— Я говорилъ, Никита Романычъ, что Богъ стоитъ за насъ... Смотри, какъ они разсыпались... А у меня ужъ и въ глазахъ темнѣетъ... Охъ, не хотѣлось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула изъ устъ его.

— Господи, прими мою душу!—проговорилъ Максимъ и упалъ мертвый.

ГЛАВА XXVII.

Басмановъ.

Люди Басманова и разбойники окружили Серебрянаго. Татары были разбиты на-голову; многіе отдались въ плѣнъ, другіе бѣжали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тѣмъ Басмановъ велѣлъ раскинуть на берегу рѣчки свой персидскій шатеръ, а дворецкій его, одинъ изъ начальныхъ людей рати, доложилъ Серебряному, что бояринъ бьетъ ему челомъ, проситъ не побрезгать походнымъ обѣдомъ.

Лежа на шелковыхъ подушкахъ, Басмановъ, уже расчесанный и надушенный, смотрѣлся въ зеркало, которое держалъ передъ нимъ молодой стремянный, стоя на колѣняхъ. Видъ Басманова являлъ странную смѣсь лукавства, надменности, изнѣженнаго разврата и безпечной удали; и сквозь эту смѣсь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при видѣ земскаго. Предполагая, что Серебряный долженъ презирать его, онъ, даже исполняя долгъ гостепріимства, придумывалъ заранѣ, какъ бы отомстить гостю, если тотъ неравно выкажетъ свое презрѣніе. При входѣ Серебрянаго, Басмановъ привѣтствовалъ его наклоненіемъ головы, но не тронулся съ мѣста.

— Ты раненъ, Ѳедоръ Алексѣичъ?—спросилъ Серебряный простодушно.

— Нѣтъ, не раненъ,—сказалъ Басмановъ, принимая эти слова за насмѣшку и рѣшившись встрѣтить ее безстыдствомъ:—нѣтъ, не раненъ, а только уморился немного, да вотъ лицо какъ будто загорѣло. Какъ думаешь, князь,—прибавилъ онъ, продолжая смотрѣться въ зеркало и по-

правляя свои жемчужныя серьги:—какъ думаешь, скоро сойдетъ загаръ?

Серебряный не зналъ, что̀ и отвѣчать.

— Жаль, — продолжалъ Басмановъ: — сегодня не поспѣемъ въ баню; до вотчины моей будетъ верстъ тридцать, а завтра, князь, милости просимъ, угощу тебя лучше теперешняго, увидишь мои хороводы: дѣвки всѣ на подборъ, а парни—старшему двадцати не будетъ.

Говоря это, Басмановъ сильно картавилъ.

— Спасибо, боярин̀ъ, я спѣшу въ слободу,—отвѣчалъ сухо Серебряный.

— Въ слободу? Да вѣдь ты никакъ изъ тюрьмы убѣжалъ?

— Не убѣжалъ, Ѳедоръ Алексѣичъ, а увели меня насильно. Давши слово царю, я самъ бы не ушелъ, и теперь опять отдаюсь на его волю.

— Тебѣ, стало, хочется на висѣлицу? Вольному воля, спасенному рай! А я ужъ не знаю, вернуться ли мнѣ?

— Что̀ такъ, Ѳедоръ Алексѣичъ?

— Да что̀!—сказалъ Басмановъ, предаваясь досадѣ или, можетъ-быть, желая только внушить Серебряному довѣріе:—служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а онъ, того и смотри, посадитъ тебѣ какого-нибудь Годунова на̀ голову!

— Да тебя-то, кажется, жалуетъ царь.

— Жалуетъ! До сей поры и окольничимъ сдѣлать не хочетъ. А ужъ, кажется, я ли ему не холопъ. Небось, Годуновъ не по-моему служитъ. Этотъ бережетъ себя, какъ бы земскіе про него худо не подумали. «Эй, Борисъ, ступай въ застѣнокъ, боярина допрашивать!»—Иду, государь, только какъ бы онъ не провелъ меня: я къ этому дѣлу не привыченъ, прикажи Григорью Лукьянычу со мной идти!—«Эй, Борисъ, вонъ за тѣмъ столомъ земскій боярин̀ъ мало пьетъ, поднеси ему вина,—разумѣешь?»—Разумѣю, государь, да только онъ на меня подозрѣніе держитъ, ты бы лучше Ѳедьку Басманова послалъ!—А Ѳедька не отговаривается, куда пошлютъ, туда и идетъ. Поведи лишь царь очами, брата родного отравилъ бы, и не спросилъ бы, за что̀. Помнишь, какъ я тебѣ за столомъ чашу отъ Ивана Васильевича-то поднесъ? Вѣдь я думалъ—она съ ядомъ, ей-Богу, думалъ!

Серебряный усмѣхнулся.

— А гдѣ ему,—продолжалъ Басмановъ, какъ бы под-

стрекаемый къ большей наглости:—гдѣ ему найти слугу краше меня? Видалъ ли ты такія брови, какъ у меня? Чѣмъ эти брови не собольи? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай; вѣдь шелкъ, право-ну, шелкъ!

Отвращеніе выразилось на лицѣ Серебрянаго. Басмановъ это замѣтилъ и продолжалъ, какъ будто желая поддразнить своего гостя:

— А руки-то мои, посмотри, князь, чѣмъ онѣ не дѣвичьи? Только вотъ сегодня намозолилъ маленько. Такой ужъ у меня нравъ, ни въ чемъ себя не жалѣю!

— И подлинно не жалѣешь,—сказалъ Серебряный, не въ силахъ болѣе сдерживать своего негодованія:—коли все то̀ правда, что̀ про тебя говорятъ...

— А что̀ же про меня говорятъ?—подхватилъ Басмановъ, лукаво прищурясь.

— Да ужъ и того бы довольно, что̀ ты самъ разсказываешь; а то говорятъ про тебя, что ты передъ царемъ, прости Господи, какъ дѣвушка, въ лѣтникѣ пляшешь!

Краска бросилась въ лицо Басманову, но онъ призвалъ на помощь свое обычное безстыдство.

— А что-жъ,—сказалъ онъ, принимая безпечный видъ:—если и въ самомъ дѣлѣ пляшу?

— Тогда прости,—сказалъ Серебряный:—мнѣ не только съ тобой обѣдать, но и смотрѣть на тебя соромно!

— Ага!—вскричалъ Басмановъ, и поддѣльная безпечность его исчезла, а глаза засверкали, и онъ уже забылъ картавить.—Ага! выговорилъ наконецъ! Я знаю, что̀ вы всѣ про меня думаете! Да мнѣ, вотъ видишь ли, на всѣхъ васъ наплевать!

Брови Серебрянаго сдвинулись и рука опустилась-было на крыжъ его сабли, но онъ вспомнилъ, съ кѣмъ говорить, и только пожалъ плечами.

— Да что̀ ты за саблю-то хватаешься?—продолжалъ Басмановъ.—Меня этимъ не испугаешь. Какъ самъ примусь за саблю, такъ еще посмотримъ, чья возьметъ!

— Прости!—сказалъ Серебряный и приподнялъ завѣсу шатра, чтобы выйти.

— Слушай!—вскричалъ Басмановъ, хватая его за полу кафтана:—кабы на меня кто другой такъ посмотрѣлъ, я, видитъ Богъ, не спустилъ бы ему, но съ тобой ссориться не хочу: больно хорошо татаръ рубишь!

— Да и ты,—сказалъ добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнивъ, какъ дрался Басма-

новъ:—да и ты не хуже меня рубилъ ихъ. Что-жъ ты опять вздумалъ ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сдѣлалось безпечно.

— Ну, не сердись, князь! Я вѣдь не всегда таковъ былъ; а въ слободѣ, самъ знаешь, поневолѣ всему научишься!

— Грѣшно, Ѳедоръ Алексѣичъ! Когда сидишь ты на конѣ съ саблей въ рукѣ, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показалъ ты сегодня, любо смотрѣть было. Брось же свой бабій обычай, остриги волосы, какъ Богъ велитъ, сходи на покаяніе въ Кіевъ, или въ Соловки, да и вернись на Москву христіаниномъ!

— Ну, не сердись, не сердись, Никита Романычъ! Сядь сюда, пообѣдай со мной! Вѣдь я не пёсъ же какой, есть и хуже меня; да и не все то правда, что̀ про меня говорятъ; не всякому слуху вѣрь. Я и самъ иногда съ досады на себя наклеплю!

Серебряный обрадовался, что можетъ объяснить поведеніе Басманова въ лучшую сторону.

— Такъ это неправда,—поспѣшилъ онъ спросить:—что ты въ лѣтникѣ плясалъ?

— Эхъ, дался тебѣ этотъ лѣтникъ! Развѣ я по своей охотѣ его надѣваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что̀ мнѣ, въ святые себя прочить, что ли? Ужъ я и такъ въ слободѣ пощусь ему въ угожденіе; ни одной заутрени не проспалъ; каждую середу и пятницу по сту земныхъ поклоновъ кладу; какъ еще лба не расшибъ! Кабы тебѣ пришлось по цѣлымъ недѣлямъ въ стихарѣ ходить, небось, и ты-бъ для перемѣны лѣтникъ надѣлъ!

— Скорѣй пошелъ бы на плаху!—сказалъ Серебряный.

— Ой ли?—произнесъ насмѣшливо Басмановъ и, бросивъ злобный взглядъ на князя, онъ продолжалъ съ видомъ довѣрчивости:—А ты думаешь, Никита Романычъ, мнѣ весело, что по царской милости меня ужъ не Ѳедоромъ, а Ѳедо̀рой величаютъ? И еще бы какая прибыль была мнѣ отъ этого! А то вся прибыль ему, а мнѣ—одинъ соромъ! Вотъ хоть намедни, ѣду вспольемъ мимо Дорогомиловской слободы, анъ мужичье-то пальцами на меня показываютъ, а кто-то еще закричи изъ толпы: «Эвотъ царская Ѳедо̀ра ѣдетъ!» Я было-напустился на нихъ, да разбѣжались. Прихожу къ царю, говорю:—такъ и такъ, не вели, говорю, дорогомиловцамъ холопа твоего корить; вотъ ужъ одинъ меня Ѳедо̀рой назвалъ. «А кто на-

звалъ?»—Да кабы зналъ, кто, не пришелъ бы докучать тебѣ,—самъ бы зарѣзалъ его. «Ну, говоритъ, возьми изъ моихъ кладовыхъ сорокъ соболей на душегрѣйку».—А на что она мнѣ! Небось, ты не надѣнешь душегрѣйки на Годунова, а чѣмъ я хуже его?—«Да что же тебѣ, Ѳедя, пожаловать?»—А пожалуй меня окольничимъ, чтобъ люди въ глаза не корили!—«Нѣтъ, говоритъ, окольничимъ тебѣ не бывать; ты мнѣ потѣшникъ, а Годуновъ совѣтникъ; тебѣ казна, а ему почетъ. А что дорогомиловцы тебя Ѳедо́рой назвали, такъ отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царскій обиходъ!» Вотъ тебѣ и потѣшникъ! Да съ тѣхъ поръ, какъ бросили Москву, и потѣхи-то не было. Все постились да Богу молились. Со скуки ужъ въ вотчину отпросился, да и тамъ надоѣло. Не вѣкъ же зайцевъ да перепеловъ травить! Поневолѣ обрадовался, какъ вѣсть про татаръ пришла. А вѣдь хорошо мы ихъ околотили, ей-Богу, хорошо! Довольно и полону пригонимъ къ Москвѣ! Да, я-было и забылъ про полонъ! Стрѣляешь ты изъ лука, князь?

— А что?

— Да такъ. Послѣ обѣда привяжемъ татарина шагахъ во ста: кто первый въ сердце попадетъ. А что не въ сердце, то не въ почетъ. Околѣетъ, другого привяжемъ.

Открытое лицо Серебрянаго омрачилось.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ:—я въ связанныхъ не стрѣляю.

— Ну, такъ велимъ ему бѣжать: кто первый на бѣгу свалитъ.

— И того не стану, да и тебѣ не дамъ! Здѣсь, слава Богу, не Александрова слобода!

— Не дашь?—вскричалъ Басмановъ, и глаза его снова загорѣлись, но, вѣроятно, не вошло въ его разсчетъ ссориться съ княземъ, и, внезапно перемѣнивъ пріемы, онъ сказалъ ему весело:—Эхъ, князь! Развѣ не видишь, я шучу съ тобой! И про лѣтникъ ты повѣрилъ! Вотъ ужъ полчаса я потѣшаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду принимаешь! Да мнѣ хуже, чѣмъ тебѣ, слободской обычай постылъ! Развѣ, ты думаешь, я лажу съ Грязнымъ, али съ Вяземскимъ, али съ Малютой? Вотъ-те Христосъ, они у меня какъ бѣльмо на глазу! Слушай, князь,—продолжалъ онъ вкрадчиво:—знаешь ли что? Дай мнѣ первому въ слободу вернуться, я тебѣ выпрошу прощеніе у царя, а какъ войдешь опять въ милость, тогда и ты сослужи мнѣ службу. Стоитъ только шепнуть царю сперва

про Вяземскаго, а тамъ про Малюту, а тамъ и про другихъ, такъ посмотри, коли мы съ тобой не останемся самъ-другъ у него въ приближеніи. А я уже знаю, что ему про кого сказать, да только лучше, чтобъ онъ со стороны услышалъ. Я тебя научу, какъ говорить, ты мнѣ спасибо скажешь!

Странно сдѣлалось Серебряному въ присутствіи Басманова. Храбрость этого человѣка и полувысказанное сожалѣніе о своей постыдной жизни располагали къ нему Никиту Романовича. Онъ даже готовъ былъ подумать, что Басмановъ въ самомъ дѣлѣ передъ этимъ шутилъ или съ досады клепалъ на себя, но послѣднее предложеніе его, сдѣланное, очевидно, не въ шутку, возбудило въ Серебряномъ прежнее отвращеніе.

— Ну,—сказалъ Басмановъ, нагло смотря ему въ глаза:—пополамъ, что ли, царскую милость? Что-жъ ты молчишь, князь? Аль не вѣришь мнѣ?

— Ѳедоръ Алексѣичъ,—сказалъ Серебряный, стараясь умѣрить свое негодованіе и быть повѣжливѣе къ угощавшему его хозяину:—Ѳедоръ Алексѣичъ, вѣдь то, что ты затѣялъ, оно... какъ бы тебѣ сказать? вѣдь это...

— Что?—спросилъ Басмановъ.

— Вѣдь это скаредное дѣло!—выговорилъ Серебряный и подумалъ, что, смягчивъ голосъ, онъ скрасилъ свое выраженіе.

— Скаредное дѣло!—повторилъ Басмановъ, перемогая злобу и скрывая ее подъ видомъ удивленія:—да ты забылъ, про кого я тебѣ говорю! Развѣ ты мыслишь къ Вяземскому или къ Малютѣ?

— Громъ Божій на нихъ и на всю опричнину!—сказалъ Серебряный.—Пусть только царь дастъ мнѣ говорить, я при нихъ открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а кольми паче съ твоихъ словъ, Ѳедоръ Алексѣичъ!

Ядовитый взглядъ блеснулъ изъ-подъ рѣсницъ Басманова.

— Такъ ты не хочешь, чтобъ я съ тобою царскою милостью подѣлился?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Серебряный.

Басмановъ повѣсилъ голову, схватился за нее обѣими руками и сталъ перекачиваться со стороны на сторону.

— Охъ, сирота, сирота я!—заговорилъ онъ нараспѣвъ, будто бы плача:—сирота я горькая, горемычная! Съ

тѣхъ поръ, какъ разлюбилъ меня царь, всякъ только и норовитъ, какъ бы обидѣть меня! Никто не приласкаетъ, никто не приголубитъ, всѣ такъ на меня и плюютъ! Ой, житье мое, житье нерадостное! Надоѣло ты мнѣ, собачье житье! Захлесну поясокъ за перекладину, продѣну въ петельку головушку безталанную!

Серебряный съ удивленіемъ смотрѣлъ на Басманова, который продолжалъ голосить и причитывать, какъ бабы на похоронахъ, и только иногда, украдкой, вскидывалъ исподлобья свой наглый взоръ на князя, какъ бы желая уловить его впечатлѣніе.

— Тьфу!—сказалъ наконецъ Серебряный и хотѣлъ было выйти, но Басмановъ опять поймалъ его за полу.

— Эй!—закричалъ онъ:—пѣсенниковъ!

Вошло нѣсколько человѣкъ, вѣроятно, ожидавшихъ снаружи. Они загородили выходъ Серебряному.

— Братцы,—началъ Басмановъ прежнимъ плаксивымъ голосомъ:—затяните-ка пѣсенку, да пожалобнѣе, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась да и разлучилась бы съ тѣломъ!

Пѣсенники затянули длинную заунывную пѣснь, въ родѣ похоронной, въ продолженіе которой Басмановъ все переваливался со стороны на сторону и приговаривалъ:

— Протяжнѣе, протяжнѣе! Еще протяжнѣе, други! Отпѣвайте своего боярина, отпѣвайте! Вотъ такъ! Вотъ хорошо! Да что-жъ душа не хочетъ изъ тѣла вонъ? Иль не насталъ еще часъ ея? Или написано мнѣ еще на свѣтѣ помаяться? А коли написано, такъ надо маяться! А коли сказано жить, такъ надо жить!.. Плясовую!—крикнулъ онъ вдругъ, безъ всякаго перехода, и пѣсенники, привыкшіе къ такимъ перемѣнамъ, грянули плясовую.

— Живѣй!—кричалъ Басмановъ и, схвативъ двѣ серебряныя стопы, началъ стучать ими одна о другую.—Живѣй, соколы! Живѣй, бѣсовы дѣти! Я васъ, разбойники!

Вся наружность Басманова измѣнилась. Ничего женоподобнаго не осталось на лицѣ его. Серебряный узналъ того удальца, который утромъ бросался въ самую сѣчу и гналъ передъ собою толпы татаръ.

— Вотъ этакъ-то получше!—проговорилъ князь, одобрительно кивнувъ головой.

Басмановъ весело на него взглянулъ.

— А вѣдь ты опять повѣрилъ мнѣ, князь! Ты подумалъ, я и вправду расхныкался! Эхъ, Никита Романычъ, легко-жъ тебя провести! Ну, выпьемъ же теперь про наше знакомство. Коли поживемъ вмѣстѣ, увидишь, что я не такой, какъ ты думалъ!

Безпечный разгулъ и бѣшеное веселье подѣйствовали на Серебрянаго. Онъ принялъ кубокъ изъ рукъ Басманова.

— Кто тебя разберетъ, Ѳедоръ Алексѣичъ! Я никогда такихъ не видывалъ. Можетъ, и вправду ты лучше, чѣмъ кажешься. Не знаю, что̀ про тебя и думать, но Богъ свелъ насъ на ратномъ полѣ, а потому: во здравіе твое!

И онъ осушилъ кубокъ до дна.

— Такъ, князь! Такъ, душа моя! Видитъ Богъ, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всѣхъ татаръ, что̀ остались на Руси.

Серебряный былъ крѣпокъ къ вину, но послѣ второй стопы мысли его стали путаться. Напитокъ ли былъ хмельнѣе обыкновеннаго, или подмѣшалъ туда чего-нибудь Басмановъ, но у князя голова заходила кругомъ; заходила кругомъ, и ничего не стало видно Никитѣ Романовичу; слышалась только бѣшеная пѣсня съ присвистомъ и топаніемъ, да голосъ Басманова:

— Живѣй, ребята! Во снѣ, что ли, поете? Кого хороните, воры!

Когда Серебряный пришелъ въ себя, пѣніе еще продолжалось, но онъ уже не стоялъ, а полусидѣлъ, полулежалъ на персидскихъ подушкахъ. Басмановъ старался съ помощью стремяннаго напялить на него женскій лѣтникъ.

— Надѣвай же свой опашень, бояринъ, — говорилъ онъ:—на дворѣ уже сырѣть начинаетъ!

Пѣсенники въ это время, окончивъ колѣно, переводили духъ.

Въ глазахъ Серебрянаго еще рябило, мысли его еще не совсѣмъ прояснились, и онъ готовъ былъ вздѣть лѣтникъ, принимая его за опашень, какъ среди наставшей тишины послышалось протяжное завыванье.

— Это что̀?—спросилъ гнѣвно Басмановъ.

— На Скуратова могилѣ пёсъ воетъ!—отвѣтилъ стремянный, выглянувъ изъ шатра.

— Подай сюда лукъ да стрѣлу! Я научу его выть, когда мы съ гостемъ веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

— Постой, Ѳедоръ Алексѣичъ, — сказалъ онъ, вставая:—это Максимовъ Буянъ; не тронь его. Онъ зоветъ меня на могилу моего названнаго брата; не въ мѣру я съ тобой загулялся; прости, пора мнѣ въ путь!

— Да надѣнь же сперва опашень, князь!

— Не на меня шитъ,—сказалъ Серебряный, распознавая лѣтникъ, который протягивалъ ему Басмановъ:—носи его самъ, какъ доселѣ нашивалъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ плюнулъ и вышелъ изъ шатра.

За нимъ посыпались проклятія, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на нихъ вниманія, онъ подошелъ къ могилѣ Максима, положилъ поклонъ своему названному брату и, сопровождаемый Буяномъ, присоединился къ разбойникамъ, которые, подъ начальствомъ Перстня, уже расположились на отдыхъ вокругъ пылающихъ костровъ.

ГЛАВА XXVIII.

Разставаніе.

Едва занялась заря, какъ уже Перстень поднялъ шайку.

— Ребятушки!—сказалъ онъ разбойникамъ, когда они собрались вокругъ него и Серебрянаго.—Насталъ мнѣ часъ разстаться съ вами. Простите, ребятушки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихомъ, коли я въ чемъ согрубилъ передъ вами.

И Перстень поклонился въ поясъ разбойникамъ.

— Атаманъ!—заговорила въ одинъ голосъ вольница:—не оставляй насъ! Куда мы пойдемъ безъ тебя?

— Идите съ княземъ, ребятушки. Вы вашимъ вчерашнимъ дѣломъ заслужили вины свои; можете опять учиниться, чѣмъ прежде были; а князь не оставитъ васъ!

— Добрые молодцы, — сказалъ Серебряный: — я далъ царю слово, что не буду уходить отъ суда его. Вы знаете, что я изъ тюрьмы не по своей волѣ ушелъ. Теперь долженъ я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите-ль идти со мною?

— А проститъ ли онъ насъ?—спросили разбойники.

— Это въ Божьей волѣ; не хочу васъ обманывать. Можетъ, проститъ, а можетъ, и нѣтъ. Подумайте, потолкуйте межъ собою да и скажите мнѣ, кто идетъ и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли въ сторону и начали вполголоса совѣтоваться. Черезъ нѣсколько времени они вернулись къ Серебряному.

— Идемъ съ тобой, коли атаманъ идетъ!

— Нѣтъ, ребятушки,—сказалъ Перстень:—меня не просите. Коли вы и не пойдете съ княземъ, все-жъ намъ дорога не одна. Довольно я погулялъ здѣсь, пора на родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную веревку какъ ни вяжи, все узелъ будетъ. Идите съ княземъ, ребятушки, или выберите себѣ другого атамана, а лучше послушайтесь моего совѣта: идите съ княземъ; не вѣрится мнѣ послѣ нашего дѣла, чтобы царь и его и васъ не простилъ.

Разбойники опять потолковали и, послѣ краткаго совѣщанія, раздѣлилась на двѣ части. Бо̀льшая подошла къ Серебряному.

— Веди насъ!—сказали они:—пустъ будетъ съ нами, что̀ и съ тобой!..

— А другіе-то что-жъ?—спросилъ Серебряный.

— Другіе выбрали въ атаманы Хлопка,—мы съ нимъ не хотимъ!

— Тамъ всѣ, что̀ похуже, остались,—шепнулъ Перстень князю:—они и дрались-то вчера не такъ, какъ эти!

— А ты,—сказалъ Серебряный:—ни за что не пойдешь со мною?

— Нѣтъ, князь, я не то, что̀ другіе. Меня царь не проститъ: не таковы мои винности. Да, признаться, и соскучился по Ермакѣ Тимоѳеичѣ; вотъ ужъ который годъ не видалъ его. Прости, князь, не поминай лихомъ!

Серебряный сжалъ руку Перстня и обнялъ его крѣпко.

— Прости, атаманъ,—сказалъ онъ:—жаль мнѣ тебя, жаль, что идешь на Волгу; не такимъ бы тебѣ дѣломъ заниматься.

— Кто знаетъ, князь,—отвѣтилъ Перстень, и отважный взоръ его принялъ странное выраженіе:—Богъ не безъ милости, авось и не всегда буду тѣмъ, что̀ теперь!

Разбойники стали приготовляться къ походу.

Когда взошло солнце, на берегу рѣчки уже не было видно ни шатра ни людей Басманова. Ѳедоръ Алексѣевичъ поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю извѣстіе объ одержанной побѣдѣ.

Прощаясь съ товарищами, Перстень увидѣлъ возлѣ себя Митьку.

— Прости-жъ и ты, губошлёпъ!—сказалъ онъ весело:—послужилъ ты вчера царю за четверыхъ, не оставитъ онъ тебя своей милостью!

Но Митька, какъ бы въ недоумѣніи, почесалъ затылокъ.

— Ну, что?—спросилъ Перстень.

— Ничаво!—отвѣчалъ лѣниво Митька, почесывая одной рукой затылокъ, другою поясницу.

— Ну, ничего такъ ничего!—И Перстень уже было-отошелъ, какъ Митька, собравшись съ духомъ, сказалъ протяжно:

— Атаманъ, а, атаманъ!

— Что?

— Я въ слободу не хочу!

— Куда же ты хочешь?

— А съ тобой!

— Нельзя со мной; я на Волгу иду.

— Ну и я на Волгу!

— Зачѣмъ же не съ княземъ?

Митька подвинулъ одну ногу впередъ и уставился, какъ бы въ замѣшательствѣ, на свой лапоть.

— Опричниковъ, что ли, боишься?—спросилъ насмѣшливо Перстень.

Митька сталъ почесывать то затылокъ, то бока, то поясницу, но не отвѣчалъ ничего.

— Мало ты ихъ видѣлъ?—продолжалъ Перстень:—съѣли они тебя, что ли?

— Нявѣсту взяли!—проговорилъ нехотя Митька.

Перстень засмѣялся.

— Вишь, злопамятный! Не хочетъ съ ними хлѣба-соли вести! Ну, примкнись къ Хлопку.

— Не хочу!—сказалъ рѣшительно Митька:—хочу съ тобой на Волгу!

— Да я не прямо на Волгу!

— Ну и я не прямо!

— Куда-жъ ты?

— А куда ты, туда и я!

— Эхъ, присталъ какъ банный листъ! Такъ знай же, что мнѣ сперва надо въ слободѣ побывать!

— Зачѣмъ?—спросилъ Митька и выпучилъ глаза на атамана.

— Зачѣмъ! Зачѣмъ!—повторилъ Перстень, начиная терять терпѣніе:—затѣмъ, что я тамъ прошлаго года орѣхи грызъ, скорлупу забылъ!

Митька посмотрѣлъ-было на него съ удивленіемъ, но тотчасъ же усмѣхнулся и растянулъ ротъ до самыхъ ушей, а отъ глазъ пустилъ по вискамъ лучеобразныя морщины и придалъ лицу своему самое хитрое выраженіе, какъ бы желая сказать: меня, братъ, надутъ не такъ-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь въ слободу не за орѣховою скорлупою, а за чѣмъ-нибудь другимъ!

Однако онъ этого не сказалъ а только повторилъ, усмѣхаясь:

— Ну и я съ тобой!

— Что̀ съ нимъ будешь дѣлать!—сказалъ Перстень, пожимая плечами.—Видно, ужъ не отвязаться отъ него; такъ и быть, иди со мной, дурень, только послѣ не пеняй на меня, коли тебя повѣсятъ!

— А хоча и повѣсятъ!—отвѣчалъ Митька равнодушно.

— Ладно, парень. Вотъ за это люблю! Прощайся же скорѣй съ товарищами да и въ путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось; но онъ тотчасъ же началъ неуклюже подходить къ товарищамъ и каждаго, хотѣвшаго и не хотѣвшаго, чмокнулъ по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухвативъ за голову.

— Атаманъ,—сказалъ Серебряный:—стало, мы съ тобой по одной дорогѣ?

— Нѣтъ, бояринъ. Гдѣ я пройду, тамъ тебѣ не проѣхать. Я въ слободѣ буду прежде тебя, и если бы мы встрѣтились, ты меня не узнавай; а, впрочемъ, мы и не встрѣтимся: я до твоего пріѣзда уйду; надо только кое-какія дѣла покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто въ окрестностяхъ слободы, и не настаивалъ.

Вскорѣ два отряда потянулись по двумъ разнымъ направленіямъ.

Бо̀льшій шелъ за Серебрянымъ вдоль рѣчки по зеленому лугу, еще покрытому слѣдами вчерашней битвы, и за нимъ, повѣся голову и хвостъ, тащился Буянъ. Онъ часто подбѣгалъ къ Серебряному, жалобно повизгивалъ и потомъ оборачивался на свѣжій могильный холмъ, пока наконецъ не скрыли его изъ виду высокіе камыши.

Другой меньшій отрядъ пошелъ за Хлопко.

Перстень удалился въ третью сторону, а за нимъ, не

спѣша и переваливаясь съ боку на бокъ, послѣдовалъ Митька.

Опустѣла широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, какъ будто бранный гулъ и не возмущалъ ея наканунѣ. Только кое-гдѣ паслись разбѣжавшіеся татарскіе кони, да валялись по пожарищу разбросанные доспѣхи. Вдоль цвѣтущаго берега рѣчки жаворонки попрежнему звенѣли въ небесной синевѣ, лыски перекликались въ густыхъ камышахъ, а мелкія птички перепархивали, чирикая, съ тростника на тростникъ, или, заливаясь пѣснями, садились на пернатыя стрѣлы, вонзившіяся въ землю во время битвы и торчавшія теперь на зеленомъ лугу, межъ болотныхъ цвѣтовъ, какъ будто бы и онѣ были цвѣты и росли тамъ ужъ Богъ знаетъ сколько времени.

ГЛАВА XXIX.

Очная ставка.

Съ недѣлю послѣ пораженія татаръ царь принималъ въ своей опочивальнѣ Басманова, только-что прибывшаго изъ Рязани. Царь зналъ уже о подробностяхъ битвы, но Басмановъ думалъ, что объявитъ о ней первый. Онъ надѣялся приписать себѣ одному всю честь побѣды и разсчитывалъ на дѣйствіе своего разсказа, чтобы войти у царя въ прежнюю милость.

Иванъ Васильевичъ слушалъ его со вниманіемъ, перебирая четки и опустивъ взоръ на алмазное кольцо, которымъ былъ украшенъ указательный перстъ его; но, когда Басмановъ, окончивъ разсказъ и тряхнувъ руками, сказалъ съ самодовольнымъ видомъ:

— Что-жъ, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Іоаннъ поднялъ глаза и усмѣхнулся.

— Не пожалѣли себя,—продолжалъ вкрадчиво Басмановъ:—такъ ужъ и ты, государь, не пожалѣй наградить слугу твоего!

— А чего бы тебѣ хотѣлось, Ѳедя?—спросилъ Іоаннъ, принимая видъ добродушія.

— Да пожалуй меня хоть окольничимъ, чтобы люди-то не корили.

Іоаннъ посмотрѣлъ на него пристально.

— А чѣмъ мнѣ Серебрянаго пожаловать?—спросилъ онъ неожиданно.

— Опальника-то твоего?—сказалъ Басмановъ, скрывая

свое смущеніе подъ свойственнымъ ему безстыдствомъ:—да чѣмъ же, коли не висѣлицей? Вѣдь онъ ушелъ изъ тюрьмы, да со своими станичниками чуть дѣла не испортилъ. Кабы не переполошилъ онъ татаръ, мы бы ихъ всѣхъ какъ перепеловъ накрыли.

— Полно, такъ ли? А я такъ думаю, что татары тебя въ торока ввязали-бъ, какъ въ тотъ разъ, помнишь? Вѣдь тебѣ ужъ не впервой, дѣло знакомое!

— Знакомое дѣло за тебя горе терпѣть,—продолжалъ Басмановъ дерзко:—а вотъ это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось, тебѣ и Годуновъ, и Малюта, и Вяземскій не по-моему служатъ, а наградъ ты для нихъ не жалѣешь.

— И подлинно, не по-твоему. Гдѣ имъ плясать супротивъ тебя!

— Надёжа-государь,—отвѣтилъ Басмановъ, теряя терпѣніе:—коли нелюбъ я тебѣ, отпусти меня совсѣмъ!

Басмановъ надѣялся, что Іоаннъ удержитъ его; но отсутствіе изъ слободы, вмѣсто того, чтобы оживить къ нему любовь Іоанна, охладило ее еще болѣе; онъ успѣлъ отъ него отвыкнуть, а другіе любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомѣріемъ Басманова, воспользовались этимъ временемъ, чтобы отвратить отъ него сердце Іоанна.

Разсчетъ Басманова оказался невѣренъ. Замѣтно было, что царь забавляется его досадой.

— Такъ и быть, — сказалъ онъ съ притворною горестью:—хоть и тошно мнѣ будетъ безъ тебя, сиротѣ одинокому, и дѣла-то государскія, пожалуй, замутятся, да ужъ нечего дѣлать, промаюсь какъ-нибудь моимъ слабымъ разумомъ. Ступай себѣ, Ѳедя, на всѣ четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басмановъ не могъ долѣе скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношеніями къ Іоанну, онъ далъ ей полную волю.

— Спасибо тебѣ, государь,—сказалъ онъ:—спасибо за твою хлѣбъ-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, какъ негоднаго пса! Буду, — прибавилъ онъ неосторожно:—буду хвалиться на Руси твоей лаской! Пусть же другіе послужатъ тебѣ, какъ служила Ѳедора! Много грѣховъ взялъ я на душу на службѣ твоей, одного грѣха не взялъ—колдовства не взялъ на душу!

Иванъ Васильевичъ продолжалъ усмѣхаться, но при послѣднихъ словахъ выраженіе его измѣнилось.

— Колдовства?—спросилъ онъ съ удивленіемъ, готовымъ обратиться въ гнѣвъ:—да кто-жъ здѣсь колдуетъ?

— А хоть бы твой Вяземскій!—отвѣчалъ Басмановъ, не опуская очей передъ царскимъ взоромъ.—Да,—продолжалъ онъ, не смущаясь грознымъ выраженіемъ Іоанна:—тебѣ, видно, одному невѣдомо, что когда онъ бываетъ на Москвѣ, то по ночамъ ѣздитъ въ лѣсъ, на мельницу, колдовать; а зачѣмъ ему колдовать, коли не для того, чтобъ извести твою царскую милость!

— Да тебѣ-то отчего оно вѣдомо?—спросилъ царь, пронзая Басманова испытующимъ окомъ.

На этотъ разъ Басмановъ нѣсколько струсилъ.

— Вѣдь я, государь, вчера только услышалъ отъ его же холопей,—сказалъ онъ поспѣшно:—кабы услышалъ прежде, такъ тогда и доложилъ бы твоей милости.

Царь задумался.

— Ступай,—сказалъ онъ послѣ краткаго молчанія:—я это дѣло разберу; а изъ слободы погоди уѣзжать до моего приказа.

Басмановъ ушелъ, довольный, что успѣлъ заронить въ мнительномъ сердцѣ царя подозрѣніе на одного изъ своихъ соперниковъ, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскорѣ царь вышелъ изъ опочивальни въ пріемную палату, сѣлъ на кресло и, окруженный опричниками, сталъ выслушивать поочередно земскихъ бояръ, пріѣхавшихъ отъ Москвы и отъ другихъ городовъ съ докладами. Отдавъ каждому приказанія, поговоривъ со многими обстоятельно о нуждахъ государства, о сношеніяхъ съ иностранными державами и о мѣрахъ къ предупрежденію дальнѣйшаго вторженія татаръ, Іоаннъ спросилъ, нѣтъ ли еще кого просящаго пріема?

— Бояринъ Дружина Андреевичъ Морозовъ,—отвѣчалъ одинъ стольникъ:—бьетъ челомъ твоей царской милости, проситъ, чтобы допустилъ ты его предъ твои свѣтлыя очи.

— Морозовъ?—сказалъ Іоаннъ:—да развѣ онъ не сгорѣлъ на пожарѣ? Живучъ старый пёсъ! Что-жъ? Я снялъ съ него опалу, пусть войдетъ!

Стольникъ вышелъ. Вскорѣ толпа царедворцевъ раздвинулась, и Дружина Андреевичъ, поддерживаемый двумя знакомцами, подошелъ къ царю и опустился передъ нимъ на колѣни.

Вниманіе всѣхъ обратилось на стараго боярина.

Лицо его было блѣдно, дородства много поубавилось, на лбу виденъ былъ шрамъ, нанесенный саблею Вяземскаго; но впалыя очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутыхъ бровяхъ лежалъ попрежнему отпечатокъ непреклоннаго упрямства.

Вопреки обычаю двора, одежда его была с м и р н а я.

Іоаннъ смотрѣлъ на Морозова, не говоря ни слова. Кто умѣлъ читать въ царскомъ взорѣ, тотъ прочелъ бы въ немъ теперь скрытую ненависть и удовольствіе видѣть врага своего униженнымъ; но поверхностному наблюдателю выраженіе Іоанна могло показаться благосклоннымъ.

— Дружина Андреевичъ,—сказалъ онъ важно, но ласково:—я снялъ съ тебя опалу; зачѣмъ ты въ смирной одеждѣ?

— Государь,—отвѣчалъ Морозовъ, продолжая стоять на колѣняхъ:—непригоже тому рядиться въ парчу, у кого домъ сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь,—продолжалъ онъ твердымъ голосомъ:—бью тебѣ челомъ въ обидѣ моей на оружничаго твоего Аѳоньку Вяземскаго!

— Встань,—сказалъ царь:—и разскажи дѣло по̀-ряду. Коли кто изъ моихъ обидѣлъ тебя, не спущу я ему, будь онъ хотя самый близкій ко мнѣ человѣкъ.

— Государь,—продолжалъ Морозовъ, не вставая:—вели позвать Аѳоньку. Пусть при мнѣ дастъ отвѣтъ твоей милости!

— Что-жъ, — сказалъ царь, какъ бы немного подумавъ:—просьба твоя дѣльная. Отвѣтчикъ долженъ вѣдать, что̀ говоритъ истецъ. Позвать Вяземскаго. А вы,—продолжалъ онъ, обращаясь къ знакомцамъ, отошедшимъ на почтительное разстояніе:—подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождетъ отвѣтчика.

Со времени нападенія на домъ Морозова прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ. Вяземскій успѣлъ оправиться отъ ранъ. Онъ жилъ попрежнему въ слободѣ, но, не вѣдая ничего объ участи Елены, которую ни одинъ изъ его разсыльныхъ не могъ отыскать, онъ былъ еще пасмурнѣе, чѣмъ прежде, рѣдко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовалъ въ пирахъ, и многимъ казалось, что въ пріемахъ его есть признаки помѣшательства. Іоанну не нравилось удаленіе его отъ общихъ молитвъ и общаго веселья; но онъ, зная о неудачномъ похищеніи боярыни,

приписывалъ поведеніе Вяземскаго мученіямъ любви и былъ къ нему снисходителенъ. Лишь послѣ разговора съ Басмановымъ поведеніе это стало казаться ему неяснымъ. Жалоба Морозова представляла удобный случай вывѣдать многое черезъ очную ставку, и вотъ почему онъ принялъ Морозова лучше, чѣмъ ожидали царедворцы.

Вскорѣ явился Вяземскій. Наружность его также значительно измѣнилась. Онъ какъ будто постарѣлъ нѣсколькими годами, черты лица сдѣлались рѣзче, и жизнь, казалось, сосредоточилась въ огненныхъ и безпокойныхъ глазахъ его.

— Подойди сюда, Аѳоня,—сказалъ царь.—Подойди и ты, Дружина. Говори, въ чемъ твое челобитье. Говори прямо, разсказывай все, какъ было.

Дружина Андреевичъ приблизился къ царю. Стоя рядомъ съ Вяземскимъ, но не удостоивая его взгляда, онъ подробно изложилъ всѣ обстоятельства нападенія.

— Такъ ли было дѣло?—спросилъ царь, обратясь къ Вяземскому.

— Такъ! — сказалъ Вяземскій, удивленный вопросомъ Іоанна, которому давно все было извѣстно.

Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

— Какъ отчаялся ты на это?—сказалъ онъ, устремивъ на Вяземскаго строгій взоръ:—развѣ я дозволяю разбойничать моимъ опричникамъ?

— Ты знаешь, государь,—отвѣтилъ Вяземскій, еще болѣе удивленный:—что домъ разграбленъ не по моему указу; а что я увезъ боярыню, на то было у меня твое дозволеніе!

— Мое дозволеніе?—произнесъ царь, медленно выговаривая каждое слово.—Когда я дозволялъ тебѣ?

Тутъ Вяземскій замѣтилъ, что напрасно хотѣлъ опереться на намекъ Ивана Васильевича, сдѣланный ему иносказательно во время пира,—намекъ, вслѣдствіе котораго онъ почелъ себя въ правѣ увезти Елену силою. Не отгадывая еще цѣли, съ какою царь отказывался отъ своихъ поощреній, онъ понялъ однако, что надобно измѣнить образъ своей защиты. Не изъ трусости и не для сохраненія своей жизни, которая, при перемѣнчивомъ нравѣ царя, могла быть въ опасности, рѣшился Вяземскій оправдаться. Онъ не потерялъ еще надежды добыть Елену, и всѣ средства казались ему годными.

— Государь,—сказалъ онъ:—я виноватъ передъ тобой:

ты не дозволялъ мнѣ увезти боярыню. Вотъ какъ было дѣло. Послалъ ты меня къ Москвѣ, снять опалу съ боярина Морозова, а онъ, ты знаешь, издавна держитъ на меня вражду за то, что еще до свадьбы спознался я съ женою его. Какъ прибылъ я къ нему въ домъ, онъ и порѣшилъ вмѣстѣ съ Никитой Серебрянымъ извести меня. Послѣ стола они съ холопями напали на насъ предательскимъ обычаемъ; мы же дали отпоръ, а боярыня-то Морозова, вѣдая мужнину злобу, побоялась остаться у него въ домѣ и упросила меня взять ее съ собою. Уѣхала она отъ него вольною волею, а когда я въ лѣсу обезпамятовалъ отъ ранъ, такъ и досель не знаю, куда она дѣвалась. Должно-быть, нашелъ ее бояринъ и держитъ гдѣ-нибудь взаперти, а можетъ-быть, и со свѣту сжилъ ее! Не ему,—продолжалъ Вяземскій, бросивъ ревнивый взоръ на Морозова:—не ему искать на мнѣ безчестія. Я самъ, государь, бью челомъ твоей милости на Морозова, что напалъ онъ на меня въ домѣ своемъ вмѣстѣ съ Никитой Серебрянымъ!

Царь не ожидалъ такого оборота. Клевета Вяземскаго была очевидна, но въ разсчетъ Іоанна не вошло ее обнаружить. Морозовъ въ первый разъ взглянулъ на врага своего.

— Лжешь ты, окаянный пёсъ!—сказалъ онъ, окидывая его презрительно съ ногъ до головы:—каждое твое слово есть негодная ложь; а я въ своей правдѣ готовъ крестъ цѣловать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мнѣ жену мою, съ которою повѣнчанъ я по закону христіанскому!

Іоаннъ посмотрѣлъ на Вяземскаго.

— Что скажешь ты на это?—спросилъ онъ, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

— Я уже говорилъ тебѣ, государь, что увезъ боярыню по ея же упросу; а когда я на дорогѣ истекъ кровью, холопи мои нашли меня въ лѣсу, безъ памяти. Не было при мнѣ ни коня моего ни боярыни; перенесли меня на мельницу, къ знахарю; онъ-то и зашепталъ кровь. Болѣ ничего не знаю.

Вяземскій не думалъ, что, упоминая о мельницѣ, онъ усилитъ въ Іоаннѣ зародившееся подозрѣніе и придастъ вѣроятіе наговору Басманова; но Іоаннъ не показалъ вида, что обращаетъ вниманіе на это обстоятельство, а только записалъ его въ памяти, чтобы воспользоваться имъ при

случаѣ; до поры же до времени затаилъ свои мысли подъ личиною безпристрастія.

— Ты слышалъ?—сказалъ онъ Вяземскому:—бояринъ Дружина готовъ въ своихъ рѣчахъ крестъ цѣловать! Какъ очистишься передъ нимъ?

— Боярinъ воленъ говорить,—отвѣчалъ Вяземскій, рѣшившійся, во что бы ни стало, вести свою защиту до конца:—онъ воленъ клепать на меня, а я ищу на немъ моего увѣчья и самъ буду въ правдѣ моей крестъ цѣловать.

По собранію пробѣжалъ ропотъ. Всѣ опричники знали, какъ совершилось нападеніе, и сколь ни закоренѣли они въ злодѣйствѣ, но не всякій изъ нихъ рѣшился бы присягнуть ложно.

Самъ Іоаннъ изумился дерзости Вяземскаго; но въ тотъ же мигъ онъ понялъ, что можетъ черезъ нее погубить ненавистнаго Морозова и сохранить притомъ видъ строгаго правосудія.

— Братія!—сказалъ онъ, обращаясь къ собранію:—свидѣтельствуюсь вами, что я хотѣлъ узнать истину. Не въ обычаѣ моемъ судить, не услышавъ оправданія. Но въ одномъ и томъ же дѣлѣ двѣ стороны не могутъ крестъ цѣловать. Одинъ изъ противниковъ солживитъ свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящій овцы моя, никого не хочу допустить до погубленія души. Пусть Морозовъ и Вяземскій судятся судомъ Божіимъ. Отъ сего числа черезъ десять дѣнъ назначаю имъ поле, здѣсь въ слободѣ, на Красной площади. Пусть явятся съ своими стряпчими и поручниками. Кому Богъ дастъ одолѣніе, тотъ будетъ чистъ и передо мною, а кто не вынесетъ боя, тотъ хотя бы и живъ остался, тутъ же пріиметъ казнь отъ рукъ палача!

Рѣшеніе Іоанна произвело въ собраніи сильное впечатлѣніе. Въ мнѣніи многихъ оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарѣлый боярinъ устоялъ противъ молодого и сильнаго Вяземскаго. Всѣ ожидали, что онъ откажется отъ поединка или, по крайней мѣрѣ, попроситъ позволенія поставить вмѣсто себя наемнаго бойца. Но Морозовъ поклонился царю и сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Государь, пусть будетъ по-твоему! Я старъ и хворъ, давно не надѣвалъ служилой брони; но въ Божьемъ судѣ не сила беретъ, а правое дѣло! Уповаю на помощь Го-

спода, что не оставитъ Онъ меня въ правомъ дѣлѣ моемъ:— покажетъ предъ твоею милостью и предъ всѣми людьми неправду врага моего!

Услыша царскій приговоръ, Вяземскій было-обрадовался, и очи его уже запылали надеждой; но увѣренность Морозова немного смутила его. Онъ вспомнилъ, что, по общепринятому понятію, въ судномъ поединкѣ Богъ неминуемо даруетъ побѣду правой сторонѣ, и невольно усомнился въ своемъ успѣхѣ.

Однако, подавивъ минутное смущеніе, онъ также поклонился царю и произнесъ:

— Да будетъ по-твоему, государь!

— Ступайте,—сказалъ Іоаннъ:—ищите себѣ поручниковъ, а черезъ десять дѣнъ, съ восходомъ солнца, будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержитъ боя!

Бросивъ на обоихъ глубокій, необъяснимый взоръ, царь всталъ и удалился во внутренніе покои, а Морозовъ вышелъ изъ палаты, полный достоинства, въ сопровожденіи своихъ знакомцевъ, не глядя на окружающихъ его опричниковъ.

ГЛАВА XXX.

Заговоръ на желѣзо.

На слѣдующій день Вяземскій уѣхалъ къ Москвѣ.

Во всякое другое время, готовясь къ поединку, онъ положился бы на свою силу и ловкость; но дѣло шло объ Еленѣ. Поединокъ былъ не простой; исходъ его зависѣлъ отъ суда Божія, а князь зналъ свою неправость, и сколь ни показался бы ему Морозовъ презрителенъ въ обыкновенной схваткѣ, но въ настоящемъ случаѣ онъ опасался небеснаго гнѣва, страшился, что во время боя у него онѣмѣютъ или отнимутся руки. Опасеніе это было тѣмъ сильнѣе, что недавно зажившія раны еще причиняли ему боль, и что по временамъ онъ чувствовалъ слабость и изнеможеніе. Князь не хотѣлъ ничѣмъ пренебрегать, чтобы упрочить за собою побѣду, и рѣшился обратиться къ знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сдѣлать черезъ колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волненій, ѣхалъ онъ по лѣсу шагомъ, наклоняясь время отъ времени на сѣдлѣ и разбирая тропинки, заросшія папоротникомъ. Послѣ многихъ по-

воротовъ, попалъ онъ на болѣе торную дорогу, осмотрѣлся, узналъ на деревьяхъ замѣты и пустилъ коня рысью. Вскорѣ послышался шумъ колеса. Подъѣзжая къ мельницѣ, князь вмѣстѣ съ шумомъ сталъ различать человѣческій говоръ. Онъ остановился, слѣзъ съ сѣдла и, привязавъ коня въ орѣшникѣ, подошелъ къ мельницѣ пѣшкомъ. У самаго сруба стоялъ чей-то конь въ богатой сбруѣ. Мельникъ разговаривалъ съ стройнымъ человѣкомъ, но Вяземскій не могъ видѣть лица его, потому что незнакомецъ повернулся къ нему спиною, готовясь сѣсть въ сѣдло.

— Будешь доволенъ, бояринъ,—говорилъ ему мельникъ, утвердительно кивая головою: — будешь доволенъ, батюшка! Войдешь опять въ царскую милость, и чтобы громъ меня тутъ же прихлопнулъ, коли не пропадетъ и Вяземскій и всѣ твои вороги! Будь спокоенъ, ужъ противу тирлича-травы ни одинъ не устоитъ!

— Добро,—отвѣчалъ посѣтитель, влѣзая на коня.—А ты, старый чортъ, помни нашъ уговоръ: коли не будетъ мнѣ удачи, повѣшу тебя какъ собаку!

Голосъ показался Вяземскому знакомъ, но колесо шумѣло такъ сильно, что онъ остался въ недоумѣніи, кто именно былъ говорившій.

— Какъ не быть удачѣ, какъ не быть, батюшка,—продолжалъ мельникъ, низко кланяясь:—только не сымай съ себя тирлича-то; а когда будешь съ царемъ говорить, гляди ему прямо и весело въ очи; смѣло гляди ему въ очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, какъ прежде говаривалъ, такъ будь я анаѳема, коли опять въ честь не войдешь!

Всадникъ повернулъ коня и, не замѣчая Вяземскаго, проѣхалъ мимо него рысью.

Князь узналъ Басманова, и ревнивое воображеніе его закипѣло. Занятый одною мыслью объ Еленѣ, онъ не обратилъ вниманія на рѣчи мельника, но, услышавъ свое имя, подумалъ, что видитъ въ Басмановѣ новаго неожиданнаго соперника.

Мельникъ между тѣмъ, проводивъ глазами Басманова, присѣлъ на завалинку и принялся считать золотыя деньги. Онъ весело ухмылялся, перекладывая ихъ съ ладони на ладонь, какъ вдругъ почувствовалъ на плечѣ своемъ тяжелую руку.

Старикъ вздрогнулъ, вскочилъ на ноги и чуть не обмеръ

отъ страха, когда глаза его встрѣтились съ черными глазами Вяземскаго.

— О чемъ ты, колдунъ, съ Басмановымъ толковалъ?—спросилъ Вяземскій.

— Ба... ба... батюшка!—произнесъ мельникъ, чувствуя, что ноги подъ нимъ подкашиваются:—батюшка, князь Аѳанасій Ивановичъ, какъ изволишь здравствовать?

—Говори!—закричалъ Вяземскій, схвативъ мельника за горло и таща его къ колесу:—говори, что̀ вы про меня толковали?

И онъ перегнулъ старика намъ самымъ шумомъ.

— Родимый!—простоналъ мельникъ:—все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяніе!

— Зачѣмъ пріѣзжалъ къ тебѣ Басмановъ?

— За корнемъ, батюшка, за корнемъ! А я вѣдь зналъ, что ты тутъ, я зналъ, что ты все слышишь, батюшка; затѣмъ-то я и говорилъ погромче, чтобы вѣдомо тебѣ было, что Басмановъ хочетъ погубить твою милость!

Вяземскій отшвырнулъ мельника отъ става.

Старикъ понялъ, что миновалъ первый порывъ его гнѣва.

— Какой же ты, родимый, сердитый!—сказалъ онъ, поднимаясь на ноги.—Говорю тебѣ, я зналъ, что твоя милость близко; я съ утра еще ожидалъ тебя, батюшка!

— Ну, что̀ же хочетъ Басмановъ?—спросилъ князь смягченнымъ голосомъ.

Мельникъ между тѣмъ успѣлъ совершенно оправиться.

— Да, вишь ты,—сказалъ онъ, придавая лицу своему довѣрчивое выраженіе:—говоритъ Басмановъ, что царь разлюбилъ его, что тебя, молъ, больше любитъ, и что тебѣ, да Годунову Борису Ѳедорычу, да Малютѣ Скурлатову только и идетъ отъ него ласка. Ну и присталъ ко мнѣ, чтобы далъ ему тирлича. Дай, говоритъ, тирлича, чтобы мнѣ въ царскую милость войти, а ихъ чтобы разлюбилъ царь и опалу чтобы на нихъ положилъ! Что̀ ты будешь съ нимъ дѣлать! Присталъ съ ножомъ къ горлу, вынь да положь; не спорить мнѣ съ нимъ! Ну, и далъ я ему корешокъ, да и корешокъ-то, батюшка, дрянной. Такъ завалящій корешишка далъ ему, чтобы только жива оставилъ. Стану я ему тирлича давать, чтобы супротивъ тебя его царь полюбилъ!..

— Чортъ съ нимъ!—сказалъ равнодушно Вяземскій:—

какое мнѣ дѣло, любитъ ли царь его, или нѣтъ? Не затѣмъ я сюда пріѣхалъ. Узналъ ли ты что, старикъ, про боярыню?

— Нѣтъ, родимый, ничего не узналъ. Я и гонцамъ твоимъ говорилъ, что нельзя узнать. А ужъ какъ старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядѣлъ подъ колесо. Вижу, ѣдетъ боярыня по лѣсу, самъ-другъ со старымъ человѣкомъ; сама такая печальная, а старъ человѣкъ ее утѣшаетъ, а болѣ ничего и не видно; вода замутится, и ничего болѣ не видно!

— Со старымъ человѣкомъ? Стало-быть, съ Морозовымъ? Съ мужемъ своимъ?

— Нѣтъ, не должно быть: Морозовъ будетъ подороднѣе, да и одёжа-то его другая. На этомъ простой кафтанъ, не боярскій; должно-быть, простой человѣкъ.

Вяземскій задумался.

— Старикъ!—сказалъ онъ вдругъ:—умѣешь ты сабли заговаривать?

— Какъ не умѣть, умѣю. Да тебѣ на что, батюшка? Чтобы рубила сабля, али чтобъ тупилась отъ удара?

— Вѣстимо, чтобы рубила, лѣшій!

— А то, бываетъ, заговариваютъ вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

— Мнѣ не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду биться на полѣ, такъ надо мнѣ, во что бы то ни стало, супротивника убить—слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу! Какъ не слышать!—И старикъ началъ про себя думать: «Съ кѣмъ же это онъ будетъ биться? Кто его враги? Ужъ не съ Басмановымъ ли? Наврядъ ли! Онъ сейчасъ о немъ отзывался презрительно, а князь не такой человѣкъ, чтобъ умѣлъ скрывать свои мысли. Развѣ съ Серебрянымъ? Но мельникъ зналъ черезъ Михеича, что Серебряный вкинутъ въ тюрьму, а отъ посланныхъ Вяземскаго да и отъ нѣкоторыхъ товарищей Перстня слышалъ, что станичники освободили Никиту Романыча и увели съ собой, стало-быть—не съ Серебрянымъ. Остается одинъ боринъ Морозовъ. Онъ за похищеніе жены могъ вызвать Вяземскаго. Правда, онъ больно старъ, да и въ судномъ поединкѣ дозволяется поставить вмѣсто себя другого бойца. Стало-быть,—разсчелъ мельникъ:—князь будетъ биться или съ Морозовымъ, или съ наймитомъ его».

— Дозволь, батюшка,—сказалъ онъ:—воды зачерпнуть, твоего супостата посмотрѣть!

— Дѣлай, какъ знаешь,—возразилъ Вяземскій и сѣлъ въ раздумьѣ на сваленный пень.

Мельникъ вынесъ изъ коморы бадью, опустилъ ее подъ самое колесо и, зачерпнувъ воды, поставилъ возлѣ князя.

— Эхъ, эхъ,—сказалъ онъ, нагнувшись надъ бадьей и глядя въ нее пристально:—видится мнѣ твой супротивникъ, батюшка, только въ толкъ не возьму! Больно онъ старъ. А вотъ и тебя вижу, батюшка, какъ ты сходишься съ нимъ...

— Что-жъ?—спросилъ Вяземскій, тщетно стараясь увидѣть что-нибудь въ бадьѣ.

— Ангелы стоятъ за старика,—продолжалъ мельникъ таинственно и какъ бы самъ удивленный тѣмъ, что онъ видитъ:—небесныя силы стоятъ за него; трудно будетъ заговорить твою саблю!

— А за меня никто не стоитъ?—спросилъ князь съ невольною дрожью.

Мельникъ смотрѣлъ все пристальнѣе, глаза его сдѣлались совершенно неподвижны; казалось, онъ, начавъ морочить Вяземскаго, былъ пораженъ дѣйствительнымъ видѣніемъ, и ему представилось что-то страшное.

— И у твоей милости,—сказалъ онъ шопотомъ:—есть защитники... А вотъ теперь ужъ ничего ни вижу, вода потемнѣла.

Онъ поднялъ голову, и Вяземскій замѣтилъ, что крупный потъ катился со лба его.

— Есть и у тебя защитники, батюшка, — прошепталъ онъ боязливо.—Можно будетъ заговорить твое оружіе.

— Нà,—сказалъ князь, вынимая изъ ноженъ тяжелую саблю:—нà, заговаривай!

Мельникъ перевелъ духъ, разгребъ руками яму и вложилъ въ нее рукоять сабли. Затоптавъ землю, онъ утвердилъ лезвеё остріемъ вверхъ и началъ ходить кругомъ, причитывая вполголоса:

«Выкатило солнышко изъ-за моря Хвалынскаго, восходитъ мѣсяцъ надъ градомъ каменнымъ, а въ томъ градѣ каменномъ породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитятко, цѣлъ-невредимъ: отъ стрѣлъ и мечей, отъ борцовъ и борцовъ. Опоясывала меня матушка мечомъ-кладенцомъ. Ты, мой мечъ-кладенецъ, вертись и крутись, ты вертись и крутись, какъ у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь и укладь, и желѣзо, и мѣдь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а

вражьи удары чтобы прядали отъ тебя какъ камни отъ воды, и чтобы не было тебѣ отъ нихъ ни царапины ни зазубрины! Заговариваю раба Аѳанасья, опоясываю мечомъ-кладенцомъ. Чуръ слову конецъ, моему дѣлу вѣнецъ!»

Онъ вытащилъ саблю и подалъ ее князю, отряхнувъ съ рукояти землю и бережно обтеревъ ее полою.

— Возьми, батюшка, князь Аѳанасій Иванычъ. Будетъ она тебѣ служить, лишь бы супротивникъ твой свою саблю въ святую воду не окунулъ!

— А если окунетъ?

— Что-жъ дѣлать, батюшка! Противъ святой воды наговорное желѣзо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дамъ я тебѣ голубца болотнаго, и ты его въ мѣшечкѣ на шею повѣсь, такъ у ворога своего глаза отведешь.

— Подавай голубецъ!—сказалъ Вяземскій.

— Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалѣю.

Старикъ сходилъ опять въ комору и принесъ князю что-то зашитое въ тряпицѣ.

— Дорого оно мнѣ досталось,—сказалъ онъ, какъ бы жалѣя выпустить изъ рукъ тряпицу:—трудно его добывать. Какъ полѣзешь за нимъ не въ урочный часъ въ болото, такіе на тебя нападутъ страхи, что Господи упаси!

Князь взялъ зашитый предметъ и бросилъ мельнику мошну съ золотыми.

— Награди Господь твою княжескую милость!—сказалъ старикъ, низко кланяясь.—Только, батюшка, дозволь еще словцо тебѣ молвить: теперь уже до поединка-то въ церковь не ходи, обѣдни не слушай; не то, чего добраго, и наговоръ-то мой съ лезвея соскочитъ.

Вяземскій ничего не отвѣчалъ и направился-было къ мѣсту, гдѣ привязалъ коня, но вдругъ остановился.

— А можешь ты,—сказалъ онъ:—навѣрно узнать, кто изъ насъ живъ останется?

Мельникъ замялся.

— Да, должно-быть, ты, батюшка! Какъ тебѣ живу не остаться! Я тебѣ и прежде говаривалъ: не отъ меча твоей милости смерть написана!

— Посмотри еще разъ въ бадью!

— Что-жъ еще смотрѣть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то ужъ помутилась.

— Зачерпни свѣжей воды!—сказалъ Вяземскій повелительно.

Мельникъ повиновался нѣхотя.

— Ну, что̀ тамъ видно?—спросилъ князь нетерпѣливо.

Старикъ съ примѣтнымъ отвращеніемъ нагнулся надъ бадьею.

— Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего!—сказалъ онъ, блѣднѣя:—видна площадь, народу полна; много̀ головъ на кольяхъ торчитъ; а въ сторонѣ костеръ догораетъ и человѣческія кости къ столбу прикованы!

— Чьи головы на кольяхъ торчатъ?—спросилъ Вяземскій, пересиливая невольный страхъ.

— Не вижу, батюшка, все опять помутилось; одинъ костеръ еще свѣтится, да кости чьи-то висятъ у столба!

Мельникъ съ усиліемъ поднялъ голову и, казалось, съ трудомъ отвелъ взоръ отъ бадьи. Его дергали судороги, потъ катился съ лица его, онъ, стоная и охая, дотащился до завалины и упалъ на нее въ изнеможеніи.

Вяземскій отыскалъ своего коня, сѣлъ въ сѣдло и, полный раздумья, поѣхалъ къ Москвѣ.

ГЛАВА XXXI.

Божій судъ.

Въ отсутствіе Вяземскаго Малютѣ было поручено важное дѣло. Царь приказалъ ему захватить ближайшихъ слугъ князя Аѳанасія Ивановича и пытать ихъ на̀крѣпко, ѣздилъ ли господинъ ихъ на мельницу колдовать, и сколько разъ онъ былъ на мельницѣ, и что̀ именно замышляетъ противу его государскаго здравія?

Бо̀льшая часть слугъ не созналась ни въ чемъ, но нѣкоторые не выдержали пытки и показали все то, что̀ Малюта вложилъ имъ въ уста. Показали они, что князь ѣздилъ на мельницу съ тѣмъ, чтобы испортить государя; что онъ вымалъ царскіе слѣды и жегъ ихъ на огнѣ; а нѣкоторые показали даже, что Вяземскій мыслитъ ко князю Владиміру Андреевичу и хочетъ посадить его на царскій престолъ. Сколь ни были нелѣпы эти показанія, они тщательно · записывались дьяками со словъ истязаемыхъ и прочитывались царю. Вѣрилъ ли имъ Иванъ Васильевичъ или нѣтъ,—Богъ вѣсть! Но онъ строго приказалъ Малютѣ, по возвращеніи Вяземскаго, скрыть отъ него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что

взяты-де они по подозрѣнію въ воровствѣ изъ царскихъ кладовыхъ.

Въ показаніяхъ ихъ однако было много противорѣчій, и Іоаннъ послалъ за Басмановымъ, чтобы заставить его повторить все, что онъ, по доносу своему, слышалъ отъ холопей Вяземскаго.

Басманова не нашли въ слободѣ. Онъ наканунѣ уѣхалъ къ Москвѣ, и царь опалился, что осмѣлился онъ отлучиться вопреки его приказанію. Малюта воспользовался этимъ, чтобы взвести подозрѣніе на самого Басманова.

— Кто знаетъ, государь,—сказалъ Скуратовъ:—зачѣмъ онъ ослушался твоей милости? Быть-можетъ, онъ заодно съ Вяземскимъ и только для виду донесъ на него, чтобы вѣрнѣе погубить тебя!

Царь велѣлъ Малютѣ пока молчать обо всемъ и, когда воротится Басмановъ, не показывать ему вида, что его отсутствіе было замѣчено.

Между тѣмъ насталъ день, назначенный для суднаго поединка. Еще до восхода солнца народъ столпился на Красной площади; всѣ окна были заняты зрителями, всѣ крыши ими усыпаны. Вѣсть о предстоящемъ боѣ давно разнеслась по окрестностямъ. Знаменитыя имена сторонъ привлекли толпы изъ разныхъ селъ и городовъ, и даже отъ самой Москвы пріѣхали люди всѣхъ сословій посмотрѣть, кому Господь даруетъ одолѣніе въ этомъ дѣлѣ.

— Ну-ка, братъ,—говорилъ одинъ щегольски одѣтый гусляръ своему товарищу, дюжему молодому парню, съ добродушнымъ, но глуповатымъ лицомъ:—ступай впередъ, авось тебѣ удастся продраться до цѣпи. Эхъ, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и намъ, владимірцамъ, на судъ Божій посмотрѣть!

Но увѣщанія его оставались безуспѣшны. Толпа была такъ густа, что и при добромъ желаніи не было бы возможности посторониться.

— Да ступай же, тюлень ты этакой!—повторилъ гусляръ, толкая товарища въ спину:—аль не сумѣешь продраться?

— А для-ча!—отвѣчалъ вялымъ голосомъ дѣтина.

И, выставивъ впередъ дюжее плечо свое, онъ принялся раздвигать толпу словно желѣзнымъ клиномъ. Раздались крики и ругательства; но оба товарища подвигались впередъ, не обращая на нихъ вниманія.

— Правѣй, правѣй!—говорилъ старшій:—чего сталъ

влѣво забирать, дурень? Сверни туда, гдѣ колья торчатъ!

Мѣсто, на которое указывалъ гусляръ, было приготовлено для самого царя. Оно состояло изъ дощатаго помоста, покрытаго червленымъ сукномъ. На немъ были поставлены царскія кресла, а торчавшія тамъ копья и рогатины принадлежали опричникамъ, окружавшимъ помостъ. Другіе опричники стояли у цѣпи, протянутой вокругъ поля, то-есть просторнаго мѣста, приготовленнаго для коннаго или пѣшаго боя, смотря по уговору бойцовъ. Они отгоняли народъ бердышами и не давали ему напирать на цѣпь.

Подвигаясь впередъ шагъ за шагомъ, гусляръ и дюжій парень добрались наконецъ до самаго поля.

— Куда лѣзете!—закричалъ одинъ опричникъ, замахнувшись на нихъ бердышомъ.

Парень разинулъ ротъ и въ недоумѣніи обернулся на своего товарища, но тотъ снялъ обѣими руками свой пояркový грешневикъ, обвитый золотою лентой съ павлиньимъ перомъ, и, кланяясь разъ за разомъ въ поясъ, сказалъ опричнику:

— Дозвольте, господа честные, владимірскимъ гусляramъ судъ Божій посмотрѣть! Отъ самаго отъ города Володиміра пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво-заискивающею улыбкой онъ выказывалъ изъ-подъ черной бороды свои бѣлые зубы.

— Ну, такъ и быть!—сказалъ опричникъ:—назадъ ужъ не пролѣзете; стойте здѣсь; только чуръ—впередъ не подаваться, башку раскрою!

Внутри оцѣпленнаго мѣста расхаживали поручники и стряпчіе обѣихъ сторонъ. Тутъ же стояли бояринъ и окольничій, приставленные къ полю, и два дьяка, которымъ вмѣстѣ съ ними надлежало наблюдать за порядкомъ боя. Одинъ изъ дьяковъ держалъ развернутый судебникъ Владиміра Гусева, изданный еще при великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ III, и толковалъ съ товарищемъ своимъ о предвидѣнныхъ случаяхъ поединка.

— «А досудятся до поля, — читалъ онъ, указывая пальцемъ на одно мѣсто въ судебникѣ:—а у поля, не стоявъ, помирятся...»—какъ дьяка прервали восклицанія толпы:

— Царь ѣдетъ! Царь ѣдетъ!—говорили всѣ, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множествомъ опричниковъ, Иванъ Васильевичъ подъѣхалъ верхомъ къ мѣсту поединка, слѣзъ

съ коня, взошелъ по ступенямъ помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла съ видомъ человѣка, готовящагося смотрѣть на занимательное зрѣлище.

Позади и около него размѣстились, стоя, царедворцы.

Въ то же время на всѣхъ слободскихъ церквахъ зазвонили колокола, и съ двухъ противоположныхъ концовъ въѣхали во внутренность цѣпи Вяземскій и Морозовъ, оба въ боевыхъ нарядахъ. На Морозовѣ былъ дощатый доспѣхъ, то-есть стальные бахтерцы изъ наборныхъ бляхъ, наведенныхъ черезъ рядъ серебромъ. Нàручи, рукавицы и понòжи блестѣли серебряными разводами. Голову покрывалъ высокій шишакъ съ серебромъ и чернью, а изъподъ вѣнца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрѣпленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висѣлъ на узорномъ поясѣ, застегнутомъ крюкомъ, широкій прямой тесакъ, котораго крыжъ, ножновыя обоймицы и наконечникъ были также серебряные. Къ правой сторонѣ сѣдла привѣшенъ былъ, концомъ внизъ, золоченый шестоперъ — оружіе и знакъ достоинства, въ былые годы неразлучный съ боярином въ его славныхъ битвахъ, но нынѣ, по тяжести своей, врядъ ли кому по рукѣ.

Подъ Морозовымъ былъ грудастый черно-пѣгій конь съ подпалинами. Его покрывалъ бархатный малиновый чалдаръ, весь въ серебряныхъ бляхахъ. Отъ кованаго налобника падали по сторонамъ малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а изъ-подъ шеи до самой груди висѣла такая же кисть, больше и гуще первыхъ, называвшаяся наузомъ. Узда и поводья состояли изъ серебряныхъ цѣпей съ плоскими вырѣзными звеньями неравной величины.

Мѣрно шелъ конь, поднимая косматыя ноги въ серебряныхъ наколѣнникахъ, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевичъ остановилъ его саженяхъ въ пяти отъ своего противника, онъ сталъ трясти густою волнистою гривою, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпѣливо рыть песокъ сильнымъ копытомъ, выказывая при каждомъ ударѣ блестящіе шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь былъ подобранъ подъ стать дороднаго всадника, и даже бѣлый цвѣтъ его гривы согласовался съ сѣдою бородой боярина.

Вооруженіе Вяземскаго было гораздо легче. Еще страдая отъ недавнихъ ранъ, онъ не захотѣлъ надѣть ни

зерцала ни бахтерцовъ, хотя они и считались самою надежною броней, но предпочелъ имъ легкую кольчугу. Ея ожерелье, подолъ и зарукавья горѣли дорогими каменьями. Вмѣсто шишака, на князѣ была ерихонка, то-есть низкій, изящно выгнутый шлемъ, имѣвшій на вѣнцѣ и ушахъ золотую насѣчку, а на тульѣ высокій снопъ изъ дрожащихъ золотыхъ проволокъ, густо усыпанныхъ во всю длину ихъ яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвѣсно желѣзная золоченая стрѣла, предохранявшая лицо отъ поперечныхъ ударовъ; но Вяземскій, изъ удальства, не спустилъ стрѣлы, а, напротивъ, поднялъ ее, посредствомъ щурепца, до высоты яхонтоваго снопа, такъ что блѣдное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрѣла походила на золотое перо, щегольски воткнутое въ полку ерихонки. На поясѣ, плотно стянутомъ пряжкой поверхъ кольчуги и украшенномъ разными привѣсками, звенцами и бряцальцами, висѣла кривая сабля, вся въ дорогихъ каменьяхъ, та самая, которую заговорилъ мельникъ и на которую теперь твердо надѣялся Вяземскій. У бархатнаго сѣдла, фіолетоваго цвѣта, съ горощатыми серебряными гвоздями и съ такими же коваными скобами, прикрѣпленъ былъ булатный топорокъ съ фіолетовымъ бархатнымъ черенкомъ въ золотыхъ пояскахъ. Изъ-подъ нарядnаго подола кольчуги виднѣлась бѣлая шелковая рубаха съ золотымъ шитьемъ, падавшая на зарбасные штаны, жаркаго цвѣта, всунутые въ зеленые сафьяные сапоги, которыхъ узорныя голенища, не покрытыя понòжами, натянуты были до колѣнъ и перехватывались подъ сгибомъ и у щиколокъ жемчужною тесьмою.

Конь Аѳанасія Ивановича, золотисто-буланый аргамакъ, былъ весь увѣшанъ, отъ головы до хвоста, гремячими цѣпями изъ дутыхъ серебряныхъ бубенчиковъ. Вмѣсто чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На воронепомъ налобникѣ горѣли въ золотыхъ гнѣздахъ крупные яхонты. Сухія черныя ноги горскаго скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой изъ нихъ, подъ бабкой, звенѣло по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржаніе аргамака. Теперь, поднявъ голову, раздувъ огненныя ноздри и держа черный хвостъ на-отлетѣ, онъ сперва легкою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстрѣчу коню Морозова; но когда князь, не съѣзжаясь съ противникомъ,

натянулъ гремучіе поводья, аргамакъ прыгнулъ въ сторону и перескочилъ бы черезъ цѣпь, если бы сѣдокъ ловкимъ поворотомъ не заставилъ его вернуться на прежнее мѣсто. Тогда онъ взвился на дыбы и, крутясь на заднихъ ногахъ, норовилъ опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на луку, отпустилъ ему поводья и вонзилъ въ бока его острыя кизилбашскія стремена. Аргамакъ сдѣлалъ скачокъ и остановился какъ вкопанный. Ни одинъ волосъ его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонамъ, и по золотистой шерсти разбѣгались надутыя жилы узорною сѣткой.

При появленіи Вяземскаго, когда онъ въѣхалъ, гремя и блестя и словно обрызганный золотымъ и алмазнымъ дождемъ, владимірскій гусляръ не могъ удержаться отъ восторга; но удивленіе его относилось еще болѣе къ коню, чѣмъ къ всаднику.

— Эхъ, конь!—говорилъ онъ, топая ногами и хватаясь въ восхищеніи за голову:—экой конь, подумаешь! И не видывалъ такого коня! Вѣдь всякіе перебывали, а, небось, такого Богъ не послалъ! «Что бы,—прибавилъ онъ про себя:—что было въ ту пору этому сѣдоку, какъ онъ есть, на Поганую-Лужу выѣхать!»

— Слышь ты,—продолжалъ онъ весело, толкая локтемъ товарища:—слышь ты, дурень: который конь тебѣ болѣ по-сердцу?

— А тотъ!—отвѣчалъ парень, указывая пальцемъ на морозовскаго коня.

— Тотъ? А зачѣмъ же тотъ?

— А затѣмъ, что поплотняе!—отвѣтилъ парень лѣниво.

Гусляръ залился смѣхомъ, но въ это время раздался голосъ бирючей:

— Православные люди!—кричали они въ разные концы площади:—зачинается судный бой промежъ оружничаго царскаго, князя Аѳанасія Иваныча Вяземскаго, и боярина Дружины Андреича Морозова. Тягаются они въ безчестіи своемъ, въ бою и увѣчьѣ, и въ увозѣ боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь Пресвятой Троицѣ, дабы даровала она одолѣніе правой сторонѣ!

Площадь затихла. Всѣ зрители стали креститься, а бояринъ, приставленный вѣдать поединокъ, подошелъ къ царю и проговорилъ съ низкимъ поклономъ:

— Прикажешь ли, государь, зачинаться полю?

— Зачинайте!—сказалъ Іоаннъ.

Бояринъ, окольничій, поручники, стряпчіе и оба дьяка отошли въ сторону.

Бояринъ подалъ знакъ.

Противники вынули оружіе.

По другому знаку надлежало имъ скакать другъ на друга, но, къ изумленію всѣхъ, Вяземскій закачался на сѣдлѣ и выпустилъ изъ рукъ поводья. Онъ свалился бы на землю, если бы поручникъ и стряпчій не подбѣжали и не помогли ему сойти съ коня. Подоспѣвшіе конюхи успѣли схватить аргамака подъ уздцы.

— Возьмите его! — сказалъ Вяземскій, озираясь померкшими очами:—я буду биться пѣшой!

Видя, что князь сошелъ съ коня, Морозовъ также слѣзъ съ своего черно-пѣгаго и отдалъ его конюхамъ.

Стряпчій Морозова подалъ ему большой кожаный щитъ съ мѣдными бляхами, приготовленный на случай пѣшаго боя.

Стряпчій Вяземскаго поднесъ ему также щитъ, вороненый, съ золотою насѣчкой и золотою бахромой.

Но Аѳанасій Ивановичъ не имѣлъ силы вздѣть его на руку. Ноги подъ нимъ подкосились, и онъ упалъ бы вторично, если бы его не подхватили.

— Что съ тобой, князь?—сказали въ одинъ голосъ стряпчій и поручникъ, съ удивленіемъ глядя ему въ очи:—оправься, князь! У поля не стоять—все равно, что побиту быть!

— Сымите съ меня бронь!—проговорилъ Вяземскій, задыхаясь:—сымите бронь! Корень душитъ меня!

Онъ сбросилъ съ себя ерихонку, разорвалъ ожерелье кольчуги и сдернулъ съ шеи гайтанъ, на которымъ висѣла шелковая ладанка съ болотнымъ голубцомъ.

— Анаѳема тебѣ, колдунъ!—вскричалъ онъ, бросая гайтанъ далеко отъ себя:—анаѳема, что обманулъ меня!

Дружина Андреевичъ подошелъ къ Вяземскому съ голымъ тесакомъ.

— Сдавайся, пёсъ!—сказалъ онъ, замахнувшись:—сознайся въ своемъ окаянствѣ!

Поручники и стряпчіе бросились между князя и Морозова.

— Нѣтъ!—сказалъ Вяземскій, и отуманенный взоръ его вспыхнулъ прежнею злобою:—рано мнѣ сдаваться! Ты, старый воронъ, испортилъ меня! Ты свой тесакъ въ святую воду окунулъ! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидимъ, чья будетъ правда!

Между стряпчими обѣихъ сторонъ зачался споръ. Одинъ утверждалъ, что судъ оконченъ въ пользу Морозова; другой—что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь между тѣмъ замѣтилъ движеніе Вяземскаго и велѣлъ подать себѣ брошенную имъ ладанку. Осмотрѣвъ ее съ любопытствомъ и недовѣрчивостью, онъ подозвалъ Малюту.

— Схорони это,—шепнулъ онъ:—пока не спрошу! А теперь,—произнесъ онъ громко:—подвести ко мнѣ Вяземскаго!

— Что̀, Аѳоня?—сказалъ онъ, усмѣхаясь двусмысленно, когда подошелъ къ нему Вяземскій:—видно, Морозовъ тебѣ не подъ силу?

— Государь,—отвѣтилъ князь, котораго лицо было покрыто смертельною блѣдностью:—ворогъ мой испортилъ меня! Да къ тому-жъ я съ тѣхъ поръ, какъ оправился, ни разу брони не надѣвалъ. Раны мои открылись; видишь, какъ кровь изъ-подъ кольчуги бѣжитъ! Дозволь, государь, бирючъ крикнуть, охотника вызвать, чтобы замѣсто меня у поля сталъ!

Домогательство Вяземскаго было противно правиламъ. Кто не хотѣлъ биться самъ, долженъ былъ объявить о томъ заранѣе. Вышедши разъ на поединокъ, нельзя было поставить вмѣсто себя другого. Но царь имѣлъ въ виду погибель Морозова и согласился.

— Вели кричать бирючъ,—сказалъ онъ:—авось кто поудалѣе тебя найдется! А не выйдетъ никто, Морозовъ будетъ чистъ, а тебя отдадутъ палачамъ!

Вяземскаго отвели подъ руки, и вскорѣ, по приказанію его, глашатаи стали ходить вдоль цѣпи и кричать громкимъ голосомъ:

— Кто хочетъ изъ слободскихъ, или московскихъ, или иныхъ людей выйти на боярина Морозова? Кто хочетъ биться за князя Вяземскаго? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземскаго!

Но площадь оставалась безмолвна, и ни одинъ охотникъ не являлся.

— Выходите, охотники, добрые бойцы!—кричали бирючи:—выходите! Кто побьетъ Морозова, тому князь всѣ свои вотчины отдастъ, а буде побьетъ простой человѣкъ, тому князь пожалуетъ всю казну, какая есть у него!

Никто не откликался; всѣ знали, что дѣло Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою къ Дружинѣ

Андреевичу, уже готовился объявить его правымъ, какъ вдругъ послышались крики:

— Идетъ охотникъ! Идетъ!—И внутри оцѣпленнаго мѣста явился Матвѣй Хомякъ.

— Гой-да!—сказалъ онъ, свистнувъ саблею по воздуху.—Подходи, бояринъ, я за Вяземскаго!

При видѣ Хомяка, Морозовъ, дожидавшійся доселѣ съ голымъ тесакомъ, обратился съ негодованіемъ къ приставамъ поединка.

— Не стану биться съ наймитомъ!—произнесъ онъ гордо.—Невмѣстно боярину Морозову мѣряться со стремяннымъ Гришки Скуратова.

И, опустивъ тесакъ въ ножны, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ царь.

— Государь,—сказалъ онъ:—ты дозволилъ ворогу моему поставить бойца вмѣсто себя, дозволь же и мнѣ найти наймита противъ наймита,—не то вели оставить поле до другого раза.

Какъ ни желалъ Иванъ Васильевичъ погубить Морозова, но просьба его была слишкомъ справедлива. Царю не захотѣлось въ Божьемъ судѣ прослыть пристрастнымъ.

— Кричи бирючъ!—сказалъ онъ гнѣвно:—а если не найдешь охотника, бейся самъ или сознайся въ своей кривдѣ и ступай на плаху!

Между тѣмъ Хомякъ прохаживался вдоль цѣпи, махая саблей и посмѣиваясь надъ зрителями.

— Вишь,—говорилъ онъ:—много васъ, вороновъ, собралось, а нѣтъ ни одного яснаго сокола промежъ васъ. Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потѣшить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи лежа, бока отлежали!

— Ахъ ты, чортъ!—проговорилъ вполголоса гусляръ:—ужъ я-бъ тебѣ далъ, кабы была при мнѣ моя сабля! Смотри!—продолжалъ онъ, толкая подъ бокъ товарища:—узнаёшь ты его?

Но парень не слышалъ вопроса. Онъ разинулъ ротъ и, казалось, впился глазами въ Хомяка.

— Что-жъ,—продолжалъ Хомякъ:—видно, нѣтъ между вами охотниковъ? Эй, вы, аршинники, калашники, пряхи, ткачихи! Кто хочетъ со мной помѣряться?

— А я!—раздался неожиданно голосъ парня, и, ухватясь обѣими руками за цѣпь, онъ перекинулъ ее черезъ

голову и чуть не вырвалъ дубовыхъ кольевъ, къ которымъ она была придѣлана.

Онъ очутился внутри ограды и, казалось, самъ былъ удивленъ своею смѣлостью.

Выпучивъ глаза и разиня ротъ, онъ смотрѣлъ то на Хомяка, то на опричниковъ, то на самого царя, но не говорилъ ни слова.

— Кто ты?—спросилъ его ооярин, приставленный къ полю.

— Я-то?—сказалъ онъ и, подумавъ немного, усмѣхнулся.

— Кто ты?—повторилъ бояринъ.

— А Митька!—отвѣтилъ онъ добродушно и какъ бы удивляясь вопросу.

— Спасибо тебѣ, молодецъ! — сказалъ Морозовъ парню:—спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолѣешь ворога моего, не пожалѣю для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря Божьей милости, есть еще чѣмъ бойца моего наградить!

Хомякъ видѣлъ Митьку на Поганой-Лужѣ, гдѣ парень убилъ подъ нимъ коня ударомъ дубины и, думая навалиться на всадника, притиснулъ подъ собою своего же товарища. Но въ общей свалкѣ Хомякъ не разглядѣлъ его лица, да, впрочемъ, въ Митькиной наружности и не было ничего примѣчательнаго. Хомякъ не узналъ его.

— Чѣмъ хочешь ты драться?—спросилъ приставленный къ полю бояринъ, глядя съ любопытствомъ на парня, у котораго не было ни брони ни оружія.

— Чѣмъ драться?—повторилъ Митька и обернулся назадъ, отыскивая глазами гусляра, чтобы съ нимъ посовѣтоваться.

Но гусляръ, видно, отошелъ на другое мѣсто, и сколько ни глядѣлъ Митька, онъ не могъ найти его.

— Что-жъ, — сказалъ бояринъ: — бери себѣ саблю да бронь, становись къ полю!

Митька сталъ озираться въ замѣшательствѣ.

Царю показались пріемы его забавными.

— Дать ему оружіе!—сказалъ онъ.—Посмотримъ, какъ онъ умѣетъ биться!

Митькѣ подали полное вооруженіе; но онъ, сколько ни старался, никакъ не могъ пролѣзть въ рукава кольчуги, а шлемъ былъ такъ малъ для головы его, что держался на одной макушкѣ.

Въ этомъ нарядѣ Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налѣво, все еще надѣясь найти гусляра и спросить его, что̀ ему дѣлать.

Глядя на него, царь началъ громко смѣяться. Примѣру его послѣдовали сперва опричники, а потомъ и всѣ зрители.

— Чаво вы горла дярете-то?—сказалъ Митька съ неудовольствіемъ:—я и безъ вашего колпака и безъ желѣзной рубахи-то на энтова пойду!

Онъ указалъ пальцемъ на Хомяка и началъ стаскивать съ себя кольчугу.

Раздался новый хохотъ.

— Съ чѣмъ же ты пойдешь?—спросилъ бояринъ.

Митька почесалъ затылокъ.

— А нѣтъ у васъ дубины?—спросилъ онъ протяжно, обращаясь къ опричникамъ.

— Да что̀ это за дурень!—вскричали они:—откуда онъ взялся? Кто его втолкнулъ сюда?.. Или ты, болванъ, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иванъ Васильевичъ забавлялся наружностью Митьки и не позволилъ прогнать его.

— Дать ему ослопъ!—сказалъ онъ:—пусть бьется, какъ знаетъ!

Хомякъ обидѣлся.

— Государь, не вели мужику на холопа твоего порухи класть!—воскликнулъ онъ.—Я твоей царской милости честно въ опричникахъ служу и съ роду еще на ослопахъ не бился!

Но царь былъ въ веселомъ расположеніи духа.

— Ты бейся саблей,—сказалъ онъ:—а парень пусть бьется по-своему... Дать ему ослопъ. Посмотримъ, какъ мужикъ за Морозова постоитъ!

Принесли нѣсколько дубинъ.

Митька взялъ медленно въ руки одну за другой, осмотрѣлъ каждую и, перебравъ всѣ дубины, повернулся прямо къ царю.

— А нѣтъ ли покрѣпчае?—произнесъ онъ вялымъ голосомъ, глядя вопросительно въ очи Ивану Васильевичу.

— Принести ему оглоблю!—сказалъ царь, заранѣе потѣшаясь ожидающимъ его зрѣлищемъ.

Вскорѣ въ самомъ дѣлѣ явилась въ рукахъ Митьки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули на̀-смѣхъ изъ стоявшаго на базарѣ воза.

— Что̀, эта годится?—спросилъ царь.

— А для-ча!—отвѣчалъ Митька:—пожалуй, годится.

И, схвативъ оглоблю за одинъ конецъ, онъ для пробы махнулъ ею по воздуху такъ сильно, что вѣтеръ пронесся кругомъ и пыль закружилась какъ отъ налетѣвшаго вихря.

— Вишь, чортъ!—промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился къ Хомяку.

— Становись!—сказалъ онъ повелительно и прибавилъ съ усмѣшкой:—Погляжу я, какъ ты увернешься отъ мужицкаго ослопа!

Митька между тѣмъ, засучивъ рукава, плюнувъ въ обѣ руки и сжавши ими оглоблю, потряхивалъ ею, глядя на Хомяка. Застѣнчивость его исчезла.

— Ну, ты! становись, што ли!—произнесъ онъ съ рѣшимостью.—Я-те научу нявѣстъ красть!

Положеніе Хомяка, въ виду непривычнаго оружія и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а зрители, очевидно, принимали сторону парня и уже начинали посмѣиваться надъ Хомякомъ.

Замѣшательство стремяннаго веселило царя. Онъ уже смотрѣлъ на предстоящій бой съ тѣмъ самымъ любопытствомъ, какое возбуждали въ немъ представленія скомороховъ или медвѣжья травля.

— Зачинайте бой!—сказалъ онъ, видя, что Хомякъ колеблется.

Тогда Митька поднялъ надъ головою оглоблю и началъ кружить ее, подступая къ Хомяку скокомъ.

Тщетно Хомякъ старался улучить мгновеніе, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспѣшно сторониться или увертываться отъ оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и дѣлала его недосягаемымъ.

Къ великой радости зрителей и къ немалой потѣхѣ царя, Хомякъ сталъ отступать, думая только о своемъ спасеніи; но Митька съ медвѣжьею ловкостью продолжалъ къ нему подскакивать, и оглобля, какъ буря, гудѣла надъ его головою.

— Я-те научу нявѣстъ красть!—говорилъ онъ, входя постепенно въ ярость и стараясь задѣть Хомяка по головѣ, по ногамъ и по чемъ ни попало.

Участіе зрителей къ Митькѣ проявлялось одобрительными восклицаніями и наконецъ дошло до восторга.

— Такъ! Такъ!—кричалъ народъ, забывая присутствіе царя:—хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дѣло!

Но Митька думалъ не о Морозовѣ.

— Я-те научу нявѣстъ красть! — приговаривалъ онъ, кружа надъ собою оглоблю и преслѣдуя Хомяка, который увивался отъ него во всѣ стороны.

Нѣсколько разъ опричникамъ, стоявшимъ вдоль цѣпи, пришлось присѣсть къ землѣ, чтобъ избѣгнуть неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась надъ ихъ головами.

Вдругъ раздался глухой ударъ, и Хомякъ, пораженный въ бокъ, отлетѣлъ на нѣсколько саженъ и грянулся о-земь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостнымъ крикомъ.

Митька тотчасъ навалился на Хомяка и сталъ душить его.

— Полно! Полно!—закричали опричники, а Малюта поспѣшно нагнулся къ Ивану Васильевичу и сказалъ ему съ озабоченнымъ видомъ:

— Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомякъ у насъ лучшій человѣкъ во всей опричнинѣ.

— Тащить дурака за ноги!—закричалъ царь:—окатить его водой, только, чуръ—жива оставить!

Съ трудомъ удалось опричникамъ оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертваго, и когда вниманіе всѣхъ обратилось на посинѣвшее лицо его, рядомъ съ Митькой очутился владимірскій гусляръ и, дернувъ его за полу, сказалъ ему шопотомъ:

— Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!

И оба исчезли въ толпѣ народа.

ГЛАВА XXXII.

Ладанка Вяземскаго.

Иванъ Васильевичъ велѣлъ подозвать Морозова.

Площадь снова затихла. Всѣ въ ожиданіи устремили взоры на царя и притаили дыханіе.

— Бояринъ Дружина!—сказалъ торжественно Іоаннъ, вставая съ своего мѣста:—ты Божьимъ судомъ очистился предо мною. Господь Богъ, чрезъ одолѣніе врага твоего, показалъ твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уѣзжай изъ слободы до моего приказа. Но это,—про-

должалъ мрачно Іоаннъ:—только половина дѣла. Еще самый судъ впереди. Привести сюда Вяземскаго.

Когда явился князь Аѳанасій Ивановичъ, царь долго глядѣлъ на него невыразимымъ взглядомъ.

— Аѳоня,—сказалъ онъ наконецъ:—тебѣ вѣдомо, что я твердо держусь моего слова. Я положилъ, что тотъ изъ васъ, кто самъ собой, или черезъ бойца своего, не устоитъ у поля, смерти преданъ будетъ. Боецъ твой не устоялъ, Аѳоня!

— Что-жъ,—отвѣтилъ Вяземскій съ рѣшимостью:—вели мнѣ голову рубить, государь!

Странная улыбка прозмѣилась по устамъ Іоанна.

— Только голову рубить?—произнесъ онъ злобно.—Или ты думаешь, тебѣ только голову срубятъ? Такъ было бы, пожалуй, когда-бъ ты одному Морозову отвѣтъ держалъ, но на тебѣ еще другая кривда и другое окаянство... Малюта, подай сюда его ладанку!

И, принявъ изъ рукъ Малюты гайтанъ, брошенный Вяземскимъ, Іоаннъ поднялъ его за кончикъ.

— Это что?—спросилъ онъ, страшно глядя въ очи Вяземскаго.

Князь хотѣлъ отвѣчать, но царь не далъ ему времени.

— Рабъ лукавый,—произнесъ онъ грозно, и по жиламъ присутствующихъ пробѣжалъ холодъ:—рабъ лукавый! Я приблизилъ тебя ко престолу моему; я возвеличилъ тебя и осыпалъ милостями; а ты что учинилъ? Ты въ смрадномъ сердцѣ своемъ, аки аспидъ, задумалъ погубить меня, царя твоего, и чернокнижіемъ хотѣлъ извести меня, и затѣмъ, должно-быть, ты въ опричнину просился? Что есть опричнина?—продолжалъ Іоаннъ, озираясь кругомъ и возвышая голосъ, дабы весь народъ могъ услышать его.—Я, аки господинъ винограда, поставленъ Господомъ Богомъ надъ народомъ моимъ воздѣлывати виноградъ мой. Бояре же мои, и дума, и совѣтники, не захотѣли помогать мнѣ и замыслили погубить меня; тогда взялъ я отъ нихъ виноградъ мой и отдалъ другимъ дѣлателямъ. И се есть опричнина! Званые мною на пиръ не пришли, и я послалъ на торжища и на исходища путей, и повелѣлъ призывать елицѣхъ, какіе обрѣтутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всѣхъ: что заслужилъ себѣ гость, пришедшій на пиръ, но не облекшійся въ одѣяніе брачное? Какъ сказано о немъ въ писаніи? «Связавше ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромѣшную: ту будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ!»

Такъ говорилъ Іоаннъ, и народъ слушалъ безмолвно это произвольное примѣненіе евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрымъ паденіемъ сильнаго любимца.

Никто изъ опричниковъ не смѣлъ или не хотѣлъ вымолвить слова въ защиту Вяземскаго. На всѣхъ лицахъ изображался ужасъ. Одинъ Малюта въ звѣрскихъ глазахъ своихъ не выказывалъ ничего, кромѣ готовности приступить сейчасъ же къ исполненію царскихъ велѣній; да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя онъ и старался скрыть его подъ личиною равнодушія.

Вяземскій не почелъ нужнымъ оправдываться. Онъ зналъ Іоанна и рѣшился перенесть терпѣливо ожидавшія его мученія. Видъ его остался твердъ и достоинъ.

— Отведите его!—сказалъ царь.—Я положу ему казнь наравнѣ съ тѣмъ станичникомъ, что забрался ко мнѣ въ опочивальню и теперь ожидаетъ мзды своей. А колдуна, съ которомъ спознался онъ, отыскать и привести въ слободу. Пусть на пристрастномъ допросѣ дастъ еще новыя указанія... Велика злоба князя міра сего,—продолжалъ Іоаннъ, поднявъ очи къ небу:—онъ, подобно льву рыкающему, ходитъ вокругъ, ищуще пожрати мя, и даже въ синклитѣ моемъ находитъ усердныхъ слугъ себѣ. Но я уповаю на милость Божію и, съ помощью Господа, не дамъ укорениться измѣнѣ на Руси!

Іоаннъ сошелъ съ помоста и, сѣвъ на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричниковъ.

Малюта подошелъ къ Вяземскому съ веревкой въ рукахъ.

— Не взыщи, князь!—сказалъ онъ съ усмѣшкой, скручивая ему руки назадъ:—наше дѣло холопское!

И, окруживъ Вяземскаго стражей, онъ повелъ его въ тюрьму.

Народъ сталъ расходиться молча или толкуя шопотомъ обо всемъ случившемся, и вскорѣ опустѣла еще недавно многолюдная площадь.

ГЛАВА XXXIII.

Ладанка Басманова.

Вяземскій былъ подвергнутъ допросу, но никакія мученія не заставили его выговорить ни одного слова. Съ необыкновенною силою воли переносилъ онъ молча без-

человѣчныя истязанія, которыми Малюта старался вынудить у него сознаніе въ замыслѣ на государя. Изъ гордости, изъ презрѣнія, или потому, что жизнь ему опротивѣла, онъ даже не попытался ослабить клевету Басманова, показавъ, что его самого онъ встрѣтилъ на мельницѣ.

По приказанію царя, мельника схватили и тайно привезли въ слободу, но къ пыткѣ его не приступали.

Басмановъ приписалъ успѣхъ своего доноса дѣйствію тирлича, который онъ всегда носилъ на себѣ, и тѣмъ болѣе убѣдился въ его чародѣйной силѣ, что Іоаннъ не показывалъ ни малѣйшаго подозрѣнія и что хотя попрежнему посмѣивался надъ Басмановымъ, но былъ къ нему довольно ласковъ.

Погубивъ одного изъ своихъ соперниковъ, видя рождающееся вновь расположеніе къ себѣ Ивана Васильевича и не зная, что мельникъ уже сидитъ въ слободской тюрьмѣ, Басмановъ сдѣлался еще высокомѣрнѣе. Онъ, слѣдуя даннымъ ему наставленіямъ, смѣло глядѣлъ въ очи царя, шутилъ съ нимъ свободно и дерзко отвѣчалъ на его насмѣшки.

Иванъ Васильевичъ все сносилъ терпѣливо.

Однажды, въ одинъ изъ своихъ обычныхъ объѣздовъ, онъ съ ближайшими любимцами, въ томъ числѣ и съ обоими Басмановыми, отслушавъ въ сосѣднемъ монастырѣ раннюю обѣдню, зашелъ къ настоятелю въ келью и удостоилъ принять его угощеніе.

Царь сидѣлъ на скамьѣ подъ образа̀ми; любимцы, исключая Скуратова, котораго не было въ объѣздѣ, стояли у стѣнъ, а игуменъ, низко кланяясь, ставилъ на столъ медовые соты, разное варенье, чаши съ молокомъ и свѣжія яйца.

Царь былъ въ добромъ расположеніи духа; онъ отвѣдывалъ отъ каждаго блюда, милостиво шутилъ и велъ душеспасительныя рѣчи. Съ Басмановымъ онъ былъ ласковѣе обыкновеннаго, и Басмановъ еще болѣе убѣдился въ неотразимой силѣ тирлича.

Въ это время послышался за оградою конскій топотъ.

— Ѳедя, — сказалъ Іоаннъ: — посмотри, кто тамъ пріѣхалъ?

Басмановъ не успѣлъ подойти къ двери, какъ она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратовъ.

Выраженіе его было таинственно, и въ немъ проглядывала злобная радость.

— Войди, Лукьянычъ!—сказалъ привѣтливо царь:—съ какою тебя вѣстью Богъ принесъ?

Малюта переступилъ черезъ порогъ и, переглянувшись съ царемъ, сталъ креститься на образа.

— Откуда ты?—спросилъ Іоаннъ, какъ будто онъ вовсе не ожидалъ его.

Но Малюта, не спѣша отвѣтомъ, сперва отвѣсилъ ему поклонъ, а потомъ подошелъ къ игумену.

— Благослови, отче,—сказалъ онъ, нагибаясь, а между тѣмъ покосился на Ѳедора Басманова, котораго вдругъ обдало недобрымъ предчувствіемъ.

— Откуда ты?—повторилъ Іоаннъ, подмигнувъ непримѣтно Скуратову.

— Изъ тюрьмы, государь: колдуна пыталъ.

— Ну что-жъ? — спросилъ царь и бросилъ бѣглый взглядъ на Басманова.

— Да все бормочетъ; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземскій, дескать, не одинъ ко мнѣ ѣзживалъ: ѣзживалъ и Ѳедоръ Алексѣевичъ Басмановъ, и корень-де взялъ у меня, и носитъ тотъ корень теперь на шеѣ».

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басмановъ измѣнился въ лицѣ. Вся наглость его исчезла.

— Государь,—сказалъ онъ, дѣлая необыкновенное усиліе, чтобы казаться спокойнымъ:—должно-быть, онъ за то облыгаетъ меня, что выдалъ я его твоей царской милости.

— А какъ стали мы,—продолжалъ Малюта:—прижигать ему подошвы, такъ онъ и показалъ, что былъ-де тотъ корень нуженъ Басманову, чтобъ твое государское здоровье испортить.

Іоаннъ пристально посмотрѣлъ на Басманова, который зашатался подъ этимъ взглядомъ.

— Батюшка-царь!—сказалъ онъ:—охота тебѣ слушать, что̀ мельникъ говоритъ! Кабы я зналъ съ нимъ, сталъ ли бы я на него показывать?

— А вотъ увидимъ. Разстегни-ка свой кафтанъ; посмотримъ, что̀ у тебя на шеѣ?

— Да что̀ же, кромѣ креста да образковъ, государь?—произнесъ Басмановъ голосомъ, уже потерявшимъ всю свою увѣренность.

— Разстегни кафтанъ! — повторилъ Иванъ Васильевичъ.

Басмановъ судорожно отстегнулъ верхнія пуговицы своей одежды.

— Изволь,—сказалъ онъ, подавая Іоанну цѣпь съ образками.

Но царь, кромѣ цѣпи, успѣлъ замѣтить еще шелковый гайтанъ на шеѣ Басманова.

— А это что?—спросилъ онъ, отстегивая самъ яхонтовую запонку его ворота и вытаскивая изъ-за его рубахи гайтанъ съ ладанкой.

— Это,—проговорилъ Басмановъ, дѣлая надъ собою послѣднее отчаянное усиліе: — это, государь... материнское благословеніе.

— Посмотримъ благословеніе!—Іоаннъ передалъ ладанку Грязному.—На, распори ее, Васюкъ.

Грязной распоролъ ножомъ оболочку и, развернувъ зашитый въ нее кусокъ холстины, высыпалъ что-то на столъ.

— Ну, что это?—спросилъ царь, и всѣ съ любопытствомъ нагнулись къ столу и увидѣли какіе-то корешки, перемѣшанные съ лягушечьими костями.

Игуменъ перекрестился.

— Этимъ благословила тебя мать?—спросилъ насмѣшливо Иванъ Васильевичъ.

Басмановъ упалъ на колѣни.

— Прости, государь, холопа твоего!—вскричалъ онъ въ испугѣ.—Видя твою нелюбовь ко мнѣ, надрывался я сердцемъ и, чтобъ войти къ тебѣ въ милость, выпросилъ у мельника этого корня. Это тирличъ, государь! Мельникъ далъ мнѣ его, чтобъ полюбилъ ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видитъ Богъ, никакого не было!

— А жабьи кости?—спросилъ Іоаннъ, наслаждаясь отчаяніемъ Басманова, коего наглость ему давно наскучила.

— Про кости я ничего не вѣдалъ, государь,—видитъ Богъ, ничего не вѣдалъ!

Иванъ Васильевичъ обратился къ Малютѣ.

— Ты говоришь,—сказалъ онъ:—что колдунъ показываетъ на Ѳедьку: Ѳедька-де затѣмъ къ нему ѣздилъ, чтобъ испортить меня?

— Такъ, государь!—И Малюта скривилъ ротъ, радуясь бѣдѣ давнишняго врага своего.

— Ну, что-жъ, Ѳедюша,—продолжалъ съ усмѣшкою царь:—надо тебя съ колдуномъ окомъ къ оку поставить. Ему допросъ ужъ учинили; отвѣдай же и ты пытки; а

то скажутъ: царь однихъ земскихъ пытаетъ, а опричниковъ своихъ бережетъ.

Басмановъ повалился Іоанну въ ноги.

— Солнышко мое красное!—вскричалъ онъ, хватаясь за полы царскаго охабня: — свѣтикъ мой, государь, не губи меня, солнышко мое, мѣсяцъ ты мой, соколикъ мой, горностаекъ! Вспомни, какъ я служилъ тебѣ, какъ отъ воли твоей ни въ чемъ не отказывался!

Іоаннъ отвернулся.

Басмановъ, въ отчаяньи, бросился къ своему отцу

— Батюшка!—завопилъ онъ:—упроси государя, чтобы даровалъ животъ холопу своему! Пусть надѣнутъ на меня уже не сарафанъ, а дурацкое платье! Я радъ его царской милости шутомъ служить!

Но Алексѣю Басманову были равно чужды и родственное чувство и состраданіе. Онъ боялся участіемъ къ сыну навлечь опалу на самого себя.

— Прочь!—сказалъ онъ, отталкивая Ѳедора:—прочь, нечестивецъ! Кто къ государю не мыслитъ, тотъ мнѣ не сынъ! Иди, куда шлетъ тебя его царская милость!

— Святой игуменъ!—зарыдалъ Басмановъ, тащась на колѣняхъ отъ отца своего къ игумену:—святой игуменъ, умоли за меня государя!

Но игуменъ стоялъ самъ не свой, потупя очи въ землю, и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Оставь отца игумена!—сказалъ холодно Іоаннъ.—Коли будетъ въ томъ нужда, онъ послѣ по тебѣ панихиду отслужитъ.

Басмановъ обвелъ кругомъ умоляющимъ взоромъ, но вездѣ встрѣтилъ враждебныя или устрашенныя лица.

Тогда въ сердцѣ его произошла перемѣна.

Онъ понялъ, что не можетъ избѣжать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно ею же оканчивалась; понялъ, что терять ему болѣе нечего, и съ этимъ убѣжденіемъ возвратилась къ нему его рѣшимость.

Онъ всталъ, выпрямилъ станъ и, заложивъ руку за кушакъ, посмотрѣлъ съ наглою усмѣшкой на Іоанна.

— Надёжа-государь!—сказалъ онъ дерзко, тряхнувъ головою, чтобы оправить свои растрепанныя кудри:—надёжа-государь! Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мнѣ сказать тебѣ послѣднее спасибо за всѣ твои ласки! Не умышлялъ я на тебя ничего, а грѣхи-то у

меня съ тобою одни! Какъ поведутъ казнить меня, я всѣ до одного разскажу передъ народомъ! А ты, батька-игуменъ, слушай теперь мою исповѣдь!..

Опричники и самъ Алексѣй Басмановъ не дали ему продолжать. Они увлекли его изъ кельи на дворъ, и Малюта, посадивъ его, завязаннаго, на-конь, тотчасъ повезъ къ слободѣ.

— Ты зришь, отче,—сказалъ Іоаннъ игумену:—коликими я окруженъ и явными и скрытыми врагами! Моли Бога за меня, недостойнаго, дабы даровалъ Онъ добрый конецъ моимъ начинаніямъ, благословилъ бы меня, многогрѣшнаго, извести корень измѣны!

Царь всталъ и, перекрестившись на образа, подошелъ къ игумену подъ благословеніе.

Игуменъ и вся братія съ трепетомъ проводили его за ограду, гдѣ царскіе конюха дожидались съ богато убранными конями; и долго еще послѣ того, какъ царь съ своими полчанами скрылся въ облакѣ пыли и не стало болѣе слышно звука конскихъ подковъ, монахи стояли, потупя очи и не смѣя поднять головы.

ГЛАВА XXXIV.

Шутовской кафтанъ.

Въ это самое утро къ Морозову, который, по волѣ царя, остался въ слободѣ, явились два стольника съ приглашеніемъ къ царскому столу.

Когда Дружина Андреевичъ пріѣхалъ во дворецъ, палаты уже были полны опричниковъ, столы накрыты, слуги, въ богатыхъ одеждахъ, готовили закуску.

Бояринъ, осмотрѣвшись, увидѣлъ, что кромѣ него нѣтъ ни одного земскаго, и понялъ, что царь оказываетъ ему особенную честь.

Вотъ зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы и Иванъ Васильевичъ, съ благосклоннымъ, привѣтливымъ лицомъ, вошелъ въ палату, въ сопровожденіи чудовскаго архимандрита Левкія, Василія Грязного, Алексѣя Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.

Принявъ и отдавъ поклоны, онъ сѣлъ за свой приборъ, и всѣ за столомъ его размѣстились по чинамъ. Осталось одно пустое мѣсто ниже Годунова.

— Садись, бояринъ Дружина!—сказалъ ласково царь, указывая на пустое мѣсто.

Лицо Морозова побагровѣло.

— Государь,—отвѣтилъ онъ:—какъ Морозовъ во всю жизнь чинилъ, такъ и до смерти чинить будетъ. Старъ я, государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня, прогони отъ очей твоихъ,—а ниже Годунова не сяду!

Всѣ въ изумленіи переглянулись. Но царь, казалось, ожидалъ этого отвѣта. Выраженіе лица его осталось спокойно.

— Борисъ,—сказалъ онъ Годунову:—тому скоро два года я боярина Дружину, за такой же отвѣтъ, выдалъ тебѣ головою. Но, видно, мнѣ пора измѣнить мой обычай. Должно-быть, ужъ не мы земскимъ, а земскіе намъ будутъ указывать! Должно-быть, ужъ я и въ домишкѣ моемъ не хозяинъ! Придется мнѣ, убогому, забрать свою рухлядишку и бѣжать съ людишками моими куда-нибудь подалѣ! Прогонятъ они меня отсюда, калику перехожаго, какъ отъ Москвы прогнали!

— Государь,—сказалъ смиренно Годуновъ, желая выручить Морозова:—не намъ, а тебѣ о мѣстахъ судить. Старые люди крѣпко держатся стараго обычая, и ты не гнѣвись на боярина, что помнитъ онъ разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоимъ столомъ всѣ мѣста хороши!

Онъ сдѣлалъ движеніе, какъ бы готовясь встать, но Іоаннъ удержалъ его взглядомъ.

— Бояринъ подлинно старъ! — сказалъ онъ хладнокровно, и умѣренность его въ виду явнаго непокорства исполнила всѣхъ ожиданіемъ. Всѣ чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, какъ проявится царскій гнѣвъ, коего приближеніе выказывала лишь легкая судорога на лицѣ, напоминающая дрожаніе отдаленной зарницы.

Всѣ груди были стѣснены какъ передъ наступающей бурей.

— Да,—продолжалъ спокойно Іоаннъ:—бояринъ подлинно старъ, но разумъ его молодъ не по лѣтамъ. Больно онъ любитъ шутить. Я тоже люблю шутить и въ свободное отъ дѣла и молитвы время я непрочь отъ веселья. Но съ того дня, какъ умеръ шутъ мой Ногтевъ, некому потѣшать меня. Дружинѣ, я вижу, это ремесло по сердцу; я же обѣщалъ не оставить его моею милостію, а потому жалую его моимъ первымъ шутомъ. Подать сюда кафтанъ Ногтева и надѣть на боярина!

Судороги на лицѣ царя заиграли чаще, но голосъ остался попрежнему спокоенъ.

Морозовъ стоялъ, какъ пораженный громомъ. Багровое лицо его поблѣднѣло, кровь отхлынула къ сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потомъ сдвинулись такъ грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выраженіе его показалось страшнымъ. Онъ еще не вѣрилъ ушамъ своимъ; онъ сомнѣвался, точно ли царь хочетъ обезчестить всенародно его, Морозова, гордаго боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всѣмъ извѣстны.

Онъ стоялъ молча, вперивъ въ Іоанна неподвижный, вопрошающій взоръ, какъ бы ожидая, что онъ одумается и возьметъ назадъ свое слово. Но Василій Грязной, по знаку царя, всталъ изъ-за стола и подошелъ къ Дружинѣ Андреевичу, держа въ рукахъ пестрый кафтанъ, полупарчевый, полусермяжный, со множествомъ заплатъ, бубенчиковъ и колокольцевъ.

— Надѣвай, боярин!—сказалъ Грязной:—великій государь жалуетъ тебя этимъ кафтаномъ съ плеча выбылого шута своего Ногтева!

— Прочь!—воскликнулъ Морозовъ, отталкивая Грязного:—не смѣй, кромѣшникъ, касаться боярина Морозова, котораго предкамъ твои предки въ псаряхъ и въ холопяхъ служили!

И, обращаясь къ Іоанну, онъ произнесъ дрожащимъ отъ негодованія голосомъ:

— Государь, возьми назадъ свое слово! Вели меня смерти предать! Въ головѣ моей ты волёнъ, но въ чести моей не волёнъ никто!

Иванъ Васильевичъ посмотрѣлъ на опричниковъ.

— Правду я говорилъ, что Дружина любитъ шутить? Вы слышали? Я не волёнъ жаловать его кафтаномъ!

— Государь, — продолжалъ Морозовъ: — именемъ Господа Бога молю тебя, возьми свое слово назадъ! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловалъ меня! Когда я, вмѣстѣ съ Хабаромъ Симскимъ, разбилъ чувашъ и черемисъ на Свіягѣ, когда съ князьями Одоевскимъ и Мстиславскимъ прогналъ отъ Оки крымскаго царевича и татарскій набѣгъ отъ Москвы отвратилъ! Много ранъ получилъ я, много крови пролилъ на службѣ батюшки твоего и на твоей, государь! Не берегъ я головы ни въ ратномъ дѣлѣ ни въ думѣ боярской, спорилъ, въ

малолѣтство твое, за тебя и за матушку твою съ Шуйскими и съ Бѣльскими! Одною только честью дорожилъ я и никому, въ цѣлую жизнь мою, не далъ запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои сѣдые волосы? Ты ли наругаешься надъ слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мнѣ голову на плаху понести, и я съ радостью пойду на мученья, какъ прежде на битвы хаживалъ!

Всѣ молчали, потрясенные сильною рѣчью Морозова; но среди общей тишины раздался голосъ Іоанна.

— Довольно болтать!—сказалъ онъ грозно, переходя отъ насмѣшливости къ явному гнѣву:—твои глупыя рѣчи, старикъ, показали, что ты добрымъ будешь шутомъ. Надѣвай дурацкое платье!

— Вы,—продолжалъ царь, повернувшись къ опричникамъ:—помогите ему; онъ привыкъ, чтобъ ему прислуживали!

Если бы Морозовъ покорился, или, упавъ къ ногамъ царя, сталъ бы униженно просить о пощадѣ, быть-можетъ, и смягчился бы Иванъ Васильевичъ. Но видъ Морозова былъ слишкомъ гордъ, голосъ слишкомъ рѣшителенъ; въ самой просьбѣ его слышалась непреклонность, и этого не могъ снести Іоаннъ. Онъ ощущалъ ко всѣмъ сильнымъ нравамъ неодолимую ненависть, и одна изъ причинъ, по коимъ онъ еще недавно, не отдавая себѣ отчета, отвратилъ сердце свое отъ Вяземскаго, была извѣстная ему самостоятельность князя.

Въ одинъ мигъ опричники сорвали съ Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтанъ съ колокольцами.

Послѣ послѣднихъ словъ Іоанна Морозовъ пересталъ противиться. Онъ далъ себя одѣть и молча смотрѣлъ, какъ опричники со смѣхомъ поправляли и обдергивали на немъ кафтанъ. Мысли его ушли вглубь сердца; онъ сосредоточился въ самомъ себѣ.

— А шапку-то позабыли?—сказалъ Грязной, надѣвая на голову Морозова пестрый колпакъ, и, отступивъ назадъ, онъ поклонился ему до̀ полу.

— Дружина Андреевичъ!—сказалъ онъ:—бьемъ тебѣ челомъ на новой должности! Потѣшай насъ, какъ покойный Ногтевъ потѣшалъ!

Тогда Морозовъ поднялъ голову и обвелъ глазами собраніе.

— Добро!—сказалъ онъ громко и твердо:—принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову невмѣстно было сидѣть рядомъ съ Годуновымъ, но царскому шуту пристойно быть за царскимъ столомъ съ Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! Мѣсто новому скомороху! Пропустите шута и слушайте всѣ, какъ онъ будетъ потѣшать Ивана Васильевича!

Морозовъ сдѣлалъ повелительный знакъ, и опричники невольно посторонились.

Гремя колокольцами, боринъ подошелъ къ столу и опустился на скамью, напротивъ Іоанна, съ такою величественною осанкой, какъ будто на немъ вмѣсто шутовского кафтана была царская риза.

— Какъ же мнѣ потѣшать тебя, государь?—спросилъ онъ, положивъ локти на столъ, глядя прямо въ очи Ивану Васильевичу.—Мудренъ ты сталъ на потѣхи, ничѣмъ не удивишь тебя! Какихъ шутокъ не перешучено на Руси съ тѣхъ поръ, какъ ты государишь! Потѣшался ты, когда былъ еще отрокомъ и конемъ давилъ народъ на улицахъ; потѣшался ты, когда на охотѣ велѣлъ псарямъ князя Шуйскаго зарѣзать; потѣшался, когда выборные люди изъ Пскова пришли плакаться тебѣ на твоего намѣстника, а ты приказалъ имъ горячею смолою бороды палить!

Опричники хотѣли вскочить съ своихъ мѣстъ и броситься на Морозова; царь удержалъ ихъ знàкомъ.

— Но,—продолжалъ Морозовъ:—то все было ребяческое веселье; оно скоро тебѣ надоѣло. Ты началъ знаменитыхъ людей въ монахи постригать, а женъ и дочерей ихъ себѣ на потѣху позорить. И это тебѣ прискучило. Сталъ ты выбирать тогда лучшихъ слугъ твоихъ и мукамъ предавать. Тутъ дѣло пошло повеселѣе, только ненадолго. Не все же ругаться надъ народомъ да надъ боярами. Давай и надъ церковью Христовою поглумимся! Вотъ и набралъ ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи, нарядилъ ее въ рясы монашескія, и самъ монахомъ нарядился, и стали вы днемъ людей рѣзать, а ночью акаѳисты пѣть. Самъ ты, кровью обрызганъ, и пѣлъ, и звонилъ, и чуть ли обѣдню не служилъ. Эта потѣха вышла изо всѣхъ веселѣйшая; такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

— Что же сказать тебѣ, государь? Какъ еще распотѣшить тебя? А развѣ вотъ что скажу: пока ты со своею опричниной въ машкерахъ пляшешь, къ заутренѣ

звонишь, да кровью упиваешься, наступитъ на тебя съ заката Жигимонтъ, напрутъ съ полуночи нѣмцы да чудь, а съ полудня и съ восхода подымется ханъ. Нахлынетъ орда на Москву, и не будетъ воеводъ отстаивать святыни Господней! Запылаютъ храмы Божіи съ мощами святителей, настанутъ опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, въ ноги кланяться хану и, стоя на колѣняхъ, стремя его цѣловать!

Морозовъ замолкъ.

Никто не прерывалъ его рѣчи; всѣмъ она захватила дыханье. Царь слушалъ, наклонясь впередъ, блѣдный, съ пылающими очами, съ пѣною у рта. Судорожно сжималъ онъ ручки креселъ и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова, и каждое врѣзывалъ въ памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой.

Всѣ опричники были блѣдны; никто не рѣшался взглянуть на царя. Годуновъ опустилъ глаза и не смѣлъ дышать, чтобы не привлечь на себя вниманіе. Самому Малютѣ было неловко.

Вдругъ Грязной выхватилъ ножъ, подбѣжалъ къ Іоанну и сказалъ, указывая на Морозова:

— Дозволь, государь, ему глотку заткнуть!

— Не смѣй!—проговорилъ царь почти шопотомъ и задыхаясь отъ волненія:—дай его милости до конца договорить!

Морозовъ гордо повелъ очами.

— Еще шутокъ хочешь, государь? Изволь, я тебя потѣшу!.. Оставался у тебя изъ вѣрныхъ слугъ твоихъ еще одинъ, древняго боярскаго рода; его ты откладывалъ казнить, потому ли, что страшился Божьяго гнѣва, или что не придумалъ еще достойной казни ему. Жилъ онъ далеко отъ тебя, подъ опалою, и могъ бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послалъ ты къ нему своего окаяннаго Вяземскаго—сжечь его домъ и жену увезти. Когда-жъ онъ пришелъ къ тебѣ просить суда на Вяземскаго, ты заставилъ ихъ биться себѣ на потѣху, чая, что Вяземскій убьетъ стараго слугу твоего. Но Богъ не захотѣлъ его погибели, показалъ его правду.

— Что же ты сдѣлалъ тогда, государь? Тогда,—продолжалъ Морозовъ, и голосъ его задрожалъ, и колокольцы затряслись на одеждѣ:—тогда тебѣ показалось мало безчестія на слугѣ твоемъ, и ты порѣшилъ опозорить его еще неслыханнымъ, небывалымъ позоромъ!

— Тогда,—воскликнулъ Морозовъ, отталкивая столъ и вставая съ мѣста:—тогда ты, государь, боярина Морозова одѣлъ въ шутовской кафтанъ и велѣлъ ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вмѣстѣ со скаредными твоими кромѣшниками!

Грозенъ былъ видъ стараго воеводы среди безмолвныхъ опричниковъ. Значеніе шутовской его одежды исчезло. Изъ-подъ густыхъ бровей сверкали молніи. Бѣлая борода величественно падала на грудь, пріявшую нѣкогда много вражьихъ ударовъ, но испещренную нынѣ яркими заплатами; и въ негодующемъ взорѣ было столько достоинства, столько благородства, что въ сравненіи съ нимъ Иванъ Васильевичъ показался мелокъ.

— Государь,—продолжалъ, возвышая голосъ, Морозовъ:—новый шутъ твой передъ тобою. Слушай его послѣднюю шутку! Пока ты живъ, уста народа русскаго запечатаны страхомъ, но минуетъ твое звѣрское царенье, и останется на землѣ лишь память дѣлъ твоихъ, и перейдетъ твое имя отъ потомковъ къ потомкамъ на вѣчное проклятіе, доколѣ не настанетъ страшный судъ Господень! И тогда всѣ сотни и тысячи избіенныхъ тобою, всѣ сонмы мужей и женъ, младенцевъ и старцевъ, всѣ, кого ты погубилъ и измучилъ, всѣ предстанутъ предъ Господомъ, вопія на тебя, мучителя своего! И въ оный страшный день предстану и я предъ вѣчнымъ Судьею, предстану въ этой самой одеждѣ и потребую обратно моей чести, что̀ ты отнялъ у меня на землѣ! И не будетъ съ тобою кромѣшниковъ твоихъ заградить уста вопіющихъ, и услышитъ ихъ Судія, и будешь ты ввергнутъ въ пламень вѣчный, уготованный дьяволу и аггеламъ его!

Морозовъ замолчалъ и, бросивъ презрительный взоръ на царскихъ любимцевъ, повернулся къ нимъ спиною и медленно удалился.

Никто не подумалъ остановить его. Важно прошелъ онъ между рядами столовъ, и только когда замеръ звонъ его колокольцевъ, опричники очнулись отъ оцѣпенѣнія; а Малюта, вставъ изъ-за стола, сказалъ Ивану Васильевичу:

— Прикажешь сейчасъ порѣшить его, государь, или пока въ тюрьму посадить?

— Въ тюрьму!—произнесъ Іоаннъ, переводя дыханіе.—Беречь его! Кормить его! Не пытать, чтобы не издохъ до времени; ты отвѣчаешь за него головой!

Вечеромъ у царя было особенное совѣщаніе съ Малютой.

Колычевы, давно уже сидѣвшіе въ тюрьмѣ и пытаемые Малютой, частью сознались во взводимой на нихъ измѣнѣ, частью были, по мнѣнію Іоанна, достаточно уличены друзьями ихъ и холопями, которые, не выдержавъ пытки на нихъ показывали.

Много и другихъ лицъ было замѣшано въ это дѣло. Схваченные по приказанію царя и жестоко истязуемые, кто въ Москвѣ, кто въ слободѣ, они, въ свою очередь, называли много именъ, и число пытаемыхъ росло съ каждымъ днемъ и выросло наконецъ до трехсотъ человѣкъ.

Иванъ Васильевичъ, дорожа мнѣніемъ иностранныхъ державъ, положилъ подождать отъѣзда бывшихъ тогда въ Москвѣ литовскихъ пословъ и учинить осужденнымъ въ одинъ день общую казнь; а дабы дѣйствіе ея было поразительнѣе и устрашило бы мятежниковъ на будущее время, казни сей надлежало совершиться въ Москвѣ, въ виду всего народа.

Въ тотъ же самый день царь назначилъ казнь Вяземскаго и Басманова. Мельникъ, какъ чародѣй, осужденъ былъ къ сожженію на кострѣ, а Коршуну, дерзнувшему забраться въ царскую опочивальню и котораго берегли доселѣ на торжественный случай, Іоаннъ готовилъ исключительныя, еще небывалыя муки. Той же участи онъ обрекъ и Морозова.

О подробностяхъ этой общей казни царь разговаривалъ до поздней ночи, и пѣтухи уже два раза пропѣли, когда онъ отпустилъ Малюту и удалился въ свою образную.

ГЛАВА XXXV.

Казнь.

По отъѣздѣ литовскихъ пословъ, наканунѣ дня, назначеннаго для торжественной казни, московскіе люди съ ужасомъ увидѣли ея приготовленія.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество висѣлицъ. Среди нихъ стояло нѣсколько срубовъ съ плахами. Немного подалѣ висѣлъ на перекладинѣ между столбовъ огромный желѣзный котелъ. Съ другой стороны срубовъ торчалъ одинокій столбъ, съ придѣланными къ нему цѣпями, и вокругъ столба работники наваливали костеръ. Разныя неизвѣстныя орудія виднѣлись между висѣлицами и возбуждали въ толпѣ

боязливыя догадки, отъ которыхъ сердце заранѣе сжималось.

Мало-по-малу всѣ пришедшіе торговать на базаръ разошлись въ испугѣ. Опустѣла не только площадь, но и окрестныя улицы. Жители заперлись въ домахъ и шопотомъ говорили о предстоящемъ событіи. Слухъ о страшныхъ приготовленіяхъ разнесся по всей Москвѣ, и вездѣ воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицахъ, и лишь время отъ времени проскакивали по нимъ гонцы, посылаемые съ приказаніями отъ Арбата, гдѣ Іоаннъ остановился въ любимомъ своемъ теремѣ. Въ Китай-городѣ не слышно было другого шума, кромѣ стука плотничьихъ топоровъ да говора опричниковъ, распоряжавшихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и мѣсяцъ, поднявшись изъ-за зубчатыхъ стѣнъ Китай-города, освѣтилъ безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и висѣлицами. Ни одного огонька не свѣтилось въ окнахъ, всѣ ставни были закрыты, лишь кое-гдѣ тускло теплились лампады передъ наружными образами церквей. Но никто не спалъ въ эту ночь; всѣ молились, ожидая разсвѣта.

Наконецъ роковое утро настало, и въ небѣ послышалось усиленное карканье воронъ и галокъ, которыя, чуя близкую кровь, слетались отовсюду въ Китай-городъ, кружились стаями надъ площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домовъ и самыя висѣлицы.

Тишину прервалъ отдаленный звонъ бубенъ и тулумбасовъ, который медленно приближался къ площади. Показалась толпа конныхъ опричниковъ, по пяти въ рядъ. Впереди ѣхали бубенщики, чтобы разгонять народъ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били вощагами въ тулумбасы: нигдѣ не видно было живой души.

За опричниками ѣхалъ самъ царь Иванъ Васильевичъ, верхомъ, въ большомъ нарядѣ, съ колчаномъ у сѣдла, съ золоченымъ лукомъ за спиною. Вѣнецъ его шишака былъ украшенъ Деисусомъ, то-есть изображеніемъ на финифти Спасителя, а по сторонамъ—Богородицы, Іоанна Предтечи и разныхъ святыхъ. Чепракъ подъ нимъ блисталъ дорогими каменьями, а на шеѣ у вороного коня, вмѣсто науза, болталась собачья голова

Рядомъ съ царемъ былъ виденъ царевичъ Іоаннъ, а позади ѣхала толпа ближайшихъ царедворцевъ, по три въ рядъ. За ними шло слишкомъ триста человѣкъ, осужденныхъ на смертъ. Скованные цѣпями, изпуренные пыткой, они съ трудомъ передвигали ноги, повинуясь понуждающимъ ихъ опричникамъ.

Шествіе заключалъ многочисленный отрядъ конницы.

Когда поѣздъ въѣхалъ въ Китай-городъ и все войско, спѣшившись, размѣстилось у висѣлицъ, Іоаннъ, не сходя съ коня, посмотрѣлъ кругомъ и съ удивленіемъ увидѣлъ, что на площади не было ни одного зрителя.

— Сгонять народъ! — сказалъ онъ опричникамъ.—Да никто не убоится! Повѣдайте людямъ московскимъ, что царь казнитъ своихъ злодѣевъ, безвиннымъ же обѣщаетъ милость.

Вскорѣ площадь стала наполняться народомъ, ставни отворились, у оконъ показались блѣдныя, боязливыя лица.

Между тѣмъ костеръ, разложенный подъ котломъ, запылалъ, и на срубы взошли палачи.

Іоаннъ велѣлъ вывести изъ числа осужденныхъ нѣкоторыхъ, менѣе виновныхъ.

— Человѣки!—сказалъ онъ имъ громко и внятно, дабы всѣ на площади могли его слышать:—вы дружбой вашею и хлѣбомъ-солью съ измѣнщиками моими заслужили себѣ равную съ ними казнь; но я, въ умиленіи сердца, скорбя о погубленіи душъ вашихъ, милую васъ и дарую вамъ животъ, дабы вы покаяніемъ искупили вины ваши и молились за меня, недостойнаго!

По знаку царя, прощенныхъ отвели въ сторону.

— Люди московскіе! — сказалъ тогда Іоаннъ: — вы узрите нынѣ казни и мученія; но караю злодѣевъ, которые хотѣли предать врагамъ государство! Плачуще, предаю тѣлеса ихъ терзанію, яко азъ есмь судія, поставленный Господомъ судити народы мои! И нѣсть лицепріятія въ судѣ моемъ, яко, подобно Аврааму, подъявшему ножъ на сына, я самыхъ ближнихъ моихъ на жертву приношу! Да падетъ же кровь сія на главу враговъ моихъ!

Тогда изъ среды оставшихся осужденныхъ вывели прежде всѣхъ боярина Дружину Андреевича Морозова.

Іоаннъ, въ первомъ порывѣ раздраженія, обрекъ-было его на самыя страшныя муки; но по непонятной измѣнчивости нрава, а можетъ-быть, и вслѣдствіе общей любви москвитянъ къ боярину, онъ накапунѣ казни отмѣнилъ

свои распоряженія и осудилъ его на менѣе жестокую смерть.

Думный дьякъ государевъ, стоя у сруба, развернулъ длинный свитокъ и прочелъ громогласно:

— «Бывшій бояринъ Дружина! Ты хвалился замутить государство, призвать крымскаго хана и литовскаго короля Жигимонта, и многія другія бѣды и тѣсноты на Руси учинить. Ты же дерзнулъ злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великаго князя всея Руси, и добрыхъ слугъ его на непокорство подымать. Заслужилъ ты себѣ истязанія паче смерти; но великій государь, помня прежнія доблести твои, отъ жалости сердца, повелѣлъ тебя, особно отъ другихъ и минуя прочія мýки, скорою смертью казнить, голову тебѣ отсѣчь, остатковъ же твоихъ на его государскій обиходъ не отписывать!»

Морозовъ, уже взошедшій на срубъ, перекрестился.

— Вѣдаю себя чистымъ предъ Богомъ и предъ государемъ, — отвѣтствовалъ онъ спокойно: — предаю душу мою Господу Іисусу Христу; у государя же прошу единой милости, что̀ останется послѣ меня добра моего, то все пусть раздѣлится на три части: первую часть—на церкви Божіи и на поминъ души моей; другую—нищей братіи, а третью—вѣрнымъ слугамъ и холопямъ моимъ; а кабальныхъ людей и рабовъ отпускаю вѣчно на волю! Вдовѣ же моей прощаю, и вольно ей выйти, за кого похочетъ!

Съ сими словами Морозовъ еще разъ перекрестился и опустилъ голову на плаху.

Раздался глухой ударъ—голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За нимъ опричники, къ удивленію народа, вывели оружничаго государева, князя Вяземскаго, кравчаго Ѳедора Басманова и отца его Алексѣя, на котораго Ѳедоръ показалъ на пыткѣ.

— Люди московскіе! — сказалъ Іоаннъ, указывая на осужденныхъ:—се зрите моихъ и вашихъ злодѣевъ! Они, забывъ крестное свое цѣлованіе, тѣснили васъ отъ имени моего и, не страшася суда Божія, грабили животы ваши и губили народъ, который я же ихъ поставилъ боронити. И се нынѣ пріимутъ по дѣламъ своимъ достойную мзду!

Вяземскій и оба Басмановы, какъ обманувшіе царское довѣріе, были осуждены на жестокія мýки.

Дьякъ прочелъ имъ обвиненіе въ намѣреніи извести царя чарами, въ преступныхъ сношеніяхъ съ врагами государства и притѣсненіи народа именемъ Іоанновымъ.

Когда палачи, схвативъ Ѳедора Басманова, взвели его на помостъ, онъ обернулся къ толпѣ зрителей и закричалъ громкимъ голосомъ:

— Народъ православный! Хочу передъ смертью покаяться въ грѣхахъ моихъ! Хочу, чтобъ всѣ люди вѣдали мою исповѣдь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявшій сзади, не далъ ему продолжать. Онъ ловкимъ ударомъ сабли снесъ ему голову въ тотъ самый мигъ, какъ онъ готовился начать свою исповѣдь.

Окровавленный трупъ его упалъ на помостъ, а отлетѣвшая голова подкатилась, звеня серьгами, подъ ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганнымъ окомъ. Басмановъ послѣднею наглостью избавился отъ ожидавшихъ его мученій.

Отецъ его Алексѣй и Вяземскій не были столько счастливы. Ихъ, вмѣстѣ съ разбойникомъ Коршуномъ, взвели на срубъ, гдѣ ожидали ихъ страшные снаряды. Въ то же время стараго мельника потащили на костеръ и приковали къ столбу.

Вяземскій, измученный пыткой, не имѣя силы стоять на ногахъ, поддерживаемый подъ руки палачами, бросалъ дикіе взгляды по сторонамъ. Въ глазахъ его не было замѣтно ни страха ни раскаянья. Увидѣвъ прикованнаго къ столбу мельника и вокругъ него уже вьющіяся струи дыма, князь вспомнилъ его послѣднія слова, когда старикъ, заговоривъ его саблю, смотрѣлъ въ бадью съ водою; вспомнилъ также князь и свое видѣніе на мельницѣ, когда онъ въ лунную ночь, глядя подъ шумящее колесо, старался увидѣть свою будущность, но увидѣлъ только, какъ вода почервонѣла подобно крови, и какъ заходили въ ней зубчатыя пилы и стали отмыкаться и замыкаться желѣзныя клещи...

Мельникъ не замѣтилъ Вяземскаго. Углубленный въ самого себя, онъ бормоталъ что-то себѣ подъ носъ и съ видомъ помѣшательства приплясывалъ на кострѣ, гремя цѣпями.

— Шикалу! Ликалу!—говорилъ онъ:—слетѣлися вороны на богатый пиръ! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадамъ! Подымися вѣтеръ отъ мельницы, налети на вороговъ моихъ! Кулла! Кулла! Разметай костеръ, загаси огонь!

И въ самомъ дѣлѣ, какъ будто повинуясь заклинаніямъ, вѣтеръ поднялся на площади, но вмѣсто того, чтобы загасить костеръ, онъ раздулъ подложенный подъ него хворостъ, и пламя, вырвавшись сквозь сухія дрова, охватило мельника и скрыло его отъ зрителей.

— Шагадамъ! Кулла! Кулла!—послышалось еще за облакомъ дыма, и голосъ замеръ въ трескѣ пылающаго костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не измѣнилась ни отъ пытки ни отъ долгаго томленія въ темницѣ. Сильная природа его устояла противъ приготовительнаго допроса, но въ выраженіи лица произошла перемѣна. Оно сдѣлалось мягче, глаза глядѣли спокойнѣе.

Съ той самой ночи, какъ онъ былъ схваченъ въ царской опочивальнѣ и брошенъ въ тюрьму, угрызенія совѣсти перестали терзать его. Онъ тогда же принялъ ожидающую его казнь, какъ искупленіе совершенныхъ имъ нѣкогда злодѣйствъ, и, лежа на гнилой соломѣ, онъ въ первый разъ, послѣ долгаго времени, заснулъ спокойно.

Дьякъ прочелъ передъ народомъ вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршунъ, взошедши на помостъ, перекрестился на церковныя главы и положилъ, одинъ за другимъ, четыре земныхъ поклона народу, на четыре стороны площади.

— Прости, народъ православный!—сказалъ онъ:—прости меня въ грѣхахъ моихъ: въ разбоѣ, и въ воровствѣ, и въ смертномъ убойствѣ! Прости во всемъ, что̀ я согрѣшилъ передъ тобою. Заслужилъ я себѣ смертную муку, отпусти мнѣ вины мои, народъ православный!

И, повернувшись къ палачамъ, онъ самъ продѣлъ руки въ приготовленныя для нихъ петли.

— Привязывайте, что ли!—сказалъ онъ, тряхнувъ сѣдою кудрявою головой, и не прибавилъ болѣе ни слова.

Тогда, по знаку Іоанна, дьякъ обратился къ прочимъ осужденнымъ и прочелъ имъ обвиненіе въ заговорѣ противъ государя, въ намѣреніи отдать Новгородъ и Псковъ литовскому королю и въ преступныхъ сношеніяхъ съ турскимъ султаномъ.

Ихъ готовились повести—кого къ висѣлицамъ, кого къ котлу, кого къ другимъ орудіямъ казни.

Народъ сталъ громко молиться.

— Господи, Господи!—раздавалось на площади:—помилуй ихъ, Господи! Пріими скорѣе ихъ души!

— Молитесь за насъ, праведные!—кричали нѣкоторые изъ толпы: — помяните насъ, когда пріидете во царствіе Божіе!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:

— Гойда! Гойда! Да погибнутъ враги государевы!

Но въ эту минуту толпа заколебалась, всѣ головы обратились въ одну сторону, и послышались восклицанія:

— Блаженный идетъ! Смотрите, смотрите! Блаженный идетъ!

Въ концѣ площади показался человѣкъ лѣтъ сорока, съ рѣденькой бородой, блѣдный, босой, въ одной полотняной рубахѣ. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устахъ играла странная, дѣтски-добродушная улыбка.

Видъ этого человѣка посреди столькихъ лицъ, являвшихъ ужасъ, страхъ или звѣрство, рѣзко отъ нихъ отдѣлялся и сильно на всѣхъ подѣйствовалъ. Площадь затихла, казни пріостановились.

Всѣ знали блаженнаго, но никто еще не видывалъ на лицѣ его такого выраженія, какъ сегодня. Противъ обыкновенія, судорога подергивала эти улыбающіяся уста: какъ будто съ кротостью боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись впередъ, гремя веригами и желѣзными крестами, которыми онъ весь былъ обвѣшанъ, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шелъ прямо на Іоанна.

— Ивашко! Ивашко!—кричалъ онъ издали, перебирая свои деревянныя четки и продолжая улыбаться:—Ивашко! Меня-то забылъ!

Увидѣвъ его, Іоаннъ хотѣлъ повернуть коня и отъѣхать въ сторону, но юродивый стоялъ уже возлѣ него.

— Посмотри на блаженнаго!—сказалъ онъ, хватаясь за узду царскаго коня:—что-жъ не велишь казнить и блаженнаго? Чѣмъ Вася хуже другихъ?

— Богъ съ тобой!—сказалъ царь, доставая горсть золотыхъ изъ узорнаго мѣшка, висѣвшаго на золотой цѣпочкѣ у его пояса:—нà, Вася, ступай, помолись за меня!

Блаженный подставилъ обѣ руки, но тотчасъ же отдернулъ ихъ, и деньги посыпались на землю.

— Ай, ай! Жжется!—закричалъ онъ, дуя на пальцы и потряхивая ихъ на воздухѣ:—зачѣмъ ты деньги въ огнѣ раскалилъ? Зачѣмъ въ адовомъ огнѣ раскалилъ?

— Ступай, Вася!—повторилъ нетерпѣливо Іоаннъ:—оставь насъ, тебѣ здѣсь не мѣсто!

— Нѣтъ, нѣтъ! Мое мѣсто здѣсь, съ мучениками! Дай и мнѣ мученическій вѣнчикъ! За что меня обходишь? За что обижаешь? Дай и мнѣ такой вѣнчикъ, какіе другимъ раздаешь!

— Ступай, ступай!—сказалъ Іоаннъ съ зарождающимся гнѣвомъ.

— Не уйду!—произнесъ упорно юродивый, уцѣпясь за конскую сбрую, но вдругъ засмѣялся и сталъ пальцемъ показывать на Іоанна.—Смотрите, смотрите!—заговорилъ онъ:—что̀ это у тебя на лбу? Что̀ это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И олова-то твоя стала пёсья!

Глаза Іоанна вспыхнули.

— Прочь, сумасшедшій!—закричалъ онъ и, выхвативъ копье изъ рукъ ближайшаго опричника, онъ замахнулся имъ на юродиваго.

Крикъ негодованія раздался въ народѣ.

— Не тронь его!—послышалось въ толпѣ:—не тронь блаженнаго! Въ нашихъ головахъ ты волёнъ, а блаженнаго не тронь!

Но юродивый продолжалъ улыбаться полудѣтски, полубезумно.

— Пробори меня, царь Саулъ!—говорилъ онъ, отбирая въ сторону висѣвшіе на груди его кресты:—пробори сюда въ самое сердце! Чѣмъ я хуже тѣхъ праведныхъ? Пошли и меня въ царствіе небесное! Аль завидно тебѣ, что не будешь съ нами, царь Саулъ, царь Иродъ, царь кромѣшный?

Копье задрожало въ рукѣ Іоанна. Еще единый мигъ, и оно вонзилось бы въ грудь юродиваго, но новый крикъ народа удержалъ его на воздухѣ. Царь сдѣлалъ усиліе надъ собою и переломилъ свою волю, но буря должна была разразиться.

Съ пѣной у рта, съ сверкающими очами, съ подъятымъ копьемъ, онъ стиснулъ коня ногами, налетѣлъ вскачь на толпу осужденныхъ, такъ что искры брызнули изъ-подъ конскихъ подковъ, и пронзилъ перваго попавшагося ему подъ руку.

Когда онъ вернулся шагомъ на свое мѣсто, опустивъ окровавленный конецъ копья, опричники уже успѣли оттереть блаженнаго.

Іоаннъ махнулъ рукой, и палачи приступили къ работѣ. На блѣдномъ лицѣ Іоанна показался румянецъ; очи его сдѣлались больше, на лбу надулись синія жилы, и ноздри расширились. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Когда наконецъ, сытый душегубствомъ, онъ повернулъ коня и, объѣхавъ вокругъ площади, удалился, самъ обрызганный кровью и окруженный окровавленнымъ полкомъ своимъ, вороны, сидѣвшія на церковныхъ крестахъ и на гребняхъ кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанныхъ членовъ и на трупы, висящіе на висѣлицахъ...

Бориса Годунова въ этотъ день не было между пріѣхавшими съ Іоанномъ. Онъ еще наканунѣ вызвался провожать изъ Москвы литовскихъ пословъ.

На другой день послѣ казни площадь была очищена, и мертвыя тѣла свезены и свалены въ кремлевскій ровъ. Тамъ граждане московскіе впослѣдствіи соорудили нѣсколько деревянныхъ церквей, на костяхъ и на крови, какъ выражаются древнія лѣтописи.

Прошли многіе годы; впечатлѣніе страшной казни изгладилось изъ памяти народной; но долго еще стояли вдоль кремлевскаго рва тѣ скромныя церкви, и приходившіе въ нихъ молиться могли слышать панихиды за упокой измученныхъ и избіенныхъ по указу царя и великаго князя Іоанна Васильевича четвертаго.

ГЛАВА XXXVI.

Возвращеніе въ слободу.

Поразивъ ужасомъ Москву, царь захотѣлъ явиться милостивымъ и великодушнымъ. По приказанію его, темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшіе себѣ прощенія, всѣ освобождены. Нѣкоторымъ Іоаннъ послалъ подарки. Казалось, давно кипѣвшая въ немъ и долго разгоравшаяся злоба разразилась послѣднею казнью и вылетѣла изъ души его, какъ пламенный снопъ изъ горы огнедышащей. Разсудокъ его успокоился, онъ пересталъ вездѣ отыскивать измѣну.

Не всякій разъ, послѣ безвинной крови, Іоаннъ предавался угрызеніямъ совѣсти. Они зависѣли также отъ другихъ обстоятельствъ. Небесныя знаменія, внезапно ударившій громъ, проявленіе народныхъ бѣдствій устра-

шали его чуткое воображеніе и подвигали его иногда на всенародное покаяніе; но когда не случалось ни знаменій, ни голода, ни пожаровъ, внутренній голосъ его молчалъ и совѣсть дремала. Такъ и въ настоящее время состояніе души Іоанна было безмятежно. Онъ чувствовалъ послѣ совершенныхъ убійствъ какое-то удовлетвореніе и спокойствіе, какъ голодный, насытившійся пищею. Болѣе изъ привычки и принятаго правила, чѣмъ отъ потребности сердца, онъ, возвращаясь въ слободу, остановился на нѣсколько дней молиться въ Троицкой лаврѣ.

Во всю дорогу пристава, ѣхавшіе передъ нимъ, бросали горстями серебряныя деньги нищимъ, а уѣзжая изъ лавры, онъ оставилъ архимандриту богатый вкладъ на молебны за свое здравіе.

Въ слободѣ между тѣмъ готовилось никѣмъ неожиданное событіе.

Годуновъ, посланный впередъ приготовить государю торжественный пріемъ, исполнивъ свое порученіе, сидѣлъ у себя въ брусяной избѣ, облокотясь на дубовый столъ, подперши рукою голову. Онъ размышлялъ о случившемся въ эти послѣдніе дни, о казни, отъ которой удалось ему уклониться, о загадочномъ нравѣ грознаго царя и о способахъ сохранить его милость, не участвуя въ дѣлахъ опричнины, какъ вошедшій слуга доложилъ, что у крыльца дожидается князь Никита Романовичъ Серебряный.

Годуновъ при этомъ имени въ удивленіи всталъ со скамьи.

Серебряный былъ опальникъ государевъ, осужденный на смертъ. Онъ ушелъ изъ тюрьмы, и всякое сношеніе съ нимъ могло стоить головы Борису Ѳедоровичу. Но отказать князю въ гостепріимствѣ или выдать его царю было бы дѣломъ недостойнымъ, на которое Годуновъ не могъ рѣшиться, не потерявъ народнаго довѣрія, коимъ онъ болѣе всего дорожилъ. Въ то же время онъ вспомнилъ, что царь находится теперь въ милостивомъ расположеніи духа, и въ одинъ мигъ сообразилъ, какъ дѣйствовать въ этомъ случаѣ.

Не выходя на крыльцо встрѣчать Серебрянаго, онъ велѣлъ немедленно ввести его въ избу. Постороннихъ свидѣтелей не было, и, положивъ разъ принять князя, Годуновъ не захотѣлъ показать ему неполное радушіе.

— Здравствуй, князь,—сказалъ онъ, обнимая Никиту Романовича:—милости просимъ, садись; какъ же ты рѣ-

шился вернуться въ слободу, Никита Романычъ? Но дай сперва угостить тебя; ты, я чаю, съ дороги усталъ.

По приказанію Годунова поставили на столъ закуску и нѣсколько кубковъ вина.

— Скажи, князь,—спросилъ Годуновъ заботливо:—видѣли тебя, какъ ты взошелъ на крыльцо?

— Не знаю,—отвѣчалъ простодушно Серебряный:—можетъ-быть, и видѣли; я не хоронился, прямо къ твоему терему подъѣхалъ. Мнѣ вѣдомо, что ты не тянешь къ опричнинѣ.

Годуновъ поморщился.

— Борисъ Ѳедорычъ,—прибавилъ Серебряный довѣрчиво:—я вѣдь не одинъ; со мной пришло сотни двѣ станичниковъ изъ-подъ Рязани.

— Что ты, князь!—воскликнулъ Годуновъ.

— Они,—продолжалъ Серебряный:—за заставой остались. Мы вмѣстѣ несемъ наши головы государю; пусть казнитъ насъ или милуетъ, какъ ему угодно!

— Слышалъ я, князь, слышалъ, какъ ты съ ними татаръ разбилъ; но вѣдомо ли тебѣ, что съ тѣхъ поръ на Москвѣ было?

— Вѣдомо, — отвѣчалъ Серебряный и нахмурился. — Я шелъ сюда и думалъ: опричнинѣ конецъ, а у васъ дѣла хуже прежняго. Да проститъ Богъ государю! А тебѣ грѣхъ, Борисъ Ѳедорычъ, что ты только молчишь да глядишь на все это!

— Эхъ, Никита Романычъ, ты, я вижу, все тотъ же остался! Что-жъ бы я сказалъ царю? Послушался бы онъ меня, что ли?

— А хотя бы и не послушался,—возразилъ упрямо Серебряный: — все-жъ тебѣ говорить слѣдуетъ. Отъ кого-жъ ему правду знать, коли не отъ тебя?

— А ты думаешь, онъ правды не знаетъ? Ты думаешь, онъ и въ самомъ дѣлѣ всѣмъ тѣмъ извѣтамъ вѣритъ, по которымъ столько людей казнено?

И, сказавъ это, Годуновъ закусилъ-было языкъ, но вспомнилъ, что говоритъ съ Серебрянымъ, котораго открытое лицо исключало всякое подозрѣніе въ предательствѣ.

— Нѣтъ,—продолжалъ онъ вполголоса:—напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнитъ тѣхъ, на кого злобу держитъ, а въ сердцѣ его не волёнъ никто. Сердце царево въ рукѣ Божіей, говоритъ писаніе. Вотъ Морозовъ попытался-было прямить ему; что-жъ вышло? Морозова

казнили, а другимъ не стало отъ того легче. Но ты, Никита Романычъ, видно, самъ не дорожишь головою, что, вѣдая московскую казнь, не убоялся придти въ слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнулъ. Онъ любилъ Дружину Андреевича, хотя бояринъ и похитилъ его счастье.

— Что-жъ, Борисъ Ѳедорычъ,—отвѣтилъ онъ Годунову:—чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мнѣ надоѣло; не красно теперь житье на Руси!

— Послушай, князь: ты самъ себя не бережешь; такой, видно, ужъ нравъ у тебя; но Богъ тебя бережетъ. Какъ ты до сихъ поръ ни лѣзъ въ петлю, а все цѣлъ оставался. Должно-быть, не написано тебѣ пропасть ни за что ни про что. Кабы ты съ недѣлю тому вернулся, не знаю, что̀ бы съ тобой было; а теперь, пожалуй, есть тебѣ надежда; только не спѣши на глаза Ивану Васильевичу; дай мнѣ сперва увидѣть его.

— Спасибо тебѣ, Борисъ Ѳедорычъ; да ты обо мнѣ-то больно не хлопочи, а вотъ станичниковъ, коли можно, вызволи изъ бѣды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили.

Годуновъ взглянулъ съ удивленіемъ на Никиту Романовича. Онъ не могъ привыкнуть къ простотѣ князя, и равнодушіе его къ собственной жизни показалось Годунову неестественнымъ.

— Что-жъ ты, князь,—спросилъ онъ:—съ горя, что ли, жить не хочешь?

— Пожалуй, что и съ горя. Къ чему еще жить теперь? Вѣришь ли, Борисъ Ѳедорычъ, иной разъ поневолѣ Курбскій на умъ приходитъ; подумаю про него, и самому страшно станетъ: такъ, кажется, и бросилъ бы родину и ушелъ бы къ ляхамъ, кабы не были они враги наши.

— Вотъ то-то, князь! Въ теперешнее время намъ только и есть, что двѣ дороги: или дѣлать, какъ Курбскій—бѣжать навсегда изъ родины, или такъ, какъ я—оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то ни другое: отъ царя не уходишь, а съ царемъ не мыслишь; этакъ нельзя, князь; надо одно изъ двухъ. Ужъ коли хочешь оставаться на Руси, такъ исполняй волю цареву. А если полюбитъ онъ тебя, такъ, пожалуй, и самъ отъ опричнины отвратится. Вотъ, примѣрно, кабы насъ было двое около него,—одинъ бы другого поддерживалъ; сегодня бы я заронилъ словечко, завтра—ты; что-нибудь и осталось бы у

него въ памяти; вѣдь и капля, говорятъ, когда все на одно мѣсто каплетъ, такъ камень насквозь долбитъ. А нахрапомъ, князь, ничего не возьмешь!

— Кабы не былъ онъ царь,—сказалъ мрачно Серебряный:—я зналъ бы, что̀ мнѣ дѣлать; а теперь ничего въ толкъ не возьму; на него идти Богъ не велитъ, а съ нимъ мыслить мнѣ не въ мочь; хоть онъ меня на клочья разорви, съ опричниной хлѣба-соли не поведу!

— Погоди, князь, не отчаивайся. Вспомни, что̀ я тебѣ тогда говорилъ? Оставимъ опричниковъ; не будемъ перечить царю; они сами перегубятъ другъ друга! Вотъ ужъ троихъ главныхъ не стало: ни обоихъ Басмановыхъ ни Вяземскаго. Дай срокъ, князь, и вся опричнина до смерти перегрызется!

— А до того что̀ будетъ?—сказалъ Серебряный.

— А до того,—отвѣчалъ Годуновъ, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотѣлъ заронить въ Серебряномъ:—до того, коли царь тебя помилуетъ, ты можешь снова на татаръ идти; за этимъ дѣло не станетъ.

Въ мысляхъ Серебрянаго нелегко укладывались два впечатлѣнія разомъ, и надежда идти на татаръ вытѣснила на время овладѣвшее имъ уныніе.

— Да,—сказалъ онъ:—только намъ одно и осталось, что татаръ колотить! Кабы не ждать ихъ въ гости, а ударить бы на Крымъ всѣми полками разомъ, да вмѣстѣ съ казаками, такъ, пожалуй, что и Крымъ взяли бы!

Онъ даже усмѣхнулся отъ удовольствія при этой мысли.

Годуновъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ о его насильственномъ освобожденіи и о рязанскомъ побоищѣ. Уже начинало темнѣть, а они все еще сидѣли, бесѣдуя за кубками.

Наконецъ Серебряный всталъ.

— Прости, бояринъ,—сказалъ онъ:—уже скоро ночь на дворѣ.

— Куда ты, Никита Романычъ? Останься у меня, переночуй; завтра пріѣдетъ царь, я доложу о тебѣ.

— Нельзя, Борисъ Ѳедорычъ, пора мнѣ къ своимъ. Боюсь, чтобъ они съ кѣмъ не повздорили. Кабы царь былъ въ слободѣ, мы прямо-бъ къ нему съ повинною пришли, и пусть бы случилось, что̀ Богу угодно; а съ здѣшними душегубцами не убережешься. Хоть мы и въ сторонѣ, подъ самымъ лѣсомъ остановились, а все же можетъ какой-нибудь объѣздъ наѣхать.

— Ну, прости, Никита Романычъ! Смотри-жъ, ты не суйся царю на глаза; погоди, чтобъ я прислалъ за тобой... Да постой, не туда ты идешь, князь,—прибавилъ Годуновъ, видя, что Серебряный направляется къ краснымъ сѣнямъ, и, взявъ его за руку, онъ проводилъ его на заднее крыльцо.

— Прости, Никита Романычъ!—повторилъ онъ, обнимая Серебрянаго.—Богъ не безъ милости: авось и уладится твое дѣло.

И, подождавъ, чтобы князь сѣлъ на коня и выѣхалъ заднею околицею, Годуновъ вернулся въ избу, весьма довольный, что Серебряный не принялъ предложенія переночевать у него въ домѣ.

На другое утро царь съ торжествомъ въѣхалъ въ слободу, какъ послѣ одержанной побѣды. Опричники провожали его съ криками:—Гойда! Гойда!—отъ заставы до самаго дворца.

Одна старая мамка Онуфревна приняла его съ бранью.

— Звѣрь ты этакой!—сказала она, встрѣчая его на крыльцѣ:—какъ тебя еще земля держитъ, звѣря плотояднаго? Кровью отъ тебя пахнетъ, душегубецъ! Какъ смѣлъ ты къ святому угоднику Сергію явиться послѣ твоего московскаго дѣла? Громъ Господень убьетъ тебя, окаяннаго, вмѣстѣ съ дьявольскимъ полкомъ твоимъ!

Но въ этотъ разъ увѣщанія мамки не произвели никакого дѣйствія. На дворѣ не было ни грома ни бури. Солнце великолѣпно сіяло въ безоблачномъ небѣ, и ярко играли краски и позолота на пестрыхъ теремкахъ и затѣйливыхъ главахъ дворца. Іоаннъ не отвѣтилъ ни слова и прошелъ мимо старухи во внутренніе свои покои.

— Погоди, погоди!—продолжала она, глядя ему во слѣдъ и стуча о-полъ клюкою:—разразится громъ Божій надъ теремомъ твоимъ, выжжетъ онъ всю твою нечестивую слободу!

И старуха удалилась въ свою свѣтлицу, медленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцевъ, которые сторонились отъ нея съ суевѣрнымъ страхомъ.

Въ этотъ день, послѣ обѣда, Годуновъ, видя, что царь веселъ и доволенъ и противъ обыкновенія готовится отдохнуть, послѣдовалъ за нимъ въ опочивальню. Расположеніе къ нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно, когда ему было о чемъ доложить, что̀ не всякому слѣдовало слышать.

Въ царской опочивальнѣ стояли двѣ кровати: одна—изъ голыхъ досокъ, на которой Иванъ Васильевичъ ложился для наказанія плоти, въ минуту душевныхъ тревогъ и сердечнаго раскаянія; другая, болѣе широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховикомъ и шелковыми подушками. На этой царь отдыхалъ, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось рѣдко, и послѣдняя кровать большею частью оставалась нетронутою.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться въ дѣйствительномъ расположеніи его духа. Не всегда во время мученій совѣсти онъ былъ склоненъ на милосердіе. Онъ часто приписывалъ угрызенія свои навожденію сатаны, старающагося отвлечь его отъ преслѣдованія измѣны, и тогда, вмѣсто того, чтобы смягчить свое сердце, онъ, на зло дьяволу, творя молитвы и крестныя знаменья, предавался еще большей жестокости. Не всегда также спокойствіе, написанное на лицѣ его, могло достовѣрно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиной, и царь, одаренный рѣдкою проницательностью и способностью угадывать чужія мысли, любилъ иногда обманывать разсчеты того, съ кѣмъ разговаривалъ, и поражать его неожиданнымъ проявленіемъ гнѣва въ то самое время, когда онъ надѣялся на милость.

Но Годуновъ успѣлъ изучить малѣйшіе оттѣнки царскаго нрава и съ необыкновеннымъ чутьемъ отгадывалъ и объяснялъ себѣ неуловимыя для другихъ измѣненія лица его.

Подождавъ, чтобы Іоаннъ легъ на пуховую постель, и не видя въ его чертахъ ничего, кромѣ усталости, Борисъ Ѳедоровичъ сказалъ безо всякихъ приготовленій:

— Вѣдомо ли тебѣ, государь, что опальникъ твой сыскался?

— Какой?—спросилъ Іоаннъ, зѣвая.

— Никита Серебряный, тотъ самый, что̀ Вяземскаго, измѣнника твоего, саблей посѣкъ и въ тюрьму былъ посаженъ.

— А!—сказалъ Іоаннъ:—поймали воробья! Кто же взялъ его?

— Никто, государь. Онъ самъ пришелъ и всѣхъ станичниковъ привелъ, которые съ нимъ подъ Рязанью татаръ разбили. Они вмѣстѣ съ Серебрянымъ принесли твоей царской милости повинныя головы.

— Опомнились!—сказалъ Іоаннъ.—Что-жъ, видѣлъ ты его?

— Видѣлъ, государь: онъ прямо ко мнѣ пріѣхалъ; ду-

малъ—твоя милость въ слободѣ, и просилъ, чтобъ я о немъ сказалъ тебѣ. Я хотѣлъ-было захватить его подъ стражу, да подумалъ: неравно Григорій Лукьянычъ скажетъ, что я подыскиваюсь подъ него, а Серебряный не уйдетъ, коли онъ самъ тебѣ свою голову принесъ.

Годуновъ говорилъ прямо, съ открытымъ лицомъ, безо всякаго замѣшательства, какъ будто въ немъ не было ни тѣни хитрости, ни малѣйшаго участія къ Серебряному. Когда онъ наканунѣ проводилъ его заднимъ крыльцомъ, онъ поступилъ такъ не съ тѣмъ, чтобы скрыть отъ царя его посѣщеніе (это было бы слишкомъ опасно), но чтобы кто изъ слободскихъ не предупредилъ Іоанна и, какъ первый извѣститель, не настроилъ бы его противъ самого Годунова. Намекъ же на Вяземскаго, выставляющій Серебрянаго врагомъ казненнаго князя, былъ обдуманъ и приготовленъ Борисомъ Ѳедоровичемъ заранѣе.

Царь зѣвнулъ еще разъ, но не отвѣчалъ ничего, и Годуновъ, улавливая каждую черту лица его, не прочелъ на немъ никакого признака ни явнаго ни скрытаго гнѣва. Напротивъ, онъ замѣтилъ, что царю понравилось намѣреніе Серебрянаго предаться на его волю.

Іоаннъ, проливая кровь и заставляя всѣхъ трепетать, хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ его считали справедливымъ и даже милосердымъ; душегубства его были всегда облечены въ наружность строгаго правосудія, и довѣріе къ его великодушію тѣмъ болѣе льстило ему, что такое довѣріе рѣдко проявлялось.

Подождавъ немного, Годуновъ рѣшился вызвать Ивана Васильевича на отвѣтъ.

— Какъ прикажешь, государь,—спросилъ онъ:—позвать къ тебѣ Григорья Лукьяныча?

Но послѣднія казни уже достаточно насытили Іоанна; нѣсколько лишнихъ головъ не могли ничего прибавить къ его удовлетворенію, ни возбудить въ немъ уснувшую на время жажду крови.

Онъ пристально посмотрѣлъ на Годунова.

— Развѣ ты думаешь,—сказалъ онъ строго:—что я безъ убойства жить не могу? Иное—злодѣи, подрывающіе государство, иное—Никита, что̀ Аѳоньку порубилъ. А изъ станичниковъ посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть всѣ и съ Никитой соберутся передъ краснымъ крыльцомъ на дворѣ. Когда выйду изъ опочивальни, увижу, что̀ съ ними дѣлать!

Годуновъ пожелалъ царю добраго отдыха и удалился съ низкимъ поклономъ.

Все зависѣло теперь отъ того, въ какомъ расположеніи проснется Іоаннъ.

ГЛАВА XXXVII.

Прощеніе.

Извѣщенный Годуновымъ, Никита Романовичъ явился на царскій дворъ съ своими станичниками.

Перераненные, оборванные, въ разнообразныхъ лохмотьяхъ, кто въ зипунѣ, кто въ овчинѣ, кто въ лаптяхъ, кто босикомъ, многіе съ подвязанными головами, всѣ безъ шапокъ и безъ оружія, стояли они молча, другъ подлѣ друга, дожидаясь царскаго пробужденія.

Не въ первый разъ видѣли молодцы слободу; приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медвѣдей. Нѣкоторые участвовали и въ послѣднемъ пожарѣ, когда Перстень съ Коршуномъ пришли освободить Серебрянаго. Много было между ними знакомыхъ намъ лицъ, но многихъ и недоставало. Недоставало тѣхъ, которые, отстаивая русскую землю, полегли недавно на рязанскихъ поляхъ,—ни тѣхъ, которые послѣ побѣды, любя раздолье кочующей жизни, не захотѣли понести къ царю повинную голову. Не было тутъ ни Перстня, ни Митьки, ни рыжаго пѣсенника, ни дѣдушки Коршуна. Перстень, появившись въ послѣдній разъ въ слободѣ въ день суднаго поединка, исчезъ Богъ вѣсть куда; Митька послѣдовалъ за нимъ; пѣсенника еще прежде уходилъ Серебряный, а Коршуна теперь подъ стѣною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозрѣвая, что царь смотритъ на нихъ изъ небольшого окна, продѣланнаго надъ самымъ крыльцомъ и скрытаго узорными теремками. Никто изъ нихъ не говорилъ ни съ товарищами ни съ Серебрянымъ, который стоялъ въ сторонѣ, задумавшись и не обращая вниманія на множество людей, толпившихся у воротъ и у калитокъ. Въ числѣ любопытныхъ была и государева мамка. Она стояла на крыльцѣ, нагнувшись на клюку, и смотрѣла на все безжизненными глазами, ожидая появленія Іоанна, быть-можетъ, съ тѣмъ, чтобы своимъ присутствіемъ удержать его отъ новой жестокости.

Иванъ Васильевичъ, наглядѣвшись вдоволь изъ потаен-

наго окна на своихъ опальниковъ, насладившись мыслію, что они теперь стоятъ между жизнью и смертью, и что не легко у нихъ, должно-быть, на сердцѣ, показался вдругъ на крыльцѣ въ сопровожденіи нѣсколькихъ стольниковъ.

При видѣ царя, одѣтаго въ золотую парчу, опирающагося на узорный посохъ, разбойники стали на колѣни и преклонили головы.

Іоаннъ помолчалъ нѣсколько времени.

— Здравствуйте, оборванцы!—сказалъ онъ наконецъ и, поглядѣвъ на Серебрянаго, прибавилъ:—Ты зачѣмъ въ слободу пожаловалъ? По тюрьмѣ, что ли, соскучился?

— Государь, — отвѣтилъ Серебряный скромно: — изъ тюрьмы ушелъ я не самъ, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинскаго мурзу Шихмата, о чемъ твоей милости, должно-быть, уже вѣдомо. Вмѣстѣ мы били татаръ, вмѣстѣ и отдаемся на твою волю; казни или милуй насъ, какъ твоя царская милость знаетъ!

— Такъ это за нимъ вы тотъ разъ въ слободу приходили?—спросилъ Іоаннъ у разбойниковъ.—Откуда-жъ вы знаете его?

— Батюшка-царь,—отвѣчали вполголоса разбойники:—онъ атамана нашего спасъ, когда его въ Медвѣдевкѣ повѣсить хотѣли. Атаманъ-то и увелъ его изъ тюрьмы!

— Въ Медвѣдевкѣ?—сказалъ Іоаннъ и усмѣхнулся.—Это, должно-быть, когда ты Хомяка и съ объѣздомъ его шелепугами отшлепалъ? Я это дѣло помню. Я отпустилъ тебѣ эту первую вину, а былъ ты, по уговору нашему, посаженъ за новую вину, когда ты вдругорядь на моихъ людей у Морозова напалъ. Что скажешь на это?

Серебряный хотѣлъ отвѣчать, но мамка предупредила его.

— Да полно тебѣ вины-то его высчитывать!—сказала она Іоанну сердито.—Вмѣсто, чтобъ пожаловать его за то, что онъ басурмановъ разбилъ, церковь Христову отстоялъ, а ты только и смотришь, какую-бъ вину на немъ найти. Мало тебѣ было терзанья на Москвѣ, волкъ ты этакой!

— Молчи, старуха!—сказалъ строго Іоаннъ:—не твое бабье дѣло указывать мнѣ!

Но, досадуя на Онуфревну, онъ не захотѣлъ раздражать ее и, отвернувшись отъ Серебрянаго, сказалъ разбойникамъ, стоявшимъ на колѣняхъ:

— Гдѣ атаманъ вашъ, висѣльники? Пусть выступитъ впередъ!

Серебряный взялся отвѣчать за разбойниковъ.

— Ихъ атамана здѣсь нѣтъ, государь. Онъ тотъ же часъ послѣ рязанской битвы ушелъ. Я звалъ его, да онъ идти не захотѣлъ.

— Не захотѣлъ! — повторилъ Іоаннъ. — Сдается мнѣ, что этотъ атаманъ есть тотъ самый слѣпой, что̀ ко мнѣ въ опочивальню со старикомъ приходилъ. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на колъ посадить!

— Ужъ самого тебя, — проворчала мамка: — на томъ свѣту черти на колъ посадятъ!

Но царь притворился, что не слышитъ, и продолжалъ, глядя на разбойниковъ:

— А васъ, за то, что вы сами на мою волю отдались, я, такъ и быть, помилую. Выкатить имъ пять бочекъ меду на дворъ!.. Ну что̀? Довольна ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

— Да живетъ царь!—закричали разбойники.—Будемъ служить тебѣ, батюшка-государь! Заслужимъ твое прощеніе нашими головами!

— Выдать имъ,—продолжалъ Іоаннъ:—по доброму кафтану да по гривнѣ на человѣка. Я ихъ въ опричнину впишу. Хотите, висѣльники, мнѣ въ опричникахъ служить?

Нѣкоторые изъ разбойниковъ замялись, но бо̀льшая часть закричала:

— Рады служить тебѣ, батюшка, гдѣ укажетъ твоя царская милость!

— Какъ думаешь, — сказалъ Іоаннъ съ довольнымъ видомъ Серебряному: — пригодны они въ ратный строй?

— Въ ратный-то строй пригодны,—отвѣтилъ Никита Романовичъ:—только ужъ, государь, не вели ихъ въ опричнину вписывать!

Царь подумалъ, что Серебряный считаетъ разбойниковъ недостойными такой чести.

— Когда я кого милую, — произнесъ онъ торжественно:—я не милую въ половину!

— Да какая-жъ это милость, государь!—вырвалось у Серебрянаго.

Іоаннъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Они,—продолжалъ Никита Романовичъ, немного запинаясь:—они, государь, вѣдь доброе дѣло учинили, безъ нихъ, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли.

— Такъ почему-жъ имъ въ опричнинѣ не быть?—спросилъ Іоаннъ, пронзая глазами Серебрянаго.

— А потому, государь,—выговорилъ Серебряный, который тщетно старался прибрать выраженія поприличнѣе:—потому, государь, что они, правда, люди худые, а все же лучше твоихъ кромѣшниковъ!

Эта неожиданная и невольная смѣлость Серебрянаго озадачила Іоанна. Онъ вспомнилъ, что уже не въ первый разъ Никита Романовичъ говоритъ съ нимъ такъ откровенно и прямо. Между тѣмъ онъ, осужденный на смерть, самъ добровольно вернулся въ слободу и отдавался на царскій произволъ. Въ строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, какъ принять эту дерзкую выходку, какъ новое лицо привлекло его вниманіе.

Въ толпу разбойниковъ незамѣтно втерся посторонній человѣкъ, лѣтъ шестидесяти, опрятно одѣтый, и старался, не показываясь царю, привлечь вниманіе Серебрянаго. Уже нѣсколько разъ онъ изъ-за передняго ряда протягивалъ украдкою руку и силился поймать князя за полу, но, не доставъ его, опять прятался за разбойниковъ.

— Это что за крыса? — спросилъ царь, указывая на незнакомца.

Но тотъ уже успѣлъ скрыться въ толпѣ.

— Раздвиньтесь, люди!—сказалъ Іоаннъ:—достать мнѣ этого молодца, что тамъ сзади хоронится!

Нѣсколько опричниковъ бросились въ толпу и вытащили виновнаго.

— Что ты за человѣкъ? — спросилъ Іоаннъ, глядя на него подозрительно.

— Это мой стремянный, государь!—поспѣшилъ сказать Серебряный, узнавъ своего стараго Михеича:—онъ не видалъ меня съ тѣхъ поръ...

— Такъ, такъ, батюшка-государь!—подтвердилъ Михеичъ, заикаясь отъ страха и радости:—его княжеская милость правду изволитъ говорить!.. Не видѣлись мы съ того дня, какъ схватили его милость! Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотрѣть! Господи-свѣты, Никита Романычъ! Я ужъ думалъ, не придется мнѣ увидѣть тебя!

— Что же ты хотѣлъ сказать ему? — спросилъ царь, продолжая недовѣрчиво глядѣть на Михеича:—зачѣмъ ты за станичниками хоронился?

— Поопасывался, батюшка-государь, Иванъ Василье-

вичъ, опричниковъ твоихъ поопасывался! Это вѣдь, самъ знаешь, это вѣдь, государь, все такой народъ...

И Михеичъ закусилъ языкъ.

— Какой народъ?—спросилъ Іоаннъ, стараясь придать чертамъ своимъ милостивое выраженіе:—говори, старикъ, безъ зазора, какой народъ мои опричники?

Михеичъ поглядѣлъ на царя и успокоился.

— Да такого мы до литовскаго похода отродясь не видывали, батюшка!—проговорилъ онъ вдругъ, ободренный милостивымъ выраженіемъ царскаго лица:—не въ укоръ имъ сказать, ненадежный народъ, тётка ихъ подкурятина!

Царь пристально посмотрѣлъ на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

— Ну, что ты на него глаза таращишь?—сказала мамка.—Съѣсть его, что ли, хочешь? Развѣ онъ не правду говоритъ? Развѣ видывали прежде на Руси кромѣшниковъ?

Михеичъ, нашедши себѣ подмогу, обрадовался.

— Такъ, бабуся, такъ!—сказалъ онъ.—Отъ нихъ-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не вѣрь имъ, государь, не вѣрь имъ! Пёсьи у нихъ морды на сбруѣ, пёсій и брехъ на языкѣ! Господинъ мой вѣрно служилъ тебѣ, а это Вяземскій съ Хомякомъ наговорили на него. Вотъ и бабуся правду сказала, что такихъ сыроядцевъ и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающихъ его опричниковъ, Михеичъ придвинулся поближе къ Серебряному: хоть вы-де и волки, а теперь не съѣдите!

Когда царь вышелъ на крыльцо, онъ уже рѣшился простить разбойниковъ. Ему хотѣлось только продержать ихъ нѣкоторое время въ недоумѣніи. Замѣчанія мамки пришлись некстати и чуть-было не раздражили Іоанна, но, къ счастью, на него нашла милостивая полоса, и вмѣсто того, чтобы предаться гнѣву, онъ вздумалъ посмѣяться надъ Онуфревной и уронить ея значеніе въ глазахъ царедворцевъ, а вмѣстѣ и пошутить надъ стремяннымъ Серебрянаго.

— Такъ тебѣ не люба опричнина?—спросилъ онъ Михеича съ видомъ добродушія.

— Да кому-жъ она люба, батюшка-государь? Съ того часу, какъ вернулися мы изъ Литвы, все отъ нея пошли сыпаться бѣды на боярина моего. Не будь этихъ, прости Господи, живодёровъ, мой господинъ былъ бы попрежнему въ чести у твоей царской милости.

И Михеичъ опять опасливо посмотрѣлъ на царскихъ тѣлохранителей, но тотъ же часъ подумалъ про себя: «Эхъ, тётка ихъ подкурятина! Ужъ погублю свою голову, а очищу передъ царемъ господина моего!»

— Добрый у тебя стремянный!—сказалъ царь Серебряному.—Пустъ бы и мои слуги такъ ко мнѣ мыслили! А давно онъ у тебя?

— Да я, батюшка Иванъ Васильевичъ,—подхватилъ Михеичъ, совершенно ободренный царскою похвалою:—я князю съ самаго съ его сыздѣтства служу. И батюшкѣ его покойному служилъ я, и отецъ мой дѣду его служилъ, и дѣти мои, кабы были у меня, его бы дѣтямъ служили!

— А нѣтъ у тебя развѣ дѣтушекъ, старичокъ?—спросилъ Іоаннъ еще милостивѣе.

— Было двое сыновей, батюшка, да обоихъ Господь прибралъ. Оба на твоемъ государскомъ дѣлѣ подъ Полоцкомъ полегли, когда мы съ Никитой Романычемъ да съ княземъ Пронскимъ Полоцкъ выручали. Старшему сыну, Василію, вражій ляхъ, налетѣвъ, саблей голову раскроилъ, а меньшому-то, Степану, изъ пищали грудь прострѣлили, сквозь самый наплечникъ, вотъ настолько повыше лѣваго соска!

И Михеичъ пальцемъ показалъ на груди своей мѣсто, гдѣ въ Степана попала пуля.

— Вишь!—проговорилъ Іоаннъ, покачивая головой и какъ будто принимая большое участіе въ сыновьяхъ Михеича.—Ну, что-жъ дѣлать, старичокъ: этихъ Богъ прибралъ, другихъ наживешь!

— Да откуда нажить-то ихъ, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а изъ рукава-то новыхъ дѣтей не вытрусишь!

— Что-жъ,—сказалъ царь, какъ бы желая утѣшить стремяннаго:—еще, дастъ Богъ, другую хозяйку найдешь!

Михеичъ ощущалъ немалое удовольствіе въ разговорѣ съ царемъ.

— Да этого добра какъ не найти!—отвѣчалъ онъ, ухмыляясь:—только не охочъ я до бабъ, батюшка-государь, да ужъ и старъ становлюсь этакимъ дѣломъ заниматься!

— Баба бабѣ рознь!—замѣтилъ Іоаннъ и, схвативъ Онуфревну за душегрѣйку:—Вотъ тебѣ хозяйка!—сказалъ онъ и выдвинулъ мамку впередъ.—Возьми ее, старина, живи съ ней въ любви и въ совѣтѣ, да дѣтей приживай!

Опричники, понявъ царскую шутку, громко захохотали, а Михеичъ въ изумленіи посмотрѣлъ на царя, не смѣется ли и онъ, но на лицѣ Іоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

— Срамникъ ты!—закричала она на Іоанна:—безбожникъ! Я тебѣ дамъ ругаться надо мной! Срамникъ ты, тьфу! Еретикъ безсовѣстный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ея еще сердитѣе зажевали, а носъ посинѣлъ.

— Полно ломаться, бабушка!—сказалъ царь:—я тебѣ добраго мужа сватаю; онъ будетъ тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же послѣ вечерни сыграемъ! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

— Умилосердись, батюшка-государь!—проговорилъ Михеичъ въ совершенномъ испугѣ.

— Что-жъ? Развѣ она тебѣ не по̀ сердцу?

— Какое по̀ сердцу, батюшка! — простоналъ Михеичъ, отступая назадъ.

— Стерпится-слюбится! — сказалъ Іоаннъ:—а я дамъ за ней доброе приданое!

Михеичъ съ ужасомъ посмотрѣлъ на Онуфревну, которую царь все еще держалъ за душегрѣйку.

— Батюшка Иванъ Васильевичъ!—воскликнулъ онъ вдругъ, падая на колѣни:—вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорѣй на плаху пойду, чѣмъ женюсь на ея милости, тётка ея подкурятина!

Иванъ Васильевичъ немного помолчалъ и вдругъ разразился громкимъ продолжительнымъ смѣхомъ.

— Ну,—сказалъ онъ, выпуская наконецъ Онуфревну, которая поспѣшила уйти, ругаясь и отплевываясь:—честь приложена, убытку Богъ избавилъ! Я хотѣлъ вашего счастья, а насильно вѣнчать васъ не буду! Служи попрежнему бояришу твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебѣ и вторую вину твою. А этихъ голоштанниковъ въ опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идутъ къ Жиздрѣ, въ сторожевой полкъ. Коли охочи они на татаръ, будетъ имъ съ кѣмъ перевѣдаться. Ты же,—продолжалъ онъ особенно милостивымъ голосомъ, безъ примѣси своей обычной насмѣшливости и положивъ руку на плечо Серебрянаго:—ты оставайся у меня. Я помирю тебя съ опричниной. Когда узна̀ешь насъ покороче, перестанешь дичиться. Хорошо

битъ татаръ, но мои враги не одни татары; есть и хуже ихъ. Этихъ-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепалъ Серебрянаго по плечу.

— Никита,—прибавилъ онъ благоволительно и оставляя свою руку на плечѣ князя:—у тебя сердце правдивое, и языкъ твой не знаетъ лукавства; такихъ-то слугъ мнѣ и надо. Впишись въ опричнину; я дамъ тебѣ мѣсто выбылого Вяземскаго. Тебѣ я вѣрю: ты меня не продашь.

Всѣ опричники съ завистью посмотрѣли на Серебрянаго; они уже видѣли въ немъ новое возникающее свѣтило, и стоявшіе подалѣ отъ Іоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствіе, что царь, безъ вниманія къ ихъ заслугамъ, ставитъ имъ на голову опальнаго пришельца, столбового боярина, древняго княжескаго рода.

Но сердце Серебрянаго сжалось отъ словъ Іоанновыхъ.

— Государь,—сказалъ онъ, сдѣлавъ усиліе надъ собою:—благодарствую тебѣ за твою милость; но дозволь ужъ лучше и мнѣ къ сторожевому полку примкнуться. Здѣсь мнѣ дѣлать нечего, я къ слободскому обычаю непривыченъ, а тамъ я буду служить твоей милости, доколѣ силъ хватитъ.

— Вотъ какъ!—сказалъ Іоаннъ и снялъ руку съ плеча Серебрянаго:—это значитъ, мы неугодны его княжеской милости! Должно-быть, съ ворами оставаться честнѣе, чѣмъ быть моимъ оружничимъ! Ну, что-жъ,—продолжалъ онъ насмѣшливо:—я никому въ дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вмѣстѣ, такъ и служите вмѣстѣ! Добраго пути, разбойничій воевода!

И, взглянувъ презрительно на Серебрянаго, царь повернулся къ нему спиной и вошелъ во дворецъ.

ГЛАВА XXXVIII.

Выѣздъ изъ слободы.

Годуновъ предложилъ Серебряному остаться у него въ домѣ до выступленія въ походъ. Этотъ разъ предложеніе было сдѣлано отъ души, ибо Борисъ Ѳедоровичъ, наблюдавшій за каждымъ словомъ и за каждымъ движеніемъ царя, заключилъ, что грозы болѣе не будетъ, и что Іоаннъ ограничится одною холодностью къ Никитѣ Романовичу.

Исполняя обѣщаніе, данное Максиму, Серебряный прямо съ царскаго двора отправился къ матери своего названнаго брата и отдалъ ей крестъ Максимовъ. Малюты не

было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебрянаго какъ родного; но когда онъ, окончивъ свое порученіе, простился съ нею, она не посмѣла его удерживать, боясь возвращенія мужа, и только проводила до крыльца съ благословеніями.

Вечеромъ, когда Годуновъ оставилъ Серебрянаго въ опочивальнѣ и удалился, пожелавъ ему спокойнаго сна, Михеичъ далъ полную волю своей радости.

— Ну, бояринъ,—сказалъ онъ:—вы́палъ же мнѣ наконецъ красный денёкъ послѣ долгаго горя! Вѣдь съ той поры, какъ схватили тебя, Никита Романычъ, я словно свѣта Божьяго не вижу! То и дѣло по Москвѣ да по слободѣ слоняюсь, не провѣдаю-ль чего про тебя? Какъ услышалъ сегодня, что ты съ станичниками вернулся, такъ со всѣхъ ногъ и пустился на царскій дворъ, анъ царь-то ужъ на крыльцѣ! Я давай межъ станичниковъ до тебя пробираться, да и не вытерпѣлъ,—сталъ ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидѣлъ. Ну, набрался же я страху! Ввѣкъ не забуду! Два молебна завтра отслужу: одинъ за твое здоровье, а другой—что соблюлъ меня Господь отъ этой вѣдьмы, не далъ надо мною такому скверному дѣлу совершиться.

И Михеичъ началъ разсказывать все, что̀ съ нимъ было послѣ разоренія Морозовскаго дома и какъ онъ, извѣстивъ Перстня и вернувшись на мельницу, нашелъ тамъ Елену Дмитріевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпѣливо слушалъ многократныя отступленія Михеича.

— Вѣдь я, Никита Романычъ,—говорилъ старикъ:—вѣдь я не слѣпъ; хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мнѣ крѣпко, когда ты къ Дружинѣ Андреичу-то ѣздилъ. Не выйдетъ добра изъ этого, думалъ я, да и совѣстно, правду сказать, за тебя было, когда ты съ нимъ за однимъ столомъ сидѣлъ, изъ одного ковша пилъ. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положимъ, и не виноватъ въ этомъ,—кто его знаетъ, какъ оно къ человѣку приходитъ!—да противъ него-то грѣшно было. Ну, а теперь, конечно, дѣло другое; теперь ей некому отвѣта держать, царствіе ему небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться.

— Не кори меня, Михеичъ,—сказалъ Серебряный съ

неудовольствіемъ:—а скажи, гдѣ она теперь и что ты про нее знаешь?

— Позволь, батюшка, погоди; дай мнѣ все по порядку тебѣ доложить. Вотъ, изволишь ли видѣть, какъ я отъ станичниковъ-то на мельницу вернулся, мельникъ-то мнѣ и говоритъ: «Залетѣла, говоритъ, жаръ-птица ко мнѣ; отвези ее, говоритъ, къ царю Далмату». Я сначала не понялъ, что за птица и что за Далматъ такой; только ужъ послѣ, когда показалъ онъ мнѣ боярыню-то, тогда ужъ смекнулъ, что онъ про нее говорилъ. Вотъ и поѣхали мы съ нею въ вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчитъ-себѣ и очей не подымаетъ; потомъ стала потихоньку про мужа спрашивать; а потомъ, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила,—только, вишь, не прямо, а такъ, какъ бы нехотя, отворотимшись. Извѣстно, женское дѣло. Я ей все разсказалъ, что было мнѣ вѣдомо, а она, сердечная, еще кручиннѣе прежняго стала: повѣсила головушку да уже во всю дорогу ничего и не говоритъ. Вотъ, какъ стали подъѣжать къ вотчинѣ, поприщъ этакъ будетъ за десять, она, вижу, зачинаетъ безпокоиться.—«Что ты, говорю, сударыня, безпокоиться изволишь?» Она, батюшка, въ слезы. Я ее утѣшать.—«Не кручинься, говорю, боярыня: Дружина Андреичъ здравствуетъ!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этакъ посмотрѣлъ на нее, да ужъ не знаю, что и говорить ей.—«И князь Никита Романычъ, говорю, хоча и въ тюрьмѣ, а должно-быть, также здравствуетъ!» Ужъ не зналъ, батюшка, что и сказать ей; чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только какъ назвалъ я тебя, батюшка, такъ она вдругъ и останови коня.—«Нѣтъ, говоритъ, дядюшка, не могу ѣхать въ вотчину!»—«Что ты, боярыня, куда-жъ тебѣ ѣхать?»—«Дядюшка, говоритъ, видишь золоченые кресты изъ-за лѣсу виднѣются?»—«Вижу, сударыня».—«То, говоритъ, дѣвичій монастырь; я узнаю тѣ кресты; проводи меня туда, дядюшка». Я было-оттоваривать, только она стоитъ на своемъ: проводи да проводи!—«Я, говоритъ, тамъ съ недѣльку обожду, Богу помолюсь, а потомъ повѣщу Дружинѣ Андреичу; онъ пришлетъ за мною!» Нечего было дѣлать, проводилъ ее, батюшка; тамъ и оставилъ на рукахъ у игуменьи.

— Сколько будетъ до того монастыря?—спросилъ Серебряный.

— Отъ мельницы было поприщъ сорокъ, батюшка; отъ Москвы, пожалуй, будетъ подалѣ. Да оно намъ почитай по дорогѣ приходится, коли мы на Жиздру пойдемъ.

— Михеичъ! — сказалъ Серебряный: — сослужи мнѣ службу. Я прежде утра выступить не властенъ; надо моимъ людямъ царю крестъ цѣловать. Но ты сею же ночью поѣзжай о дву-конь, не жалѣй ни себя ни коней; попросись къ боярынѣ, разскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не рѣшалась, не повидавшись со мною!

— Слушаю, батюшка, слушаю; да ты ужъ не опасаешься ли, чтобъ она постриглась? Этого не будетъ, батюшка. Пройдетъ годокъ, поплачетъ она, конечно; безъ этого нельзя; какъ по Дружинѣ Андреичѣ не поплакать, царствіе ему небесное. А тамъ, посмотри, и свадьбу сыграемъ. Не вѣкъ же намъ, батюшка, горе отбывать!

Михеичъ въ эту же ночь отправился въ монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошелъ проститься съ Годуновымъ.

Борисъ Ѳедоровичъ уже вернулся отъ заутрени, которую, по обычаю своему, слушалъ вмѣстѣ съ царемъ.

— Что ты такъ рано поднялся, князь?—спросилъ онъ Никиту Романовича.—Это хорошо намъ, слободскимъ, а ты могъ бы и поотдохнуть послѣ вчерашняго дня. Или тебѣ непокойно у меня было?

Но тонкій взглядъ Годунова показывалъ, что онъ зналъ причину безсонницы князя.

Привѣтливость Бориса Ѳедоровича, его неподдѣльное участіе къ Серебряному, услуги, имъ столько разъ оказанныя, а главное—его совершенное несходство съ другими царедворцами, привлекали къ нему сильно Никиту Романовича. Онъ открылся ему въ любви своей къ Еленѣ.

— Все это мнѣ давно уже вѣдомо!—сказалъ, улыбаясь, Годуновъ.—Я догадался объ этомъ еще въ первый твой пріѣздъ въ слободу, изъ того, какъ ты смотрѣлъ на Вяземскаго. А когда я нарочно завелъ съ тобою рѣчь о Морозовѣ, ты говорилъ о немъ неохотно, несмотря что былъ съ нимъ въ дружбѣ. Ты, князь, ничего не умѣешь хоронить въ себѣ. О чемъ ни подумаешь, все у тебя на лицѣ такъ и напишется. Да и говоришь-то ты ужъ черезчуръ правдиво, Никита Романычъ, позволь тебѣ сказать. Я за тебя вчера испугался да и подосадовалъ-таки

на тебя, когда ты напрямикъ отвѣчалъ царю, что не хочешь вписаться въ опричнину.

— А что же мнѣ было отвѣчать ему, Борисъ Ѳедорычъ?

— Тебѣ было поблагодарить царя и принять его милость.

— Да ты шутишь, Борисъ Ѳедорычъ, али вправду говоришь? Какъ же мнѣ за это благодарить царя? Да ты самъ развѣ вписанъ въ опричнину?

— Я—дѣло другое, князь. Я знаю, что дѣлаю. Я царю не перечу; онъ меня самъ не захочетъ вписать; такъ ужъ я поставилъ себя. А ты, когда поступилъ бы на мѣсто Вяземскаго, да сдѣлался бы оружничимъ царскимъ и былъ бы въ приближеніи у Ивана Васильевича, ты бы этимъ всей землѣ послужилъ. Мы бы съ тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подсѣкли бы!

— Нѣтъ, Борисъ Ѳедорычъ, не сумѣлъ бы я этого. Самъ же ты говоришь, что у меня все на лицѣ видно.

— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вотъ кабы ты рѣшился перемочь свою прямоту да хотя бы для виду вступилъ въ опричнину,—чего бы мы съ тобой ни сдѣлали! А то посмотри на меня: я одинъ, бьюсь какъ щука объ ледъ; всякаго долженъ опасаться, всякое слово обдумывать: иногда просто голова кругомъ идетъ! А было бы насъ двое около царя, и силъ бы удвоилось. Такихъ людей, какъ ты, немного, князь. Скажу тебѣ прямо: я съ нашей первой встрѣчи разсчитывалъ на тебя!

— Не гожусь я на это дѣло, Борисъ Ѳедорычъ. Сколько разъ я ни пытался подладиться подъ чужой обычай, ничего не выходитъ. Вотъ ты, дай Богъ тебѣ здоровья, ты на этомъ собаку съѣлъ. Правду сказать, сначала мнѣ не по сердцу было, что ты иной разъ думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему дѣлать лучше. А я-бъ и хотѣлъ, да не умѣю; не сподобилъ меня Богъ такому искусству. Впрочемъ, что теперь и говорить объ этомъ! Самъ знаешь, царь меня, по моему же упросу, въ сторожевой полкъ посылаетъ.

— Это ничего, князь. Ты опять татаръ побьешь; царь опять тебя передъ свои очи пожалуетъ. Оружничимъ тебѣ, конечно, уже не бывать; но если попросишься въ опричнину, тебя впишутъ. А хотя бы и не случилось тебѣ татаръ побить, все же ты пріѣдешь на Москву, когда Еленѣ Дмитріевнѣ вдовій срокъ минетъ. Того не опасайся, чтобъ

она постриглась; этого не будетъ, Никита Романычъ; я лучше тебя человѣческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла,—не зачѣмъ ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезамъ; я же буду, коли хочешь, твоимъ дружкой.

— Спасибо тебѣ, Борисъ Ѳедорычъ, спасибо. Мнѣ даже совѣстно, что ты уже столько сдѣлалъ для меня, а я ничѣмъ тебѣ отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя въ пытку идти или въ бою животъ положить, я бы не задумался. А въ опричнину меня не зови, и около царя быть мнѣ также не можно. Для этого надо или совсѣмъ отъ совѣсти отказаться, или твое умѣнье имѣть. А я бы только даромъ душой кривилъ. Каждому, Борисъ Ѳедорычъ, Господь свое указалъ: у сокола свой летъ, у лебедя—свой: лишь бы въ каждомъ правда была.

— Такъ ты меня ужъ болѣе не винишь, князь, что я не прямою, а окольною дорогой иду?

— Грѣхъ было бы мнѣ винить тебя, Борисъ Ѳедорычъ. Не говорю уже о себѣ, а сколько ты другимъ добра сдѣлалъ! И моимъ ребятамъ безъ тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаромъ и любятъ тебя въ народѣ. Всѣ на тебя надежду полагаютъ; вся земля начинаетъ смотрѣть на тебя!

Легкій румянецъ пробѣжалъ по смуглому лицу Годунова, и въ очахъ его блеснуло удовольствіе. Примирить съ своимъ образомъ дѣйствій такого человѣка, какъ Серебряный, было для него немалымъ торжествомъ и служило ему мѣриломъ его обаятельной силы.

— Въ свою очередь, спасибо тебѣ, князь,—сказалъ онъ.—Объ одномъ прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мнѣ, то, по крайней мѣрѣ, когда услышишь, что про меня говорятъ худо, не вѣрь тѣмъ слухамъ и скажи клеветникамъ моимъ все, что про меня знаешь.

— Ужъ объ этомъ не заботься, Борисъ Ѳедорычъ! Я никому не дамъ про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоемъ здравіи, а если вернутся на родину, то и всѣмъ своимъ ближнимъ закажутъ. Дай только Богъ уцѣлѣть тебѣ!

— Господь хранитъ ходящихъ въ незлобіи!—сказалъ Годуновъ, скромно опуская глаза.—А впрочемъ, все въ Его святой волѣ! Прости же, князь, до скораго свиданія; не забудь, что ты обѣщалъ позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселѣло на сердцѣ. Онъ привыкъ къ мысли, что Годуновъ не легко ошибается въ своихъ предположеніяхъ, и недавнія опасенія его насчетъ Елены разсѣялись.

Вскорѣ онъ выѣхалъ во главѣ своего пѣшаго отряда; но еще прежде, чѣмъ они оставили слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашнимъ понятіямъ, принадлежало къ недобрымъ предзнаменованіямъ.

Близъ одной церкви отрядъ былъ остановленъ столпленіемъ нищихъ, которые тѣснились у паперти, во всю ширину улицы, и, казалось, ожидали богатой милостыни отъ какого-нибудь знатнаго лица, находившагося въ церкви.

Подвигаясь медленно впередъ, чтобы дать время толпѣ раздвинуться, Серебряный услышалъ панихидное пѣніе и спросилъ, по комъ идетъ служба? Ему отвѣчали, что то Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій справляетъ поминки по сынѣ Максимѣ Григорьевичѣ, убитомъ татарами. Въ то же время послышался громкій крикъ, и изъ церкви вынесли старушку, лишенную чувствъ; исхудалое лицо ея было облито слезами, а сѣдые волосы падали въ безпорядкѣ изъ-подъ бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, въ смирной одеждѣ, показался на крыльцѣ, и глаза его встрѣтились съ глазами Серебрянаго; но въ чертахъ Малюты не было на этотъ разъ обычнаго звѣрства, а только какая-то тупая одурѣлость, безъ всякаго выраженія. Приказавъ положить старушку на паперти, онъ воротился въ церковь дослушивать панихиду, а станичники съ Серебрянымъ, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковныхъ вратъ, и слышно имъ было, какъ въ церкви торжественно и протяжно раздавалось: «со святыми упокой!»

Это печальное пѣніе и мысль о Максимѣ тяжело подѣйствовали на Серебрянаго; но ему вспомнились успокоительныя слова Годунова, и они скоро изгладили грустное впечатлѣніе панихиды. На изгибѣ дороги, входящей въ темный лѣсъ, онъ оглянулся на Александрову слободу и, когда скрылись отъ него золоченыя главы дворца Іоаннова, онъ почувствовалъ облегченіе, какъ будто тяжесть свалилась съ его сердца.

Утро было свѣжее, солнечное. Бывшіе разбойники, хорошо одѣтые и вооруженные, шли дружнымъ шагомъ за Серебрянымъ и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мракъ охватывалъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Конь

Серебрянаго, полный нетерпѣливой отваги, срывалъ мимоходомъ листья съ нависшихъ вѣтвей, а Буянъ, не оставлявшій князя послѣ смерти Максима, бѣжалъ впереди, поднималъ иногда, нюхая вѣтеръ, косматую морду или нагибалъ ее на сторону и чутко навастривалъ ухо, если какой-нибудь отдаленный шумъ раздавался въ лѣсу.

ГЛАВА XXXIX.

Послѣднее свиданіе.

Нѣсколько дней шелъ Серебряный съ своимъ отрядомъ. На одномъ ночлегѣ, откуда былъ поворотъ къ дѣвичьему монастырю, онъ оставилъ людей своихъ и поѣхалъ одинъ навстрѣчу Михеичу, обѣщавшему привезти ему отвѣтъ отъ боярыни.

Всю ночь онъ ѣхалъ безостановочно. На зарѣ, приближаясь къ одному перекрестку, увидѣлъ онъ догорающій костеръ и сидящаго близъ него Михеича. Обѣ его лошади паслись неподалеку, осѣдланныя.

Услышавъ конскій топотъ, Михеичъ вскочилъ на ноги.

— Батюшка, князь Никита Романычъ!—вскричалъ онъ, узнавая князя:—не ѣзди далѣ, батюшка! Вернись назадъ, нечего тамъ тебѣ дѣлать!

— Что̀ случилось?—спросилъ Серебряный, и сердце его замерло.

— Все кончено, батюшка! Не судилъ намъ Господь счастія!

Серебряный спрянулъ на землю.

— Говори!—сказалъ онъ:—что̀ случилось съ боярыней?

Старикъ молчалъ.

— Что̀ случилось съ Еленой Дмитріевной?—повторилъ въ испугѣ Серебряный.

— Нѣтъ болѣ Елены Дмитріевны, батюшка!—сказалъ мрачно Михеичъ.—Есть только сестра Евдокія!

Серебряный зашатался и прислонился къ дереву.

Михеичъ смотрѣлъ на него горестно.

— Что-жъ дѣлать, Никита Романычъ! Видно, на то была Божья воля. Не въ счастливый мы, видно, вѣкъ родились!

— Разсказывай все!—сказалъ Серебряный, оправившись.—Не жалѣй меня. Когда постриглась боярыня?

— Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили въ монастырѣ синодикъ отъ царя, съ

именами всѣхъ казненныхъ и съ указомъ молиться за ихъ упокой; наканунѣ того самаго дня, какъ я къ ней пріѣхалъ.

— Видѣлъ ты ее?

— Видѣлъ, батюшка.

Серебряный хотѣлъ что-то сказать и не могъ.

— На самый краткій мигъ видѣлъ,—прибавилъ Михеичъ:—не хотѣла она меня допустить сперва.

— Что она велѣла сказать мнѣ?—проговорилъ съ трудомъ Серебряный.

— Чтобы ты за нее молился, батюшка.

— И болѣ ничего?

— Ничего, батюшка.

— Михеичъ!—произнесъ князь послѣ краткаго молчанія:—проводи меня въ монастырь; я хочу проститься съ нею...

Старикъ покачалъ головой.

— Зачѣмъ тебѣ къ ней, батюшка? Не смущай ея болѣ; она теперь все равно что святая. Вернемся лучше къ отряду и пойдемъ прямо къ Жиздрѣ!

— Не могу!—сказалъ Серебряный.

Михеичъ опять покачалъ головой и подвелъ къ нему одного изъ своихъ коней.

— Садись же на этого,—сказалъ онъ, вздыхая:—твой больно заморился!

Они молча поѣхали къ монастырю.

Дорога шла все время лѣсомъ. Вскорѣ послышалось журчанье воды, и ручей, пробиравшійся межъ камышами, сверкнулъ сквозь густую зелень.

— Узнаёшь ты это мѣсто, князь?—спросилъ грустно Михеичъ.

Серебряный поднялъ голову и увидѣлъ свѣжее пожарище. Кое-гдѣ земля была недавно изрыта, а остатки строенія и сломанное водяное колесо показывали, что тутъ была мельница.

— Это когда они колдуна схватили,—замѣтилъ Михеичъ:—то и жилье его разорили: думали тутъ кладъ найти, тётка ихъ подкурятина!

Серебряный бросилъ разсѣянный взглядъ на пожарище и они молча поѣхали далѣе.

Черезъ нѣсколько часовъ лѣсъ началъ рѣдѣть. Межъ деревьями забѣлѣла каменная ограда, и на расчищенной полянѣ показался монастырь. Онъ не стоялъ, подобно инымъ обителямъ, на возвышенномъ мѣстѣ. Изъ узкихъ

рѣшетчатыхъ оконъ не видно было обширныхъ монастырскихъ угодій, и взоръ вездѣ упирался лишь въ голые стволы и мрачную зелень сосенъ, опоясывавшихъ тѣснымъ кругомъ ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежалъ къ числу бѣдныхъ.

Всадники сошли съ коней и постучались въ калитку.

Прошло нѣсколько минутъ; послышалось бряцаніе ключей.

— Слава Господу Іисусу Христу!—сказалъ тихо Михеичъ.

— Во вѣки вѣковъ, аминь!—отвѣчала сестра-вратница, отворяя калитку.—Кого вамъ надобно, государи?

— Сестру Евдокію, — произнесъ вполголоса Михеичъ, боясь этимъ названіемъ растравить душевную рану своего господина.—Ты меня знаешь, матушка, я недавно былъ здѣсь.

— Нѣтъ, государь, не знаю; я только сегодня ко вратамъ приставлена, а до меня была сестра Агнія...

И монахиня посмотрѣла опасливо на пріѣзжихъ.

— Нужды нѣтъ, матушка,—продолжалъ Михеичъ:—пусти насъ. Доложи игуменьѣ, что князь Никита Романычъ Серебряный пріѣхалъ.

Вратница окинула боязливымъ взглядомъ Серебрянаго, отступила назадъ и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, какъ она поспѣшно удалялась, приговаривая: «Господи Іисусе Христе, помилуй насъ!»

«Что бы это значило?—подумалъ стремянный:—зачѣмъ она боится моего боярина?»

Онъ посмотрѣлъ на князя и понялъ, что его пыльные доспѣхи, одежда, изорванная колючимъ кустарникомъ, и встревоженное выраженіе испугали вратницу. Въ самомъ дѣлѣ, черты Никиты Романовича такъ измѣнились, что самъ Михеичъ не узналъ бы его, если бы не пріѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ.

Черезъ нѣсколько времени послышались опять шаги вратницы.

— Не взыщите, государи,—сказала она невѣрнымъ языкомъ сквозь калитку:—теперь игуменьѣ нельзя принять васъ; приходите лучше завтра послѣ заутрени.

— Я не могу ждать!—вскричалъ Серебряный, и, ударивъ ногою въ калитку, онъ вышибъ запоры и вошелъ въ ограду.

Передъ нимъ стояла игуменья, почти столь же блѣдная, какъ и онъ самъ.

— Во имя Христа Спасителя,—сказала она дрожащимъ голосомъ:—остановись! Я знаю, зачѣмъ ты пришелъ... но Господь караетъ душегубство, и безвинная кровь падетъ на главу твою!

— Честная мать!—отвѣчалъ Серебряный, не понимая ея испуга, но слишкомъ встревоженный, чтобы удивляться:—честная мать, пусти меня къ сестрѣ Евдокіи! Дай на одинъ мигъ увидѣть ее! Дай мнѣ только проститься съ нею!

— Проститься?—повторила игуменья:—ты въ самомъ дѣлѣ хочешь только проститься?

— Дай мнѣ съ нею проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдамъ!

Игуменья взглянула на него недовѣрчиво.

— Ты вломился насильно, — сказала она: — ты называешься княземъ, а Богъ вѣсть, кто ты таковъ, Богъ вѣсть, зачѣмъ пріѣхалъ... Знаю, что теперь ѣздятъ опричники по святымъ монастырямъ и предаютъ смерти женъ и дочерей тѣхъ праведниковъ, которыхъ недавно на Москвѣ казнили!.. Сестра Евдокія была женою казненнаго боярина...

— Я не опричникъ!—вскричалъ Серебряный:—я самъ отдалъ бы всю кровь мою за боярина Морозова!.. Пусти меня къ боярынѣ, честная мать, пусти меня къ ней!

Должно-быть, правда и искренность написались на чертахъ Серебрянаго. Игуменья успокоилась и посмотрѣла на него съ участіемъ.

— Погрѣшила же я передъ тобою!—сказала она.—Но, слава Христу и Пречистой Его Матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, Пресущественной Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, что ты не опричникъ! Напугала меня вратница; я уже думала, какъ бы только время выиграть, сестру Евдокію схоронить! Трудные у насъ годы настали, государь! И въ Божьихъ обителяхъ опальнымъ укрыться нельзя. Слава же Господу, что я ошиблась! Если ты другъ или родственникъ Морозовыхъ, я поведу тебя къ Евдокіи. Ступай за мною, бояринъ, сюда, мимо усыпальницы; ея келья въ самомъ саду.

Игуменья повела князя черезъ садъ къ одинокой кельѣ, густо обсаженной шиповникомъ и жимолостью. Тамъ, на скамьѣ, передъ входомъ, сидѣла Елена въ черной одеждѣ

и въ покрывалѣ. Косые лучи заходящаго солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали надъ нею ихъ увядающія вѣтви. Лѣто приходило къ концу; послѣдніе цвѣты шиповника облетали; черная одежда инокини была усѣяна ихъ алыми лепестками. Грустно слѣдила Елена за медленнымъ и однообразнымъ паденіемъ желтыхъ кленовыхъ листьевъ, и только шорохъ приближающихся шаговъ прервалъ ея размышленія. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтобъ идти къ ней навстрѣчу, но, увидѣвъ внезапно Серебрянаго, вскрикнула, схватилась за сердце и въ изнеможеніи опустилась на скамью.

— Не пугайся, дитятко! — сказала ей ласково игуменья:—это знакомый тебѣ бояринъ, другъ твоего покойнаго мужа, пріѣхалъ нарочно проститься съ тобой.

Елена не могла отвѣчать. Она только дрожала и будто въ испугѣ смотрѣла на князя. Долго оба молчали.

— Вотъ, — проговорилъ наконецъ Серебряный: — вотъ какъ намъ пришлось свидѣться!

— Намъ нельзя было свидѣться иначе!..—сказала едва внятно Елена.

— Зачѣмъ не подождала ты меня, Елена Дмитріевна?— сказалъ Серебряный.

— Если-бъ я подождала тебя, — прошептала она: — у меня недостало бы силы... ты не пустилъ бы меня... Довольно и такъ грѣха на мнѣ, Никита Романычъ...

Настало опять молчаніе. Сердце Серебрянаго сильно билось.

— Елена Дмитріевна!—сказалъ онъ прерывающимся отъ волненія голосомъ:—я навсегда прощаюсь съ тобой, навсегда, Елена Дмитріевна... Дай же мнѣ въ послѣдній разъ взглянуть на тебя... дай на твои очи въ послѣдній разъ посмотрѣть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ея лица, и князь увидѣлъ ея тихіе глаза, красные отъ слезъ, и встрѣтилъ знакомый кроткій взоръ, отуманенный безсонными ночами и душевнымъ страданіемъ.

— Прости, Елена!—вскричалъ онъ, падая ницъ и кланяясь ей въ ноги:—прости навсегда! Дай Господь забыть мнѣ, что могли мы быть счастливы!

— Нѣтъ, Никита Романычъ, — сказала грустно Елена:—счастья намъ не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьемъ и нами. За меня онъ

пошелъ подъ опалу, я же погрѣшила противъ него, я— виновница его смерти! Нѣтъ, Никита Романычъ, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастливъ?

— Да, — повторилъ Серебряный: — кто теперь счастливъ? Не милостивъ Господь ко святой Руси; а все же не думалъ я, что намъ заживо придется разлучиться навѣки!

— Не навѣки, Никита Романычъ,—улыбнулась грустно Елена:—а только здѣсь, въ этой жизни. Такъ должно было быть. Не личила бы намъ однимъ радость, когда вся земля терпитъ горе и скорбь великую!

— Зачѣмъ,—сказалъ съ мрачнымъ видомъ Серебряный:—зачѣмъ не сложилъ я голову на татарскую саблю! Зачѣмъ не казнилъ меня царь, когда я ему повинную принесъ! Что мнѣ теперь осталось на свѣтѣ?

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ, какъ я мой крестъ несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мнѣ остается только молиться за тебя и оплакивать грѣхъ мой!

— Какая родина? Гдѣ наша родина?—вскричалъ Серебряный.—Отъ кого намъ ее отстаивать? Не татары, а царь губитъ родину! Мысли мои помѣшались, Елена Дмитріевна... Ты одна еще поддерживала мой разумъ; теперь все предо мной потемнѣло; не вижу болѣе, гдѣ ложь, гдѣ правда. Все доброе гибнетъ, все злое одолѣваетъ! Часто, Елена Дмитріевна, приходилъ мнѣ Курбскій на память, и я гналъ отъ себя эти грѣшныя мысли, пока еще была цѣль для моей жизни, пока была во мнѣ сила; но нѣтъ у меня болѣ цѣли, а сила дошла до конца... разсудокъ мой путается.

— Просвѣти тебя Боже, Никита Романычъ! Ужели отъ того, что твое счастье погибло, ты сдѣлаешься врагомъ государевымъ, пойдешь наперекоръ всей землѣ, которая держитъ предъ нимъ поклонную голову? Вспомни, что Богъ посылаетъ намъ испытаніе, чтобы мы могли свидѣться на томъ свѣтѣ! Вспомни всю жизнь свою и не солги противъ самого себя, Никита Романычъ!

Серебряный опустилъ голову. Вскипѣвшее въ немъ негодованіе уступило мѣсто строгимъ понятіямъ долга, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ и которыя доселѣ свято хранилъ въ своемъ сердцѣ, хотя и не всегда былъ въ силахъ имъ покориться.

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ!—повторила

Елена.—Иди, куда посылаетъ тебя царь. Ты отказался вписаться въ опричнину, и совѣсть твоя чиста. Иди же на враговъ земли русской; а я не перестану молиться за насъ обоихъ до послѣдняго моего часа!

— Прости же, Елена, прости, сестра моя!—воскликнулъ Серебряный, бросаясь къ ней.

Она встрѣтила спокойнымъ взглядомъ его сокрушенный взглядъ, обняла его какъ брата и поцѣловала три раза, безъ страха и замѣшательства, ибо въ этомъ прощальномъ лобзаніи уже не было того чувства, которое за два мѣсяца, у ограды Морозовскаго сада, кинуло ее въ объятія князя невольно и безсознательно.

— Прости!—повторила она и, опустивъ покрывало, поспѣшно удалилась въ свою келью.

Стали звонить къ вечернѣ. Серебряный долго глядѣлъ вослѣдъ Еленѣ. Онъ не слыхалъ, что̀ говорила ему игуменья, не почувствовалъ, какъ она взяла его за руку и проводила къ оградѣ. Молча сѣлъ онъ на коня, молча поѣхалъ съ Михеичемъ обратнымъ путемъ по сосновому лѣсу. Звонъ монастырскаго колокола вызвалъ его наконецъ изъ оцѣпенѣнія. Онъ только теперь понялъ всю тяжесть своего несчастія. Сердце его разрывалось отъ этого звона, но онъ сталъ прислушиваться къ нему съ любовью, какъ будто въ немъ звучало послѣднее прощаніе Елены, и когда мѣрные удары, сливаясь въ дальній гулъ, замерли наконецъ въ вечернемъ воздухѣ, ему показалось, что все родное оторвалось отъ его жизни и со всѣхъ сторонъ охватило его холодное, безнадежное одиночество.

На другой день отрядъ Никиты Романовича продолжалъ свой путь, углубляясь все далѣе въ темные лѣса, которые, съ небольшими прогулами, соединялись съ Брянскимъ дремучимъ лѣсомъ. Князь ѣхалъ впереди отряда, а Михеичъ слѣдовалъ за нимъ издали, не смѣя прерывать его молчаніе.

Ѣхалъ Серебряный, понуря голову, и среди его мрачныхъ думъ, среди самой безнадежности свѣтило ему, какъ дальняя заря, одно утѣшительное чувство. То было сознаніе, что онъ въ жизни исполнилъ долгъ свой, насколько позволило ему умѣнье, что онъ шелъ прямою дорогою и ни разу не уклонился отъ нея умышленно. Драгоцѣнное чувство, которое среди скорби и бѣдъ, какъ неотъемлемое сокровище, живетъ въ сердцѣ честнаго человѣка и предъ которымъ всѣ блага міра, все, что̀ со-

ставляетъ цѣль людскихъ стремленій, — есть прахъ и ничто!

Одно это сознаніе давало Серебряному возможность переносить жизнь, и онъ, проходя всѣ обстоятельства своего прощанія съ Еленой, повторяя себѣ каждое ея слово, находилъ грустную отраду въ мысли, что въ самомъ дѣлѣ было бы совѣстно радоваться въ теперешнее время, и что онъ не отчуждаетъ себя отъ братій, но несетъ вмѣстѣ съ ними свою долю общаго бѣдствія.

Слова Годунова также пришли ему на память, и онъ горько усмѣхнулся, вспомнивъ, съ какою увѣренностью Годуновъ говорилъ о своемъ знаніи человѣческаго сердца.

«Видно,—подумалъ онъ:—не все умѣетъ угадывать Борисъ Ѳедорычъ! Государственное дѣло и сердце Ивана Васильевича ему вѣдомы; онъ знаетъ напередъ, что̀ скажетъ Малюта, что̀ сдѣлаетъ тотъ или другой опричникъ; но какъ чувствуютъ тѣ, которые не ищутъ своихъ выгодъ, это для него потемки!»

И невольно вспомнилъ Серебряный о Максимѣ и подумалъ, что не такъ посудилъ бы названный братъ его. Онъ не сказалъ бы ему: она не по любви вышла за Морозова, она будетъ ждать тебя! Онъ сказалъ бы: спѣши, братъ мой! Не теряй ни мгновенія, замори коня и останови ее, пока еще время!

И при мысли о Максимѣ одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднѣе, ибо онъ вѣдалъ, что никто уже не сойдется съ нимъ такъ близко, никто не пополнитъ своею душою его души, не поможетъ ему выяснить себѣ многое, что̀ въ честномъ сердцѣ своемъ онъ сознавалъ смутно, но чего, въ тревогѣ событій, онъ не успѣлъ облечь въ ясныя очертанія...

И будетъ его жизнь идти своимъ чередомъ, не спрашивая, укладываются, или нѣтъ, его лучшія стремленія въ ея тяжелыя требованія, и долго, можетъ-быть, она будетъ плести свой пестрый узоръ, гдѣ каждая подробность, взятая отдѣльно, не имѣетъ понятнаго смысла, но гдѣ всѣ явленія держатся межъ собою неразрывною цѣпью, истекая одно изъ другого со строгою послѣдовательностью.

Понурилъ Серебряный голову и бросилъ поводья, и ѣхалъ шагомъ въ глухомъ бору, столь же мрачномъ, какъ и его думы. Мѣрные шаги разбойниковъ прерывали тишину пустыни. Дикіе жители ея, бѣлки и верхолазы, не привыкшіе въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ бояться чело-

вѣка, не прятались при видѣ ратниковъ, а только взбирались на верхніе сучья и любопытно глядѣли оттуда на проходившихъ. Пестрые дятлы продолжали цѣпляться за мшистую кору древесныхъ стволовъ, повертывали свои красныя головы на пришельцевъ и опять принимались стучать въ сухое дерево.

Одинъ изъ ратниковъ, возбужденный торжественностью природы, затянулъ вполголоса протяжную пѣсню; другіе стали ему подтягивать, и вскорѣ всѣ голоса слились въ одинъ хоръ, который звучными переливами далеко раздавался подъ дремучимъ навѣсомъ деревъ...

Здѣсь можно бы кончить эту грустную повѣсть, но остается сказать, что было съ другими лицами, которыя, быть-можетъ, раздѣляли съ Серебрянымъ участіе читателя. О самомъ Никитѣ Романовичѣ услышимъ мы еще разъ въ концѣ нашего разсказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелыхъ лѣтъ и перенестись въ Москву, въ славный годъ завоеванія Сибири.

ГЛАВА XL.

Посольство Ермака.

Много времени протекло съ того дня, какъ Серебряный выѣхалъ изъ слободы во главѣ прощенныхъ станичниковъ. Разныя перемѣны произошли съ тѣхъ поръ на Руси. Но Іоаннъ попрежнему то предавался подозрѣніямъ и казнилъ самыхъ лучшихъ, самыхъ знаменитыхъ гражданъ, то приходилъ въ себя, каялся всенародно и посылалъ въ монастыри богатые вклады и длинные синодики съ именами убіенныхъ, приказывая молиться за ихъ упокой. Изъ прежнихъ его любимцевъ не уцѣлѣло ни одного. Послѣдній и главный изъ нихъ, Малюта Скуратовъ, не испытавъ ни разу опалы, былъ убитъ при осадѣ Пайды, или Вейсенштейна, въ Ливоніи, и въ честь ему Іоаннъ сжегъ на кострѣ всѣхъ плѣнныхъ нѣмцевъ и шведовъ.

Сотни и тысячи русскихъ, потерявъ всякое терпѣніе и надежду на лучшія времена, уходили толпами въ Литву и Польшу.

Одно только счастливое событіе произошло въ теченіе этихъ лѣтъ: Іоаннъ постигъ всю безполезность раздѣленія земли на двѣ половины, изъ которыхъ меньшая терзала бо́льшую, и по внушенію Годунова уничтожилъ ненавистную опричнину. Онъ возвратился на жительство въ Москву, а страшный дворецъ въ Александровой слободѣ запустѣлъ навсегда.

Между тѣмъ много бѣдствій обрушилось на нашу родину. Голодъ и моръ опустошали города и селенія. Нѣсколько разъ ханъ вторгался въ наши предѣлы и въ одинъ изъ своихъ набѣговъ онъ сжегъ всѣ посады подъ Москвою и бо̀льшую часть самого города. Шведы нападали на насъ съ сѣвера; Стефанъ Баторій, избранный сеймомъ послѣ Жигимонта, возобновилъ литовскую войну и, несмотря на мужество нашихъ войскъ, одолѣлъ насъ своимъ умѣньемъ и отнялъ всѣ наши западныя владѣнія.

Царевичъ Іоаннъ хотя раздѣлялъ съ отцомъ его злодѣйства, но почувствовалъ этотъ разъ униженіе государства и попросился у царя съ войскомъ противъ Баторія. Іоаннъ увидѣлъ въ этомъ замыселъ свергнуть его съ престола, и царевичъ, спасенный когда-то Серебрянымъ на Поганой Лужѣ, не избѣжалъ теперь лютой смерти. Въ припадкѣ бѣшенства отецъ убилъ его ударомъ остраго посоха! Разсказываютъ, что Годуновъ, бросившійся между нихъ, былъ жестоко израненъ царемъ и сохранилъ жизнь только благодаря врачебному искусству пермскаго гостя Строгонова.

Послѣ этого убійства Іоаннъ, въ мрачномъ отчаяньи, созвалъ думу, объявилъ, что хочетъ идти въ монастырь, и приказалъ приступить къ выбору другого царя. Снисходя однако на усиленныя просьбы бояръ, онъ согласился остаться на престолѣ и ограничился однимъ покаяніемъ и богатыми вкладами; а вскорѣ потомъ снова начались казни. Такъ, по свидѣтельству Одерборна, онъ осудилъ на смерть двѣ тысячи триста человѣкъ за то, что они сдали врагамъ разныя крѣпости, хотя самъ Баторій удивлялся ихъ мужеству.

Теряя свои владѣнія одно за другимъ, тѣснимый со всѣхъ сторонъ врагами, видя внутреннее разстройство государства, Іоаннъ былъ жестоко пораженъ въ своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его пріемахъ и наружности. Онъ сталъ небреженъ въ одеждѣ, высокій станъ его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, какъ у старика, и только въ присутствіи другихъ онъ дѣлалъ усиліе надъ собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрѣлъ на окольныхъ, не замѣчаетъ ли кто въ немъ упадка духа. Въ эти минуты онъ былъ еще страшнѣе, чѣмъ во дни своего величія. Никогда еще Москва не находилась подъ такимъ давленіемъ унынія и боязни.

Въ это скорбное время неожиданная вѣсть пришла отъ крайняго востока и ободрила всѣ сердца и обратила общее горе въ радость.

Отъ отдаленныхъ береговъ Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самаго гостя, который излѣчилъ Годунова. Они имѣли отъ царя жалованныя грамоты на пустыя мѣста земли Пермской и жили на нихъ владѣтельными князьями, независимо отъ пермскихъ намѣстниковъ, съ своею управой и съ своею дружиной, при единственномъ условіи охранять границы отъ дикихъ сибирскихъ народовъ, нашихъ недавнихъ и сомнительныхъ данниковъ. Тревожимые въ своихъ деревянныхъ крѣпостяхъ ханомъ Кучумомъ, они рѣшились двинуться за Каменный Поясъ и сами напасть на непріятельскую землю. Для успѣшнѣйшаго исполненія этого замысла, они обратились къ нѣсколькимъ разбойничьимъ или, какъ они себя называли, казачьимъ атаманамъ, опустошавшимъ въ то время съ шайками своими берега Волги и Дона. Главнѣйшими изъ нихъ были Ермакъ Тимоѳеевъ и Иванъ Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшійся чудеснымъ образомъ отъ царскихъ стрѣльцовъ и долгое время пропадавшій безъ вѣсти. Получивъ отъ Строгоновыхъ дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дѣло, Ермакъ и Кольцо, съ тремя другими атаманами, подняли знамя на Волгѣ, собрали изъ удалой вольницы дружину и явились на зовъ Строгоновыхъ. Сорокъ струговъ были тотчасъ нагружены запасами и оружіемъ, и небольшая дружина, подъ воеводствомъ Ермака, отслушавъ молебенъ, поплыла съ веселыми пѣснями вверхъ по рѣкѣ Чусовой къ дикимъ горамъ Уральскимъ. Разбивая вездѣ враждебныя племена, перетаскивая суда изъ рѣки въ рѣку, они добрались до береговъ Иртыша, гдѣ разбили и взяли въ плѣнъ главнаго воеводу сибирскаго, Маметкула, и овладѣли городомъ Сибирью на высокомъ и крутомъ обрывѣ Иртыша. Не довольствуясь этимъ завоеваніемъ, Ермакъ пошелъ далѣе, покорилъ весь край до Оби и заставилъ побѣжденные народы цѣловать свою кровавую саблю во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только онъ далъ знать о своемъ успѣхѣ Строгоновымъ и въ то же время послалъ любимаго своего атамана Ивана Кольцо къ Москвѣ бить челомъ великому государю и кланяться ему новымъ царствомъ.

Съ этою-то радостною вѣстью Строгоновы пріѣхали къ Іоанну, и вскорѣ послѣ нихъ прибыло Ермаково посольство.

Ликованье въ городѣ было неслыханное. Во всѣхъ церквахъ служили молебны, всѣ колокола звонили какъ въ Свѣтлое Христово Воскресенье. Царь, обласкавъ Строгоновыхъ, назначилъ торжественный пріемъ Ивану Кольцу.

Въ большой кремлевской палатѣ, окруженный всѣмъ блескомъ царскаго величія, Иванъ Васильевичъ сидѣлъ на престолѣ въ Мономаховой шапкѣ, въ золотой рясѣ, украшенной образами и дорогими каменьями. По правую его руку стоялъ царевичъ Ѳедоръ, по лѣвую—Борисъ Годуновъ. Вокругъ престола и дверей размѣщены были рынды, въ бѣлыхъ атласныхъ кафтанахъ, шитыхъ серебромъ, съ узорными топорами на плечахъ. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянувъ духомъ послѣ извѣстія, привезеннаго Строгоновыми, Іоаннъ смотрѣлъ не такъ уже мрачно, и на устахъ его даже появлялась улыбка, когда онъ обращался къ Годунову съ какимъ-нибудь замѣчаніемъ. Но лицо его сильно постарѣло, морщины сдѣлались глубже, на головѣ осталось мало волосъ, а изъ бороды они вылѣзли вовсе.

Борисъ Ѳедоровичъ въ послѣдніе годы пошелъ быстро въ гору. Онъ сдѣлался шуриномъ царевича Ѳедора, за котораго вышла сестра его Ирина, и имѣлъ теперь важный санъ конюшаго боярина. Разсказывали даже, что царь Иванъ Васильевичъ, желая показать, сколь Годуновъ и невѣстка близки его сердцу, поднялъ однажды три перста кверху и сказалъ, дотрогиваясь до нихъ рукой:

«Се Ѳедоръ, се Ирина, се Борисъ; и какъ рукѣ моей было бы одинаково больно, который изъ сихъ перстовъ отъ нея бы ни отсѣкли, такъ равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного изъ трехъ возлюбленныхъ чадъ моихъ».

Такая необыкновенная милость не родила въ Годуновѣ ни надменности ни высокомѣрія. Онъ былъ попрежнему скроменъ, привѣтливъ къ каждому, воздержанъ въ рѣчахъ, и только осанка его получила еще болѣе степенности и ту спокойную важность, которая была прилична его высокому положенію.

Не безъ ущерба своему нравственному достоинству достигъ однако Годуновъ такого вліянія и такихъ поче-

стей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя отъ дѣлъ, не одобряемыхъ его совѣстью. Такъ онъ, видя въ Малютѣ слишкомъ сильнаго соперника и потерявъ надежду уронить его въ глазахъ Іоанна, вошелъ съ нимъ въ тѣсную дружбу и, чтобы связать сильнѣе ихъ обоюдныя выгоды, женился на его дочери. Двадцать лѣтъ, проведенныхъ у престола такого царя, какъ Іоаннъ Грозный, не могли пройти даромъ Борису Ѳедоровичу, и въ немъ уже совершился тотъ горестный переворотъ, который, по мнѣнію современниковъ, обратилъ въ преступника человѣка, одареннаго самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Ѳедора, нельзя было удержаться отъ мысли, что слабы тѣ руки, которымъ по смерти Іоанна надлежало поддерживать государство. Ни малѣйшей черты ни умственной ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Онъ былъ уже два года женатъ, но выраженіе его осталось дѣтское. Ростомъ онъ былъ малъ, сложеніемъ дряблъ, лицомъ блѣденъ и опухловатъ. Притомъ онъ постоянно улыбался и смотрѣлъ робко и испуганно. Недаромъ ходили слухи, что царь, жалѣя о старшемъ сынѣ, говаривалъ иногда Ѳедору: «Пономаремъ бы тебѣ родиться, Ѳедя, а не царевичемъ!»

«Но Богъ милостивъ,—думали многіе:—пусть царевичъ слабъ; благо, что не пошелъ онъ ни въ батюшку ни въ старшаго брата! А помогать ему будетъ шуринъ его, Борисъ Ѳедоровичъ. Этотъ не попуститъ упасть государству!»

Шопотъ, раздававшійся во дворцѣ между придворными, былъ внезапно прерванъ звуками трубъ и звономъ колоколовъ. Въ палату вошли, предшествуемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максимъ и Никита Строгоновы съ дядею ихъ Семеномъ. Позади несли дорогіе мѣха, разныя странныя утвари и множество необыкновеннаго, еще невиданнаго оружія.

Иванъ Кольцо, шедшій во главѣ посольства, былъ человѣкъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, средняго роста, крѣпкаго сложенія, съ быстрыми проницательными глазами, съ черною, густою, но короткою бородой, подернутою легкою просѣдью.

— Великій государь!—сказалъ онъ, приблизившись къ ступенямъ престола:—казацкій твой атаманъ Ермакъ Тимоѳеевъ, вмѣстѣ со всѣми твоими опальными волжскими

казаками, осужденными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьютъ тебѣ челомъ новымъ царствомъ. Прибавь, великій государь, къ завоеваннымъ тобою царствамъ Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколѣ Всевышній благоволитъ стоять міру!

И, проговоривъ свою краткую рѣчь, Кольцо вмѣстѣ съ товарищами опустился на колѣни и преклонилъ голову до земли.

— Встаньте, добрые слуги мои!—сказалъ Іоаннъ.— Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, и быть той прежней опалѣ не въ опалу, а въ милость. Подойди сюда, Иванъ!

И царь протянулъ къ нему руку, а Кольцо поднялся съ земли и, чтобы не стать прямо на червленное подножіе престола, бросилъ на него сперва свою баранью шапку, наступилъ на нее одною ногою и, низко поклонившись, приложилъ уста свои къ рукѣ Іоанна, который обнялъ его и поцѣловалъ въ голову.

— Благодарю преблагую и пресущественную Троицу,— сказалъ царь, поднимая очи къ небу:—зрю надо мною всемогущій Промыселъ Божій, яко въ то самое время, когда тѣснятъ меня враги мои и даже ближніе слуги съ лютостью умышляютъ погубить меня, всемилостивый Богъ даруетъ мнѣ верхъ и одолѣніе надъ погаными и славное приращеніе моихъ государствъ!

И, обведя торжествующимъ взоромъ бояръ, онъ прибавилъ съ видомъ угрозы:

— Аще Господь Богъ за насъ, никто же на ны! Имѣющіе уши слышати да слышатъ!

Но въ то же время онъ почувствовалъ, что напрасно омрачаетъ общую радость, и обратился къ Кольцу, милостиво смягчая выраженіе очей:

— Какъ нравится тебѣ на Москвѣ? Видывалъ ли ты гдѣ такія палаты и церкви? Али, можетъ, ты уже прежде бывалъ здѣсь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и бѣлизна зубовъ его какъ будто осзѣтила его смуглое загорѣлое лицо.

— Гдѣ намъ, малымъ людямъ, такія чудеса видѣть!— сказалъ онъ, смиренно пожимая плечами:—намъ и во снѣ такой лѣпоты не снилось, великій государь! Живемъ на Волгѣ по-мужицки, про Москву только слухомъ слышимъ, а въ этомъ краю отродясь не бывали!

— Поживи здѣсь,—сказалъ Іоаннъ благоволительно:—я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумѣли, и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову съ пятьюстами стрѣльцовъ идти помогать вамъ.

— Премного благодарствуемъ,—отвѣчалъ Кольцо, низко кланяясь:—только не мало ли будетъ, великій государь?

Іоаннъ удивился смѣлости Кольца.

— Вишь ты какой прыткій!—сказалъ онъ, глядя на него строго.—Ужъ не прикажешь ли мнѣ самому побѣжать къ вамъ на прибавку? Ты думаешь, мнѣ только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери, что даютъ, а обратнымъ путемъ набирай охотниковъ. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вмѣсто, чтобъ докучать мнѣ по всѣ дни о хлѣбѣ, пусть идутъ селиться на тѣ новыя земли! И архіерею вологодскому написали мы, чтобъ отрядилъ десять поповъ обѣдни вамъ служить и всякія требы исполнять.

— И на этомъ благодаримъ твою царскую милость,—отвѣтилъ Кольцо, вторично кланяясь.—Это дѣло доброе; только не пожалѣй ужъ, государь, поверхъ поповъ, и оружія дать намъ, сколько можно, и зелья огнестрѣльнаго поболѣ!

— Не будетъ вамъ и въ этомъ оскудѣнія. Есть Болховскому про то указъ отъ меня.

— Да ужъ и пообносились мы больно,—замѣтилъ Кольцо, съ заискивающею улыбкой пожимая плечами.

— Небось, некого въ Сибири по дорогамъ грабить?—сказалъ Іоаннъ, недовольный настойчивостью атамана.—Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода; только и мы нашимъ слабымъ разумомъ обо всемъ уже подумали. Одежду поставятъ вамъ Строгоновы; я же положилъ мое царское жалованье начальнымъ и рядовымъ людямъ. А чтобъ и ты, господинъ совѣтчикъ, не остался безъ одёжи,—жалую тебѣ шубу съ моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотой парчей, и надѣли ее на Ивана Кольцо.

— Языкъ-то у тебя, я вижу, остеръ,—сказалъ Іоаннъ:—а есть ли острая сабля?

— Да была не дурна, великій государь, только поиступилась маленько о сибирскія головы!

— Возьми изъ моей оружейной саблю, какая тебѣ болѣ

приглянется, да смотри, выбирай по сердцу, которая покраше. А впрочемъ, ты, я думаю, чиниться не будешь.

Глаза атамана загорѣлись отъ радости.

— Великій государь!—воскликнулъ онъ:—изо всѣхъ твоихъ милостей это самая бо́льшая! Грѣхъ было-бъ мнѣ чиниться на твоемъ подаркѣ! Ужъ выберу въ твоей оружейной что́ ни на есть лучше! Только,—прибавилъ онъ, немного подумавъ:—коли ты, государь, не жалѣешь своей сабли, то дозволь лучше отвезти ее отъ твоего царскаго имени Ермаку Тимоѳеичу!

— Объ немъ не хлопочи, мы и его не забудемъ. А коли ты боишься, что я не сумѣю угодить на его милость, то возьми двѣ сабли: одну себѣ, другую Ермаку.

— Исполать же тебѣ, государь!—воскликнулъ Кольцо въ восхищеніи.—Ужъ мы этими двумя саблями послужимъ твоему царскому здоровью!

— Но сабель не довольно,—продолжалъ Іоаннъ.—Нужны вамъ еще добрыя брони. На тебя-то мы, примѣривши, найдемъ, а на Ермака какъ бы за глаза не ошибиться. Какого онъ будетъ роста?

— Да, пожалуй, будетъ съ меня, только въ плечахъ пошире. Вотъ хоть бы съ этого молодца,—сказалъ Кольцо, оборачиваясь на одного изъ своихъ товарищей, здороваго дѣтину, который, принесши огромную охапку оружія и сваливъ ее на землю, стоялъ позади его съ разинутымъ ртомъ и не переставалъ дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рындъ, окружавшихъ престолъ. Онъ даже попытался вступить потихоньку съ однимъ изъ нихъ въ разговоръ, чтобъ узнать, не всѣ ли они царевичи? Но рында посмотрѣлъ на него такъ сурово, что тотъ не возобновлялъ болѣе вопроса.

— Принести сюда,—сказалъ царь:—большую броню съ орломъ, что́ виситъ въ оружейной на первомъ мѣстѣ. Мы примѣримъ ее на этого пучеглазаго!

Вскорѣ принесли тяжелую желѣзную кольчугу, съ мѣдной каймой вокругъ рукавовъ и подола и съ золотыми двуглавыми орлами на груди и на спинѣ.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всѣхъ одобрительный шопотъ.

— Надѣвай ее, тюлень!—сказалъ царь.

Дѣтина повиновался, но сколько ни силился, онъ не могъ въ нее пролѣзть и допихнулъ руки только до половины рукавовъ.

Какое-то давно забытое воспоминаніе мелькнуло, при этомъ видѣ, въ памяти Іоанна.

— Будетъ!—сказалъ Кольцо, слѣдившій заботливо за дѣтиной:—довольно пялить царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медвѣдь! Государь, — продолжалъ онъ:—кольчуга добрая и будетъ Ермаку Тимоѳеичу въ самую пору, а этотъ потому пролѣзть не можетъ, что ему кулаки мѣшаютъ. Этакихъ кулаковъ ни у кого нѣтъ, окромѣ его!

— А ну-ка, покажи свой кулакъ!—сказалъ Іоаннъ, съ любопытствомъ вглядываясь въ дѣтину.

Но дѣтина смотрѣлъ на него въ недоумѣніи, какъ будто не понимая приказанія.

— Слышь ты, дурень,—повторилъ Кольцо:—покажи кулакъ его царской милости!

— А коли онъ мнѣ за то голову срубитъ?—сказалъ дѣтина протяжно, и на глупомъ лицѣ его изобразилось опасеніе.

Царь засмѣялся, и всѣ присутствующіе съ трудомъ удержались отъ смѣха.

— Дуракъ, дуракъ!—сказалъ Кольцо съ досадою:—былъ ты всегда дуракъ и теперь дуракомъ остался!

И, высвободивъ дѣтину изъ кольчуги, онъ подтащилъ его къ престолу и показалъ царю его широкую кисть, болѣе похожую на медвѣжью лапу, чѣмъ на человѣческую руку.

— Не взыщи, великій государь, за его простоту. Онъ въ рѣчахъ глупъ, а на дѣлѣ парень добрый. Онъ своими руками царевича Маметкула полонилъ.

— Какъ его зовутъ?—спросилъ Іоаннъ, все пристальнѣе вглядываясь въ дѣтину.

— А Митькою!—отвѣчалъ тотъ добродушно.

— Постой!—сказалъ Іоаннъ, узнавая вдругъ Митьку:—ты никакъ тотъ самый, что въ слободѣ за Морозова бился и Хомяка оглоблей убилъ?

Митька глупо улыбнулся.

— Я тебя, дурня, сначала не призналъ, а теперь вспоминаю твою рожу!

— А я тебя сразу призналъ!—отвѣтилъ Митька съ довольнымъ видомъ:—ты на высокомъ ослонѣ у самаго поля сидѣлъ!

Этотъ разъ всѣ громко засмѣялись.

— Спасибо тебѣ,—сказалъ Іоаннъ:—что не забылъ ты

меня, малаго человѣка. Какъ же ты Маметкула-то въ полонъ взялъ?

— Животомъ навалился! — отвѣтилъ Митька равнодушно и не понимая, чему опять всѣ захохотали.

— Да,—сказалъ Іоаннъ, глядя на Митьку:—когда этакій чурбанъ навалится, изъ-подъ него уйти не легко. Помню, какъ онъ Хомяка раздавилъ. Зачѣмъ же ты ушелъ тогда съ поля? Да и какъ ты изъ слободы въ Сибирь попалъ?

Атаманъ толкнулъ Митьку непримѣтно локтемъ, чтобы онъ молчалъ, но тотъ принялъ этотъ знакъ въ противномъ смыслѣ.

— А онъ меня съ поля увелъ!—сказалъ онъ, ткнувъ пальцемъ на атамана.

— Онъ тебя увелъ?—произнесъ Иванъ Васильевичъ, посматривая съ удивленіемъ на Кольцо.—А какъ же,—продолжалъ онъ, вглядываясь въ него:—какъ же ты сказалъ, что въ первый разъ въ этомъ краю? Да погоди-ка, братъ: мы, кажется, съ тобой старые знакомые. Не ты ли мнѣ когда-то про Голубиную Книгу разсказывалъ? Такъ, такъ, я тебя узнаю. Да вѣдь ты и Серебрянаго-то изъ тюрьмы увелъ. Какъ же это, божій человѣкъ, ты прозрѣлъ съ того времени? Куда на богомолье ходилъ? Къ какимъ мощамъ прикладывался?

И, наслаждаясь замѣшательствомъ Кольца, царь устремлялъ на него свой проницательный, вопрошающій взглядъ.

Кольцо опустилъ глаза въ землю.

— Ну,—сказалъ наконецъ царь:—что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Повѣдай мнѣ только, зачѣмъ ты, послѣ рязанскаго дѣла, не захотѣлъ принести мнѣ повинной вмѣстѣ съ другими ворами?

— Великій государь,—отвѣтилъ Кольцо, собирая все свое присутствіе духа:—не заслужилъ я еще тогда твоей великой милости. Совѣстно мнѣ было тебѣ на глаза показаться; а когда князь Никита Романычъ повелъ къ тебѣ товарищей, я вернулся опять на Волгу, къ Ермаку Тимоѳеичу: не приведетъ ли Богъ какую новую службу тебѣ сослужить!

— А пока мою казну съ судовъ воровалъ да пословъ моихъ кизилбашскихъ на пути къ Москвѣ грабилъ?

Видъ Ивана Васильевича былъ болѣе насмѣшливъ, чѣмъ грозенъ. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лѣтъ, а злопамят-

ность царя не продолжалась такъ долго, когда она не была возбуждена прямымъ оскорбленіемъ его личнаго самолюбія.

Кольцо прочелъ на лицѣ Іоанна одно желаніе посмѣяться надъ его замѣшательствомъ. Соображаясь съ этимъ расположеніемъ, онъ потупилъ голову и погладилъ затылокъ, сдерживая на лукавыхъ устахъ своихъ едва замѣтную улыбку.

— Всякаго бывало, великій государь!—проговорилъ онъ вполголоса:—виноваты передъ твоею милостью!

— Добро, — сказалъ Іоаннъ: — вы съ Ермакомъ свои вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мнѣ въ руки—ну, тогда не прогнѣвайся!..

Кольцо не отвѣчалъ ничего, но подумалъ про себя: «затѣмъ-то я тогда и не пошелъ къ тебѣ съ повинною, великій государь!»

— Погоди-ка,—продолжалъ Іоаннъ:—здѣсь долженъ быть твой пріятель!.. Эй!—сказалъ онъ, обращаясь къ царедворцамъ:—здѣсь ли тотъ разбойничій воевода, какъ бишь его? Микита Серебряный?

Говоръ пробѣжалъ по толпѣ, и въ рядахъ сдѣлалось движеніе, но никто не отвѣчалъ.

— Слышите?— повторилъ Іоаннъ, возвышая голосъ:— я спрашиваю, тутъ ли тотъ Микита, что̀ отпросился къ Жиздрѣ съ ворами служить?

На вторичный вопросъ царя выступилъ изъ рядовъ одинъ старый бояринъ, бывшій когда-то воеводою въ Калугѣ.

— Государь,—сказалъ онъ съ низкимъ поклономъ:— того, о комъ ты спрашиваешь, здѣсь нѣтъ. Онъ тотъ самый годъ, какъ пришелъ на Жиздру, тому будетъ семнадцать лѣтъ, убитъ татарами, и вся его дружина вмѣстѣ съ нимъ полегла.

— Право?—сказалъ Іоаннъ:—а я и не зналъ!.. Ну,— продолжалъ онъ, обращаясь къ Кольцу:—на нѣтъ и суда нѣтъ, а я хотѣлъ васъ свести да посмотрѣть, какъ вы поцѣлуетесь!

На лицѣ атамана выразилась печаль.

— Жаль тебѣ, что ли, товарища?—спросилъ Іоаннъ съ усмѣшкой.

— Жаль, государь,—отвѣчалъ Кольцо, не боясь раздражить царя этимъ признаніемъ.

— Да, — сказалъ царь презрительно: — такъ оно и должно быть: свой своему поневолѣ братъ!

Вправду ли Іоаннъ не вѣдалъ о смерти Серебрянаго или притворился, что не вѣдаетъ, чтобъ этимъ показать, какъ мало онъ дорожитъ тѣми, кто не ищетъ его милости,—Богъ вѣсть! Если же въ самомъ дѣлѣ онъ только теперь узналъ о его участи, то пожалѣлъ ли о немъ или нѣтъ, это также трудно рѣшить; только на лицѣ Іоанна не написалось сожалѣнія. Онъ, повидимому, остался такъ же равнодушенъ, какъ и до полученнаго имъ отвѣта.

— Поживи здѣсь,—сказалъ онъ Ивану Кольцу:—а когда придетъ время Болховскому выступать, иди съ нимъ обратно въ Югорскую землю... Да, я-было и забылъ, что Болховской свое колѣно отъ Рюрика ведетъ. Съ этими вельможными князьями управиться не легко: пожалуй, и со мной захотятъ въ разрядахъ считаться! Не всѣ они, какъ тотъ Микита, въ станичники просятся. Такъ чтобы не показалось ему обиднымъ быть подъ рукою казацкаго атамана, жалую нынѣ же Ермака княземъ Сибирскимъ! Щелкаловъ,—сказалъ онъ стоявшему поодаль думскому дьяку:—изготовь къ Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей сибирскою, а Маметкула чтобы къ Москвѣ за крѣпкимъ карауломъ прислалъ. Да кстати напиши грамоту и Строгоновымъ, что жалую-де ихъ за добрую службу и радѣніе: Семену— Большую и Малую Соль на Волгѣ, а Никитѣ и Максиму— торговать во всѣхъ тамошнихъ городахъ и острожкахъ безпошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

— Кто изъ васъ,—спросилъ вдругъ Іоаннъ:—излѣчилъ Бориса въ ту пору, какъ я его осномъ поранилъ?

— То былъ мой старшій братъ, Григорій Аникинъ,— отвѣчалъ Семенъ Строгоновъ:—онъ волею Божьею прошлаго года умре!

— Не Аникинъ, а Аникьевичъ,—сказалъ царь съ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ:—я тогда же велѣлъ ему быть выше гостя и полнымъ отчествомъ называться. И вамъ всѣмъ указываю писаться съ в и ч е м ъ и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся разсмотрѣніемъ мягкой рухляди и прочихъ даровъ, присланныхъ Ермакомъ, и отпустилъ Ивана Кольцо, сказавъ ему еще нѣсколько милостивыхъ насмѣшекъ.

За нимъ разошлось и все собраніе.

Въ этотъ день Кольцо, вмѣстѣ съ Строгоновыми, обѣдалъ у Бориса Ѳедоровича за многолюднымъ столомъ.

Послѣ обычнаго осушенія кубковъ во здравіе царя, царевича, всего царскаго дома и высокопреосвященнаго митрополита, Годуновъ поднялъ золотую братину и предложилъ здоровье Ермака Тимоѳеевича и всѣхъ его добрыхъ товарищей.

— Да живутъ они долго на славу русской земли!— воскликнули всѣ гости, вставая съ мѣстъ и кланяясь Ивану Кольцу.

— Бьемъ тебѣ челомъ ото всего православнаго міра,— сказалъ Годуновъ съ низкимъ поклономъ:—а въ твоемъ лицѣ и Ермаку Тимоѳеевичу ото всѣхъ князей и бояръ, ото всѣхъ торговыхъ людей, ото всего люда русскаго! Пріими ото всей земли великое челобитіе, что сослужили вы ей службу великую!

— Да перейдутъ,—воскликнули гости:—да перейдутъ имена ваши къ сыновьямъ, и ко внукамъ, и къ позднимъ потомкамъ, на вѣчную славу, на любовь и образецъ, на молитвы и поученіе!

Атаманъ всталъ изъ-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно измѣнилось отъ душевнаго волненія, губы задрожали, а на смѣлыхъ глазахъ, быть-можетъ, первый разъ въ жизни навернулись слезы.

— Да живетъ русская земля!—проговорилъ онъ тихо и, поклонившись на всѣ стороны, сѣлъ опять на свое мѣсто, не прибавляя ни слова.

Годуновъ попросилъ атамана разсказать что-нибудь про свои похожденія въ Сибири, и Кольцо, умалчивая о себѣ, сталъ разсказывать съ одушевленіемъ про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про христіанскую доброту, съ какою онъ всегда обходился съ побѣжденными.

— На эту-то доброту,—заключилъ Кольцо:—Ермакъ Тимоѳеевичъ взялъ, пожалуй, еще болѣе, чѣмъ на свою саблю. Какой острогъ, или городъ ихній, бывало, ни завоюемъ, онъ тотчасъ всѣхъ тамъ обласкаетъ, да еще и одаритъ. А когда мы взяли Маметкула, такъ онъ ужъ не зналъ, какъ и честить его; съ своихъ плечъ шубу снялъ и надѣлъ на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю, что подъ его руку сдаваться не тяжело;

и много разныхъ князьковъ тогда же сами къ нему пришли и ясакъ принесли. Веселое намъ было житье въ Сибири,— продолжалъ атаманъ:—объ одномъ только жалѣлъ я: что не было съ нами князя Никиты Романыча Серебрянаго; и ему бы по̀ сердцу пришлось, и намъ вмѣстѣ было бы моготнѣе. Ты, кажется, Борисъ Ѳедорычъ, былъ въ дружбѣ съ нимъ. Дозволь же теперь про его память выпить!

— Царствіе ему небесное!—сказалъ со вздохомъ Годуновъ, которому ничего не стоило выказать участіе къ человѣку, столь уважаемому его гостемъ.—Царствіе ему небесное!—повторилъ онъ, наливая стопу:—часто я о немъ вспоминаю!

— Вѣчная ему память! — сказалъ Кольцо, и, осушивъ свою стопу, онъ опустилъ голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столомъ, а когда кончился обѣдъ, Годуновъ и тутъ никого не отпустилъ домой, но пригласилъ каждаго сперва отдохнуть, а потомъ провести съ нимъ весь день. Угощенія слѣдовали одно за другимъ, бесѣда смѣняла бесѣду, и только позднимъ вечеромъ, когда объѣзжіе головы уже нѣсколько разъ проѣхались по улицамъ, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушіемъ Бориса Ѳедоровича.

Прошло болѣе трехъ вѣковъ послѣ описанныхъ дѣлъ, и мало осталось на Руси воспоминаній того времени. Ходятъ еще въ народѣ преданія о славѣ, роскоши и жестокости грознаго царя, поются еще кое-гдѣ пѣсни про осужденіе на смерть царевича, про нашествіе татаръ на Москву и про покореніе Сибири Ермакомъ Тимоѳеевичемъ, котораго изображенія, вѣроятно, несходныя, можно видѣть доселѣ почти во всѣхъ избахъ сибирскихъ; но въ этихъ преданіяхъ, пѣсняхъ и разсказахъ правда мѣшается съ вымысломъ, и они даютъ дѣйствительнымъ событіямъ колеблющіяся очертанія, показывая ихъ какъ будто сквозь туманъ и дозволяя воображенію возстановлять по произволу эти неясные образы.

Правдивѣе говорятъ о наружной сторонѣ того царствованія нѣкоторыя уцѣлѣвшія зданія, какъ церковь Василія Блаженнаго, коей пестрыя главы и узорные теремки могутъ дать понятіе о причудливомъ зодчествѣ Іоаннова дворца въ Александровой слободѣ, или церковь Трифона Напруднаго, между Бутырскою и Крестовскою за-

ставами, построенная сокольникомъ Трифономъ вслѣдствіе даннаго имъ обѣта, и гдѣ доселѣ видно изображеніе святого угодника, на бѣломъ конѣ, съ кречетомъ на рукавицѣ *).

Слобода Александрова, послѣ выѣзда изъ нея царя Ивана Васильевича, стояла въ забвеніи, какъ мрачный памятникъ его гнѣвной набожности, и оживилась только одинъ разъ, но и то на краткое время. Въ смутные годы самозванцевъ, молодой полководецъ, князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйскій, въ союзѣ съ шведскимъ генераломъ Делагарди, сосредоточилъ въ ея крѣпкихъ стѣнахъ свои воинскія силы и заставилъ оттуда польскаго воеводу Сапѣгу снять долговременную осаду съ Троицко-Сергіевской лавры.

Впослѣдствіи,—разсказываетъ преданіе:—въ одну жестокую зиму, въ январѣ мѣсяцѣ, къ ужасу жителей, нашла на Александрову слободу черная туча, спустилась надъ самымъ дворцомъ и разразилась надъ нимъ громовымъ ударомъ, отъ котораго запылали терема и вся слобода обратилась въ пепелъ. Отъ жилища роскоши, разврата, убійствъ и святотатныхъ богослуженій не осталось и слѣда...

Да поможетъ Богъ и намъ изгладить изъ сердецъ нашихъ послѣдніе слѣды того страшнаго времени, вліяніе котораго, какъ наслѣдственная болѣзнь, еще долго потомъ переходило въ жизнь нашу отъ поколѣнія къ поколѣнію! Простимъ грѣшной тѣни царя Іоанна, ибо не онъ одинъ несетъ отвѣтственность за свое царствованіе; не онъ одинъ создалъ свой произволъ и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай. Эти возмутительныя явленія были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая такъ низко, что могла смотрѣть на нихъ безъ негодованія, сама создала и усовершенствовала Іоанна, подобно тому какъ раболѣпные римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ.

Лица, подобныя Василію Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нерѣдко, какъ свѣтлыя звѣзды на безотрадномъ небѣ нашей русской ночи, но, какъ и самыя звѣзды, они были безсильны разо-

*) Съ тѣхъ поръ, какъ это написано, церковь Трифона Напруднаго такъ передѣлана, что ее узнать нельзя. Снаружи придѣлки, а внутренность переписана и перештукатурена въ новомъ вкусѣ. Все это вслѣдствіе пожертвованій *доброхотныхъ дателей*, какъ объясняютъ причетники.

гнать ея мракъ, ибо свѣтились отдѣльно и не были сплочены ни поддерживаемы общественнымъ мнѣніемъ. Простимъ же грѣшной тѣни Ивана Васильевича, но помянемъ добромъ тѣхъ, которые, завися отъ него, устояли въ добрѣ, ибо тяжело не упасть въ такое время, когда всѣ понятія извращаются, когда низость называется добродѣтелью, предательство входитъ въ законъ, а самая честь и человѣческое достоинство почитаются преступнымъ нарушеніемъ долга! Миръ праху вашему, люди честные! Платя дань вѣку, вы видѣли въ Грозномъ проявленіе Божьяго гнѣва и сносили его терпѣливо; но вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы ни смерти, и жизнь ваша не прошла даромъ, ибо ничто на свѣтѣ не пропадаетъ, и каждое дѣло, и каждое слово, и каждая мысль вырастаетъ какъ древо, и многое доброе и злое, что̀, какъ загадочное явленіе, существуетъ понынѣ въ русской жизни, таитъ свои корни въ глубокихъ и темныхъ нѣдрахъ минувшаго.

Оглавленіе

III ТОМА.

Беллетристическія произведенія.

	стр.
Упырь. Разсказъ. Съ предисловіемъ Вл. Серг. Соловьева. . . .	3
Семья вурдалака. Изъ воспоминаній неизвѣстнаго	81
Два дня въ Киргизской степи.	109
Артемій Семеновичъ Бервенковскій	123
Амена. Отрывокъ изъ романа «Стебеловскій»	132
Князь Серебряный. Повѣсть временъ Іоанна Грознаго	155

513538
LR Tolstoi, Aleksyei Konstantinovich, Graf
T6542 Полное собрание сочинений.
v.3
[Translit.:Polnoe sobranie sochineny.]

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

ЗАЯВЛЕНЪ ОТДѢЛУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.